Борис
Васильев



Скобелев

•

Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт

Скобелев. Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт

Борис Львович Васильев

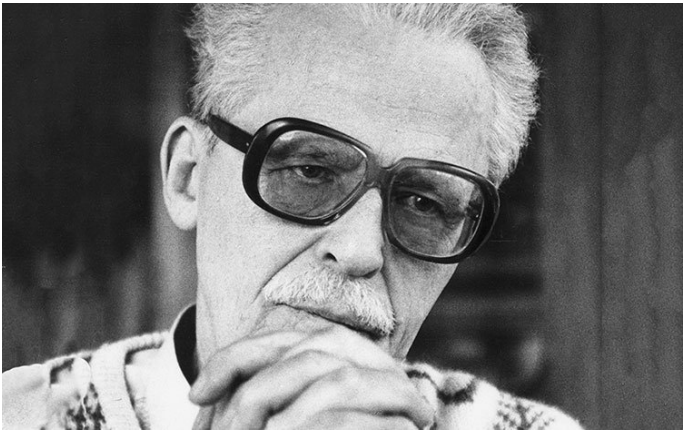
Аннотация
Васильев Борис Львович. Скобелев. Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт
Скобелев
  Историческая справка
  Часть первая
    Глава первая
    Глава вторая
    Глава третья
    Глава четвертая
    Глава пятая
  Часть вторая
    Глава первая
    Глава вторая
    Глава третья
    Глава четвертая
    Глава пятая
    Глава шестая
    Глава седьмая
    Глава девятая
    Глава десятая

Часть третья
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Комментарии
Биографические даты
Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт
Записки
О твердости незрелых груш и кислоте незрелых яблок
Ассо, ассо, всегда — ассо!
С тоскою жить — не значит жить тоскливо
Все лестницы российских казематов ведут только вниз
Кавказ надо мною проклятьем навис
Сбываются все предсказания, коль силы остались для встреч и потерь…

Аннотация

В данную книгу включены романы «Скобелев», «Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт». Первый из них предоставляет читателю уникальную возможность взглянуть на судьбу и личность легендарного русского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева с совершенно новой стороны. В основу второго романа лег подлинный документ из семейного архива автора, давший жизнь увлекательному повествованию. Частная, на первый взгляд, история жизни своего предка позволила писателю предаться глубоким размышлениям о судьбе России века минувшего, неразрывно связанной с веком нынешним.

Васильев Борис Львович Скобелев. Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт



Борис Васильев
(1924–2013)

Скобелев

Историческая справка[1]

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал-адъютант. Сначала воспитывался дома, потом в Парижском пансионе Жирардэ; в 1861 году поступил в Петербургский университет, откуда через месяц был уволен вследствие возникших между студентами беспорядков. Определился юнкером в кавалергардский полк и в 1863 году произведен был в корнеты. Когда вспыхнул польский мятеж, Скобелев поехал в отпуск к своему отцу, находившемуся в Польше, но на пути туда присоединился в качестве волонтера к одному из русских пехотных отрядов и все время отпуска провел в поисках и погонях за бандами повстанцев.

В 1864 году Скобелев был переведен в Гродненский гусарский полк и участвовал в экспедициях против мятежников. Окончив курс в Николаевской академии Генерального штаба, был назначен в войска Туркестанского военного округа. В 1873 году во время экспедиции в Хиву Скобелев

---

[1] Примечания: 1

Из Энциклопедического словаря. Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. 56. СПб., 1890.

находился при отряде полковника Ломакина. В 1875–1876 годах принял участие в Кокандской экспедиции, где, кроме замечательной отваги, соединенной с благоразумной предусмотрительностью, выказал организаторский талант и основательное знакомство с краем и с тактикой азиатов. В марте 1877 года он был командирован в распоряжение главнокомандующего армией, назначенной для действий в Европейской Турции. Новыми сослуживцами Скобелев был принят весьма недружелюбно. На молодого 34-летнего генерала смотрели как на выскочку, добывшего чины и отличия легкими победами над азиатским сбродом. Некоторое время Скобелев не получал никакого назначения, во время переправы через Дунай он состоял при генерале Драгомирове в качестве простого добровольца, и только со второй половины июля ему стали поручать командование сборными отрядами. Вскоре взятие Ловчи и бои 30 и 31 августа под Плевной обратили на него общее внимание, а переход через Иметлинский перевал на Балканах и бой под Шейновом, за которым последовала сдача турецкой армии Весселя-паши (конец декабря 1877 года), утвердили за Скобелевым громкую и блестящую известность. В Россию он вернулся по-

сле кампании 1878 года корпусным командиром, в чине генерал-лейтенанта и в звании генерал-адъютанта. Приступив к мирным занятиям, он повел дело воспитания вверенных ему войск в обстановке, близко подходящей к условиям военной жизни, при этом преимущественное внимание обращал на практическую сторону дела, особенно на развитие выносливости и лихости конницы.

Последним и самым замечательным подвигом Скобелева было завоевание Ахал-Теке, за которое он был произведен в генералы от инфантерии и получил орден Святого Георгия второй степени. По возвращении из этой экспедиции Скобелев провел несколько месяцев за границей. 12 января 1882 года он произнес перед офицерами, собравшимися праздновать годовщину взятия Геок-Тепе, речь, наделавшую в свое время много шума: в ней указывалось на угнетения, претерпеваемые единоверными нам славянами. Речь эта, имевшая резкую политическую окраску, вызвала сильное раздражение в Германии и Австрии. Когда Скобелев затем был в Париже и местные студенты-сербы поднесли ему за вышеупомянутую речь благодарственный адрес, он отвечал им лишь несколькими словами, но

крайне задорного характера, при этом еще ярче выражал свои политические идеи и еще резче указывал на врагов славянства. Все это привело к тому, что Скобелев был вызван из-за границы ранее окончания срока его отпуска. В ночь на 26 июня 1882 года Скобелев, находясь в Москве, скоропостижно умер.

Император Александр III, желая, чтобы военные доблести связывали войско и флот общими памятованиями, повелел корвет «Витязь» впредь именовать «Скобелев».

Часть первая
Глава первая

1

Лето 1865 года выдалось небывало дождливым. Как начало моросить с Егорьева дня, так и моросило без перерыва все последующие дни и ночи. И если Санкт-Петербург всегда изнемогал от обилия каналов, рек и речушек, из-за чего, как считали москвичи, платья и рубахи с самого утра становились волглыми как бы сами собой, а сахар и соль вечно отсыревали, то теперь с этими напастями познакомились и жители Первопрестольной. Все ругали погоду, все были мрачны и недовольны, и только лавочники изо всех сил сдерживали радость, поскольку в их умелых руках даже сукна стали короче, будто усыхали, вопреки природе, под непрекращающимся дождем, не говоря уже о законно прибавивших в весе продуктах.

Об этом толковал московский обыватель, трясясь по Тверской в запряженном парой кляч городском дилижансе. Кто называл его «линейкой», кто — «гитарой», удобства экипажа от этого не улучшались. А поскольку «гитара» считалась

крытой и в принципе была таковой, но — от солнца, а не от бесконечного дождичка, который и дождичком-то язык называть не поворачивался, настолько он был мелок, жалок, неопределенен, пронзителен и бесконечен, эти его необычные качества особенно сказывались на пассажирах московских «линеек», потому что пассажиры сидели на них по обе стороны, спиной друг к другу, бочком к лошадям и лицом к тротуарам и вода простегивала их не только сверху, но и со всех прочих сторон, в том числе и из-под колес.

— Это ж чего делается-то? Это ж поля вымокнут, на избах опята вырастут, и вся нечисть болотная возрадуется радостно.

— Потоп. Истинный потоп библейский…

От потопа спасались все как могли, но чаще всего — в собственных ковчегах. Только известная всей Москве таганская дурочка Мокрица приплясывала под дождем и очень радовалась:

— Мрыть Москве мокру! Мрыть Москве мокру!

Вздыхали москвичи:

— Знать, прогневали мы Господа своего…

Видать, и вправду прогневали, потому как в ресторане «Эрмитаж» сам собою круглосуточно начал плакать фонтан, а в Английском клубе, основанном английскими же купцами еще при

Екатерине Великой, родилось и само объяснение всемосковского мокрого бедствия. В комнате первого этажа, именуемой ажидацией, где лакеи, грумы и прочие сопровождающие лица коротали время за чашкой чаю с разговорами в ожидании господ, кто-то изрек в эти самые мокрые дни:

— Всякое непобеждение в войне меняет климат пространства и населения.

И в этом мудром выводе была немалая доля истины, так как не только москвичи, но и вся Россия глубоко и огорчительно переживала неудачу Крымской войны*[2], и никакие частные победы на Кавказе не могли принести никакого облегчения промокшим душам и телам. Бесспорно, героическая оборона Севастополя роняла капли бальзама на израненные патриотические организмы, но истинную радость жизни и великое торжество духа способны приносить только звонкие победы, но никак не громкие обороны. Россия жаждала героев-победителей, и никакая отвага и стойкость героев-защитников не могли утолить этой непереносимой жажды. Потому-то и затрубили вдруг все газеты дружно, бодро и весело, когда пришли первые оглушительные

---

[2] Примечания: 2
См. Комментарии в конце романа.

телеграммы с далекого-предалекого юга. Из Туркестана, о существовании которого вряд ли слыхивал российский обыватель тех времен. 15 июня 1865 года генерал-майор Михаил Григорьевич Черняев*, командуя отрядом численностью в тысяча девятьсот пятьдесят человек и всего-то при двенадцати орудиях, внезапным штурмом взял какой-то там Ташкент, в котором проживало сто тысяч населения, обороняемый тридцатитысячным («отборным», как подчеркивали газеты) войском, имеющим аж шестьдесят три орудия. Правда, совершил он сей героический подвиг, позабыв поставить о своем к нему стремлении начальство в известность, за что и был немедленно уволен со службы, получив, однако, чин генерал-лейтенанта за дерзостную свою отвагу. И все газеты прямо-таки до удушья зашлись в остром приступе патриотического восторга, ни разу не упомянув о досадной принципиальности государя императора Александра II*.

Долгожданные подвиги эти, что вполне естественно, с особой горячностью обсуждались в офицерских собраниях в звоне хрустальных бокалов. Обер-офицерство предчувствовало как будущие победы, так и будущие ордена с профессиональным трепетом и заранее развернутыми

плечами.

— Две тысячи против тридцати! За возрождение, господа!

— Это доказывает теорему высшего воинского мастерства русских генералов!

— Либо безудержное бахвальство нашей прессы.

— Бросьте, Скобелев! Черняев — герой и талант!

— С первым — соглашусь, со вторым — погожу, — усмехнулся молодой офицер в мундире лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. — Полководец доказывает свой талант только второй победой. В противном случае его подвиг — лишь случайная удача авантюриста.

— Завидуете, Скобелев?

— Завидую, — искренне признался гусар. — Но совсем не удаче Черняева, а лишь отваге его. И удача, и успех, и проявление таланта человеческого зависят не столько от него самого, сколько от стечения обстоятельств. А отвага есть всегда проявление воли личности, господа. И потому — за отвагу!

Гусар Мишка Скобелев в юные времена воспринимался окружающими в качествах, так сказать, отдельных. Отдельно — как истый гусар, и вы-

пивоха, добрый приятель без видимых друзей, неутомимый юбочник и лихой дуэлянт. Отдельно — как Скобелев. Как внук рядового солдата, свершившего в Бородинском сражении столь легендарный подвиг, что государь Александр I* в удивлении пожаловал ему и потомственное дворянство, и вечную свою благосклонность, и даже высокий пост коменданта Петропавловской крепости, а его преемник император Николай I* даровал вчерашнему солдату Ивану Никитичу Скобелеву* на этом посту и чин генерала от инфантерии*. Иван Никитич не просто содержал крепость и царскую усыпальницу в образцовом порядке, но и писал весьма популярные рассказы из солдатской жизни под псевдонимом «Русский инвалид», коим и являлся на самом деле, потеряв руку в Бородинском сражении. Его единственный сын Дмитрий Иванович* очень быстро вырос в кавалерийского генерала, известного не только легендарным отцом, но и удивительной даже для Кавказа личной храбростью, заслужившей уважение всех немирных горцев.

А вот внука коменданта-писателя, знакомство с которым Пушкин особо отметил в своем дневнике, названного Михаилом, по сути никто тогда не знал. Мишка получил блестящее образование,

свободно болтал на четырех языках, учителя не могли нахвалиться его способностями, но сам он не спешил претворять эти способности в жизнь. К двадцати двум годам он умудрился закончить в Париже пансион Жирардэ, поучиться на математическом факультете Петербургского университета, послужить в лейб-гвардии Кавалергардском полку и даже побывать в двух заграничных командировках, откуда всякий раз возвращался с иностранными орденами. Так, в Дании, выехав на рекогносцировку с полувзводом улан, бросил в атаку этот полувзвод на пешую колонну немцев, воевавших тогда с Датским Королевством, во главе его врубился в растерявшегося противника, захватил штандарт и ушел с несколькими уцелевшими солдатами. В Сардинии повел на картечь горстку отчаянных головорезов, ворвался на позиции вражеской артиллерии, переколол прислугу и захватил пушку. Дома он, правда, ограничивался дуэлями, почему однажды и вынужден был переметнуться из кавалергардов в гусары. И никто не задумывался, зачем лихому гусарскому офицеру безукоризненное знание иностранных языков, любовь к Бальзаку, Шеридану* и Лермонтову вперемешку с необъяснимой тягой к дамам полусвета, беспро-

будным попойкам и азартной карточной игре. Все воспринимали его таким, каким он казался, не догадываясь, что Скобелев и сам не подозревает, каков же он на самом-то деле.

2

Если в тот год в Великороссии шли слякотные дожди, то в Средней Азии, которая тогда именовалась Туркестаном, а ее жители — киргизами, бухарцами, хивинцами, туркменами и текинцами, стояла жара, как в русской печи. Рубахи русских солдат уже через полчаса насквозь пропитывались потом, который сразу же высыхал, и одежда гремела, как жесть. В России об этом не ведали, но дотошные иностранные журналисты, основываясь на богатом опыте собственных завоеваний, неустанно напоминали, что русский медведь прется не туда, где ему следует быть. За всем этим конечно же стояла Британская империя, впервые в своей колониальной истории беспомощно затоптавшаяся в Афганистане*. Это подогревало интерес читающей публики, и американская газета «Нью-Йорк Геральд» первой сообразила послать собственного корреспондента непосредственно на места боевых действий в немыслимо далекий от Америки Туркестан.

Лучше всего для этой цели подходил невозмутимый и весьма добродушный ирландец Макгахан, заработавший опыт и славу на репортажах, статьях и очерках о нравах Дикого Запада. Ныне предложено было ехать на еще более дикий Восток, и Макгахан подготовился к этому заданию весьма серьезно, захватив с собою боевую английскую двуствольную винтовку, двустволку охотничью, восемнадцатизарядный винчестер, три тяжелых кольта, парочку охотничьих ружей, мексиканскую саблю и мачете. И соответствующее количество боеприпасов. Добравшись до Ташкента, он с удивлением узнал, что на пути стоит препятствие, которое не прошибешь и дюжиной добрых винчестеров.

— Увы, господин корреспондент, придется вам завтра же возвращаться в Россию, — со вздохом сказал чиновник, регистрирующий невоенных господ.

— А, бакшиш. — Макгахан был готов к такому началу разговора, поскольку не поленился ознакомиться с некоторыми национальными особенностями администраторов Российской империи.

— Еще раз — увы, — вторично, но куда более огорчительно вздохнул чиновник. — Существует

приказ, категорически запрещающий всем европейцам вступать в Туркестанскую область.

— Весьма разумный приказ, — согласился Макгахан. — Европейцы склонны всех считать варварами. Но я не принадлежу к европейцам. Я — гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов, что и написано в моем паспорте.

— Северо-Американских?..

— Да, я — американец, а посему никак не подпадаю под действие вашего очень правильного приказа.

Чиновнику ничего не оставалось делать, как выдать соответствующее разрешение не подпадающему под приказ иностранцу. Через четыре дня Макгахан вполне легально выехал на поиски генерала Кауфмана* в район непосредственных боевых действий. На местных лошадях он с проводником и киргизом-коноводом прошел сквозь иссохшие полынные степи, пересек пустыню Кызыл-Кум, благополучно добрался до русских войск под Хивою, где с огромным облегчением и раздарил весь свой арсенал русским офицерам, оставив себе только привычный кольт.

Из Великороссии в Туркестан тоже вдруг заспешили самые различные искатели приключений, азарта и экзотики. Молодые офицеры в жажде

чинов и славы. Певички, хористки, арфистки и дамы полусвета без определенных занятий. Торговцы, газетчики, рисовальщики, картежные шулера, авантюристы всех мастей и калибров, не говоря уже о людях вполне достойных. И среди таковых самым знаменитым был художник с уже мировой славой Василий Васильевич Верещагин*.

Удачная черняевская дерзость расшевелила дремавшие на границах Туркестана русские отряды. Генерал Романовский с четырьмя из них смело атаковал Иджар, где и разгромил сорокатысячную бухарскую армию, потеряв при этом одного солдата. Не останавливаясь, Романовский продолжал развивать успех, взяв штурмом города Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. Воодушевленные этими легкими и быстрыми победами, солдаты тут же сочинили песню, под которую легче было маршировать на адовой жаре:

Вспомним, братцы, про былое,
Как в Чиназе на Дарье
Собиралися мы живо
Бить эмира в Иджаре.

Греми, слава, трубой,

Мы дралися за Дарьей,
По степям твоим, Чиназ,
Разнеслась слава о нас!

Пели громко и весело, однако ни определенного плана военных действий, ни даже единой системы управления еще не существовало, каждый отряд, равно как и каждый генерал, действовали на свой страх и риск, и долго так продолжаться не могло. В конце концов в июле 1867 года император Александр II лично назначил единовластного военачальника и генерал-губернатора всей Туркестанской территории. Царский выбор пал на широко известного как армии, так и всей России генерал-лейтенанта Константина Петровича фон Кауфмана. В истории русских завоеваний Средней Азии открывалась новая страница.

В то время молодой офицер Михаил Скобелев уже учился в Николаевской академии Генерального штаба. Он жадно глотал воинские науки, неизменно получал высокие баллы, но ни дисциплиной, ни усидчивостью, ни даже старательностью не отличался. Теоретические боевые задачи решал весьма своеобразно, частенько ставя в тупик преподавателей, с ответами на экзаменах не задумывался, но отвечал тоже далеко не

так, как того требовали законы академические.

— Противник сильно укрепился в труднодоступной горной местности. — Указка преподавателя с профессиональным изяществом скользила по учебному рельефу. — Вам надлежит ворваться на его позиции. Подумайте и покажите избранный вами маршрут на рельефе.

— Тут. — Скобелев ткнул пальцем в раскрашенный рельеф из папье-маше, не задумавшись ни на секунду.

— Позвольте, это же самое сложное направление. Потрудитесь подумать.

— Думать будет противник, когда я окажусь над его укреплениями с тыла.

— Но по указанному вами пути не пройдет артиллерия!

— Именно поэтому противник меня здесь и не ожидает.

— Но это противоречит всем правилам, признанным военными авторитетами.

— По правилам военных авторитетов воюют только совершеннейшие тупицы.

Именно в академии он и начал получать не одну, как все прочие, а две взаимоисключающие характеристики одновременно. По одной он отмечался как офицер, несомненно обладаю-

щий недюжинными военными способностями, житейской непритязательностью, чувством товарищества и даже скромностью. Зато вторая характеризовала его же как самонадеянного шалопая, выпивоху, буяна и весьма дерзкого нахала. Первая принадлежала академической профессуре, вторая — академическим же преподавателям. Какая из них с наибольшей точностью отвечала действительности, определить было невозможно, потому что обе старательно описывали один и тот же характер с двух точек зрения.

Еще не закончив академического курса, Скобелев заскучал и подал рапорт с просьбой отправить его в зону военных действий, то бишь в Туркестан. Однако отец Дмитрий Иванович вовремя спохватился и заставил строптивого сына отозвать рапорт и терпеливо закончить учение. Скрепя сердце Скобелев подчинился, поднажал, закончил академию в первом списке, дающем право выбора места службы, и на законном основании выбрал Туркестанский военный округ.

Перед отъездом его пригласил заведующий кафедрой тактики академии Генерального штаба, генерал-лейтенант, профессор Михаил Иванович Драгомиров*.

— Я предполагал, что вы ринетесь на театр во-

енных действий при первой же возможности, — сказал он, пригласив Скобелева сесть напротив служебного стола. — Я доволен и недоволен вами одновременно, однако убежден, что вы укрепите мое первое впечатление и перечеркнете второе. Натура вы весьма сложная, оценивают вас, скажу откровенно, с двух взаимоисключающих точек зрения, почему я и позволил себе личное письмо со своей оценкой вашего характера. Письмо это я настоятельно прошу вас вручить от моего имени генералу Кауфману.

— Благодарю, ваше превосходительство, но…

— Никакого «но», ротмистр, — строго сказал Драгомиров. — Пекусь не о вас, а о будущем русской армии. Исходя из этого, позволю несколько советов относительно воспитания ваших завтрашних подчиненных.

Скобелев недовольно нахмурился и вздохнул, а Михаил Иванович улыбнулся.

— И все же прошу выслушать. Задача первая: что должен делать солдат, дабы победа над врагом досталась ему по возможности дешевле. Задача вторая: какое место во всех занятиях солдата должно быть представлено изустным примером, а какое — личным примером командира. И наконец, задача третья: каким образом

различные формы образования солдата слить в мирных упражнениях в одно целое так, чтобы ни одна из них не развивалась за счет другой.

Скобелев смотрел на профессора с искренним удивлением. Он не терпел советов, но то, что говорил генерал Драгомиров, не являлось советами. Ему говорилось о проблемах солдатского воспитания, которые обязан был решать офицер. То есть лично он, ротмистр Скобелев, равно как и все другие поручики и ротмистры, пехотинцы и кавалеристы.

— Письмо прошу лично вручить Константину Петровичу Кауфману, — сказал Драгомиров, вручая конверт. — Расстаюсь с твердой надеждой вскорости встретить вас генералом.

В начале 1868 года выпускник академии Генерального штаба штаб-ротмистр Михаил Скобелев прибыл в столицу генерал-губернаторства город Ташкент. Генерал Кауфман познакомиться с ним не спешил, и конверт с рекомендацией Михаила Ивановича Драгомирова долго валялся на самом дне скобелевского сака*. Штаб-ротмистр быстро обзавелся приятелями, а туркестанские ночи стояли на редкость холодными, и как-то на очередной веселой попойке письмо Драгомирова, адресованное Константину Петровичу, послу-

жило отличной растопкой для спасительного дружеского костра…

3

Человек, которому Российская империя была обязана присоединением жирного куска территории, генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман отличался отменной уравновешенностью, иногда, впрочем, прерываемой приступами вспыльчивости, в которых он тут же искренне раскаивался, отсутствием юмора, но пониманием, что тот в принципе имеет право на существование, и немецкой любовью к порядку. Он не любил офицерского озорства, шумных попоек, а уж тем паче дуэлей, запрещенных, а потому и строго наказуемых, но, как ни странно, не любил и самих наказаний за это нарушение. Он вообще относился к своим подчиненным по-отечески, стараясь выискивать по возможности наказания мягкие, но при этом стремился избавиться от нарушителей спокойствия как можно скорее. Генерал Драгомиров отлично изучил его нрав, отчего вопреки всем правилам и собственным принципам и снабдил строптивого Скобелева рекомендательным письмом, весело сгоревшим на не менее веселой офицерской пи-

рушке в холодную ночь.

В одну из таких темных ночей и случилось событие, послужившее причиной личного знакомства генерал-лейтенанта фон Кауфмана со штаб-ротмистром Михаилом Скобелевым.

Несмотря на многочисленные поражения, неуловимые то ли бухарские, то ли кокандские шайки продолжали активно действовать в тылу русских войск, поскольку никакого фронта не существовало, да и существовать не могло на огромной территории при весьма ограниченной численности русских. Единственным спасением от дерзких налетов служили усиленные кавалерийские разъезды и дозоры, они бдительно охраняли, особенно по ночам, и сам Ташкент, до которого, случалось, добирались особо отчаянные джигиты не столько во имя отмщения, сколько ради угона скота и грабежа мирного населения. И в одну из темных ночей казачий разъезд неожиданно услышал странные крики.

— Середина, что ли? Черт, ну и темнотища! Собственного пистолета не вижу.

— Считайте шаги, поручик!

— А зачем? Мы все равно друг друга не видим. Скорее пистолетами столкнемся…

— Полагается по дуэльному кодексу. Вы когда-

нибудь видели хоть одного сардинца?

— Нет, но сардинки видел. В банках. Хорошая закуска под мадеру, доложу вам…

— А может, ротмистр этот… Скобелев, что ли?.. Выдумал про сардинскую дуэль? Это же глупость несусветная: в кромешной темноте друг в друга палить.

— Зато романтично, господа. Ночь, прохлада, звезды в небе. Командуйте, капитан, командуйте.

— В этакой-то черноте? Может, я к ним, к дуэлянтам, вообще спиной сейчас стою. Или нас с вами, ротмистр, уже и на саму линию огня вынесло. Представляете, если они с двух сторон одновременно из револьверов шарахнут?

— Не тяните время, капитан. Орем на весь Туркестанский край вместо того, чтобы делом заниматься.

— Ну, черт с вами, ротмистр. Слушай команду! Сходитесь! После трех шагов имеете право стрелять. Раз… Два… Три!..

В темноте раз за разом застучали частые револьверные выстрелы. Кто в кого палил, было неясно, но казачий подъесаул приказал своим казакам дать залп в воздух. Наступила тишина, и подъесаул заорал, срывая голос:

— Прекратить стрельбу! Бросить оружие! Вы окружены, в случае неповиновения открываю огонь!..

Вся шумная компания была арестована и препровождена в штаб командующего. Кауфман вообще вставал очень рано, а уж ради такого случая явился незамедлительно и тут же приступил к допросам задержанных, однако штаб-ротмистру Скобелеву пришлось помаяться, поскольку он был вызван последним.

— Штаб-ротмистр Скобелев! Честь имею явиться!

Генерал долго глядел на него прищуренными от недосыпа глазами. Потом спросил с какой-то незаинтересованной ленцой:

— Вы-то хоть бывали в Сардинии?

— Так точно, ваше превосходительство! Награжден орденом, врученным лично Его Величеством королем Сардинии!

— И с какой же мыслью вы придумали эту идиотскую дуэль в кромешной мгле?

— Только ради ее идиотского исполнения, ваше превосходительство.

— Не вполне уразумел. Извольте пояснить.

— Мне хорошо известно, что дуэли категорически воспрещены Его Императорским Ве-

личеством, однако сие абсолютно правильное решение натыкается на преувеличенное представление о чести среди господ офицеров. Исходя из этого я предложил дуэль сардинскую: пальба из полного барабана, но в полной темноте. Это наиболее гуманная из всех дуэлей, известных мне.

— Но ведь ее же не существует в природе, ротмистр, — вздохнул Кауфман.

— Безусловно, ваше превосходительство. Однако никто из офицеров местного гарнизона толком не знает даже, где находится эта самая Сардиния, не говоря уже о ее обычаях.

— Следовательно, выдумали?

— Скорее обдумал, ваше превосходительство. При ясном свете дуэлянт вынужден либо стрелять, подвергая жизнь товарища опасности, либо отказаться от выстрела, неминуемо и навсегда теряя свою честь. А тьма весьма благодетельна. Дуэлянт может пальнуть в небо, сберегая жизнь товарища, либо лечь на землю, сберегая жизнь собственную. Таким образом нарушение императорского запрета обретает форму несколько, так сказать, эфемерную. Осуществляется как бы извечная девичья мечта: получить удовольствие, сохранив невинность.

— Идея, бесспорно, блистательная, — сказал, помолчав, Кауфман, усилием воли сдерживая рвущуюся из-под усов улыбку. — Однако дуэль состоялась и, следовательно, состоялось и дерзкое нарушение категорического запрета государя императора. В самой дуэли вы, правда, участия не принимали, но являлись ее вдохновителем и изобретателем. Что печально, потому что я имею честь быть в дружеских отношениях с вашим батюшкой еще по Кавказу и глубоко чту вашего деда. Получите устный выговор за вдохновение и не вздумайте теперь переносить что-либо из обычаев Датского Королевства на русскую почву. Можете идти, ротмистр. И не болтайте об этом попусту.

Константин Петрович никогда не предавал огласке свои как служебные, так и приватные разговоры, но слух о его беседе с ротмистром Скобелевым все же вырвался из стен кабинета. Виною тому был туповатый адъютант самого командующего, красавец кирасир, сын известного генерала и боевого друга Кауфмана. Потешались над незадачливыми дуэлянтами, попавшимися на скобелевскую удочку, над фарсовостью ситуации, но самого ротмистра, как правило, не задевали. Наоборот, в этом необычном проис-

шествии он выглядел скорее антрепренером, нежели водевильным героем.

Ночные «сардинские» дуэли прекратились, смолкла пальба в темноте, да и сам Скобелев немного угомонился. Во всяком случае, не мелькал без надобности пред начальственными очами. Занимался гусарским полуэскадроном, в котором временно замещал заболевшего командира, и офицерская молодежь поговаривала, что столичный хлыщ поджал хвост после первого же сурового разговора с Константином Петровичем. Однако же тут случилось событие, заслонившее собою все шуточки, сплетни и пересуды.

Дело было и вправду из ряда вон выходящим. Сотня уральских казаков, сопровождавшая перегон купленных для армии верблюдов, попала в окружение, хорошо продуманное и подготовленное командиром кокандского отряда. Окруженная со всех сторон джигитами, сотня вела трехсуточный непрерывный бой с четырьмя тысячами отлично вооруженных кавалеристов, решительно отвергая многочисленные предложения сложить оружие и сдаться на милость победителя. Трое суток без малейшего отдыха, без воды при страшной жаре держались казаки за спинами собственных лошадей, пока не подошла

подмога. Командовал сотней немолодой серьезный есаул Серов, мгновенно ставший самым знаменитым человеком во всем Туркестане.

Скобелеву не терпелось лично засвидетельствовать свое восхищение казакам, но он выждал, когда спадет первый ажиотаж. Ему хотелось потолковать с их командиром, а не просто поздравить уральцев с победой да выпить с ними добрую чарку. А выждав время, пришел. Поклонился казакам, долго, прочувствованно, двумя ладонями тискал руку есаула, выпил, как положено, а потом все же отвел Серова в сторонку ради того разговора, который уже обдумал.

— Как в засаду попал? Неужто дозоры проворонили?

— Наши дозоры кокандцы без шума ножами сняли. — Есаул невесело усмехнулся. — Любопытствуешь?

— Знать хочу. Мне воевать с ними.

— Другое дело. — Есаул спрятал усмешку. — У них текинские кони. По пескам сутки без еды скакать способны. Не уйдешь и не догонишь.

— А вооружены как?

— Эти английские скорострелки имели. И первым делом всех наших коней постреляли.

— На скаку?

— На скаку они стреляют скверно. Но им и не надо было на скаку стрелять. Их винтовки дальнобойнее наших бердан. Так что с седел и палили. Прицельно и не спеша.

— А ты что предпринял?

— Конскими трупами огородился со всех сторон да и залег с казаками.

— Атаковали часто?

— Совсем не атаковали. Измором хотели взять, потому и орали, чтобы мы на милость сдались. А мы, как на грех, без воды оказались, рассчитывали на колодцы впереди.

— Как же вы три дня под солнцем…

— Копыта дохлых лошадей лизали, перед рассветом они мокрыми становятся. Ты учти это, ротмистр, когда всерьез воевать с ними придется.

— Учту непременно. Спасибо за науку, есаул.

— И еще одно, — сказал есаул. — Так, для памяти. Их джигиты у своих убитых коней хвосты отрубают вместе с репицей. Хан за отрезанный хвост нового коня дает. Потому как это — доказательство того, что конь в бою пал. Так что ежели где бесхвостого коня увидишь, знай, что джигиты тут проходили. Воины, а не банды какие.

— Еще раз спасибо тебе большое, есаул. Давай

обнимемся на прощанье.

Казаки получили ордена и медали, сами выбрали казенных лошадей взамен убитых, с удовольствием надели новую форму, подогнали выданное им новенькое снаряжение и ускакали на свои неспокойные рубежи. А Скобелев за это время сдал полуэскадрон выздоровевшему законному командиру и скучно околачивался при оперативном отделе.

Сейчас он избегал былых шумных компаний. Светские сплетни и слухи о том, что бравый гусар перепугался суровой выволочки Кауфмана, доказали, что друзей у него нет, а есть лишь собутыльники да случайные приятели. Кроме того, он все время думал о разговоре с есаулом Серовым, который старательно, слово в слово, занес в специально купленную ради этого толстую тетрадь.

Друг объявился сам. Да не какой-нибудь, а проверенный на совместном пансионном житье в городе Париже. Негромкий, улыбчивый юный княжич Насекин: единственный, к которому все обращались только на «вы», потому что сам князь признавал только такую форму общения даже с прислугой. Скобелев не видел его со времен своего скоротечного обучения в университете, не знал, закончил ли он его, как живет и что

поделывает. И обрадовался его внезапному приходу до того, что даже сграбастал в объятья, хотя знал, что князь не очень-то жалует столь бурные проявления чувств.

— Серж, дорогой вы мой! Вот уж кого не ожидал увидеть в пропыленной глуши нашей, так это — вас. Каким ветром занесло вас в эти Палестины?

— Говоря откровенно, меня об этом попросили, и я сразу же согласился.

— Кто же вас попросил? — поинтересовался Скобелев, слегка уязвленный княжеской прямотой.

— Наш ментор, Скобелев. Монсиньор Жирардэ.

— А… Простите, не очень понял. С какой целью?

— Он немного стесняется своего французского акцента, оттого и пожелал, чтобы я сопровождал его.

— А что у него за надобность в Туркестане?

— По-моему, просьба вашей матушки Ольги Николаевны, отказать которой у него всегда недоставало сил.

Скобелев окончательно запутался во всех причинах и следствиях. Но, сосредоточенно помолчав и основательно подумав, спросил напрямик:

— Значит, уважаемый мэтр Жирардэ прибыл

проверять, как я себя веду? Кто же матушке на ушко нашептал, интересно?

— Я не коллекционирую чужих секретов, Мишель. — Князь улыбнулся бледной усталой улыбкой.

— Прощения прошу, Серж. — Скобелев вздохнул. — Всю жизнь под присмотром хожу.

— Понимаю ваши чувства, Мишель, однако… — Князь Насекин достал хронометр, щелкнул крышкой. — Однако прошу извинить. Через тридцать семь минут наш мэтр ждет нас в ресторане славного города Ташкента.

— Согласитесь, князь, что все это по меньшей мере странно, — недовольно бормотал Скобелев, пристегивая саблю. — Меня воспитывают раньше, чем я даю повод для этого…

Настроение его было вконец испорчено, и он надуто молчал всю дорогу. Насекин молчал тоже, благо до единственного ресторана Ташкента было рукой подать. То ли потому, что в чем-то соглашался с другом, то ли потому, что не соглашался, но, как всегда, не спорил по свойственной ему крайней щепетильности.

Они вошли в небольшой ресторанчик, открытый расторопным армянином в основном для господ офицеров. Еще у входа Скобелев заметил

своего старого наставника, однако месье Жирардэ был не один. Рядом с ним сидел бородатый молодой человек в партикулярном платье*, которого ротмистр сразу же узнал, хотя до сей поры знаком с ним не был, поскольку никто их друг другу не представлял. Это был художник Василий Васильевич Верещагин, которого Кауфман прикомандировал к себе с титулом «состоящего при генерал-губернаторе прапорщика». Увидев вошедших, «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик» тотчас же встал, протянул Скобелеву руку и добродушно улыбнулся:

— А вот и наш гусар-шалунишка!

Скобелева бросило в жар: он терпеть не мог развязной фамильярности. А поскольку застал Верещагина за столом вместе с Жирардэ, то тут же и решил, что именно этому «состоящему при генерал-губернаторе» он и обязан приездом в Ташкент самого Жирардэ. Сухо ответив на рукопожатие, сказал неприязненно:

— Теперь я, кажется, понял, в чем состоят обязанности состоящего при губернаторской особе.

Сейчас уже Верещагина бросило в жар, но он сдержался. И даже заставил себя улыбнуться почти с прежним добродушием:

— Не горячись, Скобелев. И крестись, коли что

кажется.

— Мы уже перешли на «ты»?

— С этого мгновения, — сказал Василий Васильевич. — Питаю необъяснимую слабость к натурам дерзко откровенным.

— Мишель, — по-французски начал было месье Жирардэ, и в тоне его прозвучала мягкая укоризна. — Мы так мило беседовали о Париже…

— Простите, господа, вынужден вас покинуть. — Верещагин поклонился, пошел было к выходу, но остановился: — А ведь мы непременно станем друзьями, гусар. У меня — предчувствие.

И вышел.

— Садитесь, друзья мои, — расстроенно вздохнул Жирардэ. — Никогда не следует горячиться, Мишель. Никогда. Я заказал обед по рекомендации любезного господина Верещагина. Вам необходимо извиниться перед ним, Мишель. Необходимо. И не откладывайте сего благородного поступка в долгий русский ящик.

Скобелев недовольно фыркнул, но промолчал.

Глава вторая

1

Двадцатитрехлетний художник Василий Васильевич Верещагин возвращался домой в странном, каком-то раздвоенном настроении. С одной стороны, он чувствовал себя оскорбленным каким-то неясным для него, но явно гнусным подозрением, а с другой — был в известной мере очарован дерзкой искренностью молодого ротмистра. Он всегда высоко ценил человеческую откровенность, и потому это «второе» и перевешивало сейчас «первое» в его душе. Он и себя считал человеком порывистым, готовым на поступки необдуманные, продиктованные куда чаще темпераментом, нежели рассудком, но был скорее человеком решительным, правда, не терял при этом способности поступать порою импульсивно. Например, он сжег три свои картины («Забытый», «Окружили — преследуют» и «Вошли») более под влиянием минуты, чем после зрелого размышления.

Как только он прибыл в Ташкент, Кауфман прикомандировал его к себе с титулом «состоящий при генерал-губернаторе прапорщик Верещагин» только ради того, чтобы дать ему как можно больше свободы ходить, смотреть и рисовать не

только быт, но и боевые действия без придирок местных командиров. И в том огромном военном лагере, который тогда представлял собою Туркестан, это оказалось огромным преимуществом, которое Верещагин весьма быстро оценил.

Он впервые приметил ротмистра Скобелева на скромной выставке собственных рисунков, организованной Кауфманом, и молодой гусар ему понравился. А приметил потому, что уже был наслышан и о безудержных попойках Мишки Скобелева, и о суточных карточных играх, и в особенности о «сардинских» дуэлях, юмор которых оценил по достоинству. Ничем иным Скобелев тогда не выделялся и мог только мечтать о той воинской славе, которая досталась художнику Верещагину.

Василий Васильевич приехал в Самарканд на второй день после его сдачи русским войскам и был, по его собственному признанию, «ослеплен и подавлен» красотою древней столицы Тимура*. Он бродил по городу и разъезжал по окрестностям, поражаясь, удивляясь и бесконечно зарисовывая увиденное. Помощник самаркандского коменданта майор Сергеев напрасно умолял его не рисковать жизнью понапрасну, но Василий Васильевич не обращал ни малейшего внимания

на его предостережения и уговоры, ежедневно с раннего утра, а то и лунной ночью продолжая смотреть, удивляться и — рисовать.

Однако напряженные отношения с Бухарой не позволяли генералу Кауфману долго оставаться в городе. Он двинулся вперед с отрядом в полторы тысячи человек, оставив в Самарканде гарнизон численностью около пятисот солдат и офицеров под командованием коменданта барона Штемпеля. Очарованный древней Маракандой*, Верещагин не последовал за войсками, с прежним упорством бродя по узким улочкам, не уставая восхищаться великолепием мечетей, дворцов и гробниц. Однако через несколько дней, когда он, утомленный утренней прогулкой, пил чай в доме, в котором его поселили, внезапно раздались выстрелы и дикие крики: «Урр!..» Схватив револьвер, он бросился на шум.

Как потом выяснилось, около двадцати пяти тысяч восставших узбеков по сговору с самаркандцами ворвались в город и завязали бои на его узких и тесных улочках. И бои эти длились восемь дней без малейшего перерыва.

Верещагин успевал всюду. Отбивал бешеные атаки восставших, отстреливался, вспомнив выучку в Морском корпусе, несколько раз схва-

тывался врукопашную и только чудом выходил из боя живым. Однажды его схватили и затащили в лавочку, но подоспевшие солдаты успели его отбить.

Одна из внезапных атак неприятеля на артиллерийскую батарею оказалась особенно грозной. Солдаты дрогнули и заметались, их командир полковник Назаров напрасно кричал и даже бил их шашкой, это только усиливало панику. Тогда Василий Васильевич сам бросился вперед с ружьем наперевес:

— За мной, братцы!..

Рядом с ним было убито около сорока человек, все парусиновое пальто его было залито кровью: с того дня он ходил в атаки в одной рубашке и холщовых штанах. Поярковую шляпу* его сбило пулей, и Верещагин вынужден был надеть на голову чехол от офицерской фуражки, чтобы уберечься от беспощадного туркестанского солнца. Однажды пуля ударила в ложе винтовки, которую в этот момент он, по счастью, нес поперек груди, камнем разбило ногу, да так, что кровь с трудом остановили. Отчаянный штурм продолжался восемь дней и восемь ночей без единого перерыва; силы защитников были уже за пределом человеческих возможностей, и на

военном совете решено было взорвать крепость в случае прорыва противника. Против решительно выступил только Василий Васильевич:

— Взорвать всех — проще простого и как-то уж очень по-военному. Но в крепости Самарканда не только военные и не только русские. Здесь укрылись и армяне, и мирные киргизы, и евреи, и Богвесть, кто еще, но все — с семьями. С женами, детьми, стариками. Вправе ли мы жизнью их распоряжаться? Думаю, что нет у нас такого права.

— Да их все равно перережут, Василь Васильич! — вздохнул полковник Назаров. — Нет, не прав ты. Ради чести воинской, ради знамен и пушек, которые потом по нашим же стрелять будут, мы должны взорвать всю крепость, когда своей крепости не хватит.

— Всех перережут? — тихо спросил Верещагин, и все примолкли. — Откуда уверенность такая, полковник? Да если хоть один мальчонка, хоть девочка одна крохотная уцелеет, и то — благо великое. Нет таких крепостей, чтобы ради их взрыва, ради чести, знамен да пушек хотя бы один безвинный ребенок погиб!

Весь гарнизон, все, спрятавшиеся в крепости, звали Верещагина одинаково: «Василь Васильич», как самого близкого, почти родного

человека. Он таким и был. Несмотря на страшную усталость, перевязывал раненых, находил ободряющие слова для растерявшихся и даже умудрялся хоронить убитых.

— Я не помню, чтобы я спал, — говорил он впоследствии. — Порой проваливался в черноту, но никак не более чем на полчаса.

Пять раз посылали вестников из мирных киргизов, что тоже прятались в крепости вместе с семьями, и четыре раза их отрубленные головы осаждающие перебрасывали через стены обратно в крепость. До Кауфмана добрался только пятый, который и передал ему написанную по-немецки записку от коменданта барона Штемпеля: «Гарнизон в крайности. Более половины людей перебито и перерезано. Нет ни воды, ни соли». Кауфман немедленно двинулся к Самарканду форсированным маршем, поднял на штыки осаждавших, сжег базар, и только тогда распахнулись крепостные ворота.

— Наибольшим героем осады показал себя состоящий при вашей особе прапорщик Верещагин.

Таковы были первые слова коменданта крепости дважды раненного барона Штемпеля. Прежде официального рапорта.

— Верно, ваше высокопревосходительство, — прохрипел тяжело опиравшийся на винтовку унтер. — Раньше чем нашему Василь Васильичу никому крестов давать невозможно.

— А где же сам Верещагин? — удивленно спросил Константин Петрович оглядываясь.

Бросились искать, но нашли с трудом. Василий Васильевич крепко спал в углу прохладного каземата. А когда его, не проспавшегося, доставили в штаб, где генерал Кауфман при всех объявил ему личную благодарность, заявил:

— А вот у меня нет к вам никакой благодарности. Вы ушли, крепость не устроивши.

У Константина Петровича хватило ума и такта не обратить на эту дерзость никакого внимания. И спокойно продолжить тем же задушевным тоном:

— Высоко ценя вашу храбрость и преданность государю, я решил ходатайствовать перед Его Императорским Величеством о награждении вас офицерским Георгиевским крестом, уважаемый Василий Васильевич.

— Вот уж нет! — закричал вдруг Верещагин. — Нет, нет и нет! Откажусь прилюдно и со скандалом!

Теперь пришла очередь свирепеть Кауфману.

Вначале он просто орал, но Верещагин тоже орал в ответ. Тогда Константин Петрович переменил тон и начал его уговаривать, но упрямый, грязный, не выспавшийся и бесконечно усталый художник упорно твердил свое. Кауфман замолчал, сдвинул брови и пошел прямо на Василия Васильевича. Верещагин примолк и начал пятиться, пока не уперся спиной в стену. И как только это случилось, генерал молча снял офицерский Георгиевский крест с собственной груди и нацепил его на Верещагина.

— Я носил его пятнадцать лет с честью и достоинством. Посмейте только снять!

2

Об этой истории поведал Жирардэ в общих чертах еще за обедом: подробности Скобелев узнал от самого Василия Васильевича позднее, когда они и вправду подружились. Но и услышанного сейчас было достаточно, чтобы обозвать себя дураком и надуто слушать нравоучения достопочтенного мэтра.

— Простите, мой дорогой, но как вам могла прийти в голову идея какой-то странной дуэли в полной темноте? Шутка весьма дурного вкуса, о чем его высокопревосходительство и уведомил

вашего батюшку в специальном послании. Ваш батюшка написал ответное письмо, которое зачитал мне.

— И что же он пишет? — угрюмо поинтересовался Скобелев.

— Он просит его высокопревосходительство не держать вас более в Ташкенте, а командировать в отряды, действующие против номадов*. А матушка просила справиться о вашем здоровье и питании. Кроме того, она прислала вам посылку…

В посылке из отчего дома оказалось и отцовское вложение: бутылка отменного коньяка, что весьма обрадовало беспутного сына. В тот же вечер, едва проводив месье Жирардэ до снятого им номера в гостинице, ротмистр сунул завернутую в бумагу бутылку под мышку и отправился разыскивать Василия Васильевича.

Верещагин встретил его в изрядно перемазанном красками халате, но, видимо, со сна, а не от мольберта, и потому выглядел несколько недовольным, сказал:

— А!..

— Вот именно, — проворчал Скобелев и поставил на заваленный рисунками стол заветную отцовскую бутылку. — Давай мириться, Вереща-

гин. Я был свински не прав.

— Мириться готов, только не за этим столом. — Василий Васильевич первым делом переставил бутылку, мгновенно оценив ее. — Неплохой коньячок нам предстоит, ротмистр. Правда, пить придется из кружек. Это тебя не слишком огорчит?

— Было бы что пить.

— Тут мы с тобой сходимся. — Верещагин притащил две солдатские кружки, кое-какую снедь и расположил все это на измазанной засохшими красками какой-то подставке. — Закуска, конечно, не ахти, но ты уж извини вольного художника.

Он сам деловито открыл бутылку, плеснул в стаканы.

— Ну?

— Прощаешь?

— Я, Мишка, искренность превыше всех качеств человеческих ценю, потому как Россия врет. Врет вся сплошь и сплошь беспардонно, привычно и равнодушно.

Они со вкусом выпили, со вкусом закусили. И только после этого Скобелев спросил:

— А где твой офицерский Георгий?

— Где-то в ящике валяется.

— Зачем же? Я свои ношу. Вот этот — Датского Королевства, а этот пожалован мне королем Сардинии.

— На мундире ордена смотрятся. А на блузе художника — извини, вроде блямбы не по чину.

— Надо по второй винной порции принять непременно, — вздохнул Скобелев. — Разговор — как на светском рауте. А мне хотелось бы по душам.

— Ну, давай по душам.

Приняли по второй и почему-то замолчали. Потом ротмистр спросил, не весьма, впрочем, уверенно:

— Ты знал, что смел до отчаянности?

— Знал? — Верещагин пожал плечами. — Нет. Скорее, наоборот. Я в детстве темного леса боялся. Особенно когда кругом — одни матерые ели. И — ветер. А они шумят и лапами машут.

— А в рукопашной как же? Там ведь не лапами, там саблями машут.

— А о тебе вон солдаты легенды складывают.

— Там — другое, там лица видны. Знаешь, я совершенно отчетливо помню свирепые, перекошенные какие-то рыла. Помню красные отблески пожаров на солдатских штыках и до сей поры слышу хриплые, сорванные крики офицеров,

подававших команды. И, поверишь ли, какой-то голос будто шептал мне: «Ты не погибнешь. Ты все запомнишь, что увидишь, и нарисуешь потом в своих картинах».

— А что же тогда, по-твоему, воинская храбрость?

— Храбрость?.. — Верещагин снова пожал плечами, что было его любимым жестом в затруднительных обстоятельствах. — Что-то особо яростными храбрецами мне они не показались. По-моему, тот, кто ярость и злобу свою сумел волею своей в себе подавить, кто и в бою ума не теряет, только тот воистину храбр. Мне, Миша, отец в детстве еще про деда твоего рассказывал, как он в атаку полк за собою вел в битве под Бородином. Ведь не темная же ярость его вела? Как считаешь?

— Не знаю, что тебе и сказать… — Скобелев неуверенно улыбнулся.

— У нас на Руси издавна храбрость да отвага воинская превыше всего ценятся. Может, об этом он думал? Он же все уже доказал, и себе, и всем. Полк уж догнал его, дед ранен был, а все равно бежал. Не потому ли он, уж обессилев, уж еле на ногах держась, на врага бежал, что о своем же будущем думал? О сыновьях, обо мне.

— Мистика какая-то.

— Может, и мистика, а только отец у меня — генерал, я Академию Генерального штаба закончил, карьера впереди, если сам ее не испорчу. Я ведь — крестьянский внук, Вася. Мои сестры — тоже, естественно, внучки крестьянские — и того больше. Одна — графиня, вторая — княгиня, а третья аж за герцога Лейхтенбергского замуж выходит. Не об их ли счастье дед мой Иван Никитич думал, когда, кровью истекая, искалеченным на противника бежал и бежал?.. Вот о чем я иногда задумываюсь, а это очень опасно, потому что военный человек только над картами задумываться должен.

— Над картой или над картами, гусар? — улыбнулся Василий Васильевич.

— Как над теми, так и над другими! — рассмеялся Скобелев. — Наливай, Вася, добрый коньяк кровь полирует…

Отполировали кровь полукружечками, помолчали. Потом гость сказал задумчиво:

— В серьезных делах мне еще бывать не приходилось, но в тех налетах, которые на мою долю достались, мне празднично было. Будто бережет меня кто-то, будто и пуля та еще не отлита, и сабля та еще не откована, которые душу из меня

выпустят. Странно все это, Вася, не правда ли?

— Наверно, это и есть храбрость прирожденная, — сказал Верещагин, подумав. — Для тебя и бой — праздник, а для меня — тяжкая необходимость. О себе я не думал, не до того было. Крики, стоны, вопли кругом нечеловеческие, какой уж тут праздник, когда вокруг страдания да кровища.

— Но в то, что уцелеешь, ты верил и в этой кровище. Ведь верил же, верил!..

— Говорил я уже про голос. — Василий Васильевич помолчал и вздохнул. — Только за все кредиты, Михаил, рано или поздно расплачиваться приходится.

— И часто ты думаешь об этом?

— Если и шевельнется такая мысль хоть на миг единый, тотчас же из себя ее гоню, — очень серьезно сказал Верещагин. — И ты, Скобелев, гони ее беспощадно. Чему быть, то и должно быть, того не миновать. Вот за это и выпьем.

— За миг единый? — улыбнулся ротмистр.

— В таком миге вся жизнь, Мишка. Только он и ослепляет. Остальное — серенькое.

Оба встали и весьма торжественно чокнулись оловянными солдатскими кружками.

3

Вскоре месье Жирардэ решил воротиться в Москву. Не только для того чтобы, как он выразился, засвидетельствовать Ольге Николаевне свое глубочайшее уважение, но и заверить ее, что любимый сын не дает ни малейших поводов для беспокойства. Михаил Дмитриевич очень любил и почитал своего учителя и воспитателя, но был рад его отъезду. Он не выносил «надзора за собой», как он выражался, даже со стороны весьма близких людей.

Поэтому его неприятно насторожило желание князя Насекина остаться в Ташкенте на неопределенное время. Скобелев заподозрил в этом желании тот же элемент надзора, прямо спросил Насекина об этом, но князь лишь смущенно улыбнулся:

— Господь с вами, Мишель, я не гожусь на подобные роли. А причина, почему я решил остаться, весьма прозаична и проста, хотя и представляется мне сегодня чрезвычайно благородной. Вот почему мне показалось, что именно здесь, на воюющей окраине, я наконец-то найду занятие по душе.

— Уж не решили ли вы, Серж, записаться в

Туркестанскую армию волонтером?

— И на это я не гожусь. Однако здесь столько больных, раненых да и просто неприкаянных людей, что я решился открыть в Ташкенте нечто вроде Дома призрения с лечебницей при нем. Кажется, это единственная сфера, где мое состояние, связи да и я сам можем принести посильную помощь.

Они беседовали в том же единственном ресторане, в котором недавно Скобелев познакомился с Верещагиным. Пришли сюда пообедать после проводов месье Жирардэ, выпили по рюмке за его счастливую дорогу, но потом бутылку Скобелев приканчивал в одиночестве.

— Что вы намереваетесь делать вечером, Мишель?

— Вечером я намереваюсь навестить некую весьма аппетитную брюнетку. В присутствии ментора я воздерживался от подобных визитов, но длительный пост — не для меня. Если желаете, можем пойти вместе: у нее найдется очаровательная подружка.

Князь улыбнулся бледной улыбкой:

— Увы, мой друг. Я ценю дамское общество, но предпочитаю дам скромных и умных дамам, приятным во всех отношениях.

— Мы с вами — полная противоположность решительно во всем, — вздохнул Скобелев. — Если вы — образец, то я, представьте себе, устроен наоборот. Вполне возможно, что во всем виновато первое общение с особами женского пола, кто знает. Только так случилось, что лет двенадцати от роду, что ли, я до безумия влюбился в девочку моего возраста, дочь соседнего помещика. Мы мило играли с нею, пока я однажды не почувствовал, что буквально сгораю от желания наброситься на эту милую воспитанную скромную девочку, как зверь. Тогда я убежал от нее, но не спал всю ночь, боясь, что проснусь с тем же звериным желанием. И валялся в кровати, изнемогая от безумного внутреннего перенапряжения: вам, Серж, уверен, тоже знакомо это отроческое чувство пробуждения. И тут вдруг вошла горничная, довольно миловидная девица лет этак восемнадцати. Она что-то сказала, но совершенно не помню, что именно, потому что я вскочил и бросился на нее головой вперед. Я рычал, плакал и бодал ее пышную грудь собственным лбом, пока не прижал к стене. Не знаю, что было бы далее, если бы она испугалась или закричала. Но она не испугалась и не закричала, а все поняла. И приняла мой порыв с лаской и полным сочувствием, быстро

и вполне достойно избавив меня от всех моих внутренних дьявольских мучений. И с той поры я чувствую себя невероятно скованным и неуклюжим в обществе умненьких скромных девиц и блаженствую в окружении непритязательных представительниц полусвета. И тут уж, видно, ничего не поделаешь: по всей вероятности, детский опыт закрепляется на всю жизнь.

— Из вашего признания следует, что мы оба в чем-то ущербные люди, — улыбнулся князь.

Уже на следующий день Скобелев неожиданно был вызван к генералу Кауфману. Константин Петрович был строг и настолько деловит, что даже не предложил сесть.

— Мне вовремя подсказали, что вы истомились в бездействии, ротмистр. Завтра возглавите поисковую группу и выедете к колодцам Орта-Кую. Вам надлежит проверить идущую там караванную дорогу в обе стороны, но не более как на пять верст. В сражения не ввязываться, даже если противник покажется вам малочисленным.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

— Меня интересуют возможные перемещения хивинских и кокандских отрядов, как таковых. Численность — дело второстепенное, основное — направление движения подобных отрядов.

Приказ был довольно расплывчатым, и ротмистр отлично понял, что его проверяют в первом самостоятельном деле. Это несколько обижало самолюбивого Скобелева, но к предстоящему походу он подготовился с особым тщанием. Весь день просидел в топографическом отделе штаба, пока досконально не разобрался в немыслимом переплетении караванных троп. До такой степени, что был способен теперь, не задумываясь, набросать их по памяти.

На другой день он спозаранку выехал во главе сборного отряда, состоящего из гусарского полуэскадрона и полусотни уральских казаков. Гнал он их быстро и беспощадно, не обращаясь к проводнику из местных, а полагаясь на собственную зрительную память и точность штабных карт. Топографы не подвели, и конная группа прибыла к указанным Кауфманом колодцам, возле которых никого не оказалось. Однако свежих конских следов было достаточно, и пожилой уральский урядник долго разглядывал их.

— Наметом шли, — доложил он Скобелеву. — Один конь на правую переднюю заметно припадает, но гнали и его, чтоб от других не отстал. Стало быть, уходили от кого-то, твое благородие, но от кого, не поймешь, других следов нет.

— Вот и глянем, от кого они уходили, — решил Скобелев. — Усилить дозоры, урядника с пятеркой казаков — вперед. И глядеть в оба, ребята.

Версты через три урядник, командовавший головным дозором, прислал казака сообщить, что наткнулся на место боя, но никакого неприятеля не обнаружил. Скобелев тут же приказал разворачиваться, и галопом помчался вслед за посланцем.

Вскоре за барханом открылся высохший до звона копыт такыр*. На нем валялось с десяток конских трупов, уже вздувшихся от страшной жары, но ни человеческих тел, ни обломков оружия, ни каких бы то ни было посторонних предметов Скобелев не заметил. С седла он поначалу вообще не разглядел ни людских следов, ни отпечатков конских копыт, но в некоторых местах все же приметил пятна засохшей, побуревшей до черноты крови. Спешившийся урядник, доселе внимательно оглядывавший такыр, подошел с докладом:

— Похоже, рубка была, твое благородие. Но скоротечная и какая-то не очень, чтобы уверенная. Вроде как нечаянно друг на друга напоролись, порубились в спешке да и разбежались.

— И никого не убили?

— Может, и никого, а может, и с собой увезли. Коли хоть какая возможность есть, они своих мертвых не бросают. Говорили мне, будто Коран им не велит.

— Много их было?

— По следам определить трудно, такыр затвердел, отпечатки слабые. Может, сотня, а может, и все полтысячи. Видать, дикие отряды друг на друга напоролись, порубились нехотя, да и разбежались от греха.

Скобелев спрыгнул с седла, бросил поводья коноводу, прошелся, внимательно вглядываясь. Следов почти не было заметно, а те, что все же кое-где отпечатались, оказались бессистемными и запутанными. Понять, кто на кого наткнулся и кто куда убежал после скоротечной рубки, было совершенно невозможно. Ротмистр оставил это занятие и пошел к лошадиным трупам, уже вонявшим на палящем солнце. Он хорошо помнил слова отважного есаула Серова, сказанные как бы между прочим, для памяти. И действительно, у трех мертвых коней хвосты были отрублены вместе с репицей.

— Дикие, говоришь? — спросил он. — Нет, урядник, с одной стороны ханский отряд шел. То ли хивинский, то ли кокандский. Видишь отрублен-

ные хвосты?

— А, которые они для отчета с собой увозят? Точно, твое благородие, ханские джигиты.

— Выруби-ка мне кусок хребта с отрубленной репицей. Тоже для отчета: я его генералу Кауфману покажу. Пусть подумает, кто и куда тут мог двигаться.

Урядник ловко, двумя ударами вырубил хвостовой отросток конского хребта, раздобыл у казаков кусок драного полотна, завернул, протянул Скобелеву:

— Пованивает.

— Ничего, потерпим.

Ротмистр приторочил сверток к седлу, вскочил на коня.

— Поторопимся, служивые. Донесение у нас важное, не зря на солнце парились.

4

Чрезвычайно довольный удачной, с его точки зрения, рекогносцировкой, ротмистр Скобелев спорым маршем вернулся в Ташкент. И сразу прошел в штаб, чтобы тут же доложить генералу Кауфману не только обстановку, но и свои соображения. Эти соображения опирались на сверток, издававший весьма неприятный запах,

почему ретивый ротмистр и нес его несколько на отлете.

Однако генерала на месте не оказалось. Его адъютант, молодой долдон-кирасир, улыбнулся не без ехидства, которое всегда неприятно задевало Скобелева.

— Не ждали вас так рано, ротмистр. Уж больно вы шустро отделались. Его превосходительство будет к вечеру, но сможет принять вас только завтра.

— Передайте его превосходительству мой письменный рапорт и непременно вместе с этой посылкой.

Он тут же написал краткий, но весьма емкий отчет о результатах рекогносцировки, закончив его несколько таинственно: «Основной вывод заключается в прилагаемой к сему рапорту посылке. Ваш огромный опыт сам подскажет вам надлежащие выводы».

Это была довольно самонадеянная и достаточно хвастливая концовка, но Скобелев не смог удержаться. Уж очень ему не по душе была снисходительность, которую он ощущал в генеральском отношении к собственной особе.

— Я в штаб, — сказал он, вручая кирасиру рапорт и вонючий сувенир. — Необходимо кое-что

проверить, о чем и прошу уведомить его превосходительство.

— Непременно-с, — расшаркался адъютант. — Мы понимаем: столичное образование налагает известные обязательства. Например, получать советы штаба ранее заключения командующего.

— Вот уж вас это совершенно не касается, — отпарировал Скобелев и тут же вышел.

Ротмистр был приписан к оперативному отделу штаба, так сказать, по официальному штабному образованию, поскольку грамотных штабистов на окраинах империи всегда недоставало. Однако крупномасштабных действий войска не вели, локальные сражения, а уж тем паче мелкие стычки в штабных разработках не очень-то нуждались, и Скобелев постоянно ощущал себя воистину приписанным к чему-то абсолютно ненужному в этих условиях. Однако Михаил Дмитриевич был на редкость любознателен, времени зря не терял и завел прочные приятельские отношения с топографами, желая узнать о театре военных действий как можно больше. Любознательность всяко поощрялась, Скобелеву с удовольствием показывали карты и схемы, знакомили с расположением колодцев и объясняли, какова разница между такырами и, скажем, шорами* и какие

из них представляют опасность в туркестанские зимы, а какие — в туркестанскую жару. Это было и поучительно, и интересно, однако в тот день Михаил Дмитриевич спешил не только затем, чтобы получить подсказку, куда именно мог двигаться так и не обнаруженный им отряд, но и проверить слова есаула Серова: он вдруг подумал, а не является ли есауловский рассказ типичной казачьей байкой.

Однако специалистов-этнографов в оперативном отделе не водилось, кто-то подтверждал слова Серова, а кто-то над ними посмеивался, и Скобелев вскоре ушел ни с чем, так как наступил конец всякого присутствия. Он пошел было разыскивать Верещагина, но Василий Васильевич тоже пропадал неизвестно где (Скобелев решил, что он отправился с генералом Кауфманом), время было уже позднее, голод давал о себе знать после целого дня скачек по жаре, и Скобелев, поразмыслив, пошел в ресторан.

В полутемном зале слышались крики, смех и звон бокалов. Все плавало в табачном дыму, свободных мест видно не было, но Михаила Дмитриевича здесь знали отлично, почему и поставили для него отдельный столик за легкой занавеской. Он заказал обильный ужин, бутылку

местной араки* и с аппетитом накинулся на еду.

Шум был таким, что первое время он вообще не различал отдельных голосов. Голоса стали доноситься до него, когда он утолил первый голод, и доносились они из-за занавески.

— …а в мешковине — конская кость. Вонища страшная, господа, до спазмов в горле! Ну, я ее, естественно, приказал солдатику закопать подальше от генеральской резиденции…

— Для холодца, что ли, он ее с собой приволок?

— Вполне возможно, только протух этот припас до, так сказать, вопиющего состояния. И состояние это орало, если можно так выразиться, на весь особняк.

— Говорят, в столице входит в моду китайская кухня. Кто-то в Петербург даже тухлые яйца привез.

Болтали подвыпившие офицеры, и голос одного из них — того, который вел основную партию, — показался Скобелеву знакомым. Он осторожно отодвинул край занавески: за соседним столиком спиной к нему сидел адъютант Кауфмана в цивильном костюме, туго натянувшемся на богатырских плечах.

— А затем, нанюхавшись доставленного из командировки аромату, дерзнул я, господа, лично

ознакомиться с рапортом Скобелева. И, представьте, обнаружил тоже, так сказать, некоторое амбре, которым прямо-таки несло от него.

— Что-что ты обнаружил, Лешка?

— Неуемную штабную и весьма дурно пахнущую хвастливость. Выезжает академический офицерик в первую рекогносцировку и в первой же рекогносцировке обнаруживает скрытые переброски хивинской кавалерии. Ну, никому до сей поры такая удача не улыбалась, а штаб-ротмистру Скобелеву — вы только представьте себе — с первой попытки!

— С чего ты взял? Может, в той посылке и заключалось что-то дельное.

— Ничего в ней не заключалось, кроме куска тухлятины. Я тем же вечером передал генералу скобелевский рапорт, а он распорядился срочно доставить к нему уральского урядника, что был с ротмистром на рекогносцировке. И урядник при мне доложил, что никаких туземцев они и в глаза не видели, а обнаружили лишь место схватки кого-то с кем-то да семь дохлых лошадей.

— Выходит, нафантазировал столичный хлыщ?

— Наврал, а не нафантазировал!..

Скобелев резко поднялся, отдернул занавеску

и шагнул к соседнему офицерскому столику. Сидевшие за ним офицеры растерянно примолкли, и ротмистр отчеканил, перекрывая ресторанный шум:

— Извольте немедленно и публично принести мне свои глубочайшие извинения, господин адъютант.

Кирасир медленно поднялся. Обвел глазами своих знакомцев, неприятно ухмыльнулся:

— В чем же, господин… Назовем вас фантазером из уважения к погонам?

— В том, что вы — негодяй, подлец и болтун. Впрочем, извинений ваших уже не требуется. Жду секундантов не позднее вторника.

Ресторан примолк. Скобелев секунду промедлил и вышел чуть ли не строевым шагом.

5

Смертельно оскорбленный ротмистр отложил появление секундантов до вторника, исходя из двух соображений. Во-первых, он хотел еще до дуэли объяснить Кауфману, какую улику распорядился уничтожить его разлюбезный адъютант, а во-вторых, ожидал возвращения Верещагина, которого намеревался пригласить в качестве собственного секунданта. Однако Константин

Петрович его не принял (Скобелев подозревал в этом небрежении козни кирасира-адъютанта), Верещагина нигде разыскать так и не удалось, и пришлось обратиться со столь щекотливой просьбой к князю Насекину, с увлечением продолжавшему устраивать приют для страждущих с больничкой при нем.

— Не обижусь, коли вы откажетесь, Серж, — сказал Скобелев очень серьезно. — В воздух стрелять я не намерен, а посему дело замять не удастся. Меня, по всей вероятности, разжалуют, а вас просто-напросто выдворят из пределов Туркестанского генерал-губернаторства.

— Вы намерены убить его, Мишель?

— Да нет, — досадливо поморщился ротмистр. — Жалко дурака, он еще детишек наплодить сможет. Так, подстрелю слегка, чтобы из армии выперли.

— Тогда полностью располагайте мною. Только растолкуйте, что я должен делать.

— Полагаю, что сегодня адъютант его превосходительства пришлет секундантов: он — редкостный болван, но честью все же дорожит. Если не своей, то по крайней мере отцовской. Вы должны отстоять два условия, князь, и пожалуйста, будьте в этом упрямы, как мул.

— Я вообще упрям. Каковы же условия?

— Основное: дуэль — по-сардински, благо, завтра начинается новолуние. Стреляться из револьверов с полными барабанами до первой крови.

— Ну а если во тьме все пули уйдут в темные небеса?

— Тогда — либо его публичное извинение, либо — вторично по полному барабану.

Секунданты кирасира приняли все условия. Скобелев, зная о связях адъютанта, опасался, что дуэлянтов изловит внеочередной дозор, но кирасир, как выяснилось, обладал кое-какими приличными свойствами, и они прибыли на место «сардинского» поединка без осложнений.

— Спросите, князь, моего противника, не согласен ли он до начала перестрелки извиниться передо мною. Темнота скроет краску стыда на его холеном лице.

— Никаких извинений! — крикнул адъютант в ответ на предложение Насекина. — Я принял ваши условия, ротмистр, этого, полагаю, вполне достаточно.

— Пожалеете, — проворчал Скобелев, получив от секундантов заряженный револьвер.

— Прошу, князь, проводить господ дуэлянтов

на оговоренные места, — недовольно вздохнув, сказал секундант кирасира. — Я дам команду, когда вы вернетесь.

— Следуйте за мною, господа.

Светя под ноги фонарем, Насекин отвел молчаливых противников на оговоренные места, еще раз напомнил, что открывать огонь следует по команде, а палить по желанию, и вернулся на исходное место, где стояли лошади, пролетка и доктор с секундантом кирасира.

— Дуэлянты на позициях, капитан, — доложил он. — Извольте подать команду.

— Ох, не люблю я этого развлечения, — вздохнул доктор.

— Пустое дело, — усмехнулся капитан. — В этакой темноте собственной руки не видно. Выпустят по десятку патронов и замирятся. Готовы, господа? На счет «три» можете открывать огонь. Изготовились! Раз! Два! Три!..

Два выстрела раздались почти одновременно, и сразу же раздался болезненный выкрик:

— Я ранен!..

На какое-то время все растерялись, ожидая то ли выстрелов, то ли криков о помощи. Из темноты послышалось:

— Черт… Ногу прострелил…

Врач с саквояжем и князь Насекин с факелом тут же убежали в темноту. Оттуда же, но чуть со стороны появился и Скобелев. Протянул капитану револьвер:

— Больше претензий не имею.

— Как же вы попали в него в этакой-то темнотище, ротмистр? — удивленно спросил секундант раненого кирасира.

— Случайно.

У адъютанта генерал-губернатора Кауфмана оказалось простреленным бедро. Доктор перевязал его на месте, вдвоем с князем они отнесли его в карету. Капитан поехал вместе с раненым, Скобелев с Насекиным возвращались одни.

— Вы и впрямь случайно попали в него, Мишель? Или вам знаком какой-то секрет этой дурацкой дуэли?

— Кто его знает, — усмехнулся Скобелев. — Признаться, я ждал его первого выстрела, понимая, что он не выдержит и пальнет поскорее. Как правило, у виноватых быстро сдают нервы. Ну, до этого, естественно, рост его прикинул, манеру стрельбы. Ждал выстрела и нажал на курок, как только увидел вспышку.

На следующий день генерал Кауфман нашел время вызвать ротмистра Скобелева прямо с

утра. Михаила Дмитриевича проводил в кабинет новый адъютант, у которого он по дороге поинтересовался здоровьем кирасира.

— Через полмесяца бегать будет, — улыбнулся адъютант. — Вы ему сознательно кость не перебили?

Константин Петрович был хмур и озабочен. Молча выслушал представление Скобелева, садиться не предложил, но и сам не сидел, а медленно прохаживался по кабинету.

— Мне надоели ваши выходки, ротмистр. — Он вздохнул. — Офицер не имеет права на фантазии.

— Тогда он так и уйдет в отставку офицером, — с вызовом сказал Скобелев. — А я надеюсь не только продолжить, но и закрепить семейную традицию, став третьим генералом в нашем роду.

— Но не под моим командованием, — резко подчеркнул генерал. — Приказ о вашем переводе в Кавказскую армию мною уже подписан. Сегодня сдадите дела, завтра выедете к новому месту службы.

— И это все, ваше превосходительство? — разочарованно спросил Скобелев.

— Нет, не все, извольте выслушать. В рапорте,

который передал мне искалеченный вами адъютант, было указано о перемещении регулярного хивинского отряда. Я расспросил сопровождавшего вас уральского урядника: он в глаза не видел никаких конных отрядов туземцев. Откуда вы взяли этих хивинцев? И как у вас хватило наглости солгать в официальном рапорте?

— Я не лгал, ваше превосходительство! — Скобелев покраснел и разозлился. — Доказательства перемещений регулярного отряда содержались в куске хвостовой части хребта убитого коня. Его хвост был обрублен вместе с репицей, но ваш тупица-адъютант приказал солдату где-то зарыть эту важнейшую улику.

— И за это вы его подстрелили, — уточнил Константин Петрович. — Теперь кое-что для меня становится ясным. Кстати, как вы умудрились столь аккуратно попасть в него в кромешной тьме?

— По чистой случайности.

— Чересчур уж она чистая, — усмехнулся Кауфман.

Он помолчал, походил по кабинету, заложив руки за спину. Потом остановился перед ротмистром. Сказал, глядя в глаза:

— Я послал два дозора по обе стороны от тех

колодцев. Один из них вернулся вчера и доложил, что действительно обнаружил хивинский отряд численностью до полутысячи сабель. Отряд боя не принял и скрылся за барханами. — Он помолчал. — Вы наблюдательны, Скобелев, и умеете делать правильные выводы из своих наблюдений. Полагаю, что вы продолжите семейную традицию, но не в моей армии. Распишитесь у адъютанта в получении вами моего письменного приказа и незамедлительно исполните его. Ступайте, ротмистр.

Скобелев четко повернулся кругом, пошел к дверям.

— За отлично проведенную рекогносцировку я представил вас к чину подполковника, — неожиданно добавил Константин Петрович. — Прошу передать мой поклон вашему батюшке.

— Благодарю, ваше превосходительство! — весело гаркнул Скобелев.

— Счастливой службы, полковник*, — улыбнулся генерал-губернатор.

Глава третья

1

Для сдачи дел Скобелеву требовалось от силы полтора-два часа: он был всего лишь приписан к оперативному отделу для выполнения отдельных поручений. И тем не менее Михаил Дмитриевич до конца работы просидел в штабе, не только просматривая все донесения дозоров, касавшиеся передвижений хивинских и кокандских регулярных отрядов, но и старательно выписывая все донесения в приобретенную после разговора с есаулом Серовым книжечку с аккуратным указанием, когда именно происходили эти встречи и куда именно двигались обнаруженные дозорами отряды. Только после этого он направился к князю Насекину с приглашением на прощальный ужин.

Князь был очень расстроен внезапным отъездом друга, хотя изо всех сил скрывал это. Он трудно сходился с людьми, друзей его можно было перечесть по пальцам, был весьма застенчив от рождения и всегда неуютно чувствовал себя в обществе, в котором отсутствовала привычная для него атмосфера.

Он вдруг становился неприятно язвительным и демонстративно отстраненным, хотя по натуре

был добрым и отзывчивым человеком. И даже любимая работа, которой он отдавался всею душой, казалась ему тогда ненужной, тягостной и нудной.

— Когда и где мы еще встретимся, Мишель? — с улыбкой спросил он, но горечь этой улыбки скрыть ему не удалось. — И увидимся ли вообще?

— Непременно увидимся, Серж. Непременно скоро и непременно в Туркестане. У меня — предчувствие, дружище!

Никакого особого предчувствия у Скобелева не было, зато была некая и пока еще весьма смутная идея, осуществить которую он намеревался на новом месте службы — на Кавказе. А толчком для осуществления этой идеи послужило твердое намерение вернуться в Туркестан увенчанным победными лаврами. «Возвращаться нужно с парадного входа», — говорил когда-то отец, уча его уму-разуму. Такая формулировка полностью отвечала его самоуверенности и самолюбию, оставался пустяк — претворить теорию в практику.

Собственно то, что скромно забрезжило в его голове, идеей пока еще называть было преждевременно. Так, некие теоретические предпосылки,

для своего воплощения требующие не только материальной базы, но и вполне конкретного, обеспеченного в каждом шаге и рассчитанного по минутам особого плана военных действий, учитывающего отсутствие единого фронта на Туркестанском театре военных действий в европейском понимании этого слова. Только такой план мог сделать его предложения реальными, с которыми можно было бы идти к самому наместнику Его Высочеству Михаилу Николаевичу*, младшему брату Александра II, не рискуя при этом быть обвиненным в лихом гусарском авантюризме. Однако до этого следовало разработать такой план в подробностях хотя бы для самого себя.

И здесь ему повезло, хотя поначалу он воспринял внезапный подарок судьбы с обидой и досадой, увидев в нем некое небрежение к его особе. Дело заключалось в том, что несогласованный, а потому и внезапный перевод подполковника Скобелева на Кавказ, где давным-давно были замещены все соответствующие его чину, опыту и знаниям должности, поставил местное начальство в затруднение. Должность, которую требовалось предоставить прибывшему из Туркестана подполковнику (да к тому же получившему

высокий штаб-офицерский чин досрочно, а следовательно, за какие-то неведомые заслуги), обязана была оказаться достаточно высокой, но подобных вакансий не имелось, и штабное начальство, изрядно поломав головы, назначило подполковника Михаила Дмитриевича Скобелева старшим инспектором по тактической подготовке офицерского состава с обязанностью читать лекции по тактике кавалерийских частей и соединений, исходя из опыта военных действий в Туркестане.

На Кавказе Скобелеву было куда веселее и проще служить, нежели в Туркестане. Здесь хорошо знали его отца, добывшего себе славу бесстрашного офицера не только в русской армии. Кроме того, на Кавказе проходили службу многочисленные приятели Михаила Дмитриевича как по Академии Генерального штаба, так и по многим полкам, в которых ему самому когда-то приходилось тянуть гарнизонную лямку. Но главное заключалось все же не в этом. Его новая должность давала возможность детально ознакомиться с Кавказской войной, которая тянулась со времен Петра Великого*, оказавшись самой длинной войной в русской истории. Она, как и война в Туркестане, была войной завоеватель-

ной, войной за всемерное расширение и без того необъятной империи, но на этом их сходство и кончалось. Начинались различия, сравнение которых давало Михаилу Дмитриевичу пищу для серьезных размышлений.

На Кавказе шло многолетнее, но постоянное вытеснение коренных жителей из плодородных долин в горы. Долины тут же заселялись казаками, а горцы теряли свою основную продовольственную базу, яростно сопротивляясь русским и при этом медленно отступая в горы. Среднеазиатских степняков не было смысла теснить: в степях места хватало, но не хватало воды, и прокормиться там русским переселенцам было либо очень трудно, либо попросту невозможно. Кавказский опыт вытеснения там не годился, равно как и русский обычай сжигать дотла населенные пункты, усвоенный в результате тяжелейшей войны. В Туркестане тоже жгли кишлаки, но для восстановления их на новом месте туземцам не нужно было затрачивать много усилий: кочевой образ жизни подавляющего большинства населения породил легкий и простой род жилища, для восстановления которого не требовалось особых усилий. Напротив, на Кавказе основной массой населения были народы оседлые, привыкшие

строить свои дома на века, в расчете на внуков и правнуков. К этому добавлялась память о местах погребения предков, каждый аул имел кладбища, которые оставались на прежнем месте, зарастали бурьяном, разрушались, а то и распахивались русскими переселенцами. Кочевой образ жизни среднеазиатского населения давным-давно приучил его хранить память о предках в песнях и сказаниях, а не в надгробных памятниках. Отсюда следовал очень важный для Скобелева вывод: прямой перенос опыта Кавказской войны на Туркестанский театр военных действий был не только бесполезен, но и опасен. Туркестанских кочевников следовало громить, а не вытеснять, в противном случае война с ними грозила стать бессмысленной погоней по бесплодным степям и пустыням за неуловимыми всадниками, умеющими ориентироваться без всяких видимых ориентиров и обладающих очень быстрыми и нетребовательными к корму лошадьми.

Вот к каким выводам пришел Михаил Дмитриевич, размышляя над прошлым, расспрашивая старых кавказских рубак, читая лекции по тактике господам офицерам, ползая вместе с ними по холмам и горам на практических занятиях, рискованно и азартно играя по вечерам в карты

и до рези в глазах изучая по ночам карты топографические. А еще он регулярно, каждый месяц писал наместнику письма с нижайшей просьбой уделить ему полчаса для весьма важного разговора. Но из Канцелярии Его Высочества всякий раз отвечали, что в данный момент наместник никак не может его принять.

Так и тянулись дни за днями, и неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба подполковника Скобелева, если бы во Владикавказ неожиданно не приехал адъютант наместника генерал Мурашов.

2

Генерал Петр Николаевич Мурашов как был сослан за дуэль на Кавказ девятнадцатилетним корнетом, так и остался здесь и до сей поры. Здесь воевал, здесь дослужился до генерал-лейтенанта и генерал-адъютанта, здесь женился, обзавелся детьми и внуками и тихо, покойно доживал свой довольно бурный век. На Кавказе все его знали и, что самое удивительное, все к нему относились по-доброму. Он завоевал свои эполеты и благорасположение Его Высочества не на дворцовом паркете, а в горячих схватках с лихими горцами, был всегда ровен, улыбчив, спокоен и выдержан,

помогал старым боевым товарищам чем мог, и был дорогим гостем в любом доме. Кроме того, он обладал редкой для военного человека тягой к знаниям, много читал, а под старость увлекся разного рода мудрецами, доморощенными пророками и прорицателями, коллекционируя их изречения и высказывания и даже занося их в особую книжечку, которую намеревался когда-нибудь издать в качестве образца оригинальных человеческих мыслей. При этом был искренне веротерпим, с равным удовольствием встречаясь с православными отшельниками, еврейскими пророками, мусульманскими прорицателями и сектантскими мудрецами.

Командировку во Владикавказ он испросил себе сам, поскольку именно ему приходилось по роду службы отвечать на настойчивые просьбы подполковника Скобелева о свидании с наместником. Он дружил с отцом Михаила Дмитриевича, которого знал по совместной военной деятельности, бережно хранил личное к нему уважение, но и слыхом не слыхивал о его сыне. Однако оценив настойчивость Скобелева-младшего, решил в конце концов с ним познакомиться, чтобы помочь ему в меру собственных возможностей. Кроме того, существовала еще

одна причина его приезда, но об этом придется рассказать отдельно.

Деятельность же Скобелева, его живейший интерес к Кавказской войне и краткий, содержательный рапорт Петру Николаевичу весьма понравились, равно как и сам подполковник — сын чтимого боевого друга, с которым генерал поддерживал постоянную переписку. Все это, вместе взятое, послужило причиной приглашения подполковника на ужин в отведенную адъютанту самого наместника резиденцию.

А Скобелев был откровенно недоволен этой встречей и весьма мрачно настроен. Он полагал, что причиной внезапной инспекции его деятельности послужили письма, переполнившие чашу терпения Его Высочества, почему генерал-адъютант и решил выяснить этот вопрос незамедлительно.

— Полагаю, ваше превосходительство, что я изрядно надоел своими прошениями о личном свидании…

— Забудем об официальности, друг мой, — благодушно сказал Мурашов. — Твой батюшка Дмитрий Иванович — мой старый полковой приятель, даже друг, осмелюсь сказать. Не скрою, мне любопытно узнать причину твоей настой-

чивости, но это — не единственный повод моего приезда.

— Благодарю вас, Петр Николаевич. Признаться, мне надоели отписки с одним и тем же основанием: «Его Высочество в ближайшее время не может вас принять по причине болезни». Спрошу напрямик: это действительно болезнь или обычное дворцовое нежелание уделять время какому-то там штаб-офицеру?

Петр Николаевич вздохнул:

— Понимаю твою обиду, но болезнь Его Высочества, увы, не дворцовая, а самая что ни на есть натуральная. Он подхватил мингрельскую лихорадку, пароксизмы которой мучительны, неожиданны и отбирают массу сил. Изложи мне, что тебя тревожит, а уж я сам решу, посвящать ли в твои беспокойства Его Высочество, или мы сами найдем достойный выход.

— Пекусь не о себе, — досадливо поморщился Скобелев. — Пекусь исключительно об общем нашем деле — о войне в Туркестане. Я имел возможность поглядеть на нее там и сравнить ее с войною Кавказскою здесь. Вывод, сделанный мною, оказался неутешительным, почему я и позволил себе тревожить Его Высочество письмами. То, к чему я пришел, может решить только

Его Высочество, если сочтет мои предложения достойными того, чтобы решать их вообще.

— А ну, расскажи, расскажи, — живо заинтересовался Петр Николаевич.

Скобелев готовился к серьезному разговору, едва получив приглашение генерала отужинать с глазу на глаз. Он тотчас же притащил толстый портфель, из которого начал извлекать карты, схемы и заранее составленные таблицы.

— Туркестанский театр военных действий ничего общего не имеет с опытом всей нашей многолетней Кавказской войны. Мы имеем дело со степными народами, легкими на подъем, быстро уходящими от преследования, имеющими в своем распоряжении множество конных отрядов с отличными всадниками на быстрых и неприхередливых местных лошадях. Нападают они всегда неожиданно и всегда стремительно, столь же стремительно выходя из боя и скрываясь безо всяких следов. Они избрали верную тактику, Петр Николаевич, которая в конце концов втянет нас в безнадежную партизанскую войну на абсолютно незнакомой и непривычной для нас территории, где нет ни воды, ни корма для лошадей…

Скобелев подробно, со схемами, картами и таблицами доложил генералу реальную картину, до

поры до времени прикрытую внешними военными успехами, которые газеты расписали, как окончательное сокрушение всех туркестанских сил и возможностей. Мурашов слушал очень внимательно, задавал уточняющие вопросы, и благодушная улыбка хлебосольного хозяина постепенно исчезала с его лица.

— Анализ твой безупречен, но пугающ, — вздохнул он. — Болезнь ты подметил точно, но есть ли у тебя в запасе соответствующее лекарство?

— Есть, Петр Николаевич, — очень серьезно сказал Скобелев. — Надо завоевывать ханства, а не гоняться за отрядами. Но ханства неплохо защищены как пустынями, так и крепостными стенами, за которыми до времени будут укрываться отборные джигиты, всегда готовые к стремительным вылазкам. Тяжелую артиллерию к этим крепостям не подтащишь, следовательно, их надо атаковать с той стороны, с которой они ну никак не ожидают удара. Хива держит все силы на севере и северо-востоке, ожидая оттуда наступления наших войск. И генерал Кауфман не должен обмануть их ожиданий. Мало того, ему следует активно демонстрировать свою готовность ударить именно с той стороны, где они его и ждут, но…

Подполковник замолчал, весьма многозначительно и строго глядя на генерала Мурашова.

— Ну?.. — нетерпеливо спросил Петр Николаевич.

— Но кто-то должен ударить по Хиве с запада, перейдя непроходимые даже с точки зрения хивинцев солончаковые степи и полупустыни. Там нет ханских обученных войск.

— Откуда, откуда ударить?

— Необходимо двинуть достаточно сильный отряд из Киндерлиндского залива Каспия в направлении на Хиву. Там кочуют мирные киргизы, и я уверен, что проводника найти будет не сложным делом. Приблизительный состав такого отряда я расписал. В основном уральские казаки, одна-две легкие батареи и пара ракетных станков для шума и грохота. Такую артиллерию можно протащить через солончаки, даже если лошади подохнут от голода и жажды.

— Да… — озабоченно вздохнул Мурашов. — С твоего дозволения, я заберу у тебя этот портфельчик. И доложу соответственно.

— Постарайтесь убедить Его Высочество, — почти с мольбою сказал Скобелев.

— Употреблю все красноречие, но обещать ничего не берусь. Через две недели все станет

ясным.

— Почему через две недели?

— Потому что через пятнадцать дней ты получишь либо письменное согласие, либо письменный отказ, подполковник. Повторяю, никаких гарантий дать тебе не могу, хотя буду сражаться за твой план, аки лев.

3

Сын старого боевого друга настолько понравился Петру Николаевичу, что он вопреки обыкновению занес основной вывод этой встречи в заветную книжечку, куда до сей поры заносил только изречения, пророчества и парадоксы доморощенных мудрецов. И запись эта звучала так:

«Сего числа имел удовольствие познакомиться с сыном Димитрия Ивановича Скобелева подполковником Михаилом Скобелевым.

Удивил: мыслит государственно. Быть ему генералом...»

Вот почему через сутки после памятного ужина он опять разыскал подполковника:

— Тут неподалеку живет в пещерном затворе весьма, говорят, умный и проницательный старик. Да и сама биография его необыкновенна.

Представляешь, Михаил, солдат из староверов попадает к горцам в плен, трижды пытается бежать, и трижды его ловят. А потом вдруг по доброй воле он переходит в ислам, два раза совершает пеший хадж в Мекку, удостаивается зеленой чалмы*, женится, дети у него. И снова — вдруг! — возвращается к нам, пытается проповедовать преимущества магометанства, но церковь грозит ему нешуточными карами, и он от греха подальше роет себе пещерку и тихо живет там, исцеляя страждущих телесно и духовно. А я, знаешь ли, подобные людские экземпляры люблю и даже, признаться, коллекционирую их, что ли. И хочу этого странного двоеверца-отшельника послушать. Пойдешь со мной?

— Пойду, — сразу же согласился любознательный Михаил Дмитриевич. — Он что же, будущее предсказывает?

— Нет, грехом это полагает, вторжением в дела, одному Господу Богу подведомственные. Но ответы на различные вопросы, говорили мне, дает прелюбопытнейшие и пренеожиданнейшие. Так что готовь вопросы, Михаил. И желательно не из раздела, любит ли она меня.

— Я знаю все ответы из этого раздела, — усмехнулся Скобелев. — Когда прикажете быть гото-

вым, Петр Николаевич?

— Завтра с утречка. Лошадок обещали и проводника, хорошо отшельника знающего. Он абы с кем не говорит, только по серьезным рекомендациям…

Выехали спозаранку в сопровождении пожилого отставного унтера, коновода и пятерки казаков. Так, на всякий случай, поскольку неугомонные чеченские абреки, случалось, проникали и в окрестности Владикавказа. Отставной унтер показывал дорогу, пока по ней еще можно было проехать на лошадях, и рассказывал о мудреце, у которого бывал. А когда стало невозможным ехать верхом далее, попросил спешиться, оставил при лошадях коновода да казака с ружьем и повел генерала и подполковника по труднопроходимой тропинке в сопровождении четырех спешенных казаков. Осмотрительным был унтер, да и гости больно уж важные. Таких сопровождать ему приходилось впервые, и он очень тревожился.

— У него — свои условия, — пояснял он по дороге. — Вопросы можно и по бумажке читать, это он дозволяет. Но ответы записывать никак невозможно. Коли заметит, что записываете, тут же всякий разговор прекратит.

— Почему же так? — отдуваясь (тропа была

крутой), поинтересовался Мурашов.

— Говорит, будто душа сама запоминает, что для нее самое главное. Вот что она запомнит, то и есть сама суть ее.

Вопросы Скобелев составлял добрых полночи, стараясь, чтобы и выглядели они неожиданно и чтобы ответы на них были достаточно затруднительны, поскольку ему сказали, что странный отшельник-двоеверец всегда отвечает с предельной краткостью.

Прибыли к пещерке, вырытой самим отшельником в крутом обрыве рядом с бьющим из-под камня ключом с холодной чистой водой. Михаил Дмитриевич уступил первенство генералу, не только учитывая чин и возраст, но и потому, что решил еще раз проверить выписанные на бумажку вопросы. Петр Николаевич решительно нырнул в узкий лаз пещерки, а Скобелев, подставив раннему солнышку спину, уж в который раз внимательно перечитал собственный вопросник, кое-что уточнил в нем, кое-что поправил и теперь просто терпеливо ждал, когда вернется генерал Мурашов.

— Колоритнейшая личность, доложу вам, — сказал Петр Николаевич, вылезая из пещеры на свет божий. — Весьма и весьма. Твоя очередь,

Михаил.

Скобелев, пригнувшись, прошел узким и низким ходом и попал в некое пространство с нависающим потолком, обшитым досками и слабо освещенным смоляным факелом. Вероятно, где-то был невидимый продух, потому что в аккуратной пещерке не чувствовалось ни дыма, ни чада. Поздоровался, обождал, пока глаза привыкнут к полумраку, и увидел плотного широкоплечего старика с зеленой чалмой на голове, сидевшего на потертом коврике, скрестив по-турецки ноги и перебирая в руках коричневые старые четки.

— Спрашивай, что хотел, — глуховатым голосом безо всяких интонаций сказал старик.

Скобелев развернул листок, откашлялся. Ему почему-то вдруг стало неуютно, и он спросил с совершенно несвойственной ему робостью:

— Можно начинать?

— Не насилуй натуру свою.

— Ага, — согласился Михаил Дмитриевич, еще раз прокашлялся и зачитал первый вопрос: — Кого можно назвать героем?

— Того, кого не потрясает взгляд красавицы.

— Кого можно сравнить со светом луны?

— Скромного человека.

Старик отвечал мгновенно, ни на секунду не за-

думываясь. Ответы словно сами собой срывались с его языка, и Скобелеву это очень понравилось.

— Что такое ад?

— Зависимость от других.

— Кто есть истинный друг?

— Тот, кто удерживает от зла.

— Что служит украшением речи?

— Истина.

— Что непобедимо в этом мире?

— Справедливость и терпение.

— С чем сравним блеск молнии?

— С красотой женщины.

— Каким качеством можно удивляться в человеке, обладающем полным благосостоянием?

— Великодушием.

— Что дается человеку труднее всего?

— Знание без гордости, геройство с кротостью, богатство со щедростью.

— Что способно грызть сердце до самой смерти?

— Злодеяние, которое приходится таить.

— Что значит «мертвая душа»?

— Глупая душа.

— Тогда кто же есть глупец?

— Тот, кто не умеет вовремя сказать ласкового слова.

— Что служит источником несчастья?
— Строптивое сердце.
— К чему стремятся все люди?
— Хорошо устроиться в жизни.
— На что не следует никогда обращать внимания?
— На чужую жену и чужое добро.
— Что нужно любить в себе?
— Сострадание, милосердие и снисходительность.
— Что такое бедность?
— Недовольство.
— Что слепее слепца?
— Страсть.
— Что такое правильная жизнь?
— Беспорочность.
— Что такое сон?
— Глупая трата времени.
— А что такое тогда глупость?
— Когда не стремятся сделаться умнее.
— Что опьяняет сильнее вина?
— Нежность.
— Что есть вечное беспокойство?
— Молодость, богатство, праздная жизнь.
— Тогда что же есть сама жизнь?
— Миг.

— Миг?..

Старец промолчал, и Скобелев вышел от него весьма озадаченным. Ничего не ответил на вопрос Мурашова, как ему понравился мудрец, и озабоченно помалкивал всю обратную дорогу.

На другой день адъютант Его Высочества наместника генерал Мурашов уезжал в Тифлис. Скобелев провожал его целый перегон, до следующей почтовой станции, где они тепло распрощались, выпив по чарке на дорожку.

— Запомнил ли что из вчерашних ответов? — спросил Петр Николаевич.

— Только одно: что есть жизнь?

— И что же ответил старик?

— Миг.

Михаил Дмитриевич сказал это слово, как-то особенно выделив, точно подчеркнул его. Генерал задумчиво покачал седой головой, улыбнулся:

— Это ведь не ты запомнил, Миша, это душа твоя запомнила. Стало быть, миг — девиз всей твоей жизни. Лови его, Михаил, всегда вовремя лови!..

Глава четвертая

1

У Михаила Дмитриевича было непоколебимое убеждение, что Киндерлиндский поход состоится. Что Петру Николаевичу Мурашову удастся убедить не очень решительного наместника собрать небольшой по численности, но достаточно мощный отряд, который совершенно неожиданно и ударит в спину хивинцам. И он не просто с нетерпением ждал добрых известий от старого друга отца, но и деятельно готовился к тяжелому походу через солончаковые степи и пустыни.

Для этого у него был не только кое-какой опыт, но и заветная тетрадочка, купленная после разговора с есаулом Серовым. В частности, там находились чертежи больших, сконструированных специально для русской армии юрт, вмещавших по двадцать человек. Войлочные кибитки лучше предохраняли от жары, нежели принятые в армии брезентовые палатки, воздух в которых раскалялся до шестидесяти градусов. А войлок удерживал жару снаружи, кибитки хорошо проветривались, а потому и сон в них был

куда спокойнее и здоровее, нежели в армейских палатках. Их предложил генерал Кауфман, и Скобелев высоко оценил это новшество, введенное, кстати, самовольно, вопреки всем инструкциям и наставлениям. Кибитки эти перевозились на верблюдах, на установку их при некоторой сноровке уходило меньше времени, чем на установку палатки, и солдатам нравилось спать в них, несмотря на уйму блох. По расчетам, которые сделал Михаил Дмитриевич, исходя из возможной численности отряда, на перевозку этих кибиток, а также воды, продовольствия и боеприпасов требовалось не менее тысячи трехсот верблюдов, но он был твердо убежден, что игра стоит свеч.

В памятной книжечке его хранилась и еще одна очень важная запись. Дело в том, что согласно утвержденному суточному рациону солдатам выдавали два фунта черного хлеба, полфунта мяса, приварок (каша или капуста) без ограничения, утром и вечером полагался сладкий чай, а кроме этого — сыр, овощи, уксус (для профилактики желудочных заболеваний) и два стакана водки в неделю. Учитывая невероятную жару летом и столь же невероятный холод — да еще с ветром! — зимой, генерал Кауфман своею властью добавил в солдатский рацион еще полфунта мяса

в сутки, а утром и вечером к чаю приказал выдавать вяленую дыню или урюк. Это позволяло справляться с длинными переходами, и солдаты, втянувшись, легче переносили как жару, так и холод. Туркестанская война совсем была не похожа на войну Кавказскую, и Скобелев твердо решил учитывать опыт Константина Петровича Кауфмана, для которого заболевший солдат являлся чуть ли не личным бесчестием.

А сообщений все не было и не было. Михаил Дмитриевич начал уже нервно считать дни, когда из Тифлиса наконец-таки прибыл долгожданный пакет:

«Дорогой Михаил Дмитриевич! Поскольку ты, как вдруг выяснилось, числишься не за Кавказской армией, а за Генеральным штабом, Его Высочество разрешил тебе участвовать в экспедиции только в качестве волонтера. Командовать отрядом поручено полковнику Ломакину».

— Ну, и как прикажете это понимать? — раздраженно спросил сам себя Скобелев.

Но прошение о зачислении его в экспедиционный отряд полковника Ломакина все же написал. И отослал его курьерской почтой.

Вместо ответного послания к Скобелеву приехали генерал Мурашов и высокий, худой, по виду

весьма желчный полковник Николай Павлович Ломакин.

— Его Высочество утвердил твое ходатайство, — сказал Петр Николаевич Скобелеву, как только выдалась минута. — Однако Ломакин пожелал лично с тобою познакомиться.

И тут Михаила Дмитриевича вдруг понесло, что, впрочем, с ним случалось достаточно часто. Вместо того чтобы спокойно отвечать на вопросы уже назначенного командиром отряда Николая Павловича, он раскрыл свою заветную книжечку и начал излагать собственные соображения, полагая, что полковник Ломакин, как разумный человек, тотчас же за них и ухватится. Он выложил все и о преимуществе кибиток для солдат, и о расчете необходимого количества верблюдов для их перевозки, и о резком увеличении солдатского рациона с учетом длительных маршей по туркестанской жаре. Полковник слушал молча и вроде бы даже очень внимательно, а генерал вздыхал, и в его вздохах явно слышалась укоризна.

— Вы, по всей видимости, неплохой штабной работник, — скучно сказал Ломакин, когда Скобелев закончил изложение своих предложений и выжидательно замолчал.

Голос его не выражал ровно ничего. Он был

постным, как само льняное масло. А Михаила Дмитриевича всегда почему-то раздражали люди, лишенные простых человеческих эмоций, и он сразу же внутренне ощетинился:

— Вы абсолютно правы. Я закончил Академию Генерального штаба в первой тройке выпускников с правом выбора места службы, вследствие чего и оказался на Туркестанском театре военных действий.

— Однако, по моим сведениям, в военных действиях вы принимали участие ровно один раз, и ваше единственное боевое донесение содержало весьма и весьма опасные вольности.

— Эти опасные вольности, как вы изволили выразиться, полностью подтвердились, — вспыхнул Скобелев.

— У меня иные сведения, — скучно сказал Ломакин. — Однако вернемся к вашим предложениям, Михаил Дмитриевич. Я не знаю, как вам могла прийти в голову оригинальная идея переселить солдат в войлочные кибитки. В армии предусмотрены палатки для ночевок в походах, кибитки в каких бы то ни было уставах, инструкциях или иных положениях не значатся, а что в русской армии не значится, того и не существует вообще.

— В Туркестане — особая война, Николай Павло-

вич, — сдерживая себя, заметил Скобелев. — Днем жара до сорока градусов, ночью вполне возможен морозец до минус трех-четырех по Цельсию. Кроме того, юрты — они же кибитки — ставятся за считанные минуты.

— Война всюду одинакова, полковник, — назидательно заметил Ломакин. — Что на Кавказе, что в Туркестане, что в Китае или, допустим, во Франции. Она заключается в точном исполнении приказов командования и неукоснительном следовании уставам и наставлениям. Прошу извинить, что вынужден напоминать эти прописные истины офицеру, закончившему Академию Генерального штаба в первой тройке. Что же касается предыдущего, то палатки перевозятся вьючными лошадьми…

— Лошадям нужна вода каждый день, тогда как верблюд может обходиться без нее до двух недель.

— Возможно, я не специалист по верблюдам. В армии сии животные не значатся, следовательно, их как бы и нет. А то, чего нет, приходится покупать.

— Или поднаряживать. Цена поднаряженного верблюда — пятнадцать рублей зимой и двенадцать летом.

— Умножьте названную вами цифру на ту тысячу триста верблюдов, коих мы должны иметь при отряде по вашим же расчетам. Где мы возьмем такие деньги?

— Я готов купить верблюдов на собственные средства! — громче, чем следовало, сказал Скобелев.

— Армия — не монастырь и существует не на пожертвования, а на казенный счет. — Ломакин продолжал говорить прежним тоном, не обратив внимания на внезапную вспышку Михаила Дмитриевича. — Ваше предложение оскорбительно для русской армии, несмотря на вашу искреннюю пылкость, Михаил Дмитриевич. Кроме того…

— Кроме того, что мы попросту сдохнем в песках, Николай Павлович!

— Михаил Дмитриевич… — укоризненно покачал головой генерал Мурашов.

— Кроме того, вы предлагаете самовольно изменить солдатский рацион, — невозмутимо продолжал Ломакин. — Сие тоже есть нарушение распоряжений вышестоящих инстанций, а посему должно быть отброшено раз и навсегда. Солдат вполне обеспечен…

— С точки зрения зажравшихся в тылах ин-

тендантов!

— Господа, господа, — вмешался Петр Николаевич. — Ваша пикировка резко превысила допустимую температуру делового разговора. С вашего позволения, Михаил Дмитриевич, я передам ваши соображения Его Высочеству. Кстати, пора бы и пообедать.

На этом тогда и закончилась первая встреча подполковника Скобелева с полковником Ломакиным. Мурашов вовремя напомнил Михаилу Дмитриевичу о его хозяйских обязанностях, и обед прошел вполне благопристойно. Скобелев провозглашал тосты в полном соответствии со сложившимися на Кавказской войне обычаями, и генерал наконец-то вздохнул с некоторым облегчением.

Однако радовался он преждевременно, поскольку трещинка в отношениях полковника-командира и подполковника-волонтера тогда всего лишь обозначилась. Однако все, что ни свершается, — к лучшему, как всегда считал Петр Николаевич, полагая, что подобный стиль знакомства предостережет Скобелева от опрометчивых шагов в совместном тяжелом предприятии.

2

Следует отметить, что генерал Мурашов, отважно проведя боевую молодость, как-то утихомирился на мирной бесхлопотной должности. Искренне влюбляясь в людей, для него привлекательных, он не очень разбирался в характерах, для него непривлекательных, а потому и неинтересных. Его куда больше манили люди мистически загадочные, нежели обыкновенные, хотя полковника Ломакина к последним относить было бы и неверно, и опрометчиво. Иными словами, Петр Николаевич был далеко не глуп, но, увы, простоват и бесхитростен, за что, собственно, его и любил наместник государя императора на Кавказе Его Высочество Михаил Николаевич.

Дело в том, что Николай Павлович Ломакин, достаточно наломавшись, намахавшись и накомандовавшись в бесконечных кавказских стычках, освоил для себя некую маску грубоватого рубаки. Маска впечатляла не только генералов от паркета, но даже и весьма бывалых рубак. Однако если далекие от пальбы и шашки внимали грубоватому воину с известным почтением, то боевых офицеров подчас приходилось в некотором

роде ошарашивать откровенной неприязнью. Как правило, многие терялись или сердились, зная странное и в общем-то необъяснимое благорасположение самого наместника к полковнику Ломакину.

А благорасположение объяснялось одной фразой, сказанной, кстати, лично генералу Мурашову после первого же свидания Его Высочества с доселе малоприметным полковником:

— Почему-то я с детства предпочитал Антониев Цезарям. Прямолинейность по крайней мере честна.

Петр Николаевич тут же согласился, но навсегда позабыл об этом в известной мере ключевом замечании. И потому, что особой памятливостью не отличался, и потому, что сроду не читал Шекспира, и потому, что пребывал в сферах слегка мистического окраса. Как бы там ни было, а подчеркнуто неприветливое отношение полковника Ломакина к подполковнику Скобелеву, продемонстрированное на первом же свидании, генерал-адъютантом Мурашовым расшифровано не было, почему он только недоуменно вздыхал да разводил руками.

Вскоре полковник Ломакин попросил Михаила Дмитриевича посетить только что созданный

штаб будущего отряда. Не столько для того, чтобы поближе познакомиться с подполковником, непонятно почему согласившимся на странный для офицера его ранга волонтерский статус, сколько чтобы еще раз ошарашить:

— Его Высочество разделяет мое неприятие замены штатных палаток на предложенные вами кибитки, отчего и соизволил перенести начало нашей операции на апрель. Надеюсь, в апреле ваши войлочные кибитки нам не понадобятся. То же самое касается и предложенного вами усиленного солдатского питания, поскольку холода уже отойдут, а жара еще не подоспеет.

На самом-то деле наместник получил от Кауфмана депешу с просьбой несколько отсрочить выступление отряда, исходя из реальных соображений: он подтягивал свои широко разбросанные отряды к границам Хивы и вполне обоснованно полагал, что выступление может оказаться преждевременным. Но Скобелев об этом, естественно, не знал, а потому и посчитал себя несколько уязвленным, но удержался от каких бы то ни было уточнений.

Впрочем, он отметил, что полковник Ломакин никогда не позволяет себе не только шуток дурного тона, но даже иронии в его адрес при

офицерах, уже назначенных в отряд. Ни при подполковнике Поярове, ни при майоре Навроцком, ни даже при юном подпоручике Гродикове. Наоборот, при них он держался более чем корректно, словно подчеркивая особую миссию подполковника Скобелева, не внесенного в официальный реестр офицерского состава как бы из особых на то соображений высшего начальства. Однако не это послужило основной причиной, почему Михаил Дмитриевич не покинул отряд с той же легкостью, с какой вступил в него.

— Предчувствие, — много позже объяснит он усмехнувшись, — предчувствие, что именно он, Николай Павлович Ломакин, станет альфой и омегой всей военной карьеры моей.

Странно, но именно так оно и случилось.

3

В начале апреля началась переброска отряда с Кавказского побережья на полуостров Мангышлак. Собранный из осколков частей отряд был немногочисленным: три роты пехоты, два артиллерийских орудия, одна ракетная батарея да две сотни казаков, которые, правда, еще не прибыли к месту переправы. Всего смогли выделить две тысячи сто сорок человек, включая

штабных офицеров, тыловиков и коноводов, но не из нежелания использовать кавказских вояк вдали от привычных мест, а по настоятельной просьбе Скобелева, переданной генералом Мурашовым наместнику лично. Михаил Дмитриевич уповал на неожиданность и быстроту, а по степному бездорожью большой отряд наверняка бы растянулся на много верст, потеряв как во внезапности, так и в стремительности. С этим в конце концов согласился и полковник Ломакин, хотя и после долгих утомительных разговоров.

— Сделайте милость, Скобелев, выпросите еще казаков. Хотя бы полусотню. Соберете их, тогда и переправляйтесь.

Просить Михаил Дмитриевич не любил вообще, а в данном случае понимал, что просьбы бесполезны. Кавказский театр военных действий был настолько привычен, стал настолько своим, родным, потомственным, что всегда рассматривался через увеличительное стекло местных связей, взаимоотношений и интересов. Все остальное — даже недавняя и очень болезненно переживаемая Крымская война — воспринималось, как нечто внешнее, «петербургское», а потому неродное. Он был очень рад, когда обещанные две сотни пришли без всяких дополнительных

напоминаний, хотя при этом казаки и не думали скрывать своего понимания происходящего и недовольства действиями начальства:

— Калмыков туда надо. Или хотя бы башкирцев. Они степняки природные.

Однако дальше этого привычного казачьего ворчания дело не шло. Кони были вычищены и в добром теле, сбруя и амуниция — тоже, и Скобелев, как заядлый кавалерист, улыбчиво балагурил в ответ на казачье ворчанье. И даже, пользуясь временем, провел недалекий поход — скорее ради лошадей, чем ради всадников. А потом пришел пароход, и они поплыли через Каспийское море в края, даже Михаилу Дмитриевичу известные только по топографическим схемам, мало привязанным к реальной географии.

— Мне рекомендовали местного толмача, — сказал Ломакин, когда Скобелев доложил о благополучном прибытии. — Уверяют, что ему ведомы все здешние языки.

— Поздравляю. Это отличное приобретение.

— Беда в том, что он — цивильный, — вздохнул полковник. — Да и со стороны матери — то ли киргиз, то ли калмык. Правда, закончил гимназию, но… Как бы вам сказать, Михаил Дмитриевич, я — в некотором замешательстве.

— Пожалуйте ему своею властью чин прапорщика, и все замешательства кончатся. Во-первых, солдаты прикусят языки, а во-вторых, он принесет присягу. Ведь второе вас беспокоит куда больше первого, не так ли, Николай Павлович?

— Пожалуй, вы правы.

На этом несколько странный разговор тогда и окончился. Скобелев занимался устройством казаков, с полковником Ломакиным более не виделся и ни разу не задумался, почему Николай Павлович решил поставить его в известность по поводу предполагаемого переводчика. До тех пор пока этот переводчик лично не явился к нему, негромко и не очень умело доложив:

— Прапорщик Млынов. Представляюсь по причине производства в штаб-офицерский чин.

— Курица — не птица, прапорщик — не офицер, — усмехнулся Михаил Дмитриевич. — А почему, собственно, вы мне представляетесь? Я — лицо добровольное, а стало быть, и без всякой официальной должности.

— Вы назначены командиром авангарда, господин полковник. Следовательно, мне предстоит служить под вашим началом.

— Я ничего не знаю об этом.

— Я умею слушать, господин полковник.

— А молчать? — прищурился Скобелев.

— А молчать — тем более.

Откуда новоиспеченный прапорщик Млынов узнал о назначении добровольно примкнувшего к Мангышлакскому отряду подполковника Скобелева командиром авангарда, так и осталось тайной. Он и вправду оказался на редкость немногословным, а его бесстрастное калмыцкое лицо ровно ничего не выражало. Но письменный приказ (полковник Ломакин был прилежным служакой) вскоре и впрямь поступил, хотя и с оговоркой о личном на то желании Скобелева. Вероятно, оговорка и была сделана ради этого личного согласия, но Михаил Дмитриевич об этом не стал задумываться. Он был кавалеристом не столько по воинской профессии, сколько по склонности порывистой натуры своей, а потому согласился тотчас же и — с радостью.

Верблюдов все же закупили у местного населения, но недостаточно, поскольку казна выделила для этого весьма скромную сумму. А апрель выдался небывало жарким, пересекать выжженные солнцем полупустыни и солончаковые степи с малым караваном было весьма опасно, что понимал даже полковник Ломакин, восчувствовавший неласковый климат собственным телом.

Однако старая кавказская привычка сказалась в нем сильнее всякого понимания, почему он и отдал майору Навроцкому распоряжение отобрать верблюдов силой. Навроцкий ринулся исполнять приказ со всем пылом, но вскоре обескураженно вернулся ни с чем: киргизы откочевали подальше и в направлении неизвестном.

— Их явно кто-то предупредил, господин полковник. Они не могли уйти в свои степи ни с того ни с сего.

Скобелев предполагал, кто мог посоветовать кочевникам отогнать стада подальше от русских войск, но понимал, что означает для них подобная экспроприация. Местные киргизы никогда не враждовали с Россией, помогали чем могли, и вводить в этом крае военные обычаи Кавказской войны он не хотел. И решительно пресек догадку майора Навроцкого:

— Прапорщик Млынов находился со мной безотлучно.

А у толмача спросил наедине:

— Нам хватит верблюдов хотя бы для того, чтобы везти с собою необходимый запас воды?

— Если хивинцы не отравят колодцы.

— Судя по топографическим схемам, этих колодцев вполне достаточно на нашем пути.

Скобелева интересовало, как ответит толмач. Во имя сбережения казенных средств старательный и очень недоверчивый Ломакин отказался от проводника, полностью доверившись Млынову. Мнения Михаила Дмитриевича никто при этом не спрашивал: молодого переводчика рекомендовали местные власти как редкого знатока всего Туркестана.

— Достаточно — эспе.

Скобелев знал, что такое «эспе», но все же спросил:

— «Эспе» значит «мелкие»?

— По такой жаре они могут либо высохнуть, либо загустеть насекомыми. Глубоких не так много, и дай бог, чтобы хивинцы их не потравили.

— Ты вызвался совмещать две должности ради заработка?

— На моем иждивении мать и две сестры. Отец погиб два года назад.

— В бою?

— Не думаю. Он был топографом, научил меня ориентироваться по звездам ночью и по линиям барханов — днем. В гимназии я заканчивал экстерном, надо было кормить семью.

— Служил проводником?

— Сначала учился у дяди, брата матери. Он

известный караван-баши. Ходил с караванами в Бухару, Ходжент, Хиву, Коканд. Даже в Персию. Правда, один раз. Кроме того, у меня есть хороший советник. Мой двоюродный брат, который с детства сопровождал своего отца во всех караванных трудах.

— У тебя самого вполне достаточно опыта, чтобы сказать откровенно, чего ты опасаешься в пути?

Молодой человек невесело улыбнулся:

— В Туркестане все караван-баши опасаются одного.

— Неожиданного нападения?

— Пересохших колодцев.

— Но как они могут пересохнуть? — удивленно спросил Скобелев. — Всего-то апрель месяц.

— Поэтому я и сказал об отравленных колодцах.

4

Апрель еще только начинался, когда на Мангышлак и прилегающие солончаки и полупустыни внезапно обрушился беспощадный зной. И обрушился-то в день, предназначенный стать началом их боевой экспедиции, будто кто нарочно подгадал сам час выступления. Конечно, и до того

было очень жарко, но в общем-то как-то знакомо, что ли. А то, что началось в день выступления и продолжалось потом, оказалось совершенно неведомым не только русским солдатам, но даже самому родившемуся и выросшему здесь новоиспеченному прапорщику Млынову.

— Такой жары не помнят и самые древние из аксакалов, — сказал он весьма озабоченно.

— Ничего, — усмехнулся Скобелев. — Отряду наказного атамана Уральского казачьего войска генералу Веревкину выпал на долю холод, нам — жара. А коли сложить наши плюсы и минусы да разделить пополам, то получится средняя температура, вполне соответствующая возможностям русской армии.

Михаил Дмитриевич натужно шутил, потому что сорок градусов в тени оставались сорока градусами без всякого сложения или деления. Он знал, что русский солдат жару переносит куда мучительнее, чем холод, и это его не радовало. Настолько, что он втайне даже позавидовал Оренбургскому отряду генерала Веревкина.

Предназначенный для удара по Хивинскому ханству с севера Оренбургский отряд Николая Александровича Веревкина выступил с Эмбинского поста еще в последних числах февраля. В

наиболее ветреную, снежную и морозную пору, но так уж просчитали в штабе, надеясь, что все воинские силы подтянутся к границам ханства приблизительно в одно время. Расчет был оправдан, так оно в конце концов и случилось, но казакам генерала Веревкина от этой штабной точности было не легче и, главное, не теплее.

Уральцы пробивали каждый шаг сквозь пустынные степи, занесенные глубокими снегами. Ни на час не утихавший ветер таскал эти снега по голой, плоской, как блин, равнине, куда ему вздумается, громоздя снеговые горы в одном месте и обнажая промороженную землю в другом только ради того, чтобы завтра все сделать наоборот. Замотанные башлыками по самые брови казаки громко ругали выжившее из ума штабное начальство, господа офицеры отводили душу в криках на собственных казаков, и только генерал-майор Николай Александрович Веревкин никогда не позволял себе повышать голоса, хотя порою ему очень этого хотелось. Не потому, что не терпел разухабистой казачьей матерщины — с казаками он умел разговаривать на их языке, — а потому, что полностью разделял их точку зрения на господ штабных офицеров, проложивших маршрут для его Оренбургского отряда одним

движением лихо отточенного карандаша.

Сочувствуя казакам, Николай Александрович в то же время прекрасно понимал необходимость разгрома Хивинского ханства. Еще со времен Ивана Грозного Россия упорно стремилась к этому, и путь к Хиве был щедро усеян костями русских воинов. Хива была не только узлом торговых дорог, связывающих далекий Китай с Европой, не только главным рынком рабов всей Средней Азии — Хива стала символом Туркестана в самом неприглядном смысле этого слова. И, проклиная маршрут, выпавший на долю Оренбургского отряда, генерал Веревкин твердо и настойчиво продвигался вперед, боясь только одного: опоздать и оказаться невостребованным в самый решительный момент.

— Обмороженных и заболевших привязывать к седлам. Нет времени на остановки.

Если казаки Веревкина мерзли в снегах, с невероятным трудом отвоевывая каждую версту, то Мангышлакский отряд полковника Ломакина вскоре угодил из огня да в полымя, как со всей точностью определили солдаты. Дело в том, что от несусветной жары, не спадавшей и по ночам, зацвела вода в неглубоких колодцах. К ее неприятному горько-соленому вкусу прибавился

поначалу легкий, а затем и непереносимо отвратительный запах гниения. А солдаты истекали потом на первой же версте, нестерпимая жажда колючим комом вставала в горле, и фляжки пустели уже к полудню.

Авангарду, которым командовал Скобелев, повезло не потому, что они шли первыми: вода для всех была отвратительной. Потому повезло, если это слово вообще здесь уместно, что с ними был человек, которому случалось попадать в подобные передряги.

— Интересно, что пьют в таком аду? — спросил Скобелев, когда они впервые вытащили из мелкого колодца («эспе») тухлую зацветшую воду.

Он спросил с улыбкой, но весьма обеспокоенный Млынов ответил совершенно серьезно:

— Чай, господин полковник. Обязательно с солью и жиром, и только на ночь.

— Ну, соль я еще понимаю: с потом ее теряем. Но жир-то здесь причем?

— Жир удерживает влагу, примером чему — верблюжьи горбы. Понимаю, это требует привычки, но иного выхода нет.

Михаил Дмитриевич сразу же поверил опытному молодому человеку и с этой верой помчался в основной отряд.

— Калмыцкий чай предлагаете? — поморщился полковник Ломакин. — Ну, знаете ли, Скобелев, это не для русского желудка.

— Это — для русского здоровья.

— Кипяток — другое дело. Но жир с солью…

— Таков совет опытного человека.

— Оставьте советы, Скобелев, — вздохнул Ломакин. — Меня и так тошнит.

Проклиная упрямство полковника, Михаил Дмитриевич вернулся в свой авангард, где и ввел калмыцкий чай особым приказом. Казаки морщились, ругались, но приказ исполняли беспрекословно: людьми были дисциплинированными. А потом привыкли настолько, что пили не без удовольствия, что спасло весь скобелевский авангард не только от потери сил, но и от заболеваний.

Брезгливость полковника Ломакина, помноженная на упрямство, к сожалению, основной отряд не уберегла. Люди падали и от тепловых ударов на длительных переходах, и от повальных желудочных заболеваний. Да и сам Николай Павлович Ломакин ослабел настолько, что по утрам его подсаживали в седло, а по вечерам вынимали из него и клали на бурку почти без чувств.

А степной простор был пустынен от горизонта

до горизонта. Не видно было ни сторожевых хивинских дозоров, ни лихих туркменских джигитов, рыскавших по пустыне за добычей. Один раз, правда, вдалеке показался караван, но шел он спокойно, своим путем, и даже охраны они не заметили.

— Торговый, — определил Млынов.

— Почему же охраны нет?

— Торговцев обычно не грабят, слишком сурово наказание. Конечно, во время войны все возможно.

Однако вскоре все изменилось. Правда, и тогда они нигде не обнаружили противника, но, судя по всему, этот невидимый противник обнаружил движение их отряда. Глубокие колодцы Ислам-Кую и Орта-Кую, в которых они надеялись найти чистую воду, оказались заваленными овечьими трупами.

— Значит, знают о нас, — вздохнул Скобелев.

Он усилил караулы, а Ломакин вынужден был урезать и без того малые порции вонючей воды. Михаил Дмитриевич несколько раз сам выезжал в дальние рекогносцировки вместе с Млыновым, к которому уже привык и которому безотчетно доверял. Но им никого не удалось обнаружить. Не только всадников, но даже следов их коней.

— Пробирались по такырам, — объяснил Млынов. — По такой жаре такыры тверды, как зимний асфальт.

Полковник Ломакин ослабел настолько, что уже не мог удержаться в седле. Пришлось соорудить носилки, которые подвешивали между вьючными лошадьми, если позволяла местность. Ну а там, где местность этого не позволяла, солдаты несли разболевшегося Николая Павловича на руках. Это замедляло продвижение отряда в целом, изматывало солдат дополнительными хлопотами, а офицеров — нарушением рассчитанной скорости продвижения.

— Этак может получиться, что зря все затеяли, — ворчал майор Навроцкий. — Пока доберемся, Кауфман уже Хиву возьмет.

Вероятно, та же мысль тревожила и генерала Веревкина. Дней через десять после горестного вывода Навроцкого, передовой дозор скобелевского авангарда с радостными криками доставил к Михаилу Дмитриевичу троих безмерно усталых уральцев.

— Хорунжий Усольцев, господин полковник. Послан с депешей наказным атаманом его превосходительством генерал-майором Веревкиным к господину полковнику Ломакину, но ваши

казаки сказали, что тут вы за него.

Все это уралец выпалил сразу, четко и без запинок: видно, много раз повторял про себя свой первый важный рапорт. И был юн настолько, что на ввалившихся обмороженных щеках еще розовыми поросячьими клочьями торчала будущая борода.

В депеше было сказано, что Оренбургский отряд намеревается повстречаться с Мангышлакским отрядом в середине мая в районе селения Ходжейли для совместного наступления на Хиву.

Глава пятая

1

Депешу Михаил Дмитриевич доставил Ломакину лично. Николай Павлович очень ослабел от изматывающей его болезни, уже не вставал и говорил непривычно тихо и — с трудом. Внимательно ознакомившись с посланием генерала Веревкина, сказал Скобелеву:

— Примите командование отрядом и следуйте к месту соединения с оренбургскими казаками.

— Но я, так сказать, волонтер, Николай Павлович. — Михаил Дмитриевич несколько опешил,

хотя и обрадовался. — Понимаю особые обстоятельства, но поймут ли их в должной мере ваши офицеры?

— Офицеры скажут спасибо, коли вы выведете их из этого ада. Если угодно, я подпишу письменный приказ.

— Я удовлетворен вашими искренними словами, Николай Павлович. И сделаю все, чтобы оправдать их.

Офицеры приняли назначение Скобелева командиром со вздохом облегчения, хотя вздох этот дался майору Навроцкому нелегко. Все уже поняли, что туркестанская война, которую в известной мере знал только Михаил Дмитриевич, никак не похожа на привычную им Кавказскую, оттого-то и видели в этом неожиданном назначении единственный шанс пересечь пугающую их пустыню и добраться-таки до Хивинского ханства с его арыками, садами, тенистой прохладой и обжитыми селениями. Там уже можно было бы нормально существовать, а следовательно, и воевать так, как они привыкли, и не тащиться по диким пересохшим солончакам, изнемогая от зноя и жажды.

В первых числах мая Мангышлакский отряд вышел к границам Хивинского ханства. До со-

единения с Оренбургским отрядом оставались считанные версты, но на пути, как на грех, оказалась небольшая пограничная крепость Кызыл-Агир.

Об этом доложил казачий дозор. Скобелев сразу же отправил к основным силам урядника с приказом немедля подтягиваться к авангарду, выслав вперед артиллерийскую полубатарею.

— Крепостица старенькая, — сказал он, выехав с прибывшими офицерами на рекогносцировку. — Судя по размерам, гарнизон ее невелик, и как только артиллеристы разнесут ворота, мы предложим им сложить оружие.

— Парламентер, — заметил Млынов.

От крепостных ворот на полном скаку мчался всадник в пестром халате, размахивая привязанной к копью тряпкой, но почему-то цветастой, а не белой. Подскакав, он громко закричал, продолжая усиленно размахивать цветной тряпкой.

— Командующий крепости просит высокого господина русского начальника обождать со штурмом, пока они не перетащат с южной стены на северную свое орудие, — невозмутимо перевел Млынов.

— Это что еще за новости? — нахмурился Михаил Дмитриевич. — Нас просят ждать, пока

они сосредоточат всю свою артиллерию против нашего отряда?

Прапорщик Млынов негромко переговорил с парламентером, усмехнулся:

— Вся их артиллерия состоит из одного древнего бронзового орудия, господин полковник. И они просят вашего разрешения выстрелить из него ровно один раз. При этом клянутся Аллахом, что палить будут по пустому месту.

— Господа, вы что-нибудь понимаете? — хмуро спросил Скобелев у своих офицеров.

— Кажется, мы имеем дело с изощренной азиатской хитростью, — предположил начальник штаба отряда подполковник Пояров.

— Они поклялись именем Аллаха, — серьезно напомнил Млынов. — После их единственного выстрела в указанном нами направлении они просят дать артиллерийский залп по стене, но при этом заранее предупредить, куда именно мы будем стрелять.

— Это еще зачем?

— Чтобы они отвели из-под выстрелов всех своих людей, — пожал плечами переводчик.

— Объясните, Млынов, что все это означает? — озабоченно попросил Скобелев. — Они тянут время, чтобы успели подойти подкрепления и

ударили на нас с тыла?

— Не думаю, — усмехнулся прапорщик. — Командующий, комендант, защитники крепости да и все ее жители очень хотят сдаться на нашу милость. Однако, если крепость будет сдана без выстрела, всем родственникам командующего гарнизоном и коменданта хан отрубит головы. И так оно и будет, потому что таковы законы Хивы, насколько мне известно.

Михаил Дмитриевич молча теребил бакенбарды, размышляя, как поступить в столь непривычных обстоятельствах.

— Лукавят азиаты, — вздохнул майор Навроцкий, — ох, лукавят! Не поддавайтесь, господин полковник, это какая-то ловушка.

— Ловушка, говорите? Возможно… — Скобелев вздохнул, оглянулся на стоявших позади артиллерийских офицеров. — Поручик Гродиков, возьмите двоих казаков и вместе с прапорщиком Млыновым отправляйтесь в крепость с парламентером. Посмотрите, что у них за пушка, и укажите, куда ее поставить, чтобы никуда не попасть.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Млынов, предупредите коменданта и начальника гарнизона, что они имеют право на

выстрел только после того, как вы вернетесь. В противном случае я разнесу все стены, а заодно и все дома.

— Будет исполнено, господин полковник.

Артиллерийский поручик Гродиков, прапорщик Млынов и двое степенных (Михаил Дмитриевич лично отобрал их) казаков поскакали в крепость вслед за парламентером. Все оставшиеся молча провожали их взглядами и озабоченно вздохнули, когда за ними закрылись крепостные ворота.

— Я не доверяю туземцам, — хмуро сказал подполковник Пояров. — Не доверяю изначально.

Все промолчали. Потом сказал майор Навроцкий, со вздохом и невесело:

— Признаться, господа, я с ужасом ожидаю, что вот-вот через крепостные стены нам перекинут все четыре головы.

— Даст бог, этого не случится, — словно бы про себя заметил Скобелев.

— А все же, Михаил Дмитриевич, вы уверены, что Бог — даст? — с усмешкой сказал подполковник Пояров. — Или здесь именно так странно все и воюют?

— За всех отвечать не берусь, но за себя отвечу. Воевать надо с чистой совестью, господа.

— И во имя чистоты собственной совести вы…

Скобелев так глянул на подполковника Поярова, что начальник штаба фразы своей не закончил. И все примолкли, не отрывая глаз от крепостных ворот.

Михаилу Дмитриевичу было сейчас весьма не по себе. Он тоже не очень-то верил местным командирам, был достаточно наслышан и об их коварстве, и о хитростях, и о том, что им абсолютно незнакомо европейское понятие офицерской чести. Но так уж случилось, что он безотчетно доверял Млынову едва ли не с первого дня знакомства. Прапорщик прекрасно знал не только местные языки и даже не только местные обычаи, но, как казалось Скобелеву, и психологию самих жителей. И однажды как бы между прочим он заметил в разговоре:

— У них есть свое понятие чести. Мы обманываем их куда чаще, чем они нас, поверьте.

Прошло томительных сорок минут, прежде чем распахнулись крепостные ворота.

— Едут! — с облегчением сказал кто-то.

Однако ворота пропустили лишь одного всадника и тут же закрылись за ним. Всадник приближался неторопливо, на размашистой рыси, и прошло известное время, пока офицеры не

узнали в нем прапорщика Млынова.

— Ну, господа, все ясно! — воскликнул Навроцкий. — Они отпустили одного, чтобы он сообщил условия освобождения остальных. И конечно же этим счастливчиком оказался именно Млынов. Свояк свояка видит издалека: у этого Млынова мать — киргизка.

— Вы капризны и подозрительны, как заматеревшая девица, — не скрывая раздражения, сказал Скобелев. — Во-первых, мы еще ровно ничего не знаем, а во-вторых, матушка нашего переводчика из кипчакского племени…

Споры прекратились, поскольку Млынов громко закричал еще издали:

— Они приняли все наши условия!

— А почему отпустили только вас? — сердито спросил Михаил Дмитриевич.

Он устал от волнений и ожидания и был не в духе.

— У хивинцев в крепости не оказалось ни одного артиллериста, — спокойно пояснил прапорщик, спешиваясь. — Выяснив это, поручик Гродиков счел за благо выстрелить из их пищали самому. Казаки остались ему помогать, а меня поручик послал предупредить вас о сем казусе. После его выстрела хивинцы просили вас, госпо-

дин полковник, разнести их ворота в щепы.

— Почему именно ворота?

— По трем причинам. Первое: за воротами — базарная площадь, и таким образом от нашего залпа не пострадает ни один дом. Второе: разбитые ворота — лучшее доказательство серьезности наших намерений. И главное: ворота очень старые, а хан не отпускал денег на их ремонт, несмотря на неоднократные просьбы коменданта…

На крепостной стене появилось густое облако черного дыма, и почти тотчас же раздался грохот. Ядро, выпущенное древним орудием, летело столь неторопливо, что все провожали его глазами, пока оно не упало где-то далеко от отряда.

— Залп по воротам! — крикнул Скобелев.

— Батарея, готовьсь! — напевно начал команду артиллерийский офицер. — Наводить по воротам, один снаряд… Пли!..

Оба орудия дружным залпом ударили по крепостным воротам. Грохнули взрывы, на миг все заволокло дымом, а когда он рассеялся, ворот уже не было. Сквозь заваленный их обломками проем виднелась затянутая снарядными дымками пустая площадь. Потом на ней появился всадник без копья и тряпки, но в сопровождении поручика Гродикова с двумя казаками и в довольно

нарядном халате.

— Начальник гарнизона, — пояснил Млынов. — Готовьте акт о капитуляции, господин начальник штаба. Этот гарнизонный чиновник едет подписывать его с огромным облегчением…

Эта история стала анекдотом, который впоследствии так любили рассказывать в петербургских и московских салонах наряду с анекдотом о сардинской дуэли. Они породили целую серию былей и небылиц о туркестанской деятельности Михаила Дмитриевича Скобелева, что впоследствии сказалось на его воинской карьере и сильно попортило как настроение, так и нервы.

Но это все — потом, в обеих столицах, впоследствии. А тогда путь к месту соединения Мангышлакского и Оренбургского отрядов был открыт, и о большем Скобелев не помышлял. Уж слишком непомерной оказалась усталость даже для него…

2

Четырнадцатого мая авангард Мангышлакского отряда встретился с авангардом оренбуржцев, которым командовал полковник Саранчов: он специально предупредил Михаила Дмитриевича, что пишется через «о». Полковник был немолод,

неразговорчив и выглядел весьма озабоченным. Впрочем, было с чего выглядеть: Бог приветствовал его степную удаль четырьмя дочерьми, и полковник думал только о том, где бы раздобыть средств на приданое. О прочем он не помышлял, но немалый опыт с лихвой возмещал его односторонность, и с порученным делом он всегда справлялся быстрее и лучше любого юного карьериста.

— Говорят, генерал Кауфман тысячу рублей тому командиру даст, чьи солдаты первыми в крепость Хиву ворвутся?

Это был его первый вопрос, обращенный к Скобелеву при знакомстве. И Михаил Дмитриевич сразу все понял про полковника Саранчова. И что полковник — из казаков, и что надел невелик, и что расходов куда как больше достатка. И что это постоянно угнетает полковника, отягощая нелегкую его службу суетностью, а душу — вполне земными матерьяльными помыслами. И сказал:

— Точно не знаю, полковник, но… Но должны бы, а?

— Должны бы, — вздохнул Саранчов. — Мы намерзлись, вы — нажарились. Должны бы.

Штатные начальники отрядов, предназначенных для внезапного удара по доселе надежно

прикрытой пустынями Хиве, оказались как бы не у дел. Как бы в тыловом эшелоне, что равно касалось как захворавшего полковника Ломакина, так и генерала Веревкина, озабоченного не своей болезнью, а беспомощным положением многочисленных обмороженных казаков. В незнакомой, настежь распахнутой всем неожиданностям местности он не мог их оставить, опасаясь внезапной атаки джигитов хивинского хана или бродячих шаек искателей легкой добычи. И тащился в обозе, передоверив, подобно полковнику Ломакину, командование наиболее боеспособными частями своему бессменному командиру авангарда. И оба офицера — молодой и старый — отлично понимали друг друга, не тратя понапрасну времени ради выяснения вечного вопроса русской армии: «Кто главнее?»

Авангарды Мангышлакского и Оренбургского отрядов соединились под Кунградом. До самой Хивы оставалось еще двести пятьдесят верст с гаком, и эти версты оказались самыми сложными и кровавыми. Конные отряды хивинской гвардии, обнаружив в собственном ханстве непонятно откуда взявшиеся крупные русские силы, перекрыли все дороги к столице, упорно сражаясь за каждый кишлак и за каждый арык. За свою

свободу дрались хивинцы на удивление стойко и отважно, не боясь глубоких фланговых рейдов, стремительных конных атак, яростной рубки и отхода врассыпную, после чего вновь собирались в заранее оговоренном месте. Они сжигали за собою все мосты через глубокие арыки, разрушали плотины, засыпали или заваливали трупами животных колодцы с хорошей водой.

— Молодцы, — сказал Саранчов. — За свою землицу да не постоять насмерть — грех великий и неотмолимый. Что перед нашим Господом, что перед ихним.

Он пришел навестить Михаила Дмитриевича, который в последней рубке получил семь ранений и отлеживался в арбе. Ему нравился Скобелев, годившийся ему в сыновья, а раны его — не нравились. Слишком было жарко для открытых резаных ран.

— Не загниешь, Михаил? Может, доктора тебе из нашего тыла вызвать?

— Меня прапорщик Млынов пользует, — через силу усмехнулся Скобелев. — Не знаю, какой дрянью, но черви пока не завелись.

— А что за киргиз с этим прапорщиком?

— Родственник его.

— Со стороны матери, поди? — зачем-то уточ-

нил Саранчов. И уж совершенно неожиданно добавил: — Ну, девчонки в четырнадцать лет все пригожи. Хоть наших взять, хоть ихних. Сила у них — внутри.

Вздохнул невесело, озабоченно покачал головой. Потом сказал вдруг:

— Газетчик иностранный приехал. Пытает все, когда Хиву будем штурмовать. Я пришлю его к тебе, а, Михаил? Ты, поди, по-ихнему разумеешь.

— Разумею! — радостно признался Скобелев.

На следующий день Саранчов прислал с сопровождающим — он не очень-то доверял иностранцам — коренастого рыжеватого господина в странной шляпе, чудом сидящей на затылке.

— Макгахан. Корреспондент газеты…

— Вам будет легче, если перейдем на английский, — улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Американец два дня не отходил от раненого подполковника, с удовольствием болтая на родном языке. А Михаил Дмитриевич шлифовал произношение, а заодно и просвещал любопытного иностранца:

— У русских отвага иного свойства, нежели у европейцев, друг мой. Мы — фаталисты, и любимая присказка солдат перед штурмом: «Чему быть, того не миновать». А любимый приказ

офицера на штурм: «Двум смертям не бывать, ребята. За мной!..» Вы должны сами ощутить это, а потому я приглашаю вас на какой-нибудь из своих ближайших штурмов. Пойдете?

— А почему бы и нет, господин генерал «За мной!»? — улыбнулся Макгахан.

— Я всего лишь подполковник, сэр.

— А я никогда случайно не оговариваюсь.

— Сплюньте по русскому обычаю. — Скобелев был весьма польщен, но самодовольную улыбку прятал изо всех сил. — Что вами движет: расчет или эмоции?

— Американцы всегда исходят из соображений прагматических в отличие от русских бородатых романтиков. Так что мы с вами представляем два полюса идеальной мужской души. И это скверно, поскольку полюса никогда не сходятся.

— Вот тут вы не правы, дружище, — улыбнулся Михаил Дмитриевич. — Они сходятся в магните, и уж чего-чего, а этого свойства у нас обоих, кажется, в избытке.

Скобелевская натура обладала не только огромным магнетизмом, но и данной от Бога способностью улавливать напряжение боевой обстановки. И хотя не было тогда у него ни кровавого военного опыта, ни донесений, поз-

воляющих командиру делать определенный вывод, однако он необъяснимо чувствовал, что противники вполне созрели для того, чтобы качественно изменить сложившуюся партизанскую войну, призрак которой все время беспокоил Михаила Дмитриевича. Такая война была на руку хивинцам, но Кауфман был умен и опытен и должен был, обязан был — с точки зрения подполковника Скобелева, разумеется, — выбить этот козырь из колоды военных возможностей хивинского хана.

И доселе обретавшийся в тылу наказной атаман Уральского казачьего войска Николай Александрович Веревкин припомнил, что он не только атаман, но и войсковой генерал. Хивинская конница была оттеснена к столице ханства, беспокойства за обозы с обмороженными и больными несколько притупились, и генерал счел необходимым личное присутствие в своих боеспособных частях. По дороге к ним его перехватил гонец от генерала Кауфмана, и на свидание с Саранчовым и Скобелевым Николай Александрович явился с депешей в руках.

— Приказ на соединение у моста Сарыкупрюк, — сказал он командирам авангардов. — Я спешу на свидание с Константином Петровичем,

однако генерал просит повременить с атакой, поскольку не желает лишнего кровопролития и очень рассчитывает на сдачу гарнизона безо всяких условий.

— И что же? — с плохо скрытым раздражением спросил Скобелев. — Хивинцы уже знают об этом и с восторгом готовы сдать крепость без всяких оговоренностей?

— Ваша запальчивость, полковник, по меньшей мере неуместна, — укоризненно сказал Веревкин. — Я лишь исполняю отданные мне приказания, не более того.

— Неделю назад Михал Дмитрич на засаду нарвался, — вздохнул Саранчов. — Еле отбился и ушел. С семью порезами. Такие здесь дела, Николай Александрович.

— Я буду атаковать Шахабадские ворота, — хмуро произнес Скобелев. — Даже если вы, генерал, откажете мне в помощи.

— Я сообщу об этом Кауфману. Но вас, полковник Саранчов, прошу воздержаться от необдуманных поступков. Ни один наш казак не должен участвовать в авантюре, которую задумал Скобелев.

— Слушаюсь, Николай Александрович, — недовольно проворчал Саранчов.

Генерал Веревкин отбыл на свидание с Кауфманом, которое, впрочем, так и не состоялось, поскольку наказной атаман Уральского казачьего войска был контужен в голову случайной пулей. Это обстоятельство не изменило намерений Константина Петровича во что бы то ни стало обойтись без штурма Хивинской цитадели. Он старался проводить совершенно незнакомую Туркестану политику мира, но это пока удавалось ему плохо. Однако Кауфман был настойчив и целеустремлен, поскольку хорошо помнил напутственные слова Александра II: в Туркестане будет твориться ныне российская история, Константин Петрович. Сочинить можно все, но записать — либо пером, либо штыком. И запись чернилами куда долговечнее, нежели запись кровью людской.

3

Сразу же после отъезда генерала Веревкина Скобелев приказал всем своим силам сосредоточиться против Шахабадских ворот Хивинской цитадели. И ранним утром заехал за Макгаханом.

— Я обещал предоставить вам, дружище, возможность поучаствовать в штурме. Прошу со

мной, коли не передумали.

— Чашечку кофе? — усмехнулся корреспондент.

— С удовольствием, если последует ваше согласие.

— В противном случае я бы предложил вам бренди.

Выпив кофе, приятели отправились на позиции. Там оказался Саранчов, следивший за отходом своих казаков.

— Жаль, что поторопился, — с неудовольствием сказал Скобелев. — Я, признаться, рассчитывал на твоих пушкарей.

— Они — армейские, а не казачьи, — пояснил полковник. — Стало быть, их приказ Николая Александровича не касается. А я прикажу им догонять меня после того, как ты их отпустишь.

Артиллеристы Оренбургского отряда с удовольствием откликнулись на личную просьбу Скобелева. Однако еще до их залпа черт принес корнета графа Шувалова с категорическим приказом генерала Кауфмана во что бы то ни стало воздержаться от штурма, и Михаил Дмитриевич очень расстроился.

— Вот незадача…

— Корнеты любят славу, — проворчал корре-

спондент. — Вполне допускаю, что этот — тоже.

Он тут же с типично американским амикошонством познакомился с графом, который упоенно рассказывал, каким опасностям он подвергался, торопясь донести до Скобелева приказ Константина Петровича ни в коем случае не штурмовать цитадель до особого на то распоряжения.

— Стреляют вовсю, господа!.. — разглагольствовал юный корнет. — Представьте, лошадь под моим коноводом ранили! Чуть бы левее, и…

— И, — согласился Макгахан. — Считайте, что это «и» уже произошло. Во всяком случае, именно так я и напишу в своей корреспонденции: «Под отважным корнетом графом Шуваловым была ранена лошадь». Весь Петербург будет восторженно замирать от ужаса, поскольку именно там, согласно договоренностей, первыми читают мои статьи.

— Ранена лошадь? — оторопело спросил корнет. — Ну, так я и говорю, что под коноводом…

— Ваша, граф, ваша, — мягко втолковывал Макгахан. — Но, будучи человеком отважным, вы поспешили за полковником Скобелевым, который уже ворвался в крепость во главе своих солдат…

В это время громыхнул залп из двух оставлен-

ных Саранчовым орудий. Шахабадские ворота сорвало с петель, кто-то уже восторженно орал «Ура!», а корнет граф Шувалов окончательно запутался в вопросе, чья лошадь была ранена и зачем он вообще здесь оказался.

— Наша очередь, друзья. — Михаил Дмитриевич глубоко, как перед прыжком в воду, вздохнул. — За мной, ребята!..

Он первым ворвался в цитадель. Американец с винчестером бежал на шаг позади, а следом за ними поспешал корнет Шувалов, упоенно размахивая саблей. С крыш стреляли второпях, но весьма часто, что очень удивило Скобелева:

— Вот упрямцы! С перепугу, что ли? Пригнитесь, Макгахан, вы не на Диком Западе!..

— Я — на диком Востоке. И мечтаю получить легкое ранение…

Ранения он не получил, равно как и все остальные. Скобелев довел своих солдат до ханского дворца, где их встретили вконец растерявшиеся представители хана и строгие седобородые аксакалы.

— Мы сдали город без боя…

— Как бы не так, — сказал Михаил Дмитриевич, задыхаясь от бега. — Вы сдали его мне на шпагу…

Вечером он получил нагоняй от генерала Кауфмана.

— Ваше счастье, что не оказалось ни одного раненого. Что за мальчишество, полковник?

— Хотел оказать вам услугу, ваше превосходительство.

— Так окажите ее цивилизованно, — продолжал недовольно ворчать Константин Петрович. — Одновременно с вами из Красноводска выступил на Хиву отряд Маркозова. Найдите его, и я позабуду о вашей дерзкой самодеятельности.

Отряд Маркозова действительно затерялся в песках, его и впрямь надо было найти, но Кауфман отсылал Скобелева не столько на поиски, сколько прятал от недовольных глаз. Ему понравилась вызывающая активность фактического командира Киндерлиндского отряда, но если бы при штурме не обошлось без ранений, главнокомандующий всеми войсками в Туркестане сурово взыскал бы с чересчур активного подполковника. Но — обошлось, и сейчас следовало спрятать Скобелева от многочисленных недругов.

— Отряд Маркозова потерялся где-то в Каракумских песках, — объяснял он, когда мысль во что бы то ни стало отправить Скобелева подальше уже окончательно овладела им. — Необходимо

найти его и передать приказ вернуться в Красноводск. Возьмите в свое распоряжение всех уральских казаков и проведите эту операцию со всей свойственной вам стремительностью, пока противник еще не опомнился.

— Стремительно тащиться от колодца к колодцу? — усмехнулся Скобелев. — Это невозможно, ваше превосходительство. Все беглые джигиты из Хивы осели именно возле колодцев, которых очень мало на этом маршруте. Следовательно, моему отряду предстоят бесконечные затяжные бои и многочисленные внезапные стычки, что никак не может привести нас к желаемому результату.

— Возможно, вы правы, полковник. Но нет иного повода отправить вас с глаз долой.

— Благодарю ваше превосходительство за заботу, — искренне сказал Михаил Дмитриевич, поняв истинную причину внезапного решения Кауфмана. — Только за что же страдать ни в чем не повинным казакам?

— Вы обсуждаете приказ, Скобелев?

— Никоим образом. Я лишь ищу наиболее приемлемый способ его исполнения. Разрешите доложить свои соображения утром?

Идея, вдруг посетившая Скобелева, была безум-

ной, почему он и оценил ее совершенно особенно. Она не просто щекотала нервы и тешила самолюбие — она могла помочь исполнить и впрямь необходимый приказ Кауфмана, не рискуя казачьими жизнями. Однако Михаил Дмитриевич почему-то стеснялся, когда излагал ее Млынову. Но прапорщик сказал всего одну фразу:

— Вы не пророните ни одного слова за все время пути. Пока не вернемся.

— То есть? — опешил Скобелев.

— Обет молчания. Наденете повязку на лоб.

— Какую повязку?

— Я сам повяжу. С нами пойдет мой двоюродный брат.

— Ничего не понимаю. Молчание, брат… Откуда он возьмется, ваш кузен?

— Из обоза. Он вел наш караван, о чем я вам докладывал. И со всеми встречными будем разговаривать только мы. Он или я. Тогда может так случиться, что мы найдем Красноводский отряд и даже вернемся живыми.

— Я обязан доложить о ваших условиях, — подумав, сказал Михаил Дмитриевич.

И тут же доложил об этом разговоре Константину Петровичу.

— На таких условиях я не могу вас отпустить, —

вздохнул Кауфман.

— Иного выхода нет, — вздохнул Скобелев в ответ.

Генерал долго молчал. Потом сказал:

— Авантюра чудовищная, полковник. Чудовищная и небывалая. Но, возможно, ваш толмач прав. Возможно. Я знаю местные обычаи: обет молчания вызывает уважение, хотя… — Кауфман еще раз вздохнул, протянул руку: — Храни вас Господь, Михаил Дмитриевич. Покажетесь мне с повязкой на лбу перед выездом?

— Нет.

— Почему? — удивился генерал-губернатор.

— Плохая примета, ваше превосходительство, — серьезно сказал Скобелев. — Представлюсь по возвращении.

И вышел.

Более месяца о нем не было ни слуху ни духу. Генерал-губернатор Кауфман верил и ждал, никуда не выезжая из Хивинского ханства, подписавшего чрезвычайно выгодный для России договор о вассальной зависимости. Он не докладывал в Санкт-Петербург о предприятии Скобелева, всячески уклонялся от необходимости покинуть Хиву и — ждал. По необъяснимым причинам он верил, что безумная авантюра Михаила Дмит-

риевича увенчается успехом, но даже его слепая вера в скобелевскую звезду в конце концов источилась сомнениями. Константин Петрович начал с глубокой горечью ощущать, что дерзкий замысел молодого подполковника провалился, чувствовал себя виноватым, но из Хивы все же упорно не уезжал.

— Ваше превосходительство, к вам какой-то странный туркмен рвется, — как-то поздним вечером доложил дежурный адъютант.

Кауфман вскочил с юношеской стремительностью:

— Зови!

И в кабинет вошел туземец в косматой папахе с зеленой повязкой на лбу.

— Я обещал представиться вам по возвращении, Константин Петрович.

— Скобелев! — закричал сдержанный Кауфман, бросаясь к внезапному посетителю. — Как же вы уцелели, Михаил Дмитриевич, как же вы уцелели…

Он обнял Скобелева, крепко прижал к груди.

— Я нашел авангард Маркозова в каракумских песках у колодцев Мирза-Гирле, — сказал полковник, смущенно высвобождаясь из генеральских объятий. — И передал ваш приказ о немедленном

возвращении в Красноводск.

— Благодарю, Михаил Дмитриевич, от всего сердца благодарю, — взволнованно говорил Кауфман, не слушая его. — Вы достойны самой высокой награды, и я…

— Я не приму никакой награды, если вы не исполните моей просьбы, — твердо сказал Скобелев. — Я уцелел только благодаря мужеству и отваге моего друга, переводчика и проводника Млынова, ваше превосходительство. Он не имеет никакого военного образования, но я прошу утвердить его в офицерском звании.

История редкого по отваге и дерзости подвига подполковника Михаила Дмитриевича Скобелева не только попала во все реляции и доклады, но и во всю мировую прессу, красочно расписанная Макгаханом. А друг детства императора Александра II граф Адлерберг с чувством, подробностями и очень своевременно поведал об этом государю за чашкой утреннего кофе.

— Полковник удался в своего деда. — Александр изволил милостиво улыбнуться. — Полагаю, Кауфман представил сего героя к достойной награде?

— Полковник Скобелев представлен к ордену Святаго Георгия, Ваше Величество.

— Мы запомним сего Георгиевского кавалера, граф. А пока подождем его следующего подвига.

Это была единственная награда Скобелева: за труднейший поход Киндерлиндского отряда он ничего не получил — кроме звания полковника. То ли отчаянный поиск колонны Маркозова заслонил собою иные его дела, то ли кто-то просто-напросто вычеркнул Михаила Дмитриевича из всех реляций, ловко переведя внимание на больного полковника Ломакина, то ли еще по какой-то причине. За путешествие через пустынные солончаковые степи в носилках Николай Павлович был пожалован генеральским чином, золотым оружием и орденом Святого Владимира третьей степени с мечами. Российские награды вообще сыплются как бы сами по себе, завися порою от дворцовых сплетен, ничтожных слов и еще более ничтожных умолчаний куда больше, нежели от действительных примеров служения Отечеству своему.

Впрочем, Скобелеву некогда было обижаться. Вскоре последовало восстание в Коканде, бороться с которым досталось ему уже как самостоятельному командиру соседствующих русских отрядов. Не связанный более непосредственным руководством людей посредственных, Михаил

Дмитриевич столь стремительно и энергично громил многократно превосходящие его силы противника, что на иное у него просто не оставалось времени. Не заметить его редкостного полководческого таланта было уже невозможно, тем более что государь и впрямь запомнил его по подвигу в Каракумах. За быстрым разгромом кокандцев последовало производство в генерал-майоры с зачислением в свиту Его Императорского Величества, золотое оружие за храбрость, ордена Георгия третьей степени и Владимира с мечами. За производством последовали и назначения, и молодой генерал Скобелев оказался вскоре административным и военным руководителем Ферганы.

Трудно было себе представить более удачную карьеру, особенно если учесть, что она только начиналась. Тридцатилетнему генерал-губернатору люто завидовали в обеих столицах.

— Этот ваш Скобелев способен воевать только с халатниками. Он вмиг испачкает свой пресловутый белый мундир в любой европейской войне.

Михаила Дмитриевича глубоко обижало это высокомерное столичное пренебрежение. Он понимал, что оно во многом питалось его неуемной страстью к риску вполне рассчитанному,

оправданному глубоким пониманием психологии противника, но ни академические военные светила, ни тем паче аристократические салоны как Москвы, так и Санкт-Петербурга просто не могли себе представить всего многоцветья его далеко не ординарного человеческого и военного таланта. Он выламывался из всех привычных схем, а потому и обречен был на остракизм высшего общества, давно уже выработавшего неукоснительные правила отношений с любой самобытной личностью.

В основе лежала обыкновенная обывательская зависть, — затмевающая не только его воинские победы, но и весьма существенные достижения на ниве административной деятельности. Подведомственные ему территории жили мирно и достойно, но никто не желал видеть ничего достойного в самом молодом генерал-губернаторе.

И начались интриги, против которых по-детски доверчивый Михаил Дмитриевич оказался совершенно бессилен. Все кем-то очень умело раскручивалось, накапливалось, росло, и в конце концов Скобелев не выдержал и… бежал.

В Санкт-Петербург. За правдой к самому государю императору Александру II.

Часть вторая
Глава первая

1

Теплым апрельским вечером по всему местечку Кубея, расположенному у самой румынской границы, весело трещали десятки костров. На центральной площади возле каменной церкви играл полковой оркестр, вокруг костра толпились казаки и молодые офицеры; те, кто постарше, сидели у огня на седлах в тесном кругу бородатых донцов. Со всех сторон доносились песни, озорные посвисты, дружный хохот десятков казачьих глоток, громкое ржание встревоженных, предчувствующих поход лошадей.

— Сегодня всенепременно приказ на выступление должен быть, — говорил увешанный медалями старый вахмистр. — Помяните мое слово, ребята, должен!

Смеялись казаки:

— Печенка чует, Евсеич?

— Не сглазь, отец. Каркаешь третий час.

— У него глаз добрый: глянет — как выстрелит!

— Правду говорю, — убежденно сказал вах-

мистр. — Ну, с кем об заклад?

— Со мной, борода, — улыбнулся безусый хорунжий. — Что же поставишь?

— Шашку поставлю. Хорошая шашка, кавказская. А ты что взамен, ваше благородие?

— Лошадь могу. У меня заводная есть.

— Тю, лошадь! На твоей лошади только и знай, что девок катать.

— Ну, винчестер хочешь?

— Смотрите, Студеникин, проиграете, — предупредил немолодой сотник. — Евсеич и вправду печенкой поход чувствует, тридцать лет в строю.

— Не беспокойтесь о моем имуществе, Немчинов, — задорно сказал хорунжий. — Пойдет ли винчестер, Евсеич?

— Коль не ломаный, так чего ж ему не пойти?

— Нет, новый.

— Тогда по рукам. При свидетелях.

— Согласен. Только скажи, откуда о походе знаешь?

— Дело нехитрое, — пряча усмешку в косматую, с густой проседью бороду, начал вахмистр. — Задаю я, значит, поутру корм своему Джигиту, а он и рыло в сторону. Что ты, говорю, подлец, морду-то воротишь? Овес отборный, сам бы жрал, да зубы не те. А он повздыхал этак, по сторонам глазом

порыскал да и говорит мне…

— Ох-хо-хо! Ха-ха-ха! — ржали казаки. — Ну, Евсеич! Ну, отец! Ну, уморил!

— Что это они там? — хмуро удивился начальствующий рейдовым отрядом полковник Струков, нервно топтавшийся у крыльца каменного дома, занятого под штаб.

— Перед походом, — пояснил командир 29-го казачьего полка хмурый полковник Пономарев. — Евсеич, поди, байки рассказывает, а они зубы скалят.

— Поход, — вздохнул Струков. — Порученца до сей поры нет, вот вам и поход. Неужто отложили?

— Быть того не должно…

Полковник вдруг примолк и напрягся, вслушиваясь. Из степи донесся далекий перезвон почтового колокольчика.

— Вот и порученец, Александр Петрович. Ну, дай-то бог, чтоб не ошибся я.

— Доложите князю Шаховскому! — крикнул полковник и, подхватив саблю, молодо выбежал на площадь. — Место, казаки, быстро! Освобождай проезд!

Было уже начало одиннадцатого, когда перед штабом остановилась взмыленная фельдъегер-

ская тройка. Из коляски вылез офицер по особым поручениям полковник Золотарев.

— Здравствуйте, господа. Заждались?

— Признаться, заждались, — сказал Струков. — Где вас носило, Золотарев?

— Так ведь грязи непролазные, господа, лошадям по колени. Где князь?

— С нетерпением ожидает вас в штабе.

Командир 11-го корпуса генерал-лейтенант князь Алексей Иванович Шаховской ожидал порученца стоя и несколько торжественно. Нетерпеливым жестом прервав рапорт, требовательно протянул руку за пакетом. Перед тем как надорвать его, обвел офицеров штаба суровым взглядом из-под седых насупленных бровей. Рванул сургуч, вынул бумагу, торопливо пробежал ее глазами, глубоко, облегченно вздохнул и широко перекрестился.

— Война, господа.

— Ура! — коротко и дружно отозвались офицеры.

Князь поднял руку, и все примолкли.

— Никому ни слова о сем. Высочайший манифест будет опубликован завтра в два часа пополудни. А сегодня… Где селенгинцы, полковник Струков?

— На подходе, ваше сиятельство.

— Дороги очень тяжелые, ваше сиятельство, — поспешно пояснил Золотарев. — Передовую колонну Селенгинского полка обогнал верстах в семи отсюда, артиллерия отстала безнадежно.

— Так, — вздохнул Шаховской. — Начать не успели, а уж в грязи по уши.

— Время уходит, ваше сиятельство, — негромко напомнил Струков.

— Селенгинцы после марша за мною все равно не угонятся, а артиллерия ранее утра вообще не подойдет.

Корпусной командир промолчал. Подошел к столу, долго изучал расстеленную карту. Сказал, не поднимая головы:

— Сто десять верст марша да переправа через Прут. Где гарантия, что паром не снесло разливом?

— Вчера с той стороны перебежал болгарин, — сказал начальник штаба корпуса полковник Бискупский. — Утверждает, что паром — на этом берегу.

— Следовало проверить своевременно.

Князь Шаховской был старым, кавказским воякой, заслужившим личной отвагой одобрение самого Шамиля*. Он, как никто, ценил риск,

неожиданные обходы, стремился к глубоким рейдам и всегда безоговорочно верил в победу. Но начинать эту освободительную войну за сутки до ее официального объявления без достаточной подготовки решиться ему было нелегко. Повздыхал, сердито двигая седыми клочковатыми бровями, сказал сухо:

— Повременим. Свободны. Бискупскому остаться.

Недовольный Струков сознательно замешкался в дверях, пропуская поваливших из комнаты офицеров. Глянул на часы, вздохнул, сказал просительно:

— Разрешите хоть рекогносцировку с офицерами провести, ваша светлость.

— Экий ты, братец, упрямый, — проворчал генерал. — Ну проведи. Не помешает.

Оставив Пономарева заниматься подготовкой к походу, Струков вывел офицеров на границу — на сам Траянов вал, режущий землю на Россию и Румынию*. Над степью уже сгустилась тьма, но на той, румынской, стороне ярко горели окна в таможне и цепочкой от Траянова вала в глубь Румынии тянулось множество костров, точно кто-то высвечивал дорогу рейдовому русскому отряду. Кратко ознакомив офицеров с задачей

и сердито оборвав их попытку тут же рявкнуть восторженное «ура!», указал примерный маршрут. Перечислил основные населенные пункты, которые предстояло миновать отряду, и обратил особое внимание на цепочку костров:

— Это светят нам, освободительной русской армии, господа. Деревенька, что перед нами, населена болгарами, бежавшими от трехсотлетнего турецкого ига, а посему и носит она название совершенно особое, я бы сказал даже символическое — Болгария. Это наша первая и одновременно конечная цель в этой святой освободительной войне, господа.

Еще раз напоминаю о порядке и осторожности нашего поиска. Какие бы то ни было самовольные перемещения, курение и разговоры запрещаю категорически. Учтите, что поход будет проходить по территории дружественного нам союзного суверенного государства. Растолкуйте это казакам, чтобы дошло до каждого. И помните, господа: на нас смотрит не только вся Россия. На нас смотрит вся Европа, потому что мы первыми начинаем освободительный поход против многовековой тирании Османской империи.

Когда вернулись в Кубею, полк был готов к длительному маршу. Кони взнузданы, тюки увязаны,

тороки* пригнаны; казаки еще балагурили у затухающих костров, но за их спинами коноводы уже держали лошадей в поводу.

В начале двенадцатого послышался мерный тяжелый топот: шел усталый Селенгинский пехотный полк. Остановился у выхода на площадь, вольно опершись о винтовки, но строго соблюдая строй. Командир спешился у крыльца, доложил о прибытии полка вышедшему навстречу Шаховскому.

— Что артиллерия?

— Застряла, ваше сиятельство, — виновато вздохнул до погон заляпанный грязью командир Селенгинского полка. — Пехотинцы совершили тридцативерстный переход по тяжелой дороге и сейчас очень нуждаются в отдыхе.

— Ясно, — сердито буркнул Алексей Иванович.

— Ваше сиятельство, — умоляюще сказал Струков. — Позвольте с одними казаками поиск произвести.

Генерал хмуро помолчал, и все с затаенным нетерпением молча смотрели на него.

— Грязи, грязи… — Шаховской потоптался, недовольно вздохнул. — Делать более нечего, рискуйте, полковник. Только…

— Ур-ра! — загремела притихшая площадь,

заглушая генеральские слова. — Поход, ребята! По местам, казаки!

Командир корпуса неожиданно оглушительно рассмеялся, выпрямился как на смотру, развернул плечи. Крикнул, поднатужившись, хриплым, сорванным басом:

— С богом, дети мои!.. — Вдруг закашлялся, обернулся к Струкову: — Обращение Его Высочества — и вперед. Вперед, полковник, только вперед!

— Благодарю, ваша светлость! — весело прокричал Струков, сбегая с крыльца.

Казаки уже вскакивали в седла, вытягиваясь посотенно и строя каре по сторонам площади. Во время захождения кто-то вежливо тронул хорунжего Студеникина за плечо. Он оглянулся: с седла, ухмыляясь, свешивался вахмистр Евсеич.

— Винтовочку мою ты сам повезешь, ваше благородие, или мне отдашь?

Казаки рассмеялись.

— Тихо! — крикнул сотник Немчинов. — Что за хохот?

Хорунжий торопливо сдернул с плеча новенький английский винчестер и протянул его вахмистру.

Каре выстроилось, и в центр его выехали оба полковника: Струков и Пономарев.

— Казаки! — волнуясь, но зычно и отчетливо прокричал Струков. — Боевые орлы России! Вам доверена великая честь: вы первыми идете на врага. Поздравляю с походом, донцы!

— Ур-ра! — качнув пиками, раскатисто прокричали казаки.

— Слушай обращение! — Струков развернул бумагу, адъютант услужливо светил фонарем. — «Сотни лет тяготеет иго Турции над христианами, братьями нашими. Горька и невыносима их неволя. Не выдержали несчастные, восстали против угнетателей, защищая детей, женщин и имущество свое. И вот уже два года льется кровь: города и села выжжены, имущество разграблено, жены и дочери обесчещены. Доблестные войска вверенной мне армии! Не для завоеваний идем мы, а на защиту поруганных и угнетенных братий наших. Дело наше свято и с нами Бог. Я уверен, что каждый, от генерала до рядового, исполнит свой долг и не посрамит имени русского. Да будет оно и ныне так же грозно, как в былые годы. Да не остановят нас ни преграды, ни труды, ни иные лишения, ни упорство врага. Мирные же жители, к какой бы вере и к какому бы народу они ни принадлежали, равно как и их добро, да будут для вас неприкосновенны. Ничто не должно быть

взято безвозмездно, никто не должен дозволить себе произвола…»

Струков откашлялся, строго оглядел замерший строй: в затухающем свете костров за силуэтами всадников виднелись ряды селенгинцев и группа офицеров на крыльце штаба. Он глубоко вздохнул и продолжил чтение:

— «Напоминаю моим войскам, что по переходе границы мы вступаем в издревле дружественную нам Румынию, за освобождение которой пролито немало русской крови. Я уверен, что там мы встретим то же гостеприимство, что предки и отцы наши. Я требую, чтобы за то все чины платили им, братьям и друзьям нашим, полною дружбою, охраною их порядков и беззаветною помощью против турок, а когда потребуется, то и защищали их дома и семьи так же, как свои собственные…» — Струков закончил чтение, внушительно потряс бумагой. — Подлинник подписал Его Императорское Высочество великий князь Николай Николаевич старший! — Полковник вытер со лба пот, вновь привстал на стременах. — Для молебна времени нет. Полковник Пономарев, вы прочтете молитву перед походом. Шапки долой!

Пономарев громко, отчетливо выговаривая каждое слово, прочитал молитву. Казаки истово

перекрестились, надели шапки.

— Полк, справа по три, за мной рысью маарш! — подал команду Струков.

И не успели тронуться первые казачьи ряды, как с улицы донеслось:

— Селенгинцы, слушай! Равнение на двадцать девятый казачий!.. На кра-ул!..

Слаженно лязгнули взятые на караул винтовки: пехота отдавала воинские почести казакам, уходившим в поход первыми. Генерал Шаховской и офицеры у штаба взяли под козырек, и сразу же загремел походным маршем оркестр. Сотни вытягивались из Кубеи к государственной границе России.

Пересекли Траянов вал, поравнялись с румынской таможней. Во всех окнах горел свет, шлагбаум был поднят. Румынский доробанец* держал ружье на караул, офицер и солдаты, высыпавшие из таможни, отдавали честь.

— Вот бы всю дорогу так, — заметил Струков и крикнул: — Расчехлить знамя!..

За таможней начиналась цепь костров, освещавших дорогу в небольшую деревеньку. Стало светлее, и все увидели десятки людей, стоявших по обе стороны. Мужчины снимали шапки, старухи и старики кланялись в пояс, женщины

поднимали детей; кто плакал, кто истово крестился, кто становился на колени, и все кричали что-то восторженное и непонятое.

— Подтянуться, — сказал полковник Струков. — Это болгары нас приветствуют.

Седой сгорбленный старик, держа в руках хлеб, шагнул на дорогу, остановив колонну. Струков нагнулся с седла, принял хлеб, поцеловал его.

— Спасибо, отец. Только некогда нам, ты уж извини. Мы в твою Болгарию спешим.

Старик низко поклонился и сразу же отступил в сторону. Но полковник не успел тронуть коня: бородатый крепкий мужик перехватил повод.

— Ваше высокоблагородие, русский я, русский! — торопливо говорил он. — В Сербии ранен был, в плен попал, бежал оттудова и вот… Вас дожидаюсь.

— Ну и дождался, — улыбнулся Александр Петрович. — Можешь домой идти, в Россию.

— Охотой я тут кормился, — продолжал бородач, не слушая его. — Места хорошо знаю, хочу проводником к вам. А идти, ваше высокоблагородие, мне теперь некуда, барина моего в Сербии убили. Посчитаться надо бы. Возьми, а?

— Проводником, говоришь? — Струков задумался. — Эй, казаки, коня проводнику! По дороге

расскажешь, кто да что. Глядишь, и познакомимся.

— Спасибо, ваше высокоблагородие!

Бородач ловко вскочил на заводного коня, пристроился рядом. Толково рассказывал по дороге, как воевал в Сербии, как потерял в бою барина, у которого служил денщиком, как без денег и документов прошел всю Европу и наконец-таки осел здесь, в болгарской колонии. Ждать своих.

— Настрадался я, ваше высокоблагородие: бумаг-то при мне никаких не было. А уж тюрем повидал — и австрийских, и венгерских, и румынских, не приведи бог никому! Ну, слава богу, до болгар этих добрался.

— Охотой промышлял, значит?

— Промышлял. — Проводник усмехнулся. — Башибузуки тут шалят часто. Скот угоняют, хаты жгут, бывает, и девчонок уводят. Ну, мне обчество ружьишко купило, так теперь потише стало. Ну и охота, конечно, тоже… Здесь правее бери, ваше высокоблагородие, прямо — низинка, топко там.

— Ну, ты молодец, борода, — смеялся Струков, приняв правее по совету проводника. — Гайдук, значит, так получается?

— Какой из меня гайдук, — улыбнулся в бороду мужик. — Охотник я, стреляю хорошо.

— Паром на Пруте цел, не знаешь?

— Как не знаю, цел. Приглядывал и сам крепил его, чтоб в половодье не унесло.

Подошли к румынскому местечку, жители которого от мала до велика высыпали навстречу казачьему полку. Кланялись, кричали приветствия, протягивали казакам пшеничные хлебы, по местному обычаю ломая их пополам на вечную дружбу. Но Струков и здесь не остановился, только сбавил аллюр, из уважения к гостеприимным румынам шагом миновав местечко.

Остановились на берегу мутного, вспененного быстрым течением, широко разлившегося Прута. Надежно закрепленный паром был на месте, но канат, по которому ходил он, на противоположном берегу оказался перерубленным.

— Башибузуки постарались, — виновато вздохнул проводник. — Виноват, ваше высокоблагородие, что недоглядел. Канат вчера утром еще целым был.

— Кому-то надо вплавь, — озабоченно сказал Пономарев. — Скрепит канат, а там уж и мы переправимся. Эй, ребята, кто за крестом полезет?

— Уж, видно, мне придется. — Евсеич спрыгнул с коня, не ожидая разрешения, стал раздеваться. — Оно, конечно, мутновато, зато конь у меня

добрый. Вытащит.

Пока вахмистр неторопливо стаскивал сапоги и одежду, проводник уже скинул все и в одних холщовых подштанниках спустился к воде. Попробовал ее корявой ступней:

— Холодна купель-то!

— Куда собрался, борода? — строго окликнул Струков. — Вахмистр один справится.

— Нет уж, ваше высокоблагородие, ты мне не перечь, — вздохнул проводник. — Я тут за всю Россию в ответе.

— За гриву держись, коли невмоготу станет, — сказал Евсеич, крепя конец каната к задней луке казачьего седла. — Джигит вынесет. Одежонку нашу с первым паромом отправить не позабудьте, казаки. Ну, с богом, что ли?

Добровольцы широко перекрестились и дружно шагнули в мутную стремительную воду. Жеребец сердито фыркнул, недовольно дернул головой, но послушно пошел за хозяином.

— Ох, знобко! — донесся веселый голос Евсеича. — Не поминайте лихом, братцы!

Полк спешился, отпустил коням подпруги, длинным строем рассыпался по берегу. Все молчали, с тревогой ловя среди волн три головы — две людские и лошадиную.

— А если судорога? — спросил Студеникин. — По такому холоду судорога очень даже возможна.

— Типун вам на язык, хорунжий, — недовольно сказал сотник. — Не болтайте под руку.

Две кудлатые головы — одна седая, будто посыпанная солью, вторая темно-русая — плыли вровень по обе стороны задранной в небо лошадиной морды. Но на стремнине их отбросило друг от друга, понесло, закружило, перекрывая волнами.

— Держись! — орали казаки. — Загребай, братцы!

— Придержать канат! — крикнул Пономарев и сам бросился к парому. — Внатяг его надо, внатяг пускать!

Но было уже поздно: мокрый тяжелый канат захлестнул задние ноги жеребца. Джигит испуганно заржал, завалился на бок, голова на миг ушла под воду. Евсеич пытался подплыть к коню, но его снесло ниже, и он напрасно молотил руками.

— Пропал конь! — ахнули казаки. — Сейчас воды глотнет и все, обессилеет.

Проводник, развернувшись по течению, уже плыл к Джигиту размашистыми саженками, по пояс выскакивая из воды. Нагнал сбитого волна-

ми жеребца, нырнул, нащупал поводья, рванул морду кверху. Жеребец всхрапнул, дернулся, заржал тоненько. Не отпуская поводьев, проводник поплыл чуть впереди, из последних сил преодолевая стремнину. Он греб одной рукой, волны раз за разом накрывали его с головой, но он, задыхаясь и глотая мутную воду, не отпускал коня. Евсеича сносило вниз.

— Держись! — теперь кричали не только казаки, но и офицеры, подбадривая изнемогающего бородача. — Держись, милок! Чуток осталось, держись!..

Жеребец первым нащупал дно и сразу же рванулся, вынося на поводьях обессилевшего, нахлебавшегося воды проводника. С трудом выволок его на размытый глинистый берег. Следом змеей тащился отяжелевший мокрый канат.

— Ура! — восторженно кричали донцы. — Ура, ребята! Молодец, борода!..

— Вот вам и первые ордена в этой кампании, — облегченно вздохнув, сказал Струков Пономареву и истово перекрестился. — Поздравляю, полковник.

— Сплюньте от сглазу…

По противоположному берегу снизу бежал Евсеич. Проводник стоял на коленях, его мучительно

рвало. Рядом тяжело поводил проваленными боками Джигит.

— Живой? — вахмистр сграбастал проводника, обнял, расцеловал. — Коня ты мне спас, коня верного, Джигита моего! Брат ты мой названый теперь!

— Вяжи канат, Евсеич, — задыхаясь, сказал проводник. — Сил у меня нету…

Торопливо огладив и поцеловав в мокрую морду жеребца, Евсеич, спотыкаясь и падая, кинулся крепить канат к вбитой в откос дубовой свае. Проводник по-прежнему стоял на коленях, его все еще мучительно рвало.

Струков переправился с первым же паромом. К тому времени проводник и вахмистр уже кое-как отдышались. Увидев подходившего полковника, встали; докладывать не было сил, особо вытягиваться тоже. Усталые тяжелые руки вяло висели вдоль мокрых подштанников.

— Спасибо, молодцы. — Струков троекратно расцеловал каждого, протянул фляжку. — Пополам — и до дна. — Дождался, когда они осушат ее, добавил: — Поздравляю с крестами, братцы.

— Рады стараться, — устало сказал Евсеич.

Проводник промолчал. Глянул умоляюще:

— Ваше высокоблагородие, уважьте просьбу,

век буду Бога молить. Дозвольте с вами на турка. Посчитаться мне с ним надобно.

— Дозвольте в строй ему, ваше высокоблагородие, — попросил вахмистр. — Побратим он мой и казак добрый, дай бог каждому. Всем обществом просить будем.

— В казаки, значит, хочешь? — улыбнулся Струков. — Что ж, заслужил. Полковник Пономарев, возьмете казака?

— Фамилия?

— Тихонов Захар! — собрав последние силы, бодро отозвался проводник.

— Немчинов, запиши в свою сотню.

— Премного благодарен!

— Ну, поздравляю, казак. — Струков пожал Захару руку. — Пока при мне будешь.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

Через три часа полк переправился полностью. За это время отдохнули и подкормились и казаки, и кони: шли резво, радуясь тихому и ясному солнечному дню. За Прутом потянулись нескончаемые топи и залитые половодьем низины; дорога пролегала по узкой дамбе, полк с трудом умещался в строю по трое. Полковник Струков ехал впереди с проводником.

— Дунай виден, ваше высокоблагородие, —

сказал Захар. — Слева изгибы блестят, видите? Кругом вода желтая, а они вроде как бы стальные.

— Дунай слева, казаки! — крикнул Струков.

— Слава богу! — отозвались казаки. — Побачим и мы, что деды наши бачили.

Перевалили через высокий холм, и Захар придержал коня. Теперь Дунай хорошо был виден впереди, а перед ним на спуске сразу начинался крупный город. На утреннем солнце ярко белели дома, зеленели омытые росой крыши.

— Галац, ваше высокоблагородие. Может, разведку сперва? Тут по Дунаю турецкие броненосцы шастают.

— Некогда разведывать. Авось проскочим.

Проскочить с ходу не удалось: перед городской заставой их встретила цепь румынских доробанцев. Они стояли спокойно, опустив ружья к ногам, и больше сдерживали толпу любопытных жителей, чем угрожали казакам.

— Пропустить не могу, господа, — сказал молодой офицер по-французски. — Сейчас прибудет господин префект, потрудитесь обождать.

Спорить было бесполезно, идти напролом Струков не имел полномочий, и полк замер в бездействии. Наконец показалась коляска.

Остановилась у заставы, и из нее важно вышел полный господин, опоясанный трехцветным шарфом.

— С кем имею честь?

Струков отрекомендовался, попросил разрешения пройти через город.

Префект энергично замотал головой:

— Нет, нет, господа, об этом не может быть и речи. Я не получал соответствующих указаний и не имею права позволить вам вступать в мой город ни при каких обстоятельствах. Но я не могу и запретить вам двигаться в любую сторону.

— Извините, господин префект, я не понял вас.

— Я не имею права ни позволить, ни запретить, — туманно повторил префект.

— Как?

— Я все сказал, господа.

Струков в недоумении повернулся к Пономареву:

— Вы поняли, что он имеет в виду?

— Хитрит, — пожал плечами Пономарев. — Нас мало, а турецкие мониторы ходят по Дунаю.

— Что будем делать?

— Чего он бормочет-то, начальник ихний? — нетерпеливо спросил Захар.

— Через город не пускает.

— Ну, так я задами проведу, эка беда. Задами-то, чай, можно, не его власть?

— Молодец! — облегченно рассмеялся Струков. — Веди.

— А вот направо, через выгон.

— До свидания, господин префект. — Струков вежливо откозырял. — Полк, рысью!..

Префект молча обождал, пока полк не свернул с дороги, огибая город. Потом снял шляпу, вытер платком лоб, сказал офицеру, вздохнув с облегчением:

— Догадались наконец.

Полк беспрепятственно обогнул Галац, вновь вернулся на дорогу. Отсюда хорошо был виден Дунай и пристань Галаца, вся в дымах от множества пароходов. Пароходы разводили пары, торопливо разворачиваясь, уходили вверх и вниз по реке.

— Турки, — сказал Захар. — Слава богу, броненосцев нет. Быстро мы добрались, не ожидали они.

Струков перевел полк на крупную рысь. Десять верст скачки — и за поворотом открылись станция Барбош и длинный железнодорожный мост через Серет.

— Цел, слава Тебе, Господи! — вздохнул Струков. — И охраны нигде не видно.

— Да тут ее сроду не было, — усмехнулся проводник.

— Первой сотне спешиться! — скомандовал полковник. — На ту сторону бегом, занять оборону!

Казаки первой сотни, бросив поводья коноводам, прыгали с седел. Срывая с плеч берданы, бежали по мосту на ту сторону Серета. Командир сотни, добежав первым, замахал руками, подавая знак: его казаки, рассыпавшись, уже занимали оборону.

— Слава богу! — Пономарев снял фуражку, широко перекрестился, и за ним закрестились все казаки. — Поздравляю, казаки, перед нами — Турция.

— Ошибаетесь, полковник, — негромко поправил Струков. — Перед нами Болгария.

2

В то время как казаки 29-го Донского полка спешно занимали оборону вокруг захваченного в целости и сохранности Барбошского железнодорожного моста, в Кишиневе на Скаковом поле в присутствии императора Александра II заканчивалось торжественное молебствие по случаю подписания высочайшего манифеста о начале

войны с Турецкой империей.

Батальоны вставали с колен, солдаты надевали шапки, священнослужители убирали походные алтари. Многотысячный парад и толпы местных жителей хранили глубокое благоговейное молчание, подавленные торжественностью и значимостью происходящего. Лишь изредка всхрапывали застоявшиеся кони, да неумолчно орали воробьи, радуясь ясному солнечному дню. Государь и многочисленная свита сели на лошадей и отъехали в сторону, освобождая середину поля для церемониального марша назначенных к параду войск. Стоя в строю Волынского полка перед своей ротой, капитан Брянов ощущал, что искренне взволнован и умилен, что его сомнения и неверие куда-то делись, что цель его теперь проста и ясна. Он повторял про себя запавшую в память строку из манифеста: «Мера долготерпения нашего истощилась…» — и удивлялся, что не чувствует в себе ни иронии, ни раздражения, которые всегда возникали в нем при чтении выспренних монарших слов. Сейчас он верил, что перед Россией едва ли не впервые в истории поставлена воистину благороднейшая задача, решение которой зависит уже не от воли всевластного повелителя. Решение это зависе-

ло теперь от всей России, от всего народа ее, а значит, и от него самого, капитана Брянова. Он вспомнил вдруг своего деда, тяжело раненного под Смоленском, отца, погибшего на Черной речке в Крымскую войну, и с гордостью подумал, что идет отныне по их нелегкому пути. Пред этим ощущением померкло даже его собственное волонтерское прошлое, даже личной отвагой заслуженный им в Сербии Таковский крест*.

Торжественно и звонко пропели трубы кавалерийский поход. Первыми развернутым строем на рысях поэскадронно двинулись через поле кубанские и терские казаки, отряженные в этот день в собственный Его Величества конвой. Под сухой строгий рокот сотен барабанов сверкнули на утреннем солнце вырванные из ножен для салюта офицерские клинки: 14-я пехотная дивизия генерала Михаила Ивановича Драгомирова начинала торжественный марш. Ряд за рядом, рота за ротой шагала она через Скаковое поле, ощетинившись тысячами штыков, и капитан Брянов, печатая шаг, шел впереди своей роты раскованно и гордо.

Следом за последним, Минским полком 14-й пехотной дивизии шли два батальона, солдаты которых были одеты в новое, непривычное для

русской армии обмундирование: в меховые шапки с зеленым верхом, черные суконные мундиры с алыми погонами, перекрещенные амуницией из желтой кожи, в черные же шаровары и сапоги с высокими голенищами. Появление их в парадном марше вызвало бурю восторга в толпе зрителей, и даже император совсем по-особому поднял руку в знак приветствия: то шли первые два батальона болгарских добровольцев. Кого только не было в их рядах: безусые юнцы и кряжистые, поседевшие отцы семейств, студенты и крестьяне, торговцы и священники, покрытые шрамами гайдуки и бывшие сербские волонтеры с Таковскими крестами на черных новеньких мундирах. Шла не только будущая народная армия свободной Болгарии — шел ее завтрашний день, и поэтому так восторженно встречали первых ополченцев жители Кишинева.

И было это 12 апреля 1877 года. Впервые после разгрома Наполеона Россия вступала в войну за свободу и независимость других народов.

3

— А жаль, князь, что дела в Сербии закончились столь поспешно, — вздохнул генерал свиты Его Величества Михаил Дмитриевич Скобелев,

любовно огладив пшеничную, старательно расчесанную на две стороны бороду.

Он стоял у окна, заложив за спину руки и привычно развернув украшенную орденами грудь. За окном сиял весенний кишиневский день, и в каждой луже дробилось солнце, а в стекле отражался сам генерал свиты Его Величества. Князь Насекин молча наблюдал за ним, утонув в глубоком продавленном диване. В гостиничном номере было тускло, холодно и сыро; князь привычно мерз и кутался в шотландский плед.

— Да, жаль, — еще раз вздохнул генерал. — Ей-богу, князь, плюнул бы на все и укатил бы к Черняеву. А там пусть судят: семь бед — один ответ.

— Любопытная мысль, — лениво усмехнулся князь. — Если солдат — слуга Отечества, то генерал — слуга правительства. Вы слушаете, Скобелев? Отсюда следует, что если солдат-бунтарь принадлежит суду, то бунтарь-генерал принадлежит самой истории. Я правильно вас понял, Михаил Дмитриевич?

— С меня моей славы хватит, — ворчливо буркнул Скобелев, не оглядываясь.

— Фи, Мишель, — вяло поморщился князь. — Когда-то в далекой юности мы поклялись гово-

рить друг другу правду. Кстати, вы помните, где это случилось?

— Париж, пансион Жирардэ, — улыбнулся Скобелев. — Прекрасная пора юного вина, юных женщин и юных желаний. Потом мы почему-то решили стать учеными мужами и оказались в университете. Без юных женщин и юного вина.

— Вас с колыбели изматывал бес тщеславия, генерал. Если братья Столетовы пошли в университет за знаниями, я — по врожденному безразличию, то вы — лишь в поисках лавровых венков.

— Что с вами, князь? — обеспокоенно повернулся Скобелев, впервые перестав разглядывать самого себя в оконном отражении. — Вы, часом, не больны?

— Наоборот, Мишель. Я выздоравливаю.

— Странно вы говорите, однако.

— Все так, все так. Через год вы переметнулись в кавалергарды, и из всей нашей четверки терпеливо закончил в университете один Столетов-младший*. Вот ему-то и достанется самая прочная слава, помяните мое слово. И только лишь потому, что он о ней не думает совершенно. А вам всего мало, Скобелев. Мало орденов, мало званий, мало славы, почестей и восторгов толпы.

Впрочем, я искренне завидую вашей жадности: она — зеркало ваших неуемных желаний.

Скобелев молчал, теперь уже с видимым удовольствием слушая монолог князя: он любил, когда о нем говорили, и не скрывал этого. Он не просто жаждал славы — он яростно добивался ее, рискуя жизнью и карьерой. Он искал ее, эту звонкую военную славу, бросаясь за нею то в Данию, то в Сардинию, то в Туркестан. Он ловил свою удачу, азартно вверяя случаю самого себя.

И слава нашла его быстро, но у этой шумной славы оказался привкус скандала. И этот проклятый привкус перечеркивал все, даже ту воистину легендарную личную храбрость, в которой Михаилу Дмитриевичу не могли отказать даже непримиримые враги. А их было нисколько не меньше, чем друзей: Скобелев был размашист, бесшабашен, резок в оценках и безрассудно отважен в решениях. Обладая прекрасным образованием и острым умом, он так и не научился показному светскому хладнокровию: в обществе его не любили за детское неумение и нежелание прикрываться язвительным юмором или спокойной иронией. Этот большой, сильный, шумный человек воспринимал театр военных действий прежде всего именно как театр. Ему

всегда требовалась главная роль и публика. И еще — противник, и чем сильнее был противник, тем талантливее становился Скобелев.

Об этом думал князь, насмешливо поглядывая на Михаила Дмитриевича, мерявшего номер большими шагами. Ордена празднично звякали на груди.

— Не тратьте на обиды столько внутренних сил, Мишель, — нехотя, словно превозмогая себя, сказал он. — Москва не верит ни слезам, ни слухам.

— Верит, — Скобелев упрямо мотнул головой, — еще как верит!.. Впрочем, вы правы, и я тоже не люблю Петербурга. Нерусский и не искренний город! В нем есть что-то лакейское: Пушкин недаром сравнивал Москву с девичьей, а Петербург — с прихожей. Москва болтлива, шумна, слезлива и отходчива, а град Петров пронырлив, хитер, молчалив и злопамятен. Нет, нет, я москвич душою и телом, напрасно улыбаетесь, князь.

— А ну как государь не простит?

— Что — не простит?

Скобелев спросил с паузой, и в этой паузе чувствовалось напряжение. Будто он сам подумал о том же, а, подумав, сжался. Не струсил — он уже привык волей подавлять в себе страх, — а именно сжался, съежился внутренне.

— Генерал свиты Его Императорского Величества Скобелев внезапно бросил свои войска, губернатор Скобелев столь же внезапно оставил вверенную его попечению область… Не слишком ли много для одного человека? Было бы что-нибудь одно — ну, бог с вами, Михаил Дмитриевич, пошалили — прощаем. Но вы же едины в двух лицах, и оба эти лица без монаршего соизволения оказываются сначала в Петербурге, потом в Москве, а затем и в Кишиневе.

— Я требую, чтобы меня предали суду! — громко сказал Скобелев. — Я готов предстать перед любыми судьями, лишь бы положить конец порочащим меня гнусным сплетням. Намекнуть об исчезновении казны кокандского хана в то время, когда я штурмом беру этот самый Коканд, — да за это убить вас мало, господа корреспонденты! Ну, убью, допустим, а что толку-то? Слух назад не отзовешь, слух пополз, затрепыхался, взлетел даже! Уж из дома в дом перепархивает, из гостиной в гостиную: «Слыхали, генерал-то Скобелев-второй кокандскую казну… того, знаете, этого…» Ну и что прикажете делать? Что? Как им глотки заткнуть да языки болтливые окоротить? Единственно, что остается, — искать защиты у государя. Единственно!..

— И что же государь? — лениво поинтересовался князь. — Пожалел вас, пособолезновал? Или понял вашу оскорбленную душу и тотчас распорядился с судом?

— Как бы не так, — шумно вздохнул Скобелев. — Государь сказал, что генералов своей свиты он под суд не отдает, рекомендовал отдохнуть на водах и… И вот я не у дел. Генерал без войск, правитель без территории. А за спиной шушукаются, на улицах не узнают, а скоро и в гостиных руки подавать не станут.

— И все же вы не ответили, генерал без войск и правитель без территории: боитесь вы гнева монаршего и лишь бравируете или и впрямь не боитесь?

— Не боюсь, — улыбнулся Скобелев. — И вовсе не из безрассудства, а по точному расчету, князь. Удивлены, поди: расчет — и Скобелев. Однако расчетец имеется, поскольку в моем послужном списке значится Гродненский гусарский полк — служил там корнетом в шестьдесят четвертом. Государь же был шефом этого полка с семилетнего возраста, а однополчан, как известно, прощают. — Он шумно завздыхал, потеребил обеими руками любовно расчесанные бакенбарды. — Да, жаль, жаль все же, что в Сербии замирились*:

ударил бы я османам под дых, куда как вовремя бы то было!

— По пулям соскучились?

— Напрасно иронизируете, пули имеют и свою благодатную сторону. Когда они свистят, в вас сами собой просыпаются желания: лечь, убежать, пригнуться. А вы их подавляете и в миг тот — живете. Полной жизнью живете, князь!

— Ну, что касается пуль, так они скоро засвистят, Михаил Дмитриевич.

— Где засвистят, здесь? — Михаил Дмитриевич невесело усмехнулся, покрутив головой. — Это всего лишь шумная демонстрация, Серж, уверяю вас. Мы боимся воевать, мы все больше на политику надеемся. Побряцаем оружием, погорланим песни, постреляем на полигонах, а там, глядишь, и выторгуем себе что-нибудь. И — полки назад, по зимним квартирам.

— Не похоже что-то на демонстрацию, — сказал князь. — Россия воевать захотела, генерал, сама Россия, здесь уж никакой политикой не отделаешься. Так что терпите. Враг тут поинтереснее, чем в Туркестане, а время от времени нужно менять не только друзей, но и врагов. Вам — особенно.

— Не врагов я менять стремлюсь, а закоснелые

планы наши, — вздохнул Скобелев. — Признаться вам со всей полной откровенностью? Не утерпел, каюсь, опять не удержался, и светлейшему князю главнокомандующему идейку одну все же подкинул. У вас нет карты? Ну, нет, так и черт с ней. В Румынию ведет от нас железная дорога. Возле самого Дуная дорога эта пересекает реку Серет через Барбошский мост, который турки непременно взорвут, как только мы войну им объявим. Значит, абсолютно необходим дерзкий поиск. До объявления войны кавалерийский рейд для захвата Барбошского моста. Просто? Гениально просто: турки и опомниться не успеют, как мы…

Без стука распахнулась дверь, и вошел коренастый мужчина с седоватой бородкой, в странном меховом пиджачке нерусского покроя, с медной бляхой корреспондента на левом рукаве. Снял мягкую шляпу, обнажив изрядную плешь, сказал по-английски:

— Видимо, мне суждено первым узнавать все главные новости. Так вот, император одиннадцатого прибывает в Кишинев. А двадцать девятый казачий полк уже двинут к границе, за ним следуют селенгинцы. Передовой отряд поведет личный адъютант главнокомандующего полковник Струков.

— Вот и война, господа*. — Князь перекрестился. — Откуда это все известно вам, Макгахан?

— Тайна корреспондента, — улыбнулся американец.

— И здесь меня обошли! — Скобелев с маху ударил кулаком по столу. — Ах, крысы штабные, боитесь скобелевской славы? Ну, еще поглядим! Прощайте, господа!

— Куда же вы, генерал?

— К черту, к дьяволу, к Его Высочеству главнокомандующему, только бы на войну не опоздать!..

— Без высочайшего разрешения? — удивленно поднял брови Насекин.

Но дверь за Скобелевым уже захлопнулась.

4

Дежурный адъютант ввел Скобелева в кабинет главнокомандующего и тут же беззвучно вышел. Скобелев громко и ясно — все Романовы любили эту громкую ясность — доложил, но Николай Николаевич, мельком глянув на него и даже не кивнув при этом, оборотился к кому-то невидимому:

— Государь не простит нам напрасных жертв.

Из угла плавно выдвинулась фигура начальника штаба генерала от инфантерии Артура

Адамовича Непокойчицкого*. Скобелев только сейчас разглядел его и молча поклонился.

— Напрасных жертв не бывает, коли все идет по плану, Ваше Высочество.

Речь Непокойчицкого была гибкой, сугубо доверительной и проникновенной. Он никогда не повышал голоса, никогда не спорил и никогда не настаивал; он всегда словно только подсказывал, напоминая известное, забытое лишь на мгновение.

— Да, планы, планы, ты прав. Соблюдение планов и дисциплина — святая святых армии. Святая святых! — Бесцветные глаза главнокомандующего остановились на стоявшем у дверей Скобелеве. — Где ты был, Скобелев?

— Обедал, Ваше Высочество.

— С вином и с бабами? Знаю я твои солдатские замашки.

— С вином, но без баб, — резко сказал Скобелев.

Непокойчицкий остро глянул на него, из-за спины Николая Николаевича неодобрительно покачав головой. Осторожно взял со стола какую-то папку:

— С вашего позволения я хотел бы подумать над вашими предложениями, Ваше Высочество.

Это было сказано вовремя: великий князь уже выпрямился, начал багроветь и надуваться, готовясь разразиться гневом. Слова начальника штаба, сказанные спокойным, умиротворяющим тоном, переключили медлительный и тяжелый, как товарный состав, ум главнокомандующего на другие рельсы.

— Да, да, предложения, предложения, — озабоченно сказал он. — Ступай. Мы все будем думать. Все.

Непокойчицкий вышел. Николай Николаевич строго посмотрел на дерзкого генерала, милостиво кивнул:

— Проходи и садись.

Скобелев прошел в кабинет и сел, нимало не заботясь о том, что сам великий князь остался стоять и что широкие белесые брови его строго поползли навстречу друг другу при виде столь быстрого исполнения его же приказания. Однако на сей раз ему хватило здравого смысла не раздражаться.

— Государь недоволен тобой, Скобелев, — сказал он, огорченно вздохнув. — Да, да, не спорь! Никогда не спорь со мной. Ты нестерпимо упрям, своенравен и способен вывести из себя даже моего брата. Кто разрешил тебе покинуть Кишинев?

— Я полагал, что для этого достаточно согласия моей совести, Ваше Высочество.

— Ты генерал свиты Его Императорского Величества! Не забывайся, Скобелев.

— Именно это я и хотел бы напомнить Вашему Высочеству, — вспыхнув, сказал Михаил Дмитриевич.

Он хотел добавить что-то еще, но усилием воли сдержал себя, упрямо продолжая сидеть. Николай Николаевич озадаченно посмотрел на него и нахмурился.

— Дерзок. — Он еще раз вздохнул. — Однако я желал бы услышать объяснения.

— Ваше Высочество, — умоляюще сказал Скобелев, — какой я ни есть, но я генерал боевых действий, а не светских салонов. Действий, а их нет. И пока не предвидится. В казачьей дивизии моего отца, при которой вы повелели мне состоять, осталось два полка: ингуши, как вам должно быть известно, отправлены с марша обратно в Одессу. И эти два оставшихся полка несут караульную службу. Вы предлагаете мне заняться разводом караулов, Ваше Высочество? Я исполню ваше повеление, но, осмелюсь заметить, без желания и страсти. Дайте мне хотя бы бригаду, хоть полк, хоть батальон, Ваше Высочество. Клянусь,

я способен на большее, клянусь!

— У меня нет свободных полков и батальонов.

Усилием воли Скобелев заставил себя промолчать. Великий князь глянул на него, отошел к большому, заваленному картами письменному столу и начал просматривать какие-то записи, сверяясь с картой. Потом спросил:

— Что перед нами, Скобелев?

— Передо мною стена, — хмуро ответил генерал.

— Я не шучу, — терпеливо пояснил главнокомандующий. — Перед тобой, возможно, и стена, а перед нами — Дунай. И вся Европа смотрит со злорадством, как-то мы через него перескочим. Подобной задачи еще не приходилось решать ни одному главнокомандующему. — В голосе Николая Николаевича зазвучала тщеславная нотка. — Каковы турецкие укрепления? Где их батареи? Сколько у них орудий и какого калибра? Где расположены резервы, каково их количество и какова связь? Вот вопросы, которые необходимо изучить, чтобы ответить. Ты согласен со мной, Скобелев?

— Совершенно согласен, Ваше Высочество, — тотчас же откликнулся генерал, слушавший последние слова великого князя с особым вни-

манием. — Задача действительно чрезвычайно сложна, но мы обязаны решить ее во что бы то ни стало. Громить Турцию предстоит здесь, на этом театре военных действий: на Кавказском фронте нет возможностей для широкого маневра.

— Правильно, — одобрительно заметил главнокомандующий. — Я разделяю эту мысль.

— Есть идея. — Скобелев вскочил, подошел к столу. — Разрешите глубокий поиск, и я привезу вам ответы на все вопросы.

— Какой еще поиск?

— Разрешите форсировать Дунай вплавь во главе кубанской бригады, пока турки не создали сплошной линии обороны. Мы промчимся по всему берегу, нарушим их связь, разметем их батареи, спутаем им все карты…

— Ты сошел с ума в туркестанских песках, Скобелев! — рявкнул Николай Николаевич. — Это тебе не баккара. Кроме того, ты непременно утопишь всю бригаду в Дунае и сам потонешь на потеху турок и всей Европы!

— Я держусь на воде, как пробка от шампанского, а кубанцы умеют форсировать реки…

— Молчать!

Скобелев тяжело вздохнул. Великий князь погрозил ему пальцем, но потом им же милостиво

провел по карте:

— Вот твой участок, хоть ты и без должности. Строгий порядок, охрана, постоянное наблюдение за противником, рекогносцировки — все с тебя спрошу.

— Благодарю, Ваше Высочество, — уныло сказал Михаил Дмитриевич.

Главнокомандующий уловил его разочарование. Покачал головой с несоразмерно большим лбом:

— Нет, Скобелев, ты положительно мне непонятен. Положительно. Ступай в Журжу и сиди там, покуда не позову. И не смей своевольничать, слышишь?

Скобелев молча поклонился и вышел из кабинета.

5

Спешно выдвигавшиеся к Дунаю русские войска еще не успели создать сплошной линии ни секретов, ни дозоров, ни даже часовых на ныне своем, левом берегу. Чтобы лишить турок возможности беспрепятственно вести разведку, приказано было временно ограничиться частыми казачьими разъездами ночью да наблюдением в светлое время. В сущности, это была задача

боевого охранения, которую и возложили на кавалерийскую полудивизию — всего-то из двух полков — под начальствованием генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Скобелева-старшего. Михаил Дмитриевич состоял при ней, а точнее — при отце, без определенной приказом должности, справедливо полагая, что его скорее отдали под родительский надзор, нежели для исполнения службы. Но он обладал редкой способностью внушения собственных идей. В особенности отцу.

— А ну как и впрямь утопнешь?

— Утопну, так себя казнить будешь, что плохо плавать учил.

Дмитрий Иванович долго хмурился и кряхтел. Потом вздохнул и нехотя буркнул:

— Тонуть запрещаю. Да и особого смысла в сем купании не вижу. Так что и не пробуй.

Быстро и густо темнело, а луна еще не появилась, когда в укромную низинку у самого берега прискакали Скобелев в сопровождении своего адъютанта капитана Млынова и командир Донского полка полковник Нагибин.

— Вот самое укрытое место, Михаил Дмитриевич, — сказал Нагибин, спешиваясь. — И самая большая ширина. На стрежне сильно сносит, кубанцы рассказывали.

— Его Высочество главнокомандующий в кубанцев не верит, — хмуро вздохнул генерал. — А я даже сапог снимать не стану, чтоб нос ему утереть.

— В сапогах еще куда ни шло. — Полковник критически осмотрел вырядившегося, как на парад, генерала. — Но белый китель снять придется. Через часок луна взойдет, а ваш белый вид, как мишень на воде. Стреляй — не хочу, как говорится.

— Думаешь так? Или знаешь?

— Знаю, Михаил Дмитриевич. У меня двух казаков ранило в ночных разъездах аккурат при этой луне.

— Кто ранил?

— А кто ж знает? Может, черкесы. Шалят тут иногда, мне местные говорили.

Скобелев недовольно завздыхал, но раздеваться не торопился. Он терпеть не мог, когда кто-либо вмешивался в уже принятое им решение, даже если решение это касалось утреннего завтрака.

— Я, конечно, прощения прошу, но ответ на вопрос все-таки мне дайте ясный, — решившись, сказал вдруг Нагибин. — Что вам, Михаил Дмитриевич, этим поиском проверить желательно? Что казаки вплавь любую реку пересекут, хоть

при луне, хоть при солнышке, хоть на коне, хоть рядом с конем? Так это вы знаете. Что турки на том берегу? Так и это вам известно. Тогда за ради чего вы на тот берег так упрямо стремитесь?

— Идейку одну мне проверить необходимо, — хмуро проворчал Скобелев.

— Это ж какую? — мягко продолжал нажимать полковник. — Если не секрет, конечно.

— А вот скажи мне, Нагибин, можно через Дунай конную группу перебросить? — помолчав, с искренней заинтересованностью спросил генерал. — Погулять по берегу, напугать турок, испортить связь, взорвать пару-тройку батарей?

— Не получится, Михаил Дмитриевич.

— Почему?

— Малая группа турок не напугает, а большую без шума не переправишь. Вы же кавалерист и, стало быть, известно вам, что коли лошадей более двух десятков, так хоть одна, а непременно заржет. Так что, прощения прошу, но купанье ваше…

— Пусть искупается!

В низину спускался командир Кавказской дивизии генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Скобелев-второй. Нагибин и Млынов вытянулись, а Михаил Дмитриевич огорченно вздохнул.

— Ты бы со мной посоветовался, прежде чем идеи сочинять, превосходительный сын мой. Кони тихо себя ведут, когда знакомы друг с другом. А когда незнакомы, отношения выяснять начинают, казак правильно сказал.

— Командир Донского… — начал было Нагибин.

— Да знаю я тебя, полковник, не шуми понапрасну, — хмуро отмахнулся Дмитрий Иванович. — Что, Михаил, во что бы то ни стало решил своими глазами турецкий берег поглядеть? Погляди, дело хорошее. Только — голым, в натуральном виде. А я тебя тут обожду. И коня расседлай, нечего зазря скотинку мучить. Давай, давай, пока луна не вылезла. Пловец.

Скобелев нехотя начал раздеваться. Когда Млынов, расседлав лошадь, подошел принять одежду, спросил зло:

— Ты отцу разболтал?

— Не разболтал, а ответил на прямой вопрос.

— Стало быть, он и до сей поры мои мысли читает, — озабоченно вздохнул Михаил Дмитриевич.

Он появился перед отцом в шелковом нижнем белье, но — с орденом Георгия на шее. Вытянулся, сомкнув голые пятки.

— Разрешите искупаться, ваше превосходи-

тельство?

— А чего это ты с Георгием на шее?

— Из суеверия.

— Ну, тогда — с богом!

Млынов подвел расседланного коня. Скобелев легко вскочил на него, принял у адъютанта повод.

— Не зарывайся, Мишка, — тихо сказал отец. — Твоя задача — течение на середине, и больше задач нет.

— Не разучился ты еще горяченькие горбушки вовремя солить, батюшка!

Михаил Дмитриевич направил коня к реке. Следом молча шел очень недовольный Млынов.

— А что это он — насчет горбушек? — с недоумением спросил Нагибин.

— Это у него с детства. Бывало, как только хлеб из печи достанут, он — тут как тут. А от такого горячего живот болит: хлеб сперва вздохнуть должен, потомиться, а уж потом — ешьте на здоровье. Ну, я и сказал, что есть ему можно тогда только, когда я лично горбушку посолю. Думаю, что он от этих моих угощений в конце концов в Туркестан и сбежал.

Вернулся Млынов:

— Отплыл. Тихо кругом. Я на берегу ожидать

буду, ваше превосходительство.

— Сходи к моему адъютанту — он за этим бугорком. Возьми бурку и корзину, принеси сюда и ступай на берег.

— Слушаюсь.

— Упрям, — вздохнул генерал. — Две девочки, а сынок-то один. Вот и избаловали мы его.

Млынов принес, что велено, и ушел на берег поджидать своего генерала.

— В корзине — водка и закуска, — буркнул генерал. — Налей по чарке, полковник.

— Волнуетесь? — осторожно спросил Нагибин, протягивая наполненную чарку.

— Мишка любую реку там переплывет, где вдруг коня остановил, — сказал Дмитрий Иванович. — И силен, и ловок, и... И настойчив, этого у него не отнимешь. Мне генерал Леер рассказывал, что в академии дал задание своим слушателям найти место для форсирования Немана. Все отправились искать, а Михаил отъехал за кусты и уселся. Леер пошел задание проверять, видит: сидит мой Михаил и травинку жует. Он ему: «Почему задачу не выполняете?» «Выполнил уже», — говорит. «Как так?» А Мишка вскочил на коня и переплыл Неман туда и обратно на его глазах. «Реку форсируют там, где надо, а не там,

где удобнее», — сказал. Такой нрав. Ну и дай ему бог, — генерал со вкусом осушил чарку, вздохнул. — Волнуюсь, конечно. Мне внучат-скобелят понянчить хочется, а он, бродяжья душа, с женой развелся…

Пришлось выпить еще по две чарки, пока услышали негромкие голоса. А вскоре подошли мокрый Скобелев с Георгием на голой шее и Млынов с конем в поводу.

— Снесло меня сажен на триста.

— Выпей. — Отец протянул чарку. — Надень сухое белье, мундир, тогда и доложишь.

Сын молча отступил в темноту.

— Ф-фу… — вздохнул Дмитрий Иванович. — Теперь и гора с плеч. Если, конечно, Его Высочество не слишком разгневается…

6

Главнокомандующий вставал в пять утра: как многие из Романовых, он мнил себя прямым последователем Петра Великого. В шесть — после туалета и завтрака — Непокойчицкий уже докладывал ему о перемещениях войск, турецких контрмерах, действиях речных флотилий и — особо — о состоянии Дуная.

— За истекшие сутки уровень воды понизился

еще на три фута, Ваше Высочество. Старожилы из местных уверяют, что через неделю, много — через десять дней, Дунай войдет в берега.

— А что же течение?

— Скорость потока снизилась, Ваше Высочество. Во всяком случае, генерал Скобелев минувшей ночью переплыл на ту сторону и благополучно вернулся обратно.

— Где? — резко спросил великий князь.

— Возле Журжи.

— Один?

— На коне, Ваше Высочество. — Артур Адамович достал бумагу. — О чем доложил письменно с точным указанием, на сколько именно саженей его сносило при переправе.

— Рейд предлагал?

— Нет, Ваше Высочество, только скорость на стрежне. Он, что же, проверял возможность рейда?

— Он помешан на них. Привык гоняться за азиатскими туарегами, а здесь совершенно иной противник. Совершенно иной.

Артур Адамович счел возможным промолчать. Тем временем Николай Николаевич старательно заносил последние данные на огромную, лично им исполненную и любовно раскрашенную цвет-

ными карандашами схему местности. И по этой схеме получалось, что турки все еще не потеряли возможности помешать русским переправам сверху: в нижнем течении реки их флот был уже частично уничтожен, частично оттеснен к морю, но здесь, в месте основного сосредоточения русских армий, еще представлял грозную силу.

— Последняя дыра. — Карандаш элегантно скользнул по схеме. — Заткни ее и, помолясь, будем готовиться перепрыгнуть.

— Я уже отдал распоряжение капитану первого ранга Новикову об установке минных заграждений, Ваше Высочество. Напротив местечка Парапан.

— Поручи прикрытие Струкову.

— Слушаюсь.

— И тоже будем на коне, — неожиданно сказал великий князь и улыбнулся.

В соответствии с этим решением вечером 7 июня от деревни Малу-ди-Жос отошла флотилия из десяти паровых катеров и шести весельных шлюпок, нагруженных минами. Подойдя к местечку Парапан, моряки приступили к минированию Дуная, заняв предварительно остров Мечку отрядом спешенных казаков. Башибузуки, охранявшие турецкий берег, открыли было огонь

по минерам, но дружные залпы казаков быстро сбили их с береговых позиций.

Уже на рассвете турки выслали паровой фрегат, вооруженный пятью орудиями. За ним в кильватере шел бронированный монитор с пушечным вооружением, намеревавшийся огнем с близкого расстояния потопить и разогнать суда минного отряда. Одновременно противник из Рущука отправил берегом конную батарею: турки всерьез были обеспокоены разворотом минных работ на Дунае.

Паровая миноносная шлюпка «Шутка» под командованием лейтенанта Скрыдлова, выделенная в охранение отряду капитана Новикова, стояла за мысом заросшего лозой и камышом острова Мечки. Лейтенант Скрыдлов и его механик прапорщик Болеславский, сидя на надстройке, безмятежно болтали с увязавшимся с ними в качестве охотника Василием Васильевичем Верещагиным, к тому времени не только известным художником, но и георгиевским кавалером, получившим орден за личную храбрость в боях под Самаркандом. Василий Васильевич угощал офицеров испанским хересом и рассказывал о Париже, откуда только что прибыл с персональной выставки.

— Бог мой, живут же люди! — восторгался наивный прапорщик, не бывавший нигде далее Бухареста.

— Вижу дым, ваше благородие! — крикнул матрос. — Сверху пароход!

— По местам! — Скрыдлов вскочил. — Василий Васильевич, прошу немедленно покинуть «Шутку».

— Давай команду, — улыбнулся Верещагин. — С шуткой и помирать не страшно.

— Василий Васильевич, я требую…

— Вижу фрегат! — закричал Болеславский. — Здоровенный фрегатище, господа, с пушками!

— Отваливай! — скомандовал лейтенант. — Полный вперед, на сближение! Минеры, не зевать! Ну, Василий Васильевич, у меня ведь и спрятаться негде.

— Хлебни. — Верещагин протянул бутылку. — Хороший херес, правда?

Шлюпку уже трясло и било на волнах. Дрожа всем корпусом, она на полных оборотах шла навстречу темной громаде фрегата, все увеличивая скорость. С турецкого судна громыхнул залп, снаряды разорвались позади шлюпки, а пароход вдруг начал резко сбавлять ход, отваливая к турецкому берегу.

— А, не нравится тебе наша «Шутка», мусульманская душа! — радостно кричал Скрыдлов. — Давай обороты, Болеславский, давай мне обороты!

— Вали к нему вплотную, чтоб из пушек не накрыл, — посоветовал Верещагин.

Он аккуратно допил херес, бросил бутылку за борт и поежился: в лицо бил ветер, с волн срывало водяную пыль.

Шлюпка вырвалась вперед так стремительно, что турки не успели со вторым залпом: Скрыдлов уже проскочил в мертвую зону, куда не могли лечь снаряды. Но из-за отвалившего фрегата вынырнул монитор*: пушка носовой башни медленно двигалась, нащупывая цель. Лейтенант круто заложил руль.

— Держитесь, Верещагин!..

Снаряд с монитора разорвался у правого борта, окатив шлюпку водой. И почти одновременно с фрегата раздался ружейный залп, пули с треском кромсали обшивку. Скрыдлов судорожно охнул.

— Ранен? — спросил Верещагин.

— Готовьсь! — крикнул лейтенант минеру, стоявшему на носу. — Спокойно, Виноградов, не спеши только!

— Есть не спешить!

С минера залпом сбило фуражку, брызги мешали смотреть. По команде Скрыдлова он подключил контакты к шесту, на конце которого была закреплена мина, и изготовился.

Лейтенант вел шлюпку прямо на фрегат, внезапно застопоривший машины. Расстояние уменьшалось с каждым оборотом винта, и Верещагин видел лица турецких моряков. Они уже не стреляли, а повалили к противоположному борту, и даже капитан бросился с мостика вниз, на палубу.

Второй ружейный залп раздался с монитора. Брызнули разбитые в щепы ручки штурвала, болезненно вскрикнул Скрыдлов, а Верещагин ощутил вдруг сильный удар в зад.

— Ну, нашла место, — морщась, проворчал он. — Ни сесть, ни лечь.

Из плеча лейтенанта, как стрела, торчала большая щепа, кровь заливала китель, но он уже ни на что не обращал внимания. Его целью, задачей, страстью, всем смыслом жизни был сейчас турецкий фрегат. Он подвел «Шутку» почти вплотную и круто развернул, чтобы разойтись бортами.

— Рви!..

Минер ткнул миной в борт парохода рядом с колесом. Тут же замкнул контакты электровзры-

вателя, нырнул за блинду*, но взрыва так и не последовало.

— Нету!.. — крикнул он. — Провод перебило!..

— Черт!.. Рви «по желанию»*, еще раз подведу! — Скрыдлов повернул к Верещагину мокрое, побелевшее от боли лицо. — Чего стоишь? Готовь крылатую!

Верещагин, припадая на правую ногу и громко ругаясь, выбрался к борту, где за броневыми блиндами хранились плавучие крылатые мины. Успел бросить тройку за борт, когда с монитора вновь грохнул орудийный выстрел, и картечь с визгом пронеслась над головой.

— Все провода перебило! — кричал минер с носа. — Взрывать не могу, контакта нет!..

— Черт! Черт! Черт! — в отчаянии кричал Скрыдлов, колотя кулаком по расщепленному штурвалу.

— В машинном вода! — донесся крик Болеславского. — В двух местах борт пробило!

— Задний ход!..

«Шутка» медленно пятилась назад. Лейтенант развернул ее носом к берегу: провода электрозапалов были оборваны, вести бой стало невозможно. Фрегат молчал, напуганный дерзкой близостью миноноски, но монитор медленно наползал свер-

ху по течению, отрезая шлюпке путь к спасению.

— Не проскочим, — сказал Верещагин, кое-как втащившись в рубку. — А мне, пардон, задницу продырявило.

— Сколько продержимся? — не слушая его, крикнул Скрыдлов прапорщику.

— С полчаса! — глухо отозвался Болеславский. — Фуражками вычерпываем!..

— Атакую монитор! — крикнул лейтенант. — Виноградов, подсоединяй батареи напрямую! Как столкнемся, рви руками!

— Есть рвать руками!..

— Полный вперед! Не унывай, ребята, второй смерти не будет!.. Ну, Василий Васильевич, прыгайте за борт, «Шутка» кончилась. Берите второй пробковый пояс, и дай вам бог удачи. Может, картину про нас напишете.

— Картину про нас кто-нибудь другой напишет, — проворчал Верещагин, неприятно ощущая текущую по ногам кровь. — Жалко, хереса больше нет. Хороший был херес…

Дрожа всем корпусом, «Шутка» отчаянно спешила навстречу бронированному монитору. С него раздался еще один, по счастью совсем уж неприцельный выстрел, и броненосец, заметно сбавив ход, стал отваливать влево, уступая

фарватер.

— Уходят! — восторженно кричал минер Виноградов. — Струсили, нехристи окаянные, струсили!.. Жми, ваше благородие, у меня все готово! Жми, я руками рвану! Я их к Аллаху ихнему с полным удовольствием доставлю!

Видя, что монитор разворачивается, фрегат тут же дал задний ход. Оба турецких судна, вооруженных артиллерией, отступали перед отчаянным натиском безоружной русской миноноски.

— Все, — с облегчением вздохнул Скрыдлов, закладывая шлюпку к своему берегу. — Еле стою, пятка у меня оторвана. Только не говорите никому.

— Давай я поведу.

— Я моряк, Василий Васильевич, я штурвал и мертвым не отдам. Сзади вас в нише — фляжка. Там, правда, не херес, а наша родимая, но все равно дайте глоток.

— Что же ты раньше молчал, чертушка, — недовольно проворчал Верещагин, доставая фляжку. — Из меня кровища хлещет, как из кладеного кабана, а ты жадничаешь.

— Раньше никак нельзя было. Раньше бой был.

Вскоре полузатопленная шлюпка ошвартовалась у пристани, и с берега грянуло «ура!» в

честь моряков. Отсюда внимательно следили за ходом боя, и санитарные экипажи уже ожидали раненых. Но раньше врачей на «Шутке» оказался Скобелев.

— Все видел! — восторженно крикнул он, обнимая болезненно охнувшего Скрыдлова. — Молодцы! Молодцы, моряки, спасибо за мужество ваше, спасибо и поклон вам!

— Поосторожнее, Миша, — хмуро сказал побледневший от потери крови Верещагин. — У него три ранения да заноза в плече, а ты как медведь, право.

— Вася, друг ты мой милый, герой Самарканда и Дуная! — Генерал ценил храбрость превыше всех человеческих качеств. — Дай я тебя расцелую!

— И меня не надо тискать, — непримиримо ворчал художник. — У меня пуля там же, где была у Мушкетона, если ты не позабыл еще «Трех мушкетеров».

— Нашел, что подставить! — расхохотался Скобелев. — Санитары, бегом!

Он дождался, когда раненых отправят в госпиталь, вскочил на коня и, не разбирая дороги, помчался к Парапану. Там оказался адъютант главнокомандующего полковник Струков, награжденный золотым оружием за рейд к Бар-

бошскому мосту. Скобелев хмуро выслушал его представление, спросил обиженно с глазу на глаз:

— Стало быть, опять тебя вместо меня?

— Михаил Дмитриевич, ну помилуйте, ну я-то тут при чем?

— Вырвал ты у меня золотое оружие из рук, Шурка, — горестно вздохнул Скобелев. — Обидно.

— Все еще впереди, — улыбнулся Струков. — Война только начинается.

— Это у тебя все впереди, а у меня, похоже, позади. Ну, скажи, чего он на меня взъелся? Из Журжи приказал никуда не выезжать. Вот в Парапан прискакал — и то поджилки трясутся: как бы опять нагоняй не получить.

— Но это же ваш участок.

— Участок мой, а послали тебя. Не доверяют. Хоть ты тресни, не доверяют более Скобелеву.

— Ваше превосходительство!..

— Сахаров бежит, — сказал Струков. — Что там еще?

— Ваше превосходительство!.. — кричал на бегу капитан генерального штаба Сахаров. — Турки возле наших минеров батарею разворачивают!..

— В шлюпки! — гаркнул Скобелев, вмиг поза-

был о всех своих опасениях.

И первым бросился к пристани.

В шлюпки садились наспех, не разбирая, кто и откуда. Кроме матросов-весельных, в них набились казаки, капитан Сахаров, командир Минского полка полковник Мольский, прискакавший доложить, что его полк на подходе, и Скобелев со Струковым. Понимая, как дорога каждая секунда, матросы гребли изо всех сил, весла выгибались дугой. Но Скобелеву и этого было недостаточно: он понимал, что вся минная флотилия будет сожжена и разгромлена, если капитан Новиков замешкается с отходом.

— Давай! Давай! Давай!.. — кричал Скобелев.

До острова оставалось саженей около ста. Тяжелые шлюпки сносило течением, они с трудом выдерживали направление на остров Мечку, где в бездействии столпилось полторы сотни спешенных казаков. На то, чтобы сообщить Новикову об опасности, требовалось время, и Скобелев, каждое мгновение ожидавший прицельного артиллерийского залпа, уже не мог усидеть на месте.

— Тащите шлюпки на руках через косу! — крикнул он, ни к кому, в сущности, не обращаясь. — Стрелки пусть немедленно открывают огонь,

чтоб турок отвлечь!

Прокричав это, он вскочил и головой вниз бросился в воду. Вынырнул и, забыв об уплывающей по течению генеральской фуражке, быстро поплыл к катерам капитана Новикова.

— Куда же вы, генерал? — растерянно спросил Мольский.

— Полковник, вы — старший! — крикнул Струков. — Тащите шлюпки в залив, спасайте людей с острова!

И вслед за Скобелевым полетел в воду. То ли плавал он лучше, то ли просто был сильнее, а только вскоре нагнал генерала.

— А ты зачем? — сердито спросил Скобелев.

— Боюсь, опять обиды разведете, почему вам одно, а мне другое, — улыбнулся Струков; роскошные усы его сосульками свисали по подбородку. — Теперь полное равенство: либо вдвоем потонем, либо двоих ругать будут.

— Понятно, — хмыкнул генерал. — Для придворного лизоблюда ты неплохо держишься на воде.

— Благодарю, ваше превосходительство. — Струков по пояс выпрыгнул из воды, крикнул: — Новиков! Новиков, уводи катера!.. О, да здесь, оказывается, мелко, Михаил Дмитриевич. Стано-

витесь на ноги, не тратьте силы.

Со стороны острова раздался ружейный залп. Оттуда не могли видеть турецких артиллеристов, но, как и было приказано, стреляли, отвлекая внимание. Этот внезапный огонь, а также вид бредущих по отмели мокрых и грязных полковника и генерала заинтересовал моряков. Предчувствуя недоброе, опытный Новиков тут же приказал свертывать минные работы.

Казаки продолжали азартно палить. Привлеченные пальбой турки первый залп дали не по катерам, а по острову, опасаясь десанта. Стреляли они с закрытых позиций, снаряды падали частью в воду, частью рвались в камышах. В грохоте, сумятице и неразберихе капитан Новиков спокойно вернул всех минеров и теперь уводил свои катера из зоны возможного обстрела.

— Одно дело сделано. — Скобелев облегченно вздохнул. — Молодчина Новиков, отметь его в реляции.

Михаил Дмитриевич стоял по грудь в воде и ждал, когда подойдет ялик, посланный за ними предусмотрительным Новиковым. Струков достал из кармана кителя портсигар: в нем оказалась каша из размокших папирос.

— А продавали за непромокаемый.

На ялике подошел черноглазый ловкий матрос. Помог взобраться в лодку.

— Куда прикажете?

— К острову!

Казаки и матросы уже перетащили шлюпки на глубокую воду, но турецкие артиллеристы, упустив катера, обрушили на остров беглый огонь. Было убито двое, семеро ранено и вдребезги разнесло одну шлюпку.

— Отходить немедля, — приказал Скобелев. — Кто не поместится в шлюпках, тащить за собою на ружейных ремнях.

Перегруженные шлюпки медленно отваливали от острова среди сплошных снарядных разрывов. Струков и Скобелев на ялике замыкали караван.

— Дай-ка погреюсь, — сказал Струков, садясь на весла. — Ох, давненько я фрейлин не катал по царскосельским прудам!

Скобелев оценил выпад, улыбнулся:

— А ты вроде ничего, Шурка. Ладно уж, владей золотым оружием. Дарю.

— Благодарю, Михаил Дмитриевич, — усмехнулся полковник. — Эй, матрос, махорка найдется? Дай закурить его превосходительству, чтоб он дробь зубами не выбивал.

— С нашим полным удовольствием. Только

трубка у меня. Не побрезгуете?

— Был бы табачок хорош.

— Тютюн добрый, из Крыма. — Матрос набил трубку, раскурил, протянул генералу. — Пожалуйте нашего флотского, ваше превосходительство.

— Спасибо, братец. — Скобелев, попыхивая трубкой, вольготно развалился на корме. — Плавней, плавней подгребай, недотепа. И не брызгай!

— Р-рады стар-раться! — улыбался Струков, налегая на весла. — Ох, и влетит же нам за эту прогулочку, Михаил Дмитриевич! По первое число влетит!

За «прогулку» влетело, но, как всегда, одному Скобелеву.

— Ты что, подпоручик? Почему сам в воду полез?

— Мгновения берег, Ваше Высочество.

— Полез! Дважды за неделю полез! А если бы утоп? Русский генерал сам собой в Дунае утоп — то-то радости туркам!

— Так ведь не утоп же.

— А мог! Мог! Дважды мог! Признайся, что мог вполне!

— Не мог, Ваше Высочество, — упрямо пробурчал Скобелев.

Великий князь глядел строго, но строгость

была напускной, и Михаил Дмитриевич это чувствовал.

— За сегодняшнее геройство прощаю, за прошлое самоуправство наказываю. Завтра государь изволит прибыть в Плоешти, но ты его встречать не будешь. Ты в Журже будешь торчать безвылазно. Безвылазно, Скобелев!

— Слушаюсь, Ваше Высочество, — с облегчением сказал Скобелев, радуясь, что дешево отделался.

7

Вторые сутки русские батареи, расположенные в Турну-Магурели и возле Журжи, вели интенсивный обстрел береговой линии противника. Турецкая артиллерия ввязалась в длительную дуэль, турецкие резервы метались по всему правому берегу, и только в Свиштове было пока спокойно. Напротив находилось тихое местечко Зимница, где стояли какие-то второстепенные русские части, ничто не предвещало грозы, и посетивший Свиштов главнокомандующий турецкой армией Абдул-Керим-паша продемонстрировал свите свою ладонь.

— Скорее у меня на ладони вырастут волосы, чем русские здесь переправятся через Дунай.

Через сутки об этих словах начальник русской контрразведки полковник Артамонов доложил Непокойчицкому. Артур Адамович ничем не выказал своего особого удовлетворения, но Артамонов уловил его. И шепотом добавил:

— Я дал распоряжение сеять слух, что переправа состоится у Фламунды, ваше высокопревосходительство.

— Прекрасно, голубчик, прекрасно. Пусть трое говорят, что у Фламунды, а четвертый — что возле Никополя.

Во Фламунде, небольшой береговой деревушке, целыми днями раскатывали экипажи, скакали конные, суетились штабные офицеры, бегали пешие ординарцы и посыльные. Центром их движения был хорошо видимый с противоположного берега дом зажиточного крестьянина, усиленно охраняемый цепью часовых и казачьими разъездами. Во дворе постоянно толпились офицеры, изредка мелькали генералы, а раз в день непременнейшим образом появлялся личный адъютант и сын главнокомандующего Николай Николаевич младший. Все входили в приметный дом, выходили из него, бешено куда-то скакали, и никто не обращал внимания на скромный домишко в сырой низине, невидимый с турецких

высот. Сюда никогда не мчались нарочные и не подкатывали фельдъегерские тройки, здесь не видно было часовых и караулов, но ни один человек не мог спуститься в низину. Из кустов тотчас же молча вырастали кубанские пластуны, и любопытный в лучшем случае поспешно удалялся после длительных проверок и расспросов.

В этот неказистый домишко днем 13 июня Николай Николаевич младший в три приема провел начальника артиллерии князя Массальского, помощника начальника штаба генерала Левицкого, начальника инженерного обеспечения Деппа и генерала Драгомирова. Михаила Ивановича великий князь вел последним и с особыми предосторожностями, встретив генеральский экипаж на дороге и проведя старого генерала совсем уж нехоженым путем. Подвел ко входу, пропустил в дом, плотно прикрыв за ним двери, сел на крыльцо, прислонившись к дверям спиной, и положил перед собой два револьвера.

— Эй! — негромко позвал он.

Кусты напротив раздались, и в просвете возникло лицо дежурного офицера.

— Предупреди посты: стреляю в каждого, кто приблизится к дверям.

— Слушаюсь, Ваше Высочество.

И кусты вновь сомкнулись, не вздрогнув ни одним листком.

В единственной комнате дома приглашенных ждали главнокомандующий и его начальник штаба.

— Вы догадываетесь, господа, что выбор Его Высочеством уже сделан, — как всегда негромко сказал Непокойчицкий. — Благодаря тщательно продуманной дезориентации противник введен в полнейшее заблуждение относительно места и времени переправы главных сил. Так вот, докладываю вам, что переправа состоится в ночь на пятнадцатое июня возле Зимницы силами дивизии Михаила Ивановича. Всем даются сутки на подготовку.

— Об этом решении, кроме нас, не знает ни одна живая душа, — сказал сидевший у стола Николай Николаевич старший. — Даже государю доложат лишь завтра утром.

— Переправа и захват плацдарма на том берегу силами одной дивизии? — удивленно спросил князь Массальский. — Ваше Высочество, это дерзко, это отважно, но…

— Неожиданность, — важно сказал великий князь главнокомандующий. — Полная неожиданность — наше оружие.

— Мы долго обсуждали этот вопрос, — пояснил Непокойчицкий. — И сошлись во мнении, что большие силы наверняка привлекут внимание противника.

— Беречь патроны, — вдруг значительно сказал главнокомандующий. — Государь специально и очень своевременно указал нам на это. И я особо напоминаю: беречь патроны. С доставкой их будут трудности, и каждый выстрел стоит денег. Запретите нижним чинам стрелять без команды.

— Безусловно, Ваше Высочество. Ваша дивизия, Михаил Иванович, будет усилена стрелковой бригадой генерала Цвецинского, двумя сотнями пластунов, гвардейцами Его Величества, саперами, а впоследствии и батареями четырнадцатой артиллерийской бригады. — Непокойчицкий мягко переводил разговор в деловое русло. — Порядок переправы, я думаю, обсудим позже, Ваше Высочество?

— Наметьте в общих чертах, генералы разберутся сами.

Пока в высших сферах решалась судьба операции, войска, предназначенные для того, чтобы своей кровью открыть ворота русской армии, подтягивались к Зимнице, и к вечеру 13 июня

Волынский пехотный полк уже расположился на последнем биваке. Все чувствовали, что предстоит серьезное и тяжелое дело, не слышно было песен, и даже разговоры смолкли. Ужин был короче и тише, чем всегда, а после ужина тут же сыграли отбой. Нижние чины, как положено, залегли под шинели, сунув ранцы под голову, но немногие уснули в эту тихую летнюю ночь. И хоть не было еще никакого приказа, но солдатская молва быстро и точно донесла: МЫ. И кто-то молча лежал, с головой укрывшись шинелью и вспоминая родных, кто-то беззвучно молился или столь же беззвучно плакал. Но еще никто никогда, ни в какие времена не считал солдатских слез.

Считали патроны.

И офицерам не хотелось быть в одиночестве в этот вечер: сидели у огня, что горел в лощине. Над костром висел солдатский котелок, в котором что-то деловито помешивал капитан Фок. Рядом молча расположились капитаны Брянов и Остапов, поручики Григоришвили, Ящинский и прапорщик Лукьянов.

— Пунш перед боем заповедан нам дедами, — сказал Фок. — Исполним же, что заповедано.

— Молиться надо, а не пунши распивать, —

вздохнув, строго заметил Останов.

— Зачем молиться? Зачем о грустном думать? — улыбнулся Григоришвили. — Надо о жизни думать, а не о смерти.

— Думать вредно, — усмехнулся Фок. — Все неприятности родом из дум. Вы согласны с этим, Ящинский? Или у вас, как всегда, есть собственная теория?

— Я давно оставил все теории дома, капитан. Вам угодно знать адрес?

— Кажется, генерал вернулся! — Лукьянов вскочил. — Я сбегаю, господа? Вдруг узнаю что-нибудь.

— Сбегайте, прапорщик. — Останов дождался, пока юноша уйдет, и выругался. — Всем хорошо слыхать? Вот на этом языке и разговаривайте при мальчишке, философы, мать вашу. Нашли время и место для своих теорий.

— Что это вы рассердились, Останов? — миролюбиво спросил Григоришвили.

— Говорунов не люблю. Развелось их, как мух на помойке, и жужжат, и жужжат! А мы — офицеры, господа. Наше дело…

— Наше дело — топать смело, — усмехнулся Фок. — Это ведь тоже теория, Останов. Но поскольку вы, кроме устава, в жизни своей не раскрыли

ни одной книжки, я извиняю ваше невежество. Вы счастливейший из смертных, капитан, вы сразу попадете в рай, минуя чистилище, ибо вас уже зачислили в охрану райских кущ на том свете.

— Да будет вам, право, — с неудовольствием заметил Брянов. — Пить так пить, а нет — так разойдемся.

— Зачем у вина спорить? — сказал Григоришвили. — У вина радоваться надо.

— Ну, начнем радоваться. — Фок разлил пунш по кружкам. — Я не люблю тостов, но сейчас позволю себе эту пошлость. Мы только что царапались друг с другом по той простой причине, что души наши неспокойны. Их ожидает тяжкое испытание, а быть может, и расставание с бренным телом. И я хотел бы, чтобы души наши остались при нас, ну а если случится неприятность, чтоб упорхнули они в вечность легко и весело. За нас, господа офицеры.

— Вот уж не думал, что вы мистик, — сказал Ящинский. — Циник — да, но сочетание цинизма с мистикой довольно забавно.

— Ошибаетесь, Ящинский. — Фок холодно улыбнулся. — Во мне нет ни грана того, что вы подразумеваете под мистицизмом. А поднимая кружку за наши души, я имел в виду именно их

вечность с точки зрения здравого цинизма. Что такое бессмертие, господа? Точнее, что религия называет бессмертием? Это не что иное, как благодарная память потомков. Рай не на небе — рай в памяти людской, и если кому-либо из нас суждено погибнуть, так пусть душа его предстанет не пред Богом, а пред потомками.

— Вы кощунствуете, Фок, — строго сказал Останов. — Это не просто грешно, это…

— Это очередной приступ гипертрофированного себялюбия, — начал Брянов…

— Господа! — Из темноты выбежал взволнованный прапорщик. — Господа, Озеров гвардейцев привел! Значит, все правда, господа, значит, у нас — главное дело, значит, мы — счастливчики!..

— Похоже, что счастливчики, — хмуро заметил Останов.

— Да, Брянов, вами какой-то гвардейский артиллерист интересовался. Саженного росту.

— Тюрберт прибыл, — улыбнулся Брянов и отдал кружку Лукьянову. — Извините, господа, мне позарез необходимо с ним повидаться. Долг волонтерской дружбы!

— Холодный пунш перед боем — дурная примета волонтера, — неодобрительно заметил Фок.

— Я не верю в приметы, капитан, — сказал

Брянов.

И быстро зашагал в темноту.

8

— Вот она и пришла, эта ночь, — говорил гвардии подпоручик Тюрберт. — А комары по-прежнему бесчинствуют, в реке плещется рыба, и птицы спят в своих гнездах. Отсюда позволительно сделать вывод, что природе наплевать на историю. Это как-то несправедливо, Брянов, неправда ли?

Офицеры медленно шли по берегу мимо казачьих пикетов, полупогасших костров и настороженных патрулей. Тюрберт болтал, а Брянов помалкивал, с досадой ловя себя на мысли, что гвардии подпоручик излишне суетится перед боем.

— Знаете, все мы если не тщимся, то хотя бы мечтаем о славе, особенно в юности. И я, грешный, сладостно, до слез порою представлял себе, что меня пышно похоронят и что потомки будут с благоговейным почтением склонять головы над моею могилой.

— Извините, Тюрберт, я только что слышал нечто подобное из уст командира стрелков капитана Фока, — усмехнулся Брянов. — Это кон-

вульсии эгоцентризма.

— Вы слушали какого-то Фока и недослушали меня, — с неудовольствием заметил Тюрберт. — Я еще не совершил преступления, а вы уже тут как тут с приговором. Этак мы не поговорим, а станем препираться, а потом будем жалеть, что не поговорили.

— Вы совершенно правы, простите. Вы остановились…

— Я остановился на юных мечтах о славе, — сказал Тюрберт ворчливо. — Но не успел поставить вас в известность, что сам я с этими мечтами навсегда расстался где-то в Сербии. Но начал-то я с природы, которой наплевать на все наши мечты… Вы меня разозлили, Брянов, и я утерял нить…

— Еще раз извините, дружище.

Некоторое время Тюрберт обиженно молчал. Потом спросил вдруг:

— Вы любите жизнь, Брянов?

— Признаться, не задумывался. — Брянов неуверенно пожал плечами. — То есть, конечно, люблю, но это же естественно.

— Естественно ваше состояние — жить, не задумываясь, любите ли вы это занятие? А я однажды проснулся и увидел на соседней подушке лицо

своей жены. Она спала, не знала, что я смотрю на нее, не готовилась встретить мужской взгляд и… была прекрасна. И тогда я подумал… Нет, ни черта я тогда не подумал, а просто почувствовал, как меня распирает от счастья. А подумал потом, в поезде, когда спешил сюда.

— Прямо с подушки?

— Не ерничайте, Брянов, это не ваш стиль. То, о чем я подумал, я могу сказать только вам, и если вы станете иронизировать…

— Право, больше не буду, Тюрберт.

— А того утра я никогда не забуду. — Тюрберт вздохнул. — Я понял, что самое большое счастье — сделать кого-то счастливым. Есть натуры, поцелованные Богом, они обладают даром делать счастливыми многих. Но и каждый самый обыкновенный человек может сделать кого-то счастливым. Иногда всю жизнь может — и не делает. Думаете, это эгоисты и себялюбцы? Нет, большинство не приносит счастья другим просто потому, что не знает, как это сделать. Так, может, нужно какое-то новое ученье?

Брянов пожал плечами:

— Возможно, нужна просто цель, достойная человека?

— Цель? — Тюрберт подумал. — Цель — это

что-то конечное, это всегда результат, а следовательно, и какая-то практическая выгода. А я ведь не о счастье приобретения думаю. Господь с ним, с таким счастьем.

— Вы ли это, Тюрберт? — улыбнулся капитан. — Совсем недавно, помнится, в Сербии, перед боем, некий офицер заявлял, что идей расплодилось больше, чем голов, и что идеи вообще чужды нашей профессии. Что же с вами произошло, коли вы накануне другого боя вдруг утверждаете обратное?

— Я ничего не утверждаю, я просто очень счастлив и хочу, чтобы все вокруг были счастливы. Не счастливыми — в этом есть что-то, пардон, сопливое, вы не находите? — а просто были бы счастливы. Здесь есть какая-то мысль, которую мне трудно высказать, вот я и бормочу привычные слова в надежде, что вы мне подскажете. Ну, для примера, что вы говорите любимой женщине расставаясь? Пошлое: «Будь счастливой»? Да никогда! Вы говорите: «Будь счастлива, дорогая». Улавливаете разницу?

— Нет, — суховато ответил Брянов. — Уж не посетуйте, не имею вашего опыта, Тюрберт. Вероятно, суть в том, что понимать под таким пожеланием.

— То и понимать. Счастье есть счастье.

— Счастье — категория сугубо относительная, Тюрберт. Для вас оно заключается в том, чтобы сделать кого-то счастливым, для мужика это урожайный год, а для болгарина — падение османского владычества. А поскольку термин не абсолютен, то и оставим его для милого житейского обихода. Для девичьих томлений, дамских пересудов и вздохов провинциальных пошляков.

— Похоже, что вы мне дали выволочку, — сказал, помолчав, Тюрберт, — но, убей бог, не знаю за что. Я искренне хочу, чтобы всем — всем на свете! — было хорошо. Я щедрый сегодня, Брянов, потому что люблю жизнь неистово, вот и вся причина. А чтобы любить жизнь, надо любить женщину, потому что женщина и есть воплощение жизни. И я, вероятно, просто не в состоянии сейчас заниматься холодным анализом, и так что не уничтожайте меня за это.

— Вы высказали дельную мысль: каждый человек носит в себе возможность сделать людям добро, но далеко не всякий реализует эту возможность в своей жизни. Я вас правильно понял?

— Добро — это что-то библейское, — проворчал подпоручик. — Я говорил проще.

— И все же вы говорили о добре, которое каждый может отдать, но почему-то мало кто отдает.

— Признаться, о чем я мечтаю? Только не вздумайте смеяться, предупреждаю, я чертовски обидчив. Сказать?

— Чистосердечное признание засчитывается в половину вины, — улыбнулся Брянов.

— Я очень хотел бы помочь именно вам в этом бою, — тихо сказал Тюрберт. — Даже больше: я бы хотел спасти именно вас, Брянов. Я бы хвастался потом всю жизнь и рассказывал бы своим внукам, как однажды прикрыл огнем и выручил из беды очень хорошего человека.

— Будем дружить, артиллерия? — улыбнулся Брянов.

— Будем, пехота.

И офицеры торжественно пожали друг другу руки. На востоке светлело. Занимался новый день — 14 июня 1877 года.

Глава вторая

1

В безлунной ночи рассаживался по понтонам первый эшелон десанта — сотня кубанских пла-

стунов, стрелки Останова и Фока, пехотинцы Ящинского, Григоришвили и Брянова и гвардейцы под командованием полковника Озерова. По сорок пять человек в полуторные понтоны, по тридцать — в обыкновенные. Генерал Драгомиров стоял у причала, пропуская роты мимо себя. Солдаты, узнавая его, подтягивались, шепотом передавая по рядам:

— Сам провожает.

А Михаил Иванович пристально всматривался в старательные молодые лица, размытые сумраком и уже неузнаваемые, с горечью думая, сколько внимательных живых человеческих глаз не увидят завтрашнего дня. Эти мысли совсем не мешали ему верить в победу: он твердо знал, что выиграет дело, что выдержит, вытерпит, что вынесет все. Что силою, мужеством, волею и жизнями этих вот солдат проломит брешь в несокрушимой обороне Османской империи. Он просто прикидывал, сколькими сотнями молодых жизней он оплатит победу, и печаль тяжким грузом оседала в сердце старого генерала.

— Михаил Иванович! — шепот раздался сзади, и Драгомирова вежливо тронули за рукав.

Он оглянулся: перед ним стоял Скобелев. В белой парадной форме и при всех орденах.

— Не спится, Михаил Дмитриевич?

— Михаил Иванович, будьте отцом родным, — умоляюще зашептал Скобелев. — Возьмите в дело. Не могу, себе не прощу, коли в стороне останусь. Вплавь с казаками…

— Голубчик, ну как же я могу? Не приказано и должностей нет. И потом, что это вы в белом?

— Бой есть великий праздник, Михаил Иванович, по-иному не мыслю.

— Правильно, и я не мыслю. Но днем, а не ночью. Днем, при солнышке.

— Сниму, — мгновенно согласился Скобелев. — Бешмет вон казачий надену, только возьмите, Христом Богом…

— Как взять, в каком роде, генерал? — маялся Драгомиров, любивший Скобелева за отвагу и независимость. — Ведь не в ординарцы же, в самом деле…

— Пойду, — тотчас же согласился Михаил Дмитриевич. — При вас и при таком событии за честь почту ординарцем состоять. Прикажете в понтон?

— При мне — лично и все время, — тяжело вздохнув, строго сказал Драгомиров. — Подтяните Минский полк, он отстал на марше. И чтоб разговоров — ни-ни.

— Слушаюсь, Михаил Иванович! — просиял Скобелев. — И благодарю. От всего сердца благодарю!

И тут же исчез, а Драгомиров добродушно усмехнулся. И подумал невольно: «Вот бы все генералы наши на такое сражение, как на праздник рвались…»

А роты все шли и шли, будто драгомировская дивизия отправляла на тот, затаенный, темный враждебный берег не считанные восемнадцать понтонов, а добрую половину всего Волынского полка. Вся идея прорыва главных сил русской армии строилась на быстроте и внезапности, количество войск ради этого было сведено до минимума, но нетерпение уже охватывало всегда выдержанного, академически спокойного и невозмутимого генерала, и Михаил Иванович уже начал нервно пощипывать тощие монгольские усы.

— Погрузка закончена, Михаил Иванович, — подойдя, негромко доложил начальник переправы генерал-майор Рихтер. — Прикажете начинать переправу?

— Обождите. — Драгомиров шагнул к тяжело, по самые борта нагруженным понтонам и снял фуражку. — Вы уйдете сейчас, а я останусь. Вто-

рой эшелон погружу и — следом. Я бы вместе с вами хотел, да служба не велит, так что на время расстанемся… — Он помолчал, покрутил фуражку во внезапно задрожавших руках. — Одно помните: от вас все зависит, в руках ваших сегодня вся судьба наша. Либо через Дунай, либо в Дунай, иного пути у нас нет. И я вам ничего не могу обещать — и помощь не скоро подойдет, и артиллерия не скоро поддержит. Сами вы все должны исполнить. Сами. Не стреляйте в темноте без толку: целей не видать, а турки сразу поймут, что вас горсточка. Главное, сигналов об отступлении быть не должно и не будет. Никаких сигналов! Колите того штыком, кто сигнал такой подаст, тут же на месте и колите, потому что это либо трус, либо враг. И не ищите своих офицеров, держитесь тех, кто рядом окажется. И… и выручайте друг дружку. Помните об этом. С Богом! С Богом, дети мои! С Богом, до встречи на том берегу!

Не гремели оркестры, не развевались знамена, никто не кричал «Ура!». Матросы молча отпихнули баграми тяжелые понтоны. Дружно и плавно поднялись весла гребцов, и громоздкие суда медленно тронулись по протоке к Дунаю, скрытые тьмой и низким островом Аддой. Генерал Драгомиров глядел им вслед, пока неясные силуэты не

растаяли в ночной мгле. Тогда вздохнул, перекрестился и надел фуражку.

— Грузите артиллерию немедля.

К причалам уже подходили огромные грузовые понтоны. Матросы плотно чалили их, тщательно устанавливали сходни. Где-то совсем близко испуганно всхрапнула лошадь, послышался тихий ласковый голос ездового:

— Стоять, милая, стоять.

— Минчане подошли, — доложил вновь возникший за плечом генерала Драгомирова Скобелев. — А на этом участке у турок черкесов нет, Михаил Иванович.

— Почему так думаете?

— Минчане на подходе уток вспугнули, а на том берегу — тишина. Черкесы сразу бы всполошились, вояки опытные.

— Ну и слава богу. Минчан вам поручаю, Михаил Дмитриевич.

— Благодарю. Только уж и на ту сторону с ними, а?

— Все там будем, — строго сказал Драгомиров.

Ездовые осторожно вводили на понтоны испуганно всхрапывающих коней, расчеты готовились к погрузке пушек и зарядных ящиков. Все делалось молча, без обычных шуток, ругани

и команд.

— Лапушки наши заряжены, Гусев? — тихо спросил Тюрберт.

— Так точно. Лично заряжал, ваше благородие. Картечный снаряд, как велено.

— Брянов с первым эшелоном пошел, — вздохнул подпоручик. — Помнишь капитана Брянова?

— Как не помнить, — и Гусев вздохнул в ответ. — В Сербии, чай, горюшко вместе хлебали.

— Вели ездовым лошадей за храп держать, пока не переправимся. А коли ранят какую — душить всем дружно, чтоб я и вздоха ее не услышал. Батарейцев предупреди.

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Все знаем, куда идем.

К тому времени передовые понтоны со стрелками капитанов Останова и Фока уже вышли на стрежень. На турецком берегу было темно и тихо, но верховой ветер принес волну. Паромы закачало и стало сносить по течению.

— Навались, гребцы, мать вашу! — сквозь зубы шепотом ругался Останов.

Ветер и внезапно разыгравшееся течение разорвали единый строй судов. Турецкий берег тонул в кромешной мгле, и офицеры, как ни всматривались, не могли определить ни одного ориентира.

Понтоны, медленно пересекая Дунай, шли в черную неизвестность.

Первым врезался в отмель понтон с сорока пятью стрелками Останова: нос уперся в песок, течение развернуло корму, и понтон накренился, черпая воду. Подняв револьвер над головой, капитан первым прыгнул за борт.

— За мной! Оружие беречь!

Он ожидал залпа, оклика, но берег молчал. Останов брел по пояс в воде, сабля путалась в ногах. Позади с шумом и плеском шли стрелки. Так и выбрались на берег, не зная, где свои, где чужие.

За узкой полоской песка начинался крутой и высокий глинистый обрыв. Распределив солдат, капитан направил дозоры вверх и вниз по берегу, а сам с основной группой стал подниматься на откос. Солдаты лезли упрямо, втыкая штыки в глину, подставляя друг другу плечи, цепляясь за корни и неровности. С трудом выбравшись наверх, залегли, вглядываясь в темноту.

— Ни хрена не видать. Все подтянулись?

— Так точно, ваше благородие.

Ниже гулко ударил выстрел, и тотчас же все вершины доселе затаенно молчавшего вражеского берега отозвались разрозненной ружейной

пальбой. Это была стрельба наугад, по еще не видимому, но ожидаемому противнику.

— Ах, вот вы где, мать вашу! — закричал Остапов, вырвав из ножен саблю. — Вперед, ребята, за мной!.. Не стрелять! В штыки их, в штыки!..

Первый выстрел, переполошивший турок и создавший впоследствии особые трудности для стрелков капитана Фока, был, по сути, случайным. Высадившиеся почти одновременно с Остаповым пластуны, пользуясь темнотой, берегом проникли в устье пересохшего ручья Текир-Дере и вышли к турецкому пикету. Турки окликнули, но казачий есаул, шедший впереди, спокойно ответил по-черкесски:

— Свои. С той стороны возвращаемся.

Турки подпустили их и тут же были взяты в кинжалы. Уцелел до времени один, у караулки, успел подать сигнал, и береговые склоны ответили огнем. В устье Текир-Дере начинался ад: турки занимали высоты и, обнаружив врага, начали бить часто и беспорядочно. Пластуны сразу оказались прижатыми к откосам.

Сюда, в эту узкую, простреливаемую со всех сторон низину, прибило паромы Фока. Вода кипела от пуль, стояла сплошная винтовочная трескотня.

— Стрелки, за мной! — перекрывая грохот, крикнул Фок. — Барабанщик, атаку!

Он бежал по мелководью, со странным, впервые возникшим чувством благодарности слыша дружный солдатский топот за спиной. Раненые падали в воду, но подбирать их не было ни времени, ни возможностей. Дело решали секунды, и Фок, правильно оценив это, решительно вел свои «механизмы, при винтовке состоящие», как он порою называл своих солдат, на штурм обрывов, ощетиненных огнем.

Чуть ниже высаживался Ящинский. Едва ступив на берег, рванул из ножен саблю:

— Вперед, бра…

И, взмахнув руками, упал навзничь. Солдаты бросились к нему, но штабс-капитан был уже мертв: пуля попала в висок.

— Отпелись… — горько и растерянно сказал кто-то.

Унтер, державший на коленях пробитую голову командира, бережно опустил ее на песок и встал.

— Чего столпились? Вперед! Бей их, сволочей, ребята! В штыки, за мной!

Солдаты приступом взяли обрыв и с боем прорвались к стрелкам. Унтер нашел Фока, вытянулся, приткнув к ноге винтовку с окровав-

ленным штыком:

— Разрешите доложить, унтер-офицер восьмой роты Малютка. Командира убило…

— Ложись и докладывай толком.

— Так вы же стоите, ваше благородие.

— Потому и стою, что благородие. Значит, погиб Ящинский?

— Так точно. В висок.

— Сколько с тобой?

— Семнадцать.

— Видишь внизу караулку? Бери своих и штурмуй. Как тебя? Малютка? Возьмешь караулку, произведу во взрослые. Барабанщик, атаку ящинцам!

Бессистемная стрельба шла уже по всему берегу. Взвыли турецкие сигнальные рожки, вспыхнули смоляные шесты, оповещая ближайшие гарнизоны о русском десанте. Послышался сильный шум и в Вардине, где была расположена вражеская артиллерия. Турки спешно собирали таборы*, намереваясь ударами с трех сторон уничтожить немногочисленный русский отряд.

Но пока еще царила полная сумятица: как выяснилось позднее, пластуны сумели-таки просочиться за линию турецких охранений и перерезали телеграфную связь. Пользуясь нераз-

берихой, темнотой и суматохой, Остапов без единого выстрела занял виноградники, развернул своих стрелков в жидкую цепь фронтом к Свиштову и отчаянной штыковой атакой встретил первые турецкие подкрепления, спешно брошенные в устье Текир-Дере.

— Не стрелять! — хрипло орал он, отбиваясь саблей сразу от двух турок. — Не стрелять, сукины дети, только штыками! Ломи их, в аллаха мать…

В это время семнадцать человек, уцелевших с понтона Ящинского, бежали к караулке молча. Турки поначалу то ли не заметили их, то ли приняли за своих, а когда поняли и опомнились, было уже поздно. Единственный залп, который успели они сделать, был торопливым и неприцельным; ящинцы так же молча, без «ура» приблизились на штыковой удар, и только тогда унтер Малютка на последнем выдохе выкрикнул, как на учении:

— Коли!..

Семнадцать штыков с разбегу вонзились в человеческие тела, тут же четко и умело были выдернуты и снова вонзились, но уже вразнобой и уже не все семнадцать. Началась рукопашная, приходилось и отбивать выпад противника, и подставлять винтовку под удар ятагана. Но этот молчаливый стремительный штурм так ошело-

мил турок, что, вяло посопротивлявшись, шесть десятков аскеров* в панике бежали к водяной мельнице.

Чуть светало. В предрассветном тумане уже прорисовывались кромки турецких высот, темные силуэты понтонов на реке и вершины возле села Вардин, занятые турецкими батареями. Оттуда прогремел первый выстрел, снаряд с воем пронесся над стрелками Фока и разорвался в Дунае, подняв высокий фонтан.

Вся река была сплошь усеяна понтонами. Пустые поспешно отгребали назад, к своему берегу, перегруженные с трудом преодолевали стремительное течение. Теперь, когда с каждой минутой становилось светлее, турки обрушили на неповоротливые суда частый ружейный огонь. Продырявленные пулями понтоны быстро набирали воду, команды не успевали ее вычерпывать; все чаще то один, то другой понтон, переполнившись, шел на дно.

Взятие караулки обеспечило правый фланг капитана Фока, но его теснили и с фронта, и с левого фланга. Он то и дело бросал своих солдат в короткие контратаки и отходил снова, охраняя место основной переправы и боясь оказаться вдруг отрезанным от берега. Несмотря на рассвет,

он упорно не ложился: высокая его фигура все время маячила впереди стрелков. После бесконечных и всегда яростных рукопашных схваток мучительно ломило правое плечо; он страдал, морщился, перехватывал саблю в левую руку, пытался растереть занемевшие мышцы, но времени не было. По мундиру расползалось темное пятно: в последней схватке штык аскера добрался-таки до капитанских ребер, но, к счастью, скользнул, лишь надломив кость и сорвав лоскут кожи. Капитан никому не говорил об этом и старался держаться так, чтобы солдаты не заметили, что он ранен.

— Ваше благородие, ложись! — время от времени зло кричали они. — Убьют тебя — все тут поляжем!

— А смотреть кто будет? — огрызался капитан, страдая от ноющей боли в плече, которому досталось сегодня столько работы. — Ваше дело шкуры беречь и исполнять, что прикажут!

— А коли приказывать станет некому?

— Коли некому, так в штыки! Все, дружно, а ежели кто замешкается, я с него и на том свете спрошу!

Как бы ни было тяжело стрелкам Фока, Остапова и уже упокоившегося Ящинского, но понтоны

с того берега шли. Вразнобой, потеряв связь, притыкаясь к случайному месту, они все же доставляли солдат, и солдаты эти, зачастую сразу же теряя офицеров, упрямо лезли на обрыв, штыками сбрасывали турок и цепко держали узкую полоску берега. Часть их прибилась к Фоку, десятка два провел в устье Текир-Дере поручик Григоришвили, раненный в плечо в первой же атаке. Вместе с уцелевшими солдатами унтера Малютки он упорно атаковал засевших на мельнице аскеров.

Благополучно переправился и командир первого эшелона генерал-майор Иолшин. Вместе со штабными офицерами он сидел под обрывом и страдал от бездействия: руководить боем в такой неразберихе было немыслимо.

Турки ожесточенно атаковали Остапова. Поредевший в схватках отряд его, пополненный пластунами и частью гвардейских офицеров полковника Озерова, упрямо держался за виноградники, перерезав дорогу к Текир-Дере. Капитану пуля раздробила коленную чашечку; он лежал в пыли на дороге, собрав вокруг себя раненых, и, страшно ругаясь, отбивал атаки расчетливыми ружейными залпами. Командование отрядом принял Озеров.

— Только не вздумайте стрелять, полковник, — скрипя зубами от боли, сказал Останов: ему очень хотелось ругаться, он грубил, но в присутствии старшего все же воздерживался. — Извольте штыками их, штыками!

— Я слышал об этом приказе, капитан. Держите дорогу.

— Ну, уж тут-то они только по трупам: мне ногу перебило. А вот вам придется побегать.

— Медицина утверждает, что это полезно для здоровья, — усмехнулся Озеров, уходя в цепь.

— Стрелять разрешается только раненым! — прокричал вдогонку Остапов. — Только тем, кто уж и на ногах-то не стоит! Слышите, гвардия?..

Но время текло своим чередом, и, как ни внезапен был русский удар, турецкое командование в конце концов разобралось в обстановке. Из трех наиболее активных очагов сопротивления самым неустойчивым им показался участок Фока. И туда, на его измотанных, израненных и немногочисленных стрелков, турки и бросили подошедшие из Вардина свежие резервы.

2

Брянову не повезло с самого начала: понтон закрутило на быстрине с особой затейливостью,

развернув в обратную сторону. Гребцы, привставая на скамьях, всей тяжестью налегали на весла, и три весла в конце концов не выдержали, одновременно хрустнув пополам: потерявший управление понтон потащило по течению. Пока гребцы разбирались с веслами, чтобы уровнять количество их с обеих сторон, судно успело уйти далеко вниз, потеряв всякую связь с соседними понтонами. Когда наконец-таки приткнулись под обрыв, спускавшийся в этом месте к самой воде, в устье Текир-Дере и на высотах вокруг уже кипел безостановочный бой.

Здесь пока не стреляли, терять время на подъем и завязывать бой в стороне от своих было бессмысленно, и Брянов повел солдат вверх по течению под защитой обрыва.

Все громче слышалась стрельба и дикие крики атакующих аскеров. Брянов порою переходил на бег, неотступно думая о том, как поведут себя в бою его люди. На бегу поскользнулся, и тут же кто-то подхватил его сильной рукой.

— Осторожнее, ваше благородие.

Это была мелочь, пустяк, обычная товарищеская услуга, но Брянов почему-то сразу поверил, что все будет хорошо. А бой приближался с каждым шагом, над головою уже слышался свист

пуль, с обрывов доносились дикие крики и лязг оружия. Тут еще неожиданно сверху с шумом скатились двое солдат в изодранных окровавленных рубахах, но без оружия.

— Стой! Кто такие?

— Свои, не видишь? — задыхаясь, прохрипел один из них, но тут же узнал офицера. — Виноват, вашбродь! Раненые мы. Ох, ломит турка, ох, ломит!..

— Откуда?

— Стрелки капитана Фока. Жмет турка, вашбродь!..

— Поднять меня на обрыв!

Десятки солдатских рук тут же подняли его. Он уцепился за корни, нащупал носками сапог расселину и полез наверх. Лез и думал о Фоке и его стрелках, что дрались здесь все то время, пока он бежал под защитой обрыва. Ему хотелось крикнуть, что он рядом, что ведет помощь, но подъем отнимал все силы и на крики уже не оставалось дыхания. Он выбрался наверх, вскочил и в нескольких шагах от себя увидел турок. Они еще не заметили его, Брянов мог бы упасть на землю и подождать, пока поднимутся его солдаты, но тут же в сумраке, в огневых вспышках он увидел Фока: собрав вокруг себя стрелков, капитан отча-

янно отбивался от наседающих аскеров.

— Иду, Фок!.. — все-таки крикнул Брянов.

Никого не дожидаясь, он бросился в свалку. Ударил саблей одного, с выпадом ткнул другого и вдруг почувствовал, как его отрывают от земли. Не ощущая боли, уже поднятый на воздух, уже распятый девятью турецкими штыками, он рубил саблей, пока эти штыки не отбросили его к краю обрыва. И услышал отчаянный крик всегда спокойного фельдфебеля Литовченко:

— Капитана убили! Бей их, мать-перемать!..

Внезапный удар бряновцев во фланг атакующих турок не только спас стрелков, но и позволил им перейти в атаку. Опираясь на солдат, которых вел за собой осатаневший Литовченко, Фок отбросил турок на прежние позиции. И впервые за эту ночь сел на липкую от крови землю, задыхаясь и бережно ощупывая изрезанную штыками левую руку. Он отбивал ею выпады аскеров в бою.

— Ваше благородие…

Фок поднял голову. Перед ним стоял незнакомый фельдфебель.

— Ваше благородие, разрешите обратиться!

— Ты кто?

— Фельдфебель Литовченко, вашбродь. Бряновцы мы.

— Спасибо за помощь, бряновцы.

— Ваше благородие, дозвольте отлучиться. Дозвольте товарища вынести.

— Раненым не помогать. Ты что, фельдфебель, приказа не знаешь? Пусть санитаров ждут, у меня каждый штык на счету.

— Да не раненый он, вашбродь. Он убитый. Дозвольте…

— Тем более. Ступай.

— То командир мой. Их благородие капитан Брянов.

— Брянов убит?.. — Фок тяжело поднялся, опираясь на саблю. — Врешь! Покажи, где… где лежит.

— За мной идите, вашбродь. Он первым на них бросился, нас не дождавшись.

Литовченко подвел Фока к лежавшему у обрыва окровавленному Брянову.

— Эх, волонтер, волонтер… В Сербии уцелел, а тут… — Капитан опустился на колени. — Погоди, дышит, кажется?.. Дышит! Фельдфебель!

— Тут я, ваше благородие, тут. Глядите, и саблю не выпустил. Как прикипела…

— Вот так с саблей и неси его. Дотащишь?

— Дотащу.

— Дождешься на берегу санитаров и первой же партии передашь. И ни на шаг от него, понял?

Если гнать будут, скажешь, что я так приказал. Я, капитан Фок!

И, не оглядываясь, пошел к цепи, непривычно ссутулившись, с каждым шагом ощущая, что болит уже не занемевшее от сабли правое плечо, не изрезанная до костей левая рука, и даже не бок, проткнутый штыком, — болит все его длинное, безмерно усталое тело. А помощь все не шла, и турки собирались в очередную атаку, и до победы было куда дольше, чем до смерти.

3

Артиллерийские понтоны — рубленные из бревен платформы, опиравшиеся на рыбацкие шаланды, — были медлительны и неповоротливы. Отвалив от берега позже, чем понтоны с пехотой, они медленно огибали остров Адду, медленно добирались до основного русла. Уже все береговые склоны опоясались огнем, уже Фок и остаповцы намертво вцепились в свои щедро политые кровью плацдармы, уже погиб Ящинский, уже поручик Григоришвили, охрипнув от команд и слабея от раны, в шестой раз упрямо штурмовал мельницу, а артиллеристы только-только миновали стремнину Дуная.

К этому времени чуть просветлело, турки

обнаружили испятнавшие всю реку понтоны, открыли частую ружейную пальбу, а батареи у Вардина начали пристрелку. Вода кипела от пуль и осколков, но понтон Тюрберта был пока цел.

Подпоручик нервничал. Он был человеком весьма активным, легко ориентировался в боевой обстановке, но ждать не любил и не умел. Понтон его батареи был до отказа забит орудиями, лошадьми, зарядными ящиками, люди стояли впритык друг к другу, и это раздражало. В сотый раз он прикидывал, куда их прибьет, как они втащат на обрыв пушки и куда в первую очередь следует направить неожиданный для турок сокрушительный картечный огонь.

— На руках втащим, Гусев?

— Втащим, ваше благородие.

— Главное — пушки. Лошадей под обрывом оставим, а снаряды — на руках.

— Донесем на руках, ваше благородие. Не беспокой ты себя понапрасну.

— Представляешь, как там Брянову достается?

— Там всем достается, — вздохнул Гусев. — Известное дело, без артиллерии.

— Господи, ну что же так медленно, что же так медленно!..

Тюрберт не знал, что как раз во время этого

разговора Фока потеснили к обрыву, Брянов был поднят на штыки, а удар его солдат спас стрелков от неминуемой гибели. Не знал, что аскеры вскоре снова навалились на Фока и прибившихся к нему бряновцев. Фок то и дело водил своих солдат в штыковые контратаки, уже не ощущая ни времени, ни боли, ни даже усталости. Все слилось в один кошмарный клубок: атака — рукопашная — короткий бросок вперед и снова штыковой бой. Сабля у капитана сломалась, он отбивался ружьем и с ним наперевес водил в бесконечные контрброски своих грязных, окровавленных, нечеловечески усталых солдат.

А Григоришвили все же ворвался на мельницу. Все тот же унтер Малютка во время последнего неудачного штурма успел спрятаться в кустах поблизости, при первой возможности взобрался на крышу и, разметав черепицу, бросился внутрь. И тут же погиб, но на какое-то мгновение отвлек аскеров от окон. Отвлек, и Григоришвили успел с последним отчаянным приступом.

— Пленных не брать! — кричал он, путая грузинские и русские слова. — Бей их, братцы!..

Получил удар прикладом, отлетел к стене и сел на пол, чудом сохранив сознание. Его солдаты добивали турок в тесных и темных помещениях

мельницы. Стоял лязг оружия, хриплая ругань, стоны и вопли раненых. Потом наступила тишина, поручик хотел встать, но не смог, и тут же кто-то присел рядом.

— Живы, вашбродь?

— Что турки?

— Перебили.

— Немедленно ступай на берег. Доложишь генералу Иолшину, что путь свободен, пусть подтягивает артиллерию. А мне воды принеси. Хоть в фуражке…

Останов по-прежнему валялся в дорожной пыли, окончательно обессилев от потери крови и даже перестав ругаться. К нему подползали раненые, которые уже не могли ходить в атаку, но еще могли стрелять. И он отбивался огнем от наседавших турок, а Озеров от них же отбивался штыками. Зажав окурок погасшей сигары, он водил солдат в атаку, сквозь зубы ругаясь по-французски.

А Тюрберт все еще пересекал Дунай…

— Ваше благородие, тонем!..

В сплошном грохоте ружейной пальбы он не расслышал, как пули поразили его понтон, как хлынула вода в тяжелые шаланды. Оглянулся, увидел напряженные лица артиллеристов, ис-

пуганно заметавшихся лошадей, пушку, ствол которой был направлен на тот страшный, огненный берег.

— Все за борт! Все! Отплывай подальше!

Расталкивая людей, бросился к пушке. Присел, снял с запора, наводя на турецкие высоты. И сразу пропала дрожь: он знал, что ему надо делать.

— Все — живо за борт!

Понтон уже кренился, испуганно ржали и бились лошади. Ездовые ломали поручни, отвязывали лошадей и сталкивали их в воду. Матросы покинули тонущие шаланды, и артиллеристы вслед за ними тоже попрыгали в Дунай.

— Ваше благородие! Ваше благородие, Александр Петрович, что ты делаешь! Ведь убьет откатом, ведь не закреплена!..

Гусев, хватая за руки, тащил его к борту. Тюрберт вырвался, впервые в жизни ударил подчиненного.

— Исполнять приказ!

— Саша! — Забыв о субординации, забыв о сословном неравенстве, забыв обо всем и помня только, что перед ним — самый дорогой человек, Гусев упал на колени. — Сашка, опомнись!..

— Вон! — Тюрберт схватился за кобуру. — Застрелю!..

— Стреляй, — покорно согласился Гусев. — Лучше в меня, чем из пушки. Смерть это верная…

Тюрберт сунул револьвер на место, отер мокрое то ли от брызг, то ли от слез лицо.

— Там люди гибнут, Гусев. Они нас ждут, нас, артиллеристов, только мы помочь можем. Там… Там — Брянов. Что же прикажешь, без надежды его оставить?..

Гусев поднялся с колен. Шаланды наполнились водой, и понтон на какое-то время выровнялся. Настил заливала вода.

— Прощай, Александр Петрович. Прощай, друг ты мой дорогой…

Гусев низко поклонился Тюрберту и, перекрестившись, бросился за борт.

Гвардии подпоручик Тюрберт уже ничего не видел и не слышал. Он стоял в воде на коленях, тщательно наводя орудие. Ориентиров не было, он наводил по наитию, но боевое вдохновение его было сейчас великим, прозорливым и прекрасным. Все накопленное им мастерство, весь его волонтерский опыт в Сербии, вся любовь и вся ненависть сошлись сейчас в его прицеле.

— Держись, Брянов, — шептал он, выравнивая крен. — Держись, друг мой. Держись… И живи!..

И дернул спуск. Рявкнул единственный с рус-

ской стороны пушечный выстрел, и понтон разнесло на куски. Обломки его на миг поднялись в воздух и тут же канули в пучину.

А единственный картечный снаряд разорвался в цепи атакующих турок. Ликующий крик вырвался из пересохших глоток стрелков капитана Фока. В едином порыве они смяли растерявшихся аскеров, вырвались из смертного кольца и далеко отбросили противника. Правый фланг их примыкал теперь к солдатам Григоришвили, а те уже пробились к Остапову. Вместо трех разрозненных береговых участков русские к исходу третьего часа сумели создать общий плацдарм и организовать единую систему обороны.

Рассвело, и русская береговая артиллерия открыла частый огонь по всей линии турецких позиций. Главное было сделано: турки были отброшены от берега. Можно было начинать систематическую переправу войск, наращивая силы для удара.

Уже ушли вторые эшелоны десанта, уже грузились в понтоны санитары. Уже можно было передохнуть: Остапова подтащили к берегу, кое-как перевязали перебитую руку полковнику Озерову, а Григоришвили вдосталь напился воды из солдатского кепи. И капитан Фок наконец-таки

обрел возможность лечь и вытянуться. Его бил озноб, и, хотя он никому не говорил об этом, все его стрелки упорно искали шинель и вскоре принесли. Турецкую, окровавленную и короткую: Фок с трудом завернулся в нее.

— Пора и нам, — сказал Драгомиров Скобелеву. — Надо посмотреть на месте, выслушать соображения Иолшина и, пожалуй, приостановить на время продвижение вглубь.

— Разрешите лично обойти позиции на том берегу, Михаил Иванович?

— Видимо, придется. — Драгомиров обернулся к адъютанту: — Доложите генералу Радецкому, что я счел необходимым переправиться на тот берег. Со мною чины штаба и генерал Скобелев-второй. Прошу на катер, Михаил Дмитриевич.

До катера генералы дойти не успели. Юный подпоручик догнал их у причала:

— Ваше превосходительство, артиллерист из подбитого понтона на берег выбрался. Говорит, будто тот картечный выстрел успел произвести его командир…

Мокрый, еще не отдышавшийся Гусев сидел на песке в окружении солдат. Увидев генералов, с трудом поднялся, но, зарыдав вдруг, упал на колени.

— Ваше высокопревосходительство, велите все, все ему отдать!.. — Он сорвал с груди собственные солдатские медали и, стоя на коленях, протягивал их Драгомирову. — Все ему отдаю, командиру моему Тюрберту Александру Петровичу!

— Как фамилия? — тихо спросил Драгомиров.

— Тюрберт, ваше…

— Про Тюрберта знаю и доложу. Твоя как фамилия?

— Унтер-офицер Гусев.

— Надень свои кресты, Гусев. А Тюрберта мы не забудем.

Скобелев шагнул вперед, поднял Гусева с колен, поцеловал в мокрое от слез лицо.

— Спасибо за преданность, солдат! Ранен?

— Никак нет. Велите туда меня. Туда.

— Пойдешь туда. Переодеть, накормить, дать водки, отправить с артиллеристами.

Уже на катере Драгомиров сказал:

— Вот на таких, как Тюрберт и Гусев, вся армия держится. Сам погибай, а товарища выручи. Непременно в реляции о сем отмечу. С дружбой идем, а не с гневом. С дружбой!..

4

Генерал Драгомиров со штабом и самозваным ординарцем генералом Скобелевым добрался до берега без особых помех. Иолшин усиленно пробивал дорогу для артиллерии, бросив на это горстку саперов и всех своих офицеров. Дело было нужным, но, судя по рапорту, обстановку Иолшин знал плохо.

— Я распорядился, чтобы командиры отправили посыльных, — поспешно добавил он.

Драгомиров промолчал, понимая, что Иолшин упустил из рук командование не по своей вине, но скрыл неудовольствие. Хотел сказать помягче, но Скобелев ничего скрывать не умел.

— Дорогу строите? — резко спросил он. — Похвально. Только от посыльных чуда не ждите: тот, кто пришлет их, три часа в бою был. Это вам не под обрывом сидеть.

— Извините, генерал, не знаю, в какой должности вы здесь пребываете, но я просил бы вас… — покраснев, раздельно начал Иолшин, но Драгомиров мягко остановил его:

— Потом, господа. Главное — обстановка.

— Разрешите исполнять должность? — громко, с вызовом спросил Скобелев.

— От посыльных и вправду толку мало. — Михаил Иванович вздохнул, с неудовольствием покачав головой. — А вы, кажется, обещали бешмет надеть?

— Прятать русский мундир оснований не имею, — проворчал Скобелев. — Ни под бешметом, ни под обрывом.

И, поклонившись, быстро пошел берегом к левому флангу. К отряду капитана Фока.

В самом устье Текир-Дере убитых было немного. Еще издали генерал опытным взглядом оценил крутизну скатов и подивился, что потери невелики. Участок располагал на редкость удобным для обороны рельефом, но турки скверно использовали это преимущество. «Тут, кажется, повезло», — отметил про себя Скобелев и стал подниматься на обрыв там, где поднимались солдаты. И, пока лез, думал, что повезло удивительно: штурмовать такую крутизну было все едино, что крепостную стену. А когда поднялся и внимательно огляделся, понял, что малое число убитых под обрывом не следствие тактического недомыслия турок, а результат быстроты, решительности и отчаянной отваги русских солдат и офицеров. Генерал стоял сейчас на том месте, которое Фок удерживал в течение трех часов. Сюда

отжимали его турки, и отсюда, с края обрыва, он вновь и вновь бросался вперед, шаг за шагом расчищая путь. Каждый аршин здесь стоил крови, и трупы громоздились друг на друге, покрывая эти аршины. Генерал перешагивал через мертвых, повсюду слыша проклятия и стоны умирающих, и земля, пропитанная кровью, тяжко хлюпала под его сапогами. Скобелева трудно было удивить полем боя — он сам ходил в штыковые и водил за собою казачьи лавы, — но то, что он видел сейчас, было за гранью человеческих возможностей. Он шел и считал убитых, и по беглому подсчету получалось, что на каждый русский штык тут приходилось свыше двух десятков турецких. «Как же вы устояли? — с болью думал он. — Ах, ребята, ребята, досталась вам сегодня работка, какой и врагу не пожелаешь…»

К тому времени турки, перестроившись, вновь открыли огонь со всех высот, но к более активным действиям пока не переходили. Пули свистели вокруг генерала, вонзаясь в уже мертвых и добивая еще куда-то ползущих, но Скобелев шел, не убыстряя шага и не пригибаясь. Только смотрел теперь не на поле боя, а на высоты, по плотности огня определяя линию вражеского фронта, расположение командных пунктов и даже стыки

между отдельными частями.

Так он вышел к стрелкам капитана Фока. Левый фланг их упирался в глубокую промоину, правый смыкался с расселиной Текир-Дере, и генерал с удовольствием отметил продуманную тактическую безупречность позиции.

— Молодец, — сказал он Фоку. — А за ночь — вдвойне молодец. Я видел твою работу.

— Отбиваться буду огнем, — с непонятным ожесточением объявил капитан. — Ставлю о том в известность, так что насчет экономии патронов — извините.

— Есть кому сдать командование участком? — помолчав, спросил генерал.

Фок отрицательно покачал головой. Обычно Скобелев обращался к офицерам запросто, на «ты», любил такое обращение, но сейчас чувствовал некоторое неудобство.

— Временно поручите унтеру — и в лазарет.

Фок вновь отрицательно покачал головой. Он стоял перед генералом, расставив ноги, чтобы не упасть. Левую руку ему кое-как перевязали солдаты, но от потери крови и нечеловеческой усталости его до сей поры бил озноб.

— В лазарет нужно всех. А всех нельзя, значит, будем ждать смены.

— Всех нельзя, а вам надо.

— А они что, механизмы? — Фок насильственно усмехнулся. — Извините, ваше превосходительство, мы тут устали немного. Хорошо бы щелочи моим механизмам, при оружии состоящим.

— Чего?

— Водки, ваше превосходительство, водки. Либо всем — полную смену, либо — двойную винную порцию.

— Хлебните. — Скобелев достал из кармана фляжку.

Фок облизнул пересохшие губы.

— Благодарю, ваше превосходительство, только на всех нас вашего коньяку не хватит.

— А вы — солдат, капитан, — тихо сказал Скобелев. — Первый резерв вам на смену отправлю.

— Не торопитесь обещать. — Фок снова через силу усмехнулся. — Вы еще у Григоришвили не были, Остапова не видали.

— Вы правы, — сказал генерал. — Надеюсь на встречу в будущем. Не провожайте.

— Благодарю, — буркнул Фок и, не дожидаясь ухода генерала, сел на землю.

Скобелев шел вдоль позиций, с огромным уважением думая о железном упорстве стрелков и о суровой, несгибаемой воле их командира. Стало

совсем светло, пули то и дело щелкали рядом, но он не обращал на них внимания. А вскоре перестал думать и о Фоке, часто останавливаясь и внимательно вглядываясь в очертания занятых турками высот. Там уже приметили генеральскую фигуру в белом, уже целились в нее: Скобелев вскоре почувствовал это по густоте обстрела. Сердце щемило от близости пролетавших пуль, но он давно уже строго-настрого приказал себе не кланяться им. Усталые стрелки с удивлением провожали взглядами его высокую, не сгибающуюся под огнем фигуру, и пожилой унтер сказал:

— Нет, братцы, не видать этому генералу ратной смерти. Заговоренный он, ей-богу, заговоренный!..

И перекрестился.

Еще на спуске в низину Текир-Дере Скобелев заметил пожар: горела мельница, с таким трудом захваченная отрядом Григоришвили. Сам поручик сидел под кустами позади своей жидкой, растянутой цепи. Перед ним стояло конское ведро, к которому он то и дело припадал, как лошадь, сквозь зубы втягивая воду. За ночь на ввалившихся щеках его выросла черная щетина, и поручик выглядел сейчас сущим абреком. При

виде генерала он попытался встать, но Скобелев остановил его и сел рядом.

— Горишь? — спросил он, имея в виду полыхавшее жаром лицо офицера.

— Турок недобитый поджег! — с гневом сказал Григоришвили. — Сам поджег, сам и сгорел, дурной человек!

— Кто тебя заменить может?

— Зачем заменять? Что на берегу лежать, что здесь лежать. Унтер хороший был, ваше превосходительство, очень хороший. Жаль, фамилию не спросил.

— Кто левее тебя?

— Пластуны и гвардейцы — видите виноградники? А дальше — стрелки капитана Остапова.

— До резервов продержишься?

— Я всю ночь не стрелял, ваше превосходительство, все штыком да штыком. Теперь огнем велел, сил мало.

— Правильно, — сказал Скобелев, вставая. — Ну, держись, поручик. При первой возможности выведем из боя.

— Брянов погиб, Ящинский погиб, а мы с Фоком живы, — словно не слыша генерала, сказал Григоришвили. — Перед боем пунш варили. А унтера фамилию не спросил. Почему не спросил,

ослиная голова?

Он сокрушенно помотал перевязанной лоскутом солдатской рубахи головой и наклонился к ведру.

— Дать сопровождающих, ваше превосходительство? — гулко спросил он оттуда, цедя сквозь зубы мутную воду. — У меня двое целехоньких есть. Ни разу за всю ночь не ранены, вот чудо-то, ваше превосходительство!

Скобелев от сопровождения отказался и, бегло осмотрев удобные позиции Григоришвили, вышел на стык его отряда с пластунами. Поговорив с кубанцами, двинулся дальше, но вскоре остановился, вглядываясь и вслушиваясь.

Чуть впереди пластунских позиций в глубь вражеской территории уходила широкая промоина. Турок нигде не было видно, и огнем эту промоину они не прикрывали. Подумав, генерал тихо спустился и, зажав в руке револьвер, медленно двинулся по дну глубокого каньона. Его вела не только присущая ему озорная любознательность. Этот глухой овраг с почти отвесными стенами шел от берега в глубину, разрезая турецкую оборону, и, судя по тишине и безлюдью, не был должным образом оценен противником. Смутная идея уже шевельнулась в голове, но для

ее осуществления надо было точно знать, куда приведет каньон и не сделают ли турки выход из него. Скобелев сознательно рисковал, мельком подумав, что должен во что бы то ни стало успеть застрелиться, если нарвется на аскеров.

Каньон тянулся версты две, но ни турок, ни башибузуков не было видно. Затем промоина стала мельчать, разветвляться, явно приближаясь к истоку. Удвоив осторожность, Скобелев продолжал идти, а когда дошел до конца, вполз на ближайшую возвышенность, укрылся в кустах и огляделся.

Саженях в трехстах впереди проходила дорога. По ней спешно двигались турецкие разрозненные части, то и дело скакали всадники, и Скобелев понял, что это — рокада*, опираясь на которую противник манипулирует своими резервами в непосредственной близости от позиций. Он тут же припомнил карту и догадался, что дорога эта ведет на Тырново и что именно по ней могут двинуться из глубины основные турецкие подкрепления. Идея, которая смутно представлялась ему как задача тактическая, приобрела вдруг стратегическое значение: теперь все решала быстрота.

Он скатился в обрыв и, уже ни о чем не забо-

тясь, побежал назад. Пот застилал глаза, сердце колотило в ребра, не хватало воздуха, но он, уже внутренне ликуя, не давал себе передышки. Он уже понял это сражение, он нащупал самое уязвимое место противника, он уже знал, как надо действовать, чтобы поставить последнюю точку в первом бою на правой стороне Дуная.

Возле своих позиций его чуть не обстреляли пластуны. Наскоро объяснив есаулу, что тому необходимо быстро занять расселину, генерал напрямик через Текир-Дере вышел к Драгомирову.

— Безупречно, — сказал Михаил Иванович, когда Скобелев торопливо пересказал ему свою идею. — Я прикажу Петрушевскому демонстрировать на Свиштов, пока вы не закончите марш и не перережете тырновскую дорогу. Собирайте бригаду Цвецинского и — с богом! Только… — Драгомиров озабоченно помолчал. — Выдержат ли фланги возможную атаку турок? Сколько там рот?

— Там давно нет никаких рот, Михаил Иванович, — сказал Скобелев. — Там раненые солдаты под командованием раненых офицеров.

— Боевые артели, — с академическим спокойствием отметил Драгомиров. — Когда солдат точно знает свою задачу, он будет выполнять ее

до конца под любым началом. На наших глазах рождается новая армия, Михаил Дмитриевич, основанная не на слепом подчинении, а на разумных действиях.

— Не знаю, как там насчет теории, а на практике все решает мужество, — сказал Скобелев. — В серых шинелишках. А мы до сей поры имен их выучить не можем.

И пошел на берег собирать прибывавшую бригаду.

5

С утра турки возобновили отчаянные попытки опрокинуть русских в Дунай. Свежие резервы прямо с марша были брошены в бой против все тех же стрелков капитана Фока. Стрелки выдержали натиск: помогла артиллерия с левого берега, а Фок вынес еще одно испытание духа, ни разу не заикнувшись о помощи.

Убедившись, что в этом месте русские стоят насмерть, турки перенесли атаку в центр, в долину Текир-Дере, но отряд Григоришвили не дрогнул даже тогда, когда шальная пуля добила дважды раненного поручика. Командование принял казачий есаул, бросив остатки своих пластунов во фланг атакующим, а в одиннадцать бригада

генерала Петрушевского начала наступление на свиштовские высоты.

Пока шла эта атака, Скобелев быстрым маршем вел стрелков Цвецинского через каньон к дороге на Тырново. Турки поздно заметили этот маневр, и оборона Свиштова была поспешно свернута. Противник отступил, и около трех часов пополудни русские части вошли в первый болгарский город.

Отряд капитана Фока вывели из боя последним. Все его солдаты были либо ранены, либо контужены и молча сидели на берегу возле своего командира в ожидании переправы. Здесь же санитары, переправившиеся со вторым эшелоном, и перевязывали их, а проходившие мимо свежие части замолкали, и офицеры вскидывали ладони к фуражкам, отдавая честь свершившим невозможное. Первая еда и первая винная порция, доставленные с того берега, были отданы им. Они молча выпили свои чарки и устало жевали хлеб.

— Сидите, все сидите! — поспешно сказал Драгомиров, подходя. — Земно кланяюсь вам, герои, и благодарю от всего сердца. Вашего подвига никогда не забудет Россия.

— Да, — вздохнул Фок. — А из всех пешек, кажется, один я вышел в дамки.

— Что вы сказали, капитан?

— Извините, ваше превосходительство, галлюцинирую. Разговариваю с теми, кого уже нет.

Ударами колонн Петрушевского и Скобелева русские не только освободили первый город на Болгарской земле, но и перерезали важную дорогу на Тырново, отбросив турок далеко в сторону Рущука. Место переправы было теперь надежно защищено от всех военных случайностей, оставалось только навести мосты да перебрасывать войска. Ценою восьмисот жизней Россия за одну ночь уверенно форсировала самую крупную реку Европы.

А в галлюцинациях капитан Фок оказался пророком. К вечеру того же дня Остапов умер от потери крови, а через сутки скончался и капитан Брянов. Из всех офицеров, которые пили пунш перед кровавой ночью переправы, в живых остался один лишь командир стрелковой роты капитан Фок.

Через сорок лет он приехал туда, где прошли самые страшные и самые гордые часы его жизни. Жители Свиштова до сих пор вспоминают о седом высоком старике, который каждое утро непременно ходил в устье Текир-Дере, а на обратном пути долго молча сидел на могиле капитана

Брянова. «Иду, Фок!..»

Первой крупной победе радовались бурно, шумно и восторженно. Кричали «ура!», звенели бокалами, воодушевленно пели гимн, устраивали парады и шествия, и в церквах торжественная «Вечная память» заглушалась ликующим «Многая лета!».

И раздавали награды. По спискам и в розницу, по встречам и по памяти, за дело и по случаю. По случаю давали, по случаю и забывали: поручик Григоришвили так ничего и не получил, а великий князь Николай Николаевич младший, вся доблесть которого заключалась в том, что он не поспал ночь, присутствуя при погрузке первого эшелона, нацепил Георгиевский крест. Иолшину тоже дали Георгия, как и всем командирам бригад, но Скобелева забыли. Зная его мальчишескую обидчивость, генерал Драгомиров лично посетил героя первого успеха русского оружия, дабы по возможности подсластить царскую пилюлю. Однако, к его удивлению, утешать никого не пришлось. Чрезвычайно довольный личным вкладом в победу, Скобелев воспринял романовскую забывчивость с полнейшим равнодушием:

— Да бог с ними, Михаил Иванович. Царь забыть может — Россия бы нас не забыла...

6

15 июня закончились бои на правом берегу, и сразу же дружно застучали топоры. Отбросив турок от Дуная, русская армия спешно наводила мосты. К вечеру 19 июня была переправлена артиллерия, обозы и санитарные части. А в ночь на 20-е понтонные мосты закачались на волнах под дробный перестук копыт: в Болгарию нескончаемым потоком вливалась основная ударная мощь России — ее знаменитые кавалерийские полки.

Долго, вплоть до Второй мировой войны, военные академии мира изучали опыт этой переправы. Анализировали, раскладывали по полочкам, учитывали все за и против, взвешивали силы сторон, а концы не сходились с концами. По всем канонам военного искусства турки должны были сбросить в реку первый эшелон. Должны были — и не сбросили: Россия опять воевала не по правилам.

Не по правилам воевали русский дворянин Брянов и потомок шведов Тюрберт, украинец Ящинский и немец Фок, поляк Непокойчицкий и грузин Григоришвили и сотни других — русских и нерусских — истинных сынов России. Созданный Петром Великим русский офицерский

корпус был уникальным по своему многонациональному составу. В этом корпусе, спаянном дружбой, обостренным чувством долга и кастовой честью, никто не интересовался, откуда родом офицер, — интересовались его мужеством и отвагой, доблестью и благородством. И солдаты шли за ним в любой огонь, потому что огонь врага уравнивал солдата и офицера, создавая тот необычайный сплав, который никогда не могли понять иноземные специалисты.

Не принимая боя, турки откатывались за перевалы. Война начинала представляться веселой прогулкой, и, казалось, ничего уже не может быть страшнее ночного боя в пересохшем устье Текир-Дере. Об этом часто говорили в армии. Вспоминали подробности, передавали слухи, сочиняли легенды. Особенно когда дошла весть о похоронах гвардии подпоручика Тюрберта.

Его тело прибило к берегу на левой, румынской стороне: он так и не переправился через Дунай. Отпевали гвардейского артиллериста в Зимнице, в маленькой церкви, окна которой были распахнуты по случаю жары, и торжественные звуки «Вечной памяти» донеслись до царской резиденции.

— Кого отпевают?

— Гвардии подпоручика Тюрберта, Ваше Величество.

— Артиллерист? Помню, помню, Драгомиров докладывал…

В церкви было мало народу: уцелевшие друзья погибшего да унтер-офицер Гусев, стоявший в ногах командира. Служба шла своим чередом, когда вдруг вошел император. Свита забила церковь до отказа, а Александр, сделав знак поперхнувшемуся священнику продолжать отпевание, прошел к гробу и стал в головах.

— Странно все же, — сказал после похорон поручик Ильин. — Чтоб государь почтил своим присутствием отпевание не члена августейшей фамилии…

— Почтил! — с раздражением перебил полковник Озеров: он сбежал из госпиталя на похороны и маялся от боли в перебитой ятаганом руке. — Государь не Тюрберта почтил, а подвиг его. Высшая доблесть воина — сам сдохни, а товарища выручи…

Начиналось жаркое болгарское лето, и желтая пыль дорог намертво прикипала к пропотевшим солдатским рубахам. А турок не было. Удивлялись солдаты:

— Ну и война, братцы! Будто гуляем.

— Сбежал турка, видать.

— Те его напугали. Те, что в ночь дрались, нам путь пробивали. Вечная память им, братцы!

— Вечная память… — вздыхали солдаты.

Так, по сути, без боев, летучий отряд генерала Гурко взял с ходу Тырново, перевалил Балканы по Шипкинскому перевалу и ворвался в Долину Роз, а западный отряд генерала Криденера скоротечным штурмом овладел крепостью Никополь. Турки легко сдавали города и отступали, откатываясь на юг. Вот-вот должна была закончиться эта удивительная война, и русское интендантство решительно вычеркнуло из списка поставок зимнее обмундирование для действующей армии. Все ждали скорой победы и грома колоколов.

А пока готовились к победе, турецкий дивизионный генерал Осман-Нури-паша*, пользуясь полной бездеятельностью генерала Криденера, перебросил шестьдесят таборов своей отборной пехоты в русский тыл и занял никому доселе не известный городишко Плевну. А вскоре после этого в общем-то почти незамеченного события из Черногории на пароходах, любезно предоставленных англичанами, другой паша, Сулейман*, перевез в Болгарию свою сирийскую армию. И две эти турецкие армии одновременно накинули

петли на широко разбросанные по расходящимся направлениям русские войска. Узлы этих петель пришлись на город Плевну и Шипкинский горный перевал.

Все еще было впереди. И испепеляющий жар плевненских штурмов, и двадцатиградусные морозы Шипки. Впереди было боевое крещение болгарского ополчения под Старой Загорой, донесения корреспондентов: «На Шипке все спокойно», превратившиеся в поговорку, и звездный час генерала Скобелева, ставшего национальным героем Болгарии.

Все еще было впереди.

Глава третья

1

Утром 26 июня полусотня донцов во главе с есаулом Афанасьевым с гиканьем ворвалась в маленький, со всех сторон стиснутый высотами городишко Плевну. Турки бежали без выстрела, ликующие болгары окружили казаков, в церквах ударили в чугунные била (колокола турки вешать запрещали). Выпив густой, как кровь, местной гымзы, есаул дал казачкам пошуровать

по пустым турецким лавкам и еще засветло покинул гостеприимный город.

— Было три калеки с половиной, — с нарочитой донской грубоватостью доложил есаул командиру Кавказской бригады полковнику Тутолмину. — Разогнал, братушки рады-радехоньки, чего зря сидеть? За сиденье крестов не дают.

В Западном отряде, куда входила бригада Тутолмина, крестами позвякивали с особой отчетливостью: генерал Криденер считал награды основной целью боя. Он сызмальства не верил ни в талант, ни в призвание, ни в озарение, уповая лишь на личный опыт и, следовательно, на возраст, поскольку арифметика была простой: чем дольше живешь, тем больше видишь. А в арифметику генерал верил, и для него дважды два всегда равнялось четырем. Западный отряд находился ближе к Софии, а посему именно он, барон Криденер, и должен был стать основной фигурой в этой заразительно удачливой войне. Пусть себе Гурко рвется к перевалам, пусть отвлекает на себя противника: в точно рассчитанное время Криденер неожиданно ринется на Софию во главе своего отряда. Идея была проста и заманчиво доступна, но мешал Никополь, повисший

на левом фланге.

— Штурмовать эту развалюху? — с недоумением спросил начальник штаба генерал Шнитников.

Но Криденер не терпел возражений, коли решение им уже было принято. Зная его упрямство, Шнитников спорить не стал, тем паче, что взятие турецкой крепости обещало ордена и одобрение свыше. Лишь прикомандированный к Западному отряду представитель ставки нервно сопротивлялся:

— Осмелюсь напомнить, Николай Павлович, что вы получили приказ сдерживать противника. Сдерживать, не давая ему возможности прорваться к нашим переправам на Дунае.

— Наступление — лучший способ держать неприятеля в напряжении, генерал. Не учите пирожника печь пироги.

— Однако, Николай Павлович, не следует при этом…

— Вы прибыли за орденом? После падения Никополя я предоставлю вам такую возможность. Но в самом деле вы не будете принимать участия, ибо генерал, не верящий в целесообразность операции, во сто крат опаснее врага.

Сам Никополь штурмовать не пришлось:

турецкий гарнизон капитулировал после непродолжительной артиллерийской бомбардировки. Представитель ставки в сражении не участвовал, переживая это как личное оскорбление. Пока Криденер торжествовал победу, писал реляции и приводил в порядок войска, он одному ему ведомыми путями узнал то, чего так опасался.

— Турки перебрасывают войска в наш тыл, Николай Павлович. Я настоятельно прошу незамедлительно занять Плевну.

Отправить часть войск в Плевну означало для Криденера ослабить собственный отряд. Пойти на это он не мог: ему все еще мерещился победоносный марш на Софию.

— Я обещал вам, генерал, предоставить возможность отличиться. Так будьте добры сопроводить в Главную квартиру коменданта Никополя Гассана-пашу.

Выведенный из равновесия упрямством Криденера представитель ставки загнал коней на пути к Главной квартире. Конвойные казаки угрюмо ругали сумасшедшего генерала, сам он еле держался на ногах, и только комендант Никополя весело скалил зубы в черную бороду. Эта улыбка неприятно поразила императора; он велел увести пленного и стал расспрашивать о подробностях

взятия Никополя.

— Ваше Величество, это авантюра. Из Виддина в наш тыл перебрасываются свежие таборы. Знаю об этом достоверно.

— Ты, видимо, устал, — с неудовольствием сказал уже начавший привыкать к победам Александр II. — Это блестящая победа нашего оружия.

— Я умоляю вас, Ваше Величество, умоляю. Велите немедля занять Плевну.

— Отдохни и выезжай в Россию. Здесь ты мне больше не понадобишься.

2

Генерал за ненадобностью отбыл в Россию, а барон Криденер получил орден Святого Георгия третьей степени. Однако вместе с поздравлениями от Непокойчицкого пришло и телеграфное предписание серьезно озаботиться городишком Плевной. Это еще не звучало приказом, но Криденер умел читать между строк и скрепя сердце выслал к досадной плевненской занозе отряд генерал-лейтенанта Шильдер-Шульднера числом в семь тысяч штыков и чуть более полутора тысяч сабель при сорока шести орудиях.

— Стереть плевок сей с лица земли.

Отряд шел, как на усмирение, не утруждая себя

ни разведкой, ни дозорами. Уже на подходе к городишку Плевне, о гарнизоне которого командир отряда имел весьма смутное представление, в деревеньке Буковлек навстречу русским вышел пожилой болгарин. Закричал, крестом раскинув руки:

— Турки в Плевне, братушки! Много пашей, много таборов, много черкесов!

— Вот мы и пришли их бить, — сказал командир архангелогородцев полковник Розенбом. — Скажи братушкам, пусть завтра в Плевну побольше мяса везут: победу праздновать будем.

Мяса в Плевне хватило: в семь утра Розенбом, ворвавшийся-таки во главе своих солдат в Плевну, был убит у первых домов. Но это случилось на шестнадцать часов позднее встречи с болгарином, а тогда и турок-то никаких еще не было видно, и усталость уже покачивала солдат. И потому на предостережение никто не обратил внимания. Передовые части миновали деревушку Буковлек, а когда стали спускаться в низину, с Опанецких высот громыхнул первый залп.

Костромской полк тоже обстреляли, но осторожный его командир полковник Клейнгауз выслал вперед кубанцев. Привычные к таким делам казаки тенями скользнули по балочкам и

через полтора часа доложили, что за высотами расположен большой турецкий лагерь. Полковник прикрылся разъездами, приказал отдыхать без костров, отправил донесение по команде и стал терпеливо дожидаться рассвета, завернувшись в шинель подобно своим солдатам. Однако вздремнуть ему не удалось: прискакал командир Донского полка Нагибин. Принимать гостя было не ко времени; выпили коньяку, а затем Нагибин взял Клейнгауза под руку и повел в сторону от солдатского храпа и офицерского говора. Сказал приглушенно:

— Игнатий Михайлович, прощения прошу, что от дремоты оторвал. Мои казаки самостоятельно поиск произвели. По их донесениям противника — колонн восемь, если не больше. С полковыми котлами, артиллерией и бунчуками*.

— Моих, Нагибин, добавьте, что кубанцы обнаружили, — озабоченно вздохнул Клейнгауз.

— А мы-то считали, что в Плевне от силы четыре табора. А тут получается…

— Получается, что нужно уходить. Уходить немедля, безо всякого боя.

— Затем и прискакал, Игнатий Михайлович. Надо бы Шильдеру доложить. Ну, это на себя возьму. А вы Криденера уведомите, что Плевна

не плевок, как он говорил, а — орешек.

Отправить докладные записки полковники не успели: от Шильдер-Шульднера прибыл нарочный с приказом атаковать Плевну концентрическими ударами. Нагибин, нахлестывая коня, помчался к себе, а Клейнгауз, сыграв тревогу, приказал оставить ранцы, шинели и обоз и бегом поспешать туда, где полагалось быть полку к началу «концентрического наступления».

Время рассчитали из рук вон плохо: рокот барабанов, играющих атаку, раздался лишь в половине шестого. Офицеры вырвали из ножен сабли, солдаты привычно сбросили на левые руки полированные ложа винтовок, и полки без выстрела пошли в атаку. Шли молча, смыкая шеренги над убитыми и ранеными, копя силу и ярость. И взорвались вдруг хриплым, одинаково страшным как для просвещенной Европы, так и для дикой Азии знаменитым русским «ура!».

Костромичам предстояло пройти длинным, пологим скатом к Гривицким высотам, и они прошли, усеяв поле белыми рубахами павших. Здесь перед полком открылись три линии окопов; перестраиваться не было времени, и полк бросился в атаку с ходу. Две линии костромичи взломали единым порывом, когда смертельно

раненным пал командир полка. А впереди била в упор третья линия турок, и полк затоптался, теряя порыв и время.

Сражение, вошедшее в историю под названием Первой Плевны, было проиграно изначально, еще до сигнала атаки, еще в голове командира. Шильдер-Шульднер потерял ранеными и убитыми более трети своего отряда, и «Вечная память» надолго приглушила звонкую медь полковых оркестров.

Торжествовали в Плевне, с восточной пышностью поздравляя Османа-Нури-пашу. Но Осман-паша не спешил улыбаться.

— Если среди убитых в белых рубахах вы найдете хотя бы одного сраженного в спину, я возрадуюсь вместе с вами. Укрепляйте высоты. День и ночь укрепляйте высоты и зарывайтесь поглубже. Русских может сдержать только земля.

Глава четвертая

1

Известие о жестоком разгроме Шильдер-Шульднера было для барона Криденера не только болезненным уколом самолюбию, но и оконча-

тельным крушением всех стратегических замыслов. Тут уж стало не до броска на Софию, когда вдруг появившиеся в его тылу турецкие войска, воодушевленные победой, могли ринуться всей мощью на Свиштов, сокрушить прикрывавший его Воронежский полк и напрочь отрезать от баз снабжения, резервов и самой родной державы далеко прорвавшиеся в Болгарию разбросанные по расходящимся направлениям русские войска.

— Корреспондентов вон, — объявил Криденер ранее всех военных распоряжений.

— Это не совсем удобно, — осторожно начал Шнитников. — Они допущены разрешением…

— Всех — вон! — жестко повторил барон.

Несмотря на высылку, корреспонденты узнали все, что хотели узнать. Русская пресса поведала о поражении сдержанно, больше упирая на героизм солдат и офицеров, но английская, не говоря уже о турецкой, живописала разгром с ехидством, а какая-то из второстепенных немецких газеток из номера в номер начала печатать неведомо кому принадлежащие записки о походе Наполеона в Россию. При этом англичане утверждали, что турок было вдвое меньше, чем русских, русская печать — что на каждый русский штык приходилось пять турецких, а турецкая загадочно

помалкивала, чаще упоминая о воле Аллаха, чем о соотношении сторон.

Узнав о конфузе под Плевной, Николай Николаевич минут пять топал ногами и ругался, как пьяный ломовой извозчик. Непокойчицкий невозмутимо ждал, пока он угомонится, а генерал Левицкий — в последнее время великий князь стал в пику старику все чаще привлекать его помощника — нервно суетился, перекладывая бумаги и все время пытаясь что-то сказать.

— Что он топчется? — заорал главнокомандующий. — Что он тут топчется?

— Осмелюсь обратить внимание Вашего Высочества на цифры. — Рука Левицкого чуть дрожала, когда он протянул бумагу. — У турок не менее пятидесяти тысяч, тогда как в отряде Шильдер-Шульднера по донесению барона Криденера…

— Врет Шульднер, и Криденер твой врет! — Великий князь бешено выкатил белесые глаза. — Без освещения местности прут, без разведки атакуют, все на авось, на авось! — Он вдруг повернулся к Непокойчицкому: — Что молчишь? На сколько соврал Криденер?

— Возможно, что Николай Павлович и не соврал, — задумчиво сказал Артур Адамович. —

Осман-паша собирает в Плевне всех, кого может, да и по Софийскому шоссе к нему все время идут подкрепления. Коли все принять в расчет, то можно допустить, что у Османа-паши около сорока таборов низама*, несколько эскадронов сувари* и не поддающееся учету число черкесов и башибузуков.

— А пушек? Пушек сколько?

— Вероятно, около шестидесяти. Следует иметь в виду, Ваше Высочество, что неприятель занимает весьма выгодную позицию, которую беспрестанно укрепляет.

Тихий голос Непокойчицкого всегда действовал на великого князя успокаивающе. Посопев еще немного, Николай Николаевич наконец-таки сел к столу и потребовал карту. Пока Непокойчицкий неторопливо разворачивал ее, Левицкий счел возможным сказать то, о чем его лично просил Криденер.

— Генерал Криденер умоляет Ваше Высочество доверить ему полный разгром Османа-паши. Он дал слово чести смести эту сволочь с лица земли.

Артур Адамович недовольно поморщился: он очень не любил ругани, громких слов и генеральской божбы. Он любил точно обозначенные на картах войсковые соединения и безукоризненное

исполнение приказов. Великий князь главнокомандующий заметил его неудовольствие и вдруг повеселел:

— Коли сметет, так вопрос лишь в помощи да быстроте. Кого можем подчинить Криденеру для уничтожения этого Османки?

— На подходе корпус князя Шаховского, Ваше Высочество, — начал докладывать Левицкий.

— Отряд полковника Бакланова вышиблен турками из Ловчи, — вдруг прервал Непокойчицкий.

— Ну и что? Где Ловча, а где Плевна…

— Рядом, — весомо сказал Артур Адамович и, оттеснив Левицкого, показал на карте опасную близость этих городов. — Если Осман-паша соединится с турками в Ловче…

— Так не дайте ему соединиться! — резко перебил великий князь. — Перебросьте туда кавалерию.

— Туда можно направить Кавказскую бригаду Тутолмина, — сказал Непокойчицкий. — И поставить перед Ловче-Плевненским отрядом активную задачу.

Главнокомандующий молчал, задумчиво барабаня пальцами по карте. Потом спросил неожиданно:

— Сколько у нас пушек?

— Пушек? — Левицкий лихорадочно рылся в бумагах. — Думаю… Около полутора сотен.

— В два раза больше, чем у Османки? Огонь, сокрушительный огонь — вот что мы противопоставим его таборам и черкесам. Отдайте бригаду этому… — Великий князь вдруг расстроился, поскольку всегда гордился своей памятью на имена, а тут вдруг — забыл. — Кого из Ловчи вышибли?

— Подполковника Бакланова, — подсказал Левицкий.

— Вот ему отряд и подчините. Он битый, значит злой.

— Позвольте возразить Вашему Высочеству, — осторожно сказал Непокойчицкий. — Бакланов битый, но не злой, а нерешительный, почему и отдал Ловчу. А нужен решительный: задача сложная, сил мало. И есть только один командир, способный эту задачу выполнить. Генерал Скобелев-второй.

Его Высочество недовольно засопел. Левицкий, очень не любивший Скобелева, позволил себе негромко заметить:

— Ваш протеже — шалопай, Артур Адамович. Его и на пушечный выстрел нельзя подпускать к этой войне.

— Скобелев — генерал свиты моего брата, — вдруг надуто сказал главнокомандующий. — Не забывайся, Левицкий.

— Прошу простить, Ваше Высочество, — растерялся не ожидавший такого афронта Левицкий. — Мне думалось… Я полагал…

— Лучше Скобелева командира для этого дела у нас нет, — с не присущей ему твердостью повторил Непокойчицкий. — Да, он — дерзок, самовлюблен, даже безнравственен, но отважен и упрям. Именно эти качества…

— Решено, — оборвал великий князь. — Пусть докажет, на что способен в европейской войне. Пишите приказ на передислокацию. Но коли уж провалится…

И, неожиданно захохотав, с удовольствием потер ладони.

2

Князь Алексей Иванович Шаховской получил приказ о подчинении Криденеру на марше. Будучи старым воякой, он делил генералов на боевых и «протяжных», объединяя в последнем определении как протежирование свыше, так и протаскивание в чины вопреки воинскому таланту, заслугам и логике. Криденер был «про-

тяжным» в чистом, так сказать, виде, но князь чтил дисциплину. Тут же вызвав Бискупского, прикинул с ним, как проще повернуть войска с марша кратчайшим путем, но задержал начальника штаба.

— Плевна, Плевна, Плевночка, — бормотал старик, разглядывая карту. — Слушай, Константин Ксаверьевич, у тебя найдется пара толковых штабных офицеров?

— Найду, Алексей Иванович.

— Мне нужна разведка Плевны с востока и юго-востока. Пока перестраиваться будем, пусть постараются.

На сей раз и Западный отряд готовился к предстоящему штурму тщательно. Никто уже не заикался об усмирении, и даже Криденер перестал именовать Плевну «плевком»: урок был суров, а ставка слишком высока. И когда Шнитников осторожно намекнул относительно разведки, барон, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, ухватился за этот намек.

— Да, да, и непременно.

Только после разведки генерал Криденер решился на военный совет. Он состоялся 14 июля, и на него барон пригласил вновь назначенного

личного представителя Главной квартиры светлейшего князя генерала Имеретинского.

— Что-то Скобелева не вижу, — отметил Шаховской, оглядываясь перед тем, как усесться на место.

— Не знаю, почему он не явился, — сказал Шнитников. — Приглашение было послано своевременно.

— Приглашение или приказ? — колюче взъерошил седые брови Алексей Иванович.

— Это не важно, — холодно заметил Криденер. — Скобелев выполняет задачи охранения, не более того.

— Простите, не вполне понял вас, — негромко сказал Имеретинский. — Одно дело — приказ, дающий генералу право решающего голоса в совете, а иное — приглашение послушать, что будут говорить остальные. Так в каком же роде вы желали здесь видеть генерала Скобелева, Николай Павлович?

— Я не нуждаюсь в советах Скобелева-второго, — сухо поджал губы Криденер. — Если ваша светлость не возражает, я хотел бы начать совещание.

— Я всего лишь гость, генерал. Распоряжайтесь.

Обстановку докладывал Шнитников. Обстоятельно разобрав причины неудачи первого штурма, обрисовал расположение войск и перешел к данным о противнике.

— По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестьюдесятью — семьюдесятью тысячами активных штыков.

— Вопрос. — Бискупский встал. — Откуда эти сведения?

— Мне бы не хотелось называть источник…

— Среди нас есть турецкие шпионы? — громко прервал Шнитникова Шаховской. — Так гоните их отсюда в шею, барон!

В комнате возник шум. Командующий артиллерией генерал Пахитонов громко рассмеялся.

— Спокойно, господа, — сказал Криденер. — Если представитель Его Величества полагает…

— Я полагаю, что следует уважать военных вождей, — негромко сказал князь Имеретинский.

— Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из Плевны, — неохотно сказал Шнитников.

— С каких это пор русская армия основывает свои решения на поповских подсчетах? — зарокотал Шаховской. — Известно, что у беглеца всегда глаза на заднице.

— Главный штаб и Его Высочество согласны с

этой цифрой, — надуто заметил Криденер.

— Тогда вообще ерунда какая-то. Их семьдесят тысяч, и они — в укрытии. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и мы пошлем их в чисто поле под пули и картечь. — Шаховской грузно повернулся к Имеретинскому. — Вас устраивает такая арифметика, князь?

— Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович, — вздохнул светлейший князь. — Но большего у нас нет, а ждать, покуда из России подойдут резервы, невозможно.

— Бойня, — хмуро констатировал Шаховской. — Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры.

После длительных прений, уточнений, предположений и непримиримого ворчанья Шаховского совещание выработало основной план штурма Плевны. Наступление было решено вести с двух направлений при постоянной поддержке артиллерии.

— Ну, артиллерия, вывезешь? — спросил Шаховской Пахитонова, прощаясь.

— Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович. Только у Османа-паши, между прочим, стальные орудия Круппа.

— Лихо, — усмехнулся в усы Шаховской. — Не

даст Его Высочество согласия, нет, не даст. Это же с ума сойти, какой конфуз возможен. С ума сойти!

Через три дня нарочный доставил Криденеру личную записку Непокойчицкого, подтверждающую согласие главнокомандующего. Рекомендуя широко и маневренно использовать конницу, дабы рассредоточить внимание противника, Артур Адамович в конце писал: «Великий князь особое внимание обращает на то, что вы имеете до ста пятидесяти орудий. Не спешите с атакой, барон, прошу вас. Громите их огнем, ибо только в этом вижу я ключ к победе…»

— Все в стратеги лезут, — сказал Криденер, отбросив записку. — Даже недобитые полячишки и те на советы горазды.

Участь второго штурма Плевны была решена.

3

— Все правильно, — невесело вздохнул Скобелев, узнав подробности разгрома Шильдер-Шульднера, и выругался заковыристой казачьей матерщиной.

Все еще числясь в резерве, Михаил Дмитриевич собирал сведения о противнике где только мог. Он перечитал все газеты, доставленные ему Мак-

гаханом, хотя не любил их читать, потому что не выносил разухабистой газетной лжи. Цифры, сообщенные англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили.

— Сложите все вместе и поделите пополам, — посоветовал Макгахан. — Тогда, возможно, получите что-то похожее на истину.

— Сложите все вместе и суньте в печку, — буркнул Скобелев. — Мне нужна истина, а не нечто на нее похожее.

Накупив у маркитантов табаку, орехов, пряников и конфет, он выехал в ближайший лазарет, где лежали костромичи. Генерал щедро оделил всех подарками, терпеливо выслушивая большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали, как погиб Клейнгауз. Каждый говорил о своем, но Скобелев упорно задавал вопросы, вызывая раненых на нужный ему разговор.

— ...я, стало быть, замахнулся — ан, а колоть-то некого!

— Значит, боится турка русского штыка, братец?

— Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает. Ежели, скажем, соседа

его положили, так он на месте не останется.

— А стреляют как?

— Стреляют почаще нашего, много почаще. И патронов не жалеют, и ружья у них подалее наших бьют.

— Только вот… — Белобрысый паренек с перебинтованным плечом засмущался, вскочил вдруг, вытянулся: — Виноват, ваше превосходительство, разрешите доложить!

— А ты не скачи, парень, не скачи, — улыбнулся Скобелев. — У нас по душам беседа, а не строй, и ты есть раненный в бою воин. Говори спокойно.

— Да он, турка-то, хоть и много палит, а без толку, ваше превосходительство. Он нас очень уж боится, и целить ему недосуг. Руки у него дрожат, что ли, так он ружье на бруствер кладет и палит, не глядя совершенно.

— Верно Степка говорит, правильно, — заговорили раненые. — На испуг берет басурманин со своего испугу.

— Ну, не совсем так, — сказал молодой человек с перевязанной головой. — Их винтовки дальнобойнее наших, Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?

— Позволил уже. Вольноопределяющийся?

— Так точно, вольноопределяющийся Федор

Мокроусов, недоучившийся студент. Так вот, Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает еще издалека, на подходе, еще чуть ли не за тысячу шагов. Но Степан прав, целиться они не стремятся. Поэтому пулевой веер этот идет как бы в одной плоскости, понимаете? И если, допустим, пригнуться, то он пройдет над головами.

— Не снижают прицел? — заинтересованно спросил Скобелев.

— Практически нет. Судите сами, у нас тут куда больше ранений от холодного оружия, чем от пуль, верно, ребята? А вот для офицеров — наоборот.

— Отчего же так?

— Видимо, в офицеров они все же целятся. Может быть, далеко не все, а лишь специально отобранные хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской, и идут они впереди — их легко издалека определить.

— Следует ли отсюда, что для офицеров куда опаснее сближение, нежели сама рукопашная?

— Пожалуй, так, — подумав, сказал вольноопределяющийся. — Конечно, я впервые в бою, рано выводы делать.

— Впервые был, а видел много. — Скобелев встал. — Спасибо, ребята, очень вы мне помогли. Дай вам бог здоровья и скорейшего домой возвращения.

Всю дорогу до дома разговоры в госпитале не оставляли Михаила Дмитриевича. А вернувшись, он сразу же записал выводы: турки не выносят штыкового боя в одиночку; стреляют неприцельно и, как правило, с бруствера, что создает одну полосу поражения; сближение с противником порою опаснее самого боя. Он писал, тщательно обдумывая каждый пункт, вспоминая оживленные, открытые лица раненых. За окном густились короткие южные сумерки, Скобелев все ниже склонялся к бумаге, не замечая, что темнеет. А заметил, когда хмурый адъютант Млынов внес зажженные свечи.

— Вот, пишу. — Михаил Дмитриевич виновато улыбнулся. — А зачем пишу, черт его знает. Для истории разве?

— Полковник Нагибин прибыл, — сказал капитан.

— Нагибин в том бою был, вот удача! — Скобелев захлопнул бювар*. — Давай его сюда. И коньяк тащи. Да не какой-нибудь, а с «собакой». Слышишь, Млынов?

— На всех с собаками не напасешься.

Офицерство позволяло себе румынский коньяк (за французский маркитанты драли бешеные деньги), и лучшим считался тот, на бутылке которого была изображена собака. Поскольку денег у Скобелева никогда не водилось — он умудрялся тратить свое генеральское жалованье в считанные дни, — капитан Млынов частенько кормил и поил своего командира из личных и весьма скромных средств.

— Поздравляю! — еще с порога крикнул Нагибин. — Поздравляю, дорогой вы наш Михаил Дмитриевич!

— Да с чем поздравлять-то? — Сердце Скобелева вдруг защемило от предчувствия. — С чем же, полковник?

— Отдельный отряд вам дают, Непокойчицкий уж и приказ готовит. Просился я к вам, умолял — отказали.

— Водки! — закричал Скобелев, хватив полковника кулаком в грудь. — Млынов, чертов сын, где ты там?

— Вы же коньяку желали, — откликнулся Млынов. — С собакой причем.

— Коньяк пусть Криденер жрет вместе с собаками, а мы по-русски гулять будем. По-русски,

казаче!

Скобелев пил много, но не пьянел, а только оживлялся, говорил громче обычного да распахивал сюртук. Поднимая тосты за вольный Дон, за славу русского оружия и за русского солдата — этот тост Михаил Дмитриевич произносил всегда, при всех обстоятельствах, — он дотошно расспрашивал Нагибина. Полковник изложил все, что знал, видел и понял, в подробностях рассказав о последнем свидании с командиром костромичей.

— А Игнатий Михайлович говорит: веером, мол, дамским наступаем. Веером на турка замахиваемся, а не кулаком. Вот и сгинул, бедолага, ни за понюх…

Большего Михаил Дмитриевич добиться от захмелевшего с устатку казачьего полковника не смог. Впрочем, он не огорчался: пил, шутил, оглушительно хохотал и угомонился лишь под утро. Млынов оттащил уснувшего Нагибина на генеральскую постель, а Скобелев, выпив две чашки крепчайшего кофе, приказал окатить себя колодезной водой и, протрезвев, ускакал в штаб, моля Бога, чтобы только не нарваться на главнокомандующего. Загодя пожевав специально припасенного мускатного орешка, дабы

отбить могущий сразить собеседника дух, сам привязал коня у коновязи и приказал дежурному доложить.

Принял его Левицкий: начальник штаба был спозаранку востребован к великому князю. Отношения между Левицким и Скобелевым сложились еще во времена удалой молодости Михаила Дмитриевича, поскольку они познакомились еще в Академии Генерального штаба, и были на редкость простыми.

Левицкий терпеть не мог генерала за «шалопайство», а Скобелев ни в грош не ставил помощника начальника штаба. В полном соответствии с этими отношениями складывался и их разговор.

— Подписан ли приказ о моем назначении?

— Насколько мне известно, Его Высочество главнокомандующий подписал такой приказ.

— Какие части мне подчинены?

— Все изложено в приказе.

— Где же приказ?

— На регистрации, как положено.

— Когда освободится Непокойчицкий?

— Как только будет отпущен Его Высочеством.

— Понятно. — Скобелев изо всех сил сдерживал нараставшее в нем бешенство, припадкам

которого он был подвержен после неумеренных возлияний. — Могу ли я, по крайней мере, спросить ваше превосходительство о силах неприятеля?

Левицкий поколебался, но отказать в такой просьбе уже утвержденному командиру отдельного отряда все же не рискнул. Скучным голосом сообщил, что Осман-паша имеет не менее шестидесяти тысяч низама, не считая черкесов и башибузуков. Скобелев недоверчиво свистнул, и Левицкий поморщился:

— Вы не в конюшне, генерал.

— Прошу прощения. Где Тутолмин?

— На рысях спешит в ваше распоряжение.

— Бригаду его не растащили по кускам?

— Насколько мне известно, нет.

— Благодарю. — Скобелев направился к выходу.

— Может быть, вас интересует, кто назначен начальником вашего штаба? — неожиданно спросил Левицкий.

Он спросил не потому, что вдруг решил помочь Скобелеву. Он упомянул о начальнике штаба только потому, что дорожил отношениями с ним и не хотел омрачать их в будущем.

— Кто же?

— Полковник Генерального штаба Паренсов.

— Вот за это — спасибо!

Поразмыслив, Скобелев решил найти Паренсова. Он хорошо знал его, ценил за способность улавливать изменчивую обстановку боя и без колебаний принимать решения. Конечно, было бы куда проще, если бы ему вернули прежнего начальника штаба Куропаткина, но требовать Алексея Николаевича сейчас было преждевременно.

Скобелев разыскал Паренсова куда быстрее, чем рассчитывал, потому что Петр Дмитриевич сам искал его. Выразив взаимное удовольствие, они нашли укромное местечко, где полковник и поведал генералу, что в распоряжение последнего поступает не только Кавказская бригада Тутолмина, но и отряд полковника Бакланова.

— Откуда знаешь?

— Старому разведчику таких вопросов не задают, — улыбнулся Паренсов.

Он и впрямь был разведчиком: еще до начала войны семь месяцев путешествовал по Болгарии. Прекрасно владея болгарским и турецким языками, Петр Дмитриевич умел видеть, слушать и сопоставлять слухи. Его неоднократно арестовывали турецкие заптии*, он сидел в Рущукской

тюрьме, но сумел выскользнуть и доставить командованию воистину бесценные сведения. Скобелев слышал об этом, но был военным до последней косточки, а потому всегда интересовался только тем, что входило в круг его непосредственных обязанностей.

— Ты веришь, что Осман успел собрать шестьдесят тысяч регулярной пехоты?

— Слишком мало у него времени, — подумав, сказал Паренсов. — Можем уточнить, если желаете.

— Каким образом?

— Есть такой образ, — улыбнулся Паренсов. — И должен сказать правду, если сам ее знает.

— Кто же это?

— Полковник Артамонов. Он недоверчив, как стреляный лис, но мне вряд ли откажет.

— Одна епархия? — не без ехидства спросил Михаил Дмитриевич.

Паренсов молча усмехнулся.

Полковник Артамонов принял их весьма сдержанно. Он знал Скобелева не столько как полководца самобытного и дерзкого таланта, сколько как восторженно шумного, не в меру хвастливого и склонного к веселым компаниям молодого человека. По роду своей службы и

складу характера он сторонился подобных людей, но с генералом пришел Паренсов, службу которого в отряде Скобелева дальновидный Артамонов сразу же определил, как временную. И не без оснований полагал, что прекрасное знание Паренсовым театра военных действий и в особенности народа, на нем проживающего, вскоре будут использованы командованием с наибольшей пользой для дела.

— Чем могу служить?

Скобелев открыл было рот, чтобы, как всегда, с порога выложить то, что его интересовало, но полковник Паренсов поторопился заговорить первым:

— Просим извинить, Николай Дмитриевич, мы рассчитываем не просто на конфиденциальный совет ваш, но на разговор сугубо доверительный. Если мы смеем на это надеяться, то заранее благодарим; если же откажете нам в доверии, мы покинем вас тотчас же и без всяких претензий.

Артамонов пожевал тонкими губами, потер высокий костистый лоб худыми длинными пальцами, привыкшими держать карандаш и никогда, как вдруг показалось Скобелеву, не сжимавшими эфеса сабли. Тихим голосом пригласив гостей садиться, сказал, что вынужден ненадолго

покинуть их по делу, и тут же вышел.

— Бумажная душа, — проворчал генерал.

— Эта бумажная душа, Михаил Дмитриевич, за два года исходила всю европейскую Турцию, где в одиночку и произвела глазомерную съемку местности.

— Вроде тебя?

— У меня была иная задача. Но если бы не бессонные ночи Николая Дмитриевича, вряд ли вы, ваше превосходительство, имели бы новейшие карты этого театра военных действий. — Паренсов помолчал. — Хозяин наш скрытен и не доверяет порой самому себе. Поэтому, если не возражаете, расспрашивать буду я.

— А я что должен делать?

— А вы по-генеральски поглаживайте бакенбарды, если я веду разговор в правильном русле.

— А если тебя унесет?

— Кашляйте, Михаил Дмитриевич, кашляйте.

Вернулся Артамонов. Плотно прикрыл двери, заглянул в единственное оконце, заботливо задернув занавеску после обзора. Прошел к столу, сел и положил руки перед собою.

— Я отослал людей, в доме никого нет.

— Генерал Скобелев получил в свое распоряжение отдельный отряд. Судя по всему, Николай

Дмитриевич, оперировать нам придется где-то между Ловчей и Плевной. Как известно, турки намертво вцепились в Плевну, но логично предположить, что они столь же энергично вцепятся и в Ловчу.

Артамонов опять пожевал губами и стал тереть пальцами лоб. Молчание затягивалось.

— Мне желательно знать… — начал было Скобелев, но Паренсов так глянул на него, что генерал сразу же примолк и начал рассеянно поглаживать бакенбарды.

— Я не пророк, — тихо сказал Артамонов.

— И все же, Николай Дмитриевич? — настойчиво допытывался Паренсов. — По сведениям, которые сообщил Левицкий, у Османа-паши свыше шестидесяти тысяч низама, не считая кавалерии. Если это соответствует действительности, то ему ничего не стоит выделить треть своих сил для обороны Ловчи. Отсюда вопрос: Левицкий назвал ту цифру, которую дали ему вы?

— Я Левицкому никаких сведений не представлял, — помолчав, сказал Артамонов.

— А каковы ваши цифры? — продолжал наседать Паренсов. — Мы ведь не любопытства ради спрашиваем, Николай Дмитриевич, поймите наше положение. Если мы окажемся между Плев-

ной и Ловчей, куда нам направить свои пушки?

— Пушек-то будет — кот наплакал, — проворчал Скобелев. — Кровью ведь умоемся и кровью держать будем.

— Осман-паша не пойдет на Ловчу. — Артамонов сказал настолько тихо, что Скобелев невольно подался вперед. — Разделите цифры Левицкого пополам, и вы получите более или менее реальное представление о силах Османа-паши.

— Так ведь… Это надо немедленно довести до сведения великого князя главнокомандующего! — Скобелев вскочил. — Ах, крысы штабные…

— Сидите, генерал, сидите, — сквозь зубы процедил Паренсов. — Сидите и гладьте свои бакенбарды.

— Я все сообщил, — глухо сказал Артамонов. — Сообщил своевременно трижды проверенные цифры, но мою докладную навечно положили под сукно.

— Но почему же? Почему? — вновь не выдержал Скобелев.

— Почему? — Артамонов вдруг улыбнулся. — Потому что кое-кому это весьма выгодно. Победил — так шестьдесят тысяч, имея у себя двадцать пять. Не победил — так тоже потому, что у Османа все те же мифические шестьдесят тысяч вместо

реальных тридцати. Некоторые генералы умеют побеждать, а некоторые — воевать. Тоже, между прочим, искусство. — Он помолчал. — Надеюсь, господа, вы не воспользуетесь моей откровенностью.

— Благодарю, полковник. — Скобелев встал. — В молчании нашем можете не сомневаться.

На прощанье он с такой искренней благодарностью стиснул руку Артамонову, что Николай Дмитриевич долго еще тряс худыми пальцами после ухода неожиданных гостей.

4

Еще не получив копии приказа о назначении на должность Отдельного вспомогательного отряда, Скобелев с головой окунулся в работу. Отправил Паренсова к Бакланову, чтобы проработать план, как блокировать Ловчу, гонял Млынова и ординарцев за боеприпасами для будущих частей, часто беседовал с болгарами, хорошо знающими окрестности Плевны.

— Зеленые горы круты, говорите? Ничего, мы их на карачках.

— Как это? — удивлялись болгары.

— Неважно как. Важно взобраться.

Вскоре подошла Кавказская бригада, а вслед за

ней и приглашение на военный совет. Михаил Дмитриевич оценил разницу между приказом и приглашением, но не поехал не из-за обиды.

— Ляпну я там правду-матку, — сказал он только что прибывшему от Бакланова Паренсову. — Они же пугать друг дружку силами Османа-паши начнут, а я, боюсь, не выдержу и Артамонова подведу. Ну их к богу в рай с их советами. Что Бакланов?

— Перекроет путь между Ловчей и Плевной.

— Мало, — подумав, сказал Скобелев. — Пиши приказ на активную демонстрацию во все стороны.

— Силы распылим, — осторожно заметил Паренсов.

— Турки тоже, — невразумительно пояснил Скобелев. — Я велел Тутолмину Зеленые горы разведать.

— Нам предписана активная оборона, — напомнил Паренсов.

— Да? Значит, на всякий случай.

Вечером неожиданно пожаловали князь Насекин и Макгахан. Гости особого внимания не требовали, и генерал продолжал работать с Паренсовым и Тутолминым, изредка включались в разговор.

— Господа, я совершил великое открытие, — с

обычной ленцой рассказывал князь. — Исполняя обязанности представителя Международного Красного Креста, я посетил лагерь для пленных. И что же я обнаружил? Оказывается, у турка имеются две руки, две ноги и, представьте себе, голова.

— А слышать вам не приходилось? — спросил Тутолмин.

— Что именно?

— Как кричат болгарские женщины и дети, когда их режут эти две руки и топчут две ноги?

— Это дело башибузуков, — сказал Макгахан.

— Вы уверены, дружище? — Скобелев оторвался от карты. — Я тоже не уверен. Враг есть враг, война есть война, а женщина есть женщина. Когда вы, князь, постигнете это триединство, тогда я, пожалуй, поверю, что вы очнулись от спячки.

— Возможно. — Князь пожал плечами. — Следовательно, либо мне везет, либо я бесчувственен, как полено.

— Полагаю, что вам пока везет, — проворчал Тутолмин.

Он был не в духе. Подчинение Скобелеву лишало его самостоятельности, к которой он уже успел привыкнуть. Кроме того, он не без оснований опасался, что во имя достижения цели генерал не пощадит его, по сути, еще не воевав-

шую бригаду.

— Вы что-то уж очень загадочно помалкиваете, Макгахан, — заметил Скобелев. — Вы же всегда набиты слухами и сплетнями, как солдатский ранец.

— Вам нужны сплетни или слухи?

— Валите вперемешку, как-нибудь разберемся.

— Из сплетен могу сообщить, что некий барон лично ходатайствовал перед главнокомандующим, дабы отправить вас, Михаил Дмитриевич, обратно в резерв.

— Чем же я так не угодил барону?

— Барон привык катать шарики, а вы — игральная кость и всегда умудряетесь выкинуть ту грань, которую избрали сами.

— Это любопытная сплетня, — заметил Паренсов. — А чем вы богаты по линии слухов?

— Слухов? — Макгахан отхлебнул коньяку. — Поговаривают, будто из Плевны в Ловчу двинулся отряд Эддина-паши. Если я скажу, что слышал это от самого Криденера, вы мне не поверите.

— Отчего же? — улыбнулся Скобелев. — Это так похоже на правду, что я с особым нетерпением жду своей разведки.

Результаты разведки были столь неожиданны, что генерал придирчиво заставил хорунжего

Прищепу повторить рапорт. Но молодой кубанец знал, что докладывал, поскольку лично исползал все три хребта Зеленых гор.

— Укреплений там нет, ваше превосходительство. Да и турок не видно: одни спешенные черкесы в кустах хоронятся.

— Молодец! — Скобелев резко повернулся к полковникам: — Какова новость, а? Тутолмин, готовь осетинские сотни, я сам эти горы прощупать должен.

Поутру две сотни спешенных осетин двинулись к первому гребню Зеленых гор. Еще на подходе они были встречены разрозненной пальбой, залегли, как было приказано, но, увидев мелькавших в кустах черкесов, вскочили и, выхватив шашки, бросились вперед.

— Отводи! — закричал Скобелев, наблюдавший за разведкой боем. — Отводи осетин немедля, пока их в кусты не заманили!

Хорунжий Прищепа, вскочив на коня, карьером помчался навстречу выстрелам. Вертясь перед осетинами и не обращая внимания на пули, кое-как остановил их. Осетины яростно ругались: у них с черкесами были старые счеты. Водивший сотни есаул Десаев зло кричал:

— Зачем собак с миром отпускаешь? Их резать

надо, они стариков не жалеют, женщин не жалеют, а ты их жалеешь?

— Успеешь рассчитаться, есаул, — тихо сказал генерал. — Не горячись. Только не горячись.

Он вдруг ощутил знакомую волнующую дрожь: предчувствие, что нащупал, угадал, уловил главное в предстоящем бою. Да, перед ним был лишь заслон из иррегулярных частей: ни укреплений, ни тем паче артиллерии на этом участке обороны у турок не было.

— Тут и пойдем, — сказал он на немедленно собранном совете. — Но нужна пехота, позарез нужна. Тутолмин, готовь бригаду к пешему бою. — Дождался, когда полковник вышел, схватил Паренсова за сюртук, яростно сверкнув глазами. — Ты понял, где собака зарыта? Ну так скачи к Криденеру, втолкуй, упроси, умоли наконец, что тут, на Зеленых горах, надо главный удар наносить. Скажи, что я начну, что вышвырну черкесов к чертовой матери, но мне нужна еще хоть одна батарея и не менее трех батальонов пехоты. Голубчик, Петр Дмитриевич, как на Господа Бога на тебя уповаю!

— Барон упрям, как старый мерин, — вздохнул Паренсов. — Да и главнокомандующий уже благословил диспозицию.

— Что бы ни было, а без пехоты не возвращайся, — жестко сказал Скобелев. — Это приказ, полковник. Ступай и исполни.

Нахлестывая коня, Паренсов думал, какими словами пробить остзейскую спесь и гипертрофированное самолюбие генерала Криденера, предполагая, впрочем, что барон и слушать-то его не станет, а отошлет к Шнитникову. Но Николай Павлович принял полковника немедля, имея в соображении особое отношение к нему свыше. Молча выслушал все, что спокойно и логично доложил ему Петр Дмитриевич, и отрицательно покачал головой.

— Приказ отдан, полковник.

— Однако победа стоит того, чтобы просить Его Высочество об отмене.

— Готов допустить, что генерал Скобелев хорош для налетов, может быть, даже для развития тактического успеха, но как стратег он равен нулю, — важно сказал Криденер. — Холодный ум есть муж победы, а не легкомысленный гусарский порыв незрелого вождя. Это — азбука, полковник, удивлен, что вынужден напоминать о сем. Прошу повторить вашему непосредственному начальнику, что задача его сугубо второстепенна: не допустить соединения сил Османа-паши с тур-

ками в Ловче и демонстрировать атаку. Только демонстрировать, большего я от него не требую и не жду.

Паренсов понял, что никакая логика, никакие доводы не могут сдвинуть Криденера с уже избранной им позиции. Оставалось последнее: выпросить пехоту и артиллерию, и уж тут-то полковник готов был бороться до конца.

— Наша демонстрация будет эффективнее, если вы, Николай Павлович, усилите нас хотя бы тремя батальонами пехоты и конной батареей. По условиям местности мы не можем активно использовать кавалерию, и, следовательно, Осман-паша оставит нашу демонстрацию без внимания. Между тем наличие пехоты и артиллерии заставит его оттянуть часть сил с других участков обороны.

Криденер долго думал. В рассуждениях Паренсова была не просто логика, но и прямое обещание облегчить атаку на направлении главного удара. Если Скобелев, получив пехоту, так и не справится с этой задачей, то ссылаться ему будет не на что. При этом варианте Криденер только выигрывал, решительно ничем не рискуя.

— Скажите Шнитникову, что я приказал выделить вам одну батарею и один пехотный

батальон.

— Один батальон? — растерянно воскликнул всегда невозмутимый Паренсов. — Всего один батальон?

— Один батальон и одну батарею, — деревянным голосом повторил Криденер. — И я не задерживаю вас более, полковник.

Но Паренсов чуть задержался. В нем все кипело от возмущения, и только тренированная воля еще сдерживала порыв. Он хотел сказать Криденеру, что тот уже проиграл сражение, проиграл бесславно и кроваво, и — не сказал.

Если генерал Скобелев знал, как достичь победы, то барон Криденер точно так же знал, как надо воевать, чтобы не испортить собственной карьеры. Участь второго штурма Плевны была решена. И на сей раз — окончательно.

Глава пятая

1

— Ну и черт с ним, — буркнул Скобелев, когда начальник штаба доложил о неудачном разговоре с бароном. — Меня, Петр Дмитриевич, идея осенила: забрать артиллерию у Бакланова. Все

— в одном кулаке, в моем кулаке, понимаешь?

Когда Михаил Дмитриевич занимался делом, он не тратил сил на личные обиды. Он уже пребывал в состоянии высокого душевного подъема, который у него, человека крайностей, напоминал бешеный, все захлестывающий азарт.

— О себе думают, не о победе. Ну и быть им с битыми мордами, а мы Плевну брать будем.

— Помилуйте, Михаил Дмитриевич, с чем вы на Плевну замахиваетесь? — вздохнул Паренсов. — Полковнику Бакланову за глаза хватит хлопот с Ловчей. У нас — один Тутолмин, пехота еще на марше, а обещанная батарея вообще неизвестно где.

— Поторопи, — не терпящим возражений тоном сказал генерал. — Пехоте отдохнуть дашь, а артиллерию — туда, где сам буду. Ко мне — Тутолмина. Ступай.

Тутолмин не спорил, потому что согласен был с планом Скобелева, зная не только обстановку, но и натуру самого генерала. Но решительно воспротивился, когда Скобелев предложил направить осетин в передовую цепь.

— Нет, слишком уж горячи они, Михаил Дмитриевич. В цепь надо брать кубанцев.

— Разумно, — согласился командир. — Осетин

прибережем для решающего удара. В авангарде — две спешенных кубанских сотни и четыре орудия, что пришли от Бакланова. Авангард поведу сам.

— Ох, Михаил Дмитриевич, что вы — капитан, что ли?

— Сегодня — капитан, — улыбнулся Скобелев. — Плох тот генерал, который позабыл, что когда-то был капитаном. Что, банальности излагаю? Волнуюсь, Тутолмин, куда трепетнее девицы, на свидание поспешающей, волнуюсь. И счастлив, что волнуюсь, потому что всякий бой есть высший миг жизни, ослепительный миг... Казаки вареное мясо утром получили?

— Полтора фунта на суму.

— Прикажи пехоте отдать. Солдаты всю ночь на марше, котлы отстали да и готовить некогда. Млынов, одеваться!

Еще не получив официального приказа, генерал решил выступить на час раньше. В четыре утра он — как всегда в белом сюртуке с Георгием на шее — вышел из дома. Моросил дождь, все вокруг подернулось плотным сырым туманом.

— Смотри-ка, понедельник, а пока — везет! — весело сказал он, легко вскочив на белого, старательно вычищенного жеребца. — Тьфу, тьфу, но

так бы — всю дорогу.

Не успел тронуть коня, как из-за угла показался Паренсов.

— Подошел батальон Курского полка.

— Дай отдохнуть, накорми: Тутолмин обещал мясом поделиться. И жди посыльного.

— Я обещал, что вы обратитесь к ним. Бой нелегкий, а они пороха не нюхали.

— С речью, что ли? — усмехнулся Скобелев.

— Желательно.

Скобелев с места бросил коня к батальонной колонне: солдаты стояли вольно, устало опершись на винтовки. Увидев скачущего к ним генерала в белом кителе при всех орденах, сразу подтянулись. Офицеры бросились по местам.

— Батальон, смирно! Равнение на…

Не обращая внимания на командира, Скобелев подскакал к солдатам, резко, подняв в свечу, осадил жеребца. Вскинул вдруг крепко сжатый кулак, чисто мужским жестом потряс им.

— В бой идти… женихами!

И, развернув коня, бешеным аллюром умчался в туман. Догонять ушедшие вперед спешенные кубанские сотни.

Он нагнал кубанцев у подъема на первый хребет невысоких, но крутых Зеленых гор. Казаки

шли осторожно, широкой разреженной цепью, выслав вперед пластунов. Об этом и доложил генералу командир кубанцев полковник Кухаренко.

— Пока туман, сопротивления не ожидаю, — добавил он. — А вам лошадку свою оставить придется, Михаил Дмитриевич. Мы, кубанцы, шума не любим.

Скобелев спешился, отдал жеребца коноводу и пошел рядом с Кухаренко впереди жидкой казачьей цепи. Полковник был куда старше и куда опытнее своего генерала: кряжистый, седой, с сабельным шрамом на щеке.

— Вот так бы и до Плевны дойти, — сказал Михаил Дмитриевич, не вытерпев молчания.

— Гутарить не будем, а бог даст — может, и дойдем, — проворчал Кухаренко.

Генерал послушно примолк. Казаки уже втянулись в заросли, затерялись, и Скобелев скорее чувствовал, чем слышал хруст веток да каменные осыпи под осторожными шагами.

— А пушки где? — вдруг вспомнил он. — Я же тебе батарею придал. На кинжалы надеешься?

— Пушки потом подойдут, — пояснил Кухаренко. — На руках через два хребта на третий их только по карте протащить можно, а в натуре

жила лопнет.

— Что-то черкесов не видно, — сказал генерал, чтобы переменить неприятный разговор. — Отвели их, что ли?

— На тот свет, — усмехнулся полковник. — Я еще затемно сюда Прищепу с пластунами направил.

В таких делах Кухаренко разбирался куда лучше, и Михаил Дмитриевич промолчал. Он не обижался, когда его тыкали носом в его же упущения, а старательно запоминал, в чем именно допустил промах. Он учился жадно, с благодарностью воспринимая уроки от всех, будь то опытнейший генерал или последний рядовой.

Без единого выстрела авангард миновал два хребта Зеленых гор и достиг третьего. Туман чуть поредел, кое-где просвечивало солнце, но обзор был еще закрыт. В тумане чувствовалось передвижение огромных людских масс, артиллерии и обозов, и генерал с нетерпением ждал, когда обстановка прояснится.

— Разрешите доложить, ваше превосходительство? — задыхающимся шепотом спросили сзади. — Командир Донской батареи полковник Власов. Позиции выбраны, орудия растаскивают по номерам. Желаете лично осмотреть?

— Потом, полковник…

Туман начал рваться, оседать, расползаться по низинам, и Михаил Дмитриевич напряженно вглядывался туда, где, по его расчетам, должна была находиться Плевна. Но раньше, чем она показалась, в первых лучах пробившегося солнца ярко блеснули острия тысяч штыков.

— Господи, спаси нас и помилуй, — тихо вздохнул Кухаренко, торопливо осенив себя крестным знамением.

Плевна открылась сразу, будто подняли занавес. Не сам городишко — его прикрывала небольшая возвышенность, — а предместья, сады, виноградники. Но все уже смотрели не туда, а правее, где в походных колоннах стояло несколько десятков тысяч аскеров.

Завздыхали казаки, кто крестясь, а кто и ругаясь. Хорунжий Прищепа озадаченно свистнул, тут же получив добрую затрещину от хмурого полковника. А Скобелев смотрел и смотрел, но уже не на массы изготовившихся к сражению турецких резервов, а на далекие Гривицкие высоты, штурмовать которые по диспозиции надлежало первой колонне генерала Вельяминова; на чуть заметные войска Шаховского, изготовленные согласно той же диспозиции для удара

между Гривицей и Плевной, и на саму Плевну, прикрытую предместьями на высотке, против которых стояли жалкие силы его собственного отряда. Конечно, Осман-паша не мог знать деталей плана второго штурма — подписанный приказ Скобелев и сам еще не получал, — но, прекрасно поняв тупое упрямство русского командующего, турецкий полководец дальновидно упреждал его главный удар, сосредоточив под Гривицами свои основные резервы. На этом направлении русские войска волей-неволей втягивались в затяжной бой и прорваться к Плевне никак не могли. Скобелев не просто понял это — он это увидел собственными глазами.

Увидел он и другое. Если бы Шаховскому в ходе сражения удалось изменить направление удара и наступать не на изготовившиеся к бою турецкие войска, а левее, за их спинами, он отсек бы резервы противника от города, заставил бы Османа-пашу на ходу поменять план обороны, тасовать и перемещать таборы во время боя, и тогда… Тогда Скобелев получал реальную возможность бросить свой малочисленный отряд на штурм Плевны по кратчайшему и практически незащищенному противником направлению.

— Пушкам молчать, пока не подтянутся

остальные батареи, — сказал он. — Держись тут, Кухаренко, хоть зубами, и жди пехоту. Я — к Шаховскому.

Не оглядываясь, сбежал вниз, вскочил на коня и помчался по разведанной пластунами дороге. Скакал, смутно ощущая, как растет в душе его такое знакомое, радостное волнение: яростное, торжествующее предчувствие победы. Он понимал, что с теми силами, что были у него, ему не только не ворваться в Плевну, но и не удержаться на третьем гребне Зеленых гор, если турки бросят против него весь нацеленный туда резерв, но коли удалось бы — в нарушение боевого приказа! — ударить не там, где ожидал Осман-паша, а левее, левее, за спинами… «Конечно, попытаются смять меня, — думал он, нещадно гоня жеребца по крутой, извилистой дороге. — Обойти меня не могут, разве только еще левее… Значит, туда — осетин, пусть фланг держат. И навалятся они на меня в лоб… Эх, барон, барон, вот бы где тебе ударить: в Плевне бы в полдень обедали…»

За поворотом послышался шум, тяжкий скрип, хрипенье лошадей, людской говор. Генерал перевел коня на рысь, а за изгибом дороги и вовсе остановил его.

Навстречу двигалась четырехорудийная ба-

тарея. Заморенные кони с трудом брали крутой подъем. Артиллеристы, дружно наваливаясь, толкали тяжелые пушки, через каждый шаг подкладывая камни под колеса. Все были заняты тяжелой работой, и на генерала никто не обратил внимания. Он поискал глазами офицера: среди солдат виднелся кто-то в нижней рубахе.

— Навались, братцы! — хрипло кричал он, упираясь плечом в колесо. — Ну, еще. Еще чуть…

— Где командир? — спросил Скобелев.

— Камни под колеса! — Артиллерист в рубахе подошел к генералу, щелкнул каблуками грязных сапог. — Батарея с марша следует на огневые позиции, ваше превосходительство. Командир батареи штабс-капитан Васильков.

— Почему без мундира?

— Потому что он у меня один.

Офицер был худ, невысок, но плечист. Потное, в брызгах грязи лицо его было серьезным и спокойным, и Скобелев невольно подумал, что так выглядят уверенные в себе мастера.

— Тебя ко мне отрядили?

— Так точно. — Командир вдруг улыбнулся, и некрасивое лицо его точно осветилось изнутри. — По правде если, так я сам ушел. Как узнал, что мне в резерве торчать, так самовольно и

пошел. Им все едино, кого посылать.

— А тебе не все едино?

— Я — солдат, ваше превосходительство.

— Спешишь со званием, — усмехнулся Скобелев. — Займешь позиции правее донцов. Задача не только перед собой турок громить, но и бить их фланговым огнем.

— Задачу понял, цели уточню на месте.

Скобелев тронул коня. Позади опять завозились артиллеристы, захрипели лошади. А Скобелев улыбался, словно внезапная встреча с усталым, замурзанным артиллерийским офицером была бог весть каким приятным знамением перед встречей с князем Шаховским.

К тому времени русские войска все еще неспешно выдвигались на исходные позиции. Все шло пока в соответствии с диспозицией, и Алексей Иванович пребывал в состоянии скорее равнодушном, нежели спокойном.

— Топчемся, — сказал он, пожав руку Скобелеву. — А Пахитонов сказал, у них стальные орудия Круппа. Во! Ты завтракать ко мне? Так опоздал, я с зарею фриштык принимаю.

Под фриштыком понималась добрая чарка анисовой, с которой Шаховской непременно начинал каждый боевой день еще со времен

Кавказской войны.

— Я к Плевне вышел, Алексей Иванович.

— Как ты сказал, Михаил Дмитриевич? Извини старика, могу и недослышать.

— Я вышел к Плевне без боя, ваше сиятельство, — резко повторил Скобелев: в тоне князя ему почудилась насмешка. — Стою на последнем гребне Зеленых гор, передо мною — низина с ручьем и горушка, которую турки укрепить не удосужились.

Шаховской продолжал в упор смотреть на Скобелева, но в глазах его уже таяло размягченное «фриштыком» добродушие. Они сейчас глядели зорко, напряженно и пытливо. Скобелев еще говорил о турецких резервах, но князь, казалось, уж и не слышал его.

— Бискупского! — гаркнул он. — С картой и полным расписанием частей!

Ему уже некогда было расчищать стол, на котором стояли тарелки с закусками, графины, бокалы, приборы, — он просто собрал скатерть за все четыре угла и швырнул в сторону. Глухо звякнула посуда, и тотчас же появился Бискупский с толстой папкой под мышкой, на ходу разворачивающий карту.

— Докладывай, — буркнул Шаховской. — Где

стоишь, что видишь, зачем пожаловал.

Скобелев коротко повторил главное, стремясь заронить в князе ту идею, к которой пришел сам. Как Шаховской, так и его начальник штаба сразу поняли предполагаемый маневр, но Алексей Иванович пока размышлял, а Бискупский не решался высказывать свое мнение ранее непосредственного начальника.

— Коли правильно понял, то придется мне в бою делать захождение правым плечом?

— Непременно, Алексей Иванович. Именно этот маневр…

— Обожди с маневром, — вздохнул князь. — Не маневры тут — сражение. Под картечью солдатики мои захождение-то начнут, под картечью и кончат. Кому, конечно, повезет… Скольких на сем положу безвинно и, боюсь, бессмысленно?

— Я прикрою ваше захождение артиллерийским огнем с фланга. Приказ командиру батареи уже отдан.

— Самоуверен ты, Михаил! — укоризненно вздохнул Шаховской. — Доложиться не успел, а уж за меня все и решил.

— Потому что истинно чту вас, Алексей Иванович, — горячо сказал Скобелев. — Не чин, не возраст, не княжеское достоинство — воина в

вас чту.

— А ты, оказывается, и льстить умеешь.

Скобелев ничего не ответил, уже сожалея о своем порыве. Наступило короткое молчание.

— Я не сомневаюсь, что Михаил Дмитриевич сделает все возможное, чтобы облегчить нам перестроение в ходе боя, — осторожно начал Бискупский. — Идея заманчива, рискованна, но — достижима. Однако считаю необходимым напомнить вашим превосходительствам, что она в корне противоречит основному содержанию приказа командующего штурмом генерала Криденера.

— Приказ один: взять Плевну, — возразил Скобелев.

— Не совсем так, — вздохнул Бискупский. — По плану основной удар Криденер наносит силами колонн Вельяминова и Шильдер-Шульднера, вспомогательный — войсками Алексея Ивановича. Вы же предлагаете рокировку, при которой Криденеру выпадает на долю честь вспомогательного удара. Учитывая его характер…

— Учитывая его ослиное упрямство, Криденеру ни слова об этом не говорить, — перебил Шаховской. — Пусть соображает в ходе боя, если вообще способен к соображению.

— Простите, ваше сиятельство, я позволю себе все же несколько слов относительно особенностей характера барона Криденера, — с холодной настойчивостью продолжил начальник штаба. — Он не только болезненно самолюбив и невероятно упрям: он страдает гипертрофированным тщеславием.

— Какое мне дело до его скверного характера! — фыркнул Шаховской. — Я не собираюсь выдавать свою дочь за его сына.

— Но вы лишаете его лавров победителя Османа-паши, — улыбнулся Бискупский. — И он скорее проиграет сражение, чем уступит эти лавры вам, ваши превосходительства.

Оба превосходительства молчали, прекрасно понимая, что помешать Криденеру выиграть сражение способно множество обстоятельств и прежде всего — сам Осман-паша. Но помешать барону проиграть это сражение не способен никто.

— Обращаю ваше внимание и на оперативную сторону плана Михаила Дмитриевича, — сказал, помолчав, Бискупский. — После захождения левым плечом между нашими силами и колонной Вельяминова образуется оперативная брешь.

— Турки не рискнут воспользоваться ею, — убежденно сказал Скобелев. — Я скую их беспре-

рывными атаками.

— Да поймите же, Михаил Дмитриевич, что Криденер — не вы! — почти с отчаянием воскликнул Константин Ксаверьевич. — Вы привыкли к маневренному бою, вас не пугают ни фланговые обходы, ни даже вероятность окружения. А Криденер всю жизнь воевал на ящике с песком, точно исполняя предписанные рекомендации. Он панически боится дырок, и первое, что он сделает, — прекратит штурм Гривицких редутов. И Осман-паша…

— Осман-паша — не барон, — хмуро уточнил Шаховской.

— Вот именно. И, не обладая свойствами барона, паша тут же снимет свои войска из-под Гривицы и всей мощью ударит ими прежде всего по вашему отряду, Михаил Дмитриевич.

— Ну, это еще бабушка надвое гадала, — буркнул князь. — Штаб — рассудок, а бой — вдохновение. И я в него верю. Не в свое, разумеется, не в себя, — в этого синеглазого искусителя верю. — Он тепло улыбнулся Скобелеву.

— Наполеоном, поди, бредишь?

— Наполеоном брежу, а у Суворова учусь.

— Хорошо ответил. Так вот, Константин Ксаверьевич, маневр этот — суворовский. А посему

немедля востребуйте обещанный нам Коломенский полк и — на позиции. Лично за маневр отвечаешь. — Дождался, когда Бискупский ушел, крепко обнял Скобелева. — Спасибо, орел. За дерзость спасибо, за доверие, за голову твою бесценную. Береги ее, она еще ой как России пригодится!

«Золотой старик, — растроганно думал Скобелев, возвращаясь к отряду. — Ни о карьере, ни о славе, ни о гневе государевом не помышляет — только о победе. Вот бы с таким полководцем…»

Тут он вспомнил Бискупского, спокойный, академически холодный анализ его, скобелевского, плана и понял, что при всей порывистости и отваге князь Шаховской к подобному анализу не способен. Понял, что он — лишь старательный исполнитель чужих идей, что в исполнении их ему достанет и решимости, и воли, и той доли безоглядного риска, без которой не выигрывают сражений. Но, исполняя идею, в которую поверил почти с юношеской горячностью, князь уже не сможет внести в нее ни одной своей мысли, даже если этого потребует изменчивая, дышащая порохом и смертью обстановка упорного сражения. Понял, что Шаховской будет ломить, ломить со всей убежденностью и страстью, ломить упрямо,

тупо и жестоко.

Скобелев спускал с цепи льва. Но льва старого, хотя и сохранившего львиную хватку, но уже утратившего львиную гибкость.

2

Когда растаял туман, русские батареи открыли огонь по всей линии турецких укреплений. Воздух еще не прогрелся, и пороховые дымы плотной завесой заволакивали поле сражения. Сквозь их пелену вспыхивали яркие всплески выстрелов и густые розетки снарядных разрывов. Это так напоминало старинные гравюры, что наблюдавший за началом сражения генерал Криденер довольно заметил:

— Стратегия — точная наука, господа. Смотрите, сколько красоты в четком, неукоснительном исполнении расписанной по нотам симфонии сражения.

Начало битв всегда приводило в восторг генералов от теории. В эти минуты все шло по их планам, поскольку противник выжидал, не торопясь обнаруживать своих намерений.

— У Османа заложило уши от грохота нашей артиллерии, — барон говорил сейчас для истории и приятно ощущал это. — Громите его. Громите так,

чтобы у него лопнули барабанные перепонки. Оглохший противник — уже инвалид, господа.

Криденер и ему подобные — а таковых было немало во все времена и у всех народов — всегда уютно радовались бездеятельности врага. Наполеон же приходил в бешенство («Почему, почему они не атакуют?!»), Суворов не находил себе места, пока противник его не начинал действовать, Мориц Саксонский* прекратил бой, встретившись с непонятной пассивностью неприятельской армии, и даже Кутузов, всю жизнь удачно изображавший флегматика, утратил покой и сон, пока французы не начали нового наступления после сидения в Москве. Да и для них стратегия была наукой, но наукой, лишь подкрепляющей творчество, исстари именуемое военным искусством.

— Бой развивается в полном соответствии с нашими планами, господа. А посему прикажите подать завтрак. Грохот артиллерии способствует аппетиту.

В то время как Криденер и его офицеры завтракали с соответствующим грохоту аппетитом, четыре табора турецкой пехоты под прикрытием пушечного огня перешли в атаку на гребень Зеленых гор, а на правом фланге показались конные

группы черкесов. Пехота еще не подошла, хребет держали спешенные кубанцы, и Скобелев решил отвести свои части. Его час еще не наступил.

— Отходить. Орудия перебросить левее, на второй гребень, за спину кубанцев.

— Зачем, ваше превосходительство? — удивился Кухаренко. — Позиция удобная, авось не сомнут.

— Я на авось не воюю, — сухо сказал Скобелев. — Где твои осетины, Тутолмин?

— В резерве, как вы распорядились.

— Видишь черкесов? Мне надо, чтобы осетины атаковали их в конном строю. Отбросить, пробиться к реке Вид и войти в соприкосновение с отрядом генерала Лашкарева.

— Далековато.

— Я говорю не о географии, а о тактике, полковник. Необходимо передать генералу Лашкареву мою личную просьбу: как только он услышит, что мы пошли на штурм, пусть тотчас же атакует Плевну по Софийскому шоссе.

— То-то Осман-паша завертится! — заулыбался Тутолмин, сразу оценив неожиданность этого удара для противника.

Осетины вылетели из-за склона внезапно для черкесов. Привычные к горам кони несли мол-

чаливых всадников, не пугаясь ни крутизны, ни обрывов. Атака была стремительной, рубка — короткой, но яростной: не выдержав ее, черкесы развернули лошадей. Часть с лета нарвалась на разъезд улан, часть, бросив коней, разбежалась по виноградникам и зарослям кукурузы. Осетины радостно встретились с уланами, началось взаимное угощение и безудержная кавалерийская похвальба, а есаул Десаев помчался к генералу Лашкареву, которому и доложил, что было приказано.

— Передайте генералу Скобелеву, что я не собираюсь исполнять его просьб, — холодно, сквозь зубы сказал Лашкарев: его вывела из равновесия повышенная экзальтация и неприятный для него акцент примчавшегося прямо с рубки есаула. — Заодно напомните своему начальнику, что я подчиняюсь только генералу Криденеру и просьбы исполняю не в боях, а по окончании оных.

Десаев напрасно горячился, в волнении еще более путал русские слова и частенько обращался к генералу с недопустимой простотой: «Понимаешь, очень нужно, генерал очень просит…» Лашкарев все более леденел и в конце концов грубо приказал есаулу убираться ко всем чертям. Ругаясь последними словами, Десаев вскочил

на коня, но сообщить о категорическом отказе Лашкарева так и не успел: черкесская пуля наповал уложила не в меру горячего офицера. А от расстроенных гибелью командира осетин Скобелев узнал лишь, что Десаев был у генерала, и потому не сомневался, что кавалерийская дивизия, трижды превосходящая его отряд по ударной мощи, своевременно сделает то, о чем он просил, и Осман-паша в самом начале штурма получит жестокий и неожиданный удар в спину.

Но удар в спину получил не Осман-паша, а сам Скобелев — если не прямой физический, то моральный. Тупо руководствуясь диспозицией, Лашкарев за весь день не отдал ни одного приказания, проторчав в полном бездействии в тылу отчаянно отбивавшихся турок. А Скобелев, рассчитывая на его атаку, строил на этом все свои действия, лишь к концу сражения поняв, что строил он их на песке.

Криденер еще завтракал, когда ему доложили, что от Шаховского прибыл порученец капитан Веригин.

— Его сиятельство просит тотчас же переправить к нему Коломенский полк.

— Еще бой не начался, а князь уже о резервах беспокоится, — тихо заметил Шнитников.

Барон сделал вид, что не слышит этого многозначительного замечания. Отер усы салфеткой, вздохнул:

— Сами этот полк с вечера ищем, капитан. Найдите же его наконец, господа.

— Слушаюсь, — сказал Шнитников и тут же вышел. Искать Коломенский полк не было никакой необходимости, поскольку штабу было известно, где он стоит. Однако Шнитников немедленно послал туда порученца, чтобы увести его в иное место. Он старательно прятал полк от Шаховского не потому, что хотел насолить князю, а исходя из убеждения, что старый генерал занервничал и коли получит резерв, то сгоряча и бросит его в дело. По-своему он был прав, но, вместо того чтобы откровенно сказать Шаховскому, что полк прибудет не тотчас же, схитрил. Многие в армии побаивались сурового гнева и солдатской прямоты Алексея Ивановича, и Шнитников с Криденером не были исключением. При всей благосклонности государя Криденер всегда помнил, что он все же только остзейский барон, а не природный Рюрикович князь Шаховской.

А капитан Веригин ничего не мог поделать с вежливыми объяснениями офицеров штаба. Но не уезжал, все время кого-нибудь тормоша. И

все играли в странную игру, а бой разгорался, и Шаховской, надеясь на обещанный Коломенский полк, уже двинул свои войска с задачей захода правым плечом в полном соответствии с дерзкой, но вполне реальной идеей Скобелева.

Все было в этой идее. Блеск самобытного и смелого таланта, понимание планов Османа-паши, полная неожиданность смены удара во время боя и свобода маневра. Не хватало только сил, которые находились в чужих руках, и эти чужие холодные руки и задушили в конце концов скобелевскую жар-птицу. Руки своих же генералов, а совсем не таборы Османа-паши.

3

— Шаховской двинул свои войска! — издалека, еще на скаку прокричал Млынов.

Он оставался в наблюдении ради этого известия и был весьма удивлен, не заметив никакого воодушевления. Скобелев сидел на расстеленной бурке и играл в шахматы с Тутолминым. Услышав крик, которого так ждал, достал часы, щелкнул крышкой.

— Сдавайся, полковник, я тебе во фланг выхожу. — И вдруг вскочил, застегивая сюртук. — Пехоте готовиться к атаке. Батареям следовать

за нею на прежние позиции. Тутолмин, отряди казаков подвозить в торбах патроны и снаряды, а на возврате забирать раненых. Кто принял командование осетинами?

— Подъесаул князь Джагаев.

— Прикажи князю быть в постоянной готовности атаковать во фланг вдоль ручья. С богом, товарищи мои. Приказов об отходе более не будет, а коли случится что, последним отступать буду я.

Пехота двинулась в атаку с песней: куряне шли в свой первый бой женихами. Легко сбив турок с третьего хребта, они настойчиво атаковали последнюю возвышенность, за которую противник цеплялся с ожесточенным упорством. Осман-паша уже оценил внезапное появление русских в трехстах саженях от предместий Плевны.

— Тутолмин, дави туркам на фланги! — кричал Скобелев, появившись впереди на белом коне. — Молодцы, куряне! Вперед, ребята, только вперед!..

Турки то откатывались вниз, к ручью, то снова бросались в контратаку. Кубанцы залповым огнем расстроили их ряды, и аскеры отошли к предместьям, перед которыми не было никаких укреплений. Здесь, в виноградниках, они

и залегли, огнем отбивая попытки скобелевцев форсировать топкие берега Зеленого ручья.

На большее Осман-паша пока рассчитывать не мог: войска Шаховского напирали левее, намереваясь — турецкое командование быстро поняло это — зайти правым плечом и вместе со Скобелевым всей мощью обрушиться на последнюю высотку перед Плевной. Если бы это случилось, русские на одном порыве вкатились бы прямо в город. Для защиты его Осману-паше пришлось бы отвести туда все резервы, оголив поле сражения. А генерал Вельяминов настойчиво рвался к Гривице, по тылам турок, многозначительно бездействуя, гуляли разъезды Лашкарева, и Осман-паша уже отдал приказ подтягивать запасные таборы поближе к городу.

— Если они ворвутся в Плевну со стороны Зеленых гор, готовьтесь с боем прорываться на Софийское шоссе, — подумав, нехотя добавил он.

— Между первой и второй колоннами русских образуется разрыв, — осторожно подсказал командующему начальник штаба Тахир-паша. — Может быть, нам следует ударить в этом месте? Русские не любят неожиданного маневра.

— Тому, кто нашел ключ к дверям, не нужно окно. Хотел бы я знать, кто же нашел этот ключ?..

Ключ был найден, и дверь Плевненской твердыни оказалась практически отперта, но на то, чтобы распахнуть ее, сил уже не осталось. Но именно с этого дня, со дня второго Плевненского штурма, турецкое командование приметило и уже не упускало из внимания генерала на белом коне, которого аскеры сразу же нарекли Ак-пашой.

К полудню, когда Скобелев окончательно сковал турок, Вельяминов продолжал кровавый штурм Гривицких редутов, а Шаховской успешно заканчивал захождение правым плечом, Криденер не выдержал вежливых напоминаний упорного капитана Веригина об исчезнувшем пехотном Коломенском полку.

— Пошлите известить князя, что полк выступил в его распоряжение. А этому… — он досадливо поморщился, — упрямцу этому велите тут ждать, пусть лично ведет коломенцев!

Коломенцы выступили без промедления. И как знать, может быть даже эта, изо всех сил затянутая помощь и сыграла бы в конечном счете роль в битве за Плевну, если бы не еще одно обстоятельство в той запутанной цепи обстоятельств, в результате которых Россия, по словам Шаховского, еще раз умылась кровью.

Вельяминов уже слал отчаянные просьбы о помощи: его атака захлебывалась. Но резервов барон ему не давал, приказав всем посыльным отвечать одно:

— Атаковать и взять редут.

Вельяминов атаковал, от Шаховского никаких сведений не поступало, Скобелева вообще никто в расчет не принимал, и Криденер, притомившись, сидел в складном кресле, предоставив наблюдение за ходом сражения своему штабу. Растерянный возглас офицера вывел его из состояния приятной истомы:

— Шаховской заходит правым плечом!..

Барон вскочил с не подобающей его чину и темпераменту быстротой. Схватив услужливо протянутый бинокль, сквозь дым и пыль разглядел темные массы войск, четко, как на маневрах менявших фронт атаки под огнем противника.

— Он что, с ума сошел?

— Он удаляется от войск Вельяминова, — сказал Шнитников. — Образуется брешь, в которую непременно ринутся турки.

— Немедленно перехватить Коломенский полк! — крикнул Криденер, не отрываясь от бинокля. — И немедленно заткнуть им дыру, которую создал Шаховской!

Алексей Иванович своевременно получил известие, что в его распоряжение идут коломенцы. Захождение продолжалось, хотя турецкие батареи обрушили на его войска убийственный огонь. Но Шаховской не терял уверенности в победе и послал записку Скобелеву: «Коломенцы идут. Верю, что с их и Божьей помощью доведу дело до конца. Держись, подсоби пушками, сколь можешь, и до встречи в Плевне!»

Скобелев читал записку, когда рядом разорвался снаряд. Осколки просвистели мимо, в двух местах прорвав распахнутый сюртук, комья земли ударили в грудь, горячая, удушливая волна сшибла генерала с седла.

Он сразу вскочил, увидел бьющуюся на земле лошадь, достал револьвер и выстрелил ей в ухо.

— Целы, Михаил Дмитриевич? — испуганно спросил Млынов.

— Коня! — гаркнул Скобелев. — Живо!

Он отер грязное, в пороховой копоти лицо и оглянулся. Неподалеку артиллеристы сноровисто выравнивали орудия после каждого выстрела, офицер отрывисто давал указания. «А, мастеровой, — с натугой припомнил генерал. — Мундир бережет…»

— Не холодно тебе без мундира, Васильков?

— Не простужусь, — буркнул капитан: он весь был там, в прицелах, в орудиях, в смертельной дуэли. — Спокойнее наводи, Воронков. Заметил, откуда били?

— Так точно.

— Пли, Воронков!

Тяжело ухнуло орудие, и Васильков вместе с артиллеристами сразу же бросился устанавливать его на место, торопливо выравнивая прицел.

— Попали, ваше благородие, попали! — радостно заорал чумазый артиллерист. — Ну, господин унтер, быть тебе с крестом. Глаз — ватерпас, знай наших!

— Еще раз по тому же месту! — крикнул Скобелев. — Бейте их, ребята, крестов не пожалею!

— Вместо советов лучше о зарядах побеспокойтесь, — не оглядываясь, огрызнулся командир. — Я последние запасы расстреливаю, скоро одна картечь останется.

— Это — генерал, — испуганно прошептал наводчик.

— Голубенко, наводи второе по разрыву, — приказал капитан и повернулся. — Виноват, ваше превосходительство, в работе я на оглядку время не трачу, а советов вообще не терплю. Так что лучше потом взыщите, а сейчас не мешайте.

Голубенко, сукин сын, опять влево заваливаешь!

— Потом взыщу. Снарядов, говоришь, мало? Работай, капитан, снаряды будут.

Скобелев отошел от батареи почти в радостном настроении. При всей непоседливости и кажущейся безалаберности он высоко ценил прежде всего мастерство, достигаемое изнурительным каждодневным трудом. Результаты этого труда он видел на позиции в четкой работе артиллеристов, в жарком азарте боя и дружной, общей радости от тех маленьких побед, что выпадали на их долю. «Мастеровые, — еще раз с уважением подумал он. — Мне бы таких тысяч двадцать — я бы через месяц коня в Босфоре купал…»

Он нещадно разнес Тутолмина за казаков, обязанных обеспечивать артиллеристов снарядами, обсудил с полковником Паренсовым, почему до сей поры не атакует Лашкарев, наспех выпил полкружки водки у кубанцев и, вскочив на приведенную Млыновым запасную белую лошадь, вновь помчался вдоль залегшей цепи, выводя из себя турецких стрелков. А генерал Лашкарев не атаковал, Коломенский полк не появлялся, и князь Шаховской уже с крайним напряжением сил выдерживал прежний темп наступления.

4

— Русские бросили в брешь между колоннами свежие силы, — доложил Тахир-паша.

— Глупцы, — усмехнулся турецкий полководец. — Вот уж истинно: если Аллах решил кого-то наказать, он начинает с головы. Снимите резервы с Гривицких высот. Русские там выдохлись, пусть себе врываются в редут. Все таборы — против Зеленых гор. Бейте Белого генерала, пока он не выронит ключей от Плевны.

Случилось так, что Скобелев, предчувствуя, что вот-вот затопчется на месте Шаховской и стремясь облегчить ему задачу, тоже отдал приказ об атаке, и встречный штыковой бой развернулся на топких берегах Зеленогорского ручья. Противники то переходили его, то пятились, то дрались прямо в воде, и ручей на много верст нес вниз горячую кровь. Скобелев приказал Паренсову водрузить знамя на зарядный ящик, оставил в охранении наспех собранный из легкораненых взвод и велел Петру Дмитриевичу лично взорвать знамя в случае прорыва турок. Он бросил в бой все, что у него было, вплоть до обозников и музыкантов.

Спешенные казаки Тутолмина дрались в одной

цепи с пехотой, и только осетины князя Джагаева, затаившись за обратным скатом высоты, стояли в конном строю. Это был последний резерв Скобелева, его единственная ударная сила и единственный шанс прикрыть артиллерию, если турки выдержат штыковой удар и перехватят инициативу.

— Смотри сам, князь, когда ударить, — сказал он подъесаулу Джагаеву. — Не промахнись, мне некогда приказывать будет.

— Ударю, ваше превосходительство. Не беспокойся, пожалуйста, мы умеем ждать.

Турецкие пушки упорно громили жалкую скобелевскую артиллерию. Донская батарея отвечала лишь одним орудием: три прямых попадания выбили ее батарейцев. Лишь штабс-капитан Васильков еще огрызался, но всего двумя орудиями из четырех. Как раз возле его батареи куряне подались назад, и двойная турецкая цепь сверкала штыками в двадцати саженях от орудийных стволов.

Скобелев метался по всему фронту, подбадривая солдат не столько криком — в хрипе сотен глоток, лязге оружия, стонах раненых и грохоте орудий любой крик тонул, как в пучине, — сколько самим своим появлением. Его всегда видели

сквозь дым, пыль, грязь и кровь. И, видя, верили, что нет сил, способных сломить их в этом бою.

Но турки упорно продолжали нажимать: их свежие таборы выкатывались из-за виноградников, умело сменяя расстроенные цепи. Уже солдатские рубахи и кубанские черкески потемнели от пота, уже невыносимо ломило плечи, уже подрагивали колени и пересохшие глотки жадно хватали пропитанный пороховой гарью воздух, а бою этому не видно было конца.

Капитан Васильков в черной от грязи и копоти нижней рубахе работал и за прислугу, и за наводчика при двух орудиях. Скобелев подскакал, когда Васильков с тремя артиллеристами, хрипя от натуги, вкатывали на позицию сбитую близким разрывом пушку. Спрыгнув с коня, навалился плечом.

— Снаряды тебе доставили?

— Мерси, генерал…

— Турки в двадцати саженях. Тебе что, глаза запорошило? Не дай бог, ворвутся на позицию, банниками отбиваться будешь?

— Пусть врываются — картечью отброшу. У меня два орудия наготове.

— А чего же сейчас не стреляешь?

— Некому стрелять, я тут — сам пятый. Дай бог,

еще хоть парочку турецких пушечек развалить.

— Ну, гляди. Пушки туркам не отдай.

— Живым не отдам. А с мертвого взятки гладки.

— Спасибо, солдат!..

Это была высшая похвала в устах Скобелева. И офицер, хоть однажды названный Скобелевым солдатом в бою или после боя, помнил об этом всю жизнь, с гордостью рассказывая о высокой чести детям и внукам.

Тощий фронт русских, не растеряв моральной упругости, гнулся, а кое-где и пятился под неослабевающим напором аскеров. Особенно начало осаживать левое крыло: правда, осаживать без разрывов, сохраняя чувство плеча и не поддаваясь панике. Заметив это, Скобелев метнулся туда, перескакивая через ползущих раненых.

— Держись, ребята! Держись, иду!..

Он не проскакал и половины пути, когда из-за склона на бешеном аллюре в полном зловещем молчании вылетели осетины. Солнце играло на бесценных кавказских клинках, кони, хрипя, мчались наметом через изрытое, залитое кровью поле. Турки не успели развернуться, чтобы встретить атакующую конницу дружным частоколом штыков, и началась рубка пехоты со спины.

Шашки сверкали в воздухе, опускаясь на головы, плечи, руки…

Сабельный удар осетин был столь внезапен, столь стремителен и жесток, что турки побежали. Побежали не только те, на которых обрушился этот страшный удар, — побежали все. Бежали, бросая оружие, из последних сил стремясь под защиту виноградников. Осетины метеором промчались вдоль всего фронта, опрокинули его и, развернувшись, тут же исчезли за высотой.

— Вперед! — крикнул Тутолмин. — Сейчас вышибем…

— Нет, — выдохнул Скобелев, ощутив давящую боль в груди. — Там не удержимся. Отводи солдат на гребень. Пусть передохнут, у них же сил нет. И у меня тоже…

Турки еще не успели опомниться, и Тутолмин отвел солдат. При отходе забрали раненых, но Тутолмин лично — уже под пулями — проскакал вдоль ручья, приглядываясь, не забыли ли кого, и только тогда доложил:

— Раненых подобрали. Сам проверил.

— Держи гребень до последнего. Я — к Шаховскому. Кажется, он ломит уже по инерции.

Скобелев упорно продолжал верить в победу. Даже если Лашкарев так и не ударит туркам в

спину, свежий Коломенский полк и еще одно усилие войск Шаховского заставят Османа-пашу искать резервы, а значит, тасовать таборы. И тогда — Скобелев был свято убежден в этом — его маленький, уверовавший в свои силы отряд пройдет эти три сотни саженей, ворвется в предместье, сомнет турок и на их плечах вкатится в город. Это был последний, но еще вполне реальный шанс, и Скобелев, не дав себе ни секунды отдыха, вскочил на коня и помчался к Шаховскому.

Князь грузно утонул в кресле под ореховым деревом. Лицо его отекло, дряблые мешки повисли под усталыми тусклыми глазами. Он тяжело глянул на подскакавшего Скобелева из-под нависших бровей, вздохнул, сказал по-солдатски:

— Продали нас, Миша, генералы.

Скобелев спешился, бросил повод Млынову.

— Где Коломенский полк?

— Не дошел. Криденер его в дырку сунул меж мной и Вельяминовым. Весь бой Тришкин кафтан латал, сволочь.

— А вы? — тихо спросил Скобелев, с трудом сдерживая бешенство. — В креслах сидите?

— Дело проиграно, Скобелев, — вздохнул Алексей Иванович. — Я приказал выводить войска из боя.

— Дело не проиграно, — от боли и душившего его гнева Михаил Дмитриевич говорил почти шепотом. — Дело не проиграно, пока мы с вами, князь, верим в победу. И мы вырвем ее. Вырвем, Алексей Иванович! Мне осталось триста сажен до Плевны. Триста проклятых сажен всего, последний бросок. Я кровью там каждый аршин полил, солдатской кровью, а вы мне отступать предлагаете? — Он помолчал, ладонями крепко потер вдруг покрывшееся потом лицо, слипшиеся бакенбарды. — Князь, я прошу. Я умоляю вас, князь, отдайте приказ на еще один, последний штурм. Мы ворвемся в Плевну, ворвемся, всеми святыми клянусь, ворвемся!

Шаховской горько усмехнулся, покачал седой головой:

— Нет, Михаил Дмитриевич, не обессудь, слишком уж это по-гусарски. Выдохлись мы весь день ступу эту кровавую толочь, понимаешь? Выдохлись, и духу победного более нету в запасах.

— У меня солдаты шестой час на Зеленых горах мрут, а вы духу набраться не можете? — бешено выкрикнул Скобелев. — Нет духу, так в отставку подавайте, место тем уступите, у кого духу на весь бой хватает! Я же верил в вас, как в отца верил, а вы… Какого черта вы боитесь? Гнева государева?

Вы Божьего гнева побойтесь…

— Молчать! — гаркнул, поднимаясь, Шаховской. — Как смеешь голос повышать, мальчишка? У меня седина…

— Седина еще не старость, — сдержавшись, тихо сказал Скобелев. — Старость — когда веру в себя теряешь, когда тряпка вместо… характера. Вот тогда все, тогда — в монастырь, грехи замаливать. Что вам, ваше сиятельство, и рекомендую.

Он резко кивнул, звякнул шпорами, не коснувшись стремян, влетел в седло и с места взял в карьер. Не оглядывался более и не видел, как затрясся Алексей Иванович и как бросился к нему Бискупский, доселе безмолвно присутствовавший при встрече.

— Вам плохо, Алексей Иванович?

— Каков стервец! — прошептал князь, смахивая слезы. — Жаль, не мой сын, очень жаль. Выдрал бы я его как сидорову козу, а потом расцеловал бы в обе щеки…

Скобелев мчался, не разбирая дороги, и Млынов едва поспевал за ним. Он считал, что генерал спешит к отряду, чтобы еще до темноты начать отход, но Скобелев и тут оказался человеком непредсказуемых поступков. Он вдруг резко придержал коня, слетел с седла, обеими руками

с силой ударил себя в грудь и ничком упал на землю. Он катался по траве, грыз ее, бил кулаками и рыдал громко и зло. Млынов торопливо спешился:

— Михаил Дмитриевич. Михаил Дмитриевич!..

— Подлец я. Подлец!.. — Скобелев повернул к адъютанту мокрое, все в грязи и травяной зелени лицо. — Я солдат своих обманул, Млынов. Они с песней… С песней на смерть шли, они верили в меня, а я? Я?.. Заманил да и оставил без помощи? Как я в глаза им теперь глянуть осмелюсь, как?..

Он снова уткнулся лицом в землю, плечи его судорожно задрожали. Млынов снял с ремня фляжку, силой поднял голову генерала:

— Глотните, Михаил Дмитриевич. Глотните, говорю!.. И в себя придите. Ну?..

Он заставил генерала сделать глоток. Стал напротив на колени, взял за руки, встряхнул:

— Ну, хватит убиваться. Будет, поплакали.

— Ох, Млынов… — Скобелев тяжело вздохнул, потом ладонями долго тер лицо, размазывая по бакенбардам слезы и грязь. — Что же теперь делать-то мне, Млынов?

— Отдать приказ об отступлении.

— Вот и отдай, а я тут посижу. Ну, что стоишь? Не бойся, не застрелюсь. — Он вдруг потряс

кулаком в сторону далекой криденеровской ставки: — Не дождутся они этого от Скобелева, мать их…

Млынов секунду размышлял. Потом встал, вытянулся.

— Там, на хребте, до сей поры умирают. И будут умирать, покуда вы лично им не объясните, что отступать надо. Все полягут, вас дожидаючись. — Помолчав, выкрикнул вдруг звенящим голосом: — Встать, генерал Скобелев! Уж коли признаете, что заманули, то хоть тех спасите, что живы покуда!

Темнело, бой замирал. Он не прекратился сразу по решению полководца, понявшего, что сражение проиграно. Криденер устранился от такого решения, предоставив командирам отрядов самим брать на себя ответственность. Первым это сделал Шаховской: его отряд отходил поэтапно, огрызаясь залпами и заботясь о раненых. Но потрепанные войска Вельяминова еще отстреливались, дожидаясь темноты, чтобы под покровом ее уйти с заваленного трупами и залитого кровью никому не нужного Гривицкого редута.

Активный огневой бой шел только на скобелевском участке фронта. Засевшие в виноградниках на последней перед Плевной высотке турки бо-

лее не рисковали атаковать, но вели сильный ружейный и артиллерийский обстрел третьего гребня Зеленых гор, где закрепились остатки скобелевского отряда.

Генерал прискакал уже в сумерках. Выехал из кустов на скат и шагом поехал вдоль всей линии: лошадь и белая фигура хорошо были видны как своим, так и туркам.

— Солдаты! — громко крикнул он. — Товарищи мои боевые, друзья, братья мои! Велика ваша отвага, тяжелы ваши жертвы, беспримерно отчаянное мужество ваше! Низко кланяюсь вам и от всего сердца благодарю вас за это!

Турки не слышали, о чем кричит Ак-паша, но и стрелки, и артиллеристы прекратили огонь: даже враг уважал бесстрашие русского генерала.

— Вы славно потрудились сегодня, — продолжал Скобелев, шагом разъезжая вдоль цепи. — Мы не сумели добиться того, за что умирали наши товарищи, не по своей вине. Сражение наше проиграно, резервов более нету, а посему… — он гулко сглотнул подступивший к горлу комок, — посему приказываю отступать. Отходить неторопливо, сохраняя порядок и воинское достоинство, и не забывать при отходе о раненых. Предупреждаю офицеров: если мне станет из-

вестно хоть об одном оставленном тут раненом, я предам его командира суду! Полковник Паренсов, полковник Тутолмин, полковник Кухаренко — ко мне! Мы уйдем с поля боя последними.

Генерал спешился, низко опустил голову, продолжая стоять спиной к противнику. В кустах послышался шум, негромкие команды, людской говор. Какой-то казак взял у Скобелева коня, а к генералу подошли его помощники.

— Вот и все, — тяжело вздохнул Скобелев.

— Не стоит отчаиваться, Михаил Дмитриевич, — тихо сказал Паренсов.

— Солдат-то каков, а? Отважный, упорный, инициативный. А мы их — в землю, в землю! Щедра держава наша на солдатскую кровь. У тебя есть водка, Кухаренко?

— Станишники, у кого фляжка не с водой? — Полковник вернулся, протянул генералу. — Местное, красное.

— После этой войны еще краснее будет. — Скобелев отхлебнул, отдал Тутолмину.

— А турки не стреляют. Глотнете, Петр Дмитриевич?

— Не откажусь. — Паренсов пригубил, вернул фляжку Кухаренко. — Пойдем, что ли, Михаил Дмитриевич?

Командиры молча шли позади отступающих частей. Шорох кустов, топот, голоса, звон оружия постепенно удалялись.

За обратным скатом хребта стояли казачьи кони; на них переложили раненых и грузы, и все ускорили шаг.

— Как бы черкесы не нагнали, — сказал Паренсов.

— Осетин поопасутся, — проворчал Кухаренко.

Скобелев хотел что-то сказать, но впереди, в низине послышались голоса, лошадиный храп. А пройдя поворот, в густых уже сумерках увидел еле тащившуюся батарею.

— Почему отстали?

— Орудие провалилось, спасибо, казаки помогли, — ответил хриплый сорванный голос.

Скобелев узнал командира батареи: на сей раз он был в форме. На лафетах, передках, зарядных ящиках лежали люди.

— Почему раненых казакам не отдали? Тащитесь еле-еле.

— Им уж все равно, — тихо ответил Васильков.

— Убитых вывозишь?

— Убитый — тоже солдат.

— Тоже солдат, — вздохнул генерал. — Веди батарею, мы позади пойдем.

Без помех они добрались до исходного рубежа, откуда в предрассветном тумане уходили в бой. Скобелев сразу же прошел к себе, написал боевое донесение и памятную записку о представлении к наградам есаула Десаева, подъесаула князя Джагаева, хорунжего Прищепу, нескольких казачьих офицеров и штабс-капитана Василькова. Написав последнюю фамилию, сказал Млынову:

— Узнай, из какой бригады была батарея.

Походил, снова сел и написал личную записку Паренсову: «Петр Дмитриевич! Спасибо тебе за труды и советы: работать с тобою мне было весьма отрадно. Извини, что лично не попрощался: сил нет, и на душе кошки скребут. При случае скажи барону, что генерал Скобелев заболел и отныне числит себя в резерве…»

Затем наскоро перекусил, приказал приготовить пару для дальней поездки, собрал походные чемоданы и, ни с кем не попрощавшись, глубокой ночью выехал вместе с Млыновым неизвестно куда…

Глава шестая

1

Император Александр II пил утренний кофе с другом детства графом Адлербергом на свежем воздухе. Сообщений о сражении еще не поступало, но государь был мрачен, и разговор не вязался. Свита скованно перешептывалась, и только Адлерберг что-то говорил о дальновидности цесаревича Александра Александровича, командовавшего Рущукским отрядом.

— Его энергия и суровая распорядительность достойны всяческого восхищения, Ваше Величество. Воистину он — державный сын державного отца.

— А Бореньке исполнился бы годок с месяцем, — вдруг вздохнул Александр. — А прожил всего-то сорок два денька. Бог мой, как несправедлива порою бывает судьба, граф.

Боренька Юровский был внебрачным сыном Александра, и Адлерберг тактично замолчал. Он уже ругал себя, что так некстати помянул о талантах цесаревича, ибо из всех его талантов самым заметным было пристрастие к неумеренным возлияниям. На счастье, показался дежурный генерал Шелков.

— Безуспешно, Ваше Величество.

— Опять? — Александр беспомощно развел руками. — Каковы подробности?

— Подробностей в депеше не сообщается, Ваше Величество. Для личного доклада сюда выехал Его Высочество главнокомандующий со штабом.

— Ступай. — Александр встал, руками зацепив чашку: Адлерберг едва поймал ее на краю стола. — Я хочу обдумать положение. Как только прибудет мой брат или князь Имеретинский, немедля проведите их ко мне. — Он пошел к дому, но остановился. — Это — роковой день, граф. Тотчас же сообщи в Царское Село Ребиндеру, чтобы он возложил розы на могилку Бореньке.

Загадочность этого первого распоряжения императора после сообщения о разгроме под Плевной может быть объяснена только полной растерянностью, поскольку никакой логики здесь усмотреть было невозможно. Логика появилась, когда прискакал шатающийся от усталости светлейший князь Имеретинский.

Он вошел без доклада и остался у дверей, чтобы отдышаться. Увидел бледного Криденера, растерянного Непокойчицкого, трясущегося Левицкого и самого государя, молча сидевшего в кресле у стола. А по кабинету метался главнокомандующий, топоча сапогами и выкрикивая

бессвязные фразы:

— Он стар, стар и бездеятелен! Это не начальник штаба, это — развалина. Рамоли! Он подтвердил цифры Криденера, взятые с потолка. Откуда они, откуда, Криденер? Кто ответит? Кто ответит государю, я спрашиваю? Кто позволил Шаховскому изменить диспозицию? Где он, сказался больным, старая лиса? Он разорвал боевую линию, он повинен в нашей неудаче, он!..

Тут великий князь столкнулся с Имеретинским и замолчал. Потом беспомощно развел руками.

— Вот, светлейший брат мой. Вот ваши глаза и уши. Он подтвердит мои слова.

— Его Высочество неверно определил результат вчерашнего сражения, — негромко сказал Имеретинский. — Он назвал его неудачей, а это — поражение, государь. Это — разгром, вследствие которого мы потеряли не менее восьми тысяч человек.

— Всю правду, — вздохнул император. — Все кричат о дурно проведенной подготовке, о каких-то перестроениях, а я хочу знать причины, а не следствия.

— Главная причина в полной бездеятельности барона Криденера, государь. Командующий штурмом не только не отдал ни одного боевого

распоряжения во время штурма, но всячески мешал командирам подчиненных ему отрядов.

— Ваше Величество, позвольте спросить светлейшего князя, — сдавленно сказал Криденер. — Где вы были во время боя, Александр Константинович? Я ни разу не видел вас.

— Простите, государь, задета моя честь. — Имеретинский неторопливо расстегнул мундир, обнажив левое плечо со свежей повязкой. — Я был в Гривицком редуте, в войсках Вельяминова, которые вы бросили на верную гибель. — Он столь же неторопливо застегнулся на все пуговицы.

— А теперь позвольте спросить вас, генерал. Почему вы прятали от князя Шаховского Коломенский полк? С какой целью вы ввели его в заблуждение, сообщив, что коломенцы идут к нему, а сами тут же отправили этот злосчастный полк затыкать никому не нужную оперативную пустоту? Почему вы не отдали кавалерийской дивизии Лашкарева приказа об атаке, хотя знали, что отряд Скобелева истекает кровью в предместьях Плевны?

— В предместьях? — удивленно спросил император. — Мы ворвались в предместья?

— Да, государь. Скобелев пробился к предме-

стьям, опираясь только на собственную отвагу, и Шаховской, сколь мог, помогал ему в этом. И если бы барон Криденер с самого начала не решил, что ему выгоднее проиграть сражение, нежели помочь Скобелеву, я имел бы сегодня высокую честь встречать Ваше Величество в Плевне. Мне со слезами рассказал об этой неприличной интриге князь Алексей Иванович.

Спокойствие оставило князя Имеретинского, и все подавленно молчали. Первым заговорил Александр:

— Я не слышал мнения начальника штаба.

Это прозвучало неожиданно, почти вызывающе. После истерических криков брата император заново утверждал старого генерала в прежней должности.

— Светлейший князь прав в своей суровой оценке. Но важно другое. Позволю себе настаивать на быстрейшей переброске корпуса генерала Зотова под Плевну. — Непокойчицкий говорил очень тихо, но все его сейчас слушали. — А так же… Я умоляю Ваше Величество принять мою отставку.

— Нет. — Александр поднял руку. — Дело, дело, сначала — дело. Я жду совета, генерал.

— Необходимо начать переброску гвардейских

корпусов из России, — вздохнул Непокойчицкий. — Я не вижу иного выхода: мы рискуем единственной переправой.

— Ты прав.

— Слава богу! — Главнокомандующий широко перекрестился и велел позвать дежурного генерала.

Пока его искали, князь Имеретинский вновь попросил разрешения обратиться.

— Я осмеливаюсь просить Ваше Величество об особой милости.

— Ты заслужил, — важно сказал Александр.

— Поскольку мне, светлейшему князю Имеретинскому, в присутствии моего государя было высказано сомнение в моей боевой деятельности, я прошу Ваше Величество доверить мне командование боевой частью, во главе которой я смогу принять самое непосредственное участие в следующем штурме Плевны.

— Ты думаешь, нам следует еще раз штурмовать?

— Я тоже того же мнения, Ваше Величество, — сказал Непокойчицкий. — Осман-паша очень опасен. Стал очень опасным после нашего поражения.

— У нас есть вакансии в дивизиях?

— Вторая пехотная, — суетливо подсказал Левицкий.

— Назначаю начальником второй пехотной дивизии светлейшего князя Имеретинского. Ступай отдыхать, князь, и готовь письменное донесение.

Имеретинский поклонился, но тут вошел Шелков. Главнокомандующий строго ткнул в него пальцем:

— Начальнику Петербургского округа, срочно, — откашлялся и вдруг с громким, неуместным пафосом начал диктовать: — «Слава богу! Гвардия с высочайшего соизволения посылается мне. Распорядиться следует быстро и молодецки, как я это люблю. Передай моим молодцам, что я жду их с чрезвычайным нетерпением. Я их знаю, и они меня знают». Все. Можешь идти.

— Цветы, цветы. — Александр жестом остановил Шелкова. — Белые розы на могилку Бореньке. Белые. Ступай.

Шелков, поклонившись, вышел. Все молчали, и через распахнутые окна вдруг донесся далекий скрип множества тележных колес. Император прислушался:

— Что это так скрипит?

— Обозы, Ваше Величество, — торопясь, подска-

зал Левицкий. — Раненые под Плевной следуют этапным порядком…

— Черт бы их побрал, сколько раз повторять, чтобы возили дальней дорогой! — гневно крикнул главнокомандующий. — Позвольте удалиться, брат. Я живо наведу порядок!

Светлейший князь Имеретинский, спрятав брезгливую усмешку в черных, переходящих в бакенбарды усах, дерзко вышел первым, оттеснив Николая Николаевича плечом, простреленным при штурме никому не нужного Гривицкого редута.

2

Скобелев пил вторую неделю. Начинал с раздраженного непонимания, почему в его постели оказалась женщина, кто она такая, о чем стрекочет и как ее зовут. Лихорадочно пытался припомнить вечер, как правило, ничего вспомнить не мог и торопился опрокинуть рюмку, чтобы обрести равновесие духа. Голова у него никогда не болела, но внутри было тревожно, а когда выпивал, все вроде бы вставало на свои места.

Вежливо выпроваживал очередную незнакомку, и начинался день бесконечного застолья, шума, карточной игры и безудержной вечер-

ней попойки, где опять появлялись женщины, а утром все повторялось сначала. Первое время Млынов пытался вразумить Михаила Дмитриевича, но потом махнул рукой и решил ждать, когда тот сам перебесится и потребует утром холодной воды. Но генерал окончательно закусил удила, швыряя деньги цыганам, кокоткам, случайным карточным партнерам, выматывающим душу румынским скрипачам и красивым ножкам, плясавшим по его просьбам. Тут уж не могло хватить никаких капиталов, и Скобелев, не задумываясь, подписывал векселя и расписки под любые проценты. Разобравшись в этом, Млынов пришел в ужас и бросился разыскивать старика Дмитрия Ивановича Скобелева-первого, генерал-лейтенанта и командира не существующей более Кавказской дивизии.

— А как пьет? — спросил генерал, когда Млынов вкратце обрисовал ему скобелевский разгул.

— Много, ваше превосходительство.

— Дмитрием Ивановичем мое превосходительство зовут, знаешь чай, нечего на казенном языке объясняться в домашнем случае. Я тебя спрашиваю, «как», а ты — «много». Это не ответ: для кого много, а для Мишки — самый раз.

— По-черному, Дмитрий Иванович, — подумав,

определил Млынов, старательно подумав.

— Вот это — ответ. — Старик вздохнул. — Ах, сукин сын, гусар, лоботряс, прощелыга. С бабами?

— Каждый день — новая.

— Это — в меня, — не без самодовольства отметил Дмитрий Иванович: в его ругани было куда больше одобрения, что очень не нравилось Млынову. — Ну, это хорошо, скорее уморится. А ты чего прискакал? Уговаривать не пойду, я Мишку лучше тебя знаю. Стало быть, ждать надо, покуда силы в нем кончатся.

Млынов прискакал не за советом, а за деньгами: старик был богат, но прижимист и, в отличие от сына, считать умел. Кроме того, он обладал редкостным упрямством, которое возникало вдруг, без всякой видимой причины, и капитан опасался начинать разговор. Пока он раздумывал, с какой стороны подступиться к старому кавказскому рубаке, Дмитрий Иванович продолжал не без удовольствия сокрушаться по поводу беспутного сына.

— Лихой солдат и командир отменный, а перед юбкой устоять не может, вот ведь какая незадача. Это у него смолоду: как лишнюю чарку хватит, так и глядит, где шелками зашелестело. Сколько разов говорил: «Мишка, поопасись, этак и ка-

рьеру сгубить недолго. Бабские шепотки нам, военным, самое зло». Какое там! Еще пуще глаза выкатывает. Упрям!

Последнее слово генерал произнес с особым удовлетворением, но Млынов уже не слушал его. Он поймал ниточку, за которую следовало тянуть, чтобы заставить папашу раскошелиться.

— Совершенно верно, Дмитрий Иванович, — таинственно приглушив голос, сказал он. — Я ведь с тем к вам и прибыл. Известно, сколь предвзято относится к Михаилу Дмитриевичу Его Высочество главнокомандующий, а тут вот-вот долги всплывут.

— Долги? — нахмурившись, протянул Скобелев-старший. — Опять влез?

— Главное, необдуманно векселя подмахнул. Дошел до меня слух, Дмитрий Иванович, что все эти векселя через подставных скупает некое лицо, дабы затем при удобном случае показать их Его Высочеству и тем самым…

— Кто скупает? Ну? Чего молчишь? Какой мерзавец под Скобелевых копать вздумал?

До сей поры Млынов импровизировал почти спокойно, приправляя правду туманными намеками. Но генерал потребовал конкретных имен; на размышление времени не было, и капитан

брякнул, основываясь на интуиции:

— Барон Криденер. Через подставных лиц.

— Ах, колбасник, душу мать! — неожиданно рявкнул генерал. — Ах, немец-перец-колбаса! Ну, врешь, не видать тебе скобелевского позора! — Он сложил корявую дулю и почему-то сунул ее в нос Млынову. — Накося, выкуси!

Он бурно дышал и стал красным как помидор. Млынов начал опасаться, не хватит ли его удар, но генерал был могуч как дуб. Легко вскочив, по-скобелевски метнулся к дверям, развернулся на каблуках и оказался перед капитаном.

— Сколько?

— Много, Дмитрий Иванович, — политично вздохнул Млынов.

— Сколько, я спрашиваю? — взревел старик.

— Тысяч около двадцати, если с процентами.

— Хорошо гуляет, стервец! — неожиданно заулыбался генерал. — Ай да Мишка, ай да гусар! Молодец: знай наших, немецкая твоя душа! Так сколько?

— Коли прикажете, завтра доложу до копейки.

— Сегодня! Через два часа, и чтоб к вечеру рассчитался: лично тебе деньги даю. А этого сукинова сына я все равно ремнем выдеру, нехай себе, что свитский генерал. Ступай, капитан, одна нога

здесь, другая — там.

Заплатить скобелевские долги было еще полдела: оставалось вырвать Михаила Дмитриевича из пьяного круга, протрезвить, привести в чувство, заставить вспомнить о деле и тем самым вновь зажечь в опустошенной душе угасший факел веры в самого себя. Здесь Млынов мог надеяться только на авторитеты, которые признавала самовлюбленная и обидчивая скобелевская натура. Ни Драгомирова, ни Шаховского, ни Столетова в Бухаресте не было, и верный адъютант, поразмыслив, поехал в русскую военную миссию, ведавшую перемещением русских войск, а наипаче — генералов.

В этот беспокойный для Млынова день Скобелев блаженно пил в номере скандально шумной бухарестской гостиницы старое монастырское. На нем был любимый бухарский халат, памятный по анекдоту, который он уже дважды начинал рассказывать незнакомому, но приятному молодому человеку. Молодой человек, беспрестанно улыбаясь, торопливо поддакивал, но Михаил Дмитриевич витийствовал не по этой причине. Истинная причина сидела поодаль на диване, изредка вскидывая ресницы и обжигая генерала обожающим взглядом вишневых глаз.

— Уж к чему у меня способности, так это к языкам. В детстве гувернеры нахвалиться не могли. В особенности немец, пока я ему затрещину не влепил. Н-да. Ну, потом — Париж, Дания, Италия, Испания, Англия… Прошу прощения, мадемуазель, что принимаю в халате: знобит. Да, так о чем это я? А, о халате! Мне преподнесла его депутация уважаемых старцев-аксакалов. Кажется, в Фергане… Но это не важно. Важно, что вышел я к ним в полной форме, но со свирепого похмелья. Свирепейшего! В башке барабанная дробь, звон бокалов и обрывки вчерашней кутерьмы, а тут — седобородые. С этим самым халатом. Я к тому времени уж и по-арабски читал, а поди ж ты! Принял халат, шагнул к старикам и гаркнул: «Господа саксаулы!..» — Он громко расхохотался. — Вместо аксакалов — саксаулы! Вот какой камуфлет мыслей анекдотический… — И вздохнул неожиданно. — В жизни себе этого не прощу. Гадость какая — стариков обидеть.

— Да что вы, ваше превосходительство, — затараторил молодой человек. — Как говорится, кантинэ неглижабль!

— Неглижабль. — Скобелев глянул на заманчивую брюнетку, но та лишь томно ворохнула длинными ресницами. — За милых женщин,

друг мой. За украшение нашей грубой солдатской жизни, за венец творения…

За венец выпить не успели, так как в номер вошел Алексей Николаевич Куропаткин.

— Шел на ваш львиный рык, как на маяк.

— Алеша! — радостно заорал Скобелев. — Алешка, друг ты мой туркестанский, откуда? Дай обниму тебя.

— Вы знаете, Михаил Дмитриевич, мою слабость: я никогда не обнимаюсь при посторонних. А поскольку обняться нам необходимо, то прошу, господа, незамедлительно покинуть номер. Живо, господа, живо, я не привык повторять команду!

Гости ретировались мгновенно, но друзья с объятьями не спешили. Скобелев вдруг обиделся, а Куропаткин разозлился.

— Ну и зря. Брюнеточка страстью полыхала, а ты… В каком виде меня показал перед нею?

— В хмельном, — отрезал Куропаткин, садясь напротив. — Чего изволите делать дальше, ваше превосходительство? Хвастаться победами, ругать тыловых крыс или страдать от непонимания? Я весь ваш репертуар наизусть знаю, так что давайте без антрактов.

Скобелев усмехнулся, налил бокал, неторопли-

во выпил, привычно расправив бороду, сказал трезво и горько:

— Нет, Алексей Николаевич, ничего ты не знаешь. Война здесь другая, не наша какая-то война. Здесь за чины воюют, за ордена, за царское «спасибо», а потому и продают. Меня, думаешь? Да плевать я на себя хотел: эка невидаль для России — еще один талант под пулю подвести. Солдат продают, Алеша, силу и гордость нашу. И меня продавать заставляют. Как вспомню песню, с которой куряне в бой шли, так… Женихами шли! Верили мне, как… как своему верили, понимаешь? И осталась та вера на Зеленых горах…

— Так вернитесь за нею, — тихо сказал Куропаткин. — Не знаю, какой вы полководец, но вы — вождь. Прирожденный вождь, в вас какая-то чертовщина необыкновенная, за вас умирают радостно. Лет этак двести назад вы бы ватаги по Волге водили и княжон персидских в полон бы брали не хуже Стеньки Разина.

— А может и лучше, — не без самодовольства заметил генерал. — Ватаги бы водил, а войска больше не поведу. Не хочу я, чтоб моим именем солдат на бессмысленную гибель обрекали, а посему кончим этот разговор. Хочешь со мной выпить — милости просим, а нет, так ступай

задницу криденерам лизать.

— Или — или? Отчего же такие крайности?

— А оттого, что я — гордый внук славян, как назвал меня Александр Сергеевич. И каждый русский должен всегда помнить, что он — гордый внук славян, а не половецкий холоп и не ганзейский купчишка. И доколе мы будем помнить это, дотоле и останемся русскими. Особливым народом, которому во хмелю и море по колено, а в трезвости — так и вовсе по щиколотку.

— Весьма жаль, что наши славянофилы не слышат этой патетической речи.

— Плевать я хотел на славянофилов. Я уважаю всех людей, особенно если они — мои враги. А глупое славянофильство не уважает никого, кроме себя. Нет уж, Алексей Николаевич, ты меня с этими господами не смешивай, я Россию со всеми ее болячками люблю, без румян и помады.

— А что же на поле брани ее бросили? — Куропаткин подождал ответа, но Скобелев угрюмо молчал. — Нелогично.

— Потерял я право людьми командовать. Уверенность ту ослепительную, что непобедим ты, что каждое слово твое понимают, что с песней на смерть пойдут, коли прикажешь. С песней. — Генерал еще раз тяжело вздохнул. — Вот ты сказал,

что я — вождь, и тут же Стеньку Разина вспомнил. Верно вспомнил, потому что никакой я не вождь, я — атаман. «Делай, как я» — вот и все, что я требую. А сейчас и этого требовать не могу, потому что не верю.

— В победу?

— В необходимость гибели солдат русских не верю! — крикнул Скобелев. — Понасажали старичья в эполетах на нашу голову, а я не желаю кровью солдат своих их тупость оплачивать. Не желаю, не буду и... и в отставку подам. Лучше турнепс разводить.

Он залпом выпил вино, расправил бакенбарды, пересел на диван и взял гитару. Подстроив, негромко запел по-итальянски, но Куропаткин видел, что занят он не песней, а думами и что думы эти тяжелы и тревожны.

— А я-то, дурень, к вам стремился. Мечтал, что пригожусь, что повоюем вместе, как в Туркестане воевали.

— Так в чем же дело? — спросил Скобелев. — Возьми газеты, читай вслух, где дерутся. И рванем мы с тобой, Алеша, куда хошь — хошь в Африку, хошь в Америку. Наберем тысячу молодцов и покажем миру, что такое русская удаль.

Не распахнись дверь, может, и вправду уехал

бы Михаил Дмитриевич Скобелев в чужие земли. Воевал бы за чью-то свободу или стал бы конкистадором, покорял бы народы государям и президентам или сложил бы где шальную голову свою. И не зубрили бы тогда гимназисты его биографию, не ставили бы ему памятников, не называли бы его именем улицы, бульвары и площади. Но дверь распахнулась, и вошел светлейший князь Имеретинский.

— Здравствуйте, господа. Не помешал, Михаил Дмитриевич?

Из-за плеча Александра Константиновича выглядывала всегда хмуро озабоченная, но сегодня прямо-таки источавшая благостное удовлетворение скуластая физиономия капитана Млынова.

3

Столь растерянного Скобелева Куропаткину никогда еще видеть не приходилось, хотя он несколько растерялся и сам: уж слишком неожиданным было появление подобного гостя в скандальной бухарестской гостинице. Михаил Дмитриевич как разинул рот, так с открытым ртом и остался, в то время как Алексей Николаевич нашел силы осторожно и беззвучно переместиться в самый дальний угол. Князь

Имеретинский вежливо улыбнулся и, не обратив внимания ни на хозяина, ни на бухарский халат, ни на бутылки, ни на гитару, сразу же коротко поведал, что образована Ловче-Плевненская группа, в состав которой включен и отряд генерала Скобелева.

— Мой отряд? — глухо спросил Михаил Дмитриевич, все еще пребывая в растерянности. — Помилуйте, какой, собственно, отряд? Остатки курян да потрепанные сотни Тутолмина?

— Не совсем так, генерал. Ваш отряд — шестьдесят четвертый пехотный Казанский полк, батальон Шуйского полка, три батареи четвертой артиллерийской бригады, саперный взвод и прошедшая полный полевой ремонт Кавказская бригада полковника Тутолмина.

Скобелев беспомощно глянул на скромно стоявшего у стены Куропаткина, на невозмутимого адъютанта и медленно провел руками по лицу, окончательно растрепав бороду.

— Простите, ваша светлость, что принимаю вас в таком виде…

— Вы — в законном отпуске, — спокойно сказал Александр Константинович. — С семи утра считаю вас вступившим в должность командира отряда.

— Все же позвольте возразить, — мямлил Скобелев, все еще пребывая в растерянности. — Я самовольно покинул войска и… И не нуждаюсь ни в чьей защите. Даже в вашей, ваша светлость. Я болен, в конце концов.

— Вам, должно быть, известно, что Сулейман отбросил Летучий отряд Гурко к перевалам? — терпеливо выслушав Скобелева, сказал Имеретинский. — Что же будет, если турки вырвутся из-за Балкан? Что делать, если Сулейман соединится с Османом? Отступить за Дунай во избежание полного разгрома?

Скобелев молчал. Млынов вынырнул из-за спины светлейшего князя, расстелил на столе приготовленную карту и тут же вновь отступил к дверям.

— Необходимо брать Ловчу, — вдруг негромко сказал Куропаткин. — Немедленно брать Ловчу, чтобы не дать соединиться Сулейману с Османом-пашой.

Князь впервые посмотрел на молодого офицера. Капитан коротко поклонился.

— Разрешите представиться, ваша светлость. Генерального штаба капитан Куропаткин.

— Очень рад. Следовательно, Михаил Дмитриевич, у вас уже имеется начальник штаба? В таком

случае я беру Паренсова себе.

— Берите, берите. — Скобелев уже впился глазами в карту. — Алексей Николаевич прав: Ловча — основная задача.

— Вот и решайте ее, — улыбнулся князь. — Я даю вам полную свободу действий, Михаил Дмитриевич. А за собою оставляю обязанность защищать вас с тыла.

— Воды! — вдруг крикнул Скобелев. — Что ухмыляешься, Млынов? Два кувшина со льдом, быстро!

Александр Константинович тут же и откланялся, с трудом сдержав улыбку. И был весьма доволен, что так быстро заполучил загадочно притягательного для него генерала со всеми его неуемными страстями. А вот Млынов, окатывая своего командира ледяной водой, улыбки сдержать не сумел.

— Чего скалишься? — недовольно заметил Скобелев, растираясь суровым полотенцем. — Ты у меня впереди коней бегать будешь: войск много, а ты — один. Ординарцев-то пока нет.

— Если согласны статского взять, то один, считайте, уже есть, — сказал Млынов. — Шесть раз приходил, пока вы винцом баловались. Из армии уволен по ранению, но в Россию возвращаться

не торопится. Вольноопределяющийся Федор Мокроусов, не припоминаете такого? Утверждает, что знаком с вами.

— Знаком. — Михаил Дмитриевич припомнил раненых костромичей, повязку на лбу у недоучившегося студента. — Сообразительный парень. Бери, Млынов, не прогадаем.

Скобелев так никогда и не узнал, каких трудов стоило светлейшему князю Имеретинскому упросить императора закрыть глаза на очередную скобелевскую выходку. Даже Паренсов отнесся к его идее весьма неодобрительно:

— Вы взяли на себя тяжелый крест, ваша светлость, Скобелев обладает свойством доставлять массу хлопот своим непосредственным начальникам.

— Если вы, Петр Дмитриевич, порекомендуете мне подчиненного, способного одновременно противостоять как Осману-паше, так и Сулейману, имея в десять раз менее войск, я немедля пошлю за ним.

— Есть такой, только придется самому за ним ехать, — вздохнул Паренсов. — И не в резерв, а в гостиницу.

— Вот я и еду, — улыбнулся Имеретинский.

4

20 августа начались перемещения частей, в смысле которых новый порученец Скобелева вольноопределяющийся Федор Мокроусов и не пытался разобраться. Он получал конкретные задания, доставлял приказы, провожал командиров частей до указанных пунктов, возвращался и почти тотчас же скакал с новыми поручениями. Вскоре скобелевцы охватили Ловчу со всех сторон: Кавказская бригада была заблаговременно брошена в глубокий обход. Ловча оказалась взятой в клещи: оставалось лишь сжать их.

— Завтра надавим — и хрустнет орешек, — сказал Тутолмин. — Отужинаете со мной, Мокроусов?

— Благодарю, полковник, увы. Тотчас же и назад.

— Да уж, не дай бог скобелевским порученцем быть. Какую ночь в седле?

— Не считал! — крикнул Федор, вскакивая на коня.

Он воротился к вечеру, отдал лошадь конвойцам, наспех перекусил с казаками и заглянул в штабную палатку. Палатка разделялась пологом на две неравные части: в первой, узкой, стоял стол

дежурного и походная койка для ординарцев.

— Тутолмин на позициях, — доложил Макроусов: за пологом слышались голоса. — Где Млынов?

— Вами интересовался. Обождите тут.

Дежурный беззвучно скользнул за полог, а Федор сразу завалился на койку: тело ломило от ежедневных скачек. Но тут выглянул Млынов, шепнув:

— Сам тебя спрашивал.

Порученец прошел за полотнище и остановился у входа. Брезентовые занавеси окон были подняты, но уже темнело, и на большом дощатом столе, устланном картами, горели две лампы. Возле стола в походном кресле сидел князь Имеретинский, вокруг толпились генералы и множество офицеров.

— Ключом обороны Ловчи является высота Рыжая, — докладывал Скобелев. — Высота сильно укреплена, и нам придется громить ее артиллерией, пока противник не отойдет за обратные скаты. Тогда и только тогда следует атаковать ее пехотою, но непременно в сопровождении пушек, чтобы прикрыть солдат поелику возможно. Господам офицерам запомнить и довести до понимания каждого рядового следующее.

Первое — противник патронов не жалеет, следовательно, сближение с ним должно быть особо стремительным. Второе — турки целиться не любят и бьют, как правило, положив винтовки на бруствер; задача каждого офицера — уловить зону поражения и миновать ее единым броском. И третье — огонь противника особенно опасен для частей стоящих или, упаси Бог, отступающих, так что уж извольте командовать только вперед. Только в атаку! Вы согласны со мной, Александр Константинович?

Имеретинский, спрятав улыбку, молча кивнул. Потом спросил:

— За высотой — река Осма. Она проходима?

— Не везде, ваша светлость, — ответил Куропаткин. — В местах бродов болгары обещали поставить условные знаки.

— Сколько пушек у Рифата-паши?

— Восемь орудий.

— Если понадобятся резервы, сообщите через капитана Жиляя.

— Не понадобятся, ваша светлость.

— Следовательно, приказ о штурме может исходить только от вас, Михаил Дмитриевич, — улыбнулся князь. — Если вопросов нет, предлагаю господам командирам выехать к частям.

— Мокроусов вернулся? — спросил Скобелев, проводив Имеретинского.

— Так точно, Михаил Дмитриевич. — Федор шагнул к генералу.

— Проводи генерала Добровольского до места и будь на связи с его колонной.

Сопровождать Добровольского пришлось уже в темноте, и Федор никаких ориентиров так и не запомнил. Возвращался один, стараясь держаться левее, чтобы не угодить к туркам, и приехал уже под утро. Устал до невозможности, на сон оставалось часа три, и, доложив дежурному, он сразу же завалился на койку.

Проснулся от грохота: в пять утра все батареи Скобелева одновременно открыли огонь. Земля ощутимо вздрагивала, полотнища палаток полоскало от тугих ударов потревоженного воздуха, и тут уж стало не до сна.

— Чего маешься? — спросил Млынов. — Поднимись на горку — с нее все как на ладони.

Рыжая выглядела сейчас уже не рыжей, а скорее огненной: на ее скатах беспрестанно рвались снаряды. Всплески разрывов, клубы дыма, комья земли фонтанами взлетали в воздух, рев и грохот больно били в уши.

— Зажали мы турок! — с восторгом прокричал

Федору капитан Жиляй.

Адъютант Имеретинского был прав: артиллерия зажала противника, методически расстреливая его укрепления. Федор посмотрел направо, куда вел ночью Добровольского. Он скорее угадал, чем увидел войска, стоявшие в боевых порядках, и вздохнул с облегчением, поняв, куда скакать, если Скобелев пошлет его с приказом.

Вскоре к ним поднялся Скобелев — как всегда, в белом кителе, с Георгием на шее, — Куропаткин, Млынов, дежурный офицер и немолодой полковник-артиллерист. Генерал долго рассматривал в бинокль Рыжую и высоты правее ее.

— Отменно работают артиллеристы! — прокричал полковник. — Точно и слаженно!

— Слаженно, да не точно, — отозвался Скобелев. — Второй час по одному месту — это, по-твоему, точно?

— Дальность не позволяет, Михаил Дмитриевич, — развел руками полковник.

— Дальность?.. Млынов, прикажи Василькову выдвинуться как можно ближе к туркам.

Млынов молча побежал к батареям. Федор видел, как из общей линии отделилась четверка орудий. Впереди размашистой рысью ехал командир в нижней рубахе. Ездовые нещадно

гнали лошадей, позади грохотали зарядные ящики и фуры.

— Мастеровой выехал, — с удовольствием отметил Скобелев. — Сейчас он им покажет кузькину мать.

— Что же он без мундира? — удивился полковник.

— Обет дал, — невозмутимо пояснил генерал. — Алексей Николаевич, что это турки на огонь не отвечают, а?

— Сам удивляюсь.

— Хитрит Рифат-паша, не хочет до времени орудия обнаруживать. Ничего, заставим. Как только Васильков пристреляется, подкиньте ему еще парочку батарей. Посмотрим, у кого нервы крепче. Сколько Рифату лет?

— Сорок пять, что ли.

— Не «что ли», а докладывать точно! — строго сказал Скобелев. — Я должен знать, с кем воюю, а посему приказываю изучать врага досконально, вплоть до имен его любовниц. Теперь вот извольте гадать, почему он на огонь не отвечает. То ли страх, то ли выдержка, то ли расчет — что у него на уме?

Рифат-паша ответил вдруг, но совсем не так, как можно было бы предположить. Оставив без

внимания все орудия, громившие Рыжую гору, он обрушил пушечный и ружейный огонь на колонну генерала Добровольского.

— Что он стоит? — закричал Скобелев. — Мокроусов!..

Федор ринулся вниз, к подножью горы, не дожидаясь приказа: он был уверен, что знает этот приказ. Вырвав поводья у казака, вскочил в седло, с места дав шпоры. Дорогу вспоминать было некогда, и он помчался напрямик.

— Куда это он? — удивленно спросил генерал.

— К Добровольскому, — пожал плечами Куропаткин.

— Идиот, его же убьют сейчас!

— Авось проскочит.

— Авось?! — заорал Скобелев. — На авось девки рожают, а не сражения выигрывают. Вот Рифат-паша на авось не воюет; он точно мое слабое место нащупал. Так двинул по сопатке, что искры из глаз. А этот… Жив он еще?

— Скачет, — сказал Млынов, не отрываясь от бинокля.

— Хотел бы я знать, с каким приказом! — продолжал бушевать Скобелев. — Ведь не спросил даже! Не поинтересовался! Может, я хотел воды у него попросить… Чтоб духу его к вечеру не было,

если живым вернется!

Федор мчался, приникнув к напряженно вытянутой, мокрой от пота лошадиной шее. Он схватил не свою лошадь, стремена оказались не по ноге, и очень боялся, что она споткнется. Может, от этого, а может, и от уверенности, что пуля его не тронет, он не обращал внимания на обстрел. На том же аллюре вылетел из-за кустов, оказавшись перед фронтом готовых к бою шеренг.

— Вперед! — Он спрыгнул с седла. — Вперед!..

— Вы привезли приказ? — спокойно осведомился Добровольский.

— В атаку! — крикнул Федор. — Именем генерала Скобелева!

— Господа офицеры! — помедлив, отдал приказ генерал.

Барабанщики ударили дробь. Офицеры вырвали сабли из ножен, и колонна, дружно, как на параде, шагнула навстречу турецкому огню.

— Бегом! — кричал Федор. — Сближение опаснее всего!.. Он бежал впереди в английском костюме для верховой езды, коротких сапожках и нелепой каскетке: именно этот наряд и вселял уверенность, что турки в него целиться не станут. Позади грузно топала пехота, все убыстряя шаг.

На возвышенности все молчали. Вопреки диспозиции, колонна Добровольского начала атаку раньше штурма Рыжей горы. Бой грозил перевернуться с ног на голову, но Скобелев умел подчинить общей идее любую случайность. Поэтому Куропаткин с академическим спокойствием отметил:

— Восемь двадцать три. Генерал Добровольский начал атаку Осминских высот.

— Прекрасно начал, — сказал Скобелев. — Жиляй, доложи его светлости об инициативе Добровольского и переброс батарею прикрыть его фланг.

— Слушаюсь!

— Прикажете играть общую атаку? — спросил Куропаткин.

— Зачем? Все батареи — на линию Василькова. Ну, Рифат-паша, не ожидал ты такого афронта? — Михаил Дмитриевич азартно расхохотался. — Проверим, что ты за полководец, сейчас я тебе окончательно все карты спутаю. Млынов, вели расчехлить знамена, а оркестрам — беспрерывно играть марши!

— Парад? — с долей иронии спросил артиллерист.

— Парад, полковник, — улыбнулся Скобе-

лев. — Услышав оркестры и увидев мои знамена, Рифат-паша решит, что я готовлю общую атаку, и не станет спешить с резервами. А пока разберется, Добровольский уцепится за берег Осмы.

Аскеров с береговых возвышенностей вышибли быстро: не получив подкреплений, они сопротивлялись вяло. Задохнувшиеся от бега и короткой рукопашной солдаты падали на гребнях береговых высот. Федор сидел в кукурузе, вытирая каскеткой мокрое лицо.

— Разрешите представиться, поручик Василенко.

Федор оглянулся. Чуть ниже стоял молодой офицер в расстегнутом мундире. Нижняя рубашка была — хоть выжимай.

— Вас просит генерал.

Добровольскому пришлось пробежать изрядный кусок, продираться сквозь кустарник, и выглядел он весьма усталым.

— Исполнили, — сказал он Мокроусову. — А что это вы все впереди бежали?

— Я еще не добежал…

Федор имел в виду переправу через Осму. Поручик Василенко понял его и поддержал:

— Порученец прав, ваше превосходительство. Не худо бы нам через речку перемахнуть, пока

турки не опомнились.

— Каким образом, поручик? Аки посуху?

— Брод, — Федор еще не отдышался от бега и говорил отрывисто. — Болгары обещали броды обозначить.

— Что — брод, — вздохнул Добровольский: ему очень не хотелось вновь бросать своих солдат под пули. — Тот берег гол, как блин. Даже кустов нет.

— Там — мельница, — пояснил Василенко. — Если мы в ней закрепимся…

— Ну, попробуйте, — с неохотой согласился генерал: он ни за что бы не рискнул, но Скобелев ценил самостоятельность. — Отберите полсотни охотников, больше не надо.

Пока поручик собирал охотников, Федор внимательно вглядывался в противоположный берег Осмы, ища обещанные знаки. На том, противоположном берегу лежало несколько лодок, и кроме них ничего не было. А что-то непременно должно было быть: Мокроусов знал, как тщательно готовится к каждому сражению Куропаткин. Он еще раз всмотрелся, разглядывая каждую лодку, и вдруг заметил, что одна из лодок лежит носом к реке.

— Видите лодку носом к нам?

— Вижу. — Поручик оглянулся на доброволь-

цев. — За мной, ребята. Бегом и — точно за мной!

С бродом Федор не ошибся: воды оказалось чуть выше колена. Не ожидавшие этой атаки турки опомнились, когда все уже были на низменном левом берегу. Бежавший последним порученец кожей ощутил прожужжавшую пулю и тут же упал на землю.

— Ранены? — спросил Василенко.

— Ложись! — кричал Федор. — Надо под пули нырнуть! Под пули! Ложись!

Подобной команды не было в практике армии, но Мокроусов кричал столь убедительно, что солдаты сразу залегли. И даже поручик, помедлив, нехотя опустился рядом.

— Это что-то новое, Мокроусов, — проворчал он.

— Как только снизят прицел, вскочим и — рывком к мельнице.

На возвышенности не успели еще оценить внезапного броска стрелков через реку, как вдруг все они разом попадали на землю.

— Неужто одним залпом выбили их? — растерянно сказал артиллерист.

Скобелев продолжал напряженно глядеть в бинокль. Он знал, что один ружейный залп не в состоянии уложить добрую полусотню солдат,

соображал, что же произошло и какую выгоду от этого мог получить бой в целом.

Группа вскочила одновременно и явно по команде. Турки едва успели вскинуть винтовки, как все солдаты уже скрылись за оградой мельницы.

— Да они пуль испугались! — презрительно заметил Жиляй. — Какой позор!..

— Молодцы! — громко воскликнул Скобелев. — Ну, получил Рифат-паша подарочек: мост-то теперь под ружейным огнем. Млынов, узнай, кто скомандовал вовремя упасть. Георгия ему за то, что солдат спас и задачу выполнил. Алексей Николаевич, готовь общую атаку. — Он щелкнул крышкой часов. — Ровно в двенадцать — сигнал!

А уволенный со службы и внезапно представленный к награде вольноопределяющийся Федор Мокроусов сидел под стеной. Уже при входе в мельничный двор турецкая пуля рикошетом угодила в голову. Все плыло перед глазами, и порученец с трудом улавливал слова бинтовавшего его солдата.

— Ничего, барин, контузия это. Спасибо тебе солдатское, господин хороший, что уберег нас. Кабы не ты — ни в жисть бы нам до этой мельницы не добежать…

— Второй раз, — еле ворочая языком, сказал

Федор. — Второй раз — и все в голову…

Глава седьмая

1

Взятие Ловчи и полный разгром ее гарнизона были высоко оценены не только русской армией. Александр пожелал лично заслушать доклад светлейшего князя. Сдержанный Имеретинский, вкратце обрисовав ход сражения, все эмоции выразил в последней фразе:

— Героем дня был генерал Скобелев.

Фраза эта, попавшая в официальную реляцию и подхваченная газетами, обошла весь мир. К Скобелеву стучалась не только мировая слава, но и народная любовь.

Перед третьим штурмом Плевны русская армия была усилена тридцатью двумя тысячами румын. В предвкушении победы император соизволил лично наблюдать за сражением, а общее командование возложил на румынского короля Карла. Фактически, естественно, руководить штурмом обязан был командир шестого корпуса генерал Зотов, но так как вместе с Александром II прибыл и военный министр Милютин*, и главнокоманду-

ющий светлейший князь Николай Николаевич, то не только единоначалие, но и просто четкое управление войсками было утрачено еще до начала сражения.

Генеральный штурм был назначен на 30 августа. День этот был днем тезоименитства императора всероссийского, а посему о дне штурма знали все — и солдаты, и офицеры, и сам Осман-паша. Причем последний знал и готовился со всей свойственной ему решимостью, волей и пониманием психологии противника.

— Русские будут атаковать Гривицкие редуты, — сказал он на военном совете. — Дайте им бой, отступите и заприте их там перекрестным огнем. И бросьте все табуры к Зеленым горам.

Наступление предварили четырехдневным артиллерийским обстрелом. Канонада приятно воодушевляла высоких гостей, но особых результатов не дала: турки успели глубоко зарыться в землю. Первыми это испытали на себе румынские войска. Они атаковали злосчастные Гривицкие редуты, уже обильно политые кровью костромичей в первом штурме и солдат Вельяминова — во втором. Союзники в конце концов ворвались-таки в редуты, понеся весьма ощутимые потери. Следовало немедленно подбросить резервы уста-

лым и обескровленным колоннам, но князь Карл жалел свою молодую необстрелянную армию, Зотов — свою обстрелянную, и в результате турки отошли в полном порядке, тут же накрыв редуты сосредоточенным огнем.

Уже казалось, что сражение проиграно, что кровавые атаки не дали никаких результатов, что Осман-паша по-прежнему прочно удерживает позиции, умело оперируя резервами и усмехаясь в черную бороду. Казалось, но если бы… Впрочем, в итоге и там только «показалось», но показалось столь грозно, что турецкий главнокомандующий приказал срочно выводить обозы из Плевны. Осман-паша поверил в свое поражение, а русское командование так и не нашло в себе сил уверовать в собственную победу.

Ловченской группировке сама судьба указала наступать по тому самому пути, по которому во время второго штурма атаковал маленький, по сути, сторожевой отряд Скобелева. Тогда Осман-паша был открыт с юга, но он был умен и дальновиден, и, зная тупое постоянство русского командования, не забывал об Ак-паше. Скобелева ждали не только регулярные части, но и два мощных редута, выросших у самых плевненских предместий.

С вечера 29-го начался дождь, глинистая почва размокла, но перенести день ангела императора было невозможно. И пока именинник принимал поздравления, тысячи русских солдат и офицеров в насквозь промокших мундирах шли под картечь и пули, с трудом волоча облепленные грязью сапоги.

В тяжелом мокром тумане шел Владимирский полк. Он был встречен таким огнем, что залег и смешался. А полыхающий беспрерывными залпами туман не рассеивался, солдаты падали на крутых склонах, командиры теряли подчиненных.

— Господа офицеры, ко мне! — закричал Скобелев, появившись на белом коне среди бестолково метавшихся групп. — Ваша честь — там, на третьем гребне! Так ступайте за нею!

Офицеры собрали солдат, молча, под проливным дождем двинулись вперед. Скобелев терпеливо обождал, пока они не скрылись в тумане, и вздохнул:

— Понял Осман-паша, чего наши стратеги до сей поры понять не в состоянии: вот дверь в Плевну. За честь почту когда-либо руку ему пожать.

Возвращался генерал другой дорогой. Он ехал медленно, вглядываясь в молочную завесу и

вслушиваясь в неспешно разгоравшееся сражение. И вскоре наткнулся на солдат, сидевших под обрывом. При виде генерала солдаты вскочили, вперед шагнул офицер:

— Капитан Гордеев. Собираю отставших.

— Что, ходить в атаку несколько хлопотнее, чем болтать с солдатами?

— Вы несправедливы ко мне, ваше превосходительство. Я не давал повода…

— Повод дают коню, капитан. Офицеру вручают честь.

— Клянусь этой честью, что не сойду с того места, до которого дойду живым. Даже несмотря на ваш приказ, генерал.

— Тогда постарайтесь, чтобы избранное вами место было как можно ближе к Плевне.

Скобелев дал шпоры и бросил коня в карьер. К часу пополудни скобелевцы уже прочно закрепились на третьем гребне Зеленых гор. Впереди лежала знакомая низина с разбухшим от дождя ручьем, глинистый, растоптанный отступающими аскерами подъем и два новых редута. Вверху уже начал редеть туман, но клубы его, перемешанные с пороховым дымом, сползали в низину: густая серая мгла разделяла сейчас солдат Скобелева и аскеров Османа-паши.

— Задачка, — вздохнул Куропаткин. — Солдаты потеряют офицеров в тумане, опять кутерьма начнется.

— Музыкантов сюда, — сказал Скобелев. — Расчехлить знамена, играть марш, наступать в строевом порядке.

Скобелев нашел способ борьбы с туманом, свято верил, что преодолеет огненный заслон, но против грязи, крутизны и топких берегов Зеленогорского ручья он был бессилен. В три часа загремели оркестры, взметнулись знамена, и полки пошли на штурм редутов, тогда именовавшихся Кованлык и Иса-Ага, а после этих кровавых дней нареченных Скобелевскими.

Скатились к ручью, с трудом преодолели его и залегли, прижатые жестоким огнем.

— Все резервы — в бой!

Свежий полк и два батальона шуйцев вдохнули новые силы в атакующих. Последние сажени были пройдены, и началась рукопашная. Из редутов вырастали все новые и новые цепи, тысячи людей, скользя и падая, остервенело дрались на мокрых скользких скатах.

— Чуть! Еще чуть, ребята!.. — кричал Скобелев, хотя прекрасно понимал, что никто его не слышит.

— Они не выдержат! — крикнул всегда невозмутимый Куропаткин. — Прикажите отступать, резервов более нету!

— А мы с тобой, Алексей Николаевич? Мы и есть последний резерв. Коня!..

Скобелев первым доскакал до войск: лошади Куропаткина и Млынова завязли в топях Зеленогорского ручья. Появился вдруг, с саблей в руке. Мокрый, с растрепанной бородой, в заляпанном грязью белом сюртуке.

— Последний рывок, ребята! Последний! Не приказываю — прошу! За мной!..

Смяв конем аскеров, прорвался, поднял лошадь и послал ее через глинистый откос. Лошадь свалилась в редут, генерал с трудом удержал ее на ногах, рубя саблей растерявшихся турок. Он не оглядывался, он знал, что его солдаты пойдут за ним. И когда начала падать проткнутая штыками лошадь, а его самого стали весьма бесцеремонно стаскивать с седла, он ни секунды не сомневался, что стаскивают его свои. Только тогда опомнился и стал различать лица: до этого в глазах стояло что-то однообразно враждебное.

— Никак, ты, Васильков?

На сей раз хмурый бомбардир был в грязном, изодранном мундире. На левой щеке чернела

рваная рана, кровь текла по усам.

— Лучших фейерверкеров привел. А пушки, ваше превосходительство, у турок отбить придется, наших сюда не дотащишь.

В редуте захватили два орудия и снаряды. По счастью, наводчики уцелели в рукопашной, но их командиру Скобелев решительно приказал отправляться в тыл.

— Ты мне еще пригодишься, Васильков.

Бой шел уже в садах Плевны. Скобелев хотел задержаться, но Млынов привел коня, и офицеры чуть ли не силой выпроводили генерала в тыл. За командира остался Куропаткин.

В то время, когда скобелевцы отчаянно отбивали беспрестанные атаки турецких аскеров, а Осман-паша уже приказал выводить обозы и готовить прорыв по Софийскому шоссе, государь-именинник сокрушенно вздохнул:

— Неудача.

— Скобелев удерживает Зеленые горы, Ваше Величество, — осторожно заметил военный министр Милютин.

— Надолго ли? — спросил главнокомандующий. — Если его сомнут, турки немедленно ринутся к Свиштову. Сражение проиграно, нужно озаботиться безопасностью государя. Пусть

Скобелев пока сковывает противника, резервов ему более не давать. Все резервы — на защиту путей отступления.

Через несколько минут после этого решения скобелевцы ворвались и закрепились в редуте Иса-Ага — последнем турецком укреплении перед Плевной. Брешь была пробита: оставалось лишь вкатиться в город, подтянув свежие силы. Но командиры этих свежих сил уже получали приказы на отвод своих частей: прикрывать бегство державного именинника и его гостей.

Вскоре из Скобелевских редутов притащили обожженного, сильно контуженного Куропаткина. Командуя захваченными турецкими орудиями, он успел крикнуть: «Первое, пли!..», когда вражеская граната попала в зарядный ящик. Взрывом капитана подбросило выше валов. Каким-то чудом он упал на ноги, успел крикнуть: «Второе, пли!..» — и потерял сознание. В командование вступил генерал Добровольский, смертельно раненный через несколько минут, его заменил генерал Тебякин, — впоследствии тяжело контуженный, но успевший организовать массированный огонь. Турки откатились к окраине Плевны, и бой затих.

Первые обозы уже тронулись из городка, когда

Осман-паша вдруг прислушался и сказал:

— Если я слышу, как скрипят колеса, значит, русские прекратили штурм?

— Русские атакуют только со стороны Зеленых гор, — пояснил начальник штаба.

— Слава аллаху, они не поверили в мое поражение, — бледно улыбнулся турецкий главнокомандующий. — Верните обозы.

Скобелев был у Зотова. Вопреки обыкновению он не шумел, не требовал. Он только просил:

— Хотя бы полк. Свежий полк.

— У меня нет более полков, Михаил Дмитриевич, голубчик, поверьте же мне наконец. Все резервы — в руках Его Высочества. Он держит дорогу к переправам.

— Стратеги…

— Я попрошу генерала Крылова с зарею атаковать турок, — помолчав, сказал Зотов. — Это поможет вам вывести из боя войска.

— Какие войска?.. — вздохнул Скобелев. — Мертвые не выходят из боя, генерал. Они в нем — навсегда.

Помолчал, поклонился и вышел. Уже в сумерки прибыв на позиции, выехал на скат перед ручьем. Вдалеке чуть виднелись редуты, редкая перестрелка шла за ними, на окраине города. Там

добивали его солдат, а он ничего не мог поделать, чтобы спасти их.

— Раненых подобрали?

— Всех, Михаил Дмитриевич, — ответил из-за плеча Млынов.

— Как там Куропаткин?

— Оглушен и обгорел. Кости целы. — Адъютант помолчал. — Правее вас — в темном, на лошади. Видите?

— Да.

На левом фланге турецких войск смутно виднелась черная фигура. Всадник стоял впереди стрелковой линии одиноко, не шевелясь, положив руки на луку седла.

— Не ты разгромил меня, Осман-паша, — тихо сказал Скобелев. — Свои враги постарались. Природные.

Он согнулся, судорога пробежала по телу. Млынов осторожно коснулся его плеча:

— Михаил Дмитриевич…

— Оставь! — Скобелев резко выпрямился. — Если утром Крылов и впрямь начнет атаку, своих отведем. Сейчас нельзя, сомнут их в темноте.

Осман-паша упредил вспомогательный удар Крылова: его аскеры начали бешеный штурм Скобелевских редутов еще затемно. Турки бросили в

бой не только резервы, но и таборы с тех направлений, где русские прекратили наступление.

— Мокроусов, проберись в редуты. Пусть отступают, как только Крылов начнет атаку.

Лощина Зеленогорского ручья простреливалась турками, сумевшими на заре потеснить левый фланг Скобелева. Федор перебегал, прыгая через трупы. Свалился в редут, когда там только-только отбили очередную атаку.

— Шестая, — вздохнул пожилой фельдфебель. — Из докторов будете, что ли?

— Нет, я с поручением. Где командир?

— Ваше благородие, с поручением тут! — крикнул фельдфебель.

Подошел капитан в заляпанном кровью и грязью мундире.

Осунувшееся лицо было в глине, виднелись лишь проваленные, безмерно уставшие глаза.

— Капитан Гордеев. Что принесли — помощь или обещания?

— Приказано отступать, как только генерал Крылов перейдет в атаку.

— Отступать, значит. — Гордеев спиной сполз по глинистой стене бруствера в красную от крови лужу. — Мои солдаты были в Плевне, и, представляете, двое даже сумели вернуться. Нет, он

действительно демон, так и скажите ему.

— Сами скажете, капитан.

Гордеев отрицательно покачал головой. Потом усмехнулся:

— Что такое честь, думали когда-нибудь?

— Честь неотделима от Родины, капитан.

— Честь Родины — нести свободу народам, а не завоевывать их, но я не о том. Извините, мысли путаются, трое суток не спал. Умереть, не выспавшись, — это смешно, не правда ли?

— Странно вы шутите.

— Странно? Страна у нас странная, вот и шутим мы странно. У нас — восторженная история, вы не находите? Не по сути своей восторженная, а по способу запоминания. И во всех нас таится этот подспудный восторг памяти, а кто подтверждает этот восторг, тот — вождь, трибун, идол, за которым мы готовы идти, очертя голову. Помирать — так с музыкой. Как вчера помирали.

— Вы о Скобелеве говорите?

— Я о восторге говорю. Сегодня его Скобелевым зовут, завтра другой придет — суть не в этом. Суть в том, что коли есть идея в войне, то восторг наш природный сразу как бы на фундамент опирается. И тогда нам никто не страшен, никто и ничто… Кажется, бой завязался? Уши мне зало-

жило… — Гордеев встал. — Все правильно, атака. Забирайте солдат, знамена и… прощайте.

— А вы?

— Генералу скажите, что капитан Гордеев остался там, докуда дошел. Вот прямо так и скажите. Слушай приказ, солдаты! Всем покинуть редут и спасти боевые знамена. Живо, ребята, живо, пока турки не опомнились!..

Уже в логу, пропуская мимо себя солдат, тащивших раненых и два батальонных знамени, Мокроусов оглянулся. И вздрогнул.

На брустверe редута Кованлык открыто, в полный рост стоял капитан Гордеев, скрестив на груди руки — с правой на темляке* свисала сабля. Он смотрел вперед, на Плевну, откуда со штыками наперевес бежали турки…

Третий штурм Плевны стоил России тринадцати, а Румынии — трех тысяч жизней. Русская армия прекратила бессмысленные попытки сокрушить Османа-пашу и стала переходить к правильной осаде, постепенно стягивая кольцо. Руководить блокадой было предписано герою Севастопольской обороны генералу Тотлебену*. В кровавой истории Плевны наступил новый этап.

Немногим позднее государственный секретарь Половцев записал в своем дневнике:

«Слава Скобелева растет ежедневно. Когда он едет по лагерю, все солдаты выбегают из палаток с криками „Ура!“, что до сей поры делали для одного государя. Скобелев — умен, решителен и безнравственен — таковыми были кесари и Наполеон. Белый китель и белая лошадь дразнят турок и восхищают солдат. Николай Николаевич старший его ненавидит, и в последнее Плевненское дело письменно запретил посылать ему подкрепления, а получи он их и удержи редуты, так и Плевна была бы нашей…»

Глава восьмая1

Вокруг грозных Плевненских укреплений неотвратимо стягивалось кольцо блокады. Войска закапывались в землю, строили позиции для артиллерии, прокладывали дороги и — ждали. Ждали, когда Осман-паша либо покинет город, либо сдастся на милость, поскольку не сможет прокормить свой гарнизон. Основной путь его снабжения — шоссе на Софию — уже трещал по всем швам под ударами собранных в единый кулак русских кавалерийских частей.

Шестнадцатая пехотная дивизия, начальником которой после третьего штурма Плевны был назначен Михаил Дмитриевич Скобелев, получила самостоятельный участок. Осень 1877

года выдалась как на грех ранней, холодной и дождливой. Прозорливое интендантство, поспешившее вычеркнуть из списков поставок зимнее обмундирование, пыталось кое-как наверстать упущенное, а солдаты и офицеры тем временем мокли под проливным дождем и стыли на пронизывающем ветру. По всей армии прокатилась волна простуд и заболеваний, однако Скобелеву удалось избежать этого повального бедствия. Как только начался сезон дождей, он специальным приказом обязал офицеров сократить до минимума количество постов и укоротить смены часовым.

— За здоровье людей отвечаешь ты, Алексей Николаевич, — сказал он Куропаткину.

— Сапоги разваливаются, какое уж тут здоровье, — вздохнул Алексей Николаевич.

— В лапти переобуй, — не задумываясь, посоветовал Скобелев.

— Лапти, Михаил Дмитриевич, еще сплести надо. И, между прочим, из лыка.

— Из лыка, говоришь? Тогда собери мастеров, я сам с ними потолкую.

Уже через день мастера — в большинстве пожилые, степенные — собрались в большой землянке. Тихо переговаривались, не очень понимая, для

чего, собственно, их собрали. И молча вытянулись, когда вошел начальник дивизии.

— Здорово, мастера! — Скобелев водрузил на стол разбитый донельзя солдатский сапог. — Вот задача: обуть эту развалюху в лапти, а лыка нет. Как быть, решайте сами.

— А чего же тут решать? — удивились мастера. — Эка важность, что лыка нет. Коли нет, так и не надо, мы и из соломы сплетем. Не хуже лыковых будут.

Уже через неделю часовые месили окопную грязь в огромных соломенных лаптях, надетых поверх сапог. Но Михаилу Дмитриевичу и этого показалось мало. Тщательно обследовав все части дивизии, поговорив с офицерами и потолковав с солдатами, 13 октября он написал приказ:

«Лагерь наш слишком скучный. Желательно было бы, чтобы чаще горели костры, пели бы песни; назначать по очереди перед вечернею зарею в центре позиции играть хору музыки. Разрешается петь и поздно вечером. Во всех ротах обратить серьезное внимание на образование хороших песельников: поход без песни — грусть-тоска!»

Однако как Скобелев ни старался вникнуть в нужды и настроения солдат вверенной ему дивизии, сколько ни писал своих по-суворовски

озорных приказов, все равно что-то оставалось в тени, недоступное его требовательному взгляду. Он любил нагрянуть внезапно, но и эта, ставшая уже поговоркой скобелевская внезапность удавалась далеко не всегда: генерал был на виду. И открыть ему глаза суждено было уже не военному, а служащему только по собственному желанию бывшему студенту, ныне георгиевскому кавалеру и его личному порученцу Федору Мокроусову.

Война изменилась, а с нею изменились и обязанности порученца. Теперь Федору не приходилось скакать, загоняя лошадей, с боевыми приказами, разводить части по позициям и передавать устные распоряжения. Теперь он, помогая штабным офицерам, мотался по тылам, канцеляриям и складам, добывая портяночное полотно и нательные рубахи, вымаливая внеочередные сапоги и выпрашивая трофейные шинели. Война для него словно вдруг повернулась по команде «Кругом!», показав свой целехонький, жирный, неприглядный зад: взяточничество интендантов, пьянство тыловиков, картежные игры с тысячными банками поставщиков-посредников. И все они горестно вздыхали, бормотали громкие слова о долге и патриотизме, клянясь в отсутствии того,

о чем он просил, выразительно шевеля при этом цепкими пальцами. Федор доказывал, ругался, умолял и грозил, но возвращался, не исполнив приказа, куда чаще, чем с рапортом об его исполнении.

Как-то он возвращался под вечер после одной из таких пустых поездок: улыбчивые снабженцы ловко отказали в просьбе выделить дивизии трофейные одеяла для лазаретов. Топал по грязи, с ненавистью вспоминая холеные лица и блудливые глаза, и в упор столкнулся с незнакомым поручиком, наотмашь хлеставшим по щекам низкорослого солдата в грязной, насквозь промокшей шинели. Солдатик стоял навытяжку, дергая головой после каждой пощечины, и молчал.

— Вот тебе, скотина, вот!..

— Прекратить! — Мокроусов рванул офицера за плечо. — Как смеете?..

— Вы это мне, сударь? — выдержав паузу, со зловещим удивлением спросил поручик.

— Иди, — сказал Федор солдату.

Но солдат дисциплинированно не двинулся с места: приказание господина в длинном пальто и шляпе с мокрыми обвислыми полями его не касалось. Он лишь посмотрел на Мокроусова

тоскливыми покорными глазами и вновь преданно уставился на офицера.

— Ступай. — Поручик дождался, когда солдат уйдет, натянуто улыбнулся. — Вы что-то хотели сказать?

— Я хотел сказать, что вы — мерзавец, поручик. А поскольку мерзавцы мерзости своей не понимают, то восчувствуйте ее.

И с силой ударил поручика по щеке. Офицер дернулся, рука его метнулась к кобуре; возможно, он бы и пустил в ход оружие, но неподалеку показалась группа солдат.

— Я пристрелю вас, господин порученец. Рано или поздно…

— Зачем же поздно? Завтра в семь утра я буду ждать вас в низине за обозным парком. — Федор коротко кивнул и не оглядываясь зашагал к штабу: доложить об очередной неудаче.

Вечером он попросил Млынова быть его секундантом. Адъютант потребовал подробностей, молча выслушал и спросил:

— Наскучило служить, Мокроусов?

— Полагаете, что он непременно убьет меня?

— Полагаю, что Михаил Дмитриевич вышвырнет вас из дивизии при любом исходе.

— А вы ему не говорите. Идет война, и никто не

застрахован от турецкой пули.

— Это — мысль, — усмехнулся Млынов. — Тогда идите-ка спать, господин дуэлянт.

Выпроводив Федора, адъютант тут же разыскал Михаила Дмитриевича, которому и доложил о предстоящей дуэли. Поступил он так не потому, что беспокоился за Мокроусова, и даже не по долгу службы, а из неприятия самих дуэлей как средства улаживания ссор. Ему, отнюдь не дворянину, а всего лишь сыну обер-офицера, глубоко претило дворянское спесивое кокетство с собственной жизнью без особой к тому необходимости.

— Поручика арестовать, провести дознание, — хмуро распорядился Скобелев. — А вольнопера — вон. Хотя и жаль.

— Мокроусов не виноват, Михаил Дмитриевич, — зная генеральскую вспыльчивость, Млынов говорил осторожно. — Уверен, если бы на ваших глазах били человека, который не может защищаться, вы бы тоже не удержались от пощечины.

— Да?.. — Скобелев недовольно посопел. — В семь у них рандеву? Ну что же, все должно быть по правилам. Поезжай.

Со временем Мокроусов промахнулся: в семь

утра в низине было еще темным-темно. Однако они с Млыновым приехали точно, а вскоре пожаловала и противная сторона. Оскорбленный поручик Сампсоньев и его секундант, крайне недовольный всем происходящим.

— Господа, — сказал он, представившись. — Я прошу вас не по кодексу дуэли, а исходя из более высоких принципов немедленно примириться. Дуэль во время боевых действий да еще в расположении дивизии чревата…

— Нет! — резко перебил Мокроусов.

— Примирения не будет, — сказал Млынов. — Извольте, господин секундант, пройти со мной и определить места.

Поручик и порученец отчужденно молчали, пока не вернулись секунданты. Федору выпал второй номер, и он, взяв у Млынова револьвер, пошел на позицию, чавкая сапогами по болотной топи.

— Готовы? — спросил секундант.

— Готов! — откликнулся Мокроусов.

— По команде начинайте сходиться. После первых трех шагов имеете право стрелять.

— Прощения прошу, но первый выстрел за мной, — сказал поручик. — Я — лицо оскорбленное.

— Нет уж, это я прощения прошу, — ворчливо донеслось из редеющего тумана: к дуэлянтам приближался Скобелев. — Оскорбили вы, поручик. Оскорбили дивизию, в которой по недоразумению числитесь, оскорбили мундир, офицерскую честь, боевого товарища. Вот сколько оскорблений, и вам лишь ответили на них, съездив по физиономии. А так как прежде всего оскорблена моя дивизия, то стреляться вам придется со мной, ее командиром.

— Ваше превосходительство, — растерянно залепетал не на шутку испугавшийся поручик. — Я… я…

— Не трусьте, — презрительно поморщился Михаил Дмитриевич. — Я не претендую на первый выстрел. Мокроусов, где вы там? Идите сюда, а я отправлюсь на ваше место. Кто должен подать команду, господа?

— Но это же невозможно, ваше превосходительство, — запинаясь, еле выговорил секундант.

— Отчего же невозможно? — усмехнулся Скобелев. — Подстрелить штатского возможно, а подстрелить генерала — уже невозможно? Эполеты мешают? Так не беспокойтесь, я — в сюртуке. Без эполет и даже без Георгия. Млынов, прими пальто. — Он сбросил форменное пальто на руки

невозмутимому адъютанту. — Надеюсь, никто не подсунул моему порученцу незаряженный револьвер?

— Я проверил, ваше превосходительство, — спокойно подтвердил Млынов.

Подошел Федор. Сказал ворчливо:

— Михаил Дмитриевич, вы поставили меня в нестерпимо ложное положение.

— Бог подаст, — отрезал Скобелев; он взял у Мокроусова револьвер, взвел курок. — Итак, жду сигнала.

— Ваше превосходительство! — отчаянно закричал поручик. — Я не могу, ваше превосходительство!.. Не могу, не смею…

— В воздух выстрелить не смеете? — насмешливо спросил Млынов.

— Я… я не могу… — лепетал поручик, опустив голову. — Поднять руку на вас…

— А на солдата можно? — вдруг бешено выкрикнул Скобелев. — Можно, я вас спрашиваю?.. — Он неожиданно вскинул револьвер, не целясь, выстрелил, и с головы поручика слетела фуражка. — Пуля в лоб тебя ожидала, мерзавец, вот ее-то ты и испугался.

Все подавленно молчали. Генерал бросил револьвер секунданту, сказал:

— Суд чести, Млынов. Суд чести по обвинению в трусости. Возьми у него саблю.

Повернулся, пошел. Млынов торопливо сунул генеральское пальто Мокроусову, кивком послал его следом. Федор нагнал Скобелева, на ходу набросил пальто на плечи:

— Наденьте, Михаил Дмитриевич, здесь сыро. И позвольте заметить, что вы скомпрометировали меня, после чего мне остается лишь покинуть вашу дивизию.

— Ну и правильно, — проворчал Скобелев. — Шляются тут всякие господа в шляпах, бьют офицеров по мордасам — разве это порядок? — Вдруг остановился, потыкал пальцем в грудь Мокроусова. — Приказываю немедля подать прошение о допущении тебя к экзамену на офицерский чин. И сегодня же представить мне.

2

Суд чести предложил поручику Сампсоньеву немедленно подать в отставку и покинуть расположение дивизии. Не довольствуясь этим, Скобелев приказал собрать выборных нижних чинов и лично выступил перед ними.

Он говорил о славе русского оружия, о солдатской доблести и отваге, приводя примеры не

столько из истории, сколько из личного опыта. Выборные слушали очень внимательно, но их сосредоточенные, замкнутые лица не выражали ровно ничего. Скобелев ощутил это дисциплинированное, показное внимание, улыбнулся невесело:

— Барам не доверяете? Всегда, мол, болтали, ну и пусть себе болтают? Ну, так я — не барин, я — генерал, то есть такой же солдат, как и вы. А дед мой был крепостным мужиком, на царской рекрутчине двадцать годков отломал и дослужился до офицерского чина за геройство при Бородине. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана…» — слыхали, поди? Ну, так вот, любой из вас может стать офицером, по крайней мере, в моей дивизии. Может, если будет примерным солдатом, верным долгу и боевому товариществу. О чем и прошу всем рассказать. Своим же товарищам солдатам, которые выбрали вас на этот совет.

Хотя последняя генеральская тирада и вызвала некоторое оживление, Скобелев проведенным совещанием остался недоволен. Интуитивно он чувствовал, что между ним и солдатами существует что-то недоговоренное, непонятное ему, какая-то стена, мешающая искреннему то-

варищескому общению. Он пытался выяснить причины этого непривычного для него недоверия, каждый вечер ходил к солдатским кострам, заводил беседы, но везде встречал странную, непонятно от чего возникавшую стену. Это было и необычно, и крайне неприятно для него: уж он-то доселе всегда находил с солдатами общий язык, беседуя с ними так, как привык беседовать со всеми — искренне, горячо и убежденно. Такое общение всегда вызывало радостное оживление и дружный отклик, внушало ему веру в особую преданность, в особую, «скобелевскую» стойкость его солдат. А сейчас что-то нарушилось, привычной искренности не возникало, равно как и прежних сияющих улыбок. Солдаты либо отмалчивались, либо отвечали с подчеркнутой тупостью и только по-уставному «так точно» да «никак нет».

— Перестарались ваши ретивые фельдфебели, господа командиры, — сказал он офицерам, собранным через неделю. — Делают из наших боевых товарищей олухов царя небесного. До того замордовали солдата, до того затуркали, что он уж и улыбаться не решается. Поэтому прошу особо похлопотать о том, чтобы люди в ответах не были деревянными и чтоб задолбленными сло-

вами впредь не отвечали. Пусть лучше говорят бессвязно да свое, да чтобы видно было понимание, чем уставные слова болтать, как попугаи. Дружбы нет в окопной жизни нашей, а коли нет сейчас, так и в бою ее не будет.

Он не видел иной причины, кроме никчемной муштры, угнетавшей и унижавшей солдат. Это было просто, понятно и объяснимо. И неизвестно, как бы повернулась дальнейшая судьба 16-й пехотной дивизии, если бы однажды в офицерскую землянку не вошел Куропаткин с солдатским котелком.

— Вот из чего пекут солдатам хлеб, ваше превосходительство, — сказал он, поставив котелок перед начальником дивизии. — И вот вам — причина.

В серой, издававшей гнилостный запах муке ползали жирные белые черви. Скобелев долго разглядывал их и молчал.

— Так, — вздохнул он. — Красивые слова болтаем, а жрать то даем, от чего и свинья отвернется. Извольте ознакомиться, господа командиры.

Он отдал котелок офицерам, хмуро задумался. Потом сказал Млынову, не глянув на него:

— Мокроусова сюда.

Адъютант вышел. Скобелев продолжал угрюмо

молчать, пока офицеры передавали друг другу котелок. А когда Млынов вернулся с порученцем, сказал отрывисто:

— Выяснишь, кто поставил это дерьмо, и… Словом, без свежей муки не являйся.

Федор поклонился и вышел. Скобелев молчал, сосредоточенно размышляя. Землянка гудела возмущенными репликами офицеров.

— Позор, — вздохнул Скобелев. — Позор всей дивизии и прежде всего позор нам, господа. Виновные понесут наказание, но… Надо кормить солдат, а мой порученец когда еще доставит обоз. Значит… — Он неожиданно улыбнулся. — Вчера казначей выдавал жалованье, все получили? — Достал из внутреннего кармана пачку ассигнаций, бросил на стол. — Выкладывайте. Если кто успел проиграться за ночь, пусть платит выигравший. Это наша вина, а следовательно, и наш долг, господа офицеры. Алексей Николаевич, собери деньги и через маркитантов достань муку. Чтобы в ужин солдаты ели пышки!..

И, развернувшись на каблуках, быстро вышел из землянки.

3

Кольцо Плевненской осады с каждым днем стягивалось все туже. Захватив опорные пункты турок на Софийском шоссе, Тотлебен обрек армию Османа-паши на голодный паек и столь непривычную для нее экономию боеприпасов. Русские копали день и ночь, постепенно приближаясь к турецким позициям. Это сковывало Османа-пашу, мешало маневрировать резервами, то есть вышибало из его рук козырную карту, с помощью которой он малой кровью отражал все предшествующие штурмы. Талантливому и решительному турецкому полководцу отныне отводилась роль, противоречившая его характеру.

— У турок на три, от силы — на пять дней продовольствия, — сказал Тотлебен на военном совете. — Учитывая это, полагаю, что Осман-паша попытается прорвать осаду. Прошу командира гренадерского корпуса Ивана Степановича Ганецкого и генерала Скобелева быть предельно внимательными.

Вечером 27 ноября турки прекратили ружейный огонь по частям Скобелева. Обеспокоенный этим, Михаил Дмитриевич тотчас же разослал разведывательные группы, а через полчаса один

из секретов привел перебежчика.

— Осман-паша с рассветом уйдет из Плевны.

Скобелев сразу же уведомил Тотлебена и Ганецкого. И вовремя: разведка донесла, что турецкие траншеи опустели.

— Вперед, — распорядился генерал. — Занять турецкие позиции и неотступно следовать за противником.

Получив сообщение от Скобелева, Ганецкий выслал дозоры к Плевне со строгим приказом не открывать огня и не мешать противнику выходить из города.

— Гренадеры встают быстро, а посему солдатам спать, — сказал он. — Тревогу играть по моей ракете, а отсюда следует, что господам офицерам придется бодрствовать.

Ночь на 28 ноября выдалась темной и холодной. Сторожевые посты ничего не видели, но слышали нарастающий гул, шум шагов и скрип обозов. Не сомкнувший всю ночь глаз Ганецкий получал донесения об этом через каждые полчаса.

Предутренняя мгла долго не давала разведчикам рассмотреть, что происходит возле переправ через реку Вид. А шум все нарастал и нарастал, и когда наконец-таки утреннее марево стало рваться, передовые посты увидели противника.

Рядом с каменным мостом через реку турки за ночь возвели еще один из тесно составленных повозок, крытых фашинами и досками. По мостам сплошным потоком шла пехота, выстраиваясь в боевой порядок на противоположном берегу. Не успевшие переправиться густые массы аскеров, артиллерия и обозы покрывали весь Плевненский берег.

Осман-паша бросал на прорыв всю свою армию.

Глава девятая

1

— Слава Тебе, Господи! — торжественно перекрестился Ганецкий, получив донесение об этом. — Сигнал! И общая тревога!

В небо взвилась ракета, по всей линии русских войск зарокотали барабаны. И тотчас же турецкие батареи с возвышенности у моста открыли огонь. Бой начался. Еще били барабаны, еще выстраивались колонны, а Ганецкий, пришпоривая коня, уже мчался к передовым траншеям, занятым сибирскими гренадерами.

— С праздником вас, Иван Степанович, — при-

ветствовал старого генерала начальник штаба полковник Маныкин. — Противник стремится в бой, не закончив переправы.

— А кто это впереди, с биноклем? — заинтересованно спросил Ганецкий. — Усищи из-за щек торчат?

— Представитель главнокомандующего Александр Петрович Струков. Только что прибыл.

— Что насмотрел, Струков? — спросил Ганецкий, подъезжая.

— Две особенности, Иван Степанович. Во-первых, турки не ведут ружейного огня, а во-вторых, машут развернутым знаменем. — Струков протянул бинокль. — Извольте взглянуть.

Ганецкий сдвинул на затылок фуражку лейб-гвардии Финляндского полка, которую надевал только в боях, и по-стариковски неторопливо взял бинокль. Приладив, долго всматривался в турецкие цепи, которые продолжали развертываться в заиндевелой низине.

— Что не стреляют, понятно: патронов мало, — сказал он, возвращая бинокль. — А знамя поглавнее. Оно зеленое, Струков. Это — знамя Пророка, и значит, отступать они не будут. Ну что ж, тем лучше. Маныкин, резервы береги. Мне точно знать надобно, куда Осман рвется: к Софии или

к Дунаю. Это тебе поручаю, Струков. Не упусти момент, когда их обозы заворачивать начнут.

— Они пошли в атаку! — крикнул Струков. — Да как стремительно! Черт возьми, молодцы турки!..

— Артиллерии открыть огонь, — буднично распорядился Ганецкий. — Ну, сибиряки, вам насмерть стоять.

Аскеры с ружьями наперевес мчались через поле. Русские батареи открыли огонь, осыпая атакующих шрапнелью, но турецкие солдаты, закаленные штурмами и верой в своего непобедимого вождя, сегодня не замечали ни пуль, ни снарядов. На месте убитых появлялись новые воины, зеленое знамя металось вдоль всего фронта: турки неудержимо рвались вперед. Им предстояло пробежать по низменной равнине, и они пересекли ее, несмотря на то что гренадеры на последних сотнях шагов начали залповый огонь. Аскеры падали десятками, живые, не задерживаясь, топтали мертвых и раненых, и дикие крики «Алла!..» уже заглушали ружейную пальбу.

Вслед за атакующими на рыжем жеребце ехал всадник в черном. Когда аскеры, добежав до первой линии русских траншей, ворвались в нее, завязав штыковой бой, он придержал коня,

наблюдая за рукопашной, мановением руки посылая в атаку все новые и новые таборы. Над головой рвалась шрапнель, жеребец, приседая, прядал ушами, но Осман-паша, сдерживая его, не ведал страха.

Свежие таборы турок волнами накатывались на первую траншею, где шла ожесточенная схватка. Большая часть сибиряков легла в этом бою, выиграв несколько драгоценных минут. Завладев траншеей, турки без малейшей передышки ринулись на вторую линию, но часть их, внезапно изменив направление, атаковала русскую батарею. Артиллерийская прислуга была переколота, но тут подоспел Малороссийский полк. Гренадеры с ходу бросились в бой, пособив изнемогающим сибирякам, и все смешалось во второй линии — сибиряки, турки, украинцы, лязг оружия и рев сотен глоток.

— Прикажете поторопить резервы? — нервничая, спросил Ганецкого полковник Маныкин. — Турки жмут небывало. Мне только что сообщили, что малороссийцы уже потеряли трех батальонных и свыше половины ротных командиров.

— В последней линии задержим, — спокойно сказал Ганецкий. — Впрочем, ради солдатской уверенности прикажите Лашкареву стать позади

третьей линии. А резервы придержите, я еще не понял, куда рвется Осман-паша. Коли противник не спешит с резервами, то и нам торопиться не след.

Яростного порыва турок хватило, чтобы выдержать рукопашную и взломать вторую линию окружения, но силы их были подорваны. Вырвавшись из траншей на предполье третьей линии, они бежали тяжело и медленно. Оценив это, опытный генерал Рыкачев приказал архангелогородцам с вологодцами открыть огонь. Встреченные залпами в упор уже выдохшиеся аскеры залегли, ожидая помощи из глубины, откуда по обеим мостам все еще переправлялись войска и артиллерия. В штурме наступило некоторое затишье, пользуясь которым Лашкарев развернул позади последней линии своих спешенных кавалеристов.

— Турецкие обозы и артиллерия смещаются к левому флангу! — неожиданно закричал Струков.

— Вот куда он рвется: к Дунаю. — Спокойствие вдруг оставило невозмутимого Ивана Степановича. — Фанагорийцев и астраханцев на левый фланг! Бегом!

Ординарцы помчались к резервам, но старый

генерал уже не мог ждать. Теперь, когда Осман-паша наконец-таки открыл свои карты, когда выяснилось, что отчаянный натиск на центр был всего лишь отвлекающим маневром, Иван Степанович отчетливо понял бой. Следовало перекрыть дорогу к Дунаю, встретить Османа-пашу контрударом свежих частей, окружить и — добить. Все решала быстрота, и Ганецкий, вскочив на коня, помчался навстречу подходившим резервам.

Фанагорийский гренадерский полк имени Александра Васильевича Суворова поспешал к месту сражения бегом. Ганецкий встретил его на подходе, придержал коня.

— Вот так и в атаку, братцы, с хода, с бега! — срывая голос, закричал он. — Помните, чье имя носите, ребятки!..

Фанагорийцы и следовавшие за ними астраханцы, не перестраиваясь, с марша ударили в штыки, сковав турецкие резервы. И сразу же Рыкачев бросил в бой свои испытанные в Плевненских штурмах полки. Вологодцы и архангелогородцы смяли турок, выбив их из занятых траншей. Турки смешались, но не побежали, а отошли в относительном порядке.

Рукопашные кончились, начался затяжной ог-

невой бой. Выдвинув вперед стрелков и подтянув артиллерию, Осман-паша под их прикрытием собирал новый кулак. На рыжем скакуне — личном подарке султана — турецкий полководец метался по всему фронту, приводя в порядок свои войска. Его черную фигуру все время видели наблюдавшие за сражением офицеры штаба.

В начале двенадцатого часа фигура грозного турецкого командующего неожиданно пропала, скрытая густым снарядным разрывом. Не оказалось Османа-паши и тогда, когда рассеялся дым. И еще никто не успел высказать какого бы то ни было предположения, как огонь турок стал ослабевать, а стройные колонны изготовившихся к атаке аскеров задвигались, забеспокоились…

— Неужели Осман-паша погиб? — растерянно спросил полковник Маныкин. — Или приказ какой неожиданный?.. Турки бегут, Иван Степанович. Бегут!..

…Неудержимая паника вдруг охватила турецкие войска, еще совсем недавно столь ожесточенно и неутомимо штурмовавшие русские позиции. Стрельба прекратилась, фронт дрогнул, и таборы ринулись к переправам, назад, в Плевну.

— Общая атака! — крикнул Ганецкий. — Огонь по мостам. Прижать к реке и уничтожить.

Русские войска дружно бросились в атаку, артиллерия громила мосты, где турецкие солдаты кулаками и оружием прокладывали себе путь сквозь встречные колонны, ломая перила, сбрасывая в воду людей, повозки, орудия…

— Победа, — с огромным облегчением вздохнул Струков. — Это победа, Иван Степанович.

— Не торопись, сглазишь, — проворчал старый генерал. — Солнышко всходит, но еще…

Он вдруг замолчал: на мосту через Вид в копошащейся людской массе кто-то отчаянно размахивал белым флагом. Флаг колебался, исчезал, возникал снова…

— Прекратить огонь! — крикнул Иван Степанович. — Остановить войска!

Трубы запели отбой. Смолкла артиллерия, ружейная пальба, крики: на залитое кровью, заваленное телами убитых и раненых поле сражения обрушилась тишина.

Дрогнувшей рукой Иван Степанович снял фуражку, широко, торжественно перекрестился.

— Дай поцелую тебя, Струков. Кончилась Плевна…

2

Русские войска, остановившиеся там, где застали их трубные звуки отбоя, молча наблюдали за спешным отходом турок на другой берег. В отходе уже не было никакой паники — турецкие офицеры сумели навести порядок — на мосту по-прежнему размахивали белым флагом, но никто не торопился сообщать русскому командованию, что Плевненский гарнизон готов сложить оружие. Минуты тянулись, безмолвное противостояние продолжалось, белый флаг развевался, а ясности не было. Ганецкий спокойно выжидал, но молодые офицеры его штаба уже выказывали нетерпение.

— Очередная хитрость, господа. Осман понял, что здесь ему не прорваться и сейчас ударит в другом месте.

— Что делать, Иван Степанович? — тихо спросил Маныкин. — Вдруг они и вправду перегруппировываются сейчас под белым флагом? Осман-паша хитер.

— Перегруппировываются?.. — Ганецкий с сомнением покачал головой. — Нет, Маныкин, тут сила силу сломала. Сообщи Скобелеву, что противник возвращается в Плевну.

Ординарец был тотчас же отправлен, но Михаил Дмитриевич уже вошел в город. Скобелевцы продвигались осторожно, не вступая в соприкосновение с противником и никоим образом не препятствуя ему покидать Плевну. Скобелев намеревался ударить туркам в спину, вытеснив их из города, чтобы затем зажать между гренадерами Ганецкого и своей дивизией в пойме реки. Но бой прекратился раньше, чем он успел втянуться в город; Скобелев остановил продвижение, приказав закрепиться, и начал спешно подтягивать резервы и артиллерию. И тут к нему примчался порученец Ивана Степановича.

— На разрозненную стрельбу противника не отвечать, — распорядился Михаил Дмитриевич, прочитав записку Маныкина. — Сейчас главное — выдержка.

Турки выслали парламентера лишь после того, как отвели все войска за реку. Они стояли там огромной колышущейся массой и в город, похоже, возвращаться не собирались.

— Адъютант его высокопревосходительства Османа-паши Нешед-бей, — по-французски представился парламентер.

— Я буду вести переговоры только с вашим командующим, — сказал Ганецкий.

Струков перевел его условие Нешед-бею. Адъютант горестно развел руками:

— Осман-паша ранен, ваше высокопревосходительство.

— Опасно? — быстро спросил Ганецкий, не дожидаясь перевода.

— Осколок повредил ногу. К счастью, кость не пострадала, как уверяет его врач Хасиб-бей.

— Слава богу, судьба бережет хороших полководцев. — Иван Степанович помолчал, размышляя. — Струков, напиши-ка ты депешу Осману-паше, что я согласен на переговоры через его особо на то уполномоченное лицо.

Струков тут же набросал записку. Ганецкий подписал ее, отдал Нешед-бею, сказал неожиданно:

— Поезжай-ка и ты к Осману, Александр Петрович. А то разведем тут канцелярию.

— Для меня это — великая честь, — заулыбался Струков. — Благодарю, Иван Степанович.

— Условие одно: полная и безусловная сдача.

Струков выехал с ординарцем, казаком-коноводом и адъютантом Османа-паши Нешед-беем. Они на рысях миновали расположение русских войск, усеянное трупами поле и придержали коней у моста, где под белым флагом ожидал

турецкий паша. Приложив руку к груди, поклонился, сказав на хорошем французском:

— Позвольте представиться. Тахир-паша, начальник штаба его высокопревосходительства Османа-паши. Поскольку командующий ранен, он покорнейше просит пожаловать к нему. Мне же приказано ожидать вашего командующего.

Послав ординарца, Струков решил ждать Ганецкого у моста. Тахир-паша, откланявшись, внезапно куда-то ускакал, и со Струковым остался только казак да подавленно молчавший Нешедбей. Охрана моста поглядывала с откровенной ненавистью, а весь противоположный берег, до отказа забитый вооруженными аскерами, угрожающе гудел. Ярость только что вышедших из боя воинов еще не улеглась, и Струков понимал это. Толпа демонстративно потрясала оружием и готова была в любое мгновение пустить его в дело.

— Зверские рожи, ваше благородие, — шепнул казак. — Того и гляди…

— Вот и гляди, а за шашку не хватайся.

Подскакал Ганецкий с почетным конвоем улан. Струков начал было докладывать, но Иван Степанович не слушал его, глядя на вооруженную толпу за рекой.

— Сорвись сейчас случайный выстрел — опять кровища польется. Ступай к Осману немедля, Струков. Коли подтвердит сдачу, за мной еще раз пришлешь.

Струков тронул коня. Миновав молчаливую стражу на мосту, стал подниматься по шоссе, тесня угрюмых, очень неохотно уступавших дорогу аскеров. За ним следовали казак и Нешед-бей. Они уже приближались к караулке, когда неожиданно перед конем Струкова взметнулось зеленое знамя.

— Ла-илла, илала, ва Магомед расуль алла! — тонким голосом истошно завопил худой иссохший старик в чалме.

— Прикажите прекратить! — резко крикнул Струков Нешед-бею, сдерживая испуганно всхрапывающего коня. — Не хватайся за шашку, казак.

Казак, тяжело вздохнув, послушно отвел руку, непроизвольно метнувшуюся к оружию. Вокруг потрясали винтовками аскеры. Нешед-бей, встав на стременах, повелительно крикнул. Старик юркнул в толпу, знамя исчезло, и солдаты нехотя расступились.

У караулки Струков спешился, кинул поводья казаку и, не ожидая Нешед-бея, вошел в мазанку.

В первой комнате было много офицеров, повсюду валялись рассыпанные патроны, оружие и плавали густые облака табачного дыма.

— Где Осман-паша? — громко спросил Струков по-французски. — Я прибыл на переговоры.

Один из офицеров молча указал на закрытую дверь. Струков раздвинул стоявших на пути, распахнул дверь и шагнул через порог.

В маленькой комнатке с единственным окошком на деревянной скамье сидел Осман-паша. Левая нога его была обнажена, над раной трудился немолодой доктор. На командующем был черный сюртук, расшитый галунами, но без орденов и знаков отличия; на поясе висела кривая сабля в дорогих ножнах. В углу комнаты, скрестив руки, молча стоял Тахир-паша.

Струков отрекомендовался. Осман-паша жестом пригласил его сесть, но Струков, поблагодарив, продолжал стоять из уважения к раненому полководцу.

— Я имею честь явиться по приказанию генерала Ганецкого, чтобы поздравить ваше высокопревосходительство с блестящей атакой и сообщить, что генерал Ганецкий ждет вашего подтверждения полной и безоговорочной сдачи.

Струков говорил по-французски, видел, что

Осман-паша понимает его, но по каким-то своим соображениям предпочитает перевод. Переводил Нешед-бей, неслышно скользнувший в комнату вслед за Струковым. Выслушав его, паша надолго задумался. Потом медленным, ровным голосом сказал что-то своему врачу.

— День следует за днем, но Аллах не дарует людям одних удач, — тихо перевел адъютант.

— На все воля Всевышнего, — сказал Струков.

Вздохнув, Осман-паша медленно покивал, соглашаясь. В комнате опять повисло молчание, и стало слышно, как за дверью громко спорят офицеры.

— Я покоряюсь этой воле. — Осман-паша со спокойной горделивостью взглянул на Струкова. — Мои войска сложат оружие. Мой адъютант повторит мои слова вашему генералу.

Переведя это, Нешед-бей поклонился и тотчас же вышел. В комнатке вновь воцарилась тишина, но вскоре вошел молодой офицер. С удивлением посмотрев на Струкова, наклонился к командующему и что-то сказал. Осман-паша чуть улыбнулся, словно ожидал услышать именно то, о чем доложил офицер.

— Пока мы сражались, генерал Скобелев занял Плевну, — пояснил Тахир-паша.

Снаружи послышался шум, в комнату стремительно вошел Ганецкий. Снял повидавшую не одно сражение лейб-финляндскую фуражку, протянул руку Осману-паше:

— От всей души поздравляю! Вы великолепно вели атаку, великолепно, генерал!

— Кисмет! — вздохнул Осман-паша.

— Да, судьба, — согласился Иван Степанович: он не нуждался в переводчике, тут же по-турецки спросил, не беспокоит ли рана.

— Скоро буду ходить. Правда, в плену.

— Вы — герой Турции, а значит, и весьма почетный пленник.

Ганецкий сел на скамью, и оба генерала долго разглядывали друг друга. Осман-паша смотрел серьезно и грустно, а седой Ганецкий улыбался. И с той же улыбкой сказал:

— Однако прикажите все же войскам сложить оружие.

Осман молчал, продолжая задумчиво смотреть на своего победителя. Ганецкий спокойно ждал, понимая, как тяжело турецкому полководцу, которому султан пожаловал титул «гази» («непобедимый»), отдать такое повеление. И все молчали, только врач осторожно брякал медицинскими инструментами.

— Скоро начнет темнеть, — тихо сказал Струков, посмотрев на свои часы.

— Я прошу вас, генерал, не задерживать более с приказанием, — мягко повторил Ганецкий.

— Первым его должен исполнить я. — Осман-паша тяжело вздохнул и снял с себя саблю.

Ганецкий встал. Осман обеими руками протянул ему оружие, и старый генерал столь же торжественно, в обе руки принял его.

— Я полвека воюю с вашей страной, генерал, — тихо сказал он. — С двадцать восьмого года, во всех войнах. Но я и мечтать не смел, что когда-нибудь приму оружие из рук лучшего полководца Турции. Может быть, у вас есть какие-либо желания, генерал? Если они в моей власти, я исполню их.

— Желания? — Осман-паша чуть улыбнулся. — Я бы хотел увидеть генерала Скобелева.

— Ждите его здесь, генерал.

Осман вежливо склонил голову, тут же вскинул ее и строго посмотрел на своего начальника штаба.

— Чего вы ждете после того, как ваш командир сложил оружие?

И повелительным жестом указал на дверь. Тахир-паша почтительно поклонился и пошел к

выходу. Проходя, сказал Струкову:

— Сейчас армия сложит оружие. Соблаговолите присутствовать?

— Проследить, — приказал Ганецкий. — Вызови караульные команды и немедля пошли за Скобелевым.

Струков вышел вместе с Тахиром. В первой комнате по-прежнему толпились офицеры, гудели сдержанные голоса. И по-прежнему плавали облака табачного дыма.

— Командующий отдал свою саблю, господа, — сказал начальник штаба. — Прошу немедленно пройти к частям и обеспечить порядок сдачи оружия.

Сказав это, Тахир-паша вышел из караулки, и Струков последовал за ним. У входа стоял конвой Ганецкого. Распорядившись о караульных командах, Струков отозвал корнета и приказал разыскать Скобелева. Корнет вскочил на коня и помчался в Плевну, а Струков поспешил за Тахиром-пашой, который быстро поднимался на прибрежный холм. Поднявшись, повернулся к войскам и, воздев руки к небу, начал что-то кричать, а Струков тем временем всматривался в суровые лица аскеров. Исхудалые, истощенные голодом и боями, они оставались по-прежнему

грозной силой, по-прежнему верили в своего полководца и по-прежнему горели решимостью сражаться до конца, и Александр Петрович впервые за этот день ощутил не только восторг победы, но и огромное облегчение. Самая боеспособная и опытная армия противника сдавалась русским войскам вместе с лучшим полководцем Османской империи.

Но сдавалась эта армия медленно и крайне неохотно. Глухой рокот пробегал по сгрудившейся солдатской массе, кое-где вновь упрямо взметнулись винтовки. Тахир-паша вырвал из ножен саблю, выкрикнул что-то и бросил ее к ногам Струкова. За ним стали бросать оружие офицеры, что-то объясняя аскерам, выталкивая из рядов самых несговорчивых и отбирая у них винтовки. Разоружение шло тяжело, многие солдаты в знак несогласия разбивали о камни свои прекрасные многозарядки, ломали штыки и ятаганы, разбрасывали патроны, сталкивали в реку орудия и зарядные ящики.

А над всей этой с такой неохотой разоружавшейся армией с того берега уже гремело ликующее «ура!», и первые караульные команды вступали на мост…

3

Победное «Ура!» донеслось и до Плевны, где его восторженно подхватили скобелевские войска. Сам генерал в это время работал со штабом, отдавая не только боевые приказы, но и распоряжения по поддержанию порядка в городе. Только что к нему прискакал отец, получивший приказание главнокомандующего принять под свою опеку пленных и трофейное имущество. Одновременно великий князь, уже знавший, что Скобелев-младший вступил в Плевну, сказал:

— Коли вступил первым, так и быть ему там губернатором.

В голосе Николая Николаевича звучало откровенное раздражение, вызванное стремительной самостоятельностью Михаила Дмитриевича, но старый рубака по простодушию не заметил этого, а приказ передал с удовольствием.

— Растешь, Михаил, — не без гордости добавил он. — Получается, что я у тебя в подчинении. Дожил, как говорится.

Однако Михаил Дмитриевич не склонен был разделять отцовского торжества. Он сразу понял, что Его Высочество главнокомандующий этим почетным назначением обрекает его на пассив-

ное пребывание в тылу. А за окнами продолжали воодушевлено кричать «ура!», и это очень раздражало.

— Мокроусов, узнай, с чего они там орут. А заодно найди Млынова.

— Не орут, а воинский победный восторг выражают, — строго поправил отец, когда порученец вышел. — Османке хребет сломали, а ты — орут!

— Османке, — проворчал сын. — Нам бы таких «Османок» хоть парочку.

Вошел непривычно оживленный Млынов. Еще с порога крикнул:

— Ура, Михаил Дмитриевич!

— Ура, — подтвердил генерал. — Пока они там «ура!» кричат и ликуют, разыщи-ка ты мне, Млынов, у местных купцов добрых полушубков. На крайний случай, овчин: полушубки сами пошьем.

— Сколько?

— Столько, чтобы дивизию одеть: интендантство солдат без подштанников на зиму оставило. Заранее скажи, что оплачу деньгами, а то попрячут. Ступай.

Млынов ушел, ни о чем более не спрашивая, поскольку все уже сообразил. А старший Скобелев, насторожившись, перестал безмятежно

улыбаться.

— Это ж какими деньгами ты за всю дивизию оплатишь? В карты, что ли, выиграл? Так ты в них отродясь не выигрывал, насколько мой карман помнит.

— Князь Имеретинский обещал средства изыскать, — как можно естественнее сказал Скобелев, склоняясь над бумагами, чтобы спрятать усмешку.

— Имеретинский? — с сомнением переспросил старик. — Ну, это другое дело, ежели Имеретинский.

— Нарочный от генерала Ганецкого, — доложил Мокроусов, появляясь в дверях. Юный корнет, розовый от воодушевления и скачки, влетел в комнату. Звякнув шпорами, доложил, что генерал Ганецкий просит тотчас же прибыть к Осману-паше генерала Скобелева.

— Какого именно Скобелева? — простовато спросил Михаил Дмитриевич.

Ему вдруг по-мальчишески захотелось, чтобы отец присутствовал при этой встрече. Потому-то и прикинулся непонимающим и даже немного растерянным. И — угадал.

— Обоих, ваши превосходительства! — не задумываясь, гаркнул корнет, поскольку не получил

от Струкова ясных указаний.

Оба Скобелева прискакали к шоссейной караулке, когда разоружение уже закончилось. Турецкие офицеры строили угрюмых, подчинившихся своей участи аскеров под наблюдением русских конвойных команд. Ганецкий уехал с докладом к главнокомандующему, и всем распоряжался Струков. Он радостно приветствовал Михаила Дмитриевича, с некоторым удивлением — его отца и приказал Нешед-бею доложить об их прибытии Осману-паше.

— Он вас представит, а меня извините, ваши превосходительства. Дел по горло.

— Аскеров накормить надо, Александр Петрович, — сказал Михаил Дмитриевич.

— Хлеб вот-вот подвезут, я распорядился. А с мясом до утра обождать придется.

Вернулся Нешед-бей и с поклоном пригласил генералов в караулку. Оба Скобелева последовали за ним; в первой комнате уже не было офицеров, а размещались тяжело раненные: здесь работал Хасиб-бей и двое русских врачей. Адъютант распахнул дверь во вторую комнату, и генералы вошли в нее.

Осман-паша сидел на прежнем месте, но встал с помощью подскочившего адъютанта. С недо-

умением посмотрев на седого генерала, сначала почтительно поклонился ему, а затем протянул руку Скобелеву-младшему и что-то сказал, улыбнувшись.

— Его превосходительство говорит, что пожимает сейчас руку будущему русскому фельдмаршалу, — перевел Нешед-бей.

— Передайте паше, что я искренне завидую ему. Он оказал своей родине неоценимую услугу.

Когда адъютант перевел, Скобелев представил отца. Осман-паша еще раз почтительно поклонился, но продолжал смотреть только на молодого генерала.

— Судьбе угодно было, чтобы я отдал свою саблю генералу Ганецкому, но было бы куда справедливее, если бы я вручил ее вам, Ак-паша, — наконец сказал он. — Вы дважды заставили меня подумать о поражении, а значит, и дважды победили. — Он вежливо улыбнулся старику. — Я с почтительнейшим удовольствием поздравляю вас, генерал, с великим сыном.

— Ничего, — невпопад ответил Дмитрий Иванович, растерянно погладив усы. — Пил бы поменьше, так и вовсе цены бы ему не было.

Неизвестно, как перевел эту фразу Нешед-бей, но Осман-паша тихо рассмеялся.

— Кровный скакун спотыкается чаще рабочей лошади.

Скобелева резанула эта покровительственная похвала. Он был военным не просто по призванию, а по особому складу души, где все, все решительно подчинялось восторженному азарту боя, ослепительной уверенности в победе и убежденности в своей правоте. Он всегда уважал противника, кто бы им ни был, но при этом внутренне требовал и ответного уважения. Не к себе — для этого он был достаточно самоуверен, — а к делу, которому служил.

— Подобный афоризм я могу адресовать и вашему превосходительству.

Осман-паша продолжал улыбаться, но из этой улыбки уже уходила искренняя теплота.

— После третьего штурма Плевны с поля боя выбрался солдат. Я навестил его в лазарете, и он рассказал, как на его глазах добивали моих раненых, паша.

— Война жестока. Кроме того, это делали башибузуки.

— Это были ваши воины, Осман-паша, — отчеканил Скобелев. — Вам известно, что у нас действуют лазареты для пленных? Вам известно, что мои солдаты под огнем вытаскивали раненых

аскеров, которых вы бросили на верную гибель?

— Мне известно, что вы оказываете помощь раненому противнику, но аскер этого не знает и не узнает никогда, — сухо сказал Осман. — Аскер знает одно: с ним поступят так, как поступает он. И чтобы он не сбежал в ваши лазареты, я вынужден закрывать глаза на его жестокость. Это — закон войны, генерал.

— Это нарушение законов войны, паша. Вы не уверены в своих солдатах, а потому и повязываете их страхом за совершенные преступления. Вам не кажется, что вы заменили солдатскую честь круговой порукой бандитов?

— Мне кажется, что вы — последний генерал в истории, который еще верит в эту самую честь.

Вошел Струков, сообщивший, что по повелению великого князя Осман-паша должен отбыть в Плевну и что личный экипаж паши уже подан. Турецкие офицеры на руках вынесли раненого командующего и усадили в экипаж, запряженный парой в английских шорах. Хасиб-бей устроился напротив паши, Струков верхом ехал сбоку, а сзади двигался конвой улан и турецкая свита паши.

— Генералам и в плену ни жарко ни холодно, — вздохнул старший Скобелев, когда кортеж скрылся вдали. — Тебя, поди, тоже на руках но-

сить будут, коли в плен угодишь?

— Нет уж, ваше превосходительство, я всегда застрелиться успею, — неожиданно зло отрезал сын.

4

Через неделю ровно в двенадцать дня наступившую тишину вновь нарушил грохот канонады: русская артиллерия салютовала въезду Александра II в Плевну. В одном из лучших болгарских домов был сервирован завтрак для императора, особ царской фамилии, румынского князя Карла и некоторых приближенных. Во дворе были накрыты столы для офицеров свиты, за которыми ухаживали болгарские девушки в праздничных нарядах.

В доме едва успели поднять бокалы за здоровье императора, как за окнами раздался шум: пленный турецкий полководец шел к дому, опираясь на Хасиб-бея. Русские и румынские офицеры встали. Осман молча пересек двор и сразу же был введен в праздничную залу. Низко поклонившись, Осман-паша остановился у порога.

— Что вас побудило прорываться? — спросил Александр после весьма продолжительного молчания.

— Долг, Ваше Величество.

— Отдаю полную дань уважения вашей твердости в исполнении священного для всех долга служения своей родине, — напыщенно сказал государь. — Знали ли вы о полном окружении Плевны?

— Я не знал подробностей, государь; но даже если бы я знал их, я бы все равно поступил так, как поступил.

— На что же вы рассчитывали?

— Полководец всегда рассчитывает на удар там, где его не ждут, государь. В данном случае я надеялся, что генерал Ганецкий примет мою демонстрацию за направление решающей атаки.

— В знак уважения к вашей личной храбрости я возвращаю вам вашу саблю.

— Благодарю, Ваше Величество. — Паша склонился в глубоком поклоне.

В то время как происходила эта театральная церемония, Дмитрий Иванович Скобелев прискакал к сыну. Оба генерала были молчаливо обойдены приглашением к царскому завтраку; но старику стало известно, что сын утром испросил аудиенцию и был принят императором.

— Унижался? — загремел Дмитрий Иванович, едва переступив порог. — Сапоги царские лизал,

а что вылизал? Вот что! — Он повертел фигой перед надушенной и любовно расчесанной бородой сына. — Тебе сам Османка руку тряс, а хрен вам вместо праздничка, хрен с редькой, ваше превосходительство!

— Хрен с редькой — тоже неплохая закуска, — улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Он был в мундире при всех регалиях и вместе с парадно одетым Млыновым деятельно накрывал на стол. Столь же парадный Куропаткин молча поклонился разгневанному генералу.

— Празднуешь? — презрительно отметил Дмитрий Иванович. — Унижение водкой заливаешь?

— Не унижение — победу, — улыбнулся сын. — А какую, сейчас узнаешь. Готово, Млынов? Зови.

Млынов вышел. Скобелев критически обозрел стол.

— Наливай, Алексей Николаевич. Первый тост — стоя.

Куропаткин едва успел разлить шампанское, как Млынов пропустил в комнату порученца.

— Доброе утро, господа, — сказал Мокроусов, с некоторым удивлением оглядывая накрытый стол и парадных командиров. — Звали, Михаил Дмитриевич?

— Возьми бокал. — Скобелев обождал, пока

разберут шампанское, расправил бакенбарды. — Сегодня утром государь изволил произвести тебя в офицеры и повеление о сем уже подписано. За здоровье подпоручика Мокроусова! — Он залпом осушил бокал, достал из кармана погоны и протянул их Федору. — Носить с честью. И чтоб завтра представился мне по всей форме.

— Благодарю, Михаил Дмитриевич… — растерянно начал было Мокроусов.

— Ну уж нет! — вдруг сердито прервал генерал Скобелев-старший. — Кончился для тебя Михаил Дмитриевич, понятно? Отныне он тебе — ваше превосходительство. Так-то, подпоручик, и дай я тебя расцелую на счастье!..

Глава десятая

1

Осень 1877 года выпала затяжной и холодной, зима обещала сильные морозы и обильные снегопады, а русская армия была разута и раздета: по всей логике надлежало перейти к обороне, перезимовать и весною возобновить боевые действия. Внимательно следивший за ходом этой войны германский канцлер Бисмарк*, исходя из

этой логики, приказал убрать со своего рабочего стола карту Балканского театра Русско-турецкой войны.

— Она не понадобится мне до весны.

Вскоре после этого личный представитель главнокомандующего Александр Петрович Струков, наконец-то произведенный в генералы, по личному поручению своего захворавшего непосредственного начальника докладывал высшему командованию русской армии общий замысел зимней кампании.

— Его Высочеством принято решение преодолеть Балканы, когда противник, да и весь мир, этого не ожидает. Колонна генерала Гурко должна наступать на Софию. Через Иметлийский перевал в скором времени пройдет генерал Скобелев-второй для действий против группировки Весселя-паши. Для обеспечения этих ударов формируется Траянский отряд под командованием генерала Карцева с задачей прорваться через Траянский перевал.

Гурко преодолел Балканы, победив турок, снега, вьюги и морозы, и вступил в Софию к великой радости всей Болгарии. Чего это стоило его войскам, красноречиво говорит личная депеша великого князя главнокомандующего, адресованная

непосредственно брату, российскому императору Александру II: «…за время форсирования Балкан русская армия окончательно осталась не только без сапог, но и без шаровар. Умоляю Ваше Величество…»

Колонна генерала Скобелева прорвалась через Иметлийский перевал, не испытывая подобных трудностей, поскольку вся была одета в добротные белые полушубки. Обрадованный этой вестью, Дмитрий Иванович тут же подписал все розданные Млыновым долговые обязательства, не забыв, правда, красочно выругать предусмотрительного, но не в меру щедрого сына.

28 декабря произошло решающее сражение возле деревень Шипка и Шейново. Войска генерала Скобелева внезапно, без артиллерийской подготовки начали атаку и, умело маневрируя, соединились с войсками генерала Святополк-Мирского. Армия Весселя-паши оказалась в полном окружении и после некоторых колебаний сложила оружие. Русские взяли двадцать две тысячи пленных с восемьюдесятью тремя орудиями. Путь в южную Болгарию был открыт.

Победа была настолько впечатляющей, что великий князь Николай Николаевич скрепя сердце приказал Михаилу Дмитриевичу лично

доложить ему об этой операции. Скобелев немедленно прибыл в ставку, где его первым встретил Струков.

— Наконец-таки сообразили, что тебе давным-давно пора генеральскую форму носить, Шурка, — улыбнулся Михаил Дмитриевич, обнимая Струкова. — Пойдешь ко мне авангардом командовать? Вместе коней в Босфоре искупаем.

— А что? — рассмеялся Александр Петрович. — И искупаем. Отличная мысль!

— Тогда подготовь к этой мысли своего непосредственного начальника.

Великий князь благожелательно выслушал краткий доклад Скобелева и даже выразил благодарность.

— Молодецки! Назначаю тебя командовать передовой колонной отряда генерала Радецкого. Чтоб и впредь молодецки гнал турок до самого моря!

— Для этого мне нужен молодецкий командир авангарда, Ваше Высочество. — Скобелев протянул рапорт. — Извольте ознакомиться с нижайшей просьбой.

Главнокомандующий прочитал рапорт и нахмурился.

— А почему именно Струкова?

— Генерал Струков обладает высшими качествами начальника — способностью быстро принимать решения и ответственной инициативой, Ваше Высочество.

Николай Николаевич был весьма недоволен, но отказать в просьбе все же не решился. Теперь Скобелев стал не только героем Плевненских штурмов, но и победителем Весселя-паши. Да и сам Струков мягко, но настойчиво просил о том же еще утром.

Конный авангард Скобелева, которым командовал генерал Струков, 3 января 1878 года стремительной атакой захватил железнодорожный узел Семенли. Едва дав отдохнуть коням, но отнюдь не кавалеристам, Александр Петрович уже на следующее утро захватил Германлы, отрезав армию Сулеймана, что вынудило даже нетерпеливого Скобелева срочно отправить к лихому командиру авангарда Млынова с личной запиской: «Остановись, Шурка, дай войска собрать!»

— Ругается Михаил Дмитриевич? — улыбнулся весьма польщенный Александр Петрович.

— Скорее восторженно смеется, — невозмутимо пояснил Млынов. — У нас вся артиллерия отстала, а турки со страху об этом и не догадываются.

Форсированными маршами подтянув свои силы, Скобелев вновь бросил Александра Петровича вперед, послав приказ через порученца подпоручика Федора Мокроусова. Приказ был устным:

— Только вперед! Передаю дословно.

— Понял, поручик.

Пройдя за сутки восемьдесят верст, кавалеристы Струкова нежданно-негаданно появились перед Адрианополем. Паника турок была столь велика, что двухтысячный гарнизон сдал крепость без боя.

Однако радость Михаила Дмитриевича оказалась весьма омраченной. На подходе к городу передовой дозор Струкова был встречен огнем турецкого охранения. Охранение казаки разогнали, но сопровождавший их в этом дозоре Мокроусов был ранен.

— Тяжело? — угрюмо спросил Скобелев Млынова.

— Тяжело, Михаил Дмитриевич, — вздохнул адъютант. — Однако врач сказал, что выкарабкается.

— Жаль Федора. Он стал бы хорошим боевым офицером. Проследи, чтобы в Россию первым же транспортом отправили.

К тому времени генерал Гурко разгромил армию Сулеймана под Филиппополем. Турки повсеместно бежали, без сопротивления откатываясь к Константинополю, и на острие русского преследования шел кавалерийский отряд генерал-майора Александра Петровича Струкова. Начав войну лихим набегом на Барбошский мост, он же и заканчивал ее в войсках Скобелева на подступах к Константинополю.

19 января Турецкая империя запросила перемирия. Кровавая девятимесячная война заканчивалась полным военным разгромом Блистательной Порты*.

2

Затихнув на полях сражений, война перешла в кабинеты: Европа единым фронтом выступила против русских условий мира, и Англия демонстративно направила свой флот в Мраморное море. Ощутив поддержку, Константинополь начал упорствовать и всячески затягивать мирные переговоры. Глава турецкой делегации Севфет-паша решительно воспротивился требованию русской стороны признать единую автономную Болгарию. Тогда граф Игнатьев, руководивший переговорами с русской стороны, навестил глав-

нокомандующего в его ставке в Адрианополе.

— Английская эскадра стоит в пятнадцати верстах от Константинополя, — сказал он. — Это значительно ближе, чем штаб Вашего Высочества.

Главная квартира русской армии была переведена в местечко Сан-Стефано, расположенное на том же расстоянии от турецкой столицы, что и английские корабли. И турки сразу сбавили тон, но тем не менее настояли на перерыве в переговорах.

— А почему бы вам, Ваше Высочество, не устроить в Сан-Стефано победный парад? — спросил граф Игнатьев, вторично посетив великого князя. — Покажите туркам лица их победителей, поиграйте оружием. А я приглашу гостей, если позволите. Англичан, послов и конечно же всю турецкую мирную делегацию.

— Молодецкое решение! — Николай Николаевич пришел в восторг. — Мы покажем всему миру своих героев, и я лично буду принимать этот парад. А командовать им должен молодецкий генерал. Может быть, поручить командование Гурко?

— Может быть, Ваше Высочество, может быть, — согласно закивал опытный и много-

знающий дипломат. — Боюсь, однако, что мне придется долго объяснять послам и англичанам, кто командует парадом и почему именно он, а не кто-либо иной.

— Да? А о ком не придется? Европа возмутительно мало уделяет внимания России. Возмутительно мало! Там хотя бы кого-нибудь знают из моих военачальников, граф?

— Европа более всего наслышана о Белом генерале, Ваше Высочество.

— О Скобелеве? — Главнокомандующий нахмурился и вздохнул. — Умеет, умеет он подать себя в нужном свете.

— Совершенно согласен с вами, Ваше Высочество. Особенно — в сражениях. Европейские газеты не устают писать об этом из номера в номер.

— Дерзок, — строго сказал Николай Николаевич.

— Что же делать, Ваше Высочество, если газеты читают на бульварах?

— Я подумаю, граф, — сказал главнокомандующий.

Великий князь сказал так только от внутреннего несогласия с осторожной рекомендацией графа Игнатьева. Думать было не о чем не потому,

что не находилось более кандидатов, а потому лишь, что не находилось более знакомой для ушей любой национальности фамилии. Повинными в этой популярности Скобелева оказались не только белый мундир и пресловутая белая лошадь, и даже не столько безрассудная храбрость Михаила Дмитриевича, о чем восторженно писала вся европейская пресса. Решающей оказалась скупая оценка, данная Михаилу Дмитриевичу плененным героем этой войны Османом-пашой и широко растиражированная газетами всего мира: «Таким я представляю себе Наполеона в молодости».

Говорят, что сын и наследник Александра II цесаревич Александр Александрович, вычитав эту фразу, сказал ближайшим друзьям и постоянным собутыльникам:

— Вот это надо запомнить.

Потряс газетой и велел ее сохранить.

А главнокомандующий уже на следующий день вызвал Скобелева и сказал:

— Командовать парадом будешь ты.

Подумал и добавил:

— Если не успеешь меня огорчить.

Неизвестно, что повлияло тогда на Михаила Дмитриевича — это лестное назначение или

выношенная мечта, а только последние слова Николая Николаевича он пропустил мимо ушей. И велел Млынову разыскать генерала Струкова.

— Давай, Шурка, коней в Босфоре искупаем?

— Стоит ли, Михаил Дмитриевич? — засомневался Александр Петрович. — Слишком уж вызывающая дерзость.

— А история только дерзости и запоминает. И я все равно это сделаю. С тобой или без тебя — это уж тебе самому решать, Струков. Есть только миг, Шурка. Только миг ослепительный, так мне один мудрец на Кавказе объяснил.

3

Выехали еще засветло вчетвером: Струков прихватил казака-коновода с буркой. Молчали почти всю дорогу, понимая, на какую выходку решаются, и привыкая к этой мысли. Только Александр Петрович изредка вздыхал:

— Ох, нагорит нам, Михаил Дмитриевич. Ох, нагорит!..

Скобелев на вздохи не реагировал, потому что внутренне все время уговаривал сам себя продолжать путь. Не боролся с сомнениями, а убеждал кого-то очень осторожненького, поселившегося в его душе после стремительных побед в За-

балканье и еще более стремительной карьеры. Осторожный двойник нашептывал, что после столь вызывающей выходки карьера может так же стремительно и закончиться, а азартный игрок, с колыбели терзавший Михаила Дмитриевича, тут же утверждал, что победы никуда не денутся ни при каких обстоятельствах. Что сделано, то сделано, бифштекс с кровью поджарен, и небольшое количество перца лишь придаст ему остроту и пикантность. Двойники продолжали спорить, Скобелев в спор старался не вмешиваться, но при этом точно знал, кто победит.

Миновали казачьи разъезды, объехали по бездорожью турецкие посты, формально отмечающие линию разделения противостоящих войск. Небо было в тучах, моросил мелкий теплый дождь: к южным побережьям Европы уже подходила весна.

— Море, — сказал Млынов, ехавший впереди.

— Босфорский пролив? — спросил Струков.

— Кто его знает. — Млынов пожал плечами. — То ли Босфор, то ли Мраморное море, то ли Дарданеллы.

— Какая разница? — усмехнулся Михаил Дмитриевич. — Босфор для русского человека — понятие, а не факт географии, так-то, Алек-

сандр Петрович. Костров не разводи, Млынов, но водочку с закусочкой нам приготовь.

Он проехал вперед, спешился, расседлал коня.

— Чего ждешь, Шурка? Мы с тобой — водоплавающие, проверено. А оказаться на берегу Босфора и не окунуться в нем — грех. Внуки не простят.

— Холодно, Михаил Дмитриевич.

— Для сугреву Господь России водочку выдал.

Скобелев разделся догола, вскочил на лошадиную спину, подобрал поводья.

— Ты — со мной или нет?

— С вами, ваше превосходительство, с вами, — недовольно бормотал Струков, поспешно раздеваясь. — Видать, судьба моя такая: с вами все время…

Тихие волны с натугой втаскивали на пологий берег песок и мелкую гальку. С шуршаньем откатывались и, собравшись с силами, вновь устремлялись на сушу. Вдали виднелись редкие огни стоявших на якорях кораблей.

— Европа подглядывает, — усмехнулся Михаил Дмитриевич. — Ну, с богом.

Он отдал повод, и конь, недовольно фыркнув, нехотя пошел в воду, осторожно нащупывая дно.

— А водичка-то неласковая!..

— Иду, иду, — невпопад откликнулся Александр

Петрович, направляя лошадь следом.

До этого он успел подумать, что ему самое время отказаться от купанья, сославшись на холод. Тогда у него появилась бы отговорка, что он поехал со Скобелевым только для того, чтобы тот не натворил каких-либо глупостей посерьезнее морского купанья. Объяснение не ахти какое, но и оно могло уберечь от гнева главнокомандующего, если самовольство их когда-либо всплывет наружу. Однако возглас Михаила Дмитриевича толкнул его к противоположному решению, и он поспешил следом.

— Ух ты!..

— Следуй за мной, Струков! — крикнул Скобелев, соскальзывая в море с лошадиного крупа. — И вправду — ух ты. Матушка родная, до чего же неласково на чужбине!..

Поплескавшись и выкупав лошадей, вылезли на берег, где ожидали Млынов и казак-коновод с суровыми полотенцами. Растеревшись, оделись и расположились у маленького костерка, рядом с которым молчаливый казак уже приготовил скатерть-самобранку.

— Хорошо! — выдохнул Скобелев, осушив до дна добрую чарку, поднесенную верным адъютантом. — А костер зачем запалили? Я, помнится,

сказал, чтоб никаких огней!

— Тут — низинка, — пояснил Млынов. — Огня не видно ни с моря, ни с суши, казак проверял. А вам обсушиться да обогреться надобно, ваши превосходительства. Иначе завтрашний насморк объяснить будет затруднительно.

— Ну, давай обогреваться, Шурка.

Наобогревались до истомы. Откинулись навзничь на бурки, молча глядели в подернутое тучами, чуть светлеющее небо.

— Светает, — осторожно напомнил Млынов.

— Вижу, — отмахнулся Скобелев. — Знаешь, Александр Петрович, а царя-то болгарам выбирать не из кого. Болгарское дворянство Порта под корень вывела.

— Из Европы пришлют, — нехотя откликнулся Струков. — Там принцев без трона хватает.

— Это уж как болгары сами захотят.

Михаил Дмитриевич помолчал, но уж очень подмывало его на откровение, несло к обрыву, как в половодье. Подумал, прикинул, решился наконец:

— Знаешь, кого они хотят?

— Кого?

— Меня. Уже три делегации побывали, от всех слоев населения. Что скажешь?

— Не лезь в политику, Михаил Дмитриевич, — помолчав, очень серьезно сказал Струков.

— Ну, ты прямо — как отец. Тот уши прожужжал: не лезь в политику да не лезь в политику! А если политика в меня лезет, тогда как? Да пообещай я болгарам, что через три года на Эгейское море их страну выведу…

Скобелев неожиданно замолчал. Сел, раскурил трубку.

— Светает, — настойчиво повторил Млынов.

— Погоди. Европа смотрит косо на наши победы, и мы скорее всего уйдем из Болгарии весьма скоро. Знаешь, что я посоветовал болгарам, когда мы обсуждали с ними этот вопрос?

— Что же? — суховато поинтересовался Струков: ему очень не нравился разговор.

— Посоветовал повсеместно создавать военизированные гимнастические общества под лозунгом: «От забитости и бесправия — к самостоятельности и защите». Они с восторгом за это ухватились, и теперь в каждом селе организуется гимнастическое дружество, не говоря уж о городах. Вот и посчитай, сколько людей можно подготовить. Раз в неделю у них — обязательные занятия с окопными учениями и стрельбой по мишеням, два раза в месяц — маневры со штур-

мами редутов или их обороной. Я им обещал Устав для этих дружеств написать. Приступил уже, вскорости закончу.

— А где они возьмут оружие? — спросил Александр Петрович. — Знаю, что азартно собирают его на полях сражений, но этого далеко не достаточно.

— Оружие? — Скобелев помолчал, улыбнулся. — Ты захватил на станции Семерли армейские склады турок. Я преуменьшил твои трофеи в донесении, ты уж извини меня, зато всю разницу тайно передал болгарам. Ружей и патронов им теперь хватит на восемьдесят, а то и на сто тысяч дружинников.

— Ох, Михаил Дмитриевич, Михаил Дмитриевич… — с неудовольствием сказал Струков, вздохнув. — Ну а если, не дай бог, узнает кто об этом вашем самоуправстве? Вас же могут обвинить в государственной измене, это, надеюсь, вы понимаете?

— Знаешь, что я сказал болгарам, когда передавал оружие? — не слушая, продолжал Скобелев: глаза блестели в предрассветном тающем сумраке. — Я сказал: «Если нужно, отдайте именье свое, отдайте жен и детей своих, но оружие берегите!» Поняли, оценили совет, поклялись беречь.

— Михаил Дмитриевич, через час окончательно рассветет, — громко произнес Млынов.

— Поехали, Михаил Дмитриевич. — Струков решительно поднялся. — Коней в Босфоре искупали, водочки выпили, душу в болтовне отвели и — хватит. Не дай бог, узнает кто или сами ненароком на турецкий разъезд нарвемся.

На турецкий разъезд нарвались на обратном пути. Правда, разъезд к ним так и не приблизился, но сопровождал, пока они не пересекли демаркационной линии. Однако разговаривать им не хотелось совсем не по этой причине.

4

А русскому послу на переговорах с Турцией еще раз, и весьма скоро, пришлось посетить главнокомандующего.

— Возникло непредвиденное осложнение, Ваше Высочество. Турки утверждают, что в нарушение всех наших договоренностей два русских штабофицера якобы проводили рекогносцировку к берегу Мраморного моря. Конечно, это пустяк, который мы в конце концов уладим, но кое-какой козырь в их руках оказался.

— Я разыщу этих своенравцев, граф!

Великий князь рассвирепел не на шутку. Од-

нако официальный запрос по всем войсковым частям поначалу ничего не дал. Главнокомандующий от всей громкой души своей выругал штабных работников и поручил расследование Струкову, которого вновь отозвал в распоряжение Главной квартиры, поскольку сам с упоением занимался предстоящим парадом в Сан-Стефано.

— Скверные вести, Михаил Дмитриевич, — сказал Александр Петрович Скобелеву с глазу на глаз. — Главнокомандующему известно о нашей милой шалости.

— Вали все на меня, — буркнул Скобелев. — Состоять в царской немилости для меня дело привычное. Ну, назад, в Туркестан, отправят или на Кавказ — эка важность!

— А если в отставку?

— Тоже неплохо. Тогда я гласом болгарского народа вплотную займусь.

Ясный намек Струкову настроение не улучшил. Он искренне привязался к порывистому и яркому герою Балканской войны, столь энергично поспособствовавшему его карьере, ценил саму карьеру, не обладал опытом царских немилостей и очень не хотел таким опытом обладать. А расследование шло своим чередом и в конце концов вывело на казачьего есаула, мимо которого как-то ночью

проследовали два генерала в сопровождении адъютанта и казака-коновода.

— Узнал их? — спросил Александр Петрович, лично вызвав казачьего офицера.

— А это — как сложится, — туманно ответил есаул. — Надо будет — припомню, а нет — так самому же легше.

Казачий офицер дураком не выглядел и явно намеревался поторговаться. Однако Струков пока держал его на крючке, очень надеясь, что главнокомандующий в конце концов забудет об этом происшествии в суете своих парадных экзерсисов. Однако Николай Николаевич о возможностях устроить пакость никогда не забывал, и при первой же встрече сказал Скобелеву:

— Ты у меня на подозрении, а посему командовать парадом не будешь.

Скобелев ушел, испытав большое облегчение, поскольку парадные обязанности всегда его тяготили. И неизвестно, как бы повернулась вся эта история, если бы личный представитель государя прибыл позже доклада Струкова. Но он прибыл до него, и главнокомандующему оставалось лишь развести руками.

— Что ж, я от всего сердца поздравляю генерала Скобелева со столь высокими милостями моего

брата.

Милости и впрямь были высоки. Звание генерал-лейтенанта, пожалование генерал-адъютантом, шпага, ножны которой украшены бриллиантами, и назначение на должность командира 4-го корпуса. Кто именно столь лестно, своевременно и удачно доложил Александру II об особых заслугах генерал-майора Скобелева на последнем этапе войны, осталось тайной, но высокий покровитель был явно из числа тех немногочисленных высших сановников, которые отдавали должное Белому генералу.

Теперь Михаил Дмитриевич оказался надежно прикрытым от неудовольствия Николая Николаевича, но раздражение великого князя от этого не пошло на убыль. А Струков задерживал доклад, сколько мог, и случилось так, что услужливые приближенные главнокомандующего добрались до казачьего есаула без ведома Александра Петровича. Есаул был себе на уме, учитывал милости, пожалованные государем Скобелеву, а посему из всей четверки всадников, нарушивших демаркационную линию, припомнил только генерал-майора Струкова.

— А ведь так предан дисциплине, — озадаченно вздохнул Николай Николаевич, имея в виду

собственного любимца.

Под дисциплиной в данный момент он понимал самого себя. И очень огорчился, поскольку и впрямь привязался к Струкову, если привычку к подчиненному можно назвать привязанностью к нему.

Расставаться с ним великому князю не хотелось, портить ему карьеру — тоже не хотелось, и главнокомандующий решил ограничиться серьезным внушением, дабы не навредить Струкову и сохранить собственное лицо. Так бы оно и случилось, если бы Александр Петрович обладал хотя бы малым опытом спокойного восприятия царских неудовольствий. Но беда была в том, что он куда в большей степени обладал опытом придворной интриги, несмотря на бесспорную личную отвагу и столь же бесспорное боевое мастерство. И когда великий князь вызвал к себе Александра Петровича всего лишь для отеческого внушения, вышеуказанный опыт и сработал в нем в первую очередь.

— Повинную голову и меч не сечет, Ваше Высочество, — бодро и чуть ли не с улыбкой начал Струков, едва появившись пред очами главнокомандующего. — Дерзким нарушителем вашего повеления оказался я, но потому лишь, что ге-

нерал Скобелев не дал мне времени доложить вам о его приглашении прокатиться к Босфору. И молчал я до сей поры тоже по его просьбе.

— И сознаваться он тоже тебя попросил? — резко перебил Николай Николаевич.

— Я не сознаюсь, Ваше Высочество, — очень доверительно сказал Струков, мгновенно уловив намек в словах великого князя. — Я докладываю светлейшему брату моего императора.

— О чем ты докладываешь, Струков? — нахмурился главнокомандующий, слегка запутавшись в изящных поворотах разговора. — О грубейшем нарушении дисциплины?

— Никак нет, Ваше Высочество, — Струков счел нужным таинственно понизить голос. — Я докладываю о тайной подготовке генерал-лейтенанта Скобелева-второго к государственной измене.

Нелегко, видит бог, нелегко и непросто было генералу Александру Петровичу Струкову сказать эти слова. Буря бушевала в его душе, но он успокаивал эту бурю масляной мыслью, что с Михаилом Дмитриевичем после столь высоких наград государя ровно ничего не случится. Ну, обойдут орденом или чином — не более того, потому что до этого Александр Петрович по всем возможным каналам проверил прочность благорасположе-

ния Александра II к любимому народом Белому генералу. И, зная характер императора, был уверен, что подобное известие не будет воспринято им всерьез, поскольку Александр никогда не считал себя полководцем, а славу любого своего подданного всегда полагал собственной славой.

— Я поехал с ним только ради того, чтобы услышать признание из его собственных уст. И услышал, Ваше Высочество, поскольку Скобелев неудержимо хвастлив.

— И что же ты услышал?

— В Болгарии существует заговор, цель которого провозгласить генерала Скобелева государем.

Струков замолчал, надеясь по первым словам великого князя, по тону, каким будут сказаны эти первые слова, определить цену собственной информации, а тем самым и уровень личного его расположения. Но Николай Николаевич молчал, лицо его ровно ничего не выражало, и Александр Петрович забеспокоился. Он уж совсем было решился рассказать великому князю о первых шагах Скобелева по упрочению своей славы и своего положения в Болгарии — об организации боевых дружин на базе гимнастических обществ, — но не сказал. Он вовсе не помышлял о том, чтобы окончательно утопить Скобелева:

он рассчитывал лишь выплыть самому с его помощью.

— Среди болгар у Скобелева масса почитателей, полагающих его едва ли не национальным героем…

— Скобелев был с адъютантом? — перебил великий князь.

— Так точно, Ваше Высочество.

— Немедля доставь адъютанта ко мне.

— Слушаюсь.

Александр Петрович не ожидал такого оборота и поначалу даже несколько растерялся. Однако повеление оставалось повелением, и он передал его Млынову.

— Что же именно интересует Его Высочество? — угрюмо спросил капитан.

— Болтовня Михаила Дмитриевича о болгарах, — туманно пояснил Струков, надеясь, что влюбленный в Скобелева адъютант сам разберется в деталях.

— Я ничего об этом не знаю.

— Что ж, это — удобная позиция, — подумав, одобрил Александр Петрович.

Млынов в этом одобрении не нуждался, так как уже твердо решил на все вопросы великого князя отвечать с упрямой унтер-офицерской

тупостью. Он понимал, что этим может навсегда перечеркнуть собственную офицерскую карьеру, но судьба Михаила Дмитриевича Скобелева была для него несравнимо дороже собственной.

— Сколь часто посещали Скобелева болгарские неофициальные делегации?

— Не могу знать, Ваше Высочество!

— Что значит «не могу знать»? Ты — старший адъютант, в твоих руках списки всех посетителей!

— Никак нет, Ваше Высочество! Списки вел личный порученец подпоручик Мокроусов!

— Где он сейчас?

— В России с тяжелым ранением, Ваше Высочество.

— Ловко! — Великий князь ходил по кабинету, громко стуча высокими сапогами. — Что Скобелев говорил Струкову о заговоре болгар?

— Не могу знать, Ваше Высочество!

— Чего ты не можешь знать?

— Ничего, Ваше Высочество, — вдруг негромко, но очень твердо сказал Млынов.

Главнокомандующий некоторое время смотрел в упор на капитана, постепенно наливаясь кровью. Заорал неожиданно:

— Дежурный!..

Дежурный адъютант тут же влетел в комнату.

— Ваше Высоч…

— Этого… — великий князь уперся в Млынова чуть вздрагивающим пальцем, — этого дурака немедленно уволить из армии без пенсиона и мундира! Сегодня же! И выслать из Болгарии немедля, как только я подпишу приказ на увольнение!..

Млынов был уволен в тот же вечер: ему едва дали время на то, чтобы собраться, а попрощаться со Скобелевым так и не удалось. Но записку он оставить все же успел: *«Прощайте, Михаил Дмитриевич, я Вас найду в России. Млынов»*.

Самолюбие великого князя главнокомандующего было настолько уязвлено, что он счел за благо сделать вид, будто ничего и не произошло и будто в разговоре с Млыновым он выяснил все, что хотел выяснить. А потому и сказал Струкову уже на следующий день:

— Это собственные бредни Скобелева, Струков. Теперь мне все известно и мною же все проверено. Однако ты доказал свою преданность. Ступай, но никому не болтай об этом. Если проболтаешься…

И внушительно погрозил пальцем.

5

Неизвестно, забыл ли Николай Николаевич обо всех этих как доверительных, так и дерзких разговорах или просто не желал к ним более возвращаться по каким-то своим, особым причинам, а только видимого продолжения они не получили, исключая увольнение и высылку Млынова в Россию. Генерал Струков остался при главнокомандующем, а Михаил Дмитриевич Скобелев, обласканный императором и теперь ласкаемый болгарами, с упоением занимался одновременно тремя делами сразу. Во-первых, корпусом, попавшим под его начальствование довольно потрепанным; во-вторых, организацией военизированных болгарских гимнастических обществ; и, в-третьих, едва ли не ежевечерними невероятно шумными и веселыми попойками в собственной корпусной резиденции, куда по его приглашению съезжалось множество дам полусвета, к которым Скобелев всегда питал необъяснимое и неудержимое влечение.

В разгар этих увлекательных занятий неожиданно приехал отец, генерал-лейтенант Дмитрий Иванович.

— Догнал, стало быть, меня? — Он крепко обнял

сына, троекратно расцеловал. — Поздравляю. От души рад успехам твоим.

— Кто-то вовремя замолвил…

— А ты — не вовремя! — вдруг нахмурился Дмитрий Иванович. — Ой, Михаил, не лезь в политику. Не лезь, не наше это занятие. И с гульбой… Ну, гульбу ты, впрочем, скоро бросишь, потому как матушка приезжает, Ольга Николаевна.

— Матушка? — Михаил Дмитриевич просиял.

— Депешу уже получил об этом.

Вскоре в Сан-Стефано состоялся-таки громкий и звонкий парад, но Скобелев не принимал в нем участия согласно распоряжению великого князя главнокомандующего. Его Высочество был в полном восторге и, говорят, по окончании этого победного парада торжественно изрек, подняв бокал шампанского:

— Вот теперь, господа, можно с уверенностью сказать, что война завершилась окончательно и бесповоротно. С чем я вас всех и поздравляю. Ура, господа, ура!..

К тому времени в Европе уже сложилось мнение, что война кончается только тогда, когда похоронен последний солдат, павший на этой войне. Однако Россия по старинке считала, что войны кончаются только победными парадами.

Не отданием чести мертвым, а отданием чести выжившим.

Часть третья
Глава первая

1

Через две недели после парада в Сан-Стефано в Болгарию приехала мать Михаила Дмитриевича Ольга Николаевна, которую Скобелев любил и почитал едва ли не больше отца. Шумные попойки с кокотками пришлось перенести в более укромное место, но это была единственная жертва, принесенная Михаилом Дмитриевичем. Корпус и подготовка военизированных болгарских дружин продолжали занимать все его рабочее время.

Вполне естественно, что эти занятия не являлись тайной ни для турецкого, ни тем паче для русского правительства. Турки были бессильны пресечь эту формально кое-как прикрытую общественной деятельностью подготовку тайной армии, а русские власти пресекать ее и не собирались, поскольку иметь добрую сотню тысяч хорошо обученных боевых союзников было весьма выгодно для всей будущей русской политики на Балканах. Мало того, командование русской

армии не препятствовало и просьбам своих офицеров отпускать их в официально создаваемые вооруженные силы Болгарского княжества в качестве инструкторов и советников, а потому и бурной деятельности Михаила Дмитриевича никто до поры также не препятствовал.

Впрочем, существовала и еще одна причина, о которой Ольга Николаевна поведала сыну с глазу на глаз. Добрым ангелом-хранителем Скобелева оказался один из самых близких к императору Александру царедворцев. Граф Александр Владимирович Адлерберг, друг детства императора Александра II, генерал от инфантерии, министр императорского двора и канцлер российских орденов. Он не только всегда искренне восхищался легендарной отвагой Белого генерала, но и был дальним родственником самой Ольги Николаевны, о чем Михаил Дмитриевич узнал впервые.

— К сожалению, Миша, ты нажил себе много врагов. Графу было непросто разъяснить государю, что за всеми твоими… необдуманными страстями скрывается твоя… искренность.

— Ты ищешь слова, матушка, а я — солдат. Я прямоту люблю, прямотой и жив. Скажи прямо, что имеешь в виду.

— Твои увлечения, дорогой.

— Увлечения?

— Да, Миша. Офицерские попойки, кокотки, странные собутыльники. Государь стал весьма чуток к такого рода развлечениям. А врагов у тебя предостаточно. Врагов и завистников. И самый главный их них — цесаревич. Он утверждает, что в тебе нет ничего, кроме наполеоновского себялюбия.

— Неправда, — грустно улыбнулся Скобелев. — Сначала я люблю тебя, потом — батюшку. И еще — географию.

— Географию?

— Россию, матушка. Россию и Болгарию. Но, кажется, Болгария любит меня больше России. И я счастлив, что оказываю ей помощь.

Ольга Николаевна улыбнулась:

— Болгария помогла тебе найти самого себя, и я никогда этого не забуду. Только обещай мне…

— Что именно?

— Я мечтаю о внуках, сын. Но у моих внуков должна быть кристально порядочная мать. Знатность или богатство в этом случае не должны приниматься во внимание. Извини меня, дорогой, но такое представление об идеальной женщине внушили мне еще в детстве.

— Я постараюсь отыскать твой идеал, матуш-

ка.

— В России?

— В России, разумеется в России. Правда, не знаю, когда завершу свои болгарские дела… Однако мне кажется, что ты еще не все сказала.

Ольга Николаевна смутилась. Чуть покраснела и даже опустила глаза.

— Смелее, матушка, смелее! — улыбнулся сын.

— В Смольном моей лучшей подругой была Елизавета Узатис. Лизонька Узатис, дочь армейского поручика, как и я. Наверно поэтому мы с нею так сблизились тогда, в институте. Потом обе вышли замуж, я жила в Петербурге и нашем Спасском, а она с мужем — на Кавказе. Муж ее погиб в стычке с горцами, оставив ей единственного сына и очень скромный пенсион. Узнав откуда-то, что я собираюсь в Болгарию, она приехала издалека с единственной слезной просьбой…

Ольга Николаевна рассказывала как-то неохотно, словно превозмогая себя, а потом и вовсе неожиданно замолчала.

— Какова же просьба, матушка? — спросил Скобелев, уже все поняв.

— Она просила… Это же ее единственное дитя, Миша, пойми ее беспокойство.

— Я — тоже единственный сын.

— У тебя есть сестры, а у Лизоньки, кроме сына Николая, никого нет. Никого решительно, понимаешь?

— Понимаю, — вздохнул Михаил Дмитриевич: он терпеть не мог всякого рода протекций. — Ее сын в каком чине?

— Подпоручик.

— Млынову пришлось уехать в Россию, и я взял личным адъютантом Баранова. Однако имею возможность предложить сыну твоей подруги место ординарца при мне. Напиши, что он должен приехать в Болгарию возможно быстрее.

— Николай Узатис взял бессрочный отпуск и приехал вместе со мною, — несколько смущенно призналась Ольга Николаевна. — Это очень скромный и тихий молодой человек. Думаю, ты не разочаруешься. Если не возражаешь, я представлю его завтра.

На следующий день Ольга Николаевна привела застенчивого молодого человека в немодном провинциальном костюме. Встречаясь глазами со Скобелевым, он непременнейшим образом старался улыбаться, и Михаилу Дмитриевичу это старание не понравилось. Однако молодой человек искренне пытался поддерживать беседу, превозмогая собственную скованность, и Скобе-

лев тут же решил, что это вполне извинительно для первого знакомства со столь прославленным генералом. Ради матушки, с напряжением наблюдавшей за этой встречей, он старался держаться просто, однако со свойственным ему непомерным хвастовством справиться все же не смог.

— Да, матушка, ты же не видела еще личного подарка Его Императорского Величества!

И с гордостью продемонстрировал гостям шпагу, ножны и эфес которой были украшены бриллиантами. Ольга Николаевна была счастлива, молодой человек с трепетом подержал шпагу в руках, и, весьма довольный произведенным эффектом, Михаил Дмитриевич предложил ему немедленно подать рапорт, а через три дня явиться по полной форме для прохождения дальнейшей службы.

— Как я тебе благодарна, Мишенька! — Ольга Николаевна нежно поцеловала сына. — Ты сделал благое дело.

Через неделю подпоручик Николай Узатис приступил к исполнению должности личного ординарца командира корпуса генерал-лейтенанта Скобелева.

2

Поначалу Михаил Дмитриевич с некоторой настороженностью приглядывался к новому ординарцу, но вскоре привык. Николай Узатис оказался вполне добросовестным и старательным порученцем, хотя Скобелев порою с грустью вспоминал о Федоре Мокроусове — тот знал, что следует делать, еще до приказа, — но жизнь уже окончательно утвердилась в мирной колее.

Громогласно объявив о конце войны, Его Высочество великий князь Николай Николаевич согласно высочайшему распоряжению быстро передал должность главнокомандующего всеми русскими войсками инженер-генералу Тотлебену.

— Приступайте поэтапно к выводу русской армии из пределов Болгарии, Эдуард Иванович.

— Сразу же займусь этим, Ваше Высочество.

Николай Николаевич тут же выехал в Санкт-Петербург, а Тотлебен с присущей ему академической точностью приступил к составлению порядка отправки на родину вверенных ему войск. И, подумав и покряхтев, первым вписал в список 4-й корпус. Это было столь неожиданно, что изумился даже Левицкий.

— Помилуйте, Эдуард Иванович, болгары могут это… не так истолковать, что ли.

— Боюсь, — честно признался Тотлебен.

— Чего же?

— Боюсь проснуться однажды и узнать, что Скобелев залез в Константинополь со всем своим корпусом. Впрочем, вы правы. Попросите Михаила Дмитриевича в среду прибыть ко мне для неофициальной беседы. Я постараюсь ему все объяснить.

Левицкий лично известил Михаила Дмитриевича о просьбе главнокомандующего: «шалопай» стал ныне не только командиром корпуса, но и генерал-адъютантом.

— К чему мне следует быть готовым?

Левицкий вполне мог сослаться на свою неосведомленность, но к старой нелюбви прибавилась большая доля зависти, и он не удержался от многозначительного намека:

— Согласно международным договорам русская армия обязана покинуть Болгарию. Полагаю, главнокомандующего занимает вопрос очередности вывода наших войск.

Намек означал, что 4-й пехотный корпус может оказаться в первой очереди, а Скобелеву этого не хотелось. Он еще не завершил дела с воени-

зированными гимнастическими обществами, а потому покидать Болгарию не торопился. И решил постараться убедить Тотлебена временно оставить 4-й корпус, ради чего и посчитал необходимым явиться на неофициальную беседу вполне официально.

С этой целью в указанную среду он надел парадный мундир со всеми орденами и потребовал у денщика Круковского пожалованную императором шпагу. Однако всегда исполнительный поляк что-то долго не шел, и Михаил Дмитриевич раздраженно крикнул:

— Ну, что же ты?

В тот день у Скобелева с утра обнаружилось на редкость скверное настроение. Он относился к Тотлебену с почтительным уважением и подозревал, что проиграет в споре за очередность. А покидать Болгарию так не хотелось…

— Матка Боска…

Круковский появился из спальни с растерянным, даже испуганным лицом, неся перед собою пожалованную шпагу. Два из семи бриллиантов, украшавших ее ножны, были выломаны…

— Ее бросили за сундук, Михаил Дмитриевич.

— Кто бросил? Кто?.. Молчишь?.. — Кровь бросилась в голову, Скобелев уже не соображал, что

говорит. — Сам же и выломал, подменить хотел фальшивыми да не успел…

— Михаил Дмитриевич, крестом Святым клянусь, пальцем ее не касался…

— А кто мог, кроме тебя? Кто?..

— Да ведь полон дом господ…

Скобелев, не раздумывая, с размаху отпустил денщику пощечину. Впервые за все время собственной службы.

— Не сметь порочить русских офицеров!..

— Бить не надо, ваше высокопревосходительство, — тихо сказал Круковский. — Лучше отдайте меня под суд.

Михаил Дмитриевич опомнился. Взял у денщика шпагу, бросил ее на стол, прошелся. Сказал, не глядя:

— Извини, в глазах помутилось. Ступай к себе.

— Прощения прошу, Михаил Дмитриевич. — В дверях стоял личный адъютант Баранов. — Позвольте задать только один вопрос Круковскому. Кто из офицеров последний раз был здесь в отсутствие Михаила Дмитриевича, Анджей?

— Его благородие господин Узатис.

— Иди, — вздохнул Скобелев. — Извини меня, если можешь. Погорячился непростительно.

Круковский молча вышел. Михаил Дмитрие-

вич пометался по комнате, еще раз вздохнул:

— Человека ударил. Какая мерзость!

Баранов взял со стола шпагу, внимательно осмотрел ножны.

— Грубо гнезда расковыряны, значит, торопился кто-то. Нет, Михаил Дмитриевич, это не Анджей. Денщику торопиться некуда, вас и так целыми днями дома не бывает.

— Сам знаю! — рявкнул Скобелев. — Меня Тотлебен ждет, а тут… Да черт с ними, с бриллиантами. Не носил я эту шпагу и носить не буду. А безответного солдата ударил. Черт, черт, черт!.. Не могу в таком состоянии к Тотлебену ехать, Баранов, не могу.

— Напишите записку, что заболели.

— Наверно, ты прав, это, пожалуй, единственный выход. Сейчас же и напишу.

— А дознание о пропаже бриллиантов очень прошу поручить мне, Михаил Дмитриевич.

— Не желаю никакой огласки, Баранов!

— Я успел три курса на юридическом закончить, ваше высокопревосходительство, — улыбнулся Баранов. — Результаты доложу вам лично. Так что никакой огласки не будет. Никакой. Если, конечно, вы сами не примете решения на этот счет.

Скобелев написал записку, которую Баранов тут же и доставил Тотлебену. Однако краткость и сухость записки делали ее похожей скорее на небрежную отписку, что весьма раздосадовало Эдуарда Ивановича. В результате приказ на передислокацию в Россию так и остался без изменения, и первым по-прежнему значился в нем 4-й пехотный корпус под начальствованием генерал-лейтенанта Михаила Дмитриевича Скобелева.

3

Подпоручик Николай Узатис с первого взгляда не понравился Баранову. Он почувствовал его неискренность, понял, что новый ординарец что-то скрывает, и откровенно сказал об этом Скобелеву.

— Ерунда, — отмахнулся Михаил Дмитриевич. — Это потому, что его мать упросила Ольгу Николаевну походатайствовать.

— А для чего же он исхлопотал бессрочный отпуск?

— Ну, не знаю. Может, несчастная любовь.

— Несчастная любовь без сохранения содержания, — усмехнулся адъютант.

— Оставь. Он старается.

Узатис и впрямь очень старался, и Баранов

оставил свои сомнения при себе. Однако подспудно они продолжали в нем существовать и теперь, получив разрешение Михаила Дмитриевича на расследование, всплыли наружу. Более всего адъютанта беспокоил таинственный бессрочный отпуск без сохранения содержания, который испросил Узатис. Баранов совсем не склонен был к романтическим объяснениям, а потому сразу же отверг предположение Скобелева о несчастной любви. «Такие из-за отвергнутой любви службу не оставляют, — думал он. — Тут какая-то иная, куда более матерьяльная причина…» И послал срочный запрос в полк, в котором Узатис до отпуска проходил службу.

Ответ пришел на удивление быстро. А содержание его оказалось таким, что адъютант счел необходимым доложить Михаилу Дмитриевичу до окончания расследования.

— Узатис взял отпуск потому, что проиграл крупную сумму денег. Офицерское собрание полка выдвинуло ему условие: если он в течение года не вернет карточный долг, его привлекут к суду чести.

— Ну и на что он мог рассчитывать в нищей Болгарии? — хмуро спросил Скобелев.

— На ваше имя, Михаил Дмитриевич.

— Что-то я не очень понимаю тебя, Баранов.

— Под ваше имя любой ростовщик немедля даст любую сумму.

— Ну, это уж ты слишком… — задумчиво протянул генерал, припомнив собственные денежные расписки.

— Узатис никогда не просил вас подписать что-либо? Припомните, Михаил Дмитриевич.

— Нет. Чего не было, того не было. Наши матери — близкие подруги. Еще со Смольного института.

— С вашего разрешения я все же проверю эту линию.

— Ну, проверь, — нехотя буркнул Скобелев. — Неприятна мне эта твоя возня, Баранов. Такое ощущение, будто матушку проверяем.

— Никоим образом, Михаил Дмитриевич. Я проверяю безупречность вашего ординарца и буду рад, если мне удастся ее подтвердить.

Каким образом Баранов прощупывал ростовщиков, так и осталось неизвестным. Ни сам Скобелев, ни его денщик Круковский, ни тем более Баранов никому и словом не обмолвились о краже бриллиантов, все шло заведенным порядком, пока адъютант не доложил:

— Николай Узатис предлагал греческому ро-

стовщику Теотакису два бриллианта, однако Теотакис отказался, сразу же сообразив, что они — краденые.

— Не может быть, Баранов, — растерянно проронил Скобелев. — Этого просто не может быть! Ростовщики всегда врут…

— Теотакис ждет в прихожей, — весомо сказал адъютант. — Прикажете пригласить?

— Ну, давай, — нехотя сказал Михаил Дмитриевич. — Послушаем, чего он нам наплетет.

Вошедший ростовщик низко поклонился генералу, оставшись у порога. Скобелев неприветливо созерцал его, и чем дольше это продолжалось, тем все более он ему не нравился. Во-первых, потому что был ростовщиком, а во-вторых, потому что был невероятно худ, что ломало сложившееся у Михаила Дмитриевича представление о греках.

— Ну? — сказал он наконец.

Теотакис тихим голосом повторил то, что до него говорил Баранов, и Скобелева это не убедило.

— Почему я должен вам верить?

Ростовщик пожал плечами:

— Потому что я говорю правду, ваше высокопревосходительство.

— Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?

Грек еще раз пожал плечами и промолчал.

— Вот! — с торжеством сказал Скобелев Баранову.

— Разрешите показать шпагу господину Теотакису?

— Нет!

— Я настаиваю на этом, Михаил Дмитриевич, — тихо сказал адъютант. — Задета моя честь, и если вы откажете, мне останется лишь подать рапорт об отставке.

— Ну, хорошо, — подумав, согласился генерал. — Анджей, принеси шпагу!

После данной сгоряча пощечины Скобелев стал называть денщика только по имени. Это восстановило прежние отношения, хотя Круковский говорил теперь куда меньше, чем ранее. Он вошел, молча положил шпагу на стол и отступил к дверям.

— Бриллианты, которые мне предложил купить офицер, выломаны из этих гнезд, — сказал ростовщик, тщательно осмотрев шпагу. — Они точно такие же, как и оставшиеся на ножнах.

Михаил Дмитриевич безнадежно махнул рукой и тяжело опустился в кресло. Баранов понял, что этим ему предоставляется полная свобода действий:

— Анджей, немедленно разыщи Узатиса и передай ему приказание его превосходительства тотчас же явиться сюда.

Круковский молча вышел. Скобелев тяжело вздохнул:

— Прошу присаживаться, господа.

Ждали около часа, и никто не обмолвился ни единым словом. Ростовщик не решался первым заговорить при столь важном генерале, адъютант размышлял, как поступать далее, если Узатис отопрется не только от кражи бриллиантов, но и от знакомства с ростовщиком, а Михаил Дмитриевич был настолько растерян, что вообще ни о чем не мог говорить. И еще неизвестно, как бы все сложилось в дальнейшем, если бы подпоручик Николай Узатис, с готовой улыбкой шагнув в комнату, не увидел бы вдруг шпагу на столе и ростовщика в кресле совершенно неожиданно для себя.

— Ваше превосходительство…

Не закончив фразы, он упал на колени, закрыл лицо руками и громко, взахлеб зарыдал. Скобелев молчал, и говорить за него пришлось Баранову:

— Придется отвечать, Узатис.

— Я сознаюсь, сознаюсь!.. — выкрикивал подпоручик сквозь рыдания. — Затмение нашло, ваше

превосходительство. Затмение!..

— Пошел вон, — брезгливо сказал Михаил Дмитриевич.

Узатис выкатился с поразительной быстротой. Генерал поднялся с кресла, крепко пожал руку ростовщику:

— Примите мою признательность, господин Теотакис. Вы очень нам помогли, однако…

Он сконфуженно замолчал, а грек чуть дрогнул губами в нерешительной улыбке:

— Люди моей профессии молчат даже на исповеди, ваше высокопревосходительство.

— Благодарю.

Ростовщик, поклонившись, вышел. Скобелев походил по комнате, велел денщику убрать шпагу, сказал Баранову:

— Готовь бумаги для военного суда.

Вечером следующего дня пришла Ольга Николаевна. Поцеловала сына в висок, когда он склонился к ее руке, и молча достала из ридикюля оба украденных бриллианта.

— Я все знаю, Миша, Николай полностью мне признался.

— Узатис будет отдан под суд.

Ольга Николаевна горестно вздохнула:

— Он так рыдал, Мишенька, так рыдал. Гово-

рит, что это было затмение, он не соображал, что делает.

— Почему же он не вернул украденное, когда затмение прошло?

— Не решался. Очень мучился, страдал, но решиться не мог. Представляешь, какой позор для матери! Боюсь, Лизонька не выдержит этого, просто не выдержит. Муж — в могиле, сын — на каторге.

— Предлагаешь простить вора? — невесело усмехнулся Михаил Дмитриевич.

— Тебе решать, — вздохнула Ольга Николаевна. — Бриллианты возвращены, о происшествии никто не знает. Стоит ли ломать жизнь сыну и матери? Они и так очень несчастливы. Подумай, Мишенька.

Михаил Дмитриевич хотел было рассказать о карточном долге Узатиса, но решил не огорчать и без того очень расстроенную Ольгу Николаевну. А на другой день приказал Баранову не подавать в судебные инстанции никаких бумаг.

— Потворствуем, Михаил Дмитриевич.

— Спасаем душу заблудшую, — сказал Скобелев. — Готовь приказ о переводе подпоручика Узатиса в общий офицерский резерв. Будет добросовестно служить — слава богу, не получится у

него — так и вины нашей нет.

— Будет исполнено, Михаил Дмитриевич, — озабоченно вздохнул Баранов. — Только беспокоит меня что-то. Очень беспокоит.

4

В Россию Михаил Дмитриевич возвращался на пароходе «Великий князь Константин». Пароход старательно месил черноморскую воду, медленно продвигаясь к родным берегам, и Скобелева раздражало как вынужденное бездействие, так и замкнутое пространство, которое он — порывистый и непоседливый — всегда переносил с трудом. Конечно, можно было утопить время в привычных офицерских попойках, но перед отъездом он необдуманно дал матери слово, что не выпьет ни рюмки, пока не доберется до места назначения. А таковым оказался Минск, поскольку там теперь находился штаб его корпуса и до него было мучительно далеко. И он метался как душевно, так и физически, пока капитан парохода не пригласил его на ужин в свою каюту. Капитана Михаил Дмитриевич приметил давно совсем не потому, что в петлице его форменного кителя поблескивал Георгиевский крест. Капитан был краток и точен в распоряжениях, чрезвычайно

энергичен в действиях, и экипаж «Великого князя Константина» от юнги до немолодого первого помощника исполнял его команды с энтузиазмом и удовольствием. При первой же возможности он представился Михаилу Дмитриевичу:

— Макаров Степан Осипович*.

С этого дружеского ужина наедине начались их ежевечерние встречи, и Скобелев сразу повеселел. Со Степаном Осиповичем было о чем поговорить и поспорить не ради спора да разговора, а ради выяснения точек зрения. Макаров был весьма образован и, что всегда импонировало Михаилу Дмитриевичу, имел свою, личную, подчас оригинальную, но хорошо продуманную позицию.

— В сражениях вы всегда ориентируетесь на самую решительную часть, смело выдвинувшуюся вперед без оглядки на более медлительных соседей, не так ли, Михаил Дмитриевич? Я уловил ваш боевой почерк, проанализировав ваши операции.

— Только вперед, безоглядно вперед! Заставить оглядываться противника — таков мой принцип.

— Мой — тоже, но, правда, чисто теоретически, поскольку мне не случалось самостоятельно

руководить морскими сражениями. Но твердо уверен, что старое морское правило подстраиваться под самое тихоходное судно, чтобы не потерять его в бою, порочно в основе своей. Оно лишает инициативы наиболее решительных и энергичных капитанов, сковывает их самостоятельность, лишает маневра и в результате отдает простор противнику. Нет, нет, атака, атака и еще раз атака, вы совершенно правы, Михаил Дмитриевич. Я подал Морскому ведомству обоснованную теорию морского сражения эскадр, в составе которых разноскоростные суда, но получил нагоняй.

— Не отчаивайтесь, Степан Осипович, — невесело улыбнулся Скобелев. — Я всю жизнь поступал точно так же, продолжайте и вы в этом духе. Вы наживете множество врагов в лице своих же злословящих русских ура-патриотов и глубокое искреннее уважение противника, кем бы ни был этот противник.

Минск торжественно встретил героя Балканской войны. Толпы народа шумно и восторженно приветствовали его на улицах. Михаил Дмитриевич был растроган до слез, однако первый приказ, отданный им, вызвал некоторое удивление среди офицеров. Поздравив корпус с прибытием на

зимние квартиры, Скобелев далее написал:

«…отчислить все мое жалованье в особую запасную сумму, которая будет расходоваться нуждающимся чинам, как солдатам, так и офицерам, и чтобы просящим пособие никогда отказа не было… Прошу господ офицеров посильно отчислять деньги в эту особую сумму и заранее благодарю их…»

В следующее воскресенье губернатор устроил прием, на котором произнес проникновенную речь. Городские власти присвоили генералу звание Почетного гражданина города Минска, предприниматели и купцы наградили весьма ценным подарком, а интеллигенция преподнесла стихи в его честь. Стихи с искренним волнением прочитала милая скромная девушка, застенчиво вручившая Михаилу Дмитриевичу цветы уже лично от себя.

— Тронут, — с чувством сказал Скобелев, растерянно пожав ей руку вместо того, чтобы поцеловать. А когда она удалилась, поинтересовался: — Кто такая?

— Екатерина Головкина, — пояснил подвернувшийся под руку чиновник для особых поручений. — Отменно образованна, отменно умна, но, увы, без приданого и связей.

— Она будет на обеде у губернатора?

— Если пожелаете, ваше превосходительство.

Его превосходительство пожелал, после чего начал встречаться с Екатериной Головкиной не только на званых обедах. Михаилу Дмитриевичу было интересно беседовать с нею, хотелось слушать ее, видеть, ощущать рядом. Порою он чувствовал, что начинает увлекаться, радовался этому чувству, но…

— Я — несчастный человек, — жаловался он Верещагину, посетившему его проездом в Берлин. — Мне легко и просто в компании кокоток, актрис, шансонеток и мучительно трудно в обществе светских девиц. Это какой-то рок! Я все время настолько боюсь попасть под каблучок, что постоянно держусь в напряжении, глупею и злюсь. В этом основная причина, почему я в конце концов развелся с очаровательной княжной Марией Гагариной.

— Дать тебе совет? — серьезно сказал Василий Васильевич. — Женись на той женщине, с которой и утром легко да просто.

— Я дерзок, сам знаешь, но дерзить родителям не могу. Матушка сказала, что не знатная ей невестка нужна, но порядочная, и огорчать ее я не собираюсь. Не могу и не буду. Извини мои

ненужные откровения, только…

Скобелев неожиданно замолчал. Ему очень хотелось поведать другу, что после стольких лет появилось у него наконец-таки новое увлечение, но не очень-то он внутренне верил в это увлечение, а потому и побаивался сглазить его. Суеверен был чудовищно при всей своей бесшабашности и безумной отваге.

— Пригляди кого-нибудь из молоденьких в столице, — посоветовал Верещагин. — В Москве уверены, что тебя вот-вот государь к себе востребует.

— Вроде повода я для этого не давал, — встревожился Михаил Дмитриевич.

— Повод текинцы дали. Они разгромили нашего знакомца генерала Ломакина возле Геок-Тепе. И в Москве считают, что, кроме тебя, с восставшими никто не управится. Ты и до этого в Туркестане с ними управлялся, а после европейского опыта тебе на сегодня просто нет равных. Нет, Миша, так что готовься к новой кампании. Предчувствие у меня. Предчувствие!..

Глава вторая

1

В результате многолетних, упорных и весьма удачных боевых действий русских войск большинство ханств и народов, населявших Туркестан, вослед за Бухарой, Хивой и Кокандом приняло российское подданство. Однако далеко не все мирно складывалось в этом наспех сметанном Россией лоскутном одеяле приобретенных земель. Наиболее многочисленное и сплоченное племя текинцев, о бесстрашии, воинском мастерстве и жестокости которых ходили легенды, неожиданно подняло восстание, увлекая за собою соседние кочевые племена. Повстанцы действовали дерзко и энергично, быстро захватили множество русских постов и опорных пунктов. Взятые в плен русские солдаты и офицеры продавались в рабство, раненые и больные беспощадно уничтожались на месте. Создалась реальная угроза русским гарнизонам на Каспийском море.

Учитывая объективно возникшую опасность, генерал Ломакин во главе трехтысячного отряда тотчас же двинулся к стенам основной и хорошо

укрепленной крепости текинцев Геок-Тепе, практически с марша начал плохо подготовленный штурм, но был разгромлен и поспешно отошел к Каспийскому побережью.

Это привело к весьма серьезным последствиям: русские войска в Средней Азии теперь могли и впрямь оказаться отрезанными от Кавказских военных баз и резервов. Впрочем, резервных частей и там было чрезвычайно мало, поскольку основные боевые соединения еще не успели вернуться на зимние квартиры с Закавказского фронта после только что закончившейся русско-турецкой войны.

Об этом военный министр граф Милютин Дмитрий Алексеевич доложил государю. И, поскольку Александр II молчал, позволил себе прервать его размышления:

— С Кавказа можно отправить от силы три-четыре тысячи. Следовательно, потребуется особенно решительный начальник, Ваше Величество. Генерал Ломакин сломлен психически, подавлен морально, но есть полководец, способный решить эту очень нелегкую задачу.

— Кто же?

— Генерал Скобелев-второй. Я понимаю, Ваше Величество, неожиданность подобной канди-

датуры…

— Я так и думал, что вы назовете именно эту фамилию, — прервал император. — Скобелев не только доказал свой воинский талант во время нашей последней войны в Болгарии. Полагаю, что не менее существенным является и его прекрасное знание именно Туркестанского театра военных действий. Кажется, он даже выучил арабский язык, чтобы прочитать Коран?

— Вы совершенно правы, государь. Генерал Скобелев тщательно изучает психологию противника, что облегчает ему ведение широкомасштабной маневренной войны. Поэтому именно его кандидатуру я и предложил Вашему Величеству.

— Я желаю встретиться с ним.

Михаил Дмитриевич был готов к вызову в Петербург не только потому, что узнал о настроениях московского общества от Верещагина. Он внимательно перечитал газеты и все доступные ему документы, понял основные просчеты Ломакина и составил собственный план действий. Пока, естественно, в общих чертах, почему и не считал возможным делиться своим планом с кем бы то ни было. Получив приказ явиться к государю, тут же выехал, но был молчалив и задумчив.

В доме на Моховой, в котором Скобелев всегда останавливался, когда случалось бывать в столице, дворник сказал:

— Господин Млынов вас в Петербурге ожидает, Михаил Дмитриевич, — каждый день наведывается, о вас спрашивает.

— Ко мне его проводи, как только объявится.

Бывший адъютант объявился в тот же день к вечеру. Скобелев обнял его, чего не делал никогда прежде, сам достал коньяк, закуску, сам наполнил рюмки. Млынов тем временем рассказывал не столько о себе, сколько о слухах, бродивших в самых разных кругах Петербурга. Все они касались разгрома генерала Ломакина, о чем скупо поведали газеты, именуя это неудачей.

— Тоже так считаешь?

— Нет, Михаил Дмитриевич. Это — разгром. Потому-то и приходил сюда каждый день.

— Ждал, когда обо мне вспомнят?

— А без вас эту прореху латать некому. И ведь — дождался. — Млынов как-то невесело улыбнулся, поднял рюмку. — Жаль, не я буду нитку в вашу иголку вдевать.

Скобелев чокнулся, выпил. Спросил вдруг:

— Туркменский язык не позабыл еще?

— Нужда придет, вспомню.

— Нужда пришла. Вспоминай.

Александр II принял Скобелева с подчеркнутой сердечностью. Спросил о здоровье, о родителях, о состоянии корпуса, планах на будущее. Потом взял под руку и, прогуливаясь по залу, начал неторопливо рассказывать о событиях на юге Закаспийского округа, о чем Михаил Дмитриевич уже знал. Вероятно, государь это понял, потому что внезапно оборвал собственный рассказ совсем по-домашнему:

— Я решил поручить это дело тебе, голубчик.

— Благодарю, Ваше Величество.

— Не спеши, время терпит. Надо тщательно подготовиться, вторая неудача может породить широкий мятеж. Коли в два-три года управишься, очень меня порадуешь. Что скажешь?

— Две просьбы, Ваше Величество. Ломакин потерпел неудачу вследствие пустынности тех мест и полного отсутствия дорог. Прошу вашего соизволения относительно строительства современной железной дороги от побережья в глубь пустыни. Такой путь явится как хребтом оседлости местного населения, так и нитью доставки российских товаров в этот пустынный и далекий от цивилизации край. А я переброшу по нему все необходимые войскам запасы.

— Это удивит туземцев, голубчик.

— Удивление — важная часть победы, Ваше Величество.

— Да, но как мы доставим в пустыню паровозы?

— Паровозы и весь подвижной состав необходимо перевезти с Кавказа через Каспийское море. Там шастают персидские военные суда, и отсюда — вторая просьба. Прошу Ваше Величество откомандировать в мое распоряжение капитана Макарова Степана Осиповича.

— Запиши, — бросил через плечо государь следующему шаг в шаг за ним адъютанту. — Смело, очень смело. И неожиданно. Сорока миллионов тебе хватит?

— Благодарю, Ваше Величество, уложусь вполне. И отчитаюсь до копейки.

— Да уж спрошу, спрошу, — улыбнулся император. — С учетом необходимости строить железную дорогу, установим срок… Скажем, в четыре года. Это тебя устроит?

— Благодарю, Ваше Величество. Вполне.

— Есть ли личные просьбы, голубчик?

— Одна, Ваше Величество. — Скобелев позволил себе улыбнуться. — Прошу вашего дозволения награждать солдат и штаб-офицеров лично и

непосредственно на поле боя.

— Что же, это разумно. Я отдам такое повеление. Ступай, голубчик, жду тебя с подробным докладом через четыре года.

— Я управлюсь раньше, Ваше Величество.

Генерал Скобелев управился значительно раньше, но докладывать пришлось уже иному государю, Александру III, не только сменившему штиблеты на сапоги, а бакенбарды — на купеческую бороду, но и резко притормозившему развитие всех отцовских реформ*.

Из Зимнего дворца Михаил Дмитриевич вернулся на свою петербургскую квартиру окрыленным. Плечи развернулись во всю ширь, глаза засверкали, с лица не исчезала улыбка.

— Вы довольны, значит — опять в Туркестан, Михаил Дмитриевич? — спросил ожидавший его там Млынов.

— Ты — раньше меня, намного раньше. — Скобелев уже все продумал, и теперь отдавал распоряжения. — Не позже, чем через полмесяца, выедешь в Красноводск через Кавказ в качестве купца… ну, допустим, Громова. В Красноводске займешься массовой скупкой верблюдов. Верблюды, верблюды и еще раз верблюды — такова твоя основная задача. Ну а кроме того, будешь

внимательно слушать. Меня интересуют настроения туркмен вообще и текинцев в частности, укрепления Геок-Тепе и подходы к крепости. Ну и, конечно, вода. Места всех колодцев в зоне наших действий, количество и качество воды в них. И все же главное — верблюды. Но старайся внимательно слушать, о чем судачат туркмены на рынках. Понял, Млынов?

— Судачат женщины. Мужчины — беседуют.

— Рядом со всеми вертись. Только не забывай изображать, будто языка не понимаешь.

— Изображать?

— Больше услышишь.

— Я постараюсь.

Скобелев походил по комнате, размышляя. Внезапно остановился перед бывшим капитаном:

— Да, вот еще что. В моде сейчас тонкий французский бархат самых различных цветов. «Луи-вельветин», дамы шьют из него платья, я записал для памяти. Купи и будь щедрым. Туркестан ценит щедрость и подарки. Деньги для этого передам тебе через неделю: мне надо в Спасское съездить.

— А к себе меня возьмете, Михаил Дмитриевич? — тихо спросил Млынов. — Потом, после того как текинцев разгоните?

Скобелев промолчал. То ли был занят своими думами, то ли боялся сглазить, то ли не посчитал нужным отвечать.

2

Млынов — с документами на имя купца Громова и соответствующим новому положению багажом, в котором находилось и десять штук луи-вельветина разных цветов и оттенков, — добрался до Красноводска весьма быстро по тем временам. Снял контору с квартирой над нею, походил, послушал, поглядел и дал несколько объявлений о неограниченной покупке вьючных верблюдов. Это подействовало быстро — прошедший год выдался на редкость жарким и засушливым, кочевники голодали, и желающих продать верблюдов оказалось предостаточно, однако бывший капитан вынужден был куда чаще отказываться от предлагаемого товара, нежели приобретать его. Как правило, ему почему-то пригоняли старых, больных, отощавших либо слишком молодых животных, использовать которых для обозных перевозок было по меньшей мере неразумно. Млынов понимал, что кто-то строго-настрого приказал туркменам пригонять в Красноводск именно то, что никак не могло

устроить русскую армию, и решил потолкаться на базаре в надежде разыскать смелых продавцов, готовых рискнуть ради высоких цен.

Хорошо зная местный язык, он тем не менее старательно избегал на нем говорить. Это позволяло спокойно слушать, о чем болтают, не вызывая настороженности, а для ведения по-восточному весьма обстоятельных торговых сделок нанял довольно толкового, но слишком уж разговорчивого толмача-армянина.

На шумном базаре хитрили и лукавили все — и продавцы, и покупатели, и даже местные жители, сбегавшиеся полюбопытствовать, что именно спрашивает русский и сколько он платит за выбранный товар. С помощью толмача Млынов приценивался ко всем верблюдам, всегда находя предлог отказаться от того, что ему настойчиво пытались подсунуть оборванные и истощенные владельцы и перекупщики. Это позволяло держать продавцов в напряжении, напряжение вызывало надежду и — слухи о русском купце, настолько глупом, что ему рано или поздно все же удастся всучить тот товар, который пригоняют из глубины пустыни. Млынов всячески поддерживал этот азарт, сокрушенно жалуясь переводчику, что у него истекает срок контракта

на поставку верблюдов в Астрахань и что вот-вот придется платить неустойку. И вскоре эти жалобы возымели действие.

— В воскресенье большой караван придет, господин Громов, — сказал толмач-армянин. — Если судить по базарным слухам, ладные верблюды ожидаются.

— Веришь слухам?

— Верю, господин Громов. Потому верю, что у кочевников — сильный голод. Деваться им некуда.

Слухи в этих местах всегда имели две стороны, и бывший капитан Млынов об этом хорошо знал. Они могли быть основаны на действительных намерениях как крупных, так и мелких властителей, и в этом случае известия в конце концов доходили до простых текинцев, но слухи могли и сознательно подбрасываться им с целью дезинформации русских. В последнем случае разницу можно было уловить из разговоров торговцев между собой, поскольку о русском купце, ни слова не понимающем на всех местных наречиях, базар уже знал по опыту многочисленных личных общений. Следовало просто вальяжно прогуливаться, вежливо улыбаться и слушать, не давая повода усомниться в уже утвердившемся

положении вещей, и Млынов готовился к воскресенью с особой тщательностью.

Караван пришел с первыми лучами воскресного солнца. Еще издалека капитан услышал дробный перестук тысяч копыт, скрип множества колес и хриплый рев верблюдов. И по этому могучему требовательному реву понял, что на сей раз гонят не только больных да старых, но и вполне здоровых и сильных животных.

Однако таковых оказалась ровнехонько сотня, и эта круглая цифра заставила капитана призадуматься. Получалось, что слух о караване скорее всего был умело кем-то подброшен, и тут следовало держать ухо востро.

— Скажи, что я беру всю партию, — велел он переводчику. — Но если хотя бы один верблюд окажется хромым, сделка будет недействительной.

Толмач тотчас же ушел к туркменам-погонщикам, а капитан тем временем с живейшим интересом принялся рассматривать иные привезенные на продажу товары, виновато улыбаясь и беспомощно разводя руками, когда кто-либо к нему обращался, и еще более внимательно слушая, о чем говорят окружающие его шумные и чрезвычайно общительные продавцы текинских

ковров, китайского шелка, медной узбекской посуды, персидских кинжалов и шашек, халатов и рубах, и прочего добытого большей частью в набегах товара.

— Господин!..

Окликнул робкий женский голос, но Млынов не решился оглянуться, хотя в обращении звучала очень искренняя и очень горькая мольба. Но когда молодая женщина упала перед ним на колени, остановиться все же пришлось.

— Я молю тебя, господин!..

— Я не понимаю тебя, женщина, — сказал он по-русски. — Я не говорю на твоем языке.

Капитан сделал попытку высвободиться, но женщина — очень юная и отважная в своем, искреннем и отчаянном порыве — держала его на редкость цепко. И продолжала говорить и говорить, не заботясь о том, понимает ее русский купец или нет.

— Купи мою дочь, мою маленькую Кенжегюль, господин. Спаси от голодной смерти ее и семью моего свекра, иначе ее продадут в персидские гаремы. Русские не трогают маленьких девочек, я знаю, знаю, мне говорили… Я молю тебя о великой милости, мой господин, я заклинаю тебя именем матери твоей…

— Оставь меня, женщина, — терпеливо повторял Млынов, стараясь мягко отцепиться от рыдающей туркменки. — Я не понимаю ни одного твоего слова.

Он понял каждое слово, как понял и то, насколько искренни были и ее отчаянные просьбы, и ее безмерное горе. Туркмены очень любили своих детей, гордились ими и берегли, как могли и умели, но, во имя спасения мальчиков, случалось, продавали дочерей во времена жестоких голодовок. Уголком глаза он уже успел приметить крохотную девочку, которую чуть позади лежащей на песке матери держал за руку старый оборванный туркмен, время от времени угрюмо посматривавший на него из-под косматой папахи.

— Мой муж погиб, мой род далеко, у меня нет защиты. Свекор сказал, что оставит в песках меня и мою девочку без воды и шатра, если я не продам сегодня дочь. Спаси нас, добрый русский купец, спаси две жизни одной горстью монет…

— Я не понимаю ни одного твоего слова. Оставь меня или я позову пристава.

«Что это — проверка? — лихорадочно соображал капитан, продолжая отцеплять руки несчастной матери и бормоча слова. — Или

женщина и вправду потеряла голову от горя и отчаяния?.. Вдова в чужой семье — всегда раба…» И крикнул:

— Эй, кто-нибудь! Позовите моего толмача, эта женщина, кажется, сошла с ума!..

Вокруг уже толпились любопытствующие, однако никто не вмешивался и даже не пытался хоть как-то помочь несчастной женщине. Правда, между собою они тихо переговаривались, и капитан уловил вдруг брошенную вскользь фразу:

— Старик — родственник самого Тыкма-сердара*… «Родственник Тыкма-сердара?.. — насторожился Млынов. — Скобелев выгнал отряды Тыкма-сердара из Коканда три года назад…» И снова закричал:

— Да позовите же кто-нибудь моего толмача!..

Наконец-то появился переводчик. Твердо заговорил с женщиной, заставил ее подняться на ноги.

— Она просит купить у нее дочь, господин Громов. Иначе ей и ее малютке угрожает смерть. Не удивляйтесь, такое здесь иногда случается. Дикари…

— Купить дочь? — Млынов усиленно разыгрывал крайнее удивление. — Разве это законно?

— Здесь — свои законы.

— И во сколько же монет она оценивает свою малютку?

— Вы собираетесь уступить наглому шантажу? Извините, господин Громов, но…

— Я собираюсь приобрести верблюдов, — резко перебил капитан. — Но мне, похоже, не продадут ни одного, пока я не куплю сам чего-либо. Узнайте цену ребенка.

Толмач начал темпераментно торговаться, и Млынов с трудом сдерживал себя. Он готов был заплатить любые деньги, только бы прекратить и эту торговлю, и эту явную провокацию, взбудоражившую весь базар.

— Она просит сто тиллей, господин Громов.

— Что это значит на русские деньги?

— Тилль — почти два рубля на сегодняшний день. Это большие деньги.

— Дайте двести пятьдесят рублей, но с непременным условием, что ребенок пока должен остаться у матери, — раздраженно сказал Млынов. — Я возьму девочку перед отъездом, когда завершу свои торговые дела.

Переводчик долго втолковывал это условие матери. Она никак не могла понять, почему купленный товар должен остаться у нее, а, сообразив, начала бурно благодарить. Капитан достал

внушительный бумажник, неторопливо — чтобы видел весь базар — отсчитал деньги, но женщина отшатнулась от них. Бросилась к девочке, подхватила ее на руки, прижала к груди.

— Кенжегюль, Кенжегюль… Моя Кенжегюль!..

К Млынову подошел старик, до сей поры охранявший ребенка. Молча взял деньги, начал старательно пересчитывать их. И неожиданно тихо сказал на плохом русском языке:

— Толмач должен уйти.

— Что?..

Млынов очень удивился, но все же ответил шепотом. А старик заново принялся пересчитывать деньги. И повторил:

— Отошли толмача.

— Ты отобрал верблюдов? — строго спросил капитан переводчика. — Ступай. Я сейчас подойду.

Армянин тотчас же ушел. Старик проводил его взглядом, не переставая теребить ассигнации. Когда переводчик удалился на приличное расстояние, негромко заговорил, пряча деньги за пазуху и не поднимая головы:

— Если сегодня в полночь придешь сюда, получишь тысячу верблюдов.

— Или удар ножом?

— С тобою ничего не случится.

— Чье это слово, старик?

— Тыкма-сердара.

Сказав это, старик тут же и исчез, растворившись в толпе. Капитан, изо всех сил стараясь сохранять полную невозмутимость, пересек базар и прошел на скотный рынок, где громко блеяли овцы и ревели верблюды. К тому времени переводчик сумел кое-как отбиться от мелких перекупщиков, и удачливому купцу Громову оставалось лишь осмотреть отобранный товар и уплатить деньги. Купленных верблюдов под наблюдением толмача тут же погнали на арендованные скотные дворы, и капитан в одиночестве направился домой.

Сомнений и неясностей хватило на весь день. Капитан знал Тыкма-сердара не только как весьма способного кавалерийского военачальника, но и как еще более способного авантюриста, поменявшего не одного хана ради собственной выгоды, положения и гарантий безопасности. Судьба свела сердара со Скобелевым в Коканде, когда сам капитан Млынов еще числился всего лишь заштатным переводчиком при молодом генерале. Тогда Михаилу Дмитриевичу стоило немалого труда уговорить генерала Кауфмана поверить служившему при кокандском хане

Худояре лихому сердару, и как только это случилось, хан почему-то безо всякого сопротивления принял русское подданство. Однако стоило всего лишь отвести русские войска, а самому генералу Скобелеву срочно выехать в Петербург искать защиты от клеветы у государя, как сыновья хана Худояра подняли мятеж против собственного отца, опираясь прежде всего на клинки верных Тыкма-сердару головорезов. Мятеж удалось подавить, но сердар опять ускользнул от возмездия, переметнувшись к текинцам. И вот теперь его словом Млынову гарантировали безопасность во время непонятного полуночного свидания, наградой за которое служила тысяча верблюдов.

Тут было, над чем подумать, и капитан размышлял, неторопливо и основательно взвешивая все обстоятельства. Самой простой причиной внезапного приглашения на полуночное рандеву могло быть желание устранить его как купца Громова, пленив или уничтожив физически, тем самым устранив и от приобретения крупных партий верблюдов. В таком повороте дел весьма были заинтересованы текинцы: это если и не лишало русских единственного вида транспорта, способного работать в пустыне, то во всяком случае помешало его сосредоточению. Текин-

цы были твердо убеждены, что без верблюдов русским войскам не добраться до их главной крепости Геок-Тепе, которую столь неудачно атаковал отряд генерала Ломакина, потерявший при отступлении все свои верблюжьи караваны.

«Возможно такое? — думал Млынов. — Вполне возможно, и все же… Все же — вряд ли. Туркмены рассудительны и серьезны, но в то же время жестоки, беспощадны и жалости не ведают, коли нужда нагрянула — вон что творят, крохотную девочку продали сегодня, только бы мальчишек спасти. Но не встречались мне что-то туркмены коварные. Злые встречались, а коварные… Нет, не похоже это на них: захотели бы убить — на рынке бы днем зарезали, фанатиков среди мусульман хватает. А тут — целый план продуман. Ночная встреча, тысяча верблюдов… И слова с меня не взяли, что никому о свидании не скажу…»

А может, сказать-то как раз и стоит? Красноводск — городишко русский, приставство имеется, дадут охрану. Ну и что? Явиться на свидание с тайной охраной и… И навеки прощай тысяча верблюдов: старика, может быть, и схватят, а что узнают? Кто послал, зачем, почему? Ничего он и на дыбе не скажет, потому что тогда всю его семью вырежут без всякой пощады. И

обещанных верблюдов купцу Громову не видать как собственных ушей…

«Верблюды… — будто луч вдруг вспыхнул в усталой капитанской голове. — Обещанные верблюды — это же бакшиш, взятка за то, что… Что приду с кем-то повидаться. Поговорить, ответить на какие-то вопросы, может быть, посоветовать, что делать, как поступить. И в благодарность — бакшиш. Тысяча верблюдов, если сведения мои будут того стоить. Пошел бы в таких обстоятельствах на риск Михаил Дмитриевич? — Капитан усмехнулся про себя. — Да он одного любопытства ради пошел бы. А уж того ради, чтобы получить возможность узнать, где сейчас Тыкма-сердар со своими джигитами, кому он правдой служит, кого предать намеревается… А старик словом сердара поклялся, что со мною ничего не случится. Значит, сердар где-то здесь, где-то совсем близко. И если купцу Громову плевать на всех сердаров, то мне, бывшему капитану русской армии Млынову, просто необходимо узнать о нем все, что только возможно. Иначе Скобелев с меня голову снимет или, хуже того, посчитает трусом… А коли так, то без штуки луи-вельветина здесь никак не обойтись: Тыкма-сердар всегда любил нарядные халаты…»

Приняв решение, Млынов более не колебался, весь сосредоточившись на том, как следует поточнее и получше его исполнить. В этом он бессознательно копировал своего кумира и вождя Михаила Дмитриевича Скобелева, сотворившего из скромного ташкентского толмача-чиновника не просто толкового адъютанта, но боевого офицера — смелого, инициативного и решительного. В эту ночь вложенные в капитана скобелевские качества должны были подвергнуться серьезному испытанию. Правда, правила самому капитану оставались неизвестными, кроме одного условия: он не имел права на проигрыш. Скобелев поручил ему лично обеспечить становой хребет всего своего плана: верблюдов. То есть возможность свободного передвижения войск по пустыне без дорог и колодцев. Свободного — значит прежде всего неожиданного для противника, уже привыкшего к тому правилу, что русские войска в пустыне могут передвигаться только проторенными путями от воды до воды и от поста до поста. Это было куда важнее сбора любых данных о противнике или о настроениях коренного населения, важнее личных наблюдений и даже личной разведки: верблюды давали Скобелеву возможность маневра и смелой боевой

инициативы.

Прекрасно понимая это, капитан шел на полуночную встречу все же не только ради обещанной тысячи верблюдов. Он рисковал ради предполагаемого свидания с Тыкма-сердаром, уповая прежде всего на склонность последнего к непредсказуемым авантюрным поступкам, если в них сверкала хотя бы искорка надежды на личную наживу. И вспомнил оценку этого человека генерал-лейтенантом Кауфманом, данную на офицерском разборе причин падения Кокандского ханства:

— Такие, как Тыкма-сердар, не стремятся к ханской неустойчивой власти, господа. Им вполне достаточно выгоды, полученной от очередного предательства, а там — подавай Богноги. Это скорее кондотьеры*, нежели защитники чего бы то ни было, будь то собственный народ, вера в Аллаха или собственное честолюбие. Лихая жизнь и лихая нажива — вот и все их идеалы.

Учитывая склонность к «лихой жизни», капитан сунул в карман шаровар револьвер, а памятуя о склонности к «лихой наживе», приторочил к седлу штуку ярко-малинового луи-вельветина. И за четверть часа до назначенного времени выехал на свидание с неизвестностью, никому и

словом не обмолвившись о своем решении.

3

Глухие, зажатые глинобитными дувалами улочки были темны и пустынны. Вымостить их еще не успели, конские копыта тонули в весенней грязи без перестука, ехать было совсем близко, и Млынов не торопил коня. А перед рынком вообще остановился, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в темноту и тишину. Не уловив ничего подозрительного, осторожно объехал основную дорогу и пробрался к месту свидания глухим, темным и тесным проулком. И здесь вновь остановил коня и замер в напряженном выжидании.

— Хорошо сделал, что приехал, — из темноты неожиданно донесся негромкий голос, и Млынов по акценту узнал старика. — Поезжай прямо, тебя встретят два джигита. Следуй за ними молча, они не говорят на твоем языке.

Игра продолжалась, становясь все более непредсказуемой и, возможно, очень опасной, но капитан и не помышлял о том, чтобы выйти из нее. Он кому-то был нужен, очень нужен, и это в известной мере гарантировало ему жизнь. Следовало лишь с осторожной аккуратностью до конца играть по чужим правилам.

Капитан тронул коня, неспешно пересек рыночную площадь, и у противоположного въезда к нему тотчас же приблизились два всадника в надвинутых по самые брови косматых туркменских папахах — тельпеках. Один из них вежливо прижал ладонь правой руки к сердцу и тут же развернул коня, тогда как второй джигит пристроился позади Млынова. Это выглядело как почетным эскортом, так и жестким караульным сопровождением, но Млынов решительно гнал прочь все посторонние мысли. Выбор был сделан.

В полном молчании они осторожным шагом миновали глухие и бедные лачуги пригорода и сразу же свернули с дороги в сухую полынную степь, переведя лошадей на ходкую рысь. Никаких ориентиров капитан не заметил, хотя и всматривался в темноту до рези в глазах, но его проводники в них, кажется, и не нуждались. И вскоре погнали карьером, строго соблюдая дистанцию между собою и то ли охраняемым, то ли сопровождаемым ими спутником, а после часовой скачки остановились возле саманной пастушьей хижины.

Их тотчас же окликнули: проводники коротко ответили на оклик и спешились. Капитан

спрыгнул с седла вслед за ними, но не отпустил свою лошадь, а повел ее в поводу к темневшей хижине. Здесь второй сопровождающий принял у него повод, а первый отпахнул перед ним полу тяжелого ковра, которым был занавешен вход в мазанку, и почтительно посторонился, приглашая проследовать внутрь.

Пригнувшись, Млынов прошел в тесное помещение с земляным полом. В центре его горел неяркий костер, в отсветах которого капитан сразу увидел рослую фигуру в поношенном халате, за перевязью которого торчала персидская сабля в дорогих ножнах. Лица хозяина видно не было, но капитан сразу понял, что это — сам Тыкма-сердар, и вежливо поклонился.

— Ас селям алейкюм, — сказал сердар.

Капитан промолчал.

— Почему не приветствуешь меня, как то положено во всех племенах? — по-русски и почти без акцента спросил сидевший у костра. — Нехорошо так поступать, потому что ты знаешь и наш язык, и наши обычаи, а я — старше тебя.

— Прости меня, хозяин, но откуда мне, мирному купцу Громову, знать ваши обычаи?

— Стоит ли прибегать к хитрости, когда нет посторонних? — вздохнул сердар. — Ты — толмач

генерала Скобелева, и два… нет, даже три раза переводил нашу беседу с генералом, которого мы назвали между собой Гез-каглы.

— Кровавые глаза? — искренне удивился капитан. — Они у него скорее серые. Как сталь.

— Вот ты и проговорился, Млынов, — усмехнулся Тыкма-сердар. — Глаза — окошки души, которую вкладывает в человека Аллах. Она смотрит на мир по-разному. С дружелюбной голубизной — на друзей, с кровавым гневом — на врагов. Садись на кошму, Млынов. Нам предстоит важный разговор за дастарханом, так постараемся же смотреть друг на друга теплыми глазами.

Капитан сел, привычно скрестив ноги. Он правильно вычислил это свидание, но не сумел найти правильного подхода, и сердар перехватил нить разговора. Следовало как-то изменить как тон, так и тему беседы, потому что упоминание о прозвище Скобелева «Гез-каглы», то есть «Кровавые глаза», не могло быть случайным. Он размышлял об этом, пока готовили дастархан, вежливо отвечая хозяину на традиционные вопросы о дороге, делах и здоровье.

Наконец угощение было подано, и люди ушли. Тыкма-сердар сам наполнил его пиалу пенным напитком.

— Прости, что не предлагаю тебе зеленого чая, но — такие времена. За здоровье моего драгоценного гостя.

Вежливо улыбнувшись, капитан сделал глоток. Нет, это был не кумыс, а чал — слегка опьяняющий напиток из сброженного верблюжьего молока. Отсюда следовало, что в распоряжении Тыкма-сердара были только боевые кони, а не молочные кобылицы, что сразу же оценил Млынов. «И зеленого чая у тебя нет для путника из пустыни, и халат твой потрепан, — размышлял он. — Значит, несладко тебе живется у текинцев, сердар…»

— Позволь вручить тебе, отважнейший из туркменских сердаров, мой скромный дар, — теперь Млынов нащупал направление, которое должна была принять их беседа. — Подарок приторочен к седлу моего коня. Вели внести его.

Странно, но сердар искренне, почти по-детски оживился. Конечно, все любят подарки, а Восток — в особенности, но радость при этом полагается скрывать, а скрыть ее Тыкма не смог. «Давно ему ничего не дарили, и он просто глубоко обижен, — подумал капитан. — Текинцы держат его в тени, на подсобных ролях. Отсюда и чал вместо кумыса, и это свидание…»

Слуга доставил упакованную штуку луи-вельветина. Млынов неторопливо, искоса наблюдая за хозяином, распаковал продолговатый тючок, помедлил, резко развернул, и ярко-малиновый цвет отразился на лице сердара. Если бы не гость, он бы, вероятно, всплеснул бы от радости руками…

— Твой подарок подобен дружескому костру в холодную ночь, — тихо сказал туркменский военачальник, погладив нежный бархат загрубевшей в бесконечных кочевьях рукой. — А дружеский костер — свет откровения, и я отброшу неискренность, Млынов. Текинцы перестали прислушиваться к моим советам с той поры, как из Персии вернулся Коджар-Топас-хан с семью тысячами воинов и двумя тысячами персидских рабов. В основном это строители, которых он захватил при своем бегстве в Туркестан. Его из уважения, как знатного вождя, бывалого человека и опытного воина пригласили на военный совет, когда стало известно, что генерал Ломакин собирается в поход, чтобы наказать нас за восстание. И хан убедил восставших текинцев не встречать, как обычно, русских в степи, а отремонтировать старую крепость, чтобы встретить русские войска в обороне за ее стенами. Напрасно

я говорил, что степь да верный конь всегда дают возможность джигитам отойти, оставив женщин и детей, потому что русские не продают их в рабство. Отойти, а потом жалить русских в спины, засыпать колодцы и громить по частям. Меня уже не слушали, а после того как персы отстроили Геок-Тепе и Ломакин вздумал штурмовать ее с ходу и был разгромлен, Коджар-Топас-хан обвинил меня в измене. Текинцы в это не поверили, потому что мои воины сражались отважно, и это все видели. Но они перестали меня слушать. Они больше не делятся со мною добычей и не пускают меня в набеги. Посмотри, я донашиваю ватный халат и дотаптываю грубые юфтовые сапоги. Если бы со мной были только мои воины, я бы давно увел их. Но со мною пошел простой народ, женщины и дети, несколько сот кибиток. Знаешь, что они едят, Млынов? Раз в день — жидкую кашу из джугары* или свеклу с кунжутным маслом да дикие травы. Они начали продавать девочек, чтобы спасти от голодной смерти свои семьи, и я вынужден был закрыть на это глаза.

— А разве ты не можешь откочевать на север, сердар? — осторожно спросил Млынов: увести десять тысяч опытных воинов из-под Геок-Тепе было бы весьма и весьма кстати. — Мы откроем

тебе все свои дороги, которые сразу же закроем для текинцев.

— Текинцам не нужны дороги, — вздохнул Тыкма-сердар. — Текинцы обойдут пустыней ваши заставы и вырежут весь мой народ. Я обещал тебе тысячу верблюдов, и я исполню свое обещание, если ты заплатишь за них мукой.

— Я расплачусь мукой, — тотчас же сказал капитан, подумав, правда, что такая сделка может не понравиться Скобелеву, поскольку муку придется взять с армейских складов.

— Когда прибудет Гез-каглы? — вдруг спросил сердар, и Млынову показалось, что он читает его мысли.

— Турки называли Скобелева Ак-пашой…

— Здесь он должен стать кровавым! — выкрикнул Тыкма-сердар. — Текинцы вырезают всех русских, не щадя женщин и детей, обрекают на голодную смерть и рабство простых туркмен. Так когда же приедет наш спаситель?

— Генерал прибудет зимой.

— Зимой, — вздохнул сердар. — Текинцы успеют неплохо укрепить Денгиль-Тепе. У них много персидских строителей-рабов.

— Что такое Денгиль-Тепе?

— Форт, на который опирается вся оборона

Геок-Тепе. Скажи генералу, что снарядами стен ему не разрушить. Нужно взрывать минными подкопами.

— Много ли в крепости воинов?

— Всадников — тысяч двадцать пять, а может, и все тридцать, не считая моих джигитов. Если мне не удастся увести своих женщин и детей, я буду вынужден помогать текинцам. Вынужден, ты должен меня понять, Млынов.

— Я понял тебя, сердар.

— И объяснить генералу Скобелеву.

Последнее Тыкма-сердар произнес, выделив каждое слово, и капитан понял, что их свидание состоялось только ради этой фразы. Тысяча верблюдов и впрямь оказалась всего-навсего бакшишем, о котором тут же вспомнил сердар.

— Верблюдов тебе отгонят сегодня, но не на рынок. Знаешь три сухих колодца?

— Я найду их.

— Не позабудь заодно найти обещанную муку.

— Я исполню свое обещание, сердар. Если у тебя нет возражений, я доложу о нашей встрече Скобелеву, как только он сюда прибудет. И все ему объясню.

— Постарайся, чтобы при этом не оказалось лишней пары ушей, Млынов. Это может стоить

мне головы, но я и тогда не пожалею о встрече с тобой. Особенно если генерал всем сердцем поймет твои объяснения. Мой народ заблудился в зыбучих песках, засыпавших его колодцы, и я поклялся на Коране вывести его к жизни даже обрывистой тропою неверности.

— Ты правильно выбрал свою тропу, сердар. Не тревожь понапрасну совесть.

— Ты все понял, и ты все объяснишь генералу, — сказал Тыкма-сердар, поднимаясь с ковра. — А сейчас тебе пора в обратный путь. Скоро начнет светать…

Глава третья

1

Михаил Дмитриевич и впрямь намеревался прибыть в Закаспийский округ в начале зимы и прибыл бы непременно, если бы не был корпусным командиром. Требовалось не столько разместить подчиненные ему части — это была еще половина хлопот, — требовалось устроить солдат на зимние квартиры, но казарм не хватало, а те, что были, нуждались в ремонте. Скобелев всегда доверял подчиненным ему офицерам как

в учениях, так и в сражениях, давно взяв это за правило, но определить именно на эту, первую послевоенную зиму солдат, большинство из которых он доселе не знал, поскольку на войне никогда с ними не встречался, решил все же сам. Лично, никому ничего не передоверяя. Он считал, что солдаты должны были перезимовать в тепле и в удобствах, — особенно в отсутствии командира корпуса, которого они пока еще знали только по слухам да по звонкому имени. Генерал Скобелев обязан был и в мирное время остаться тем же генералом Скобелевым, что и на войне.

Он сам нашел подрядчиков, сам, вникая в детали, обсудил с ними не только здания новых казарм, но и ремонт старых зданий, ежедневно заезжал на работы, выделил по первой же просьбе строителей полуроту нестроевых солдат для земляных работ и вывоза мусора. Он очень спешил, понимая, что его присутствие в южном Туркестане куда важнее, нежели эти тыловые заботы, и… и никуда не выезжал.

— Кажется, впервые генерал Скобелев не торопится на театр военных действий.

— Может быть, наш главный актер вообще решил никуда не ездить, намереваясь отделаться финальной фразой в Зимнем дворце: «Победа

подана, Ваше Императорское Величество».

Эту фразу привезли из Петербурга, а шепнули в Минске. Скобелев очень обиделся, но промолчал. Строительство казарм видели все, а что скрывало это строительство, замечали весьма немногие, и Михаила Дмитриевича такое положение дел вполне устраивало.

В Красноводск уже выехали топографы и путейские инженеры. Железная дорога от берегов Каспийского моря в глубь пустыни уже проектировалась, просчитывалась и прокладывалась на топографических картах. Заказы на рельсы, стрелки, шпалы, костыли и прочее оборудование уже шли тернистой казенной тропой. То же касалось паровозов и подвижного состава, и капитан Макаров Степан Осипович уже готовился принять под свое начальствование Каспийскую флотилию и все грузовые суда, выделенные для перевозок.

А ведь никуда не делись и болгарские дела. Наоборот, после Берлинского конгресса*, поставившего жирную дипломатическую кляксу на все русские победы, жертвы и надежды, Болгария оказалась разделенной на независимое Болгарское княжество на севере и турецкую зону на юге, названную Румелией. Именно там претворялась

в жизнь скобелевская идея военно-спортивных организаций, сведения о которых регулярно шли по минскому адресу. По тому же адресу приходили и частые письма от Ольги Николаевны, оставшейся продолжать дело сына мирным путем забот о последствиях жестокой войны. Забот о сиротах и беженцах, о больных и раненых.

«Я тоже влюбилась в Болгарию, в ее народ, который чтит моего сына как национального героя. Я сделаю для нее все, чтобы она поскорее залечила свои кровоточащие раны…»

Наконец, существовал еще один, минский, якорек, о котором не знал никто, даже горячо любимая матушка. Им оказалась Екатерина Александровна Головкина.

— Если некоторые женщины грешны по собственной воле, то все мужчины греховны изначально, Михаил Дмитриевич. Этого, надеюсь, вы не отрицаете.

— Отрицаю решительно. Ева соблазнила Адама, протянув ему надкушенное яблочко.

— Легенда — не аргумент. Даже библейская.

— Всякая легенда основана на тысячелетних изучениях человеческой натуры…

Он злил ее, не желая этого, потому что неосознанно преследовал иную цель. Екатерина

Головкина виделась ему редутом, который требовалось не просто сокрушить, но подчинить, заставить капитулировать, признать его волю. Сокрушить было можно, но с капитуляцией и признанием его воли пока не удавалось. Игра была азартной, а перед азартом Скобелев был бессилен: азарт затягивал его, увлекал, приятно тревожил, а время шло.

— Женщины спасают человечество от страшного мужского порока. Если бы не мы, Михаил Дмитриевич, сильный пол давно бы захлебнулся в бочке с вином.

— Весьма самодовольное утверждение, Екатерина Александровна, — говорил Скобелев, пряча улыбку в надушенных бакенбардах. — Американский доктор Вильямс убедительно доказывает прямо противоположную точку зрения. Согласно закону, открытому Дарвином, пьянство освобождает общество от никчемных особей, потомство от которых иметь нежелательно и даже опасно. Ранее это делали дуэли и бесконечные поножовщины, в которых погибал слабейший, милые дамы получали здоровых детей, и прогресс шел семимильными шагами.

— Признайтесь, Михаил Дмитриевич, что вы только что придумали этого Вильямса.

— Отнюдь, Екатерина Александровна. Макгахан привез мне журнал, который я готов завтра же представить вам.

— И сами же будете переводить? О, какой хитрец!..

Он тогда вспомнил о Макгахане к слову, в шутливом споре. А вечером того же дня получил сообщение, что один из его вернейших друзей скончался от сыпного тифа.

Скобелев всю ночь пил один. Очень хотел напиться до беспамятства, чтобы унять боль, но не пьянел. И не ведавший страха американец, с которым он прошел Туркестан и Болгарию, с грустным пониманием все время смотрел на него…

Когда корреспондент спал? У Михаила Дмитриевича сложилось впечатление, что никогда. Во всяком случае, он ни разу не видел его спящим. В изматывающей туркестанской жаре, в ранних болгарских снегах и морозах он всегда оказывался рядом и всегда везде успевал. И всегда улыбался, но улыбался только ему, Скобелеву, и никому больше. Остальным вежливо показывал свои американские зубы, а ему — улыбался по-русски, открыто, всей душой.

— Почему вы приехали в нашу глухомань,

дружище?

— Мечтал найти хотя бы одного из прославленных Александром Дюма мушкетеров.

— У нас, в России? Мы — из другого теста.

— А я, представьте себе, нашел. Всех четверых — в одном характере. Отчаянного Д'Артаньяна и пьяницу Портоса, страстного Арамиса и мудрого Атоса. Вглядитесь в зеркало, Скобелев, когда будете подстригать свои надушенные бакенбарды.

А тот несчастливый поиск в Туркестане? Выехали втроем: он с Макгаханом да казак-коновод. Всего-то и хотел тогда Скобелев — чуть заехать за посты, да заболтались и нарвались на разъезд кочевников. И столь непростительно, что встретили их прицельным залпом. Казака ранили, под корреспондентом убили лошадь.

— Скачите за подмогой, Скобелев! — закричал он тогда. — Я задержу их!..

— Я — воин, черт побери!..

— Скачите, говорю вам! У меня — винчестер и два револьвера!..

И ведь держал хивинцев, пока Скобелев помощь не привел. Не дрогнул, отстрелялся и казака спас.

— Как же это удалось вам, дружище?

— Ваша пустынная глухомань, Михаил Дмит-

риевич, весьма похожа на наш Дикий Запад. Правда, везде есть свои особенности, ради которых и существует наша профессия.

Макгахан всю жизнь рисковал собою, чтобы поведать всему миру о его особенностях. Он жил ими. Жил…

В эту ночь Скобелев похоронил Макгахана в своей душе. Воздал должное, отпел и помянул. И продолжал наблюдать за строительством и ремонтными работами, регулярно бывал на солдатских учениях, читал офицерам лекции о взаимодействии родов войск, аккуратно отвечал своим многочисленным корреспондентам, раз в неделю встречался с Екатериной Головкиной, неожиданно сменив безуспешные штурмы спокойной длительной осадой.

— Я рада переменам в вашем беспокойном характере, Михаил Дмитриевич.

— Только не говорите, что я полысел. Это единственное, что меня может испугать по-настоящему.

— Я имею в виду ваш моральный, а не физический облик. Вы как-то вдруг повзрослели, и ваше безудержное гусарское самодовольство решительно попятилось в вашей душе. Или я ошибаюсь, и это всего-навсего очередная игра?

— Мужчина имеет всего две возможности проявить себя. На поле боя и за карточным столом.

Скобелев тогда отшутился, а через месяц приехал отец. Генерал Дмитрий Иванович.

— Меня востребовал Его Высочество великий князь Николай Николаевич, — весьма торжественно объявил он чуть ли не с порога. — Поспешаю в Петербург, но решил поглядеть на тебя. Вели Млынову…

— Млынов в Туркестане. Но его заместитель сообразит, что нам требуется. Баранов, распорядись!..

— Это ты напрасно, — искренне огорчился Дмитрий Иванович. — Тебе, Мишка, до старости нянька нужна, а лучше Млынова ты все равно никого не отыщешь.

— Агентурный разведчик мне сейчас куда как няньки важнее, батюшка.

Хорошо выпили, с аппетитом закусили, и уж к концу обеда отец вдруг хлопнул себя по лбу:

— Совсем из башки выскочило! Твой однокашник по пансиону Жирардэ князь Сергей Насекин застрелился в Болгарии. Матушка Ольга Николаевна говорила, он у нее детскими домами занимался… Что с тобой, Мишка?

— Ничего, Дмитрий Иванович. — Просто бокал

Михаил Дмитриевич выронил из вдруг задрожавшей руки.

«Серж. Сколько же им было тогда? Лет тринадцать-четырнадцать. Спокойный, улыбчивый мальчик, навсегда привязавшийся к дерзкому, громкому, не в меру озорному Мишке Скобелеву, как привязываются порою к своей полной противоположности. Поклялись непременно что-то важное совершить для России, и княжич Насекин первым руку располосовал, чтобы клятву ту юношескую кровью скрепить. Да так ножом тогда полоснул, что кровь с трудом остановили…»

— Не пей, Мишка. Разве горе в коньяке утопишь?

— Не мешай мне, отец. Прощаться не мешай.

Странно, еще мальчишкой — там, в пансионе — Серж ко всем обращался только на «вы». Сначала однокашники решили, что это — от рюриковской спесивости юного княжича, а потом поняли, что причиной была безмерная деликатность. Он всю жизнь стеснялся самого себя…

— Извини, батюшка. Я пойду к себе, утром увидимся. Баранов тебя уложит.

— Это ты меня извини, ляпнул, не подумав. Считал, что смертей ты вдосталь навидался…

— Ничего. Привыкаю.

Прошел в свою спальню. Стоя налил вина, стоя выпил.

«Прощай, Серж…»

И тяжело опустился в кресло.

Что он сказал тогда, в Кишиневе, при их первом свидании после длинного перерыва? Что?.. Тогда Михаил Дмитриевич был весь погружен в собственные обиды, очень уж любовался собою и этими незаслуженными обидами, а князь Насекин ведь сказал что-то важное. Не тогда — сейчас ставшее важным. Кажется…

— Игнатий Лойола потому-то и был велик, что не знал ни женщин, ни семьи*.

«Вот откуда вылетела твоя пуля, Серж. А я еще болтал, что свист пуль имеет свою благодатную сторону…»

Нет, князь Насекин пуль не боялся. То есть конечно же боялся, все нормальные люди их боятся. Но ему хватало воли не показывать этого, хватало. Дважды под дуэльными пистолетами стоял: один раз свою честь защищая, второй — скобелевскую как свою. И оба раза выстрелил в воздух. В Ташкенте?.. Да, в Ташкенте. Там нашлись весьма задиристые господа офицеры.

Человек ощущает только свое одиночество, это естественно, потому что оно — свое, личное.

А все личное прячут в душе за семью замками. Но что Скобелеву всю жизнь мешало понять одиночество друга собственной юности, что? Да самолюбование, вот что. Самолюбование и стремление нравиться всем остальным. Еще Герцен как-то сказал, что у нас, русских, очень уж развит бугор желания нравиться. Вот и тебе, Михаил Дмитриевич, всю жизнь нравилось нравиться. Чтоб только на тебя и смотрели, как ты в белом мундире под пулями бравируешь… А друга — скромного, честного, деликатнейшего — ты просмотрел. Хотя четыре… Нет, пять раз были рядом, бок о бок, что называется. В Париже, в Москве, в Ташкенте, в Кишиневе, в Болгарии. Он тебе правду говорил, а ты только плечи еще шире разворачивал, собою любуясь…

И ведь только из-за беспутного озорства Скобелева генерал-лейтенант Константин Петрович Кауфман распорядился выслать князя Насекина в сопровождении двух казаков из пределов подведомственного ему края в двадцать четыре часа. А князь так не хотел уезжать. Словно предчувствовал и несчастную любовь свою, и пулю, оборвавшую невыносимую тоску и невыносимое одиночество…

На Святках офицеры испросили разрешения

у самого Кауфмана на маскарад в Офицерском собрании. И Михаил Дмитриевич уговорил бесхитростного князя одеться мужиками. В армяках, лаптях, сам онучи ему наматывал.

— Купим полведра водки, усядемся посреди зала и будем черпать кружками из ведра. То-то шуму будет!

— Надеюсь, Мишель, черпать будем воду?

— Ну, конечно, Серж!..

А налил — водку. Ровнехонько полведра, которое и прикрыл до времени тряпицей. Очень уж ему хотелось посмотреть, как Серж с такой игрой управится: сам-то он уже тогда пил водку не поморщившись. Как воду.

Пришли, уселись посреди зала, поставив в центре ведро. Поднялся веселый шум, смех, аплодисменты. Вдосталь насладившись произведенным эффектом, Скобелев откинул тряпицу, сказал громко, для всех:

— Давай, земляк, по маленькой во здравие господ.

Зачерпнул первым, но с питьем не спешил: уж очень ему хотелось поглядеть на первую реакцию друга, который доселе — Михаил Дмитриевич отлично это знал! — водки и не пробовал. А друг, ни о чем не подозревая, глотнул от души,

захлебнулся, зашелся в кашле. К нему тотчас же бросились, стали стучать по спине, трясти и… И все открылось. Скобелева — под арест, поскольку он водку не пил, да и кружку под шумок вовремя в ведро опрокинул. А ни в чем не повинного князя Насекина — в двадцать четыре часа…

Вот когда расплата пришла. За легкомыслие, беспутство, дерзости и… Чего уж душою-то кривить, Михаил Дмитриевич? За ту маскарадную подлость.

Долго, ох, как мучительно долго хоронил Скобелев второго друга в душе своей. На следующий день проводил отца, тут же сказался больным и неделю пил вмертвую…

2

— Ваше превосходительство, Михаил Дмитриевич, очень прошу вас, умоляю… — бормотал новый адъютант чуть ли не со слезами всю эту пьяную неделю.

«Умоляет, — злился Скобелев. — Млынов бы не умолял. Млынов нашел бы для меня лекарство. Не только светлейшего князя Имеретинского — маменькиного родственника графа Адлерберга уговорил бы приехать…»

Злился он потому, что сам отпустил удила, что

его понесло, а справиться с собою пока никак не мог. На себя он злился, а совсем не на адъютанта, потому что Баранов оказался старательным и на редкость аккуратным и точным работником. И с той кражей бриллиантов сам тогда разобрался, умело Узатиса уличив. И на службе они отлично понимали друг друга, но вне служебных границ Скобелева мог понять, пожалуй, только один Млынов, досконально изучивший запутанный лабиринт скобелевской души.

— Ваше превосходительство, от служебной корреспонденции уже стол ломится.

В то утро Баранов сказал это каким-то иным, начавшим заметно крепчать голосом, и Скобелев тон уловил. Сказал почти трезво:

— Бутылку допью, завалюсь спать, в шесть пополудни разбудишь.

— Слушаюсь, Михаил Дмитриевич! — почти радостно выкрикнул адъютант.

— Погоди, еще не все. Мадам Матильду, что за Немигой дом содержит, знаешь?

— Нет.

— Напрасно. У нее хороший… — Скобелев поискал слово, — унтер-офицерский состав. Скажешь мадам, что я навещу ее сегодня в десять вечера.

Почему он решил отправиться в заведение ма-

дам Матильды, в котором и бывал-то считанные разы, да и то еще до регулярных свиданий с Екатериной Головкиной, Михаил Дмитриевич и сам не мог себе объяснить. Это какими-то неведомыми нитями было связано с князем Насекиным, о котором Скобелев думал все эти хмельные ночи и похмельные дни. Он как-то пытался разобраться в ошибочности его последнего рокового решения, что ли. «Это же так просто, Серж, так просто. Почему же вы не справились с таким пустяком?..» Нет, таких мыслей конечно же не возникало. Возникла потребность, не выраженная в словах. Он понимал только, что не для него потребность, а как бы для ушедшего друга. Вроде последней горсти земли на его могилу.

А получилось, что для него: другу уже было все равно в его небытии. И веселый шум, и женские, искренние, всегда зазывные улыбки, и цыганские песни, и смех, и пляски, и шампанское, шампанское, шампанское… Это была языческая тризна, после которой вновь торжествует жизнь.

И жизнь для Михаила Дмитриевича началась заново. Так он во всяком случае ее ощутил с утра, напрочь упустив тесноту маленького провинциального города Минска.

«Я бы хотела с вами увидеться. Сегодня в семь,

если не возражаете. Е.Г.».

Корректно и сухо, с чуть уловимой горечью дамской обиды. Записку в запечатанном конверте доставил рассыльный городской управы. И у Скобелева защемило сердце в предчувствии еще одной утраты. Но он заставил себя написать почти веселый ответ, который и вручил ожидавшему рассыльному.

Они всегда встречались в беседке на дальней аллее городского парка. Здесь обычно было тихо, спокойно и малолюдно, так как публика, как правило, прогуливалась вокруг фонтана и огромной клумбы в центре, почему в конце концов Екатерина Александровна и остановила свой выбор на этом месте. Скобелева знали в лицо, а она не выносила разглядывания, а уж тем паче раскланивания с фланирующими представителями минского общества.

Михаил Дмитриевич приехал за десять минут до обозначенного в записке времени. Он всегда приезжал чуть раньше с неизменными белыми розами, и это постоянство вызвало когда-то недоуменный вопрос у мадемуазель Головкиной:

— Ваша знаменитая любовь к белому цвету распространяется даже на розы?

— Не совсем так, но красного цвета я действи-

тельно не люблю. Он кричит о себе: «Смотрите все, какой я красный!» А полутонов минские оранжереи еще не успели освоить.

Екатерина Александровна позволила себе опоздание в двадцать три минуты, как то определил Скобелев по своему хронометру. В этом виделась определенная демонстрация, но Михаил Дмитриевич предполагал ее неизбежность, почему и встретил юную суфражистку искренней и чуточку виноватой улыбкой.

— Склоняю повинную голову.

— Повинна не голова. Она у вас безупречна.

— А что же тогда удержало вас от милой улыбки?

— Вы знаете что. Ваша душевная испорченность.

— Вот даже как…

Михаил Дмитриевич убрал улыбку и вслед за Екатериной опустился на скамью. Он более не чувствовал за собою никакой вины, потому что ей на смену уже приходила обида. Головкина молчала, и он молчал, а обида росла, поскольку для нее вдруг расчистилось место в скобелевской душе. Молчание затягивалось, оба одинаково неприятно ощущали его, отчего вдруг и повернулись лицом друг к другу, одновременно сказав

«Я…», как в водевиле. Но даже эта водевильная нелепость не сняла их обоюдного напряжения, и они опять надуто отвернулись.

— Извольте, Михаил Дмитриевич, — наконец сказала она.

— Что я должен изволить, Екатерина Александровна?

— Кажется, вы намеревались что-то сказать?

— Вы тоже намеревались, а я привык уступать дорогу дамам.

— Благодарю. — Она помолчала. — Говорят… Заметьте, не я говорю — весь город говорит, что вы… Как бы это помягче выразиться…

— Я — солдат, мадемуазель, — буркнул Скобелев. — Не стесняйтесь.

— Вы снова взялись за опыты, подтверждающие теорию естественного отбора Дарвина.

— Ах, это! — Михаил Дмитриевич заставил себя рассмеяться. — Едко подмечать следствия, не интересуясь причинами, — как же это по-дамски!

— Мужчин, естественно, заботят только причины, — сухо заметила она. — Вытекающие из них следствия ниже их достоинства. Так каковы же причины?

Скобелев помолчал. Он очень хотел рассказать Екатерине Александровне о самоубийстве друга

юности (почему-то о смерти Макгахана у него не возникло потребности говорить с кем бы то ни было), но так нескладно начавшийся разговор поднял в нем столь мутную волну обиды, что искренне делиться горем даже с любимой женщиной ему уже не хотелось. Не мог он заставить себя быть искренним, но не мог и отмолчаться в ответ на презрение, прозвучавшее в ее вопросе.

— Причина вам известна, дорогая моя, — развязно начал он (у Екатерины изумленно приподнялись брови: столь фамильярно он никогда к ней не обращался). — Порочность души моей, как вы совершенно правильно изволили заметить.

— Михаил Дмитриевич, дорогой мой, необыкновенный человек, что вы с собой делаете? — подавшись всем телом к нему, с неожиданной страстностью, даже с каким-то ужасом сказала она. — И с собой, и со мной. С нами. Вы же сейчас наговариваете на себя бог знает что!.. Извините меня, я скверно начала нашу встречу. Я была глубоко обижена, даже оскорблена и… Я понимаю, я — обыкновенная скучная девица, любящая заумно порассуждать, — таких тысячи в России! Но, согласитесь, искать спасения от моего занудства в диких развлечениях…

— У меня гостил отец…

— Ваш отец уехал ровно через сутки, Михаил Дмитриевич, — с горечью сказала Екатерина Александровна. — Его провожал губернатор, городской голова, дворянство и даже оркестр. И не успел скрыться из глаз его поезд, как вас с неудержимой силой повлекло к особам, недостойным называться женщинами…

Скобелев был предрасположен к неожиданным решениям: именно это свойство и обеспечило ему мировое признание, а отнюдь не легендарное презрение к опасности. Решения возникали вдруг, интуитивно, без какого бы то ни было расчета: это всегда был внезапный неосознанный порыв души. И в тот момент он со всей присущей ему искренностью поддался первому порыву:

— Катенька, дорогая моя, я много прожил на свете и многое пережил. Я не способен, просто не способен на ложь и изворотливость. Забудем все, мне больно и трудно, простите меня разом и — за все. В ваших руках вся моя надежда и все мое счастье.

Их качнуло друг к другу. Они схватились за руки, крепко их сжали, но даже не обнялись при этом. Просто уронили друг другу головы на плечи и — замерли. Будто лошади, о чем впоследствии часто вспоминал Михаил Дмитриевич. Он, ка-

жется, прошептал тогда:

— Я люблю вас…

А она промолчала. А вскоре и сама неестественная поза их стала ощущаться неудобной и какой-то искусственно напряженной, что ли. Но никто не решался выйти из нее, нарушить эту неуклюжую телесную близость, и первой отодвинулась Екатерина.

— Я оставляю свою руку в вашей, дорогой мой Михаил Дмитриевич. Но — с непременным условием: дайте мне право над вами. Полное, бесконечное право, и я создам ваше счастье.

Возникла пауза, показавшаяся им бесконечно, немыслимо длинной. Наконец Скобелев медленно разжал ладони, отпустил ее руки, чуть отодвинулся, и странная, почти неживая улыбка медленно вползла на его лицо.

— Второй раз в жизни мне предлагают полную капитуляцию.

— Помилуйте, какая капитуляция? Михаил Дмитриевич, дорогой мой, я имела в виду всего лишь приличия, принятые в обществе, не более того. Согласитесь, что без их соблюдения…

— Второй раз, — словно не слыша ее, продолжал Скобелев с той же застывшей улыбкой. — Знаете, где была первая? В Киндерлиндском походе. Я

поехал за водой с казачьей полусотней, и нас внезапно окружили киргизы. Перестреляли всех наших лошадей и кричали: «Сдавайтесь! Сдавайтесь!..» Знаете, что я тогда ответил? «Убирайтесь к черту!..» Так и называется картина, которую написал Верещагин по моим рассказам. Коли случится быть в Москве, загляните к Третьяковым. Кажется, они купили ее.

Резко вскочил, секунду смотрел на замершую Екатерину Александровну, коротко кивнул головой:

— Разрешите откланяться.

И стремительно удалился, ни разу не оглянувшись.

Больше они не встречались и не писали друг другу записок. Для Михаила Дмитриевича это было тяжелым решением, но он и мысли не допускал, что можно вновь увидеться, принести извинения за недопустимую грубость и тем вернуть мечту о семейном счастье, спокойствии и будущих «скобелятах». Слишком уж высокой оказалась цена, которую потребовали за эту мечту.

«С поэзией покончено», — записал он в наметке стратегического плана Ахалтекинской кампании. И осталось непонятным, что же он имел в виду. То ли свою военную деятельность, то ли

собственную личную жизнь.

Но, как ни странно, к рюмке не потянулся. С головой окунулся в работу, деятельно готовился к поездке в Туркестан, несколько раз посетил Петербург, согласовывая с Генеральным штабом детали предстоящих боевых операций. И даже наметил день, когда покинет Минск навсегда. Невыносимым стало для него пребывание в нем. Невыносимым.

— Вот список того, что мне там потребуется. Начинай укладываться, Баранов, пора.

Адъютант уложил чемоданы, Михаил Дмитриевич начал писать последний приказ по корпусу, когда пришла телеграмма, что внезапно скончался отец.

Дмитрия Ивановича хоронили в церкви родового поместья Спасское Рязанской губернии. Официальная панихида была отслужена еще в Санкт-Петербурге по повелению свыше, и на похоронах присутствовали только родные. Из столицы приехали замужние дочери: Надежда Дмитриевна Белосельская-Белоозерская, Ольга Дмитриевна Шереметева и Зинаида Дмитриевна Лейхтенбергская. Все трое тихо плакали, а Ольга Николаевна так и не смогла уронить ни слезинки, безотрывно глядя в белое, непривычно

неживое лицо мужа. А при прощальном поцелуе согнулась, опершись руками о стенки гроба, и застыла, не в силах выпрямиться. Михаил Дмитриевич нежно обнял ее, стал шептать что-то. Потом отвел в сторону, уже не выпуская ее руки из своей ладони.

Потом все было кончено. Все. И могилу накрыли каменной плитой. Когда сестры начали класть на плиту цветы, Михаил Дмитриевич шепнул Надежде:

— Уведи маму. И заставьте ее заплакать. Заставьте, уговорите, упросите.

Все тихо вышли, а он остался. Долго молчал, опустив голову. Потом низко поклонился свежей могиле, подошел к старому священнику, которого знал еще с детства, и тихо сказал:

— Меня слева от батюшки Дмитрия Ивановича положишь, отец Николай. У стены.

И тут же вышел.

Сестрам удалось расшевелить маменьку, и в конце концов она заплакала. Но к поминальному столу так и не вышла, и взрослые дети поминали отца вчетвером. Выпили по рюмке, но не расстались, а перешли в гостиную. Тихо вспоминали о детстве, сестры говорили о собственных детях, а потом Зинаида сказала:

— В петербургских салонах шепчутся, что батюшка наш умер не собственной смертью.

— Я тоже это слышала, но я не верю, не верю! — возмущенно заговорила Надежда. — Не верю ни единому слову!

— Не потому ли, что государь особо благоволит тебе? — усмехнулась Ольга.

— Как не совестно тебе, сестра, говорить так… — начала было Надежда.

— А каково твое мнение, Миша? — спросила Зинаида. — Возможно ли такое в принципе?

— Возможно все, — резко сказал Михаил Дмитриевич.

Сестры недоуменно примолкли, а он отчеканил вдруг:

— Если это и так, то целились в меня. Не вздумайте ляпнуть матушке обо всех этих великосветских перешептываниях.

Он зашел к Ольге Николаевне поздним вечером, когда сестры уже удалились в свои покои. Матушка сидела у окна, в черноте которого отражалась единственная зажженная свеча. Михаил Дмитриевич принес стул, сел рядом, начал тихо расспрашивать о Болгарии, о ее работе, общих друзьях и знакомых. Ольга Николаевна отвечала коротко, только на вопросы, а потом вдруг замол-

чала, глядя в упор огромными заплаканными глазами.

— Что с тобою, матушка? — обеспокоенно спросил Скобелев.

— Почему ты сказал, что целились в тебя?

— Целились?..

Он уже понял, что какая-то из его сестер не стерпела и передала матери их разговор в гостиной. Яростный скобелевский гнев уже взорвался в его душе, вдруг потемнело в глазах, но он изо всех сил пока еще сдерживался.

— Я окончательно стал одиноким. Окончательно. Помнишь гибель князя Сержа Насекина?

— Я знаю об этом, — очень тихо сказала Ольга Николаевна. — Не надо сейчас…

— А месяцем раньше от сыпняка умер Макгахан…

— И об этом мне известно. Но это же просто трагические совпадения.

— Они не только трагические, матушка. Это весьма странные совпадения. И к ним прибавилась внезапная кончина батюшки, и я… Я всегда был суеверным…

Он запутался, замолчал.

— Не скрывай, Миша, не надо, — вздохнула Ольга Николаевна. — Мне все рассказала Зинаида.

— Она глупа, эта великосветская сплетница! — резко сказал Михаил Дмитриевич.

— Может быть, но все же, что ты имел в виду, сказав эти страшные слова?

— Ничего, матушка, поверь мне, ровно ничего. — Скобелев уже взял себя в руки, говорил почти спокойно и даже пытался улыбаться. — Я просто хотел прервать их глупую женскую болтовню.

— Ох, Мишенька, Мишенька, — горько вздохнула Ольга Николаевна. — У тебя очень много недоброжелателей, я знаю это. Ты стал национальным героем болгарского народа, а такое не прощается никому. Особенно у нас, в очень завистливой России.

— Я сделал куда меньше, чем мог бы сделать, если бы мне не мешали изо всех сил.

Он сказал это только потому, что с детства привык жаловаться матушке. Покойный отец сурово и упорно воспитывал в единственном сыне прежде всего солдата, а мать просто любила. Как могла и умела. Но она многое могла и многое умела.

— Это знают в России, в Болгарии, в Турции, да и во всей Европе, сын. Ты похож на своего безрукого деда Ивана Никитича, геройство которого привело в восхищение императора Александра

Павловича. Бывают времена, когда талантами искренне восхищаются, а бывают, когда им столь же искренне и завидуют. Как времена, когда собирают камни, сменяются временами, когда разбрасывают их. И мне порою кажется, что Россия подошла к порогу, за которым наступят иные времена. Времена разбрасывания камней.

— Но Болгария их собирает.

— Болгария собирает! — Ольга Николаевна впервые чуть улыбнулась, но тут же убрала улыбку и вздохнула. — И этого, Мишенька, многие в России тоже не могут тебе простить.

— Простят, — вдруг очень уверенно сказал Скобелев. — Я разгромлю текинцев быстро и с минимальными потерями. Ты это очень скоро увидишь, и мы порадуемся вместе.

— Обещай мне, что ты больше не станешь надевать в сражения белую форму, — робко попросила она, помолчав.

— Увы, матушка, но это невозможно.

— Но почему же, почему? Ты как магнит притягиваешь к себе пули.

— История — самый величественный и самый священный гимн народа. В него нельзя вламываться с топором.

— Боже мой, как я боюсь за тебя, Мишенька,

как боюсь… — Ольга Николаевна прижала к глазам скомканный, промокший от слез платочек. — Я тоже страшно одинока сейчас. Ты опять отправишься на войну под пули и картечь, дочери живут своими семьями и своими интересами, а Дмитрий Иванович… — Она подавила вздох. — Нету у нас более Дмитрия Ивановича, нету. Побереги себя, сын, умоляю тебя.

— Я родился в Петропавловской крепости, маменька, — улыбнулся Михаил Дмитриевич. — А это значит, что по всем народным приметам мне обеспечена долгая и счастливая жизнь…

Глава четвертая

1

Незадолго до отъезда в Туркестан Михаил Дмитриевич еще раз посетил Санкт-Петербург. Особых служебных дел у него не было, все приказы и повеления были подписаны, чемоданы уложены, и, казалось, следовало уже садиться в поезд. Но Скобелев все же решил навестить своего прежнего преподавателя, некогда профессора Академии Генерального штаба, а ныне управляющего делами Военно-Учебного комитета генерала от

инфантерии Николая Николаевича Обручева*.

Михаил Дмитриевич относился к генералу Обручеву с огромным уважением не только потому, что слушал в Академии его блестящие лекции по общей стратегии и военной географии. Скобелев прекрасно знал, что в основе смелых и чрезвычайно активных боевых действий русских войск в последней войне с Турцией — стремительный бросок кавалерийских групп за горный хребет Стара Планина по расходящимся направлениям — лежал стратегический замысел генерала от инфантерии Николая Николаевича Обручева. Об этом не любили вспоминать ни главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, ни тем паче его начальник штаба генерал Непокойчицкий, но оба старательно придерживались именно этого плана. И Михаил Дмитриевич решил посоветоваться со своим старым учителем перед тем, как окончательно утвердиться в собственном замысле предстоящей ему очередной войны.

— Я выпросил у топографов схему района вашей предстоящей деятельности, Михаил Дмитриевич, — сказал генерал Обручев, расстилая на столе выполненный от руки план местности. — Обратите внимание на треугольник Красноводск — Чикишляр — Кызыл-Арват. Мне кажется стра-

тегически чрезвычайно важным занять и прочно удерживать вершины этого треугольника. Это свяжет действия конных отрядов противника и обеспечит вам надежный тыл.

— Сил до обидного мало, Николай Николаевич, — вздохнул Скобелев. — А успех возможен лишь в результате полного фактического доверия.

— Надеются на ваш дерзкий талант, Михаил Дмитриевич, — улыбнулся Обручев. — Правда, у нас любой талант ценится дешевле любой заштатной батареи.

— Но нельзя же ставить начальника в положение, затрудняющее развитие всех его способностей.

— А вы возместите явную нехватку людского состава устаревшей артиллерией, — неожиданно предложил Николай Николаевич. — Той, которая уже списана и без дела валяется на кавказских складах. Вам с радостью тотчас же ее и отдадут, поскольку в боевых частях она более не числится.

— Не числится, потому что прицельно более не стреляет, — с неудовольствием отметил Скобелев.

— Но текинцы-то об этом не знают! — с улыб-

кой сказал Обручев. — А грохоту да дыму будет предостаточно.

— Что верно, то верно, — рассмеялся Михаил Дмитриевич. — И кони их к грохоту не особо приучены.

— Да и всадники тоже. Не говорите об этом никому, кроме вашего начальника штаба. Полагаю, что им вновь окажется ваш друг полковник Куропаткин?

— Мой друг взмолился о командной должности, и я ему ее необдуманно пообещал, — вздохнул Скобелев. — Может быть, вы порекомендуете мне толкового офицера на эту вакансию, Николай Николаевич? Кого-либо из ваших бывших учеников, умеющего без кряхтенья вставать в четыре часа утра.

— Присмотритесь к полковнику Гродекову, — подумав, сказал генерал Обручев. — Он дотошно готовит операции и весьма пунктуален в их исполнении.

— Вы имеете в виду Николая Ивановича? — обрадованно спросил Скобелев. — Господи, как же я умудрился забыть о нем, мы же отлично знаем друг друга! Примите мою сердечную благодарность за своевременную подсказку, Николай Николаевич, о лучшем начальнике штаба я и

мечтать не смел.

— Ну, если и этот вопрос решен, то прошу к столу. Отужинаем, чем бог послал.

Отужинали с добрым вином и приятными разговорами. Хозяин с искренней заинтересованностью расспрашивал Скобелева о зимнем переходе через Балканский хребет, разгроме Весселя-паши и последовавшем за этим стремительным броском на юг.

— Маневр, — несколько раз повторил он, для вящей убедительности поднимая указательный палец. — Стремительные рейды без оглядки на фланги и без страха перед возможным окружением куда эффективнее, нежели медлительный натиск пехоты. Уверяю вас, именно эта тактика станет доминировать в войнах грядущего двадцатого века. К сожалению, косность стратегического мышления — хроническая болезнь русского генералитета.

— Полностью согласен с вами, дорогой мой учитель. Хлебнул я лиха от этой болезни.

Учитель и ученик понимали друг друга с полуслова, и Скобелев впервые за много дней почувствовал спокойную уверенность как в своей правоте, так и в своей непобедимости. С таким вновь воскресшим чувством можно и нужно

было спешить на Закаспийский театр военных действий…

Через неделю, 31 марта 1880 года, Михаил Дмитриевич вместе с Барановым выехал на Кавказ.

2

На Кавказе Скобелева встретили не столько торжественно, сколько восторженно. Недавно закончившаяся русско-турецкая война шла здесь на своем, особом театре военных действий, вдали от Болгарии, а потому и не вызывала зависти к успехам и славе Белого генерала. Здесь его победы воспринимались генералами как образцы военного искусства, а его личная отвага служила примером для офицеров, что и нашло своеобразное отражение в преподнесенных ему подарках. Генералы одарили Михаила Дмитриевича великолепным арабским скакуном безупречно белой масти, а офицеры вручили белоснежную бурку и дорогое оружие работы непревзойденных кавказских мастеров.

Восторги, встречи и приемы не помешали, однако, Скобелеву мягко, но весьма настойчиво вести свою линию. Правда, дополнительных войск он не добился, но зато получил разрешение брать со складов любые орудия, списанные после

окончания войны за истечением срока службы. И он брал все, что еще могло стрелять без риска для самих стреляющих.

К тому времени Степан Осипович Макаров уже принял под свое командование Каспийскую флотилию. Совершив несколько демаршей к персидским берегам, он без единого выстрела внушил всем персидским капитанам такое уважение, что их суда более не рисковали приближаться к линиям российских морских перевозок и на пушечный выстрел.

— Прекрасно, Степан Осипович, — сказал Скобелев, посетив флагманский корабль. — Теперь — продовольствие для войск, а за ним — и сами войска.

— А вас когда, Михаил Дмитриевич?

— А меня — первым. Утром девятого мая.

— Вынужден доставить в Чикишляр, — сказал Степан Осипович. — В порту Михайловском чересчур мелок фарватер. Я отдал распоряжение углубить его, но работы еще не завершены.

— Чикишляр так Чикишляр, — улыбнулся Скобелев. — А с углублением фарватера надо поторопиться.

— К июню все работы будут закончены.

На рассвете 9 мая Михаил Дмитриевич всту-

пил на борт флагмана Каспийской флотилии. Его сопровождал Баранов, инженеры-путейцы и подаренный генералами белый жеребец. Каспий пересекли вполне благополучно, капитан Макаров уже сбросил обороты, подводя пароход к Чикишлярскому причалу, когда вдруг Скобелев приказал остановить судно.

— Стоп машина! — распорядился Степан Осипович, после чего с некоторым удивлением посмотрел на озабоченного генерала. — Что-нибудь не так, Михаил Дмитриевич?

— Все так, все так, Степан Осипович, — сказал Скобелев. — Моего жеребца — за борт!

— Зачем, ваше превосходительство? — удивился Макаров. — А если, не дай бог, до берега не доплывет?

— Вот я и погляжу, доплывет он или не доплывет…

Оказавшись в воде, аргамак рассерженно заржал, но не испугался, а довольно решительно направился к берегу. Скобелев напряженно следил за ним, и все на корабле примолкли, уже не отрывая глаз от недовольного, но решительного жеребца. И облегченно вздохнули, когда белоснежная лошадь вышла на азиатский берег.

— Фф-у!.. — с облегчением выдохнул Михаил

Дмитриевич и неожиданно улыбнулся. — Загадал я, Степан Осипович. Коли с конем ничего не случится, то и со мной — тоже. Он быстро доплыл, стало быть, и я Геок-Тепе быстро возьму и текинцев разгромлю наголову.

— Вы верите в приметы?

— Со всей искренностью, капитан!..

Пароход ошвартовался у пристани, на которой Скобелева ждали несколько старших офицеров и в их числе — полковник Гродеков. За ними стояло множество любопытствующих, которых сдерживали солдаты и матросы береговой службы. Спускаясь по трапу, Михаил Дмитриевич всмотрелся в толпу, обернулся к Баранову:

— Видишь среди встречающих господина в цивильном костюме и круглой шляпе? Без шума проведи его туда же, где я буду, но спрячь, пока не скажу.

Полковник Гродеков представился Скобелеву уже как начальник его штаба, поскольку Михаил Дмитриевич уведомил Николая Ивановича об этом назначении депешей еще из Петербурга. Познакомил генерала со встречающими его офицерами, спросил:

— Когда прикажете доложить обстановку?

— Немедленно.

— Тогда прошу во временное помещение штаба. Карета ждет, ваше превосходительство.

Скобелев оглянулся:

— А где мой аргамак?

Пожилой казак, которого Михаил Дмитриевич приглядел еще на Кавказе и взял к себе ординарцем, подвел уже оседланного, обсохшего и успокоившегося белого жеребца. Придержал стремя:

— Вот и на чужбинушке мы, стало быть. С богом, ваше превосходительство!

— Спасибо, братец.

Полковник Гродеков заранее приказал освободить здание портовых властей, выставил охрану, подготовил необходимые карты и документы. Сюда-то он и привел Скобелева для первого официального разговора без свидетелей.

Доклад его был краток, точен и при этом на редкость обстоятелен. Состояние своих весьма незначительных сил, количество продовольствия и транспорта, сведения о противнике, добытые офицерскими рекогносцировками и постоянным наблюдением.

— Текинцы располагают тридцатью пятью, от силы — сорока тысячами всадников. Кроме этого, у них до пяти тысяч пехоты и две батареи

трехорудийного состава. Все эти шесть орудий расположены в крепости Геок-Тепе.

— Из кого же они набрали артиллерийскую прислугу? — удивленно спросил Скобелев.

— Точных сведений нет, Михаил Дмитриевич. Если полагаете необходимым узнать…

— Ну, с этим еще время терпит, Николай Иванович, — сказал Скобелев. — Помощь с Кавказа начнет поступать в наше распоряжение к осени, не ранее. В первую голову я распорядился о переброске продовольствия, боевых запасов и оборудования для поэтапного строительства железной дороги.

— Первый этап, я полагаю, уже намечен?

— Красноводск — Кызыл-Арват. Для обеспечения безопасности работ нам следует занять вершины треугольника Красноводск — Кызыл-Арват — Чикишляр.

— Я уже занял эти узловые точки, — улыбнулся Гродеков. — Но когда сил мало, наш брат-русак зовет на помощь отвагу. Иного выхода у нас пока нет, Михаил Дмитриевич.

— Отвага — не такой уж плохой выход, Николай Иванович, — серьезно сказал Скобелев. — А особенно здесь, в Средней Азии, где удар по воображению противника зачастую решает дело.

Имея это в виду, я и выпросил списанные орудия с кавказских армейских складов. Четырех- и девятифунтовых и зарядов к ним. О том, что они давно утратили прицельную точность, сохранив лишь устрашающий грохот, не следует никому знать, но батарейцев к этому хламу надо готовить буквально с завтрашнего дня.

— Будет исполнено, Михаил Дмитриевич. — Гродеков подумал. — Кстати, относительно роли воображения. О вашем приезде текинцы узнают уже завтра. Учитывая это, полагаю целесообразным неожиданно для противника атаковать и захватить Ходжа-Кала по прямому пути на Геок-Тепе.

— Очень хорошая мысль, — одобрил Скобелев. — Готовьте отряд немедля. И если у вас более нет вопросов, скажите Баранову, что я жду известного ему человека.

3

— Здравствуйте, дорогой Михаил Дмитриевич, — тихо сказал Млынов, шагнув в комнату и плотно прикрыв за собою дверь.

Скобелев порывисто обнял его:

— Здравствуй, друг мой, здравствуй, русский купец. Ну, каковы успехи?

— Четыре с половиной тысячи верблюдов ожидают под Красноводском.

— Мало.

— Обещают еще. Я виделся с Тыкма-сердаром и с той поры поддерживаю с ним постоянную связь.

— Вот как? — оживился Скобелев. — Кому же сегодня служит этот корсар пустыни?

— Сегодня — текинцам, но его мечта служить вам, Михаил Дмитриевич.

— Предлагаешь опять ему поверить? Знаешь, единожды предавший входит во вкус.

— Его очень обидели текинцы, Михаил Дмитриевич. Кроме того, он поклялся на Коране, что спасет увязавшихся за ним женщин и детей. А это — много кибиток.

Млынов подробно рассказал о встрече в пастушьей хижине. А заодно и о голоде среди туркмен и маленькой девочке, которую он вынужден был купить.

— Ее зовут Кенжегюль.

— Кенжегюль, — повторил почему-то Скобелев. — Запоминающееся имя, хотя и весьма странное. Куда ты ее определил?

— Хотел сделать лучше, но… — Млынов развел руками. — Ребенок вместе с матерью — в Геок-Тепе. Текинцы согнали туда всех мирных туркмен,

полагая, что, узнав об этом, вы воздержитесь от артиллерийского огня.

— А как же мне взять эту крепость? — недовольно спросил Скобелев. — Солдат в чистом поле на штурм бросать, как то сделал генерал Ломакин?

— По словам Тыкма-сердара, основой обороны Геок-Тепе является хорошо укрепленный форт в юго-западной части крепости, Михаил Дмитриевич. Текинцы называют его Денгиль-Тепе. Холм господствует над местностью, поэтому именно в нем они и расположили всю свою артиллерию. Шесть пушек.

— Откуда они набрали к ним прислугу?

Млынов вздохнул:

— Русский офицер, два русских же фейерверкера, остальные — туркмены, когда-то служившие в нашей армии. Терять им нечего, а стрелять они умеют.

— И стрелять будут. — Скобелев тоже вздохнул. — У тебя есть какое-либо предложение?

— Не у меня — у Тыкма-сердара. Он предлагает взорвать стену Денгиль-Тепе минным подкопом и сразу же атаковать, пока текинцы не опомнились.

— На этот форт я должен поглядеть сам, — задумчиво сказал Скобелев.

— Очень опасная затея, Михаил Дмитриевич, прямо вам скажу. — Млынов неодобрительно покачал головой. — Вокруг крепости на добрых десять верст — открытое пространство. Исключение — сады неподалеку от крепостных стен, но в них всегда прячутся сильные кавалерийские отряды. А уж в чем текинцы мастера, так это в конных атаках и кавалерийской рубке.

— Кони их приучены к артиллерийской пальбе? — сразу же спросил Скобелев.

— Полагаю, что нет, — сказал Млынов, подумав. — Большинство текинцев не имеют опыта боев с нашими регулярными частями, а учений они проводить не любят и не умеют.

— Это значит, что против их джигитов надо ставить нашу пехоту, Млынов, — убежденно сказал Скобелев. — Причем хорошо вымуштрованную и дисциплинированную. И за каждой ротой — по два орудия. Одно — просто для грохота, чтобы лошадей пугать, второе — на картечи. Как на маневрах в высочайшем присутствии, понимаешь? Отсюда следует, что придется заняться парадной шагистикой, иного выхода не вижу. А заодно и противника в заблуждение введем, у него ведь соглядатаев тут предостаточно.

Генерал вдруг достал записную книжку в са-

фьяновом переплете и золотым карандашом принялся что-то торопливо записывать.

— Спасибо, Млынов, ты мне отличную идею подсказал, бормотал он, продолжая записи. — Удивить — значит победить. Пришел — удивил — победил, вот какой афоризм нам бы оставил Юлий Цезарь, если бы ему довелось воевать в этих краях.

— Какие там идеи, — вздохнул бывший адъютант, невесело усмехнувшись. — Я — соглядатай, а не офицер. Не гожусь я для этих дел, Михаил Дмитриевич. Не гожусь.

— Еще как годишься, — не отрываясь от записей, сказал Скобелев. — Цены ты себе не знаешь…

— Знаю, — упрямо продолжал бывший капитан. — Врать да придирчивого купца изображать — вот и вся теперь моя цена.

Скобелев ничего не сказал, продолжая что-то лихорадочно записывать. Млынов посмотрел на него, спросил неожиданно:

— Пьете много?

— Что было, то было. — Генерал захлопнул книжку, спрятал во внутренний карман мундира. — Батюшка мой помер.

Млынов медленно поднялся, перекрестился.

— Вечная память Дмитрию Ивановичу…

— Макгахан помер, — жестко продолжал свой мартиролог Скобелев. — Князь Сергей Насекин пулю себе в голову пустил. Тебя, друга ближайшего, от меня отрезали. По живому полоснули, Млынов, по живому… И один я теперь как перст. Даже матушка в Болгарии.

— Ох, Михаил Дмитриевич…

— Ох, Млынов. По мне бьют, прямой наводкой бьют. А я устоять должен, вопреки им — устоять! И разгромить текинцев. Сказочно разгромить!..

— Так и будет.

— Если ты поможешь. Много уже помог, но еще помоги, очень тебя прошу. Я должен триумфатором в Санкт-Петербург вернуться. Триумфатором! Тогда и тебя отхлопочу. И мундир тебе вернут, и следующее офицерское звание пожалуют, и я тебе лично такой орден вручу, чтобы дети твои дворянами писались до скончания рода твоего. Только помоги мне, Млынов.

Таким бывший адъютант никогда еще не видел своего бывшего начальника. Скобелев говорил с такой искренней горячностью, с таким пафосом и мольбой одновременно, что Млынов впервые понял: Михаил Дмитриевич и впрямь видит в нем последнего человека, которому можно

доверять безоглядно. Видит последнего друга в создавшемся вокруг него одиночестве, и поэтому первым протянул генералу руку. Впервые за всю совместную службу.

— Спасибо тебе, друг мой. — Скобелев крепко сжал протянутую ладонь. — Безмерно благодарен тебе. Безмерно!..

4

27 мая полковник Гродеков, не дожидаясь, когда прибудут обещанные войска с Кавказа, выступил из Дуз-Олума в направлении Ходжа-Кала. С шестью ротами, двумя казачьими сотнями, четырьмя орудиями и ракетной командой при двух станках. Это было все, что он смог наскрести по всем своим сусекам.

— Достаточно, — сказал Михаил Дмитриевич, когда начальник штаба доложил ему о наличии собранных для рекогносцировки войск. — Приплюсуйте сюда собственное хладнокровие и — с богом, Николай Иванович.

Гродеков рассчитывал, как минимум, на совет опытного полководца, но Скобелеву было не до советов. Он вдруг занялся строевой муштрой пехоты, упорно добиваясь парадной слаженности шеренг при самых немыслимых перестроени-

ях. Действий своих он никому не объяснял, со стороны это выглядело чудачеством, офицеры острили напропалую, а солдаты уже начали угрюмо ворчать. Жара стояла несусветная, а знаменитый генерал, на которого все так надеялись, гонял их по пыльному плацу в полном боевом снаряжении.

Под Ходжа-Кала текинцы сопротивлялись недолго и без особого рвения. Гродеков легко отбил их конную атаку артиллерийским огнем, после чего они вскоре и отошли. Преследовать полковник их не стал — казаков-то под рукой имелось всего две сотни — и, оставив пехоту с артиллерией в захваченном селении с категорическим приказом удерживать его во что бы то ни стало, отошел к основным силам.

— Как сопротивлялись? — спросил Скобелев, когда начальник штаба доложил об успешно проведенной операции.

— Сопротивлялись, но… — Гродеков явно подыскивал некое оценочное слово.

— Чувства, чувства ваши меня интересуют, — сказал Михаил Дмитриевич. — Военная характеристика мне не нужна. Как, с вашей точки зрения, сопротивлялся противник?

— Неубедительно, Михаил Дмитриевич.

— Неубедительно, — повторил Скобелев. — Отличное нашли определение. Неубедительно сражаются, значит, не очень-то верят, Николай Иванович. Ни в смысл сопротивления, ни даже в смысл собственного восстания.

— Да, такое у меня чувство.

— Тогда давайте вместе строевой подготовкой заниматься, — подумав, решил генерал. — Их неубедительности противопоставим убедительную дисциплину своих войск, Николай Иванович. Через два месяца, никак не позже.

— Помилуйте, Михаил Дмитриевич, какая строевая при этакой-то жаре! — с неудовольствием сказал Гродеков. — Давно, признаться, собирался сказать вам. Солдаты ворчат, офицеры иронизируют: дескать, к победному параду генерал загодя готовится.

— Не объяснил своевременно, моя вина, — согласился Скобелев. — А как мы во время Хивинской кампании от конных атак отстреливались, помните?

— Плутонгами. Первая полурота — с колена, вторая — стоя. Пока одни стреляют, вторые перезаряжают. Эффективно.

— Эффективно? Не согласен. Я, случалось, и тремя линиями отстреливался: первая — лежа,

вторая — с колена, третья — стоя. А что толку-то? Ну, атаку сдерживали, пока помощь не подходила. Так ведь, Николай Иванович? Так. А если помощи ждать неоткуда, тогда как отстреливаться?

Полковник промолчал, соображая.

— Тогда надо не отстреливаться, помощи ожидая, а громить нападающих, как то, случалось, делал Наполеон, когда еще был простым генералом Бонапартом. Тулон вспомните.

— Пушками?

— Совершенно верно, пушками, — убежденно сказал Михаил Дмитриевич. — И не отстреливаться от атакующей конницы, а громить ее. Прятать за спинами солдат орудия на картечи до поры до времени. А пора пришла — команда. Солдаты раздвинули строй, дали орудиям сектор обстрела и — картечный залп по конной лаве! И что будет тогда со всеми этими гикающими всадниками, Николай Иванович?

— Захлебнется атака.

— Кони разбегутся, они у текинцев к артиллерийскому огню не приучены.

— Но это требует особой слаженности пехоты и артиллерии, Михаил Дмитриевич. Совершенно особой!

— Вот потому-то я их по жаре и гоняю. И до тех пор гонять буду, пока они механизмами не станут. Здесь мне инициатива не нужна, здесь мне шагистика нужна до полного автоматизма. Вот что мы должны противопоставить двадцатипятитысячной кавалерии противника. Дисциплину, доведенную до автоматизма. Иного, как говорится, не дано. И вы мне в этом поможете, но — никому ни слова: здесь текинских ушей хватает, а нам удивить их надо. Удивить, Николай Иванович. Удивление — первый шаг к победе.

— Вот теперь я все понял, Михаил Дмитриевич, — улыбнулся Гродеков. — А то… Ну, согласитесь, странно. Приехал знаменитый боевой генерал, которого тут ожидают как спасителя и защитника, и вдруг — сплошная плац-муштра. И что же солдат думает? А солдат думает, что Белый генерал малость того. Пардон, сбрендил Белый генерал, Михаил Дмитриевич, вот как солдат думает.

— Ну и пусть думает, — проворчал Скобелев; он был искренне расстроен, поскольку более всего дорожил солдатским уважением. — Все перетерпим ради того, чтобы солдат в первом бою радостно удивился. И получим целых два удивления: текинцы удивятся и испугаются, наши

— удивятся и возликуют. Поэтому с завтрашнего дня — строевая подготовка четыре часа в день для пехоты и сопровождающей ее артиллерии. Как к высочайшему смотру.

— Может, пустить такой слух? — предложил полковник Гродеков. — Мол, ожидается прибытие члена августейшей фамилии.

— Не надо, — подумав, сказал Скобелев. — Тогда прозрения не будет: «Так вот ради чего нас в жарищу гоняли!» Прозрения и восторга, ведь и то и другое нам очень даже пригодится при штурме Геок-Тепе, Николай Иванович. Очень даже.

5

С той поры как генерал Скобелев, так и его начальник штаба полковник Гродеков ежедневно гоняли солдат и покорно следовавшие за ними артиллерийские упряжки по четыре часа с часовым перерывом на чай и отдых на двух разных плацах. Шагистика начиналась в шесть утра, но Михаил Дмитриевич вместе с адъютантом вставал в четыре и шел на какую-либо из ротных кухонь. Там он пробовал свежую выпечку хлеба и лично наблюдал за заправкой котлов. Поскольку у этих посещений никакой системы не было, то генерала с трепетом ждали во всех

ротах одновременно, почему как интенданты, так и кашевары всегда невероятно тщательно отмеряли положенные порции. Питание солдат резко улучшилось, а Баранов еле таскал ноги от ежедневного недосыпания. Солдаты продолжали ругать сбрендившего командующего, офицеры изощрялись в остротах, но дело шло заведенным порядком.

Пока к Михаилу Дмитриевичу не примчался вконец расстроенный Млынов:

— У меня угнали две тысячи лучших верблюдов.

— Кто?.. — взревел Скобелев.

— Знал бы кто, сам бы управился.

— Ты всю кампанию мне срываешь, Млынов. — Генерал очень расстроился. — Выяснить и доложить!

— Слушаюсь, Михаил Дмитриевич.

Два дня бывший капитан разыскивал на базаре хитрого старика, через которого шла связь с Тыкма-сердаром. Если кто и мог сейчас помочь Млынову найти угнанных верблюдов, так только сердар.

— Заплати еще раз полцены, и верблюды к тебе придут, — хитро улыбнулся старик.

— Значит, шантажирует Тыкма-сердар? — хму-

ро спросил Скобелев, когда Млынов доложил ему об этом разговоре.

— Да его же люди и угнали верблюдов, — вздохнул капитан. — Жаден он больно, Михаил Дмитриевич. Всегда готов лишнюю шкуру с барана содрать.

— Придется платить.

— Нет уж, — решительно сказал Млынов. — Сердару только поддайся, он через две недели то же самое учинит.

— Что же ты предлагаешь?

— Объявите об угоне и арестуйте туркменских старейшин и кадиев*. Только не трогайте на базаре старика в двухцветном тельпеке: это родственник Тыкма-сердара, моя единственная связь. И предупредите старейшин, что отправите их на Кавказ, если верблюды не будут возвращены.

Решение об аресте ни в чем не повинных аксакалов далось Скобелеву непросто. Он всегда уважал местные традиции, старался не нарушать их, но делать было нечего. Об угоне было объявлено, старики арестованы и для вящей убедительности переправлены на флагманский пароход под наблюдение капитана Макарова. И через три дня все угнанные две тысячи верблю-

дов вернулись на скотные дворы.

— Гез-каглы не на того сверкнул своим грозным оком, — сказал старик Млынову при первой же встрече.

— С ним нельзя шутить, так и передай сердару, старик. Если верблюды пропадут еще раз, все наши договоренности станут недействительными. Запомнил?..

На обоих плацах по-прежнему ежедневно гремели оркестры, и сотни солдат в насквозь пропотевших рубахах покорно занимались бесконечными перестроениями. Больше всех доставалось артиллеристам, потому что им множество раз на дню приходилось по команде разводить своих битюгов за спины расходящихся рот, одновременно разворачивая орудия в сторону предполагаемого противника. Вскоре Скобелев заменил команды на звуковые сигналы: оркестры внезапно смолкали, а трубы начинали играть атаку.

— Запутаются они, — вздохнул Гродеков. — Может быть, поручить ротным командирам делать отмашки саблей?

— Пыль, — кратко пояснил Скобелев. — А после первых же орудийных залпов — дым. Вот тогда они действительно запутаются, Николай

Иванович.

— И все же, Михаил Дмитриевич, солдаты устали безмерно. А господа офицеры глупеют от нашей муштры на глазах. Настаиваю на недельном отдыхе. Категорически настаиваю. У меня трое солдат в лазарете после теплового удара.

Всерьез обеспокоенный Николай Иванович был готов настаивать на отдыхе вплоть до официального письменного рапорта. И, зная упрямство Скобелева, загодя написал его, чтобы тут же и вручить, если добром уговорить не удастся. Но, к его удивлению, Михаил Дмитриевич сразу же согласился с его доводами.

— Согласен. Баня, десятидневный отдых, двойная винная порция. Только распорядитесь, чтобы вместо водки солдатам давали вино: по такой жаре вино полезнее. А вот нас с вами, уважаемый Николай Иванович, этот отдых не касается.

— С адъютантами будем маршировать? — усмехнулся полковник Гродеков.

— Пришла мне тут в голову одна идейка… — озабоченно вздохнул Скобелев. — Странная такая идейка и пока не очень-то уловимая, что ли. Чтобы в ней с полной ясностью разобраться, придется нам самим, Николай Иванович, на местность поглядеть. Возьмем казаков, четыре

конных батареи, а там и сообразим, есть ли толк в моей идейке или так, мечты одни… Через два дня выступаем.

— Куда, Михаил Дмитриевич?

— А я и сам еще не знаю, — простодушно улыбнулся Скобелев. — Там видно будет куда.

Однако, просидев полночи над картами, неожиданно уточнил:

— Соберите в Красноводске, Чикишляре и Михайловском две-три роты из нестроевых и тыловых солдат, а также из местных милиционеров. Вооружите их, как положено, и поручите толковым, а главное, инициативным офицерам.

— Стало быть, разобрались в собственной идее? — усмехнулся начальник штаба.

Скобелев развернул карту, ткнул пальцем:

— Бами. Сколько от него до Геок-Тепе?

— Сто двенадцать верст, Михаил Дмитриевич.

— Сто двенадцать. Три перехода, а можно и в два уложиться. Если очень постараться.

— Можно и в два. Если в ночь выйти. Только ночью в тех местах текинцы хозяева.

Генерал походил, подумал. Спросил вдруг, развернувшись перед Гродековым на каблуках:

— Если бы вы, полковник Гродеков, обороняли Геок-Тепе, вы бы укрепили Бами?

— Разумеется. Передовой опорный пункт…

— Вот это мы и должны проверить, Николай Иванович.

— Что проверить? Их укрепления?

— Их образ мыслей, Гродеков. Это куда важнее.

К Бами приблизились без особых приключений. Текинцы наблюдали за продвижением отряда, Скобелев несколько раз отдавал распоряжения казакам атаковать, но текинские разъезды уходили, не принимая боя. Это озадачило Гродекова:

— Заманывают нас, выражаясь солдатским языком.

— Возможно, Николай Иванович, все возможно, — вздохнул Скобелев. — На дорогу внимание обратили?

— Хорошая дорога.

— Все полсотни верст хорошая, от самого Кызыл-Арвата. По такой дороге не только конные обозы — даже пушки пройдут. Отличное место для базы, полковник.

— Далековато возить, Михаил Дмитриевич.

— Из вашего тяжкого вздоха следует вывод: тянуть первую железнодорожную ветку от Красноводска до Кызыл-Арвата. Вот я и поеду строителям хвосты накручивать, а вы, Николай Иванович, завтра, от силы послезавтра Бами

возьмете теми силами, что у вас под рукой.

— А если там — добрый гарнизон? — вздохнул осмотрительный начальник штаба. — Да в добрых укрытиях?

— Вот это-то мне и надо проверить, — сказал Скобелев. — С богом, полковник!..

Развернул коня, крикнул:

— За мной, Баранов! Охрану не брать!

Адъютант буквально выполнил приказ, но полковник Гродеков все же отрядил в сопровождение десяток казаков. И тут же распорядился демонстрировать на Бами, чтобы сковать текинцев и дать Скобелеву время оторваться от их разъездов. Гарнизон Бами отстреливался вяло, демонстрация атаки сама собой переросла в атаку настоящую, и не успела за генералом Скобелевым осесть дорожная пыль, как первая казачья сотня ворвалась в селение.

Через три дня Гродеков, укрепив Бами и оставив там практически весь отряд, возвратился в сопровождении казачьего разъезда. И сразу же доложил Скобелеву, что Бами занято практически без боя.

— Поздравляю, Николай Иванович, — улыбнулся генерал. — Значит, идейка моя оказалась не такой уж безумной.

— Что-то я, признаться, не очень ее уловил, Михаил Дмитриевич, — проворчал полковник. — Взять Бами? Устроить там нашу перевалочную базу? Протянуть железнодорожную ветку?

— Ни то, ни другое, ни третье. Бами — просто еще одно доказательство идеи, а не сама идея, Николай Иванович, — сказал Скобелев. — Текинцы управились с генералом Ломакиным европейским способом ведения оборонительных военных действий, разгромив его не в чистом поле, что до сей поры было для них характерно, а при неудачном штурме крепости Геок-Тепе. И меня все время терзал вопрос: что они переняли у нас — форму или содержание? И на примерах их неубедительных боев под Ходжа-Кала и Бами можно смело утверждать, что текинцы заимствовали у европейцев форму, так и не усвоив содержания. Вот из сего постулата и будем теперь исходить. Только семь раз еще отмеряем, прежде чем окончательно резать.

Глава пятая

1

А на следующей неделе после этого разговора

в Красноводское приставство пришел толмач известного им русского купца Громова:

— Большая беда, господин начальник. Мой хозяин пропал, господин Громов.

— Как так — пропал? Что значит — пропал?

— То есть совершенно. — Армянин был весьма растерян и даже испуган. — Третий день дома нет.

— Ну, может, у женщины какой ночует… — Приставу страсть как не хотелось заниматься исчезновением богатого купца. — Мужчина он молодой, в соку…

— Так ведь и днем нет, и ночью нет, господин начальник. Такого не бывало, господин Громов — мужчина аккуратный.

Сутки пристав занимался розысками, не обнаружил никаких следов и скрепя сердце доложил градоначальнику.

— А чем он тут занимался, этот купец? — Градоначальнику тоже не очень-то хотелось возиться с таким темным делом. — Может, просто сбежал, не рассчитавшись?

— Не похоже, Дементий Антонович, — вздохнул пристав. — Господин Громов верблюдов для армии скупал.

— Верблюды целы?

— Целы, Дементий Антонович. Все шесть с половиною тысяч на скотных дворах, арендованных у города.

Исчезновение военного поставщика сразу стало выглядеть весьма серьезно: градоначальник еще не забыл о краже верблюдов, в расследование которой включился тогда не только тыл со штабом, но и сам командующий генерал-адъютант (что было для Дементия Антоновича куда важнее, нежели генерал-лейтенант). Приказав приставу хоть из-под земли, а достать пропавшего невесть куда купца Громова, градоначальник тут же доложил об этом тыловому начальству. Клубок начал разматываться с военной быстротой, и вскоре конец ниточки достиг Михаила Дмитриевича Скобелева.

— Если понадобится ваша помощь, вас найдет мой адъютант, — сухо, сквозь зубы сказал он.

Начальник тыла удалился вместе с Дементием Антоновичем, но Михаил Дмитриевич не спешил звать Баранова. Удар был неожиданным и от этого особенно болезненным. Он не думал, что и на сей раз били по нему лично, но то, что били по делу, ради которого он, генерал Скобелев, был сюда послан самим государем, сомнений не вызывало. Млынова могли убить или пленить

и как скупщика верблюдов для армии, и как его бывшего адъютанта, засланного сюда под видом купца Громова. Последнее представлялось наиболее угрожающим, и Михаил Дмитриевич, подумав, решил исходить именно из этого, самого неприятного и опасного предположения.

Кто знал, что под личиной купца Громова скрывается бывший капитан Млынов? Только Тыкма-сердар. Но сердар — Скобелев был убежден в этом — выдать текинцам Млынова не мог хотя бы потому, что тем самым обрекал на гибель самого себя: подобное в этих краях не прощалось ни под каким видом. Однако такое признание из него могли вытянуть пытками: исключать такой вариант было бы легкомыслием. — А это означало, что, прежде чем разыскивать исчезнувшего Млынова, необходимо было точно и по возможности быстро выяснить, не случилось ли чего с самим Тыкма-сердаром.

Бывший капитан связывался с Тыкма-сердаром через какого-то старика на Красноводском базаре. Он еще просил не трогать этого старика, когда случилась дурацкаая история с кражей верблюдов. Что-то Млынов говорил о приметах… Драный халат — ну, понятно, у всех старых завсегдатаев базаров драные халаты. Как форма. Что-то еще,

но что? Что?..

Скобелев вскочил, пометался по кабинету… Надо было вспомнить, необходимо было вспомнить… И вдруг расслышал голос Млынова, тихо прозвучавший в его душе: «Только не трогайте на базаре старика в двухцветном тельпеке. Это моя единственная связь с Тыкма-сердаром…»

Двухцветный тельпек! Высокая папаха без дна из двух кусков бараньей шкуры разного цвета. Знак убогости и нищеты…

— Баранов!

Адъютант влетел сразу же, видно, долго ждал под дверью, когда позовут.

— В Красноводске на базаре — старик в двухцветном тельпеке. Скажи приставу, чтобы арестовал, но ни в коем случае не одного, а в группе, что ли.

— Понял, Михаил Дмитриевич. Чтобы прошло незаметно.

— И так же незаметно доставить этого старика ко мне. Только чтобы никто его не заподозрил, Баранов. Если эту ниточку порвем, нам Млынову не помочь.

— Я лучше с врачами свяжусь, Михаил Дмитриевич, а не с приставом. Мол, борьба с вшивостью, всех стариков приказано загнать в баню. А в бане

— два входа и два выхода: для нижних чинов и для господ офицеров, не считая служебного. Никто и не поймет, куда подевался старик.

— Действуй!

В делах розыска Баранов действовал точно, аккуратно, а главное, быстро. К вечеру того же дня перепуганный старик в двухцветном тельпеке уже стоял перед самим генералом Скобелевым.

«Умен, но куда больше — хитер, — думал Михаил Дмитриевич, глядя пристально, в упор на старика. — Знал ли он, кто такой купец Громов на самом деле? Мог и не знать, потому что сердар больше умен, нежели хитер, и рисковать попусту не станет...»

Он не торопился начинать разговор, прекрасно представляя себе, как действует многозначительное генеральское молчание на душу человека, вынужденного что-то скрывать. Прихлебывал чай из тяжелого серебряного подстаканника, не отрывая взгляда от бегающих глаз старика. А спросил негромко и спокойно, как при дружеской беседе:

— Где Громов?

Старик залопотал что-то на своем языке.

— На этом языке меня называют Гез-каглы. Так что будет лучше, если ты станешь объясняться со

мною без переводчика. В последний раз спрашиваю: где купец Громов?

— Не знаю. Клянусь Аллахом.

На сей раз старик ответил по-русски, и Скобелеву показалось, что в голосе его прозвучала если не искренность, то по меньшей мере искренняя озабоченность.

— А где Тыкма-сердар?

— Я не смею этого знать! Сердар велик, я — убог: разве базарная грязь знает, как сверкает снег на вершинах гор?

— Со мною нельзя шутить, старик, и Громов предупреждал тебя об этом. Вспомни, как я рассердился, когда украли верблюдов. От моего гнева исчезают селения, а пашни превращаются в пустыню.

— Я всего лишь жалкий старик. Разве осмелюсь я шутить с великим Гез-каглы?

— Мне не нравится твоя память.

— Да, да, она слабеет, слабеет…

— Ты свел Громова с джигитами сердара в полночь на базарной площади. Что будет с Тыкма-сердаром, если об их свидании узнает Коджар-Топас-хан?

Старик бросил на Скобелева взгляд. Во взгляде этом мелькнул ужас, и Михаил Дмитриевич по-

нял, что пришла пора наносить решающий удар:

— Твою внучку зовут Кенжегюль, и она все еще в руках текинцев в Геок-Тепе.

Старик молчал, низко опустив голову.

— Ты сведешь меня с Тыкма-сердаром. Если откажешься, текинцы отрубят сердару голову и вырежут весь твой народ. Вместе с твоей внучкой.

Старик продолжал молчать.

— Но ты не погибнешь, не надейся, — холодно улыбнулся Скобелев. — Ты останешься жив и до конца дней своих будешь терзать свою душу воспоминаниями о том, как ты предал собственного сердара, собственную внучку и собственный народ. Под надежный замок его, Баранов. Парламентер с моим письмом Коджар-Топас-хану должен завтра утром выехать в Геок-Тепе.

Старик поднял голову:

— Мне нужно два дня.

— Тебе уже ничего не нужно.

— Мне нужно два дня, чтобы связаться с Тыкма-сердаром, — упрямо повторил старик. — На третью ночь великий Гез-каглы встретится с ним. Клянусь Аллахом.

Скобелев в упор посмотрел на него.

— Клянусь Аллахом, — повторил старик. — Ес-

ли этого мало, позовите муллу, и я поклянусь на Коране.

— Я хочу поверить тебе, — сказал наконец Михаил Дмитриевич. — Но если ты обманешь, Коджар-Топас-хан получит мое письмо. Баранов, проводи аксакала.

2

На следующий день старик на базаре не появился. Обеспокоенный Баранов в обед доложил об этом Скобелеву.

— Надо было установить за ним наблюдение, Михаил Дмитриевич. Надо было! Я уже подготовил для этого двух толковых туркменских милиционеров.

— Никаких наблюдений, — буркнул Скобелев. — Старик — хитер и осторожен. Спугнуть недолго.

— Что же прикажете: сидеть и ждать?

— Прикажу сидеть и ждать. Тыкма-сердар — единственный, кто может помочь Млынову. Если он еще жив.

В том, что Тыкма-сердар не имеет никакого отношения к исчезновению бывшего адъютанта, Михаил Дмитриевич уже не сомневался. Наиболее вероятной оставалась версия, выдви-

нутая Барановым, — о том, что Млынова убили и закопали где-то под Красноводском, но это выглядело чересчур уж по-европейски, и Скобелев решительно не желал ее принимать. Он упорно продолжал верить, что друг его еще жив, где-то зачем-то спрятан, и в этом случае разыскать хотя бы следы капитана мог только сердар.

Однако при этом он предполагал, что его встреча с Тыкма-сердаром пройдет точно так же, как и встреча сердара с Млыновым, о которой подробно капитан рассказал при первой же их встрече. Допустимо ли было ему, генерал-адъютанту государя и командующему Закаспийской группой войск, ехать одному в сопровождении двух джигитов неизвестно куда? При таком повороте событий все козыри оказывались в руках сердара. В самом деле, зачем Тыкме было рисковать, хитрить и изворачиваться, если он получал возможность тихо и спокойно задержать генерала, спрятать в укромном месте и получить за него от Коджар-Топас-хана и деньги, и уважение, и свободу для своего племени, если племя вообще его интересовало? Он сам, по собственной воле отдавался во власть кондотьера, для которого не существовало ни чести, ни совести, ни каких бы то ни было моральных обязательств.

Все так, все так, но только на второй чаше весов лежала судьба Млынова, не прояснить которую со слабой надеждой спасти жизнь одному из самых преданных лично ему друзей Скобелев не мог. Это было бы предательством, черный крест которого перечеркнул бы не только все гордое прошлое его, но и все будущее, весь остаток жизни, отпущенный Михаилу Дмитриевичу. В конце концов ради ясности в судьбе Млынова Скобелев сам сдал карты для игры втемную: настала пора играть без права проигрыша, только и всего. «Нет уж, батюшка, я всегда застрелиться успею…» — так, кажется, сказал он после свидания с пленным Османом-пашой?

Вспомнив собственные напыщенные слова, Скобелев усмехнулся и положил в нагрудный карман кителя браунинг калибра шесть и три, прозванный офицерами дамским. Он был уверен, что старик появится если не к вечеру, то уж утром наверняка.

Старик и впрямь утром объявился на базаре, о чем Баранов тут же и доложил Михаилу Дмитриевичу.

— Покрутись с ним рядом, — сказал Скобелев. — И учти, я поеду на его условиях.

— Не слишком ли…

— Не слишком. Ступай, Баранов, только первым к старику не подходи.

Все проходило по отработанной с Млыновым схеме, и Михаил Дмитриевич чуточку погордился собственной прозорливостью. Свидание назначалось в полночь, стариковский шепот потребовал проехать через базарную площадь и ждать. Скобелев пересек площадь, и к нему тут же приблизились два молчаливых джигита.

Через степь гнали карьером в абсолютной тишине, только у Михаила Дмитриевича иногда позвякивала сабля, стукаясь о стремя. Придерживать ее было неудобно, потому что мешал плащ, который он надел по настоятельной просьбе Баранова. Под плащом скрывался повседневный белый китель, перекрещенный ремнями со штатным оружием: револьвером и шашкой. Правда, шашка была не совсем штатной, а — боевой при всей своей внешней простоте: Скобелев всегда брал ее в дела опасные, поскольку свято верил в приметы. Такой же приметой служил и орден Святого Георгия на шее, без которого когда-то Михаил Дмитриевич не рискнул переплывать Дунай. Но это был единственный знак его высокого отличия, потому что погоны с кителя он приказал снять, руководствуясь старой азиатской

пословицей: «Если идешь с хромым, то поджимай ногу, чтобы хромота спутника не так бросалась в глаза». А рассказ Млынова об унизительной бедности Тыкма-сердара он хорошо запомнил, поскольку именно она представлялась ему основной пружиной всей прорусской ориентации одного из самых бесшабашных кондотьеров Туркестана. «Главное, не замечать его одежды, — думал он. — Азиаты следят за каждым взглядом, а Тыкма болезненно обидчив…»

Однако сердар встретил его в роскошном халате из ярко-малинового луи-вельветина, что дало возможность Михаилу Дмитриевичу еще раз возгордиться собственной предусмотрительностью. Встретил стоя, шагнул навстречу и протянул обе руки для пожатия.

— Я безмерно счастлив, что столь великий человек нашел в своей многотрудной жизни минуту для встречи с ничтожным предводителем ничтожной горстки джигитов, заблудившихся в пустыне.

— Рад видеть тебя в добром здравии, Тыкма-сердар, — вежливо сказал Скобелев. — Я привез тебе тючок зеленого чая. Он приторочен к седлу, вели принести его.

— Благодарю, генерал. — Тыкма отдал корот-

кое распоряжение, жестом пригласил сесть к костру. — Ради такой знаменательной встречи я раздобыл бурдюк кумыса. Ты позволишь поднять чашу за твое драгоценное здоровье?

Они уселись, выпили кумыс и начали степенно и неторопливо расспрашивать друг друга о здоровье, скоте и видах на будущее, как того требовал обычай. Беседовали, пока готовили дастархан и заваривали чай. Но как только посторонние удалились, оба неожиданно примолкли, размышляя, как удобнее перейти к тому, ради чего они встретились друг с другом посреди ночи и степи.

— Я не угонял твоих верблюдов, — неожиданно сказал сердар. — Можешь — поверь, не можешь — не верь, но это так. Мне не нужна дешевая нажива, мне нужно, чтобы ты разгромил текинцев и чтобы я спас собственный народ.

— Я верю тебе, сердар.

— Млынова украли те, кто угонял верблюдов, генерал. Жители голых степей и зыбучих пустынь понимают, что русским не взять Геок-Тепе без верблюжьих караванов. Но мне надо, чтобы ты взял эту крепость как можно скорее, и потому мои люди завтра погонят тебе десять тысяч верблюдов.

— Я не смогу расплатиться с тобою мукой, сер-

дар, — сказал Скобелев. — Мне надо кормить солдат, а каждый пуд груза я вожу через Каспийское море.

— Ты расплатишься тем, что разгромишь текинцев, генерал. — Тыкма уважительно — ровно на один глоток — налил зеленого чаю в пиалу Скобелева. — Понимаю, ты приехал потому, что очень беспокоишься за Млынова, а я очень ценю великую дружбу джигитов. Мои люди ищут твоего друга, но пока мне нечем тебя обрадовать.

— Ты думаешь, он жив?

— Его украли с огромным риском совсем не для того, чтобы где-то убить, — вздохнул сердар. — Однако лучше бы они убили его прямо на базаре, генерал.

— Ты полагаешь… — У — Михаила Дмитриевича перехватило дыхание, и фразы он так и не закончил.

— Его пытают. — Тыкма вновь ровно на один глоток наполнил генеральскую пиалу. — Он может вытерпеть пытки?

— Пытки не может вытерпеть никто, — жестко сказал Скобелев. — И мы с тобой знаем это отлично. Ищи, сердар. Ты сам понимаешь, чем это грозит.

— Я думаю, что его прячут где-то в Герк-Тепе. Я

поручу поиски женщинам: они свободно бродят по всей крепости.

— Хоть Богу, хоть дьяволу…

— Я и говорю: женщинам. В них это сочетается.

Оба помолчали, отхлебнули по глотку чаю. Потом сердар сказал, посчитав, видимо, разговор о Млынове законченным:

— В Геок-Тепе пришел караван с английским товаром. Тебе следует знать, что прислали англичане, генерал.

— Почему мне следует это знать? — буркнул Скобелев: он весь был в тяжелых думах о Млынове.

— Потому что они прислали скорострельные магазинки. Ровно шестьсот винтовок. Забыл их название…

— «Пибоди-Мартини»? — подсказал Михаил Дмитриевич.

— Да, так их называли. И патроны к ним.

— Опять — англичане, — вздохнул Скобелев.

Помолчали.

— Прости мою дерзость, великий гость, но скоро начнет светать, — осторожно напомнил сердар.

В последний раз глотнули чаю, и Михаил Дмитриевич поднялся. Протянул руку, и когда Тыкма

уважительно, двумя ладонями пожал ее, сказал умоляюще:

— Спаси Млынова, сердар. Если ты спасешь его, я обещаю тебе орден и чин русского офицера.

3

Всю обратную дорогу генерал размышлял, что предпринять для того, чтобы помочь поискам Млынова поелику возможно. Сердар поступил правильно, поручив разведку женщинам: они наблюдательны, легко заводят нужные разговоры и умеют, в отличие от мужчин, слышать не только то, о чем говорит собеседник, но и то, о чем он думает. Но к людям сердара текинцы относятся с привычным недоверием, и было бы куда лучше, если бы в крепости этих недоверчивых на какое-то время стало меньше. Кроме того, неплохо показать противнику зубы: кочевники впечатлительны и импульсивны, и демонстрация может оказаться к месту. «Длинное ухо»* в лишенной иных связей пустынной стране разнесет весть во все стороны, и десяти тысячам обещанных верблюдов будет шагать куда спокойнее…

— Готовьте боевую рекогносцировку в направлении Геок-Тепе, — сказал он Гродекову тем же утром. — Пора посмотреть нашу строевую подго-

товку в деле, следовательно, без музыки, Николай Иванович, нам никак не обойтись.

— Какой из полковых оркестров?

— Оба. — Скобелев для убедительности показал два пальца. — Чтобы марши гремели, не замолкая.

До Бами, правда, добрались без маршей, но как только там собрался весь намеченный в рекогносцировку отряд, они загремели во всю мощь, лишь время от времени сменяя друг друга. Бравурная музыка далеко разносилась по притихшей степи, и вскоре вокруг марширующих рот стали появляться любопытствующие всадники. Правда, они держались в отдалении, не рискуя приближаться, но число их неуклонно увеличивалось.

— Меня настораживает эта масса конных зевак, — с некоторой озабоченностью сказал Гродеков.

— А меня — радует, — улыбнулся Скобелев. — Ротозеи — не воины, Николай Иванович. Пусть удивляются нашей строевой подготовке со всей своей непосредственностью!

— Их уже куда больше, чем нас, — осторожничал начальник штаба. — И с каждой минутой число их возрастает, что заметно даже без подсчета. Представьте, Михаил Дмитриевич, что

среди этой любопытствующей конной толпы найдется азартный вожак. Тогда они навалятся на нас вслед за его кличем.

— Что ж, это вполне возможно, — подумав, сказал Скобелев. — Попробуем отпугнуть. Прикажите развернуть против ближайшей группы один ракетный станок.

— Всего один станок?

— Всего один. Я намереваюсь попугать их, а не схлестываться в ненужном нам сражении.

Боевой ракетный станок развернули быстро. Его командир — молоденький и очень старательный подпоручик с пушком на щеках — доложил с восторженной готовностью:

— Ракетный станок готов к ведению огня! Извольте указать цель, ваше превосходительство!

— Цель? — Михаил Дмитриевич тепло улыбнулся юношеской пылкости подпоручика. — Видишь левее конную группу текинцев?

— Так точно, — голос подпоручика заметно сник. — Далековато, ваше превосходительство. Разрешите усилить пусковой заряд?

— Командуй, как положено. В твоем деле тебе никакой генерал не указ.

— Слушаюсь!..

Ни Скобелев, ни его начальник штаба, ни кто-

либо из старших офицеров не смотрели, что именно делает командир станка. Его этому учили, а потому все деликатно отвернулись, чтобы не смущать юного офицера.

— Готово, ваше превосходительство! Заряд усилен!

— Молодец, — сказал Скобелев. — Быстро управился. Наводи, куда указал, и стреляй. Ровно один залп.

— Фейерверкер… Пли!.. — невероятно громко заорал подпоручик, впервые в жизни отдавая боевую команду.

Все невольно рассмеялись, но смех застыл на устах. В то время как все снаряженные ракеты взмыли в воздух, одна — лишь как-то странно подскочила на месте, свалилась на землю и завертелась, извергая грохот и пламя. И все замерли, поскольку вертелась она рядом со сложенными подле запасными ракетами. Через считанные мгновения должен был произойти взрыв не только этой неудачно пущенной ракеты, но и всего боевого запаса.

Первым опомнился Скобелев. Прыжком послав белого жеребца вперед, он накрыл его телом вертевшуюся ракету и поднял ноги, выдернув их из стремян. И тут же грохнул взрыв, но вся сила его

пришлась в брюхо белого аргамака, подаренного Михаилу Дмитриевичу еще на Кавказе.

Скобелев спрыгнул с падающего жеребца, вынул револьвер и выстрелил коню в ухо. Никто еще не успел прийти в себя, онемело глядя на мертвую лошадь и глотая вонючий пороховой дым.

— Плохо ты еще стреляешь, — сказал Михаил Дмитриевич побелевшему от страха подпоручику. — Месяц учиться будешь. Каждый божий день, сам экзамены приму. Ступай. Командира батареи ко мне.

Подскочил красный то ли от пережитого, то ли от азиатского солнца штабс-капитан.

— Командир ракетной батареи штабс-капитан Готовкин!

— Скверно готовил, — проворчал Скобелев. — Чуть беды не наделал и дареного коня загубил. Под арест, потом разберемся.

Ракеты не долетели до текинцев: то ли заряд был недостаточен, то ли отправленный на месячные стрельбы подпоручик задал неверный прицел. И все бы обошлось одним погибшим кавказским подарком, если бы от взрыва вдруг не понесла лошадь Баранова. Он этого не ожидал, не усидел в седле и вылетел, запутавшись ногой в

стремени. Коня тут же перехватили, вывихнутую ногу адъютанта вправили, но Михаил Дмитриевич приказал ему отправляться в тыл.

— Доставить лично к доктору Гейфельдеру, — сказал он приготовившемуся сопровождать пострадавшего казачьему вахмистру. А Баранову сердито — не любил дурацких неожиданностей: — Как очухаешься, свяжись с начальником тыла и выясни, когда начнут прибывать гелиографы*. В степи без них никак не обойтись, любого связного текинцы перехватят.

Ракетный залп привлек новых любознательных. Они, как правило, прибывали группами, но по-прежнему оставались на холмах, в отдалении, и атаковать вроде бы не собирались. Однако Гродеков счел необходимым обратить на это внимание Скобелева:

— Накапливаются, Михаил Дмитриевич.

— Атаковать они не собираются, — отозвался Скобелев, внимательно осмотрев конные толпы текинцев на возвышенностях. — Продолжать движение парадным маршем. Музыке не замолкать!

Вновь загремели марши, и колонны двинулись по степи четким строевым шагом. Михаил Дмитриевич оказался прав и в этот раз: текинцы и не

пытались атаковать, продолжая с живейшим любопытством наблюдать за четким продвижением русских войск.

Перед вечером остановились на ночевку. Строго распределили роты, стараясь укрыть орудия пехотинцами, после ужина, как и полагалось, сыграли зорю, начало сна отметили зоревым пушечным выстрелом и, выставив усиленные секреты из казаков, приказали остальным спать.

Подъем был сыгран рано, с первыми проблесками зари. А после завтрака сразу же объявили построение, и роты прежним порядком зашагали по пустынной степи под громкие марши, старательно пряча заряженные орудия в центре каждой роты.

И вновь все возвышенности вокруг покрылись массой всадников в пестрых одеждах. Но и в это утро они не атаковали, продолжая наблюдать за продвижением русских войск.

— Какой-нибудь населенный пункт между нами и Геок-Тепе есть? — спросил Скобелев.

— Янги-кала, — ответил Гродеков. — Не исключено, что текинцы его хорошо укрепили.

— Вот это мы и проверим, — усмехнулся Михаил Дмитриевич. — Направление марша — Янги-кала!

Гродеков отдал команду, и ротные колонны развернулись, как на параде. Среди наблюдавших текинцев началось бурное движение, и они весьма быстро перестроились в угрожающий фронт.

— Кажется, нас собираются атаковать, — сказал Гродеков.

— Вы знаете, что делать, Николай Иванович, — усмехнулся Скобелев. — Продолжать движение, при атаках действовать, как на учениях к парадам. Предупредите оркестры, что именно от них должны отныне поступать команды.

Текинцы, до сей поры с наивным любопытством наблюдавшие за продвижением русских войск, сразу же изменили свое поведение, как только пехотные колонны свернули на направление, ведущее к Янги-кала — последнему населенному пункту перед Геок-Тепе. Михаил Дмитриевич предполагал, что именно так они и поступят при условии, что Янги-кала ими укреплена плохо или не укреплена вообще. Те восемь сотен пехотинцев, что были у него под рукой, никак не могли взять сколько-нибудь укрепленное селение — оттого текинцы и приняли единственно правильное решение: атаковать русских на марше.

Текинцы ринулись в стремительную конную

атаку лавой, яростно что-то выкрикивая и размахивая шашками. Русские колонны спокойно продолжали движение им навстречу, четко, как на параде шагая под не умолкающие марши оркестров. Однако как только всадники приблизились на расстояние картечного огня, оркестры тут же замолчали, громко пропели трубы и роты остановились. Но лишь на время, которое понадобилось им, чтобы разомкнуться первым ротным шеренгам, открывая просвет для спрятанной артиллерии. И как только это произошло, орудия на руках сразу же были выдвинуты на линию огня. Один за другим прогремели два картечных выстрела, сбивших, смявших и расстроивших стремительную конную атаку противника. Текинцы развернули коней и бросились врассыпную, а ротные ряды, сделав шаг вперед, тут же сомкнулись, пряча орудия. Вновь грянули марши, и солдаты дружно шагнули вперед.

— Отлично, — удовлетворенно сказал Скобелев. — Продолжайте в том же духе и в том же направлении, Николай Иванович. А я тем временем объеду крепость. Со мною прошу следовать инженера Рутковского, двоих топографов по его усмотрению и… и десяток казаков.

— Десяток мало, Михаил Дмитриевич, — оза-

боченно заметил осторожный Гродеков. — Вам не уйти от текинцев, если они вздумают вас преследовать.

— Им не до меня, — улыбнулся Скобелев. — Они бросят все силы на вас, Николай Иванович, так что будьте к этому готовы.

— Вы поступаете весьма рискованно, Михаил Дмитриевич…

— Война — вообще довольно рискованное занятие. Готовы, Рутковский? За мной.

Шесть раз текинцы бросались в стремительные конные атаки. И шесть раз роты, как на учениях, вовремя останавливались, размыкали строй, выкатывали пушки и встречали бешено орущих всадников картечным огнем в упор. В конце концов они поняли неуязвимость русских колонн, прекратили бессмысленные атаки, но продолжали держаться в отдалении, внимательно наблюдая за продвижением русских колонн. Гродеков предполагал, что текинцы дадут ему серьезный бой на подходе к Янги-кала, но, к его удивлению, противник сдал последний опорный пункт перед Геок-Тепе без единого выстрела.

К этому времени Скобелев вернулся, успев без особых помех объехать весь периметр крепости.

— Нас обстреляли дважды из одного ору-

дия, — сказал он Гродекову. — И дали несколько ружейных залпов. Причем из Денгиль-Тепе. Судя по всему, стреляли из английских магазинок, патронов не жалели, но нам пришлось держаться на определенном расстоянии, и укрепления Денгиль-Тепе осмотреть не удалось. Придется нам хорошенько подумать, Николай Иванович.

4

Млынов очнулся от близкого артиллерийского выстрела. Осознать ничего не успел, потому что болело все. Раскалывалась голова, нестерпимо жгло левое ухо, горела от боли спина, но больше всего хотелось пить. И рот, и глотка пересохли настолько, что, казалось, вот-вот полопается кожа. Он ничего не мог вспомнить и, вероятно, так бы и не вспомнил, вновь провалившись в сухой горячий бред, если бы вскоре не расслышал второго выстрела. Странно, но именно он вернул ясность его сознанию. Капитан осторожно прикоснулся к ноющему левому уху, ощутил пальцами ком грязи вместо него и отчетливо вспомнил, как его ухо отсекли одним взмахом хорошо отточенного кинжала. И даже не перевязали, а жестоко били палками по спине, пока он полз к выходу.

Потом он, вероятно, потерял сознание, потому

что никак не мог вспомнить, каким образом оказался в глухом глинобитном сарае, свет в который проникал лишь из редких выбоин под камышовой крышей. Но его, по счастью, бросили на левый бок, пыль залепила рану, и кровь теперь лишь сочилась сквозь липкую грязь. Ломило все тело, кружилась голова, мучительный сухой ком в горле не давал сосредоточиться, но он все же заставил себя сесть. А потом, скопив силы, исползал весь пол, но так и не нашел даже плошки с глотком воды.

И все же от того, что он двигался, ему стало несколько лучше. Во всяком случае, память, разорванная на куски провалами, когда он терял сознание, постепенно восстанавливалась, создавая более или менее цельную картину недавнего прошлого.

На него напали двое в тесном и пустынном переулке, когда он возвращался домой с базара. Вероятно, их было трое, если не больше, потому что внезапный удар по голове он получил сзади и сразу же потерял сознание. А очнулся от сухого удушья, из-за которого мучительно першило в горле. Пришел в себя в полной темноте, ощущая почему-то, что все его тело плавно раскачивается вдоль: голова-ноги, голова-ноги… Хотел

шевельнуться, но не смог, и сразу сообразил, что крепко-накрепко перевязан веревками, плотно закутан в войлочную кошму и приторочен к верблюжьему боку. И плавно раскачивается в такт его равномерной корабельной походке. А кошма была старой, пропитанной многолетней пылью, с лысеющим ворсом. И эти частички ворса проникали в горло и легкие при каждом вздохе, вызывая мучительный кашель.

Тогда он вскоре вновь потерял сознание от боли в голове, недостатка воздуха и мучительного кашля. И пришел в себя только от воды, которую щедро выплеснули ему в лицо.

Он лежал на ковре в богато убранном шатре. Веревки, сплошь опутывающие тело, были разрезаны, и он осторожно пошевелил руками.

— Живого довезли!

Сказали на местном наречии, Млынов его понимал, но вида не подал. Прохрипел по-русски:

— Воды…

— Говори на нашем языке! — резко крикнули ему.

— Воды, — по-русски повторил он. — Умоляю…

— Дайте ему напиться, — сказал чей-то спокойный, очень уверенный голос.

Ему подали кувшин. Он с трудом сел — ломило

все занемевшее тело, — взял кувшин в слабые дрожащие руки и жадно, всхлипывая, выпил его до дна. Только тогда огляделся, увидел вооруженных текинцев и сидящего поодаль на ковровой тахте нарядно одетого человека средних лет с аккуратно подстриженной бородкой. Он никогда не видел Коджар-Топас-хана, но сразу же сообразил, что это — он.

— Назови свое имя, — сказал хан.

Утолив мучительную жажду, Млынов уже ясно понял, что ему необходимо ни в коем случае не признаваться, что он понимает язык, на котором ему задают вопросы. И поэтому спросил по-прежнему по-русски, обведя всех удивленным взглядом:

— Где я?.. И почему здесь?.. Кто вы такие?

— Отвечай на нашем языке! — грубо крикнул ему рослый текинец в белоснежном тельпеке.

— Кто вы такие? — по-русски повторил Млынов. — Почему меня похитили?

— Назови свое имя, — все так же спокойно повторил хан.

— Что говорит этот важный господин? — Млынов изо всех сил демонстрировал беспокойство. — Мне нужен толмач, я не понимаю ни одного слова!

— Напрасно упрямишься, — вздохнул Коджар-Топас-хан. — Мы ведь знаем, кто ты такой. Нам нужно лишь твое признание.

— Я требую толмача!

— А для чего тебе толмач? — Топас-хан чуть раздвинул тонкие губы, обозначая улыбку. — Ты станешь моим личным гостем, если признаешься во всем.

— Я ничего не понимаю, о чем вы говорите! — капитан выкрикнул это, разыгрывая испуг. — Меня ударили по голове, связали, привезли сюда, но я ничего не знаю!

Текинцы тихо о чем-то посовещались, после чего хан спросил на довольно сносном русском языке, не переставая изображать улыбку:

— Мы знаем, кто ты такой. Ты — бывший толмач генерала Скобелева, ставший потом его адъютантом. Так почему ты приехал в наши края задолго до своего командира?

— Я никакой не адъютант, помилуйте, господин, — с максимальной искренностью ответил Млынов, для убедительности прижав руку к сердцу. — Я — купец Громов, я покупаю верблюдов по договоренностям с Астраханским…

— Лжешь, капитан Млынов, — брезгливо поморщился Коджар-Топас-хан. — Объясните ему,

что ложь — непрощаемый позор для мужчины.

Он поднялся и вышел. И едва за ним опустился полог шалаша, как Млынова начали избивать в три пары кулаков…

Били, пока он не потерял сознание. Очнулся от свежего ночного воздуха: его куда-то волокли. Но очнулся всего на мгновение…

Окончательно пришел в себя в глинобитном сарае. Сил хватило, чтобы встать, осмотреться, проверить, заперта ли дверь с наружной стороны. Дверь оказалась запертой, но осматривался он не зря. В углу на связке камыша он обнаружил пару лепешек и кувшин воды. Есть не хотелось, но он заставил себя неторопливо разжевать черствые лепешки и только после этого с удовольствием напился воды.

В тот день его поволокли на допрос под вечер, когда было еще светло. Млынов стонал, изображая полное бессилие, но украдкой внимательно оглядывался по сторонам. Сарай, служивший местом его заключения, оказался рядом с внутренним, хорошо укрепленным фортом, и он понял, что это и есть Денгиль-Тепе, на оборону которого текинцы возлагали свои основные надежды. «Коли этим путем тащат, значит, живым не отпустят, — с горечью подумал он. — Значит,

главное — не признаваться, что знаю их язык. Отвечать только по-русски, только по-русски…»

Коджар-Топас-хана на сей раз не было. Здоровенные текинцы вначале громко орали, всячески угрожая ему, но он упорно требовал толмача.

Тогда начали бить. На сей раз не кулаками, а плетями из грубого верблюжьего волоса. Грубые плети сдирали со спины кожу, грубый волос ломался при каждом ударе, части его застревали в ранах, что вызывало мучительный зуд. Он кричал и молил о пощаде, но кричал и молил только на русском языке.

Войдя в раж, текинцы кричали тоже, и как Млынову не было больно, он старался запоминать, что именно они выкрикивают, доведя себя до неистовства.

— Говори на нашем языке!..

— Сколько верблюдов у Гез-каглы?..

— Отвечай!..

Что-то они кричали еще, но он не запомнил. Вероятно, просто ругались, а ругань ему не к чему было запоминать. Главное прозвучало, и это главное он изо всех сил старался не забыть.

А накануне они окончательно озверели и после жестоких побоев одним ударом кинжала отрезали ему ухо. Он дико закричал от невыносимой

боли, услышав в ответ смех.

— Завтра мы отрежем тебе палец на руке. И каждый день будем резать по одному пальцу, пока ты не признаешься, что говоришь на нашем языке.

Млынов потерял сознание, когда его еще волокли в место его заточения. Но сейчас то ли от близких артиллерийских выстрелов, то ли от того, что острая боль унялась, окончательно пришел в себя. И сразу возникло чувство, что он должен непременно что-то вспомнить. Что-то очень важное, какую-то фразу, случайно сорвавшуюся с языка… А вспоминалось с трудом, потому что сил почти не было, а боль была. Но он заставлял себя забыть о боли, и это почти удалось, когда деревянная дверь внезапно приоткрылась, и в щель быстро скользнула маленькая юркая фигурка.

— Господин, ты жив? Не бойся меня, я вечно буду благословлять твою щедрость. Ты купил мою маленькую дочь, мою Кенжегюль, и отдал ее мне…

Голова его была занята поисками иных воспоминаний, и поначалу он даже решил, что и это неожиданное посещение всего лишь очередная проверка, потому что молодая женщина говори-

ла по-туркменски, а потому ответил нейтрально, просто повторив имя:

— Кенжегюль.

— Да, да, мой господин, так зовут спасенную тобой мою девочку. Но тебя непременно убьют, если ты не уйдешь к своему племени.

— Мое племя далеко.

Он впервые ответил на языке, знание которого выбивали из него столь жестоко и планомерно. Но хотелось верить, что еще есть возможность спастись, есть шанс. Может быть, последний, и он рискнул.

— Русские совсем рядом, все джигиты ускакали из крепости. Надень женский халат и накидку и иди к северным воротам. За ними тебя ожидает лошадь…

Она говорила быстро, и что-то в ее тоне убеждало, что она не обманывает его. Поэтому Млынов, более уже ни о чем не спрашивая, накинул старый халат и глухую длинную накидку и выскользнул за дверь сарая вслед за женщиной.

— Иди к северным воротам, — торопливо сказала она. — Не беги, но и не задерживайся.

Бежать Млынов не мог, а задерживаться не собирался. Во дворе крепости суетилось много народа, но в основном это были старики, женщины

да дети. Юная спасительница его тут же затерялась среди них, успев на прощанье показать, куда ему следует идти, и он пошел.

Стражи у распахнутых настежь ворот не было. Млынов миновал их и сразу же увидел худую рабочую лошадь с понуро опущенной головой, которую держала под уздцы старуха, прячущая лицо. Она молча передала ему поводья и сразу же ушла в крепость. А Млынов кое-как взгромоздился на коня, стукнул его под живот каблуками башмаков, и старая лошадь покорно затрусила в степь.

Это была свобода, точнее — слабый ее ветерок, в постоянство которого капитан еще боялся поверить. Но конь неторопливо шел размеренной рысью, покорно слушался поводьев и вскоре перевалил небольшую возвышенность. Стена крепости еще была видна, но Млынов все же остановился, чтобы определиться, в каком направлении ему следует ехать далее.

Шумы крепостного двора здесь не мешали вслушиваться, и Млынов впервые различил дикие крики атакующих текинцев и четкие, слаженные ружейные залпы отбивающихся солдат. Там шел бой, там были свои, и он погнал свою клячу напрямик.

Ему удалось миновать изрядный кусок пустынной степи, когда случайная пуля попала в лошадь. Она удержалась на ногах, зашаталась, и Млынов успел спрыгнуть на землю. Но был еще слишком слаб, не устояв, упал и просто поторопился отползти подальше, чтобы не попасть под бьющуюся в агонии клячу. Вжавшись в землю, дождался, когда она перестанет кричать и дергаться, поднялся и, пригибаясь, побрел в ту сторону, где слышались далекие звуки боя.

Но все шумы скоро кончились. Он не знал, чем завершилась атака, где сейчас находятся свои, где — чужие, и, чтобы не рисковать, кое-как спрятался в первой же подходящей низинке. Переждал, пока солнце не скроется за горизонтом, и только тогда побрел на запад. На последние отсветы затухающей зари.

Мучительно болело избитое тело, его шатало от голода и внезапных приступов боли, но беспощаднее всего мучила жажда. Он брел только по ночам, от заката до рассвета, ориентируясь по последним солнечным отблескам и Полярной звезде. Шатался, падал, вставал, шел и снова падал, пока окончательно не растерял всех сил. Тогда он приказал себе ползти. И полз каждую ночь. Строго на запад.

Через четыре дня после бегства из крепости Геок-Тепе на капитана Млынова случайно наткнулся казачий дозор.

Глава шестая

1

Баранов с трудом добрался до ближайшего телеграфного поста. Ныла кое-как вправленная после вывиха нога, сильно болело плечо, на которое он умудрился упасть, пытаясь сдержать перепуганную внезапным взрывом лошадь. Конечно, следовало потерпеть, доехать до какого-нибудь лазарета, но Скобелев приказал вначале справиться о гелиографах, а уж потом заниматься собственной ногой. Правда, что-то там говорилось о докторе Гейфельдере, но адъютант велел везти его на телеграфную станцию. Боевой приказ был куда существеннее его личного самочувствия, и Баранов терпел, стиснув зубы.

Казаки на руках внесли его в домик, где располагался телеграф, и тотчас же ускакали назад. Молоденький телеграфист предложил было тотчас же вызвать лекаря, но Баранов приказал сначала связаться со штабом.

Непроизвольно раскачиваясь от ноющей боли, он тупо смотрел на бегущую телеграфную ленту. Это продолжалось довольно долго, потому что телеграфист вначале сделал запрос, а потом терпеливо ждал ответа. Изредка поглядывая на страдающего адъютанта, он не решался ни о чем его расспрашивать, а когда наконец собрался с духом, аппарат застучал, выталкивая ленту с ответом.

— Первая партия гелиографов в количестве пяти установок прибыла в Красноводск. Днями ожидаем остальные.

— Передай, чтобы немедленно переправили в Бами.

— Сейчас, сейчас…

Телеграфист произнес это с некоторой растерянностью, потому что лента продолжала ползти без его запроса.

— Что там еще? — с раздражением спросил Баранов.

Нога ныла куда сильнее, чем прежде. То ли ее растрясло при скачке, то ли не слишком туго перевязали, оказывая спешно первую помощь.

— Запрашивают, кто подписал запрос о гелиографах, — доложил телеграфист.

— Спохватились… Передай, что запрос делал

личный адъютант генерала Скобелева по его устному распоряжению.

— Будет исполнено. — Телеграфист бойко застучал ключом.

Некоторое время он молча занимался своим делом, читал прибывающие телеграммы, отстукивал ответы. Потом сказал с удивлением:

— Доктор Гейфельдер велел вам ждать здесь. Он срочно выезжает.

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю. — Телеграфист помолчал. — У вас нога болит?

— Болит…

— Позвольте помочь. — Телеграфист осторожно разбинтовал ногу. — Сильно она опухла. Не шевелите ею, я ванночку сделаю.

Баранов покорно ждал, пока юный телеграфист нагреет воду, пока сам осторожно опустит распухшую ногу в тазик.

— Бабушка так делала, — пояснил он. — Легче?

— Легче. — Баранов впервые улыбнулся. — Ныть перестает.

— Тепло — главное дело…

Доктор Гейфельдер выглядел очень расстроенным. Молча осмотрел пострадавшего Баранова, определил, что кроме вывиха у него сломано

ребро, похвалил за теплую ванну телеграфиста. И тут же под каким-то предлогом выслал его из помещения.

— Большое горе, Баранов, — тихо сказал он. — На центральную станцию пришла телеграмма с уведомлением, что матушка Михаила Дмитриевича Ольга Николаевна Скобелева внезапно скончалась.

— Как?! — ахнул адъютант.

— Как именно, в телеграмме не указано. — Гейфельдер помолчал. — Придется мне в Бами скакать, иного выхода нет. Постороннему такое известие не поручишь, а вам от верховой езды пока следует воздерживаться. Помалкивайте да полеживайте, а я поскакал.

— Один?

— Со мною — десяток казаков. На обратном пути захвачу вас.

Внезапно застрекотал телеграфный аппарат. Доктор метнулся к дверям, позвал телеграфиста.

— Какого-то Млынова в степи нашли, — сказал телеграфист, прочитав ленту. — Еле живого, как сообщают.

— Млынова? — встрепенулся Баранов. — Какого Млынова? Бывшего капитана?

— Именно так, — сказал телеграфист, сверив-

шись с лентой. — Еле живой, как сказано.

— Где он? — спросил доктор.

— В Бами.

— Как раз туда еду. — Гейфельдер пожал руку Баранову, еще раз тяжело вздохнул, кивнул телеграфисту и вышел.

2

Доктор Гейфельдер быстро добрался до Бами, хотя быстрота эта в известной степени была кажущейся. Он все время думал, как, в какой форме и когда именно сообщить Скобелеву о кончине матушки, отлично представляя себе, насколько это внезапное известие потрясет Михаила Дмитриевича. Он знал особую любовь Скобелева к Ольге Николаевне, как знал и то, насколько эмоционален был Михаил Дмитриевич, тяжко, а порою и непредсказуемо переживая внезапные удары судьбы. Об ударах этих, которые сыпались на Скобелева с особой частотой в последнее время, доктор был достаточно осведомлен и очень опасался душевного срыва Михаила Дмитриевича накануне решающих сражений с текинцами.

Знал он и о том, что значил для Скобелева таинственно пропавший Млынов. Его внезапное спасение могло стать тем лекарством, которое

способно было поддержать Михаила Дмитриевича при известии о последней трагедии, вернуть ему силы и веру, что не все еще потеряно, что еще есть смысл бороться и жить. И поэтому, прибыв в Бами, приказал сначала доставить его в лазарет.

Он нашел Млынова в сознании, но сознании горячечном, путаном и весьма нелогичном. Измотанный потерей крови, побоями, усталостью и жаждой капитан стремился рассказать о чем-то важном, но Гейфельдер не знал, как подойти к этому важному, а Млынов путал бред с явью, и выстроить сколько-нибудь логичную беседу им так и не удалось. Доктор расспрашивал о самочувствии и жалобах, а капитан мучился, что никак не может сказать главного.

— Верблюды. Они спрашивали о верблюдах.

— Позвольте я осмотрю вас.

— Я не сознался, что понимаю местные наречия, но они точно знали, кто я такой. Откуда они это знали?

— Извольте повернуться на спину, капитан.

— Потом, доктор, потом. Южный фас Денгиль-Тепе весь в трещинах. Его строили торопливо, бить надо там…

— Необходимо обработать ваши раны…

— Меня спасла мать той девочки, Михаил

Дмитриевич знает, о ком я говорю. Девочку зовут Кенжегюль. Передайте Скобелеву. Непременно передайте Скобелеву.

— Я вынужден отправить вас в кавказский госпиталь.

— Дословно передайте Скобелеву. Южный фас…

Млынов замолчал на полуфразе, вдруг потеряв сознание. Распорядившись обработать его раны и немедленно, первым же кораблем отправить капитана на Кавказ, Гейфельдер наконец-таки освободился и поспешил в штаб, где, как ему сказали, Михаил Дмитриевич проводил командное совещание.

Он еще не продумал, как именно начнет готовить Скобелева к трагическому известию, но рассчитывал, что успеет подготовиться, ожидая, пока кончится совещание. Но доктора знали не только как основного и многоопытного врача, но и как близкого друга Михаила Дмитриевича, поэтому двери совещательной комнаты тут же перед ним и распахнулись.

— Проходите, доктор. Это ведь касается и вашей службы.

Гейфельдер вошел и скромно присел в сторонке. У прикрепленной к стене топографической

схемы стоял инженер Рутковский, докладывая обстановку. Скобелев сидел спиной к доктору, а потому и не заметил его.

— Крепость представляет собою неправильный четырехугольник, обнесенный стенами со всех сторон. Стены земляные, вышиною от двух до трех сажен, толщиною в основании до пяти, а поверху — от трех до четырех саженей. Крепость обнесена рвом по всему периметру от трех до девяти футов глубины при ширине до двенадцати футов. Местность вокруг крепости низменная, легко просматриваемая, особенно если учесть форт Денгиль-Тепе, высота которого ориентировочно до семи сажен.

— Ускоренная осада, — сказал Михаил Дмитриевич. — Солдатам зарыться в землю до двух сажен. Какие соображения будут у господ офицеров?

С этими словами он обернулся и впервые заметил доктора. Кивнул ему, улыбнулся, а Гейфельдер, припомнив рассказ Млынова, сказал вдруг:

— Южный фас форта Денгиль-Тепе весь в глубоких трещинах. По-видимому, строили второпях.

— Вы стали разбираться в особенностях фортификации, доктор? — усмехнулся Скобелев. —

Приятно слышать. Откуда же у вас эти сведения?

— От капитана Млынова.

— Господа офицеры, получасовой перерыв, — тут же распорядился Михаил Дмитриевич. — Подумайте об идее ускоренной осады, когда будете перекуривать.

Дождался, пока все вышли, подсел к Гейфельдеру:

— Значит, он спасся?

— Я нашел его в Бами, в лазарете. Однако он весьма ослабел, не исключаю возможность гангрены, а посему я распорядился немедленно отправить капитана на Кавказ.

— Что он еще просил мне передать?

— Они интересовались количеством верблюдов. И еще — странная фраза — Млынов убежден, что о каком-то человеке в ярко-малиновом халате текинцы ничего не знают.

— Прекрасные сведения, — улыбнулся Скобелев. — Не припоминаете ли чего-либо еще, доктор?

— Какая-то девочка. Кажется, ее зовут Кенжегюль. Ее мать спасла капитана.

— Кенжегюль, — повторил Михаил Дмитриевич, вероятно для того, чтобы запомнить. — Коли это все, то я приглашу офицеров…

— Увы, это не все, Михаил Дмитриевич, — с горечью сказал Гейфельдер. — Я привез горестные новости.

— Горестные?

— Пришла телеграмма, Михаил Дмитриевич. — Доктор нервно потер ладони. — В ней сказано… В ней сообщается о кончине вашей матушки Ольги Николаевны.

— Кончине?.. — с какой-то удивленной недоверчивостью переспросил Скобелев.

— Примите мои соболезнования, дорогой Михаил Дмитриевич…

— Скоропостижно? Несчастный случай?

— Подробности в телеграмме не сообщаются.

— Она же никогда ни на что не жаловалась…

В комнату начали возвращаться офицеры. Скобелев резко поднялся:

— Благодарю вас.

Прошел к заваленному картами столу, поворошил бумаги, не поднимая головы. Сказал вдруг:

— Прощения прошу, доктор рекомендует трехдневный отпуск. Продолжим по окончании оного.

И стремительно вышел.

3

Скобелев сразу же выехал в свой особняк под Кызыл-Арватом, взяв с собою только денщика Анджея Круковского. Анджей был сдержан и молчалив, а главное — он хорошо знал Ольгу Николаевну, и в этом молчании было некое единение. Он спрашивал только в том случае, если требовались уточнения, и без приглашения никогда не входил. Молча накрыл стол к ужину по приезде и, поклонившись, пошел к выходу.

— Останься, — вздохнул Михаил Дмитриевич. — Матушку помянем.

— Рано, Михаил Дмитриевич, — тихо сказал Круковский. — Надо подтверждения обождать.

— Ну, так просто вместе перекусим.

Анджей сел к столу, но ни у денщика, ни у генерала не лез кусок в горло, хотя они порядком проголодались. Кое-как и кое-чем перекусили, Круковский убрал со стола и удалился, а Михаил Дмитриевич остался наедине со своими думами.

Сказать, что он любил матушку больше, чем отца, было бы и просто и неверно. Он боготворил ее, равно как и она — его, и никакие параллели здесь были неуместны. Фотографию Ольги Николаевны Скобелев с собою не захватил, поскольку

считал это почему-то дурной приметой, а тем вечером пожалел об этом, потому что уж очень ему хотелось увидеть ее лицо. Он пытался вызвать его в своей памяти, но ничего не получалось, и он мучился, пытаясь читать и не воспринимая ни строчки даже из своего любимого Лермонтова.

Лег он довольно поздно, боясь, что начнет долго и напрасно вертеться в постели, призывая сон. Так оно и случилось, несмотря на то, что он порядком устал в тот день. И лишь под утро он заснул, надеясь увидеть матушку во сне. А на заре проснулся, потому что ему приснилась-таки матушка, но — в гробу. И почему-то белом…

«Не зря я место указал, куда положить меня, — с горечью подумал он. — Там теперь и ляжем, все трое. Последние Скобелевы… А она так мечтала скобелят понянчить…»

К завтраку пришел Гродеков. Дел у него особых не было, но, беспокоясь за Скобелева, он их придумал на ходу:

— Чем войскам заниматься в ваше отсутствие, Михаил Дмитриевич? Может быть, провести еще одну рекогносцировку?

— Не к чему, — буркнул Скобелев. — На передовой пора в землю зарываться, а в тылу… — Он на миг задумался. — В тылу железной дорогой

займитесь, Николай Иванович. Сколько верст они освоили?

— Двадцать две с половиной.

— К январю должны проложить путь до Бами.

— У них маловато сил, Михаил Дмитриевич, для такого рывка.

— Отрядите к ним всех праздношатающихся и дайте разрешение нанять местных рабочих. Оплату казна гарантирует. И торопите их, торопите. Удивить — значит победить.

Сейчас исполнительный, точный и весьма заботливый начальник штаба раздражал Скобелева. Он ждал телеграммы с подробностями о смерти матушки, надеялся, что она вот-вот придет и что принесет ее доктор Гейфельдер. Николай Иванович это понял, тотчас же раскланялся, и Михаил Дмитриевич вновь остался со своими думами и ожиданиями.

Гейфельдер появился уже после обеда, и по его лицу Скобелев понял, что телеграмма пришла. Спросил отрывисто:

— Какова же причина?

Доктор растерянно развел руками:

— Трагическая, Михаил Дмитриевич.

— Что в ней?

— Ваша матушка в сопровождении директора

госпиталя госпожи Смоляковой, своей служанки, офицера Петрова и унтер-офицера Иванова выехала в Румелию, имея с собою более восьми тысяч фунтов стерлингов для передачи детским приютам. Ей предлагали жандармский конвой, но она от него отказалась.

— Узнаю матушку, — невесело усмехнулся Скобелев.

— При пересечении границы с Восточной Румелией к ним присоединился поручик Николай Узатис. Было очень жарко, и он предложил Ольге Николаевне продолжить путешествие, когда спадет жара, обещая сопровождать ее. Кортеж покинул Филиппополь уже к вечеру, а в половине девятого на них из засады напали вооруженные грабители.

— Матушка погибла в перестрелке?

— Ее зарубил саблей Узатис, — помолчав, тихо сказал Гейфельдер. — Убиты были все, но раненому унтеру Иванову удалось добраться до города. Была тут же организована погоня, грабителей настигли быстро, расстреляв на месте, поскольку они оказывали сопротивление. Узатис застрелился сразу же при появлении жандармов.

Михаил Дмитриевич тяжело опустился на стул. Он глядел прямо перед собою, не замечая, что

слезы, скатываясь по бакенбардам, падают на страницы раскрытого томика Лермонтова. Доктор с состраданием глядел на него, не решаясь заговорить, и так продолжалось довольно долго. Потом Скобелев достал платок, отер лицо, с удивлением обнаружил, что платок стал мокрым, и поднял на Гейфельдера тяжелый отсутствующий взгляд.

— Благодарю вас, доктор.

— Я ничем не могу вам помочь, Михаил Дмитриевич? Может быть, успокоительное…

— Не беспокойтесь, дорогой друг, я не застрелюсь. Во-первых, я еще не исполнил повеления государя, а во-вторых, фельдмаршала в России жалуют только по достижении сорокалетнего возраста. А видеть меня фельдмаршалом — матушкина мечта.

Он пожал доктору руку, еще раз поблагодарил и проводил до выхода. А вернувшись, позвал денщика.

— Ну, теперь-то нам с тобой можно выпить за упокой матушки моей Ольги Николаевны?

Анджей отрицательно покачал головой:

— Только по преданию останков ее земле.

Скобелев грустно усмехнулся:

— Спасибо тебе, Анджей. Матушка тоже всегда

так считала.

Денщик поклонился, направился к двери.

— Погоди, — вздохнул Михаил Дмитриевич. — И сядь, чего застыл, как столб?

Круковский осторожно и молча присел на краешек дивана, аккуратно сложил руки на коленях.

— Помнишь историю со шпагой? Ударил я тебя тогда, до сей поры простить себе не могу.

— Чего сгоряча не случается, — тихо сказал Анджей.

— Может, Узатис мстил ей за тот позор, а? Почему саблей зарубил, почему не пристрелил просто? Матушка же тогда меня упросила дело против него из следствия отозвать. Ответственность за него чувствовала, сын подруги юных лет, юных мечтаний… — Скобелев помолчал, грустно усмехнулся. — Она женить меня мечтала, внуков понянчить.

Михаил Дмитриевич горестно покачал головой и тяжело вздохнул. Поскольку молчание затягивалось, стало нависать и требовать хоть какой-то разрядки, денщик осторожно кашлянул в кулак и тихо сказал:

— Мечта покойной Ольги Николаевны теперь вроде как воля ее, Михаил Дмитриевич. Последняя воля.

— Поздно мне семью заводить.

— Так вам ведь и сорока-то еще нет. — Круковский позволил себе ободряюще улыбнуться. — Всего-то на три года старше меня.

— А что? — Скобелев вдруг расправил ссутуленную спину, картинно подкрутил ус. — Вот ужо утихомирю текинцев, наведу здесь порядок, железную дорогу хотя бы до Ашхабада дотащу, а там и… А? Как считаешь?

— То так, Михаил Дмитриевич.

— Тогда давай по рюмке за это дело…

— Нет, — твердо сказал Круковский и встал. — До погребения матушки вашей грех это, ваше высокопревосходительство. Грех.

И, поклонившись, вышел.

4

Все эти три оговоренных дня Скобелева со службой не тревожили. Правда, ежедневно под благовидным предлогом заглядывал доктор Гейфельдер. Выпивал пару стаканов чаю, рассказывал о новостях и уходил, не расспрашивая Михаила Дмитриевича о самочувствии, за что генерал был ему весьма благодарен. Но в третий день, когда истекал объявленный генералом отпуск, приказал Гродекову утром к нему явиться.

Николай Иванович явился и не слишком рано, и не слишком поздно. Доложил, что войска заканчивают траншейный пояс вокруг Геок-Тепе, что текинцы смеются на стенах, выкрикивая, что русские закапываются со страху; сказал, что дорога строится, и господа инженеры обещают к началу будущего года пустить поезда до Бами.

— Поступило пока только три гелиографических установки, — сообщил он в конце.

— Мало, — сказал Скобелев. — Мне надо минимум пять: три — для связи с атакующими колоннами, одна — при штабе и одна — в тылу. Будем ждать, время терпит. Без железной дороги до Бами текинцы будут беспрестанно атаковать наши караваны, а людей терять без толку — грешно, Николай Иванович. Государь дал мне два года для замирения края. Я здесь займусь дорогой, а вы прикажите, чтобы рыли вторую траншейную параллель.

— Слушаюсь, Михаил Дмитриевич.

— Еще вопросы?

— Слухи, — улыбнулся Гродеков. — Местные милицейские отряды, приглядывающие за северной границей, донесли, что со стороны Мангышлака движется вооруженный отряд.

— Откуда же он мог взяться? — удивился Ско-

белев.

— Думаю, напутали что-то. Послал сотню казаков с толковым офицером.

— Сообщите мне, как только появится ясность.

На следующий день Михаил Дмитриевич приступил к исполнению обязанностей, не выезжая к Геок-Тепе. Там солдаты по-прежнему зарывались в сухую землю под веселый гогот наблюдавших за ними текинцев, шла обычная дозорная служба, а здесь, в тылу, продолжалось строительство железной дороги, без которой Скобелев и думать не желал о штурме. Текинские воины славились внезапными кавалерийскими наскоками, что могло не только оторвать казачьи отряды от дозорной службы, отдав стратегическое пространство противнику, но и поставить само снабжение под серьезную угрозу срыва. Дорога прокладывалась успешно, по версте в день при трехсменной работе, и Скобелев верил путейским инженерам, что они успеют дотащить ветку до Бами к концу года. Текинцы группами и в одиночку ежедневно наблюдали за ходом строительства с соседних возвышенностей, но не мешали, отходя без боя, как только казаки направлялись в их сторону.

— Удивляются, — говорили строители.

— Удивить — значит победить, — неизменно отвечал Скобелев.

Известий о таинственном отряде, идущем через солончаковые степи от Мангышлака, пока не поступало, но Михаил Дмитриевич полагал, что местные милицейские дозоры обнаружили очередное кочевье, перегонявшее стада на более кормные земли, и не беспокоился по этому поводу. Никаких сколько-нибудь значительных русских войск там попросту не было, исключая немногочисленный гарнизон, оставленный для порядка со времен его перехода через эти места на Хиву под командованием тогда еще полковника Ломакина.

Однако через три дня, под вечер, когда Михаил Дмитриевич по привычке занимался записью завтрашних неотложных дел, вошел улыбающийся Круковский:

— К вам гость пожаловал, Михаил Дмитриевич.

— Кто?

— Желанный.

— Проси.

Скобелев был в домашнем халате, но переодеваться не стал, поскольку ни более высокое начальство, ни тем паче дама посетить в этих

местах его не могли. Лишь прикрыл записную книжку. Вошел осунувшийся, усталый, с дочерна обгоревшим лицом полковник Куропаткин.

— Кажется, вы нас не ждали, Михаил Дмитриевич?

— Алеша! — Скобелев вскочил, бросился к Алексею Николаевичу, обнял его. — Друг ты мой дорогой! Какими судьбами?

— Собственным непослушанием и вовремя испрошенным отпуском — в ваше распоряжение.

— Так это твой отряд, по слухам, из Мангышлака идет?

— Уже пришел. Отставших нет, погибших тоже. Правда, трое в лазарете с тепловыми ударами.

— Но как, как? Войско-то где взял?

— В основном в форту Александровском. Они там обленились от безделья, вот я их и подобрал. А с Кавказа добровольцев-офицеров кликнул. И что вы думаете? От желающих отбоя не было.

— Голоден? Вижу, вижу. Анджей, ужин и… И водки, если позволишь. Ради такого случая грех не выпить.

— Командует почище Млынова? — улыбнулся Куропаткин.

— Матушка у меня померла, Алеша, — вздохнул Скобелев. — Хотел помянуть, а Анджей говорит:

нельзя, мол, пока земле не предана.

— Слышал о кончине Ольги Николаевны, слышал. Примите мои…

— Все чохом и приму. — Михаил Дмитриевич еще раз вздохнул. — И батюшка богу душу отдал, и Макгахан, и князь Насекин с тоски пулю в голову себе пустил. Редеет круг друзей, Алеша, редеет. Млынова еле-еле из текинского плена спасти удалось. Ухо ему там отрезали, пытали. Пришлось на Кавказ лечиться отправить.

Круковский быстро накрыл на стол и удалился, пожелав приятного аппетита. После первой же рюмки Куропаткин столь яростно навалился на еду, что Михаил Дмитриевич улыбнулся:

— Тяжелый был переход?

— Трудный. Я верблюдов сознательно не взял: медлительны уж очень. Рассчитал путь от колодца до колодца — получилось, что на двух отрезках придется сделать не менее пятидесяти верст в сутки. Приказал заранее сварить мясо, выдать сухим пайком из расчета одного привала в самую жару. Только так и удалось пройти восемьсот верст за восемнадцать дней и практически без потерь.

— Рискованно, полковник.

— К штурму опоздать боялся, — улыбнулся

Алексей Николаевич. — А приехав, с удивлением узнал, что штурм-то у вас — ползучий.

— Ползучий, — вздохнув, согласился Скобелев.

— Ну, объясните мне, почему вы не перекрыли хотя бы пути к основным колодцам?

— Кажется, навоевался я вдосталь, Алексей Николаевич. У текинцев в крепости — женщины, дети, старики. За Тыкма-сердаром, к примеру, свыше трех тысяч кибиток последовало, голодали, девочек собственных в гаремы продавали: Млынов мне рассказывал. Как же звали ее?.. Кенжегюль, вспомнил!

— Тыкма-сердар — искатель счастья, корсар пустыни. Такому доверять можно только с хорошей оглядкой.

— Сердар Млынова моего спас, — строго сказал Скобелев. — И мне сообщил о Геок-Тепе весьма любопытные сведения, я тебе об этом непременно расскажу. Ну а если в целом… Как бы тебе сказать? Текинцы ведь свою землю защищают, свои кочевья, свои семьи, скот, уклад жизни.

— Ну а если снова поднимутся свой уклад защищать?

— Вряд ли, — усмехнулся Михаил Дмитриевич. — Если бы ты видел, с каким детским любопытством они за строительством железной

дороги наблюдают, ты бы яснее понял, о чем я говорю. Паровоз в этих местах мне куда мощнее любой артиллерии показался. Он цивилизацию им привезет, товары, гарантию, что детишек во время очередной бескормицы продавать не придется. И, представь себе, они это как-то по-своему понимают.

— Понимать, может быть, и понимают, но Геок-Тепе без боя тем не менее не сдадут, Михаил Дмитриевич.

— Не сдадут, — согласился Скобелев. — Тут без штурма не обойдешься, и ты подоспел своевременно, Алексей Николаевич. Основа их обороны — насыпной форт Денгиль-Тепе. Он господствует над местностью, взять его необходимо, и брать будешь ты.

— Польщен доверием, Михаил Дмитриевич.

— Млынов говорил, что стена южного фаса в больших трещинах. Видимо, и строили второпях, и время года выбрали не очень удачно. Там сосредоточена вся их артиллерия — пушки три, от силы четыре. Постарайся засечь их и расстрелять амбразуры еще до штурма. Я тебе ради этого лучшую свою батарею отдам.

— Постараюсь. Время штурма наметили? Хотя бы ориентировочно?

— Время штурма теперь техника определяет, — улыбнулся Скобелев. — Как только путейцы регулярные составы на Бами пустят, так и начнем часы считать.

5

Уже на следующий день полковник Куропаткин, так и не успев толком отдохнуть после восьмисотверстного броска через безводные степи, получил приказание принять под свое командование правый фланг русских войск, осадивших Геок-Тепе. Войска умело зарылись в землю, но расположение их Алексею Николаевичу не понравилось: они стояли в низине, холм Денгиль-Тепе господствовал над всем их расположением, и вопрос о секторах обстрелов его орудий оказался весьма существенным. Куропаткин вместе с командиром приданной батареи и толковым топографом четыре дня гарцевал в непосредственной близости от крепости, пока дождался первых обстрелов. Обстрелы не принесли никаких потерь, но велись лишь из двух орудий, амбразуры и сектора которых опытные офицеры и засекли и занесли на артиллерийские карточки.

— Разворотишь их в первую очередь, — сказал

полковник командиру батареи.

— Разворотить — не вопрос, господин полковник. Вопрос, куда нацелены остальные два орудия.

— Прикажу казакам повертеться, а ты — поглядывай.

На том и закончился тогда разговор, а спустя трое суток к Алексею Николаевичу доставили перебежчика.

— Требовал, чтобы к самому что ни на есть большому начальнику его доставить, — доложил сопровождавший перебежчика немолодой казак.

— По-русски настаивал?

— По-нашему. Понимает.

— Выйди.

Дождался, когда казак вышел, спросил перебежчика:

— Что ты хотел мне сказать?

Вместо ответа туркмен полез в складки порядком потрепанного халата, достал лоскут ярко-малинового цвета и молча протянул его полковнику.

— Проверяешь? — усмехнулся Куропаткин. — Знаю, кто ходит в этом замечательном халате. Ты — джигит Тыкма-сердара?

Перебежчик молча кивнул головой.

— Что он велел мне передать?

— Тыкма-сердар получил приказ атаковать ваши позиции во вторую ночь новолуния.

— В конном строю?

— Без ружей. Поэтому он просит стрелять залпами в воздух. Он прекратит налет после второго залпа, не доскакав до окопов.

— Это — серьезное решение, джигит. Я должен согласовать его с моим начальником.

Джигит пожал плечами:

— Поэтому я здесь. До новолуния еще четыре дня.

— Тебя отведут в отдельное помещение. Ты получишь хорошую еду, вдосталь зеленого чая, но часовой не пустит тебя дальше порога.

Туркмен молча поклонился.

Определив перебежчика под почетный арест, Куропаткин сам помчался к Скобелеву. Он не верил Тыкма-сердару еще со времен взятия Коканда, но последнее слово принадлежало Михаилу Дмитриевичу.

— Что думает начальник штаба? — спросил Скобелев.

— За первой траншеей отрыта вторая, — сказал, основательно подумав, Гродеков. — Она полного

профиля, солдатских голов никто не увидит. Тем более в новолуние. Вторая траншея и будет стрелять в воздух, а первая встретит их залпом в упор, если сердар вздумает пошутить с нами.

— Так и сделаем. — Михаил Дмитриевич помолчал, усмехнулся. — Я почему-то верю сердару, но вы, Николай Иванович, правы. Предусмотрительность не помешает.

К запланированной предусмотрительности прибегать не пришлось, поскольку Тыкма-сердар повернул вспять после оговоренных двух залпов в воздух. Но война есть война, и случай на ней не такой уж редкий гость. Задумав попугать русских лобовой атакой, Коджар-Топас-хан решил ею не ограничиваться и, не поставив в известность Тыкма-сердара, бросил в обход правого фланга русских войск две тысячи собственных джигитов одновременно с налетом сердара. Вынеслись они из крепости в черной мгле южной безлунной ночи через северные ворота, топот и дикие крики атакующих туркмен заглушили все шумы их собственного налета на позиции, где их никто не ждал, и результатом Топас-хан мог быть вполне доволен. Его конники смяли весь правый фланг и не ожидавших ничего подобного солдат из батальона Апшеронского полка, убили троих, ра-

нили еще нескольких оплошавших и, что самое обидное, захватили знамя батальона и пушку у растерявшихся артиллеристов.

— Позор, апшеронцы, — сурово сказал Скобелев, лично прибывший в расположение потрепанного батальона. — Командир батальона и командир батареи объявляются под арестом до тех пор, пока вам, солдаты, не удастся спасти их честь. Сумеете вернуть знамя и пушку — сниму арест и забуду о сем конфузе. Не сумеете — отдам ваших командиров под суд офицерской чести. Судьба их — в ваших руках.

Он был очень недоволен, а потому и хмур. Не потому, что текинцы вроде бы перехитрили его: он по-прежнему верил в искренность Тыкма-сердара. Просто вверенные ему войска не сдали экзамена по внезапному ночному бою в полной темноте, и Скобелев искренне огорчался из-за их нерадивости.

— После такой удачи не удивлюсь, если Топас-хан предпримет новые попытки, — сказал Гродеков.

— Усильте секреты и казачьи дозоры. — Михаил Дмитриевич все еще был не в духе. — Заодно передайте инженеру Рутковскому, чтобы готовил минный подкоп под западный фас Денгиль-Тепе.

Кажется, их прыть начинает мне надоедать.

— Но на южной стороне форта больше трещин.

— Дайте батарею из резерва Куропаткину. Он с юга и снарядами разворотит. И пусть путейцы поторопятся с дорогой на Бами!

6

Текинцы и в самом деле возрадовались нежданной удаче: опытный Гродеков оказался прав. Первое время после ночной вылазки они беспрестанно, не только ночью, но и днем пытались проникнуть к русским окопам, но вовремя усиленные пехотные секреты и казачьи дозоры пресекали эти попытки. Но это тоже не вносило успокоения в растревоженную душу Скобелева. Он требовал ежедневных докладов путейских инженеров, часто объезжал участки строительства, которое велось круглосуточно и невиданно ускоренными по тем временам темпами.

К этому моменту наконец-то вернулся Баранов. Посовещавшись с Гродековым, Скобелев отправил на строительство дороги все учебные команды, приказал боевым пехотным батальонам ежедневно в порядке оговоренной очередности отправлять по роте в помощь путейцам и поручил Баранову общий надзор. В конечном

итоге его хмурое упорство и ежедневные объезды работ куда в большей степени поспособствовали строительству, нежели сотни лопат дополнительных землекопов. В конце декабря путейские инженеры с огромным облегчением доложили, что железная дорога от Красноводска до Бами завершена и после обкатки готова к переброске грузов.

— В чем заключается обкатка?

— Первым по пути должен пройти заведомо перегруженный состав, ваше превосходительство. Необходимо посадить шпалы в надлежащие места, проверить параллельность рельсов, стрелки и стыки…

— Прекрасно, — сказал Михаил Дмитриевич. — Действуйте, как положено, но вместо балласта загрузите все вагоны и платформы необходимыми мне грузами.

Обкаточный состав благополучно добрался до Бами, хотя и со скоростью верблюжьего каравана, доставив к позициям не только дополнительные запасы продовольствия, но и снаряды. Правда, Скобелеву и этого показалось мало. Он приказал надстроить вторыми этажами не только грузовые платформы, но даже и все товарные вагоны. Поезда ползли медленнее обычного, но зато по-

чти в два раза больше доставляли к передовой продовольственных, фуражных и боевых грузов.

Странно, но после внезапной вылазки текинцев Михаил Дмитриевич заметно изменился. До сей поры он часто говорил, что устал воевать, что людские потери для него непереносимы, а ныне рвался в сражение со всей свойственной ему неукротимой энергией. И причина заключалась не только в том, что утрата батальонного знамени и орудия задела его личную честь. Неожиданность ночного удара всадников Коджар-Топас-хана стоила русским войскам пяти офицерских и свыше девяноста солдатских жизней, и Скобелев ощущал эти нелепые потери с особой тяжестью.

К началу года правый фланг русских войск, подковой охватывающих Геок-Тепе, отстоял от стен крепости на сорок сажен, левый — на семьдесят пять. Рутковский, начавший разведывательные работы по минированию, доложил, что грунт оказался очень удобным: легким и прочным одновременно, что позволяло вести подкоп без обшивки.

— Закончим все работы не позже девятого января, Михаил Дмитриевич.

— Следовательно, на заре десятого — штурм, —

твердо сказал Скобелев.

Он тут же вызвал Гродекова для составления диспозиции частей, входящих в штурмовые колонны. Таковых, по его расчетам, должно было быть три: колонна полковника Куропаткина атаковала с юга, имея задачей овладеть Денгиль-Тепе сразу же после взрыва мины; колонна полковника Козелкова наступала с запада с целью ворваться в Геок-Тепе, используя панику после минного взрыва и бреши, которые удастся проломить артиллерией, — для того чтобы отрезать Денгиль-Тепе от остальной крепости; и, наконец, колонна подполковника Гайдарова должна была активно демонстрировать готовность к атаке с севера, отвлекая на себя резервы противника.

— Кстати, Николай Иванович, распорядитесь, чтобы Гайдаров передал Куропаткину все свои современные батареи. Хватит с него и списанного старья: пусть велит им шуметь изо всех сил.

— Но мы окончательно обезоружим Гайдарова…

— Куропаткину необходимо если не полностью разрушить южный фас Денгиль-Тепе, то по крайней мере проделать в нем побольше брешей и проломов. А Гайдарову — только демонстри-

ровать, отвлекая на себя максимум резервов противника и, главное, пугая их лошадей. Текинские кони не приучены к пушечной пальбе. Только пусть непременно предупредит своих артиллеристов лупить в стены, но ни в коем случае не через их гребень. В этой части крепости — основная масса женщин и детей. Сурово взыщу за каждое перелетевшее через стену ядро.

Все было исполнено, диспозиция доведена до каждого командира колонны, необходимые запасы продовольствия и боеприпасов сосредоточены в Бами. С утра восьмого января все батареи, переданные первой штурмовой колонне полковника Куропаткина, открыли частый огонь по южной стене Денгиль-Тепе. Для начала развороти ли две засеченные амбразуры орудий, а затем начали крушить и покрытую трещинами стену. К вечеру практически непрерывной бомбардировки удалось пробить не только бреши, но и проломы, в которые можно было врываться, а не проползать друг за другом. Все знали о начале штурма на утренней заре десятого, но накануне вечером Рутковский доложил, что минная галерея не может быть доведена до стены Денгиль-Тепе, поскольку саперы на саженной глубине неожиданно наткнулись на скальный грунт.

— Все вы мне сорвали! — в сердцах выкрикнул Скобелев. — Когда будет готова ваша нора?

— Утром двенадцатого, ваше превосходительство. Раньше никак не получится.

— Двенадцатого?..

— И то при непременном условии, что текинцы не расслышат подземных работ, — негромко и очень твердо продолжал инженер. — Скалу придется обходить поверху, в аршине над поверхностью.

— Я изменю в приказе только число, — помолчав, сказал Михаил Дмитриевич. — Войска начнут штурм на заре двенадцатого, а до этого будут всячески тревожить противника. Постарайтесь, саперы, прошу. Ваши аршины — солдатские жизни, Рутковский.

Он попал в непривычное положение, и ему было не по себе. Впервые в его боевой практике решение о реальных военных действиях зависело не от полководца, а от инженерных служб, от их случайностей, мастерства, уменья и, главное, осторожности. Но не изменил ни единой строчки в приказе, поставив в известность о действительных обстоятельствах только командиров колонн. Для остальных оставался прежний приказ:

— Штурм!

Командиры колонн сами внесли коррективы, открыв частую пальбу по всему фронту. Текинцы ответили столь же частым ружейным, хотя и бессистемным огнем: пули то и дело смачно били в брустверы окопов. Но, несмотря на огонь, Михаил Дмитриевич — как всегда одетый в отутюженный белый китель с Георгием на шее и старательно расчесанной бородой, надушенной английскими, весьма любимыми им духами — уже не мог вытерпеть пассивного ожидания в траншее. Сердито посопев, при ярком солнце вылез на бруствер, несколько картинно выглядя под градом пуль.

— Михаил Дмитриевич, к чему эта бравада?

Доктор Гейфельдер неуклюже вылез вслед за ним, то ли для того, чтобы убедить генерала вернуться в укрытие, то ли от полной растерянности.

— Все должны поверить, что это — сражение, а не его демонстрация. А в сражениях я привык бравировать, в этом вы правы.

— Михаил Дмитриевич, помилуйте, какая-нибудь дурная пуля убьет вас сейчас!

— Та пуля, что убьет меня, еще не вылита, милый друг мой, — усмехнулся Скобелев.

И — накликал. Тотчас же отчаянно вскрикнул

солдат, последовавший его примеру и высунувшийся из-за бруствера в аршине от генерала.

— А вот его пуля — уже вылита, — вздохнул Михаил Дмитриевич. — Спускайтесь и вы, доктор, от греха…

Он не закончил фразы: тотчас же грохнул минный взрыв, куски стен южного фаса Денгиль-Тепе взлетели в воздух в тучах желтой глиняной пыли. И сразу же колонны Куропаткина и Козелкова стремительно ринулись на штурм. До сей поры атаковал, по сути, только Гайдаров, демонстративно подтаскивая к стенам крепости штурмовые лестницы, чем и отвлек на себя основные силы текинцев.

Через разрушенную южную стену и многочисленные проломы, еще до этого появившиеся в результате беспрерывного артиллерийского обстрела, Куропаткин во главе своей колонны ворвался в Денгиль-Тепе. Там началась жестокая рукопашная схватка, в которой был ранен и сам Алексей Николаевич. Однако он, кое-как перевязав руку, не ушел в тыл, понимая, насколько важно сейчас не давать врагу опомниться.

Колонне полковника Козелкова пришлось хуже. Рванувшись после взрыва вперед, чтобы отсечь противника от Денгиль-Тепе, его солдаты

попали под жестокий обстрел. Козелков был вынужден приказать своим солдатам залечь и отбиваться беглым огнем. Скорее почувствовав, чем увидев эту заминку, Скобелев немедленно вызвал из резерва батальон Апшеронского полка:

— Верните свою честь, апшеронцы!.. Баранов, коня!..

Гайдаров приказал врываться в крепость по штурмовым лестницам. Это был рискованный шаг: текинцы еще не поддались панике и вполне могли, оставив без внимания колонну Козелкова, обрушить на него ружейный огонь в упор. Могли бы, но Тыкма-сердар внезапно атаковал текинцев внутри крепости в привычном для него конном строю. Его джигиты без выстрела ударили по резервам Коджар-Топас-хана, и текинцы в смятении бросились бежать через восточные ворота.

В это время Скобелев уже прискакал в крепость на привычном и для своих, и в особенности для врагов белом коне. По исковерканной взрывами площади метались тысячи людей: женщины, дети, старики, бросившие оружие защитники. Все вокруг ревело от ружейной пальбы, грохота, криков, воплей женщин: в общем шуме не слышно было даже стонов раненых.

— Прикажи, чтобы немедленно начали подбирать раненых, — приказал он Баранову.

— Своих?

— Всех! Раненый во всех войнах — просто раненый!

Баранов ускакал исполнять приказание. Тыкма-сердар во главе своих всадников уже помчался догонять в панике отступавших текинцев. Вослед за ним бросились все казачьи сотни, оказавшиеся поблизости.

А женщины, дети и старики по-прежнему с криками метались по крепости. Среди них оказалось множество убитых и раненых случайными пулями и осколками, и Михаил Дмитриевич ощутил тупую боль в сердце. Он не выносил чужих страданий.

— Ваше приказание исполнено, — доложил вернувшийся адъютант. — Я распорядился в первую очередь озаботиться судьбой мирных жителей.

— Молодец…

Крохотная пятилетняя девочка в отрепьях неожиданно бросилась под ноги белого жеребца. Скобелев рывком остановил коня, а Баранов, спрыгнув с седла, поднял с земли до ужаса перепуганного ребенка.

— Не плачь, девочка, все уже позади, — с трудом подобрав слова, по-туркменски сказал Михаил Дмитриевич. — Как тебя зовут?

— Кенжегюль..

— Кенжегюль?.. Баранов, немедля доставь ребенка в главный госпиталь. И скажи патронессе графине Милютиной, что я прошу ее лично озаботиться судьбою этой девочки.

Баранов доставил девочку к дочери военного министра графине Милютиной, передав просьбу Скобелева слово в слово. Графиня и милосердные сестры лаской и заботой вернули ей живость и детскую непосредственность и окрестили Татьяной, поскольку день ее спасения, равно как и день штурма Геок-Тепе пришлись как раз на Татьянин день.

Впоследствии девочка воспитывалась в семье военного министра графа Милютина, а затем была отдана в Московский институт благородных девиц под именем Татьяны Текинской. Калека Млынов, полуоглохший, с отбитыми легкими, все же разыскал ее следы с помощью Баранова. Однако граф Милютин, уже вышедший к тому времени в отставку, не сообщил капитану ее нового имени и не разрешил свидания.

— Она — дочь текинского хана. Я готов возме-

стить вам понесенный в свое время ущерб…

Млынов вышел, не поклонившись. А бывшая Кенжегюль, как говорят, счастливо вышла замуж за пехотного офицера…

Скобелев наградил Тыкма-сердара орденом Святого Георгия и от имени государя пожаловал ему чин поручика русской армии. Тщеславный сердар прицепил погоны на свой ярко-малиновый халат и в таком виде прибыл в Санкт-Петербург по вызову императора, пожелавшего увидеть знаменитого кондотьера Туркестана. Нелепый вид Тыкма-сердара настолько растрогал его, что государь не только подтвердил его чин и орден, но и пожаловал ему потомственное дворянство.

Десятитысячный сборный корпус Скобелева наголову разгромил сорокатысячную армию текинцев в считанные часы, потеряв при этом всего четырех офицеров и пятьдесят пять нижних чинов. Известие об этой победе, широко распространенное телеграфом, вызвало небывалый взрыв восторга во всей России. Михаил Дмитриевич Скобелев стал воистину легендарным народным героем. 14 января 1881 года телеграммой, подписанной государем Александром II, Скобелеву был пожалован орден Святого Георгия второй степени и чин генерала от инфантерии.

В конце мая 1881 года Михаил Дмитриевич прибыл в Санкт-Петербург, но уже по повелению другого государя. На Николаевском вокзале его ожидала триумфальная встреча восторженной толпы, о чем не преминул доложить новому императору официально встречавший Скобелева князь Долгоруков.

— Ну, и на что это было похоже? — брюзгливо поинтересовался Александр III.

— Это было весьма похоже на возвращение Бонапарта из Египта, Ваше Величество.

Ровно через тринадцать месяцев генерал от инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелев внезапно скончался при весьма загадочных обстоятельствах, так и не дожив до сорока лет.

Комментарии

С. 8. *…неудачу Крымской войны…* — Крымская война (1853–1856) начиналась как русско-турецкая война за господство на Ближнем Востоке, но в феврале 1854 года к Турции присоединились Англия и Франция, а в 1855 году и Сардинское королевство. В 1853 году русские войска вступили в Молдавию и Валахию, последовали победы на Кавказе, уничтожение турецкого флота при Синопе, в 1854 году союзники высадились в Крыму, блокировали Балтийское море. Началась героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся до 1855 года. В 1855 году последовала дипломатическая изоляция России, Севастополь пал, а военные действия были практически прекращены. Война завершилась неудачным для России Парижским миром 18 марта 1856 года, по которому Россия возвращала Турции крепость Каре, уступала Молдавскому княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море было объявлено нейтральным — ни Россия, ни Турция не могли держать там военный флот. При этом подтверждалась автономия Сербии и Дунайских княжеств.

…генерал-майор Михаил Григорьевич Черняев… — Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), русский военачальник, принимал участие в Крымской войне, в подавлении восстания в Коканде. В 1875 году вышел в отставку и отправился в Сербию, где руководил сербской армией, но во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов вернулся в русские войска. Был туркестанским генерал-губернатором. В политических взглядах близок к славянофильству, принимал участие в издании журнала «Русский мир».

…государя императора Александра II… — Александр II (1818–1881) царствовал с 1855 года, отменил крепостное право и провел ряд реформ — земскую, судебную, военную и др., в годы его правления завершилось присоединение к России Кавказа (1864), Казахстана (1865), большей части Средней Азии (1865–1881). На его жизнь было совершено несколько покушений (1866, 1867, 1879, 1880), последнее из которых закончилось трагически.

С. 9. *…государь Александр I…* — Александр I (1777–1825), старший сын Павла I, в начале правления провел либеральные реформы по М.М. Сперанскому, в конце правления поддерживал крайне правые взгляды А.А. Аракчеева.

Вел успешные войны с Турцией (1802–1812) и Швецией (1808–1809), присоединил к России Грузию (1801), Финляндию (1809), Бессарабию (1812), Азербайджан (1813), бывшее герцогство Варшавское (1815). После Отечественной войны 1812 года возглавил антифранцузскую коалицию европейских держав в 1813–1814 годах, был одним из руководителей Венского конгресса и организаторов Священного союза.

…император Николай I… — Николай I (1796–1855) правил с 1825 года, третий сын Павла I. После восстания декабристов преследовал свободомыслие, разгромил Польское восстание 1830–1831 годов и революцию в Венгрии, выступая как «жандарм Европы».

С. 9. *…даровал… Ивану Никитичу Скобелеву…* — Скобелев Иван Никитич (1778–1849), генерал от инфантерии и военный писатель. На службу поступил в 14 лет солдатом в первый полевой Оренбургский полк и лишь через 11 лет добился чина прапорщика. В Финляндскую кампанию 1808–1809 годов участвовал в двадцати сражениях и дважды был ранен. Будучи адъютантом генерала Раевского, участвовал почти во всех сражениях против турок. В период Отечественной войны 1812 года был адъютантом Кутузова,

отличился в Бородинском сражении, потерял руку, участвовал в кампаниях 1813, 1814, 1815 годов. Находясь с 1822 по 1826 год генерал-полицмейстером первой армии, по его собственному выражению «проштыкнулся», написав несколько доносов, в том числе и на А.С. Пушкина. В звании коменданта Петропавловской крепости (с 1839 г.) оставил о себе память как о сострадательном человеке — по его ходатайству были освобождены декабрист Г.С. Батенков, прапорщик Браккель и др. Был автором нескольких книг рассказов и писем, которые, в силу малограмотности автора, подвергались редактуре его друга Н.И. Греча, поставил на сцене Александринского театра две пьесы.

…чин генерала от инфантерии… — в России XVIII — начала XX века термин инфантерия (от *ит.* infante — юноша, пехотинец) применялся наравне с термином пехота.

…Его единственный сын Дмитрий Иванович… — Скобелев Дмитрий Иванович (1821–1880), генерал-лейтенант, учился в школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, участвовал в восточной войне на малоазиатском театре военных действий, позже командовал конным полком. Принимал участие в Русско-

турецкой войне 1877–1878 годов, по окончании которой состоял в свите великого князя Николая Николаевича старшего.

С. 10. *…любовь к… Шеридану…* — Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816), знаменитый английский драматург, автор сатирических комедий нравов («Соперники», «Поездка в Скарборо», «Школа злословия» и др.), а также политический оратор.

С. 10. *…Британская империя… беспомощно затоптавшаяся в Афганистане…* — имеются в виду англо-афганские войны XIX века, в первой из них в 1838–1842 годах Англия потерпела поражение, после второй в 1878–1880 годах добилась контроля над внешней политикой Афганистана.

С. 11. *…генерала Кауфмана…* — Кауфман Константин Петрович (1818–1882), русский инженер-генерал, первоначально служил на Кавказе, где отличился в экспедиции к Дарго и при штурмах Гергебиля и Карса, был директором Канцелярии военного министерства. С 1867 года туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками Туркестанского военного округа, участвовал в походе на Бухару, окончившемся взятием Самарканда, в покорении Хивинского и Кокандского ханств, ввел русское управление во

вновь образованной Ферганской области.

…художник с уже мировой славой Василий Васильевич Верещагин… — Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), знаменитый русский живописец, был близок к передвижникам. Родился в дворянской семье в Новгородской губернии, учился в Санкт-Петербурге сначала в Александровском корпусе, затем в Морском кадетском корпусе. Еще не окончив последнего, стал серьезно заниматься живописью, поступив в 1861 году в Академию художеств. Не раз бывал на театре военных действий в Туркестане, за оборону Самарканда получил Георгиевский крест, автор батальных картин, посвященных событиям 1871–1874 годов, а также событиям Отечественной войны 1812 года. Погиб во время Русско-японской войны при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре.

С. 13. *…профессор… Драгомиров…* — Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), военный теоретик, генерал от инфантерии, в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов командовал дивизией, в 1878–1879 годах был начальником Академии Генерального штаба, затем командовал войсками Киевского военного округа. Считался последователем А.В. Суворова в вопросах обучения и

воспитания войск, в области военной педагогики и тактики придерживался передовых взглядов.

С. 14. *…на самом дне… сака…* — сак — в кавалерии: торба, мешок.

С. 20. *…в партикулярном платье…* — то есть в штатском.

С. 21. *…красотою древней столицы Тимура…* — Тимур (Тамерлан)(1336–1405), знаменитый полководец, создатель среднеазиатского государства со столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду, совершал походы в Иран, Закавказье, Индию, Малую Азию и др.

С. 22. *…очарованный древней Маракандой…* — Маракандой называли Самарканд с IV в. до н. э. по VI в. н. э.

…поярковую шляпу… — поярковая — шерстяная, из шерсти ягнят первой стрижки.

С. 24. *…действующие против номадов…* — номады — кочевники, слово имеет древнегреческое происхождение.

С. 29. *…высохший до звона копыт такыр…* — такырами называют плоские глинистые поверхности, расположенные в понижениях рельефа пустынь и полупустынь Средней Азии и Южного Казахстана, площадью от нескольких кв. метров до десятков кв. километров. Летом гладкая

поверхность такыров разбита трещинами на отдельные многогранники, весной или после дождей летом такыры часто превращаются во временные озера.

С. 32. *…разница между такырами и, скажем, шорами…* — шоры (или соры) — замкнутые впадины в пустынях Средней Азии, покрытые коркой солей или пухлым слоем солевой пыли и полностью или частично превращающимися в солончаки.

…бутылку местной араки… — арака — род водки, изготовляемой из риса или (в Южной Азии) из сока пальм, кокосовой или финиковой.

С. 36. *Счастливой службы, полковник…* — в прощальном напутствии Кауфман «повысил» Скобелева в звании — такое «прибавление» в устной речи было традиционным в русской армии.

С. 38. *…к самому наместнику Его Высочеству Михаилу Николаевичу…* — наместничество в 1844–1883 годах представляло собой систему управления национальными окраинами. Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909), 4-й сын Николая I, был наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказской армией в 1877–1878 годах.

…ознакомиться с Кавказской войной, которая

тянулась со времен Петра Великого… — собственно Кавказская война шла с 1817 по 1864 год, но первая военная экспедиция русских войск к устью Терека была предпринята еще в период правления Петра I, и с тех пор Россия постоянно претендовала на эти территории. Образовалась Кавказская линия, просуществовавшая до конца 50-х годов XIX века, — линия укрепленных кордонов, которая охраняла южные губернии от набегов горцев, помогала держать в повиновении покоренные местности и служила базой для наступательных действий русской армии.

С. 43. *…удостаивается зеленой чалмы…* — цвет чалмы говорит о количестве хаджей в Мекку: обладатель белой чалмы ходил в священный город один раз, зеленой — дважды.

С. 75. *…одобрение самого Шамиля…* — Шамиль (1799–1871) — легендарный руководитель вооруженного сопротивления кавказских горцев (с 1834 по 1859) в период Кавказской войны (1817–1864). Настоящее имя Гаджи-Мурад, получил хорошее мусульманское образование, был другом и учеником имама Кази-Муллы, распространителя мюридизма на Кавказе. После гибели Кази-Муллы, а затем имама Гамзат-Бека Шамиль был провозглашен третьим имамом Дагестана

и Чечни. Он развил мюридизм в политическую систему, организовал в горах администрацию, финансы и войско. Самой удачной операцией его армии было вторжение в Кахетию. После 1856 года русские войска начинают решительно теснить горцев, и 26 августа 1859 года Шамиль был взят в плен в ауле Гуниб, а затем сослан в Калугу. В 1870 году Шамилю с семейством было разрешено переехать в Киев, оттуда он отправился на богомолье в Мекку, но по дороге, в Медине, умер.

С. 75–76. *…на сам Траянов вал, режущий землю на Россию и Румынию…* — Траянов вал — линии укрепленных валов, находящиеся в южной части Бессарабии, их сооружение приписывается римскому императору Траяну (53—117), хотя такое происхождение этих укреплений спорно. Существует также Траянов проход или Траяновы ворота — несколько горных путей на юго-востоке Европы, причем одна из этих горных троп через Балканы получила широкую известность благодаря внезапному спуску по ней русских войск в 1877 году.

С. 76. *…тороки пригнаны…* — тороки — ремешки позади седла.

С. 78. *…румынский доробанец…* — доробанец — пехотинец.

С. 85. *…заслуженный им в Сербии Таковский крест…* — этой наградой, учрежденной королем Сербии, чаще всего награждали русских офицеров-добровольцев, воевавших за свободу Сербии.

С. 87. *…Столетов-младший…* — Столетов Александр Григорьевич (1839–1896), русский физик, автор классического исследования магнитных свойств железа, трудов по внешнему фотоэффекту; исследовал газовый разряд, критическое состояние и др. В 1874 году основал физическую лабораторию в Московском университете. Его старший брат, Николай Григорьевич Столетов (1834–1912), был генералом от инфантерии. Он основал Красноводск, руководил Амударьинской научной экспедицией. В период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов руководил обороной Шипки.

С. 89. *…жаль все же, что в Сербии замирились…* — имеются в виду освободительные войны Сербии и Черногории против Турции. В июне 1876 года Сербия и Черногория объявили Турции войну. Турция, нанеся поражение Сербии, вынуждена была, благодаря вмешательству России, заключить перемирие, а затем мир 16 февраля 1877 года на условиях сохранения довоенного положения. В апреле 1877 года Черногория, не

подписавшая мирного договора, а затем и Сербия возобновили войну против Турции, которая стала частью Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

…Вот и война, господа… — Русско-турецкая война 1877–1878 годов была начата Россией для укрепления влияния на Балканах, она способствовала освобождению народов Балкан от владычества Османской империи. Ее основными событиями были: 1877 год — сражение при Шипке, осада и взятие русскими войсками Плевны и Карса (в Закавказье); 1878 год — зимний переход русской армии через Балканский хребет, победы у Шипки-Шейново и Филиппополя, взятие Адрианополя. Война завершилась Сан-Стефанским миром 1878 года, решения которого были пересмотрены на Берлинском конгрессе.

С. 90. *…начальника штаба… Артура Адамовича Непокойчицкого…* — Непокойчицкий Артур Адамович (1815–1881), генерал от инфантерии и генерал-адъютант, образование получил в Пажеском корпусе и Николаевской Академии Генерального штаба. С 1841 года участвовал в военных действиях на Кавказе, а с 1849 года в венгерской войне, где особенно отличился в сражении при Германштадте. В 1854 году участвовал в военных действиях на Дунае и отличился при

осаде Силистрии. В войну 1877–1878 годов был начальником Главного штаба действующей армии на Дунае.

С. 98. *…вынырнул монитор…* — монитор — мелкосидящий бронированный военный корабль с сильной артиллерией, предназначенный для операций у морских берегов и на реках.

С. 99. *…нырнул за блинду…* — блинда — бронированный щит, укрывающий от снарядов.

…рви «по желанию»… — то есть самостоятельно, напрямую замкнув контакты, что неминуемо влекло за собой смерть взрывающего.

С. 115. *…турки спешно собирали таборы…* — табор — войсковой лагерь с обозом, военный отряд.

С. 116. *…шесть десятков аскеров…* — аскер — турецкий солдат.

С. 128. *…Скобелев понял, что это — рокада…* — рокада — дорога, идущая параллельно линии фронта.

С. 132. *…турецкий дивизионный генерал Осман-Нури-паша…* — Осман-Нури-Гази-паша (1837–1900), турецкий генерал и военный министр. Окончил Константинопольскую военную Академию, сражался на Кавказе, усмирял восстания друзов (1860) и кандиотов (1867). В 1876 году ко-

мандовал корпусом, действовавшим против сербов, и отличился в боях под Зайчаром и Извороли. В 1877 году прославился упорной и искусной обороной Плевны, во время греко-турецкой войны был главнокомандующим действующей армией.

…другой паша, Сулейман… — Сулейман-паша (1838–1892) отличился в войне с Черногорией, обнаружил выдающиеся стратегические способности при подавлении Критского движения. Был профессором литературы в военной школе, директором военной школы, написал несколько научных трудов. В 1876 году во время Сербской войны был одним из командующих армией. В 1877 году разбил русский авангард при Ески-Загре и оттеснил за Шипку, но в дальнейшем его армия потерпела поражение. С частью Дунайской армии, главнокомандующим которой он был назначен, Сулейман-паша перешел через Балканы и был разбит наголову при Филиппополе. Его привезли в Константинополь и предали военному суду — он был приговорен к разжалованию и заключению в крепость на 15 лет, но затем помилован султаном.

С. 135. *…с полковыми котлами, артиллерией и бунчуками…* — бунчук (*тюрк.*) — длинное древко с шаром или острием на верхнем конце, прядями

из конских волос и кистями, являлся знаком власти атамана или гетмана.

С. 138. *…около сорока таборов низама…* — низам — турецкая пехота.

…несколько эскадронов сувари… — сувари — кавалерия турок.

С. 144. *…захлопнул бювар…* — бювар — настольная папка, обычно с писчей и промокательной бумагой, конвертами.

С. 146. *…арестовывали турецкие заптии…* — заптии — жандармы.

С. 161…*Мориц Саксонский…* — Герман Мориц Саксонский (1696–1750), граф Саксонский, французский полководец и военный теоретик, главный маршал Франции. Внебрачный сын короля польского и курфюрста саксонского Августа II Сильного.

С. 190. *…военный министр Милютин…* — Милютин Дмитрий Александрович (1816–1912), граф, генерал-фельдмаршал, почетный член Петербургской Академии наук. В 1861–1881 годах — военный министр. Был умеренным либералом, оставил «Дневник» и исторические работы о войне России с Францией в 1799 году.

С. 196. *…с правой на темляке свисала сабля…* — темляк — кисть на эфесе, ружейный ремень.

…герою Севастопольской обороны генералу Тотлебену… — Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1894), инженер-генерал, граф с 1879 года, руководил инженерными работами при обороне Севастополя 1854–1855 годов. В 1863–1877 годах стал фактическим главой военно-инженерного ведомства. В русско-турецкую войну руководил осадой Плевны, почетный член Петербургской Академии наук.

С. 218. *…германский канцлер Бисмарк…* — Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898), 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 годах. Осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской основе, один из главных организаторов Тройственного союза 1882 года, направленного против Франции и России, при этом считал, что война с Россией была бы крайне опасной для Германии.

С. 221. *…разгромом Блистательной Порты…* — Порта (букв. дверь, врата от *фр*. Porte, um. Porta) — Оттоманская Порта, Высокая Порта, Блистательная Порта — принятые в европейских документах и литературе названия правительства Османской империи как в средние века, так и в новое время.

С. 241. *…Макаров Степан Осипович…* — Мака-

ров Степан Осипович (1848/49—1904), русский флотоводец и океанограф, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных плаваний (1886–1889 и 1894–1896). Выдвинул идею и руководил строительством ледокола «Ермак», на котором совершил два арктических плавания. Разработал тактику броненосного флота, исследовал проблему непотопляемости и живучести кораблей. В начале Русско-японской войны командовал Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре, погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине.

С. 246…*Александру III… резко притормозившему развитие всех отцовских реформ…* — Александр III (1845–1894), второй сын Александра II, император с 1881 года. Выражая интересы консервативных кругов, противился дальнейшему проведению реформ, при этом в 1-й половине 80-х годов в условиях роста капиталистических отношений осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Был сторонником жестких полицейских мер. При нем было завершено присоединение к России Средней Азии (1885) и заключен русско-французский союз (1891–1893).

С. 250…*родственник… Тыкма-сердара…* — сер-

дар — командующий войсками, а также глава племени, влиятельный сановник.

С. 254…*Это скорее кондотьеры…* — кондотьер — предводитель наемного военного отряда в XIV–XVI веках в Италии, находившегося на службе у какого-либо европейского государя или Папы Римского; впоследствии так называли людей, готовых ради выгоды защищать любое дело.

С. 257. …*жидкую кашу из джугары…* — джугара — однолетнее травянистое растение рода сорго, семейства злаковых. Используется на силос и как продовольственная культура для изготовления крупы и муки.

С. 259. …*после Берлинского конгресса…* — Берлинский конгресс был созван в 1878 году по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления позиций России на Балканах, для пересмотра условий Сан-Стефанского мира, по которому к России отходили Южная Бессарабия и крепости Ардаган, Каре, Батум и Баязет; Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию, а Сербия, Черногория и Румыния — независимость. Русское правительство пошло на уступки, оказавшись в изоляции, и подписало Берлинский трактат, по которому подтверждалась независимость Черногории,

Сербии и Румынии, при этом Северная Болгария стала автономным государством, а Южная Болгария (Восточная Румелия) осталась под властью турецкого султана, получив административную автономию. К России отошли устье Дуная, крепости Каре, Ардаган, Батум с округами, а Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину.

С. 263. *…Игнатий Лойола потому-то и был велик, что не знал ни женщин, ни семьи…* — Лойола Игнатий (1491? — 1556), основатель ордена иезуитов. Выработал организационные и моральные принципы деятельности ордена.

С. 272. *…Скобелев все же решил навестить своего прежнего преподавателя… Николая Николаевича Обручева…* — Обручев Николай Николаевич (1830–1904), генерал от инфантерии, почетный член Петербургской Академии наук, профессор Академии Генерального штаба. Был членом организации «Земля и воля». В 1867–1881 годах был управляющим делами Военно-Учебного комитета. Участвовал в проведении военных реформ 60–70 годов. С 1881-го по 1891-й год был начальником Генерального штаба.

С. 283. *…туркменских старейшин и кадиев…* — кадий — судья, рассматривающий дела на основе

мусульманского права (шариата).

С. 293… *«Длинное ухо» …* — восточное понятие «длинного уха» примерно равно европейскому понятию «длинного языка»; «длинным ухом» в Средней Азии называли разносчиков слухов и всякого рода известий по стране в тех или иных целях.

С. 295. *…когда начнут прибывать гелиографы…* — гелиограф — светосигнальный прибор для связи, работающий при помощи зеркал и отражающий солнечные лучи на большие расстояния.

Биографические даты

1843 год

17/29 сентября — в С.-Петербурге в семье офицера родился Михаил Дмитриевич Скобелев.

1868 год

М.Д. Скобелев окончил Академию Генштаба.

1873 год

М.Д. Скобелев участвует в походе против Хивы, в результате чего Хивинское ханство оказалось в вассальной зависимости от России.

1876 год

Февраль — генерал М.Д. Скобелев назначен военным губернатором Ферганской области.

1877 год

12 апреля — Александр II подписал манифест о начале военных действий против Турции. С начала Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Скобелев, по его настойчивой просьбе, прикомандирован к командующему Дунайской армией в качестве резервного («вольноопределяющегося») генерала.

8(20) июля — 28 ноября (10 декабря) — упорные бои за Плевну. Во время 2-го штурма Плевны генерал-майор М.Д. Скобелев командует Кавказ-

ской казачьей бригадой. Несмотря на храбрость русских солдат и офицеров, штурм был отбит.

22 августа (3 сентября) — колонны генерал-майора М.Д. Скобелева и генерала В.М. Добровольского после упорного боя овладели Ловичем, отрезав пути ухода противника из Плевны.

30 августа (11 сентября) — во время третьего штурма Плевны М.Д. Скобелев командует отрядом, которому удалось вплотную подойти к городу. Однако из-за того, что командование не поддержало отряд Скобелева резервами, он вынужден был отойти.

1(13) сентября — начало блокады Плевны. Скобелев командует 16-й пехотной дивизией.

Ноябрь — турецкий гарнизон в Плевне капитулирует.

1878 год

27—28 декабря (8–9 января) — М.Д. Скобелев сыграл решающую роль в сражении у Шейново. Колонна войск под его командованием завершила окружение турецких войск, которые были вынуждены капитулировать. Дорога на Адрианополь была открыта.

Январь — отряд русских войск под командованием М.Д. Скобелева вышел к Мраморному морю.

18(30) января — М.Д. Скобелев занял пригород Стамбула, местечко Сан-Стефано, и только категорический запрет Александра II, боявшегося вмешательства в войну европейских держав, удержал Скобелева от взятия столицы Османской империи.

19 февраля (3 марта) — в Сан-Стефано подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. М.Д. Скобелев произведен в генерал-адъютанты.

1880 год

Май — М.Д. Скобелев возглавляет 2-ю Ахалтекинскую экспедицию, предпринятую с целью овладения Ахалтекинским оазисом (Туркмения).

1881 год

12(24) января — русские войска под командованием М.Д. Скобелева штурмом овладели крепостью Геок-Тепе. М.Д. Скобелев произведен в генералы от инфантерии.

1882 год

Январь — М.Д. Скобелев в Париже выступает в защиту балканских народов против агрессивной политики Германии и Австро-Венгрии, что вызывает международные осложнения. Скобелев отозван Александром III.

25 июня (7 июля) — М.Д. Скобелев скоропостиж-

но скончался в Москве.

Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт

Видит бог, эти записки существовали. Мама мне говорила о них, да и я что-то припоминаю по первым ощущениям детства. Пожелтевшие страницы старой-престарой бумаги, черные, местами выцветшие чернила, чужой, странный, почти нечитаемый почерк. В Смоленске, помню… а может, то было в нашем Высоком, у деда Ивана Ивановича?.. Не удержала этого память моя, мала была еще слишком. Во всяком случае, ни в Москве, ни тем паче в Воронеже этих очень ломких бумаг я уже припомнить не могу. Сестра предположила, что, возможно, они так и остались тогда то ли в Высоком, то ли в Смоленске. Но по тем местам прокатилась война, и все наши семейные архивы пропали в ее огне.

А мама мне, помнится, что-то читала. То, что касалось встреч ее прадеда с Пушкиным. И что-то осело в памяти. Скорее, стиль, способ прапрадедовского видения, мышления и мироощущения, отразившиеся в записи. Это-то тогда меня и поразило: ощущения свои я, слава богу, помню

хорошо.

Великие войны и смутные времена — единственные провалы в историях народов, в яростной беспощадности которых горят даже рукописи. А ведь такой человек существовал на самом деле. Реально существовал: мне о нем говорил Натан Эйдельман, прочитав мой роман «Были и небыли», в котором рассказывалось о судьбе моих дедов — многочисленной дворянской семьи Олексиных.

— Почему бы вам не подумать о своем прапрадеде? С ним приятельствовал Александр Сергеевич, доверивший ему на хранение запрещенные цензурой строфы из «Андрея Шенье». Любопытный был поручик, пушкинисты вам о нем расскажут.

Это был не просто добрый знакомец Александра Сергеевича, а мой родной прапрадед. Если бы не он, то и меня не было бы на свете: генетическая цепочка не признает разрывов и замен. А коли так, то я обладаю нравственным и моральным правом рассказать о вас, мой дорогой предок, все, что смогу. С искренней любовью и горячей благодарностью потомка…

«Записки» предварялись — вот это помню ясно, зрительно помню — написанными явно позд-

нее (иной цвет чернил, почему я и запомнил) строками, обращенными к будущему читателю. К сыну, а возможно, и к внуку — далее автор, по всей вероятности, в поросль свою не заглядывал. Однако следует учитывать, что эти записки были прежде всего семейным сочинением, изначально не претендующим на широкую читательскую аудиторию. Вероятно, в старости предок перечитал написанное и, ни слова в нем не изменив (что он особо подчеркивает), счел все же необходимым кое о чем предуведомить своих потомков, почему я и позволил себе назвать это обращение «Предуведомлением». Название и неточное, и какое-то казенное, канцелярское, что ли, но пред нами — документ, по самому жанру своему допускающий некую нетворческую, если позволительно выразиться так, терминологию.

Единственное, что я, поразмыслив, добавил, так это объяснение некоторых простейших иностранных слов и предложений, которые никакого перевода на русский язык когда-то не требовали, поскольку существовали в обиходе. Но то — в той, канувшей в Лету России. А в нашей, современной, подчас и русские слова переводить приходится…

Итак:

Записки

Сбоку — другими чернилами — то, что я дерзнул назвать

«Предуведомлением»:

Ad patres, дорогие мои, ad patres!

(«К праотцам». То есть «ухожу к праотцам, умираю».)

Скоро, очень скоро предстоит мне рапортовать Господу со всей искренностью и по всей форме, долженствующей Последнему Параду. А посему, ревизуя дела свои земные, дошел я и до сих «Заметок», а перечитав их, за благо почел не трогать ни единого слова, ничего не прояснять последующими событиями и, Боже упаси, ничего не менять. Ни единого написанного когда-то слова, ни буквы единой. Не посягайте же и вы на Час Творения своего, в чем бы оно ни заключалось, в малом или великом, ибо не вам, не вам судить о сем. Не вам и Час тот принадлежит, но истории лишь одной, переписывать которую вы не властны, ибо нет больше-

го святотатства, чем подгонять жизнь и деяния предков под сиюминутные свои интересы. Но дабы все вам было ясно и понятно, как ясно и понятно было мне, когда писал я сии «Заметки», я, с тщанием обдумав все, решился дозволить себе лишь разбить записи сии на части ради лучшего вашего усвоения и понимания и наименовать каждую такую часть соответственно своим собственным соображениям.

Итак, пред вами, младое племя мое, *curriculum vitae* («жизнеописание») предка вашего Александра Олексина.

О твердости незрелых груш и кислоте незрелых яблок

Святки. И день пока не нужен

— Приказано сказать, что для вашего благородия их сиятельств навсегда нет дома.

От кого и когда я эту фразу услышал — потом. Все станет ясным потом, когда я сам начну соображать. А пока — примите как данность, ибо начал я со слов лакейского отказа в душевном стремлении своем. A die («от сего дня»), как говаривали древние. A die!

Поворотил я тогда от того дома молча и как бы в некоем трансе, что ли. Вскочил на Лулу, помчал… В нашу Антоновку, думаете? Как бы не так! В поля помчал, в леса помчал, аки фавн, коему в вакханалиях отказали.

Туман стоял не вокруг, а внутри. Первозданный туман: клубился, светился и одурманивал единовременно и единообразно. А снаружи — ох и добрый был морозец! Стало быть, внутри у меня — туман, снаружи меня — мороз. И я зачем-то на этом морозе тулупчик сбросил. Жарко мне, видите ли, стало, невыносимо жарко.

И опять — ни одной мысли в голове. Так, обрывки. «Ах, приказано!.. Ах, со мной играть вздумали?.. Ах, неугоден стал?.. Ну так я вам сейчас…»

А что — сейчас? Что — сейчас-то, когда туман внутри и одурманивает, и огнем жжет неистовым?.. А то, что ничего мне в голову не пришло, кроме как Лулу остановить, с седла в снег спрыгнуть, хлопнуть ее по шее горделивой и столь же горделиво наказ отдать:

— Скачи домой, Лулу, я в бездну ухожу.

Лулу ушла, хотя и фыркнула. Славной выездки лошадка была, послушна и ума хорошего. А я, видно, дурного, потому что тут же на снег навзничь упал и руки крестом раскинул. Нет, замерзать я, помнится, тогда не собирался, но нестерпимый жар пек изнутри, и я его решил гасить снаружи.

Ну представьте себе: утро, зима, заснеженные нивы, леса да перелески. Снег промороженный, сухой, как порох, мягкий, как пух, и я — в той постели. Застелили мне поле, занавесили морозом и накрыли меня тишиной…

Сколько так пролежал, неизвестно, потому как холода не чувствовал совершенно. Ничего я тогда не чувствовал, кроме обиды раскаленной, да и не думал ни о чем, признаться. Может, час лежал

недвижимо, может, и более того, а только жар мой внутренний с внешним как-то уравновесился, что ли. И туман рассеиваться начал, и вместо обрывков в голове впервые мысль прорезалась: «А где я, собственно? Где люди, где Антоновка, где родительское гнездо, пращуром Опенками названное — в насмешку, что ли? Где мир людской и куда идти мне в мире этом?..» И я сел в некой вполне трезво возрастающей тревоге. И такой холод ощутил вдруг, будто один я одинешенек на всей Земле во времена великого оледенения…

А позади — вздох. Оглядываюсь — за спиной моя Лулу стоит. В инее вся. Серебряная. Не ушла, не бросила, не оставила замерзать одного середь зимнего пейзажа. Вздыхает, головой мотая: садись, мол, хозяин, пора уж и разум заиметь…

Расцеловал я ее морду, кое-как, — закостенел на морозе-то! — в седло взгромоздился и повод отдал, чтоб сама дорогу покороче нашла. И помчалась моя Лулу как бы без всякого моего участия, себя разогревая и меня спасая. И я за шею ее держался, а не за поводья, сообразив наконец, что давно закоченел до полного одеревенения всех членов своих. И домчала меня Лулу.

В результате — жар, бред, голова не моя и тело не мое. Но все — в теплом доме, в нежной постели,

в людском окружении, заботе и внимании.

— Барин помирает!..

И вся дворня тихо по дому носится, меня, дурака, спасая. А кормилица моя, Серафима Кондратьевна, которую матушка мне подарила, когда я в Корпусе закончил, сурово, без охов и ахов, меня с того света вытаскивала. Велела Архипу врача привезти, припарки делала, примочки, отвары, настои. И ворчала:

— Ох и неслух ты, Сашенька. Ох и неслух, горе ты мое саженное.

Вытащила. А от вольной, которую я на радостях хотел вручить ей, отказалась наотрез:

— Да куда же я от тебя уйду, родимый ты мой? Я ведь мамка тебе, какая же у мамки от сынка вольная может быть? Только от самого Господа воля ко мне придет, а так — нет для меня никакой твоей барской милости.

Очухался я. Жар прошел, боль прошла, только кашель да усталость никуда пока уходить не собирались. Но читать они не мешали, и я книжками обложился.

Честно сказать, до этого случая читал небрежно. В детстве, правда, любил матушкино чтение слушать, а потом… Потом — Корпус, а там только уставы да наставления читают. Да разве что-

нибудь пикантное. А тут с безделья начал да и увлекся. Велел из Опенков отцовскую библиотеку перевезти — все равно родители мои в Санкт-Петербург перебрались, вскорости после того, как в Корпус меня определили. И в старом барском доме, еще прадедом моим построенном, сразу стало тихо, а батюшке с матушкой — скучно.

«Что есть книга? Книга есть питание души, аки хлеб — тела».

Это я на титульном листе «Истории двенадцати Цезарей» прочитал. Чернила уж поблекли, почерк вельми старый: кто-то из книгочеев-предков написал. Для меня, видно, и для детей моих. Завет роду всему нашему… Только надолго ли заветом останется? Или растворим мы его в картах, попойках, войнах, дуэлях да любовных утехах? Уж многие дворяне русские в сем растворились без осадка, очень многие. По Корпусу знаю.

А я — читал. Все подряд и на всех четырех языках: напичкали меня ими в детстве. Матушка в этом особую образованность видела, вот мне и пригодилось. И как же славно бы было, коли бы и потом, потом, в племени моем страсть сия не растворилась бы с горьким и печальным весьма осадком сожаления, но куда страшнее, если и без оного. Книга есть питание души, и нет у души

иного питания…

Святки продолжались. Еще кто-то из предков моих завел, чтоб мы на народные празднества не только не смели никогда покушаться, но чтоб участвовали в них непременно. Хороводы водили, угощения выставляли — сласти да орехи, в снежки играли, на тройках крестьянских девок и парней катали. И это, признаться, мне всегда нравилось. Не дружбы ради — какая уж там дружба! — а… «ради той памяти, что мы — их росток, — как батюшка мой говаривал. — Только солнышка нам побольше досталось, потому нам ввысь вымахать и удалось». Такая уж у него философия была. Утешительная.

А еще я тогда же, в постели лежа, писать начал эти «Записки». Сначала — чтобы обиды свои выплеснуть, потом — для собственного удовольствия, а затем — и для вашего. Нет, не удовольствия — необходимости для. Удовольствия не обещаю: не сочинитель. Но жизнь, кою проживаешь, сама — сочинитель. Почему и льщу себя надеждой, что не зря чернила изводил.

Да, так Святки продолжались, и Серафима Кондратьевна, мамка моя и спасительница, мне как-то утром и говорит:

— Последний святочный денечек сегодня, Са-

шенька. Девки придут величать тебя.

— Вели конфет принести побольше.

— Ну уж, Сашенька. Не слишком-то привечай, благодарности народ подневольный не ведает.

— Давай, давай, — говорю. — А заодно и наливочки сладенькой. Пусть пригубят за мое здоровье.

Никогда мы конфетами молодежь не баловали, издревле так повелось. Но моя кормилица спорить не стала и принесла мне сластей целую корзинку. А вот наливки не принесла.

— Наливочки они со мной пригубят, не с барином же им ею баловаться.

Я тогда промолчал, потому как другое задумал в обход кормилицы моей. Тайное и сладостно гордость мою офицерскую щекочущее, но отложил до грядущего дня.

На следующее утро Савка, лакей мой…

…Написал вот, а перо само собой замерло. Нет, не лакей — с детства друг, приятель, вместе по полу ползали и ходить учились. Поверенный мой, во всех проказах поверенный и первый помощник, потому что Савка — мой молочный брат. Одним молоком мы с ним вскормлены,

к одной груди вместе припадали, потому что сын он единственный кормилицы моей Серафимы Кондратьевны. Он мне — как Клит Александру Македонскому.

Это я вам, потомки, для памяти доброй записал.

Чтоб дружбу ценили, о всех сословиях позабыв.

Да, так побрил меня Савка — легкая у него рука. Настолько легкая, что он тогда же по моему секретному указанию незаметно кошель с золотыми мне притащил и под подушку сунул. Серафиме Кондратьевне своей я, конечно, ничего о таком роде угощения не сообщил. Хотя почти что готов был в этом признаться, когда она на меня чистую рубаху с рюшами на груди и кружевными манжетами одела, поцеловала по-матерински и рюмку портвейну для здоровья с поклоном поднесла. Врач велел каждый день по три рюмки, и я вынужден был терпеть, поскольку давно уж иное для поправки здоровья своего предпочитаю. Но после портвейна ждать начал, признаться, с куда большим нетерпением. Ну кто же девичьи рожицы — милые, румяные с морозца — с прохладным равнодушием ожидать способен? Разве

что мраморные истуканы, коими в казенном Санкт-Петербурге весь Летний сад уставлен.

По шуму, смеху, щебету понял: явились. А по тому, как сердце забилось вдруг, по бравости, явственно ощутимой, сообразил, что здоровье мое вернулось в казарму тела моего в полном боевом расчете. Ну, думаю, всех сейчас увижу. Всех своих Лушенек, Грушенек, Нюшенек, Машенек, Полюшек… кого пропустил, прощения прошу. Все девы прекрасны в свои пятнадцать годочков.

А там и запели. Дому хвалу, хозяевам хвалу, а молодому хозяину — отдельно — хвалу и славу. И с этой хвалой и славой ввалились ко мне в спальню.

А я так никого и не узнал, как ни старался. У кого корчага с дырой на голове, у кого — ведро со щелью, кто до самых глаз платком закутан. Поди разберись, кто Глаша, а кто Даша. Ай да хитруньи!

— Ну, — говорю, — спасибо вам за визит да поздравления. А теперь пора и личики ваши мне показать.

Какое там! Смеются серебряными колокольчиками, приплясывают, поют, танцуют…

Танцуют, сказал?.. Случайно вылетело, потому что одна — тоненькая, невеликого росточка, в

каком-то берестяном цилиндре с прорезями для глаз, — и впрямь танцует, а не пляшет, как остальные. Улавливаете разницу? Danse («танец»)! Я, например, разницу сразу ощутил: по-другому плясунью эту учили. И в деревне я, признаться, ни разу еще не видел, чтобы девушки танцевали. Пляшут — да, все пляшут. С притопами и прихлопами. Отменно пляшут, с огоньком, ничего не скажешь, но чтоб фигуры, коим только танцмейстеры с детства учат, — такого я в своих деревнях еще не видывал. Такое и представить себе невозможно, потому что до сей поры никакому сумасброду и в голову не приходило учителя танцев из Парижа для своего села выписывать. И поэтому барышни в России танцуют, а девушки — пляшут, вот ведь каким образом природное девичье обворожение исстари у нас уравновешивается. Да никакая маменька соперничества своей родной доченьке не потерпит, потому как девичью грациозность по наследству не передашь и никаким барским повелением не введешь в лично принадлежащем тебе поместье: в женском шарме природа — госпожа. А тут шарма — не всякий мужчина выдержит с покоем и хладнокровием.

Я смеюсь, им подпеваю, конфетки щедрой

рукой разбрасываю, а сам глаз с танцующей крестьяночки этой не спускаю. Все правильно — и ручки с кокетливой элегантностью в воздухе арабески рисуют, и ножка на носочке поворачивается, и головка не дрогнет, а лишь грациозно этак клонится от плечика к плечику, и поклоны как в менуэте… Откуда ж ты, прелестное создание?.. Коли не из моей девичьей, так завтра же в ней непременно окажешься, когда дознаюсь, откуда ты сюда явилась…

И тут вдруг будто просветление снизошло.

Да оттуда, откуда меня на третий день Рождества лакей выставил по графскому указу, откуда же еще? Аннет, чертовка, это же ты. Ты!.. Прознала, видно, что я в горячке, и решила… Что — решила? Соображай, Сашка, соображай, сукин сын!.. Добить окончательно или… или навестить по сердечному беспокойству и благорасположению своему? Да навестить, разумеется, навестить и тем игру свою продолжить!.. Ладно, думаю, сейчас проверим.

— А ну, — говорю, — девы распрекрасные, одарите меня, болезного, поцелуями своими на прощанье!

Девицы захихикали, зашушукались, засмеялись, но в очередь выстроились. И предполага-

емая Аннет с ними. Но не в голове стала и не к хвосту примкнула, а застенчиво и мило — в серединочке спряталась. А все целуют, губки из-под бастионов головных высвобождая. И я каждой поцелуйнице золотой на память вручаю.

И до танцорки дело дошло. Правда, я ей не только золотой вручил, я ей и на ушко прошептал:

— Coup de maotre («мастерской прием»), Аннет. Теперь очередь за мной.

Думаете, сказала что-нибудь в ответ? Ровно ничего. Ни словечка. А золотой — взяла. Она золотой взяла, а меня — оторопь: похоже, сильно я промазал со своими лестными догадками. Никакая она, разумеется, не графская дочь, а всего-навсего заскучавшая в унынии псковском чья-то гувернанточка. Может быть, той же Аннет. И я, болван, клюнул, как отощавший за зиму пескарь на дохлого червяка. То-то всласть посмеются они сегодня!..

Вот как моя болезнь то ли закончилась, то ли началась с иными тяжкими осложнениями. Бог весть, где проживает «наше не пропадало», бог весть…

Дальше писать буду и как есть, и как было, и что в голову придет. Последовательность — тоска педантов, а не одураченных девицами поручиков

гвардии. Так-то. Вот из этого постулата исходя и разбирайтесь сами, ни на йоту не сомневаясь в искренности вашего покорного слуги.

Мщения душа жаждет. Мщения!..

10-го марса[3]

День — либо счастливый, либо никакой. Как говорится, либо банк, либо пуля в лоб.

Это я написал утром. Признаться, с дерзкого похмелья, ибо накануне поставил не на тот угол. И ведь был же голос в душе, был! Но я ему не внял. Месье Шарль был прав, когда долбил меня, как дятел: «Mon cher ami, if vous encore trop jeune („Дорогой друг, по юности своей“) вы никак не научитесь слушать себя, и ваш рара напрасно тратил на меня свои деньги».

Но все — за барьер! Вчера из графа вылетело признание, которое дороже проигрыша…

> (Кстати, не забыть сказать Архипу, чтобы договорился о продаже Гнилого Зауголья, пока лежит снег. Провернем сделку, снег растает, и господин Поклюев

---

[3] Примечания: 3

«Марсов месяц» («Mārtius mēnsis», *лат.*) — так назывался месяц март в Древнем Риме. Это время считалось благоприятным для начала военной кампании.

обнаружит, что вместо заливного луга приобрел болото с незабудками, но — «вы так просили меня продать вам именно эту гипотенузу…»)

Следует о графе рассказать, как я себе его представлял. Иначе, боюсь, непонятным станет мое и его поведение. Выпады наши непонятными рискуют оказаться, поскольку все наше взаимное общение уж очень походило на этакое полуучебное, полубоевое фехтование. Выпад — укол — выпад — укол. Ну и так далее, как в учебном поединке.

…Написал и — засомневался: а в учебном ли?..

Мой батюшка давно поддерживал с ним приятельские отношения. Не скажу, что дружеские — оба были хорошими ежами, — но вполне искренними и даже теплыми отношения выглядели. И не только потому, что имениями они соседствовали, нет. Служили в одном полку когда-то и были ранены в одном сражении. Под Бородином они были ранены: оба — тяжело и оба — в полдень.

А мне граф с детства казался представителем

совсем иных времен. Времен Екатерины Великой, с ее совершенно особым двором, знаменитыми полководцами, отчаянными рубаками, фаворитами, куртизанами и прочее, и прочее, и прочее. Батюшка почему-то не казался, а он казался. Настолько, что я порою видел его в туфлях на высоких красных каблуках, как носили щеголи во времена Матушки Екатерины. Разумеется, то всего лишь моим видением было, поскольку граф одевался всегда в полном соответствии с модой вполне современной, но не в том суть.

Насколько мне было известно как из светских сплетен, так и из домашних разговоров, графу не очень-то везло в личной жизни. Первая супруга его померла при родах, так и не сумев разродиться, он долго горевал, не мог ее забыть, поэтому вторично женился поздно, а ребенок родился еще позднее. Один-единственный, крещенный Аничкой. Мой отец тоже женился уже в возрасте, я — тоже единственный ребенок, но я оказался даром упорной и светлой надежды, а графинюшка Аничка — утешительным подарком отчаяния.

Весьма возможно, что граф и невзлюбил-то меня именно вследствие нежданного каприза судьбы. Насмешливо именовал petit-maotre («щеголь, франт, вертопрах»), причем прилюдно

(весьма был откровенен и чудовищно гордился своей откровенностью), смотрел поверх головы, и я всегда подозревал, что причиной этому служила некая воспаленная ревность, что ли. Ну сами посудите: у старого приятеля-сослуживца — сын, продолжение рода, а у него, графа, — дочь, знаменующая конец его древней и весьма известной истории нашей фамилии. Чувство вполне понятное и вполне объяснимое, почему я и не называю даже имени его, не говоря уж о фамилии, которая самой судьбою обречена была кануть в Лету…

Да, так о графском откровении. Вдруг — задумчиво этак, будто в растопыренных картах вычитал:

— Утром, господа, мы с графинюшкой на три дня отъезжаем к Шелгуновым. Votre invitation («приглашение»). Так сказать, гран-суаре старых друзей. Я сказал — «старых»? Иногда во мне прорывается что-то искреннее, как первый заморозок. Мечу абцуг (по две карты одновременно), как и условились.

«А ваша очаровательная дочь Аннет?» — хотел спросить я, но не спросил и правильно сделал.

В Корпусе что-то толковали об огромном значении великого молчания не менее великих полководцев. За меня спросил этот хлыщ Засяд-

ский:

— А ваша очаровательная Аннет?

В доброй мужской компании всегда сыщется дурак. Надо только вовремя промолчать и сделать вид. Я промолчал и вид сделал, и Хлыщ спросил то, что желательно было узнать мне. Спросил, спотыкаясь на каждой букве, как пьяный отставной полковник в гололедицу. Но граф (как Хлыщ произносит титул всего-то из четырех звуков? Кажется, «хгьяфь», если не еще музыкальнее…) понял. И, глядя в карты, проворчал:

— У нас то ли краснуха, то ли белуха. Словом, какое-то разноцветное заболевание.

«Аннет дома, дома, дома!..» — стучало мое сердце, и я от столь обещающей новости загнул не тот угол…

(Сбоку — приписка: *Не забыть сказать Архипу о Гнилом Зауголье…)*

Итак, этим утром, выпив для аромату бокал густого, как июльская ночь, старого портвейну… не люблю, но иногда приходится… велел подседлать Лулу — почему-то я чувствую себя увереннее, когда скачу на незваные свидания именно на ней: из трех — три, господа, из трех — три!.. — и помчался к дорогим соседям.

Необходимо было увидеть графский выезд. Граф себе на уме, а не мне, не вам и уж тем паче не партнерам в ландскнехт. Стоял в кустах, сидя в седле, — то ли русский язык допускает такой оборот, то ли это перевод с тех языков, которыми меня нафаршировали в детстве, не знаю, но потомки разберутся. Лулу молчала, а я, признаться, мерз, как кот на ветру.

…Кстати, для потомков. Официально я холост и бездетен, но цыганка в таборе под Кишиневом нагадала мне сына, а ведь никто из нее этого пророчества червонцем не тянул. Так вот, для предсказанного цыганкой наследника: у тебя уже есть по крайней мере один братец, который мне известен. Младше меня, его родителя, на четырнадцать лет. Естественно, Иван: манера называть бастардов Иванами придумана не нами, но логика в этом есть, поскольку им совершенно незачем помнить о родстве своем. Этакий здоровенный бутуз, весь в маму Лушу. Батюшка мой выдал ее за своего камердинера Матвея, дав в приданое куда больше того, что способно отшибить удивление, каким

же это образом первенец умудрился родиться на шестом месяце после первой брачной ночи. Не забудь о нем, сын. Наша кровь, олексинская…

А тут и графский поезд промелькнул. Bonne route («счастливого пути»), графинчики!.. И я помчал застоявшуюся Лулу в старый барский дом…

Любопытно все же, почему нас тянет именно к этой юбке, а не, скажем, к соседней, облегающей куда более прелестные формы? Мистика, господа, мистика и судьба в паре, дружно задыхаясь, влачат нашу русско-татаро-монгольскую кибитку по бездорожью юдоли мирской…

Помнится, наш полковой враль и философ Мишка Некудыкин как-то рассказывал, что в детстве за шалости был сослан «к тетке в глушь, в Саратов». Старой одинокой карге, скупой, как дочь Шейлока: Мишка уверял, что она выдавала ему ровно одно яблоко на день, обладая тридцатидесятинным садом… Тут, разумеется, Мишка minimum десятикратно загнул, что всегда являлось свойством натуры его. Да, так в теткином саду он, что вполне естественно, рвал те же самые яблоки, сколько душа требовала, прямо с деревьев, надкусывал, бросал в поисках более

сладкого и однажды был застигнут за этим научным опытом. Тетка вопила, до розог дело, правда, не дошло, но Мишку заточили в кладовку. Он там орал и требовал свободы согласно Высочайшему Уложению о правах российского дворянства, но услышан не был. Тогда — шустрый малый, прямо-таки enfant terrible («ужасный ребенок»), надо признать, — от обиды и томления души он разобрал перегородку, в поисках свободы проник в соседнее помещение, где и обнаружил целый склад многолетнего, выдержанного, как доброе вино, полузасохшего варенья. «Полагаете, господа, что я утолил свою страсть к сладкому? Ошибаетесь, я утолил жажду мщения. Я вскрывал банку за банкой, пробовал и отставлял в сторону в поисках иных вкусовых ощущений. К вечеру со мной приключился жар, что меня спасло от всех видов наказаний, а заодно и вызволило из ссылки. Пробуйте, господа, всегда пробуйте, при малейшей возможности — пробуйте!.. Старость наступает только тогда, когда вам уже не хочется ничего пробовать…»

* * *

Так, может быть, мы просто пробуем, надкусывая яблочки в поисках наиболее вкусного?..

Однако данное рассуждение к Аннет совершенно не относится: груша яблоку не товарищ, особенно в юную пору. Вам ведь и в голову не придет незрелую грушу пробовать: зубы сломаете, настолько тверда она и как бы чересчур уж своеобычна. А зеленое яблочко — да с полным удовольствием! Ну кислятина, ну скулы сведет, ну оскомину набьете, только на Руси рвали яблочную зелень, рвут и рвать будут всегда, пока сама Русь стоит. Что-то есть в этих зеленухах, русской душе необходимое прямо позарез…

Так вот, Аннет была скорее грушею, требующей для гурмана полузимней выдержки в домашних стружках. Но жило в ней что-то языческое, что-то от яри дохристианской, что ли. Словом, зацепился гусар усом, лихо закрученным, как говаривали в нашем лейб-гвардии конно-егерском полку. Зацепиться-то зацепился, а получил афронт. Да еще публично. На Рождественском балу у губернатора, когда на нас, молодых да при усищах, высыпали разом все отдохнувшие после экипажей девицы. И Аннет, коей я, как сосед, был своевременно представлен и с коей премило перемигивался, направляется прямо ко мне. Улыбаясь на все зубки и задорно задрав носик. Я, естественно, низко раскланиваюсь в

радости, что отмечен первым, она, естественно, приседает в глубоком реверансе, демонстрируя не столько прелести свои, сколько носик, на кончике которого приклеена порядочная мушка цвета перезрелой вишни. «Поздравляю, — с ехидством этаким шипит мой не в меру полноватый цивильный сосед. — С носом вас, поручик, по всем статьям, с большим носом!..» Я не желаю верить, но мушка исчезает уже перед вторым поклоном, как будто ее и вовсе не было на кончике милого носика. Опять не желаю верить, иду на абордаж перед контрдансом с нижайшей просьбой пожаловать мне мазурку. «Ах, ах, поручик, какая жалость, но у меня расписаны все танцы! Рекомендую, пока не поздно, обратиться к Лизель...» А Лизель — дылда на пять пудов уже в шестнадцать лет.

...Драгоценный потомок мой! Сын ли, внук ли — мне неведомо, да и не суть это. Чтобы ты не бегал к бабушкам за разъяснениями, я сам растолкую, в чем тут загвоздка, если в ваше время моды решительно переменились. А суть в том, что в наши времена мушка на левой щечке обозначала «горячность страсти», меж

бровей — «соединение симпатий», посреди лба — «люблю безумно, твоя, твоя, твоя!», а вот на кончике носа — «отказ». Полный афронт. И милые дамы наших дней несли свои мушиные знаки прямо к «предмету», демонстрировали их и тут же ловко смахивали. И далее следовали как ни в чем не бывало.

Ну что на это сказать? Напился я от полноты оскорбленных чувств и, зыбко помнится, орал в каком-то трактире, что-де все одно моею будешь. А на следующий же день, еще не проспавшись толком, разлетаюсь к графинчикам, вхожу в особняк, румяный с мороза и довольный собой. «Поручик Олексин. Доложи немедля». А мне: «Принимать не приказано». — «Как?! Ты глаза протри, я же сосед любезный. Бригадира, графского приятеля, сын единственный!..» А мне: «Приказано сказать, что их сиятельств навсегда нет дома».

Полный афронт. Поворотил я молча и как бы в некоем трансе румяным дураком. Вскочил в седло и помчал, помчал…

(Сбоку — приписка: *Смотреть следует в начало и далее — подряд. Так уж полу-*

чилось...)

Что мщению моему помогло? Карты. Граф был азартен до трясучки, а мне, когда надо, всегда не та карта шла, и поэтому за зеленым сукном он меня терпел. И я его терпел, поскольку твердо решил не оставаться в дураках. И заранее сунул несколько ассигнаций прислуге. Толстой, жадной, а главное — глухой, как тетерев, когда обстоятельства глухоты требовали.

— Аннет, как перед Богом — ты навещала меня, когда я в горячке свалился?

Она улыбнулась... Ах, как она улыбнулась, господа, как улыбнулась! Засветилось все вдруг окрест. Даже, по-моему, лес зимний и тот листвою зашумел... Да, улыбнулась таким именно манером, на одну пуговку расстегнула на груди пеньюар цвета зари майской, потянула за цепочку и показала мне мой же, ей подаренный золотой, к которому уж и ушко припаяно было...

О милых дамах — либо хорошо, либо ничего. Было краткое «Ах!..» — и дева сомлела. Потом, правда, разомлела, но я вовремя дал тягу.

Ну и для чего я это записал? Да того: ради хвастовства, что в дураках нас, Олексиных, пытаться оставить — себе дороже, господа. Себе дороже!..

(Сбоку приписано другими чернилами: *Судьбы человеков записаны в Книге Судеб. И моя — не исключение.)*

Марса, 12-го дня

Думал, что дал тягу, но тяга-то как раз и осталась. И какая!.. Еле сутки выдержал, зубами скрипел, о дверь лбом бился, хотел уж просить, чтоб заперли меня. Ночь не спал, а с рассветом помчался в одном шелковом бешмете. И Лулу несла меня, как в атаку…

Признаться вам, что был на вершине блаженства? Ах, господа, господа, насколько бедным и пошлым оказывается язык наш, когда так хочется быть искренним безмерно! Сказать — «я люблю»? Мало, мало и еще раз мало! Я потерял и нашел себя одновременно, а это ли не состояние полного счастья? Это ли не познание, что в объекте любви вашей вы неожиданно обнаруживаете всех безмерно любимых вами женщин сразу? Вы открываете в ней и хрустальный родник страсти вашей, и нежность сестры, и великую заботу матери. Троица ваших самых главных, самых затаенных и вечных женских идеалов вдруг обнаруживается вами в одной, одной-единственной, для вас созданной Богом отраде. Вы

нашли! Вы готовы орать на весь мир, что идеал — тот, смутный, совершенный идеал женщины, заложенный с детства маменькой, сестрами, няней, — найден вами, ответил вам любовью, нежностью, пронзительным пониманием и заботой и глядит на вас счастливейшими, полными слез глазами, потому что вы тоже вдруг оказываетесь идеалом. Ее идеалом. Со всеми вашими лошадьми, пистолетами Лепажа, охотой с борзыми, бокалами вина, трубками, картами и храпом по ночам…

— Fidelis et fortis отныне девиз твой, мой рыцарь. Fidelis et fortis — на всю нашу жизнь.

— Верный и смелый. На всю жизнь запомнил.

…Верный и смелый, fidelis et fortis. И вы запомните, потомки мои. На всю жизнь запомните!

— Душа моя, ты мог простудиться. Ты же совсем недавно горячку перенес, а прискакал — в одном бешмете…

— К тебе я скакал. Ты — сила моя и здоровье мое. Ты, Аничка моя, жена моя, счастье мое…

Слеза с усов свалилась и чернила размазала. Ей-богу. Четыре раза под дуэльными стволами стоял, а такого волнения не чувствовал. Кажется,

я начал жить, господа. Не бессмысленно существовать, а считать минуты до свидания с тобой, любовь моя…

— Сколько ты не был на службе, душа моя?

— Девять ден сверх отпущенного. Не беспокойся, ангел мой, я рапорт напишу, что заболел, и не солгу в нем ни на полслова. Я ведь и вправду заболел. Радугой твоей заболел. Краснухой, белухой, зеленухой — что там еще в твоей палитре?..

— Отец не даст нам свидания и рассвирепеет еще больше, если ты станешь его просить. Расстанемся на месяц, душа моя, хоть и слезами горючими обливается сейчас мое сердце. Я все расскажу маменьке, она поймет и объяснит отцу. А тут приедешь ты и…

Я спорил горячо, я умолял ее, я заклинал ее нашей любовью, я находил неотразимые аргументы, но все было тщетно.

— Докажи свой девиз, мой рыцарь. Докажи свой девиз.

И она права, господа, права. Граф должен откричаться, отплеваться и отрыкаться пред первым появленьем жениха…

Марса, 22-го дня

— Эскадрон, слушай команду!..

Опять я на плацу. Прислали неумех из деревень, пять лет им вдалбливали уставы и наставления, армейский порядок и команды, но для того чтобы сделать из них конных егерей, еще лет пять понадобится, никак не меньше. Два года их грамоте учили, как положено, по четыре часа в день. Нужное дело, очень нужное, однако мне, эскадронному, от этого не легче.

— Подтянуть стремена всем, кроме головного!.. Учебной рысью… ма-арш!..

Нас тоже в Корпусе гоняли. Так гоняли, как солдатикам и не снилось. Ночные тревоги — два-три раза в месяц, и всегда в разные дни недели, чтобы мы не вычислили их заранее. А спать давали мало: летом — шесть часов, зимой — на полтора часа больше. И только разоспишься, бывало, вдруг — рев:

— Тревога!..

Вскакиваем, спросонья лбами стукаясь. Кое-как мундир напялишь и — бегом-бегом! — в строй. Лошадей по ночам не будили: их, видите ли, командиру жалко было, а нас, мальчишек, — нисколечко.

— Пеший по-конному! С места, рысью… маарш!..

Старший воспитатель наш, капитан Пидгорный, и впрямь на учебной рыси трясется в привычном седле, а мы грохочем ботфортами по мерзлой земле. Одной правой рукой отмахиваясь, поскольку левой приходится палаш придерживать, чтобы он в сонных ногах не запутался. Только приноровишься…

— Эскадрон, слушай команду! Учебным галопом!..

Это значит — вприпрыжку. Скачем вприпрыжку: мы же не дети дворянские, не люди даже. Мы — лошади…

И скачем, как лошади. Пот — градом. Я однажды не выдержал да и заржал, вдруг жеребцом себя ощутив. Двое суток карцера — на хлеб да воду. Доржался…

Вот тогда и решили мы наиболее злостному мучителю нашему, капитану Пидгорному, отмстить. Обидно нам стало: он-то — верхом на коне, а мы — на своих двоих. Он, когда дежурил, в отдельной комнате флигеля ночевал. Отмучает нас месяц, потом на неделю к семье на отдых отъезжает, а на его место — другой, потом — третий, но эти как-то почеловечнее были. Отдыхать

во время скачек наших безумных дозволяли, а шутки смехом даже приветствовали:

— Молодцы, кадеты! Не унывать!..

Капитан Пидгорный совсем из другого теста испечен был. За что и поплатился.

> …Впрочем, кто больше поплатился, признать весьма затруднительно. Весьма…

Денщиком у мучителя нашего капитана Пидгорного старый унтер служил, большой любитель выпить. Задумав месть мучителю нашему, мы с того начали, что раздобыли дегтю, развели его скипидаром пожиже и в складчину купили штоф особо забористой водки. Сургуч отбили, пробку аккуратно вытащили и добавили туда маку, из булок его наковыряв. Нам на ужин булки с маком давали, чтобы мы засыпали покрепче да поскорее и снов, вредных для возраста нашего, не смотрели по ночам. Да, добавили в штоф маку, заткнули пробкой и снова залили сургучом. Настояли несколько дней, а потом преподнесли унтеру, для того якобы, чтобы он глаза на наши карточные игры прикрыл. Он глаза прикрыть обещал, мы в разведку Андрюшу Корнева отправили — ловкий да проворный мальчик был, насмерть разбился,

неудачно из седла вылетев на препятствии вскорости после этого, — и Андрюша доложил, что унтер штоф тот до конца опростал да и свалился в храпе сотрясающем.

Вот тогда и настал наш час. Меня в диверсию ту не включили, слишком уж громоздким посчитав, но я с Андрюшиных слов все знаю в точности.

Капитан-мучитель крепким сном отличался, и об этом уж мы давно проведали. Да и чего ему было сладко не спать: унтер — проверенный, растолкает, когда надобно. А унтер в ту ночь нами в командировку в объятья самого Морфея был своевременно отправлен, и путь таким образом оказался почти открытым настежь. «Почти» потому, что капитана, не дай бог, могла блоха не вовремя укусить или присниться что-либо беспокойное вроде прелестной девы или супостата с клинком окровавленным.

Но ничего особо волнующего ему, видать, не приснилось, и избранная нами тройка во главе с Андрюшей не только безопасно миновала прихожую, в которой унтер храпел, но и пронесла ведро с жидким дегтем в саму обитель капитана. И беззвучно перелила этот деготь в оба капитанских ботфорта. После чего столь же беззвучно вынырнула во мрак ночной.

Вот тогда уж моя очередь настала. Пока соратники мои отважные от дегтярной улики избавлялись, я возле конюшен стожок гнилой подстилочной соломы поджег. Ни за что бы не поджег, если бы заранее под него добрую охапку сухого сена не подсунул. Но я своевременно подсунул и своевременно поджег. А пока разгорался стожок, успел до казармы добежать, раздеться и под тощее одеяло нырнуть.

Раздымился стожок тот на славу. И когда дежурный конюх, нюхом дым почуяв, а ушами — что лошади заржали тревожно, сообразил, выбежал да и заорал: «Пожар!..», мы тут же все раздетыми во двор высыпали:

— Горим!.. Караул!.. Пожар!..

Орали так, что капитан не мог не проснуться. А проснувшись и сразу уразумев, что и вправду дым возле конюшен, с ходу, как привык, обе ноги одновременно, по-кавалерийски, сунул в ботфорты…

Стожок тот мы сразу же и потушили, как только вопль капитанский наших ушей достиг. Мщение состоялось, виновных не нашли, но месяц нам покоя не давали. И пеший по-конному, и конный по-пешему, и прусский шаг на плацу, и побудки не ко времени, и бешеные скачки без седла через

все мыслимые препоны — все было.

Вот тогда-то наш Андрюша и погиб на препятствиях…

> …Мщение — дурное, неподобающее благородному человеку занятие. Бессмысленная сумма злобных обид души вашей, внутренним ядом травящая, потому никогда и не копите никаких обид. Никакое зло не стоит того, чтобы нянчиться с ним, лелея в душе своей. Добро следует помнить, хранить его и с ним жить. С добром, а не со злом. И уж тем паче не с мечтами о мщении. О любви, мире да согласии мечтайте всегда, дети мои, и потомство ваше будет веселым, добрым, спокойным и здоровым. Уж простите старика за нудное нравоучение, но друга дорогого я на сем мальчишестве потерял…

Служу, будто пудовые вериги таскаю, только в комнатенке, что снимаю у почтеннейшей Марфы Созонтьевны, душой отдыхая. В Офицерском собрании не отдохнешь: зубы стискивать приходится, слыша разговоры приятелей. Шесть пошляков на пять подпоручиков и четыре — на столько же капитанов. И как я раньше не чув-

ствовал этого? В разговоры их не вслушивался, что ли? Нет, и слушал с жадностью, и сам был рад поведать что-нибудь этакое, позабористее, с перчиком. А теперь — ну надо же! — улыбаюсь, как удавленник, и зубы сжимаю, чтоб не заорать: «Да как же вам не совестно, господа офицеры? Да о маменьках своих вспомните, в муках вас выносивших!.. О сестрах своих невинных, в вас идолов со младенчества видящих!..» Но — молчу. Презираю себя за молчание свое и — молчу.

Потому молчу, что Аничке слово дал молчать. В офицерской среде исстари слово к пощечине приравнивается, и тут уж барьера не миновать, коли что необдуманное брякнешь. Но не барьера я боюсь — никогда, слава богу, я его не боялся, — я слово нарушить боюсь, вот ведь какой камуфлет получился неожиданный…

… — Душа моя, обещай мне, что не будешь рваться к барьеру. Ты уже доказал свою отвагу.

— Аничка, честь офицерская…

— Осиротишь меня и погубишь, Саша. Я уже тебя выбрала, и замены этому и во всем свете не сыскать.

— А наша честь с тобою?

— Подумай сперва, Сашенька, солнышко мое, свет ты мой единственный…

Подумал. И слово дал, не каменный. И девиз, коим Дульсинея моя меня наградила, помню. И — покуда держусь.

Ах, как дни тянутся! Боже ж ты мой, как они канительно тянутся. Прежде, бывало, вскачь неслись.

Даже в карты стал играть по-иному. Не то чтобы осторожничать — кураж поймал, тут уж не до осторожности! Но так играть стал, будто за спиной у меня — семья. Жена ненаглядная моя, дети милые. Спиной их ощущать начал, даже оглядываюсь иногда…

— Что это вы вертитесь, поручик? Вы в карты свои глядите.

— В свои я всегда поглядеть успею, майор. Мне бы ваши узнать желательно.

— Наглец ты, Сашка. И помрешь наглецом.

— Только бы не…

Перестал я, Аничка, такие фразы рифмой завершать, помня глазки твои умоляющие…

— Дама моя — всегда червовая, господа. По ста рублев.

— Бита. Не твоя червенная дама сегодня, Сашка.

— Ан и нет, всегда. Две сотенных на нее же.

И что вы думаете? Банк срываю. Грошовый,

правда, банк.

— Ну везет Олексину! В первом круге отыгрался…

— Если бы отыгрался. Опять у меня полста увел, подлец…

…Чтобы знали вы, далекие потомки мои, игроки делятся на три разряда. В первом разряде — мычащие: обремененные семьею, скупостью своею или собственной, от природы данной, нерешительностью. Играют с осторожностью и — по маленькой в полном равновесии с собственным куражом: плюс-минус червонец за весь вечер. Попоек избегают (ну разве что за чужой счет), бесед складывать не умеют, читать не любят, а время как-то убивать приходится.

Разряд второй — молчащий: волки. Играют только ради выигрыша, на который и живут. Толк в игре понимают, а наипаче того — самих игроков. Не чураются и передергиваний, коли куш велик, а карта не идет. И колода у них в подборе, и пятого туза, когда надо, из-под манжета вытянут, и ненужную карту обшлагом прикроют.

А уж коли за руку поймали, так только, господа, не к барьеру! Только не к барьеру! Бейте от души, хоть подсвечниками бейте. И бьют их регулярно по всей России, а что толку-то? Не переводятся они, как клопы. Так что и на вас мерзавцев этих, дети мои, вполне достанет. А третий разряд — рычащий. Пленники азарта своего. И выигрышам рады, и проигрышем не весьма огорчены: сам азарт питает их силою своею. И только его ради и садятся они к ломберным столам с горящими глазами и великим нетерпением. Здесь судьба и нервы взвинтит, и улыбнется вдруг, и вокруг пальца обведет, когда не ждешь. А кровь твоя бурлит, сердце бьется, ты — живешь, и море тебе по колено! Здесь — кипение страстей человеческих, здесь испытание чести твоей, здесь игра королей, а не валетов, как в первом разряде, и не шестерок, как во втором.

Премудрость сию мне впервые Александр Сергеевич Пушкин поведал. В Кишиневе, когда мне едва осьмнадцать минуло. «В этом тоже своя поэзия, Сашка, — втолковывал мне он. — Экзамен

страстью рока своего...»

Потому и невмоготу мне вскорости стало лениво и бесстрастно в картишки перебрасываться в разряде первом. Я уж и ставки поднимал, и ради куража ва-банк объявлял при полном лове, но гнилой костер и порохом не подожжешь. И — затосковал я. По настоящему азарту затосковал, по тому, который Александр Сергеевич с поэзией на одну доску ставил. И — грешна душа человеческая! — не сдержал собственной клятвы. Обещания собственного не сдержал. Прощения у Анички в душе испросил и вернулся в разряд рычащий.

— Сашка!.. — заорали бравые новгородские конноегерцы (я тогда в том полку лямку тянул). — Уж слух прошел, что тебя твой батюшка-бригадир наследства лишить обещался?

— Верный слух, — говорю. — А потому — по банку с ходу. Кто держит? Ты, Затусский?

— Я, предатель братства нашего, я.

И что вы думаете? Срываю банк, едва за стол усевшись. А в банке — без малого тысяча рублев ассигнациями. Но голова не закружилась, потому что закон знаю: коли давно не рисковал, судьба твой риск благословит. Она потом отыграется, когда тебя в свои объятья заполучит со всеми

шпорами твоими. Осмотрительности лишив, голоса внутреннего, а порою и здравого смысла.

Ах, какая игра была! Восторг, шум, крик, страсти, извержение Везувия, за шампанским три раза посылали. Но в тот вечер судьба ко мне благосклонной оказалась, как никогда доселе…

И я от благосклонности этой малость самую размягчел. Удила отпустил, вольную душе выписал и на штурм банка бросался порою и без малейшего шанса, единственно на удачу уповая. Рисковал безумно и безмозгло, как никогда доселе не рисковал, и на третий вечер проигрался до дыр во всех карманах. Все, что до сей поры выигрывал, — проиграл, свои деньги, что были, тоже проиграл, а сверх того — еще семь тыщ. Дал слово подполковнику Затусскому, что в десять дней верну до копейки, и наутро поплелся к командиру нашего лейб-гвардии Новгородского конно-егерского. Или, как его в других полках называли, «картежно-ернического».

Тащился и казнился, как никакому преступнику не снилось. Пред Аничкой своей казнился, убивался, мысленно из Новгорода к ней на коленях полз, туфельки ее целовал. «Прости, любовь моя, дорогая моя, жена моя. Повинен я, грешен я, и подл я. Все я сознаю, всю глубину падения сво-

его, Аничка, не по плечам мне еще девиз, тобою дарованный: „Fidelis et fortis“, нет во мне ни верности, ни смелости жить порядочно и достойно. Довлеет азарту натура моя порочная, авантюрам довлеет, безмозглому риску довлеет, знаю, чувствую, казнюсь и страдаю. И все же клянусь тебе, любовь моя единственная, что добьюсь я права осмысленно и гордо носить присвоенный мне тобою, Дамою сердца моего, девиз великой верности тебе и отчаянной смелости в защите верности этой. Клянусь, потому что всю жизнь любил тебя, искал тебя, мечтал о тебе и — нашел…»

Нашел!..

Помнится, я даже остановился, сам не поверив, что так оно и случилось. Великой силой обладает искренность, потому что в какой-то миг полного откровения срывает вдруг все покрова с трусливой памяти нашей и обнажает родники наших истинных чувств. Вот потому-то церковь так настойчиво, упорно и постоянно и требует от нас, грешных, молитв: она знает, знает о могучей силе девятого вала бездонной искренности души человеческой, вала, рожденного покаянием нашим искренним. Знает, что искреннее покаяние это в конце концов поднимет в душе нашей, азартом издерганной, изолганной, пропитой и

прокуренной, чистые источники детства, доселе замутненные взрослым расчетливым враньем, привычной, обыденной ложью, подлостью, трусостью, предательством друзей и идеалов юности, сделок дешевых с собственной совестью. Только ребенок божественно искренен, господа, только его душа хрустально чиста и непорочна! И только искреннее раскаяние способно вернуть наши испоганенные ложью души в сияющие чертоги нашего детства. Молитесь, господа, молитесь, ибо молитва есть проверенный и наипростейший путь к нашему собственному детству, а значит, и спасению, ибо душа наша воскреснет вновь…

Постоял, ожидая, когда молния озарения этого внезапного угаснет во мне, и поплелся дальше. И маялся, признаюсь, пока до канцелярии не добрел и к командиру полка не ввалился. Снова лгать и изворачиваться.

Полковник у нас был — отец солдатам, да отчим офицерам. На плац опоздаешь — на неделю выволочка. Солдат заболеет — предупреждение. Не дай бог, стрясется что в эскадроне, когда ты за дружеским пуншем душу отогреваешь, — в полковом офицерском собрании при мамашах дев премилых — вслух и, заметьте, громко предупреждает:

— Этого в женихи не рекомендую.

А как мне слово данное исполнить, когда слух пробежал, будто отец меня наследства лишил? Никто мой вексель в Новгороде не примет ни под какие проценты: батюшкин характер знали не только в армии. Ну и что остается? Остается мчаться в Петербург и умолять родного батюшку навет сей развеять, а заодно и спасти фамильную честь. И без отпуска из полка здесь уж никак невозможно было обойтись.

— Продулся?

— Вчистую, господин полковник. Только под честное слово из-за стола и выпустили.

— Обормот ты, Сашка, — вздохнул полковник. — Ведь, поди, пулю в лоб, коли не отпущу?

— А вы отпустите, Пантелеймон Данилович, — говорю нахально. — Вам же и мороки меньше. Сами рассудите: коли офицер застрелится — расследование, инспекция, неприятности.

Пошел я тогда ва-банк: он меня на службе — по имени и я его на той же службе — тоже по имени. А что делать? Честь на карте, равная жизни честь.

— Не завидую я ни родителям твоим, Олексин, ни супруге будущей, если, конечно, сыщется какая ненормальная… — вздохнул полковник. —

Скажешь там, что к врачу тебя отпустил. Ступай, горе ты полковое…

И помчал я в Северную Пальмиру тем же вечером…

19-е апреля

Не знаю, чем бы тогда дело обернулось. Может, и отцовским проклятием со всамделишным лишением наследства: он суров был настолько порою, что и сама милая матушка моя с ним совладать не могла. Вот о чем, помнится, думалось мне с горечью, когда трясся я по весенним ухабам, никакого выхода не видя. Только, на счастье мое, ямщики новгородские ушлыми были ребятками. Оглянулся на меня с облучка очередной Тараска, вцелился взглядом, будто насквозь прострелил, да вдруг и говорит:

— А что, барин, на первой станции прикажешь или лучше тебе на вторую?

— А чем, — говорю, — лучше-то? Дочка смотрителя уж больно хороша или самовар там погорячее?

— Веселее там, — говорит мой ямщичок-простачок. — Там завсегда господ много. В картишки перекидываются.

В картишки!.. Ошалел я: вот он, выход. А коли

не выход, так все равно терять уж нечего. Ах, Аничка моя, помолись за своего непутевого!..

— Ко второй, Тараска!..

— Ну, залетные!..

Конечно, если бы денег и впрямь в тот момент в кармане моем не оказалось, вздохнул бы только: третий разряд — рычащий — без оных к столу игорному не садится, гонор не позволяет. Но аккурат утром сегодня на выезде из Великого Новгорода встречает меня не кто иной, как Мишка Некудыкин:

— Помолись за меня, Сашка. В добром питейном заведении.

И протягивает мне пять сотен.

— До подаяний, — говорю, — еще не докатился.

— Отдашь, когда куш сорвешь!

Нет, недаром в Наставлении об конноегерцах записано черным по белому: «Брать в конноегерцы офицеров только самого лучшего проворного и здорового состояния…»

Миновали мы с Тараской первую станцию, остановились у второй, куда как малозаметной. Вошел в избу: никого, кроме любезного смотрителя. И по масленой любезности его вижу, что мне и в самом деле уж очень обрадовались.

— Что прикажете, господин офицер? Обед,

самовар?

— В тишайшую половину — бутылку рома и… сколько там рюмок сейчас?

— Рюмок?.. С вами — шесть.

— Вот шесть и подавай.

— Извольте шинель снять.

— Лихорадка бьет.

Снимаю саблю, как водится, а шинель запахиваю: у меня под нею пара пистолетов. Два туза на всякий случай, так сказать. И оба — козырные.

— Так печка там топится, ваше благородие.

— Вот от печки и потанцуем. Веди в тишайшую.

Проводит меня хозяин:

— Их благородие тут погреться решили.

Молча гляжу от порога, ноги очень уж старательно вытирая: тройка пройдох в партикулярной потертости, отставной майор, по виду — аматер («любитель») страстный, да молодой человек, счастье свое пытующий едва ли не впервые. Морды у пройдох шестерочные, у майора красная, у юнца — под лимон, хоть закусывай. «Липку дерут, — думаю. — Только лыко драть и лапти плесть — не для одних рук дело». Представляюсь и — сразу к столу:

— Коль уж греться с дороги, так оно лучше — за

картишками. Удача кровь разгоняет.

Поначалу этакого межеумка полкового изображаю: уж и не робкий, а еще никак не игрок. Понимаю, что троица эта, лихо в карточных баталиях потертая, разноцветных бедолаг потрошит. Однако не нахрапом, без наглости, на учебной рыси, так сказать. И я пошел той же рысью, галоп свой приберегая: и не следует резвость до времени показывать, и узнать желательно манеру их неторопливую. Майор с Лимончиком от собственных карт уж и глаз не отводят, а шестерки ко мне приглядываются. И я соответственно — к ним. «Проиграть надо, — думаю. — Непременно проиграть, чтоб был резон ставочку повысить».

— Сколько в банке?

— Одна сотня двадцать.

— Стало быть, с трети и начнем, помолясь.

Не играем — дубину пилим: раз — к себе, другой — от себя. За это время масти шестерок распределяю: кто из них — пиковый, кто — трефовый, а кто — и во бубнах и рожей, и повадками.

Смотритель ром приносит, а пока разливает, банк к Бубновому переходит. Румяному такому, с маслеными глазками.

— За доброе знакомство наше, господа!

Не отказываются. У Трефового — пожилого, хит-

ренького, хихикающего — ручки подрагивают, когда с рюмкой соприкасаются. То ли сопьется вскорости, то ли уже спился.

А я, время не тратя, банчок Бубновому навариваю. Мягонько, чтобы не спугнуть до срока: «Ах ты!.. — дескать. — Хотел же другую заломить, вот невезенье!..» Ну и так далее. Разные есть способы, и о них в нашем «Егерском наставлении» прямо говорится: «Егерь должен преодолевать все препятствия, какие только встретиться могут». Вот я и преодолеваю.

За третьей рюмкой банчок до тысячи поднял. Раскраснелись все, даже Лимончик. Он подряд два раза выиграл немного и на радостях новую бутылку потребовал. На руку мне: шестерки на рюмочки живее откликаться стали. Повздыхал, повертелся, посопел даже и… «Ну, Аничка, молись за меня…»

— Еще карту.

Аккуратно дал банкомет шестерочный трефовой масти, снизу. И рукава высоко поддернуты…

Туз пришел! Как виду не подал, сам удивляюсь.

— По банку!

Риск невелик: двадцать очков на руках. Но — против банкующего… Так, Бубновый свои картишки сразу бросил. Стало быть, знает, сколько

там, у банкомета на руках…

Девятнадцать у банкомета! Но я — даже не улыбнулся.

— С кем не бывает, — говорю.

Чувствую кураж, чувствую! Пошла карта. Только бы не зарваться: теперь я банк держу.

Что долго-то расписывать: удержал я тот банк. Рубликов этак под семьсот. А следующий у меня майор сорвал, чему я, прямо скажем, обрадовался: и проигрыш невелик оказался, и майору, слава богу, наконец-то счастье улыбнулось, и за бутылкой он послал на радостях своих.

Не люблю, когда отставных офицеров чина невеликого пройдохи обыгрывают. За ними семья, дети, хозяйство, а доходов — всего пенсион. Не люблю. Совестно мне всегда, даже когда не я в выигрыше оказываюсь.

Жрать было охота, кишка кишке атаку трубила. Но отказал я животу своему. Сытых кураж не любит.

> …Держи кураж! Всегда держи кураж, чем бы ты ни занимался: в бою тоже свой кураж есть, и коли потерял его хоть на миг единый — быть тебе на земле. Тогда считай копыта над головой, покуда в со-

знании еще пребываешь. Было такое со мной, было, в Бессарабии еще, довелось считать. Слава богу, хоть свои копыта тогда надо мною проносились. А ну как вражеские считать доведется?..

Ну вот и по-крупному пошло после третьей бутылки: крапивное семя от дармовой выпивки не враз-то и оторвешь. Присасываются. Жалко мне их, которые вот так промышлять вынуждены, ей-богу, жалко при всем их гнусном ремесле. Чин — в самом подножье российского Табеля о рангах, пенсии — грошовые и — не дворяне, как правило. Дети священников, солдат или вольноотпущенников: доходов никаких, а семьи — в рыдван не усадишь. Ну, ну, Сашка, кураж мягких не любит. Лучше отставного майора пожалей: опять проигрывать начал.

Вот так и канителились, ром попивая, но в выигрыше пока был только я. Правда, в основном за счет майора, к сожалению, и дворянчика Лимончика. Но я ждал своего часа, с надеждой ждал по мере того, как убывал ром.

Светать стало, все уж устали, но никто пока о конце сражения не заикался. Все в раж впали: дворянство — в сладкой мечте хотя бы проигрыш

вернуть, крапивное семя — в сладкой надежде меня объегорить. А я им подыгрывал как только мог. И зевал, и кряхтел, и подремывал, и жаловался на усталость с дороги.

Вот это их и погубило: осторожность потеряли. Незаметненько и этак аккуратненько появились картишки из другой колоды, рубашка которой отличалась столь малозаметными нюансами, что на рассвете да еще после рома углядеть ее было за гранью сил человеческих. Но я углядел, потому что по опыту знал: непременно появится. Углядел, но виду не подал, не ко времени было вид подавать. Прощелыги — в проигрыше, им бы не в мой карман целить, а свое вернуть, да и подавай бог ноги, пока мы не очухались. Но сия единственная здравая мысль покуда что в головы их не вселялась. Их другое держало — ажитация. Банк был маловат для последнего куша. Ждали они его, ох как ждали!..

Но и я ждал. А как банк за пять тысяч перевалил, душой услышал, что труба пропела. «Ну, Аничка моя, молись в сладком сне своем!..»

— По банку.

— А есть чем ответить, господин поручик? — высунулась вдруг пиковая шестерка.

Мрачный субъект. И глаз пронзительный, и сам

черный, как цыганенок. Но, видать, глуп, потому как допустил целых две промашки. Во-первых, признался, что они уже выигрыш считают, а во-вторых, повод мне дал для справедливой ярости.

— Как смеешь мне, офицеру, недоверие выказывать? — гаркнул я. — Да я за меньшее к барьеру приглашал!..

Поднялся шум, начались извинения, просьбы. Я ерепенюсь, краску гнева праведного изо всех сил на усталом своем лице вызываю, ору, а сам поглядываю, что их руки в этот момент делают. Чем заняты… И вижу, отчетливо вижу, что Бубновый, урвав миг, в карман полез, вроде как за платком.

— Ва-банк! — рявкаю. — И чтобы без намеков, оскорбительных для чести моей!

Рисковал? Еще как, но почему-то верил. Верил, что дама придет: у меня на руках аккурат восемнадцать было. И не обманула меня дама моя, пришла на дорогое — под шесть тыщ — свидание!..

— Очко!

— И у меня очко, — говорит банкомет и гаденько этак улыбается.

По правилам — он выиграл. И выиграл бы, коли бы по правилам играл. Но я-то приступ ярости не зазря закатил. Чуть было глаза не сломал, за

их руками приглядывая: уж больно шустрые ребятки попались. И лапки цепучие, и глазки липкие пронзительно. И банкомет уж за деньгами тянется.

— Цурюк! — командую. — А ну-ка карты — рубашками кверху.

В три глотки заорали:

— Не по правилам!.. Не по совести!.. Прав таких не имеете!..

Тут-то я пистолет достаю и звучно курком щелкаю:

— Рубашками кверху, я сказал. Раз!..

«Два» и говорить не пришлось: сам банкомет перевернул дрожащими руками. И примолкли все.

— Света, майор.

Майор канделябр придвинул, вгляделся:

— Ах, сукины дети!.. Рубашки-то — разные!

— Разные! Разные!.. — Лимончик аж ручонками всплеснул.

— Стало быть, и выигрыш мой, — говорю. — А за плутовство — все доли партнерам вернуть. Все, до копейки! И мне — тысячу за расстройство мое.

— Не пойдет такое! — всполошился, вскочил даже Пиковый. — Хоть убейте, не…

Пальнул я в потолок. Он сразу сел, все замолча-

ли, и смотритель в одном исподнем вбежал:

— Что такое? Грабят никак?..

— Гони за исправником.

— Не надо, не надо, — забормотал Бубновый. — Мы согласны на мировую, согласны. Сколько должны, господа, все — до копеечки, до копеечки… Без шума желательно нам.

— Мне тысячу, — напоминаю. — За консоляцию.

Отсчитали трясущимися руками. И дворянчику Лимончику, и майору, и мне — ровно тысячу сверх выигрыша. Когда рыльца в пушку, за деньгами не постоишь.

— Извините, господа, извините. Бес попутал, истинно бес попутал. Благодарствуем вам…

И в двери ринулись, друг другу мешая. Уж кто-кто, а исправник им — совсем не в масть…

Я на них не смотрел. Я на майора смотрел: слеза у него по щеке катилась. Видно, все семейные сбережения бедолага в чужие карманы спустил…

— Как же я вам благодарен, господин поручик. Как же я благодарен вам…

Позавтракал я и плотно, и весело: Лимончик на радостях угощал. Поблагодарил их, попрощался да сразу же и выехал. В Новгород, думаете? Как бы не так. К петербургским врачам, согласно пись-

менному распоряжению полкового начальства, выехал. С десятью тысячами в кармане. В полном своем avantage («польза, выгода»). Завернулся в шинель, ноги полостью прикрыл и постарался все забыть…

Только 24-й день апреля никогда не забуду.

Но о нем — потом. Сперва — о Санкт-Петербурге. Записи в Новгороде оставил, а потому, стало быть, задним числом.

Сказать по совести, не люблю я Санкт-Петербурга со всеми его дворцами, мостами, проспектами и прочими красотами. Воды уж слишком много, сырости, насморка. Скользкий он для меня, как погреб, вокруг которого — сплошные казармы с фронтонами. Строили его из-под батога, а потому все в одну линию и выстроили. И дух насилия витает над прямыми проспектами: и хочется хоть куда-нибудь завернуть, а — не получается. Градостроители постарались, чтоб все только прямо и ходили фрунтовым шагом.

Впрочем, я и Москву не люблю, если уж начистоту. В молдавских кодрах мне как-то муравейник показали, который вокруг дуба расположился да и подмял тот дуб под себя. Вот тогда-то я о Москве и вспомнил. Не о той, которую в древности с веселья да похмелья строили, а о той, что получи-

лась. А получился бабушкин клубок — настолько перепутанный да закрученный, что москвичи только тем и занимаются, что друг у друга дорогу спрашивают. Здесь и вольно, и хмельно, и всегда тесно, как и должно быть в запутанном котенком бабушкином клубке. А Кремль — что тот дуб в молдавских кодрах, до гордой своей вершины облепленный муравьями.

Нет, господа, я — провинциал. Я душой отдыхаю в наших маленьких и неспешных городках, где нет ни шпалерных проспектов, в которых невольно и до сей поры свист шпицрутенов слышится, ни замысловатых арабесок муравьиного самоутверждения, ни людских скопищ, вечно спешащих неизвестно куда и неизвестно зачем. Здесь тихо, покойно, патриархально, неспешно, все друг друга знают и все друг с другом здороваются. Я бы в таком городке помереть хотел — кладбища там малонаселенные.

А еще потому я Москвы не люблю, что в ней судьба моя переломилась. Не решил еще, правда, к лучшему или к худшему, но в этой вечной дилемме и заключено наше отличие от тварей земных.

Закончил я в Корпусе младше всех: мой батюшка — служака из служак, а потому и запихал меня

на службу в возрасте, когда еще маменьку по ночам зовут. Семнадцать мне едва исполнилось, когда я в чине прапорщика гвардии прибыл на пополнение московского гарнизона. И по утрам, признаться, то место щипал, откуда усы растут. С редкой настойчивостью.

Служить бы мне в Первопрестольной, служить да не тужить, но так уж случилось, что моим первым ментором оказался гвардейский хрипун Васька Турищев. Учил он меня без затей, поскольку сам о них не ведал, зато надут был спесью, которую я по недоношенности ума своего принимал тогда за первейший признак особой комильфотности. Глупость вполне прощаемая, коли не переходит в хроническую. Мне повезло: могла и перейти.

Подробностей не знаю, а потому — без них. Васька люто взъерепенился по поводу категорического отказа какой-то белошвейки и решил преподать мне пример, как противостоять подобному a tout prix («во что бы то ни стало»). Правда, цена оказалась куда как выше предположенной.

— Ну попляшет у меня эта девка!

Поскакали мы куда-то вечером: куда — и не спрашивайте, и не знаю до сей поры. Молодость спокойно обходится не только без логики и раз-

мышлений, но и без географии, почему всегда влипает в истории. Вечер теплый, все прелестно, я чирикаю, поскольку возрасту моему свойственно чирикать.

— Учись защищать свою честь офицерскую, пока я жив, — втолковывал мне Васька всю дорогу. — По чести офицера ценят, нет у нас иных козырей…

И тут из-за угла появляется некая испуганная парочка. И робко так, застенчиво и неуверенно к заборам жмется. Девица мила и юна, молодой человек, спутник ее, неестественно напряжен и как бы вроде меня. То есть без усов еще и опыта. Мой arbiter elegantierum («законодатель изящных манер») тут же заступает им скромную тропиночку и вдруг — весьма нагло:

— А ну-ка, котик, брысь отсюда!

Клянусь, меня передернуло тогда. Но промолчал в жажде дальнейшего обучения.

— Сударь, — тихо говорит молодой человек. — Очень прошу оставить мою сестру в покое.

— Ах, твою кошечку, котик? — издевательски продолжает Васька. — Дьявольски мило, но, слышал я, у тебя дела неотложные? Хочешь, на извозчика дам?

— Сударь, — сдерживаясь изо всех сил, говорит

мой ровесник. — Я прошу убедительно.

— Убедительнее всего — трость. Трость есть аргумент неотразимейший.

С этими словами Васька поднимает трость и с силой бьет ею по лицу молодого человека. Поразительно, но юнец даже не загораживается от удара, а дева слабо вскрикивает.

— Опомнитесь, сударь, прошу. К большому сожалению, я не могу вызвать вас на дуэль, потому что вы не рискнете драться с недворянином, а посему…

И тут с Турищевым происходит нечто вроде припадка. Он впадает в исступление и бьет тростью молодого человека по рукам, по лицу, по голове…

— А посему!.. А посему!.. А посему!..

— Вы заставляете меня прибегнуть к крайней мере!..

Выкрикнув это, юнец вытаскивает откуда-то из-под сюртука пистолет. Васька отскакивает, девица кричит, а юнец приставляет пистолет к собственному виску.

Как я сумел ему помешать, и до сей поры не понимаю. Но успел броситься вперед, сбить руку. Выстрел все-таки грянул, но пуля ушла в воздух. А я… все помнится ясно и туманно одновременно.

То есть физические действия могу и сейчас повторить, но вспомнить, о чем думал, — excusez-moi, s'il vous plait («извините, пожалуйста»). Вырвал пистолет у цивильного брата таинственной белошвейки и со всей силы ударил Ваську Турищева кулаком по физиономии.

Тут уж без дуэли обойтись никак не могло. Через два дня, в Серебряном бору. Дуэль под номером один для меня. Я впервые целился в живого человека, и оружие показалось мне тогда слишком тяжелым. Но в ногу я ему все же попал. Не мог не попасть, должен был попасть, обязан был. Хотя бы в ногу.

А Васька в небо выстрелил, подлец. И крикнул:

— Бога благодари, что понравился ты мне! Эскапада твоя человечна! Ценю!..

И через десять, что ли, дней я поехал в изгнание. В пыльный город Кишинев…

> …Не могу не поведать о следующем времени своем. И потому, что наградил меня Господь добрым приятельством, и того ради, чтоб наследники мои чужих писем, а уж тем паче воспоминаний не листали похвальбы для. Вот, мол, глядите, кто в Кишиневе батюшкиным ментором

оказался.

Но это не совсем так. Ментором моим он не был. Он для начала до седьмого пота меня фехтованию учил:

— Ассо, Сашка! Ассо, и всегда ассо!..

Фехтование и в наши дни забывается, шпагу пистолет заменил, а в ваши времена, дети мои, поди, оно и совсем в небытие уйдет. Только дуэли сберегите, а то в мерзости захлебнетесь. «Есть упоение в бою…» И от себя добавлю: и очищение. Извини, Александр Сергеевич, за вольное мое добавление.

Да, чтоб поняли. «Ассо» — встречный бой. Любимый бой учителя моего.

Никого я не знал в Кишиневе, ну решительно. Правда, батюшка мне письмо дал к старому другу, но письмо то я ему не показал. Не следует жизнь отцовскими памятными плитами мостить, даже если они из доброго гранита.

Да, так оказался одиноким, но дерзкая мальчишеская гордость не позволяла мне ни на знакомства напрашиваться, ни каких-либо покровителей искать. Остановился у Беллы — она держала гостиницу и пансион при ней, и я обосновался в пансионе. Временно, пока мой Савка

не подберет мне самостоятельное жилье.

В том пансионе старшей оказалась болгарка Светла — светлое имя и светлые воспоминания мои. Мне ведь едва семнадцать минуло, и хотя сына уже прижил, а все равно пока еще девственником себя ощущал. Не то чтобы волочиться — флиртовать с девицами своего круга не решался. Дух у меня замирал и язык прилипал к гортани: корпусное обучение сказывалось, что ли? Словом, этакий оболтус саженного росту с соответствующей росту этому робостью, которую я изо всех сил и весьма неумело скрывал, коли случай какой сталкивал меня с дамами, а уж тем паче — с барышнями.

А со Светлой мне пыжиться было ни к чему. Мила она была мне, застенчивости никакой я пред нею не испытывал, она — тоже, и… И — вечная ей благодарность и признательность моя. Скрасила она мои первые тусклые вечера, растворила в ласках неуверенность мою и помогла понять и осознать, что такое — мужчина. Не раздираемый яростью плоти барчук, каким я маме Луше представлялся, а — кавалер, который способен присниться, и рыцарь, которому можно довериться.

…Никогда не забывайте добра, с коим свела вас судьба по дороге. Добро достраивает душу вашу, тогда как зло всегда лишь разрушает ее. А посему и недостойно того, чтобы помнить о нем…

Приписали меня к канцелярии наместника Бессарабии генерал-лейтенанта Инзова Ивана Никитича. Службы — утром явиться, а дальше — как знаешь. И, помаявшись от таковой деятельности, забрел я как-то в фехтовальный зал.

Признаться, фехтованием я не увлекался. В детстве, помнится, батюшка меня основам учил: как рапиру держать, как салютовать перед началом схватки и в конце ее, пяти позициям фехтующего да некоторым простейшим приемам. Он уже принял тогда твердое решение меня в Корпус определить, а потому к профессиональным учителям и не желал обращаться, справедливо рассуждая, что в Корпусе сына его все равно посвоему переучат. И оказался прав совершенно: в Корпусе фехтованию каждый божий день учили, но отнюдь не на шпагах, а на саблях. Учили тому, что в будущей офицерской службе будет просто необходимо, поскольку готовили из меня кавалериста. Но звон клинков в уши запал, поче-

му я на этот звон и пришел.

В зале один цивильный в красной феске на бритой голове с местным подмастерьем сталью лязгал. Мне, гвардейцу, признаться, маленьким он показался, но складненьким и проворным, как обезьянка. И поначалу встретил он меня как-то неприветливо, настороженно, испуганно даже. Дней десять понадобилось, чтобы, как говорится, la glace est rompue («лед сломан») был. И после первой улыбки его при звоне рапир, после взаимного обмена победами и поражениями перестали мы прибегать к помощи наемных учителей.

— Дебаже показываю, Сашка. Смотри: в атаке отводишь шпагу от клинка противника, освобождаешься и… и — укол!..

Александр Сергеевич Пушкин. Такой же ссыльный, как и я, хотя и по иным причинам. Тогда мало кто о нем знал из широкой публики, а уж гвардейцы вроде меня — и подавно. Это потом, потом знакомцев, метивших в друзья, появилось куда как много. И куда больше, чем требовалось. А мы быстро стали добрыми приятелями: оба не по своей воле тут оказались, и оба — молоды, и — земляки, как вскоре выяснилось. Он не так чтоб уж очень намного старше меня был. Совсем не так уж: я до двадцати, а он — за двадцать. По

годам, разумеется, считаю, только — по годам.

А вот почему он столь неприязненно встретил меня тогда, я понять не мог. Странно то мне было и — неприятно, если признаться. Но — не расспрашивал, а он о другом болтал.

— Разве у меня — профиль? У меня — ростра корабельная. Это ты — Антиной, когда нос не задираешь.

(Косо и торопливо: *Дьявольщина, шаги в передней. Не иначе как батюшкин посланец за мною приехал. Отложим бумаги…)*

И уже много дней спустя, поскольку вечера того 24-го никогда мне не забыть…

Батюшка у меня — кремень и огниво одновременно, но я у него единственный, и мы оба об этом помним очень хорошо. Может он меня без наследства оставить? Без всякого сомнения: старой закалки, екатерининской. За первый офицерский чин подарил мне деревеньку от щедрот своих, но с нею одной может и куковать оставить на всю мою дальнейшую жизнь. А деревенька та — знал бы он! — уж и распродана по кускам, и заложена в целом…

— Ну, что скажешь? — спрашивает. — С пол-

ным ремизом во всех талиях?

Это в момент, когда я к его надушенной ручке приложился: так уж у нас заведено было — то ли по старинке, то ли воспитания моего ради. Но взгляд его уловил. Суровый взгляд, надо сказать, как при штурме Рымника. Ладно, думаю, сейчас потеплее станет.

— Ан и нет, — говорю, нахально улыбаясь. — С таким позором я бы и в людскую заглянуть не решился.

Уж так мне рукой лоб прикрыть хотелось, так хотелось. Но помнил я, что батюшка про эту воспитательную меру отлично знает, а потому — терпел и не прикрывал.

— А что на депешу, мною полученную, скажешь? — батюшка с прищуром спрашивает.

— Это насчет семи тыщ под олексинское слово? — нагличаю, аж самому совестно, потому как мысль засвербила: «Это ж какому подлецу в голову пришло депешу послать?..» — Так слух тот я сам и распустил. Только ради того, чтобы вас с матушкой повидать. Я, батюшка, карты за версту на рысях объезжаю, лишь бы вас не огорчать.

Признаться, жду не дождусь, когда рявкнет: «Лгать не смей!..» Вот тогда и выложу все десять тузов одной червенной масти. Но он не орет, а

улыбается.

— А командир твоего конно-егерского обратное утверждает в депеше своей.

Тут уж я соображаю, что пора пришла — по банку:

— Вот, батюшка, десять тысяч, что вы мне на Рождество пожаловали.

Пересчитал он. Хмуро и старательно, пальцы мусоля. Он совсем не скряга, он широкой души старик, но уж очень ему хотелось меня приструнить. Поди уж и сочинить успел, как именно приструнивать будет. Кинул мне мои же деньги, буркнул:

— Дерни сонетку.

Дернул. И тотчас же на звонок матушка вошла: условились они так, видимо.

— Сашенька! Сыночек ты мой!..

— Вот, Наталья Филипповна, пред вами личность, нашу дворянскую честь в грош ломаный не ставящая, — вдруг радостно этак объявляет мой родитель. — Воспитали скупердяя себе на позор. За четыре месяца и трех тысяч прокутить не решился!..

Такой уж нрав. Никогда не угодишь.

— Стало быть, у вас будет о чем порассуждать у Сергея Васильевича сегодня вечером, — улыба-

ется матушка и целует меня еще крепче. — Похудел-то как, Сашенька…

— Большой эконом! — тотчас подхватывает мой родной бригадир. — Но вечером непременно пойдет с нами, чтобы я мог похвастать сыном не за глаза.

— Куда?..

И упало мое сердце на самое дно правого бот-форта. Будто предчувствие.

— К Сергею Васильевичу Салтыкову, — с доброй улыбкой поясняет маменька. — Уж такой хлебосол…

Улизнуть не удалось. Поехали к хлебосолу.

Правда, там не задержались. Потолкались в прихожей, родительница радостно целовалась, родитель добродушно ворчал, руки пожимая, а я — кланялся старшим, поскольку до молодежи и бокала, а уж тем паче — до карточных колод еще не добрался. Но твердо решил добраться, чего бы это мне ни стоило. Очень уж хотелось отцовские прилюдные шуточки святой истиной изукрасить.

Да не судьба. Только в залу шагнули, только я общий поклон отдал, только глазами окрестности обозрел…

— Подлец!..

Глянул и обомлел. Граф передо мною. Лично, в полный свой рост. Лицо в пятнах, руки дрожат, и голова как-то неестественно назад откинута.

— Это — подлец, господа! — нервным фальцетом продолжает выкрикивать граф. — Принимать не рекомендую! Ни в коем разе! Решительно не рекомендую!..

И с размаху влепляет мне пощечину. Звонко и хлестко. У меня искры из глаз, рука сама собой сразу вверх взмыла… И опустилась по швам. Дело не в почтенном графском возрасте: не мог же я Аничкиного отца родного… Поэтому и о барьере промолчал, растерянность и оскорбленное удивление свое из последних сил изображая. Правда, недолго, по счастью.

— Завтра жди моих секундантов. Простите, бога ради, гнев мой праведный, бригадир, и вы, почтеннейшая Наталья Филипповна. Имею основания.

Ушли мы, естественно. Но молчания, которое мне и отцу вытерпеть пришлось, я никогда не забуду. Матушке куда легче было тихие слезы лить, чем нам языки прикусывать.

В карете она и вовсе в голос разрыдалась, так ее в дом и увели. И мы с батюшкой прошли следом прямо в его кабинет. Он терпел, ожидая, когда в

себя придет, и я — терпел, только мне хуже было. Я о родительском прилюдном позоре страдал, об Аничке страдал и о графе — тоже страдал, потому что подобное можно было решить только пулей наповал. Тогда бы через год, глядишь, и забыли бы, как младший Олексин пощечину получил на глазах отца и матери. Правда, о себе я тогда не думал. Хотите — верьте, хотите — нет.

Ни о чем я не думал. Я стоял и терзался, а отец трубку раскурил, налил себе анисовой, выпил, поелозил бровями по лбу и как-то очень уж спокойно спросил:

— Ты и в самом деле подлец?

— Да. Потому что дал вам повод задать своему сыну именно этот вопрос.

Кажется, слишком запальчиво это прозвучало. Батюшка глянул из-под бровей, сурово глянул. Потом налил анисовой, пальцами рюмку ко мне придвинул. Как камердинеру, что ли.

— Выпей. Можешь сесть.

Выпил и сел. Помолчали.

— Рассказывай. Жду.

— Не подлец. Не вор. Не карточный шулер. Не трус. Не клеветник. Не, не, не. Все будет — «не».

— А что же будет «да»?

Я промолчал.

— Значит, ни с того ни с сего тебя, офицера, и нас с матерью граф прилюдно на позор обрек?

— Вас с матушкой — безусловно.

— А тебя?

— А меня прилюдно — под горячую руку. Видно, только что прикатил. Дорожный костюм на нем, обратили внимание?

— Не до того мне было, — вздохнул батюшка. — Сына по морде били. Как… как лакея проворовавшегося.

— Я ничего не украл.

— Коли так, стало быть, он целил в меня, — помолчав, изрекает батюшка. — Стало быть, мне с ним и к барьеру идти. Стало быть, дело решенное, и удались с глаз моих.

Явно двери в матушкину половину открыты были, как явно и то, что матушка все слышала. И при этих словах вошла.

— Подожди, Илья Иванович, на себя грех чужой брать. У графа дочь, именем Анна, за которой наш богоданный сыночек откровенно на всех псковских балах волочился. Он ведь давненько с ней знаком, еще с детства. Так или не так, Александр?

— Аннет здесь ни при чем, — кое-как выдавил я из себя.

— Посмотри матери в глаза. И лоб не вздумай ладонью прикрывать при этом.

Посмотрел. И сказал для себя неожиданно:

— Только не волочился я, матушка. Я люблю ее. Всем сердцем люблю. И умру, любя.

— И что же у тебя с этой Аннет… — начал было старик мой с неким внутренним запалом.

— Не надо ни о чем более спрашивать, — грустно так вздохнула матушка. — Все ясно, Илья Иванович, все ясно.

И медленно вышла, всю стать свою дородную в батюшкином кабинете оставив.

24-го то было. 24-го апреля, рамкой день обведите.

Ночью не спалось мне. От жгучего стыда и заболевшей совести. Ныла она. Как зуб, ныла.

Не о себе я думал тогда. Я получил, что заслужил. Даже меньше, чем заслужил, но довесок из свинца заслугу мою должен был уравновесить. Я о родителях думал. О милой, спокойной, всегда прощающей меня матушке своей. О батюшке, редкой отвагой и честью незапятнанной заслужившем глубокое искреннее уважение всей русской армии. Всей, хоть депешу посылай: «Бригадиру Олексину» — доставят. Из любого полка доставят, тотчас же курьера отрядив. Каково-то

ему публичный позор сына единственного, офицера гвардии, перенести? Каково?.. Это же таким рубцом на душу его, израненную и усталую, легло, который никогда не рассосется, дни земные его из него вычитая. И я, я вычел из его жизни эти дни, я, единственная надежда и тайная гордость его, в любви и счастии им зачатый! Я!..

Вьюном я на постели вертелся, крахмальные простыни в хрустящий ком сбивая. И жарко мне было, и холодно, и снова жарко, и снова холодно. Уж и вскакивал я, и по спальне метался, и снова в постель падал, и воду пил, и трубку курил, и что только не вытворял тогда в одиночестве своем и ночной тишине. Будто возможно совесть собственную, добела раскаленную, метаниями, табаком да водой притушить. Особенно когда знаешь, что и родители твои, любимые и искренне почитаемые, точно так же в своих постелях мечутся и ты — тому причина. Только ты, и никто больше. И уж никоим образом не вспыльчивый граф: у него своя правда.

А потом вдруг заснул. Ну вдруг, как провалился, точно прикладом по голове меня ударили.

Сколько в провале том обретался, не знаю. Снов не было, чувств — никаких, время тоже куда-то исчезло. И лежу ничком: как упал, так и не поше-

велился ни разу.

Но затем как бы светлеть стало, и время вернулось. Как бы издалека, как бы с разгону, как бы из тьмы уходящей, что ли. Голос матушки вдруг услышал:

— …Он ведь давненько с нею знаком, еще с детства…

С детства. Знаком. С детства…

И всплыло детство. Зыбко, туманом дрожащим…

Мне — лет тринадцать или даже двенадцать. Из Корпуса в отпуск приехал. Гордый собою, а особо — военной формой. Басом говорить старался, но бас мой еще не прибыл, и я хрипел перехваченным от старания горлом.

— Как вовремя ты, Сашенька, — матушка говорит. — Назавтра к добрым соседям в гости приглашены, дочке их восемь годков как раз исполняется.

— Девчонка!.. — старательно прохрипел я.

— Девочка, — поправила матушка. — Ее в пансион отправляют, завтра — проводы.

Наутро выехали. Конец мая, пора божественная, а я — в форменном мундире. Суконном. Настоял, чтоб с девчонкой этой именинной дистанцию соблюсти.

— Пусть попарится, — батюшка сказал.

Парюсь мужественно. Хотя пот — уже ручьями по спине. А в природе — ни дуновения. Природа в сладкой дреме млеет, а я — в казенном сукне. Слава богу, ехать не очень далеко. Часа два прел, не насквозь все же. Точнее сказать, не совсем насквозь.

Прибыли наконец.

Лужайка перед господским домом вся в детях, как в цветах. Штанов почти не заметно: одни разноцветные платьица. Взрослых, полагаю, тоже было достаточно, но я их как-то не заметил. Я платьица разглядывал.

— Это — Аничка. Именинница наша.

Что-то воздушно-розовое приседает передо мною. Из розового газа, как из облака, — синие глазищи, с косичками на висках, и больше ничего не помню. Щелкаю каблуками, резко склоняю голову. Как учили. Но учили и резко поднимать ее после поклона, а я только склонил, а… а поднять не могу.

Из-под юбочки у нее панталончики на два вершка выглядывали. И кружева на этих двух вершках горели натуральным золотом в тот солнечный день…

Вот за этим ажурным золотом я потом и бегал.

Правда, старался не бегать, а этак солидно перемещать себя в пространстве, как то и подобает военному человеку. Но когда панталончики с кружевами вдруг исчезали, переходил на несолидную растерянную рысь. Как собачонка, потерявшая след.

А заговаривать не решался, даже когда рядом оказывался. Не потому, что не знал, как беседу завязать: к тому времени мои воспитатели уже натаскали меня вести пустопорожние разговоры. А потому, что мужественно хрипеть мне вдруг расхотелось, а голоса своего — этакую помесь валторны с гобоем — смущался. Не убежден был, что он самовольно тембра не изменит. Так бы ничего и не произошло тогда, если бы Аничка сама со мной не заговорила.

— А у нас на прудах — ручные лебеди. Из рук у меня разные вкусные кусочки берут. Хотите посмотреть?

— Хочу…

От волнения пискнул в тоне прусской флейты времен Фридриха Великого, но именинница весьма благородно не обратила внимания на мою фистулу. И повела меня к прудам: там их целый каскад оказался. Очень мелодично покрякала и к нам из-под плакучей ивы выплыли лебеди. Штук

пять, не меньше.

— Ах, покормить их нечем! — всполошилась Аничка. — Какая же я растяпушка!

— Принесу! Только не уходите, не уходите…

Галопом помчался, но куда — неизвестно. Забыл спросить, а сам вовремя не разведал. Недосуг мне было, я за кружевами бродил как пришитый. Повертелся вокруг разных хозяйских пристроек, вокруг дома, уж в отчаяние было начал впадать, как вдруг на столе в открытой террасе обнаружил блюдо с только что испеченными эклерами. Схватил его — и пулей через парк к прудам, лебедям и девочке с золотыми кружевами. Следовало бы, конечно, цели поменять местами, но так — убедительнее порыв.

А блюдо тяжеленным оказалось. Еле доволок.

Ах, какое волшебство! Сидели на травяном откосе у пруда, лопали эклеры и кормили лебедей. Правда, кормила одна Аничка: меня вожак пребольно ущипнул, когда я попытался ее заменить. Больше не пытался: палец кремом лечил по Аничкиному рецепту. А она кормила — ее не щипали и даже позволяли себя гладить. Я регулярно мазал кремом палец, сосал его и молчал, зато Аничка болтала за двоих.

— Вы любите мечтать? Я обожаю. Я читаю,

читаю, а потом закрываю книгу и мечтаю о рыцаре без страха и упрека. Я увижу его — и сразу влюблюсь навсегда, потому что любить — значит жить, а жить можно только один раз…

Только один раз, подумал я почему-то. Вспомнил, ей-богу, вспомнил, что подумал тогда именно так.

— А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели? — вдруг спрашивает Аничка. — Смешно очень прикрывали, ладошкой наружу.

Я тогда еще и впрямь лоб ладонью прикрывал, когда что-то скрывать приходилось. Матушка мне, маленькому еще, сказала, что у меня все на лбу написано будет, если я когда-нибудь скажу неправду. Вот я и прикрывал всегда, когда очень уж хотелось в чем-то не признаваться, и долго от этой привычки отделаться не мог. Но в миг тот мне лгать совсем не хотелось. Мне хотелось этой девочке говорить только правду. И я рассказал про матушкино предупреждение, разъяснив в конце причину, почему вынужден был прибегнуть к этому способу в беседе с противной Полин:

— Она спросила, был ли я в Париже. А я не был, но прикрыл лоб и сказал, что был.

— Ой, как это славно! — Она аж пальчики от восторга перед грудью сцепила. — Я своих деток непременно этому обучу.

И так искренне воскликнула, что я решился, всю свою смелость собрав:

— А кружева у вас из настоящего золота?

— Какие кружева?

— Вот. На ваших панталончиках.

Она рассмеялась. Будто колокольчик прозвенел.

— Они — бабушкины. Хотите потрогать?

Сердце у меня почему-то заколотилось, и я потрогал. Мягкие, а на ощупь тяжелые. И хрипло изрек:

— Тяжелые. Значит, золотые.

— Брюссельские. Маменька так сказала.

Неизвестно, как бы закончилась эта беседа, если бы не закончились эклеры. Но все вкусное в детстве быстро кончается, и пирожные закончились тоже, остались крошки да кусочки, но хозяйственная Аничка решила отдать их лебедям. И с тяжеленным — я-то знаю! — серебряным блюдом в руках наклонилась к воде, ласково этак крякая. А блюдо перетянуло ее: Аничка вскрикнула, выпустила его со страху из рук, но я успел ее схватить и даже прижать к себе, пользуясь

древним правом спасателя.

А блюдо совершенно беззвучно исчезло под водой…

Кончилось видение. Очнулся я, но все ясно стояло перед глазами. Аничка, брюссельские кружева, лебеди и тяжелое блюдо, без всплеска канувшее в пруд… «Почему же я раньше об этом не вспоминал? — думалось мне. — Потому что девочки волшебно превращаются в барышень? Потому что я в тех девах запутался, которых успел на пути повстречать?.. И ты мне напомнить решила, любовь моя, что влюбились мы друг в друга целую вечность назад?..»

«Нет, это — прощание, — вдруг грустно и спокойно понял я. — Я буду убит. Убит… Это — прощание…»

Через два дня мы стрелялись. От батюшки избавиться не удалось, как мы с матушкой его ни умоляли. Так вдвоем и приехали в его карете. И молчали всю дорогу. И, приехав на место, тоже молчали в ожидании графа. А когда появилась его карета, батюшка сграбастал меня, прижал к груди своей:

— Ступай, Александр. Храни тебя Господь.

Я вылез, а он в карете остался. И даже все шторки задернул очень старательно.

А я подошел к графу и молча поклонился. И все дальнейшее делал, будто одеревенев. Секундантов благодарил, пистолет брал, к своему номеру шел, стоял там, ожидая, когда граф место свое займет. И ни о чем не думал, потому что первый выстрел мне принадлежал по всем правилам дуэли. Меня публично оскорбили, меня же вызвали к барьеру, мне и надлежало первым на курок нажимать. И я знал, что дуэль наша одним моим выстрелом для меня и закончится. Давно знал, еще с того злосчастного вечера у хлебосольного Салтыкова.

И когда наконец-таки сигнал к началу услышал, поднял пистолет и выстрелил в синее апрельское небо.

Кажется, закричал кто-то из секундантов, требуя остановиться, потому что один из соперников отказался от своего права уцелеть.

— Нет!.. — рявкнул граф.

Это я расслышал и впервые глянул в его глаза. А граф поднял пистолет да и бабахнул считай что навскидку. И меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то, вмиг сознание потеряв и в черноту провалившись.

Очнулся в отцовских объятьях. Карету трясло и раскачивало, в голове у меня тоже что-то тряс-

лось и раскачивалось, и боль была такой, будто голову мою расплавленным свинцом залили до краев. Расслышал только бормотание отцовское:

— Бог упас. Бог упас…

…И снова отчалил от ясного берега…

Ассо, ассо, всегда — ассо!

Май. Ну, скажем, 15-го

Графская пуля лоскут кожи с головы моей снесла. Но череп не пробила, только чиркнула по нему и дальше унеслась неведомо куда… Череп у меня как у зубра, что в молдавских кодрах мне как-то повстречался. Меня на охоту господарь ясский Дмитрий Мурузи однажды в свои угодья пригласил.

— Только в голову ему не стреляй, Сашка. Пуля от его головы отскакивает, как от каменной стены. И зубр тогда очень сердится. Под левую лопатку цельсь.

В глаза зверя смотрели когда-нибудь? Да не медведя, не волка, не барса даже. Настоящего зверя, доисторического, в очи которого наш прапращур глядел, дубину в потных руках сжимая? Не через решетку, разумеется.

Иное у них выражение глаз, взгляд иной. Допотопный, лишенный всякого выражения. Ни злобы во взгляде их нет, ни ярости, ни ненависти — ничего нет. Пусто. Завораживающе пусто, взора не оторвешь, всей душою своей ощущая

при этом, как в твою, в собственную душу твою ужас вливается, до краев ее заполняя. Потому что глаза их — мертвые только для нас, а для себя, для ледникового своего бесчувствия глаза у них живые. Только для себя и живые, а для всего прочего живого — мертвые.

А обычные звери, мохнатые и теплые, совсем иные. Они и соседи наши, и ровесники, и даже — дальние родственники, потому что Господь человека и зверей для него в одну неделю создал с разницей в один день. И общими чувствами наделил: страхом, болью, злобой, яростью. И на нас они с нашими же чувствами и смотрят, и мы их взгляд понимаем: нам и страшно порою, очень даже страшно, а вот пещерного ужаса перед ними не возникает. Возникает ужас спасительный, а не ужас обреченный.

Значит, зубра не Господь Бог создал, а кто-то другой. И не для нас создал, а — против нас. Не для украшения жизни нашей, а для устрашения ее.

Почему я — вдруг о зубре? Нет, нет, с головою у меня все в порядке, только болит очень. Но все я соображаю и сейчас не заговариваюсь, а вспоминаю. Глаза графа вспоминаю в тот самый миг, когда палец его на курок нажимал.

— Да бог с тобой, Сашка, — скажете. — Да кто

ж на дуэли выраженье глаз противника увидеть может? Разве что сокол поднебесный да горный орел…

А я — видел, хоть и не сокол я поднебесный и не горный орел. Зубром он был у барьера, зубром, господа, взгляд его тому свидетель неоспоримый. И стрелял навскидку, не как все. Из дуэльного пистолета и — навскидку…

Только почему же он промахнулся?.. Нет, не так, не так спросил. ЗАЧЕМ он промахнулся?..

Меня после дуэли быстренько в родовые Опенки отвезли, а затем в Санкт-Петербург доставили. Дня четыре я в нашем в санкт-петербургском доме без сознания провалялся, а чуть в себя стал приходить, снова — в карету. Сквозь боль дикую и сотрясенное сознание свое помню колени матушки, на которых всю дорогу голова моя лежала.

А больше ничего не помню…

А увезли меня потому, что батюшка всеми силами следы заметал, неистово веря в выздоровление мое и беспокоясь о дальнейшей моей карьере. А для этого меня для начала от государевых очей требовалось спрятать подальше, и как можно скорее. И мобилизовать всех добрых знакомых, чтоб словечки свои бормотали кому надо и где надо. И, проделав все это, бригадир мой

единственный, родной и любимый, в Новгород ринулся, чтобы договориться о моем переводе в иной полк. А некто, хорошо знающий государя, посоветовал батюшке, чтобы новый полк тот оказался армейским.

— При надобности можно будет осторожно намекнуть государю, что сын ваш уже наказан достаточно серьезно. Из гвардии в сермяжную армию перелететь — это, знаете ли…

Еще кто-то усиленно рекомендовал с графом переговорить на предмет моего прощения. Но тут уж родитель мой рассвирепел и рявкнул окончательно:

— Лучше Сибирь!..

Не знаю, как уж там все разворачивалось, а только дуэль нашу осторожненько спустили с вершинки в лощинку, где и оставили до лучших времен. И все обошлось, только я из гвардейца стал армейцем и зачислен был в поручики Псковского полка. И когда я, малость самую придя в себя, узнал об этом, то стыдом обжегся и сразу же матушке начистоту все выложил:

— Долг. Семь тысяч подполковнику Затусскому и пять сотен — Мишке.

— Сделаю, голубчик, все сделаю, не терзай себя. Сегодня же человека пошлю.

И я сразу успокоился, потому что матушка никогда меня не обманывала. Ни разу в жизни.

> …Надо непременно кому-то верить с самого маленького, что ли, детства. Верить без всяких клятв и слов, верить всем сердцем и всею душою своею в жизни своей практической. Скажете — отцу, мол, и матушке вместе? Хорошо бы так, да не получается. Дитя так устроено, что раздваиваться еще не умеет. Может быть, поэтому и дитя? И батюшка может стать тем камнем, на который потом совесть ваша всю жизнь опираться будет, и матушка, и дедушка, допустим, или там бабка. Но кто-то один. Двоих детская душа вместить не способна. Мала она еще очень. У меня основой этой матушка оказалась. Может быть, потому, что батюшки перед глазами не было. Воевал батюшка.

Только голова моя не желала успокаиваться. Болела, трещала, мутилась. И мысли мои бились в ней и тоже болели, трещали, мутились и рвались на части.

— Ты о приятном думай, Сашенька. Гони, из сил последних гони черноту из головы.

О приятном?.. А у меня — дуэль перед глазами. И — зубр с «Лепажем» в руке. Но я поднатужился…

…и вспомнил, как хохотал Пушкин, когда я ему однажды про матушкино предупреждение рассказал.

— Да тебе нужно не ладонью лоб загораживать, а конское ведро на голову надевать, Сашка! У тебя же на физиономии все написано!..

…Ох, как болит голова… Каждый толчок сердца болью отзывается. Нет, уходить надо из больного этого мира, уходить…

… — Не стискивай шпагу, Сашка, не сабля. Пальцами ее держать надо, только тогда она продолжением руки твоей станет. Аппель! Готов к мулине? Тогда держись.

Ах, как играла шпага в руке Александра Сергеевича! Трижды сверкнула в воздухе, кругом прошла перед глазами, и… и мой клинок со звоном отлетел в угол.

— Сашка, ты же ручищами своими подковы гнешь, а шпаги удержать не в силах. Пальцы у тебя слабые.

— Слабые?.. — обиделся я тогда. — Да я пальцами волошские орехи давлю дамам в диковинку.

Улыбнулся Александр Сергеевич:

— Принеси-ка трость мою.

Пошел я за тростью вразвалочку, со всей гвардейской небрежностью. Изящно этак поднял ее и… И чуть не выронил. От неподготовленности, что ли. Такой неожиданно тяжелой она оказалась. Ну с полпуда, ей-богу.

А Пушкин от хохота изнемогает. Он очень смешлив был, когда в добром расположении.

— Она тяжелого железа, Сашка, — пояснил он, с хохотом своим управившись. — Мне ее по заказу отковали.

— Зачем?

— Зачем? Затем, чтобы пистолет в руке не дрожал. Не все же гвардейцами рождаются.

Взял у меня трость и завертел ее мельницей меж пальцев правой руки. Ну будто петербургский фат перед гризетками. А вздохнул совсем невесело:

— Noblesse oblige («положение обязывает»), Александр. Noblesse oblige.

И в миг единый переменился. Глаза стали колючими, неприветливыми какими-то. Толстые губы оттопырились еще больше, даже брови будто друг на друга наехали.

— Что это с тобой, Александр Сергеевич?

— Уйди.

Я тогда еще не привык к тому, сколь быстро

Пушкин переходит из одного настроения в другое, казалось бы ни с того ни с сего. Вдруг это с ним случалось — мгновенный переход, будто с аллюра на аллюр. То был — сама улыбка, само остроумие, сама любовь к окружающим. То вдруг — мрачный демон, резкий, а подчас и невыносимо резкий, колючий весь, язвительный. То молчаливым и задумчивым внезапно станет средь дружеской попойки: хоть кричи ему — не откликнется. То — и опять вдруг, будто из себя самого фонтаном взрываясь, — озорной, веселый, живой, остроумный. И все — вдруг, вдруг…

Это я потом понял, что стихия внутри его бурлила. Это у нас нрав, характер, воспитание, оглядка да прикидка, а у него — сама стихия первозданная.

Но тогда я этого еще не ведал, а потому сразу же и сам удила закусил.

— Как вам угодно будет, милостивый государь, но больше я сюда — ни ногой.

То ли он в тот раз со стихиями своими справился, то ли меня, юного простака, пожалел, а только улыбнулся как бы через силу. И снял с левого мизинца длинный золотой наперсток.

Он под ним ноготь старательно и любовно отращивал. Слабость у него такая в те кишиневские

времена была. Слабость и гордость одновременно, потому что наши гордости и есть наши слабости. А чего больше в Пушкине было — слабости или силы, — этого уж никто не в состоянии измерить: не нашего измерения Александр Сергеевич был, не земного. Но так сужу, что слабости и были силой его, а силы — слабостями. Гений — всегда парадокс, которого не разрешить и самым мудрым из мудрецов.

Да, так снял он колпачок с мизинца, а ногтя-то там и нет. Под корень обгрызен. Он ведь ногти не только отращивал, но и грыз порою. Но уж коли отращивал, то очень этим гордился:

— По две линии за сутки отрастают.

И вдруг — огрызок под золотым наперсточком.

— Сломал?! — ахнул я.

Александр Сергеевич аккуратно мизинец колпачком прикрыл и тяжело вздохнул:

— Если бы. Хлыщ один вчера у Гольды в бильярдной сломал. И не случайно, а — обдуманно и нагло, поэтому никаких извинений его я и не принял.

— И чем же дело закончилось?

— Завтра отношения будем выяснять.

— Располагайте мною, Александр Сергеевич, — говорю. — Где и когда? Я готов.

Усмехнулся он. Добро и грустно.

— Нельзя тебе, Сашка, секундантом моим быть. Ты же как раз за дуэль и сослан в палестины эти.

— А я все равно там завтра буду. Буду! Я все ваши тайные местечки здесь знаю.

Ничего он на это не ответил. Помолчал, покивал красной своей феской, сказал неожиданно:

— Знаешь, кто секундантом у этого хлыща? Дорохов. Руфин Иванович, собственной персоной. И думается мне… Знаешь, что мне думается? Что до меня они могут добраться. На дуэли проще простого к человеку придраться, ты это не хуже меня знаешь. И не ссоры опасаюсь, а не к месту она сейчас. Так-то, Сашка, так-то. Дорохов — игрок отменный, на зеленом сукне с ним бы счастья попытать, куда бы как любопытнее было.

С Руфином Дороховым я в знакомцах не состоял, но был хорошо о нем наслышан, очень даже хорошо и — с разных сторон. Кто-то им восхищался, кто-то его и на дух не выносил, но никто не отрицал ни его отчаянной смелости, ни петушиной драчливости, ни холодного расчетливого бессердечия, ни восторженной преданности дружбе. Следовательно, был он фигурою, о которую все глаза спотыкаются, а потому и запоминают. А кроме того, слыл он и картежником, и до того

при этом азартным, что любой себя уважающий игрок почел бы за счастье великое выудить из него хотя бы полсотни червонцев за вечер. Однако рассказывали, что понтировать с ним было все едино что пытаться пообедать вместе с бенгальским тигром одним куском кровавой добычи. И когда я в рассуждениях своих дошел до карточной колоды, то, как мне показалось, сразу же и понял озабоченное беспокойство Пушкина. Затаенною мечтою Александра Сергеевича было не желание с волнующим кровь риском обменяться с Дороховым пулями. Нет, нет и вовсе нет! Заветной мечтою его было урвать у знаменитого бретёра и игрока добрый кус принадлежащего лично ему мяса. Пообедать с бенгальским тигром на зеленом сукне одним куском добычи.

И это желание следовало осуществить до вероятной дуэли между ними, а не после нее, вот что Пушкина тогда беспокоило. После возможной дуэли одного из партнеров почти наверняка не оказалось бы за карточным столом…

Насколько мне тогда было известно, с Александром Сергеевичем Дорохов никогда не приятельствовал, наедине они не встречались, в компаниях не пикировались, а если меж ними что и могло быть когда-либо, то как бы снаружи,

но никак не изнутри. К примеру, даму сердца не поделили, сами не ведая об этом. Возможно? Вполне возможно. Что еще? Насмешка, через третьи уста перешептанная?.. Ну, это вряд ли, Дорохов — мужчина очень даже серьезный был, на слухи не падок. А вот эпиграмма… Щедр на эпиграммы, подчас и злые, и колючие, был в то время Александр Сергеевич, ничего не скажешь. Сыпал ими направо и налево, в дамские альбомы их записывал, в списках они широко расходились, в собраниях разных их наизусть читали, помирая с хохоту, — что было, то было. И даже если в адрес самого Дорохова и строчки не прозвучало, то вполне могло про его друга закадычного прозвучать, про доброго знакомца, про его пассию, наконец. Могло, вполне могло: Пушкин в стихах своих никого не щадил. Ни друзей, ни недругов, ни дев цветущих, ни седовласых старцев. И по этой особенности своей, сам того не желая и не ведая даже, ненароком мог очень чувствительно задеть всегда ищущего повода для обид высокомерного гордеца, коим и был Руфин Дорохов…

А еще Руфин Иванович Дорохов был средоточием откровенного, ничем не прикрытого порока. Всегда откровенно — да с вызовом! — говорил то, что думает, нагло ухаживал, а если уж прямо

сказать — то не просто волочился, как то принято было, а чуть ли не приставал к дамам, грубил генералам и чинам, не признавая ни заслуг их, ни возраста, ну и так далее. Вплоть до матерщины в мужской компании, столь затейливо чудовищной, что свечи порою гасли. Правда, не столько от круто пересоленных выражений его, сколько от хохота клевретов. Иными словами, Дорохов открыто делал то, о чем тайно мечтаем мы, мечтаем и — не решаемся, и мучительно завидуем тому, кто оказывается на это способным. Мужчины все в той или иной мере порочны, это так, но порок вызывающий — это и магнит для нас. Всегда — магнит невероятной мощи притяжения. И Пушкина с неодолимой силой тянуло к Дорохову, к пороку, на грань мерзости именно поэтому.

Не мастак я думать, а потому неизвестно еще, до чего бы додумался тогда, если бы Александр Сергеевич не перебил заплутавшие мысли мои:

— Ты где квартируешь, Сашка?

— Мазанку снял, крайнюю в Кишиневе. За нею — уже виноградники, сады да вольные цыганы.

— Цыганы? — оживился Александр Сергеевич. — И ты в знакомствах с ними?

— Кое с кем в знакомствах. С табором одним, что в лощинке возле берега стоит. Большой табор

довольно, Кантарай вожак их. Ром-баро, как они его называют.

— Один в мазанке живешь?

— Один, если Савку, слугу моего, не считать. А хозяйка, мама Каруца — так уж она просила себя называть, — в халупе, посреди виноградника.

— Мама Каруца?

— Не знаю, то ли имя это, то ли прозвище какое. Она меня с цыганами и познакомила, бывают они у нее.

— В гости напрашиваюсь, Сашка. — Пушкин в непонятном волнении пометался по фехтовальному залу. — Может, прямо сейчас и поедем? У меня ренского — целый ящик…

Выключился я вдруг из дорогих воспоминаний. Почему выключился, не могу объяснить. Мысли скакали взбешенно…

> …А почему граф меня прилюдно подлецом обозвал? Родителей моих во внимание не приняв и не пощадив при этом. А ведь приятельствовал с ними, давно и добро приятельствовал. Ну ладно — я. Шут, фанфарон, хрипун гвардейский. Но — батюшка с матушкой, почтенные и всеми уважаемые родители мои?..

Стало быть, рассвирепел до крайности. Настолько рассвирепел, что даже за неблизкую дорогу не успокоился. Скорее наоборот, растравлял себя, до исступления доводя. Что за причина терзала его столь мучительно? Что за причина?..

Вспомнил:

— …Я все маменьке расскажу…

И Аничка все откровенно рассказала своей маменьке. А маменька, всполошившись, тут же все графу и выложила, не затруднившись подготовить его к разумному восприятию того, что уже свершилось. И я графа вполне понимаю: как же, честь дочери единственной, света в окошке, любви его и надежды…

…Если бы у меня такая дочь была, как Аничка моя бесценная, и прощелыга какой-нибудь… Я бы убил его прилюдно без всякой дуэли. Убил бы, и рука бы не дрогнула. А там — хоть Сибирь, хоть Петропавловка навечно…

А он — зубром обернулся, Бога из души вытеснив. Только промахнулся почему-то…

Нет, нет, уходить надо от мыслей таких, прочь

их гнать, а то голову мою, и до сей поры воспаленную, они окончательно разорвут. А еще лучше — убегать в другие времена, в места другие, к людям, дорогим сердцу моему…

…И в тот же день прямо из фехтовального зала поехали мы сперва к Александру Сергеевичу за ящиком ренского, потом — за другом его майором Раевским и уж только после всех заездов прибыли наконец в мазанку мамы Каруцы.

— Бояре, красавцы мои, радость-то какая!

Сама на стол начала накрывать, Савка только подавал ей, что требовала. А мы, чтобы не мешать им, по окрестностям бродили. Я виноградник показывал, сад…

— А цыганы где? — в нетерпении спросил Пушкин. — Ты про цыган, помнится, обмолвился. Заманывал, что ли?

— Никакого замана. Идем покажу.

Вышли на окраину виноградников. Вечерело уж, тишина на шумную Бессарабию опускалась. Вдали — Днестр, а в низине, возле берега, — шатры, костер, фигуры вкруг него. Песен, правда, не было: видно, к ужину готовились.

— И вправду — цыганы, — удивленно говорит Раевский. — Бесшумные только.

А Пушкин замер. И смотрит, смотрит…

— Когда поедят да выпьют — запоют, — пояснил я. — Вот тогда и шумно будет. Вплоть до рассвета.

Глянул на меня Пушкин. Чуть ли не с мольбой.

— Пойдем к ним, как запоют, Сашка? Песни цыганские послушать хочу.

— Нет, с ними так не получится, Александр Сергеевич. К ним подход нужен. Я маму Каруцу пошлю.

А тут и мама Каруца сама заголосила:

— Стол накрыт, бояре мои!..

Уснул я на этом рубеже воспоминаний. И голова во сне не болела и вроде бы молчала даже. А утром опять будто в голос застонала, но я постарался поскорее в тот кишиневский вечер вернуться. Не сразу, правда, это у меня получилось, но — вспомнил. Вспомнил все же тот цыганский вечер…

16-го. Или — 17-го. Словом, в мае

Тогда, помнится, я маму Каруцу сразу же к цыганам наладил, просьбу пушкинскую исполняя. Мы пока перекусывали, ренское пили, местное, мамы Каруцы вино пробовали. Красное, густое, как кровь, и терпкое, как нешуточная дуэль…

Мама Каруца быстро вернулась. У нее свои тропки были, короче наших.

— Милости просят, бояре мои. Я провожатого взяла, роса богатая сегодня.

Позвала то ли по-цыгански, то ли по-молдавански, и вошел молодой цыган в ярко-желтой рубахе с косым — через всю грудь, от правого плеча к левому боку, — воротом, застегнутым на множество мелких перламутровых пуговиц. Вежливо склонил голову и улыбнулся столь ослепительной улыбкой, что в мазанке нашей вроде как и светлее стало. А Пушкин сразу вскочил, воскликнув громко от всей полноты вдруг осенившего его открытия:

— Вольный человек! Вольный, во сто крат нас вольнее! Любуйтесь, господа, любуйтесь и завидуйте воле, России неведомой!

— Est-ce que vous prenez la parole («Вы выступаете»), Александр? — насмешливо спросил Раевский, вслед за ним пожимая руку молодому цыгану.

Пушкин страшно разобиделся, надулся, молчал всю дорогу, идя вслед за проводником. Но у цыганского костра вмиг позабыл про все свои обиды.

— Мы в сказочном раю, господа. В сказочном раю тысячу лет назад…

Мы и в самом деле были тогда в раю. Тысячу

лет назад.

Ах, как пели цыганы! Никогда вам таких песен не слыхать более, потому что для себя они пели. В России — в Петербурге ли, в Москве ли — они для нас поют, а там, на берегу реки уснувшей в Бессарабии, на воле, ночью, у костра, — для себя. Только для себя, вековую боль свою вспоминая…

Пушкин плакал. Раевский обнял его за плечи, но не утешал. По-моему, глотал собственный ком в горле. Я свой глотал, помнится. Гулко, мучительно и сладостно.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют…

По-моему, он тогда эту строфу и прошептал нам. Сквозь слезы непросохшие, но уже — с улыбкой. Тогда, тогда! Слышу голос его и эти четыре строчки. В миг тот поэзия души его слилась с поэзией природы. Настоящего и прошлого, тоски и восторга. Всего мироздания и себя самого.

Помнится, когда мы однажды в фехтовальном зале после доброй схватки отдыхали, сказал мне вдруг Александр Сергеевич с непонятной для

меня грустью и печалью:

— Ах, Сашка, Сашка… Баловень ты судьбы, сажень стоеросовая. А я у самого Инзова на квартире стою. Почет!.. Искренне любит он меня, знаю, только с глаз исчезнуть некуда. Кочую из салона в салон, как цыган во фраке…

Помолчал, добавил неожиданно:

— На что хорошо мне было в Гурзуфе, среди милых моему сердцу друзей, так и там однажды сорвался с места, для себя совершенно неожиданно, и версты две бегом бежал по дороге в горы. Жара была страшная, а я бегу, а куда бегу, зачем бегу… От себя самого, Сашка. От себя самого убегал, что ли… Le sinistre trébuche quelquefois sur le ridicule («Печальное иногда спотыкается о смешное»). Нелепо все, мой друг, нелепо.

Вот почему он тогда плакал у костра. У него было чувство, что он добежал туда, куда так стремился. К вольному берегу, распахнутому небу, вечным звездам, яркому костру. К людям, вольным не по вычитанной в книгах идее, а по натуре своей. У него была невероятная тяга к природно, естественно, что ли, свободным людям. Вольным не по государеву указу, не по бумаге помещика, не от рождения даже — от природы вольным. А потому и гордым.

…Мы ведь совсем не гордые, не обольщайтесь, дети и внуки мои. Нельзя быть гордым не от естества своего, как, к примеру, индейцы американские. Мы — спесивые гордецы, и только. И выше надутой горделивости собственной подняться не можем, как бы ни пытались, как бы ни старались и как бы ни прикидывались. И Александр Сергеевич мучительно ощущал эту безвольность и беспомощность духа нашего всем существом своим.

И — песня еще звучала — подводит ко мне мама Каруца старую-престарую цыганку.

— Предсказать судьбу твою тебе хочет, белокурый боярин. Все, говорит, для нее на лице твоем написано. А я по-русски слова ее переведу.

Я еще и согласия не дал, как старуха та цыганская коричневыми, сухими и костлявыми руками своими за виски меня взяла и к свету костра повернула.

— В очи ей смотри, взор не отводя, — очень строго сказала мама Каруца.

Глаза у цыганки были — без дна. Будто два отверстия в какой-то иной, неизвестный мне мир. А

может, и не мир то был вовсе, а — мироздание?.. Пристально смотрела, долго, испытующе. Но — заговорила наконец.

— Тяжкая судьба у тебя будет, витязь русский, — неторопливо, задумчиво и певуче переводила мама Каруца. — Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут. Казенный дом с железными решетками видит, но не в нем ты сгинешь. Шинель солдатскую на тебе видит, но не обессилит она тебя.

— Ну а радостное хоть что-нибудь она в жизни моей усматривает? — спросил я с усмешкой.

— Любовь тебя ожидает великая. И любовь эта и будет наградой за все страдания твои. Сын от той любви рожден будет, и род твой славный продолжит. Не бойся жизни своей, счастье потом все искупит. И ничего боле она тебе не скажет.

— Что ж, и на том спасибо, — признаться, вздохнул я невольно. — Вот ей червонец за гадание.

— Не!.. — вдруг гневно сказала старуха и ладонь свою сухую передо мной растопырила.

— Деньги за гадания берут, — строго сказала мама Каруца. — А это — не гадание. Это — пророчество.

Повернулись и ушли. А я с разинутым ртом остался. И с мыслями растревоженными.

Впрочем, я никогда мыслей растревоженных в себе не хранил. Не умел хранить, так уж я устроен. И уже через минуту и в себя пришел, и все из головы выбросил, и… и обнаружил, что Александра Сергеевича рядом нет. Один майор Раевский остался.

— А Пушкин где? — спрашиваю.

Засуетился Раевский, заоглядывался, вскочил даже. Сказал с испугом растерянным:

— Понятия не имею.

— Сидите здесь, майор.

Кинулся искать. Глазами, разумеется, языка-то не знаю. Но как раз в это время пляски затеяли начинать, которые цыганы так любят. И цыганские девочки для затравки первыми к костру выскочили. За ними девицы готовились, и все в радостном оживлении начали пересаживаться, круг для плясок расширяя. Поднялась сумятица, и я понял, что в толкотне этой веселой Пушкина мне никак не разыскать. И ринулся к центральному шатру, который для вожака всегда отдельно ставили. А потому ринулся, что ром-баро Кантарай мамой Каруцей был уже вовремя лично представлен.

Перед входом в шатер — два пожилых цыгана с трубками сидят. Нет, вход не загородили, не

спросили ничего, но посмотрели на меня вопрошающе.

— Мне ром-баро, — говорю. — Друг у меня пропал.

Не знаю, то ли по-русски они понимали, то ли просто оценили волнение мое. Но оба полотнища входа на себя молча потянули, доступ в шатер мне предоставляя.

В шатре небольшой костер горел. И у костра того ром-баро Кантарай и Александр Сергеевич Пушкин мирно распивали вторую бутылку ренского. Поклонился я у входа — вожак передо мною все-таки — и говорю весьма возмущенно:

— Александр Сергеевич, докладывать надо, если уходишь! Мы с майором с ног сбились…

Пушкин послушно встает, что удивительно, потому что послушанием он никогда не отличался. А тут — оживленный, улыбчивый, сияющий даже — без всяких возражений.

— Je demande pardon («Прошу прощения»), Александр.

Я не успеваю ничего сказать, как он с вежливым почтением — вожаку Кантараю:

— Je vous suis très reconnaissant, baron («Я вам очень благодарен, барон»).

Я малость ошалеваю, а он кланяется и почти-

тельно пожимает вожаку руку. И мы выходим из шатра.

— Кантарай что, по-французски понимает? — спрашиваю весьма обалдело.

— Мы с ним превосходно объяснялись на всех языках разом! — смеется Пушкин и вдруг крепко обнимает меня. — Спасибо тебе, Сашка, великое тебе спасибо!..

20-е мая

Вчерашний день, поутру начавшись почти безмятежно, к вечеру весьма осложнился. Пушкин, как и обещал, секундантом меня не взял, но я из не признающего никаких уверток майора Раевского без труда вытянул, где именно они стреляются. Прискакал туда заранее, осмотрел место, нет ли где преимуществ в высоте да удобно ли стоять на номерах. Затем спрятал арендованную лошадь в кустах и уселся в тени волошского ореха с бутылкой прихваченного вина.

За Александра Сергеевича я почему-то не беспокоился. Правда, стрельба его очень уж от настроения зависела, но мне думалось, что в это тихое, безмятежное утро настроение Пушкина будет, как обычно, в равновесии с настроением самой природы. В таком настроении Александр

Сергеевич, бывало, в пиковый туз попадал (почему-то он именно в него стрелять предпочитал), а вот если, не дай бог, раздражен он, если не в духе или в тревожных мыслях, тогда не то что в туза — в корову мог промахнуться. Но, повторяю, верил я, что сегодня все обойдется. Либо вообще миром, либо вообще — мимо. Александр Сергеевич уже перестал горевать по поводу поломанного ногтя, а обидчик его и поводов-то для дуэли никаких не имел, если Пушкин сказал мне правду тогда, в фехтовальном зале.

Я о другом беспокоился. Я беспокоился, что Пушкин, с Дороховым лицом к лицу столкнувшись, не удержится либо от дерзости, либо от насмешки. И невероятно, даже ненормально обидчивый бретёр воспользуется этим, тут же пригласив Александра Сергеевича к барьеру. Это для нас Александр Сергеевич там, в Кишиневе, уже Пушкиным был, а для светского общества — неказистым, подчас ядовито остроумным некрасивым человечком во фраке с дурацкой красной ермолкой на голове. Он раздражал тупых и чванливых, потому что всегда умел подчеркнуть, что они — тупые и чванливые. А тут — встреча с магнитом, который и отталкивал Пушкина, и к себе тянул одновременно с силой

неумолимой. В зависимости от того, какой из полюсов господствовал в этот момент в непредсказуемой пушкинской душе.

И если это так, если я не ошибался в предположениях своих, то мне одно оставалось: отвести от Пушкина эту возможную ссору. На себя адрес ее переписать, но уберечь любезного моего приятеля от дороховского пистолета…

…Доктор пожаловал и меня извлек из воспоминаний моих. В самый неподходящий момент извлек…

Во время перевязок да исследования раны к моей внутренней головной боли досадно внешняя прибавляется. Тут уж зубы покрепче стискивай, Сашка, стонать да вскрикивать дворянину только в беспамятстве дозволено…

— Зер гут, — бормочет врач наш Фридрих Карлович. — Очень карашо. Рана чиста, гной нет. Организм силу имеет достойно сопротивляться. Можно вставать очень немножко в один день.

Встал, а меня как мотанет в стенку.

— Постель, постель! — заволновался старательный немец. — Три день лежать, потом — вставать. Чуть-чуть. Третий день.

Признаться, я обрадовался. Я в прошлое хотел вернуться, додумать, помнится, что-то хотел…

…Сижу под орехом, вино из бутылки попиваю. По-гусарски, прямо из горлышка. И на девятом добром глотке вижу, как скачет кто-то прямо ко мне.

Время разглядеть было, и я — разглядывал. В английском костюме для верховой езды, с английским стеком в правой руке… И, еще лица не различив, понял: он, Дорохов. Секундант противной стороны. Только почему же он вдруг один сюда прискакал? Да еще заведомо раньше, вроде меня.

Подлетает, спешивается в десяти шагах. Привязывает лошадь и направляется ко мне, пощелкивая стеком по коротким голенищам. Вот, думаю, Сашка, тебе и все козыри в руки, ради чего ты и заявился сюда спозаранку…

— Bonjour («Здравствуйте»), прапорщик, — говорит он, передо мною остановившись. — Отдыхаете на пленэре? Давно ли здесь и долго ли намерены предаваться сему удовольствию?

— Полагаю, сударь, что это — мое дело.

Иду прямо на рога: ссориться — так уж лучше с глазу на глаз, пока Пушкин не приехал. Но Дорохов неожиданно улыбается вполне добродушно и говорит:

— Ценю вашу независимость. Однако ж вынуж-

ден просить вас прекратить сие занятие.

Ну вот, думаю, и предлог появляется…

— Вынужден признаться, сударь, что мне здесь очень нравится, а посему прекращать сладостного моего удовольствия никакого желания не испытываю. Не желаете ли вина отхлебнуть?

И протягиваю ему бутылку, чтобы он окончательно рассвирепел. А он не свирепеет, подлец. Он преспокойно берет бутылку из моих рук и с наслаждением делает глоток.

— Благодарю, прекрасное вино.

И возвращает мне бутылку. От неожиданности я глупею, слова не могу вымолвить, а он преспокойно продолжает:

— С большим удовольствием прикончил бы с вами эту бутылку, прапорщик, и еще бы за полудюжиной съездил, да только обязанности мешают. Человек вы весьма воспитанный, а потому скажу без обиняков. Через полчаса на этом месте некие обидчивые молодые люди намерены выяснить свои отношения. Согласно дуэльному, безусловно вам известному, кодексу зрителей при сем выяснении быть не должно. Только это обстоятельство и дает мне право убедительно просить вас своевременно покинуть сие роковое место.

— Да что вы, сударь! — с восторженной улыбкой ответствую я. — И мечтать не смел, что когда-либо получу шанс ощутить себя древним римлянином. Попивать вино и любоваться ристалищем!.. Согласитесь, это куда забавнее и куда как пикантнее, нежели пресловутое panem et circenses («хлеба и зрелищ»).

Ну, думаю, теперь-то ты просто вынужден… А Дорохов улыбается и сам переходит на латынь:

— Dura lex, sed lex («Закон суров, но это закон»), прапорщик. Но вы мне нравитесь: люблю людей cum grano salis («с крупинкой соли», то есть иронничных, язвительных). Выберем aurea mediocritas («золотую середину»). Вы ощутите себя древним римлянином на одной линии с доктором и каретами. По рукам, юный патриций?

И протягивает мне руку. И я ее пожимаю. А что мне оставалось делать, когда он этим, и признаться, довольно изящным, финтом атакующую рапиру из рук моих вышиб?.. А тут уж и пыль вдали показалась: дуэлянты спешили к месту поединка. Ладно, думаю, проиграл я свою первую партию вчистую, но робер-то из двух партий состоит, как должно Дорохову знать. Стало быть, и рипост (укол в фехтовании после взятой защиты) пока еще за мной.

Поначалу прятаться пришлось, как мальчишке в крапиве возле дамской купальни, чтоб Пушкин меня не заметил. Но его сразу же на место дуэли провели, и я вернулся к пожилому и очень недовольному всем происходящим доктору.

— Обстоятельства заставляют, сударь, противному для профессии моей капризу служить. Семья большая, жалованье грошовое, да и то не вовремя выдают…

В двадцати шести шагах им барьеры поставили, сабли в землю воткнув. Лица Александра Сергеевича я не разглядел, но по ужимкам его понял, что он в отличном настроении пребывает. И не то чтобы окончательно успокоился — дуэль есть дуэль, а пуля есть дура, — но как-то внутренне уверовал, что все обойдется.

Выстрелили они по сигналу почти одновременно и — оба стоят. И Пушкин, и хлыщ тот, ноготь ему сломавший. Ну, думаю, может, помирятся теперь.

Какое там!..

— С шестнадцати шагов! — орет Дорохов. — С шестнадцати, господа! Мы, как сторона оскорбленная…

О, Господи!.. Стали на шестнадцати, пальнули — и опять мимо. Тут доктор сорвался с места, к

ним побежал:

— Все, господа, все!.. Либо миритесь немедля, либо дуэль переносите!..

Помирились. Пушкинский обидчик извинения принес, усадил Александра Сергеевича на радостях в свою карету и умчал праздновать мировую.

А ко мне Дорохов подошел. Злой и безулыбчивый. «Так, — обрадовался я. — Кажется, мой рипост…»

— Плохо стреляют, — говорю. — Ваша школа?

— А вы, прапорщик, попробуйте в щелкопера этого попасть. Мал, тощ и вертляв, как мартышка.

— И пробовать никогда не стану, — ядовито улыбаюсь, всю наглость свою призвав. — А вот в вас — с удовольствием. Вы что, обжора, что ли? Или от карточного стола оторваться уже невмоготу по тряпичности характера?

Вот тут-то он и взбеленился наконец. Покраснел, потом побелел, потом рот разинул, сказать что-то пытаясь. Но попытка была безрезультатной, и он сделал то, чего я и добивался. Отпустил мне пощечину и только тогда силы обрел заорать:

— Присылай секундантов, мальчишка!.. И лю-

бовницам своим скажи, чтоб загодя pleureuses («траурные нашивки на платьях») готовили!..

Свершилось! Или — почти свершилось, потому что мне необходимо было, чтобы не я его на дуэль вызвал, а он — меня. Тогда у меня и право первого выстрела, и чести больше. Ведь не кто-нибудь, а сам Руфин Иванович Дорохов к восемнадцатилетнему прапорщику снизошел, к барьеру его пригласив: представляете, какие разговоры по всему Кишиневу пойдут?..

И еще одно обстоятельство волей моею тогда двигало: не мог я дороховского крика забыть. В ушах он у меня звучал: «С шестнадцати шагов!..»

Не мог простить жестокости этой. Шестнадцать шагов — либо верная смерть, либо верное увечье.

Вот потому-то я сразу же, не раздумывая, возвращаю ему пощечину. С той лишь разницей, что я и вправду на спор подковы гнул и в данном случае силы не сдерживал.

Отлетел он шага на три от моего внезапного ответа. Вскочил, почему-то отряхнулся сначала. И как-то странно — потрясенно, что ли? — молчал при этом.

— Ваши секунданты всегда найдут меня, сударь. Проще всего — в фехтовальном зале.

Поклонился я ему и пошел к своей лошади не оглядываясь.

21-е мая. Кстати, день рождения моего

Начался он совсем невесело: матушка депешу прислала, что отец у моего Савки помер. На похороны он, естественно, не успевал, на девять дней тоже, но к сороковинам поспеть мог. И я ему все бумаги выправил, подорожную оплатил, денег с собой дал да и отправил в Псковскую губернию.

— Памяти отцовской поклонись за меня. И мамке нашей слезы оботри.

Знал я его отца Игната с детства, когда он мне и Савке свистульки из вербы делал. Хорошие свистульки, голосистые… Потом батюшка мой на оброк его во Псков отпустил — головастым был мужиком, грамоту сам осилил…

— Поцелуй мамку за меня.

Помахал Савке вослед и занялся своими делами.

Секундантом своим я майора Раевского попросил быть. Рассказал ему все обстоятельства, вызову предшествующие, ничего не утаив. Он выслушал молча, подумал, вздохнул.

— В словах ваших нисколько не сомневаюсь, но любопытно, по какой такой причине Дорохов

столь долго ваши выходки терпел?

— Сам удивляюсь.

— Не похоже это на него, — продолжал размышлять майор. — Прощения прошу, одно на ум пока приходит.

— Что же именно?

— А то, прапорщик, что в вас он копию свою увидел. Себя — молодого, фанфаронистого и, пардон, не слишком умного.

— Нелестного же вы обо мне мнения, майор. Что ж, извините, что обеспокоил просьбой.

— Да перестаньте вы со мной-то фанфаронить, — вздохнул Раевский. — Коли б не сообразил я, что таким путем экстравагантным вы Пушкина прикрыть пытаетесь, а в результате за него же и под дороховский пистолет пойдете, так уж давно и разговору этого не было бы. Ну не нравитесь вы мне, Александр, что уж тут поделать. А Пушкину — нравитесь, стало быть, есть в вас что-то, мне пока недоступное. А потому — вот вам моя рука.

Пожали мы друг другу руки, крепко пожали, от души, хотя я, признаться, с трудом обиду проглотил. Да и то потому только, что Раевский был на редкость прямодушным человеком.

— Только Пушкину — ни слова.

— Ни полслова, майор, — сказал я.

И от полной раздвоенности чувств своих вдруг ляпнул:

— А у меня день рождения сегодня.

— Что ты говоришь? — засиял майор, неожиданно перейдя на «ты». — Вот уж об этом мы ему обязательно скажем!..

> …С прямодушными трудно дружить, дети мои далекие. С теми, кто под тебя подлаживается, умалчивая о просчетах, ошибках, а то и грехах твоих, куда как просто. И просто, и лестно, и душе покойно. Только опасно спокойствие это. Покойника оно спокойствие, а не живого человека. А душа работать должна, а не в уюте на лаврах почивать. Не тягучий приторный мед подхалимства пить должно человеку — пусть лучше он всегда по усам течет, — а тяжким трудом заниматься во спасение свое. Как на святых небесах, так и на грешной земле в особенности. А потому цените прямодушных друзей своих, никогда не щадящую самолюбия вашего прямоту их всегда с благодарностью, им же прощая без единой занозы про запас.

> Они — самородки в пустой породе человеческой, и уж коли повезло вам с ними встретиться, то берегите дружбу их, как компас души, как зеницу ока собственного…

Раевский и впрямь сказал Пушкину о моем дне рождения. Как раз в день тот я на фехтование наше обычное не явился, не желая встретить там секундантов Дорохова, а пошел к Белле в гостиницу — мы с ней добро сдружились, милая была дама и куда как меня постарше, а горничная болгарка Светла — чудо как хороша! Из-за нее-то и с Беллой познакомился… Впрочем, прощения прошу, упоминал об этом вполне своевременно…

Да, так пошел я к Белле и условился с нею, что вечером навещу ее с добрыми друзьями.

— Есть у меня уютная комната, Саша, — сказала она. — Велю там накрыть стол, и уж поверь, никто не помешает.

— Спасибо, — говорю и запинаюсь, этак со смущенной значительностью на нее глядя.

— Девочки? — невозмутимо спрашивает она. — Разумеется, и прехорошенькие. Сколько вас будет?

— Да трое всего-то.

— Трое и составят компанию вам, — улыбается Белла.

Выхожу от нее и нос к носу сталкиваюсь с Пушкиным.

— Дорохов тебя вызвал?

Хмуро спросил, не поздоровавшись даже. И кто ему разболтать успел?..

— Так уж случилось, Александр Сергеевич.

Идем по улице, неизвестно куда и зачем.

— Кого попросил в секунданты?

— Раевского. Он противников в фехтовальном зале ждет. Так условились. А вы-то откуда о сем пустячке узнали, Александр Сергеевич? Какая сорока на хвосте принесла?

— Да приятель его, мой вчерашний противник. Ох, Сашка, Сашка… — Пушкин вздохнул, помолчал. — Рассвирепел Дорохов, говорит, потому тебя и искал. Нельзя тебе промахиваться, хотя и дурно это. Дурно, дурно!..

Разозлился я, признаться, от опеки такой.

— Не беспокойтесь, — говорю, — Александр Сергеевич, понапрасну. Не промахнусь.

— Тогда — либо солдатская шинель, либо Петропавловская крепость!

Тут-то я слова гадалки и вспомнил.

— Стало быть, — говорю, — верно мне гадалка

в таборе нагадала, пока вы с Кантараем подряд на всех языках беседу вели.

— Гадалка? — Пушкин вдруг оживился. — И что же она тебе наворожила? Тут за углом Думиреску погребец винный держит. Вино у него доброе, пойдем? Там и расскажешь.

В погребце у Думиреску было прохладно и тихо. Только два безусых вроде меня гусарских корнета друг с другом в углу чокались. Громко, мрачно и беспрестанно.

Там я все ему и рассказал. И про казенный дом, и про солдатскую шинель. Все грозные пророчества старой цыганки выложил, только об обещанной мне великой любви умолчал. Слишком уж не верилось мне тогда, в мои-то восемнадцать лет, в любовь до гроба. Думал в то время, признаться, что и всем не верится, а потому и решил не говорить об этом, чтобы недорослем не показаться. Особенно — накануне пальбы с Руфином Дороховым.

> …Ах, дети мои любезные, не скрывайте же никогда добрых помыслов, надежд да мечтаний собственных от себя самих! Из молодечества, из глупой боязни юнцом прослыть, из ложного страха потерять

уважение в глазах усатых, хрипатых, дуэльными шрамами покрытых кумиров молодости своей. Любовь — не тела вашего застоявшегося восторг, любовь — торжество души вашей. Высший взлет ее и парение над обыденностью, над мелочностью жизни, над скотством ее парение. Ничто более не способно сил человеческих в такой мере приумножить, как всепрощающая, терпеливая преданность и нежная вера в собственную половиночку вашу, коли выпало вам сказочное счастье обресть ее в юдоли мирской…

… — Странно, — сказал Александр Сергеевич, внимательно выслушав меня. — Мне ведь тоже судьбу мою предсказали. Правда, не по глазам, а по линиям на ладони, но это все равно. В Петербурге это было. Гадала старая немка Кирхгоф Александра Филипповна. Свидетелей на сей предмет предостаточно имею: вместе с братьями Всеволодскими, Павлом Мансуровым да актером одним, Сосницким, к ней ввалился. А вывалился ошарашенным.

— Что ж так?

— А так, что она уж очень многое мне пред-

сказала. И изгнание на юг, и тяжкую здесь болезнь. — Он снял феску и показал мне свою обритую голову, только-только начинавшую отрастать кудрявыми каштановыми волосиками. — Видишь? Побрили после горячки. И, Сашка, главное она тогда мне предсказала. Что погибну я от руки высокого белокурого человека. И когда я тебя впервые увидел, все во мне как бы оборвалось: вот он, мне предсказанный, подумал сразу.

— Да стоит ли им верить, гадалкам этим, Александр Сергеевич? Только себя растравливать.

— Представь, и я ей с улыбкой то же самое сказал. А она мне в ответ: «Сегодняшним вечером вы деньги получите, и коли случится сие, то и остальное непременно случится, мною предсказанное». А я только рассмеялся, потому что ну ни от кого, ни от кого решительно не ждал и копейки. А домой прихожу — письмо от лицейского товарища моего Корсакова: «Милый Александр, посылаю тебе должок свой лицейский. Прости, что запамятовал…»

— Просто совпадение, — говорю я в надежде отвлечь Пушкина от сих дум роковых.

— Совпадение? А как объяснишь, что дня через два после этого встречаю знакомого одного, капитана лейб-гвардии Измайловского полка, и он

мне со смехом рассказывает, что фрау Кирхгоф эта самая нагадала ему, будто он очень скоро умрет смертью насильственной? И что ты думаешь? На следующее утро после встречи нашей солдат его штыком проткнул в казармах. Тоже совпадение?

Вздохнул я. В некотором смущении, что ли.

— Давай лучше вино пить, Александр Сергеевич.

Пушкин нехотя отхлебнул вина, помолчал. Потом вдруг озабоченно покачал головой.

— Знаешь, чего она мне всю жизнь опасаться велела, Сашка? Белой лошади, белой головы и белого человека. Трижды повторила: «Weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch». И с тех самых совпадений после гадания ее я прямо-таки с отвращением ногу в стремя ставлю, если лошадь — белая. Прав Шекспир: «В мире есть много вещей, которые и не снились нашим мудрецам».

Словом, невесело мы тогда вино пили. Пушкин как углубился в мрачность свою, так более из нее и не вылезал.

Я не решался молчания его нарушить, но безусые гусары спьяну готовы были на что угодно решиться. В юном возрасте настигает человека порою жужжащая потребность во что бы то ни стало обратить на себя внимание. Нечто вроде

острого приступа почесухи, что ли. И, нестерпимый зуд вдруг в душе ощутив, поднялись корнеты, стукнувшись плечами, и нетвердо направились к нашему столу.

— Вы — сочинитель Пушкин? — спросил один из них, с трудом, как мне показалось, сдержав икоту.

— Вам потребовалось что-нибудь сочинить? — холодно полюбопытствовал Александр Сергеевич.

— Н-нет, — с трудом промолвил второй, все-таки не удержавшись и громко икнув при этом.

— Тогда в чем же дело?

— Вышвырнуть их, Александр Сергеевич? — на всякий случай поинтересовался я.

— Успеешь еще…

— Скажите-ка нам, сочинитель, — вновь перехватил разговор первый, — как правильнее выразиться: «Эй, человек, подай стакан воды» или «Эй, человек, принеси стакан воды»?

И оба заржали, как стоялые жеребцы.

— Ну, вам не следует этим свои головы занимать, — совершенно серьезно сказал Пушкин. — Вы можете выразить подобное желание свое значительно проще. Крикните только: «Эй, человек, веди нас на водопой!..» — и вас сразу же

поймут.

— Что-о?.. Да как вы сме…

Я начал неторопливо подниматься, и оба гусара тут же с завидной поспешностью выкатились из погребка, так и не закончив фразы. Пушкин расхохотался:

— Нахально племя молодое!

Чтобы окончательно отвлечь его от грустных недавних размышлений, я про свой день рождения вовремя ввернул и добавил при этом, что отмечать решил у Беллы.

— Сколько же тебе исполнилось, Сашка?

— Осьмнадцать, Александр Сергеевич.

— Прекрасная пора, — наконец-то Пушкин улыбнулся. — Ну, тогда я домой пойду. К Инзову в клетку золоченую. Отдохну немного, а вечером у Беллы и встретимся…

…Что-то о прошлом я расписался. Надо бы и о настоящем вспомнить.

А в настоящем — не в Кишиневе, а в Опенках родовых — тоже о моем дне рождения не забыли. Вообще батюшка четыре дня в году меня особой ласковостью отмечал: день рождения и именины — 21-го и 23-го мая и дни тезоименитства моего — 30-го августа и 23-го ноября. А посему 21-го и приехал из Петербурга. Радостный, руки потирая.

Обнял меня, расцеловал, поздравил и говорит:

— Слава богу, утряслось все. Теперь ты — армеец, но зато в этом роде государь наш прощение тебе пожаловал. Так-то, Псковского полка поручик. Так-то.

А тут и верный мой Савка из Пскова прибыл:

— Квартиру снял, вещи из Новгорода перевез, новую армейскую форму доброму портному заказал.

— Толковый ты парень. — Батюшка расщедрился, червонцем отблагодарил его, разрешил сегодня с дворней мое рождение отметить, но чтоб завтра же во Псков отправлялся.

Следом за Савкой из Антоновки Архип и мамка моя Серафима Кондратьевна примчались с поздравлениями. Архипа батюшка к дворне праздновать отправил, а кормилицу к семейному столу пригласил:

— Чай, не чужая ты нам, Кондратьевна.

К столу тому праздничному и меня в креслах усадили. Доктор разрешил.

А того ради пишу о сем, что тем же днем милая моя кормилица шепнула наедине, как бы совершенно между прочим:

— А соседи-то наши, графья, слыхала я, в Париж уехали. Говорят, дочка их, Аннушка, уж так рыда-

ла, так убивалась…

Защемило сердце мое, в железных тисках защемило. Прощай, стало быть, Аничка, любовь моя единственная. На веки вечные прощай: родитель твой нашего с ним барьера никогда не переступит…

Невеселый, ох совсем невеселый день рождения у меня в Опенках оказался…

А тогда, в Кишиневе, — особо веселый и особо памятный.

Вечером Александр Сергеевич пожаловал. Раньше Раевского и — в полном мажоре. Обнял меня, расцеловал в обе щеки.

— За стол, Сашка, за стол, не пристало нам опаздывающих майоров дожидаться. Ну, пробку — в потолок, именинник!

Открываю я шампанское, разливаю. А Александр Сергеевич из кармана бумагу достает и читает мадригал, мне посвященный.

— Осьмнадцать лет! Румяная пора…

(Приписка на полях: *Увы, пропало то стихотворение, как, впрочем, и три других, мне посвященных. Не моя в том вина, потомки мои любезные. Тяжкая жизнь на долю вашего предка выпала, пророчица оказалась права. Так что не обессудьте…)*

Вскоре и майор объявился. Выпил шампанского за здравие мое и к делу перешел:

— Секундантов ждал, потому и вынужден был задержаться. Ситуация по меньшей мере странная: Дорохов просил тебе свою личную просьбу передать.

— Просьбу?.. — крайне удивился я, признаться. — И в чем же сия просьба заключается?

— Он просит тебя в качестве оружия избрать шпагу.

— Шпагу?.. — Я даже рот разинул.

— Шпагу, — подтвердил майор.

— Не пояснил почему? — спросил Александр Сергеевич.

— Пояснил, — с некоторой неохотой, что ли, сказал Раевский. — Буквально — и секундант клялся в этой буквальности — объяснение звучало так: «Жаль портить свинцом столь античное тело, сотворенное не без вмешательства небесных сил».

— Нет, он и впрямь bête noire («черный зверь»), — вздохнул Пушкин.

А меня в краску загнало. По самую шею.

— Этому не бывать! Только пистолеты!

— Не горячись, Александр, — негромко сказал майор и улыбнулся. — Во-первых, проткнуть

Дорохова шпагой — разговоров на всю Россию: бретёр сам на вертел попал. А во-вторых, у тебя — несомненные преимущества.

Пушкин расхохотался:

— Чудно! Чудно, Сашка! Бретёра — на вертел!..

Словом, дал я согласие на шпагах драться: уговорили они меня. Хоть, прямо скажу, против моей воли.

— Ну, допустим. Какие еще условия у Дорохова?

Раевский объяснил. Дуэль наша должна была состояться 28-го мая, ровно через неделю. И — на том же месте, где Пушкин со своим оскорбителем мимо лупили изо всех сил.

А покончив с этими, прямо скажем, не очень приятными для меня делами, мы вплотную приступили к ужину, и особо усиленно — к шампанскому. Пушкин читал стихи, Раевский говорил спичи, я тоже пытался бормотать что-то веселым языком. В разгар нашей пирушки — и очень вовремя! — пришли девицы. Молодые и все понимающие, как раз — под шампанское, хотя вдовушка Клико, вероятно, морщилась от наших острот и шуток. И в момент самого шумного восторга этого и столь дорогого для меня веселого и озорного застолья Белла неожиданно

заглянула в дверную щель и таинственно поманила пальцем.

Я вышел. Белла выглядела весьма озабоченной, испуганной и растерянной одновременно.

— Помоги мне, Александр Ильич, — шепотом сказала она. — Если не поможешь, меня ждут большие неприятности, а одного человека — не только арест, но возможно, что и виселица. Вот. Откровенно все тебе выложила.

— Откровенность за откровенность, Белла, — говорю. — Кто этот человек?

Некоторое время она молчала, покусывая губы. Дважды поднимала глаза и наконец решилась:

— Урсул.

— Урсул?.. — Я был поражен. — Предводитель молдаванских гайдуков?

— Да, — убитым голосом призналась Белла. — Неделя уж, как я прячу его в гостинице, и до сей поры все как-то обходилось. Но сегодня мне успели передать, что вечером непременно придут с обыском.

— И как же я могу тебе помочь?

— Посади его за свой стол. Он в мундире капитана Охотского полка, тебе останется просто выдать его за своего гостя, если вообще возникнет такая надобность.

— Белла, — как можно спокойнее и убедительнее сказал я. — Если бы я был только с девочками, я бы тотчас же согласился. Но со мною двое друзей, и я обязан поставить их в известность.

Хозяйка долго молчала, по привычке кусая губы. Потом с мольбой глянула на меня:

— А по-иному никак невозможно?

— Невозможно.

Опять — молчание. Правда, на сей раз не такое уж продолжительное.

— Я вынуждена, вынуждена. Позови их в коридор, Александр Ильич. Девки там обождут.

Позвал. Вышли. Белла им все откровенно выложила и руки заломила чуть ли не со стоном:

— Спасите его, господа! Спасите ради Христа!

Майор хмуро молчал, а Пушкин в восторге на месте устоять не мог. Меня обнял, Раевского подергал, Беллу почему-то расцеловал. И ей же строго напомнил:

— Про четвертую девицу не позабудь. Для капитана Охотского полка.

— Весьма рискованное предприятие, — сухо сказал Раевский. — Я понимаю, Белла, и вашу озабоченность, и ваши надежды, но…

— Никаких «но»! — воскликнул Александр Сергеевич. — Это же дело чести — с носом жандармов

оставить! И об Урсуле наслышан: отменного благородства и отваги человек.

— Да поймите же, господа, я рискую поставить под удар всю… — Майор вдруг запнулся (испуганно запнулся, как мне показалось), махнул рукой. — Впрочем, это уже не имеет значения. Хотя бы сделайте так, Белла, чтобы этот гайдамак с дамой к нам вошел с дружеским поздравлением, а не свалился бы как снег на голову. И очень было бы кстати, если бы наши приятельницы с его дамой не оказались бы добрыми знакомыми при этом.

И тут же ушел в комнату. Весьма не в духе, по-моему.

— Parfait («Прекрасно»)! — воскликнул Пушкин, он пребывал в восторженном настроении. — Давайте сюда вашего героя. Да не позабудьте о еще двух приборах: у жандармов — глаз прищуренный!

Белла все сделала как надо. И дополнительные приборы на столе появились, и два кресла лакей втащил, и мне дала время наших девиц подготовить («Ко мне внезапно друг пожаловать должен…»), и успела Раевскому шепнуть:

— Не беспокойтесь. Даму, с которой он придет, ваши девицы не знают.

И наконец вошел Урсул. Стройный, с черными бакенбардами, в ловко сидящем мундире капитана Охотского полка. И с ним — премиленькая брюнетка лет шестнадцати с такими умненькими черными глазками, что Александр Сергеевич вмиг развернул во всю красу свой павлиний хвост:

— И юная звезда взошла на небосклоне…

— Здравствуй, Александр, — невозмутимо говорит тем временем мне Урсул. — От всей души поздравляю.

Целует в обе щеки, преподносит корзинку с полудюжиной шампанского и знакомит с девой:

— Моя невеста. Представь же меня милым дамам и друзьям своим, Александр.

— Дамы и господа, мой друг капитан пехотного Охотского полка… — начинаю я, одновременно мучительно соображая, каким же именем мне его наградить.

— Ура, дамы и господа! — вдруг кричит обычно сдержанный Раевский, поднимая бокал. — Нашего полку прибыло, стало быть, за пополнение!

Премило пьем шампанское, премило Александр Сергеевич обвораживает и без того обворожительную брюнеточку, премило звучат и шутки, и стихи. И я, хозяин, вовремя что-то под-

ходящее случаю бормочу, а сам двум вещам не перестаю удивляться. Хладнокровию Урсула и неожиданной живой непосредственности сдержанного Раевского.

— До первого луча светила! — кричит Александр Сергеевич. — Кто первым узрит сей знак, тому и желание загадывать, для всех обязательное! Раздерни шторы, Сашка!

— Вы упрощаете задачу, — улыбаясь, говорит Урсул. — Этак все первыми и окажутся. Не лучше ли в полутьме да при свечах солнечного луча дожидаться?

— Совершенно согласен с вами, капитан, — тотчас же подхватил Раевский. — Чем сложнее задача, тем драгоценнее награда.

«Им полумрак нужен, — соображаю я сквозь туман шампанского. — Да и нам не помешает…» И горячо поддерживаю:

— За полумрак, пособник юного веселья!..

Сидим в полумраке. Пьем, шутим, смеемся…

И вдруг постучали в дверь. И хотя все, кроме девиц, стука этого ждали, а все равно, стук — как выстрел: и ждешь его, а он всегда — вдруг…

Да, так вдруг — стук, и дверь распахивается.

— Доброе утро, господа.

Чиновник, два жандарма, перепуганная Белла.

— Извольте представиться, господа. По очереди, разумеется, и неторопливо.

Пауза крохотной была, а в добрую версту мне тогда показалась. Да не на лошади версту, а — пешком. Секунда за секундой, как шаг за шагом. И неизвестно, сколько бы молчание это, угрюмо зависшее, продолжалось тогда, да тут совершенно уж неожиданно вскакивает Александр Сергеевич. Вдруг вскакивает и с радостным криком бросается к чиновнику:

— Иван Иванович, ты ли это?

Обнимает его, тормошит, смеется.

— И как ты о дне рождения Сашки Олексина узнал? Сашка, шампанского нежданным гостям!

— Что ты, Александр Сергеевич? — растерянно бормочет чиновник. — Мы — на службе…

— Осьмнадцать лет юноше нашему!..

Я упрашивать да руки пожимать бросился. Раевский тем временем шампанское разливает, девицы смеются, аплодируют…

Выпили они по бокалу за мое здоровье при всеобщих веселых уговорах. Выпили, непрошеные гости что-то объяснить пытались, но все весело шумели, даже девицы. Майор вновь бокалы наполнил, и то ли они еще одной порции шампанского испугались, то ли и впрямь ничего

особенного в пирушке не усмотрели, а только поспешно откланялись и ушли. А мы изо всех сил веселую шумиху поддерживали, пока Белла, проводив их, не вернулась к нам.

— Ушли.

Урсул тотчас же встал:

— Вечный должник.

Поклонился и вышел. И дева, таинственная и черноглазая, вышла вместе с ним.

А мы почему-то долго молчали. Девицы, пощебетав, тоже примолкли, а потом Раевский сказал:

— Первым я сегодня солнечный луч увидел, а потому и желание загадываю. Нежно благодарим хозяина, Беллу и — расходимся по квартирам. Спать, сколько сможем.

— Знаете, друзья мои, а я — горд, — вдруг тихо и задумчиво произнес Пушкин. — И чувство такое, что нет чище этой гордости ничего в душе моей.

28-е мая. И звон в ушах

Звон рапир. Неделю мне Александр Сергеевич спуску не давал. Точнее — почти неделю.

— Резче выпад, Сашка, резче! Он неожиданным быть должен, а ты загодя к нему примериваешься.

Впрочем, не сразу мы к исступленным своим занятиям приступили. На следующий день после нашей пирушки у Беллы Пушкин велел мне отоспаться, но я его не послушался. Поспал не более двух часов и побежал к Белле. Зачем побежал? За черными глазенками, уж очень пронзил меня взгляд их.

— Забудь, Саша, — серьезно сказала Белла. — Это сестра Урсула. Он определил ее… к одной почтенной даме, и она никуда не выходит, довольствуясь прогулками по саду.

Вот с Урсулом мне почему-то ссориться совсем не хотелось. Вздохнул я и переменил разговор.

— Я об Урсуле был совершенно иного мнения. Упорные слухи ходят, что он чудовищно жесток. Ограбил с шайкой таких же головорезов какого-то купца, но был пойман. И будто в какой-то крепости сейчас в цепях содержится.

Белла улыбнулась:

— Тот Урсул действительно существует и действительно в крепости сейчас. А вчерашний… не могу сказать настоящего имени его, ты уж извини меня, слишком широко известно оно в Молдавии. Так тот, которого вы вчера от ареста спасли, просто имя того разбойника взял, чтобы свое родовое уберечь. За что и обещал разбойни-

ку, что непременно побег ему устроит.

Ну ладно я перепутал, Пушкин такие проказы любит, но как же рассудительный майор? Мне было непонятно это, но я промолчал, принимая во внимание, что тайна не моя, а посему и вторгаться в нее не очень благородно. Но загадочность образа сего весьма меня заинтриговала. Весьма и надолго.

А на другой день явился в фехтовальный зал. Александр Сергеевич уже был там. Хмурый, озабоченный и серьезный.

— Узнал от верных людей, — сказал он, едва я порог пересек, — Дорохов шпагой владеет отменно, стало быть, никаких преимуществ в мастерстве у тебя нет. У тебя одно преимущество, Сашка, — в силе твоей бычьей. Стало быть, его изящной французской шпаге надо противопоставить шпагу итальянскую. Известна ли тебе разница в манере фехтования этих двух школ?

— Нет, — говорю. — Результат известен.

— Какой результат?

— Поразить противника раньше, нежели он поразит тебя.

— Корпусное обучение сказывается, — проворчал Пушкин и взял рапиру за рукоять, как гадюку. — Запомни. Французы держат шпагу

двумя пальцами: большим и указательным. Остальные три пальца лишь управляют шпагой в поединке. Doigte. («Управление пальцами», фехтовальный прием.) При этом вся нагрузка падает на кисть. Итальянцы обнимают рукоять шпаги всеми пятью пальцами, а управляют — кистью. Что при этом более всего должно работать? Локоть. А это требует большей затраты сил. А поскольку сил тебе не занимать, значит, отрабатывать будем итальянскую манеру. А потому не за рапиру хватайся, а за мою трость.

— Что?.. За железную трость?

— Она для тебя теперь — учебная рапира. И все дни, что до поединка остались, ею фехтовать будешь. И трость моя в твоей ручище подобно рапире и сверкать должна.

Взял я прут его кованый. Примерился и говорю:

— В трости, между прочим, гарда не предусмотрена, Александр Сергеевич.

— Не беспокойся, в руку колоть не стану. Ангард! (Боевая позиция.) Готов? Аппель!..

Ох, как же ныло плечо мое после второго дня фехтования железной пушкинской тростью! Александр Сергеевич отрабатывал каждый прием до чистоты, будто поэму сочинял, щедро

занимаясь вычеркиваниями да переписываниями. Посмотрите рукописи его, тогда поймете, какой муке он меня подверг, пока я чисто не стал выполнять все приемы боя. Всякие там батманы, дебаже, мулине, ремизы и репризы, рипосты и прочее, и прочее. Но в конце занятий наших справился я со всеми этими премудростями, и боль в плече прошла. И 26-го вечером Александр Сергеевич давал мне последние наставления:

— Главная твоя задача — оружие у него из руки выбить. Используй мулине: этот прием у тебя лучше всего получается. Только не рисуй концом шпаги полную восьмерку, а делай как бы девятку и в конце ее резко бей по его оружию поближе к эфесу. Возьми рапиру, покажу, чтобы ты окончательно уразумел.

Я взял рапиру, а он показал. Три раза, и за все три ни разу у меня рапиры не выбил. Но это его не смутило:

— Из твоей лапищи шпагу и оглоблей не вышибить. А у Дорохова — почти наверняка.

— Да уж постараюсь, — говорю.

— Вина не пить ни рюмки. Начиная с сегодняшнего вечера и до конца поединка.

— Александр Сергеевич…

— Это тебе не стрельба с места, это — тяжелая

работа, Сашка! Слово мне даешь в этом?

— Слово, Александр Сергеевич.

— И последнее. В день дуэли рано ляжешь и рано встанешь. И не вздумай за девчонкой какой уволочиться! От них ноги слабеют, а тебе часа два прыгать да прыгать.

Попрыгать мне пришлось…

> …Что это я прошлым увлекся, а о дне сегодняшнем как бы и позабыл вовсе? Нет, не позабыл. Просто тоскливо мне было в дне сегодняшнем. На Аничку он укоротился, а значит, как бы и вообще исчез. Исчезло время мое из жизни моей в то время…

Ну а так — поправлялся помаленьку. И боли в голове почти прошли, и ходить я заново учиться начал.

Только Аничка моя была в Париже. И остался у меня один Кишинев. Потому что там был тогда Пушкин…

28-е мая

Утром того, 28-го, числа я ни росинки маковой не проглотил. Никогда не завтракаю перед

дуэлью и вам завтракать не советую. От сытого кураж бежит, а голодного — любит.

В шесть за мной Раевский заехал.

— Готов?

— Готов.

Выхожу из мазанки своей, дверцу кареты открываю, а там — Пушкин. Съежился в уголочке.

— Я из кареты не выйду. Не выйду, Сашка. Мне бы в щелочку посмотреть, каков результат стараний моих.

Я было начал кричать, что не желаю его там видеть, что это нарушение правил, что, в конце концов, существуют же… А Раевский только вздохнул безнадежно:

— Не трать пыл понапрасну, дуэлянт. Меня Пушкин уже уговорить умудрился.

Замолчал я и в карету сел. А Пушкин довольно захихикал и от удовольствия руки потер.

От мазанки моей до места встречи с Дороховым путь был неблизок. Скрасить его хотелось, да, признаться, одна мысль покоя мне не давала. Мыкался я с нею, мыкался да и спросил своего секунданта напрямую:

— А вы знали, Раевский, что Урсул на самом деле и не Урсул вовсе?

Пушкин живо ко мне оборотился:

— Не Урсул? А кто же, коли не он?

— Знал, — вдруг резко сказал Раевский. — Но настоящего имени его сказать не могу, слово дал. А вот историю некую… Историю, пожалуй, рассказать готов.

— Расскажи, непременно расскажи, — завертелся на сиденье Александр Сергеевич: уж очень он в то утро вертлявым был, больше, чем обычно. — Люблю твои истории.

— Тогда представьте себе, что некий молодой человек, хорошо образованный и отменно воспитанный, но из порядком обедневшей семьи, на последние деньги, семьей собранные, уезжает учиться в Санкт-Петербург. Успешно заканчивает в университете, возвращается домой и узнает, что местный господарь разорил его отца до нитки, жалкое именье их на себя отписал, а юную красавицу дочь арнауты этого господаря украли и в дом господина своего увезли. Несчастный отец от позора сего тут же и помер, а мать добровольно в заточение к тому господарю ушла, чтобы к дочери быть поближе и тем от возможных посягательств ее уберечь. А молодой человек отважен и пылок…

Раевский неожиданно замолчал.

— Ну же, ну! — в нетерпении потребовал Пуш-

кин. — Почему ты замолчал?

— Сочиняю, — сурово пояснил Раевский. — Это ты у нас песни свои слагаешь с мастерством соловьиным, а я так не могу.

— Коль начал, так уж изволь продолжать.

— Дальше слушайте, коли желание есть. Собирает тогда осиротевший и оскорбленный молодой человек этот отряд из арендаторов своих бывших, сильно обиженных на самоуправство господаря, и глухой осенней ночью поджигает отчий дом, отошедший ныне в чужие загребастые руки. И пока арнауты господаря тушат пожар, врывается в господарский особняк, отбивает сестру с матушкой и увозит их в неизвестном направлении. Матушка его, правда, помирает вскорости, не снеся потрясений, а молодой человек объявляется вне закона. И, будучи знакомым с английскими балладами о благородном разбойнике Робине Гуде, решает повторить подвиги его в родной Молдавии. И начинает грабить богатых, щедро раздавая награбленное беднякам, скрываясь в промежутках сих подвигов под сенью густых дубрав.

— Густых дубрав… — медленно повторил Пушкин.

И вздохнул.

— Вот, собственно, и вся история о некоем молодом человеке, — сказал Раевский. — Простите великодушно, что даром сочинительства не облагодетельствован в полной мере.

— Славно, славно, — снова задумчиво протянул Пушкин.

Приехали наконец. Дорохов еще не появился, но Раевский все же взял с Александра Сергеевича слово, что из кареты он не выйдет, а будет наблюдать в щелочку шторки.

Только вылезли из кареты — Руфин Иванович пожаловал, а с ним секундант и доктор. Дорохов молча пожал Раевскому руку, холодно кивнул мне и пошел на поляну. Место нашего предстоящего боя осматривать.

Что уж долго-то рассказывать. Раевский, как водится, нам помириться предложил, мы, как часто водится, отказались. Секундант Дорохова шпаги из кареты достал, мы с Руфином Ивановичем до рубах разделись, разобрали шпаги и стали на позиции.

— До первой серьезной раны, господа! — крикнул Раевский.

— А об этом уж позвольте мне судить, — холодно улыбнулся Дорохов. — Я — лицо оскорбленное.

Подумал, искоса бросил на меня оценивающий

взгляд и добавил неожиданно:

— На перерывы, пожалуй, соглашусь. Через каждые полчаса, если то угодно противнику моему.

И на меня выжидательно смотрит. А я усмехнулся да молча плечами пожал.

Дали сигнал к поединку. Мы, как полагалось, отсалютовали секундантам и друг другу и — начали.

> …Ах, сыны мои, никогда сил своих не переоценивайте. Две системы решений существуют: сложная и простая, а военным языком сказать, так стратегическая и тактическая. Сложная система прикидывает все возможные расклады событий будущих, храня цель, так сказать, задним умом. А простая всегда ищет наикратчайший путь для достижения цели, ни о чем ином и не помышляя. Но был я и молод, и глуп тогда, а потому ни о какой стратегии вообще не желал помышлять. За что и поплатился…

Я шпагу всей ладонью держал, по-итальянски, легко и сильно выпады противника отбивая. Минут пятнадцать мы этак плясали друг перед

другом, приноравливаясь да упругим звоном обмениваясь. Показалось мне, что понял я манеру боя соперника своего, поймал его на выпаде, ударом далеко шпагу отбив. И тут же применил мулине, помня совет Александра Сергеевича. Стал рисовать перед глазами противника восьмерку да и не закончил ее, неожиданно резко ударив по его шпаге вблизи эфеса. И — удалось, удалось!.. Шпага из рук его вывернулась, сверкнула в воздухе и упала в шаге от меня. Мне бы наступить на нее или отбросить ногою подальше, но гордость к горлу подступила. Отсалютовал я ему и сказал:

— Возьмите свое оружие, Руфин Иванович.

Странно глаза его блеснули. То колючими были, как два крыжовника, а тут вдруг — блеснули…

— Благодарю, — сказал он сдавленным голосом. — Но пощады не ждите.

…А Пушкин потом, в карете, расцеловал меня…

Дорохов поднял свою шпагу, занял позицию и вдруг с такой ослепляющей быстротой начал меня атаковать, что я уж ни о каком там мулине или рипосте и вспомнить не мог. В глазах рябило от блеска его клинка, и я только тем поглощен

был, что с трудом отбивался да отступал. Не знаю, чем бы штурм его закончился тогда, если бы секунданты не заорали хором, что — перерыв.

Разошлись мы по разным концам и сели, отдуваясь. Тяжелая это работа — с боевой шпагой по поляне скакать. Уж на что я молодой да здоровый бычина — и то дыхание сбил…

Раевский ко мне подошел. Улыбнулся:

— Богу молись, Александр, на большого мастера попал. Но поступил очень порядочно, позволь руку твою пожать. Учти, у Дорохова сил мало осталось, а это означает, что сейчас он усилия утроит, чтобы с тобой разделаться. Коли продержишься до второго перерыва, считай, что победил.

Легко сказать — коли продержишься…

Не продержался я. Сперва было в атаку бросился, но он не только ловко ушел от нее, но и сам внезапно на атаку переключился. Столь бешеную, что я мгновениями и шпаги-то его не видел. Уж и отбивать выпады его не мог, а лишь отпрыгивал, тело свое унося.

И — не унес. Увидел лезвие, хотел отбить, но лезвие вдруг ушло от моей шпаги. А когда сообразил, куда оно ушло, то и тут не увидел, а — почувствовал. В тело мое оно ушло. По счастью, правда, вскользь, по ребрам…

Упал навзничь. Но шпаги из рук не выпустил. И второй, колющий удар, лежа отбил.

Закричали тут секунданты наши:

— Остановить бой! Врача!..

— Время еще не вышло, — улыбнулся Дорохов. — Коли признает себя побежденным и прощения у меня испросит, тогда…

Тогда вскочил я. Вскочил и на противника помчался, как бык на тореадора. Кажется, даже заревел по-бычиному. И не шпагу его, а его самого, Дорохова, только и видел. Видел и пер на него, как в самом последнем бою на противника прут, ни о чем ином уж и не заботясь. Еще дважды он шпагой меня достал, но я и уколов-то не почувствовал тогда. Я ничего уже не чувствовал, но яростью своей ослепленной пробил-таки непробиваемую защиту его. Пробил и, падая уже, вонзил шпагу в его бедро…

В себя пришел уже в карете, в трех местах перевязанный. И ведь отчетливо помню, что сознание не терял, даже Дорохову руку пожал, подойдя к нему по его просьбе. И на вопросы доктора отвечал, когда он меня перевязывал, и даже говорил что-то, а… ничего не помню. Не в себе был.

А в себя вернулся в карете только. Голова моя на коленях Пушкина лежала, карету трясло, по-

тому что кучер лошадей гнал, я боль ощутил и все начал соображать.

— Молодец, Сашка, — улыбнулся Александр Сергеевич и поцеловал меня. — Это — за то, что шпагу вернул. А раны у тебя пустяшные, кости нигде не затронуты. Я в Канцелярии скажу, что заболел ты, а потому просишь двухнедельный отпуск. На Антиноях, как на собаках: все заживает!..

Доставили меня до мазанки мамы Каруцы. Она было ахать начала, но я лег и сразу уснул.

Проснулся в сумерки от шагов с сапожным скрипом. Увидел человека какого-то, который баул в комнату внес, и вернулся сон досматривать, глаза, естественно, прикрыв.

…Во сне мне Аничка улыбалась…

Но все слышал. Какие-то шаги, какой-то шепот. А потом и голос разобрал:

— Проснись, Антиной. Тебе плотно поесть надо. Да и вина выпить тоже не грех.

Открыл глаза: Пушкин мне улыбается. За ним — стол накрытый, с двумя свечами. И мама Каруца у дверей. И сразу в ясное соображение пришел:

— Александр Сергеевич?.. Вы-то что тут делаете?

Улыбается Пушкин:

— А я тоже на десять дней отпуск испросил. Надо же тебя, дуэлянта, развлекать.

— Садись, Саша, — улыбнулась мне мама Каруца. — Я барашка для тебя зарезала, ешь, пока не остыл.

Александр Сергеевич к столу мне помог перебраться: покачивало меня, видно, крови много потерял из трех-то дырок на теле. Мама Каруца таз с водой принесла, умыла лицо мое, на котором пот коркой засох, и начали мы пировать втроем.

…Пишу сейчас строки эти и с глаз слезы смахиваю, тот пир вспоминая. Мама Каруца кормила меня, Пушкин вина подливал, шутил и стихи читал. И одно подарил тогда, мне посвященное…

(Сбоку — приписка: *Увы, не оставил я вам в наследство ни единой пушкинской строки, святой для человека русского и бесценной для меня. И хоть нет в том ни грана вины моей, а все одно — жаль до боли потери сей невосстановимой, в чем вторично вам признаюсь. Потом расскажу, почему и как случилось это. Потом. В надлежащем месте «Записок» сих и в надлежащее время.)*

Да, славно мы тогда попировали. И барашек отменным оказался, и настроение наше победное, и кураж из трех дырок, которые в теле моем дороховская шпага оставила, не полностью вытек из меня. Видать, с пира этого да с доброго молдавского вина я и пошел на поправку. Доктор наезжал, перевязки делал, разрешил во дворе гулять, но очень пока немного и — с провожатым. И я гулял с провожатым. С Александром Сергеевичем.

Вскоре и майор Владимир Раевский меня навестил: никак не мог раньше — служба, говорил, заела. А почти следом за ним какой-то арнаут — мрачный довольно-таки субъект, надо признать, — внес в дом большую корзину с отменным вином, поставил и вышел, не ответив нам ни на один вопрос. Пушкин первым ту корзину открыл (любопытен был невероятно).

— Никакой записки, — говорит. — Только — вот.

И достает из корзины зеленую дубовую ветку.

— Записки нет, зато хозяин теперь уж точно известен, — улыбнулся Раевский.

— Кто?

— Да тот, видать, кто в дубравах ночевать любит.

— Урсул?.. — почему-то шепотом спросил Пуш-

кин.

— Полагаю, что так.

А на следующий день — Раевский уж уехал — новый подарок в мазанку нашу внесли. Правда, не арнаут на сей раз ее доставил, а — посыльный, да и не корзина то была, а ящик венгерского токая хорошей выдержки.

— Письмо — внутри, — сказал.

И удалился. Мы вскрыли ящик и впрямь обнаружили письмо:

«ПОПРАВЛЯЙСЯ, ПАТРИЦИЙ. ОБИД ДЕРЖАТЬ НЕ УМЕЮ, СРАЖАЛСЯ ТЫ ОТВАЖНО, А ПОСЕМУ — МИР. ДОРОХОВ».

А через четыре дня Пушкин пропал. Я метался по двору, по саду, кричал до хрипоты, пока мама Каруца из виноградника не появилась на вопли мои.

— Зачем ты так кричишь, Саша? Пушкин на заре с табором Кантарая ушел.

— Как — ушел?..

— Велел передать тебе, чтобы ты не тревожился. На днях вернется, сказал.

И правда, появился через трое суток. Осунувшийся, усталый, молчаливый, в мятом сюртучке, прожженном в трех местах. Бросился я к нему:

— Александр Сергеевич!..

— Потом, Сашка, потом, — забормотал он, даже не улыбнувшись. — Не приставай ко мне сейчас.

Сел к столу, походную чернильницу свою водрузил и начал из всех карманов какие-то клочки бумажные извлекать. Разглаживал каждый, прочитывал бегло, клал на стол и тут же другой брал. А перебрав все, стал их по какой-то одному ему известной системе раскладывать. Будто пасьянс. И бормотал при этом под нос:

— Это — сюда. Не хватает… Не хватает чего-то. Пометим…

Оторвался от бумажек, ко мне вдруг повернулся:

— Четыре строчки. Всего — четыре. Послушаешь?

И начал читать, не дожидаясь моего согласия:

Расти на воле без уроков;
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат.

Ровно четыре строки прочитал и уставился на меня с каким-то хмурым, что ли, ожиданием.

— Ну как? Что скажешь?

— Мне понравилось, Александр Сергеевич. «И

не меняй простых пороков на образованный разврат…» Хорошо. Это я детям своим в назидание оставлю.

— В назидание?.. Вот то-то и оно, что в назидание…

Вздохнул Пушкин. И опять своим странным пасьянсом занялся, от меня отвернувшись.

> …Он из табора вернулся с первыми набросками поэмы «Цыганы». Может, даже не с набросками, а всего лишь с заметками к наброскам. Но прочитанное мне четверостишье в поэму не включил. Уж не знаю, по какой причине. Но я тогда с его голоса эти строчки запомнил. Дословно; понравились они мне очень…

Долго он так за столом сидел. Что-то правил, что-то вычеркивал, что-то менял местами. Мама Каруца дважды в комнату заглядывала, намереваясь на стол накрывать, но — не решалась. Потом Александр Сергеевич удовлетворенно вздохнул, распихал свои бумажки по карманам и сам закричал:

— Есть хотим, мама Каруца!

Умылся, переоделся к столу, но оставался задумчивым и… отсутствующим, что ли. Будто не

было его с нами…

А после обеда, когда мама Каруца уж со стола убрала, а мы вино попивали, сказал вдруг:

— Понимаешь, на месте они маршируют.

— Кто?

— Цыганы. Я раньше как бы только фасад и видел. Красивый народ, вольные фигуры, дикие пляски, диковатые песни. А потом изнутри на них же взглянул — боже мой!.. Вместо законов — обычаи, вместо обычаев — привычки, вместо традиций — предания. Просвещения не принимают, детей грамоте не обучают, женщины — почти рабыни, на себе семьи тянут. Собственности не признают, даже не понимают, что она такое означает да и зачем она вообще. И ведь не скупцы, а одну лишь ценность постигли: золото. И народ не просто смышленый — способный народ. И к ремеслу, и к труду, и к занятиям, и к музыке, а словно застыли в пути своем вечном. На тысячу лет застыли. Движение ради движения. По кругу таборы их движутся, по кругу, который они и рвать не пытаются, да и не хотят. И существуют по привычке, что ли. Вопросов себе не задают, а значит, и ответов не ищут. И ведь у нас, на Руси, таких вот, им подобных, тоже предостаточно. Тех, которые ни вопросов задавать не желают,

а уж ответов искать — тем более. Нет, это — не воля, Сашка, это — дикость. До воли еще дорасти надо…

Замолчал он. И я молчал, не очень, признаться, понимая рассуждения его. Долго мы так молчали, а потом Александр Сергеевич вздохнул и улыбнулся мне. Как бы через силу.

— Ты вроде окреп, Сашка, и я тебе уже не нужен. Да и дело у меня, признаться, появилось. Туманное пока, но чувствую, важное для судьбы моей. И — безотлагательное.

И после обеда уехал. Меня обняв да маму Карущу расцеловав в обе толстых щеки.

Июня, 12-го дня

Через неделю и я в Канцелярию явился, доложив, что избавился от всех хворей. Потом в фехтовальный зал зашел, но Александра Сергеевича там не оказалось.

Встретились лишь неделю спустя, не раньше. Я было спросил, почему он больше фехтованием не занимается, но Александр Сергеевич как-то очень уж странно глянул на меня. И, помолчав, сказал с весьма большим удивлением:

— Знаешь, Сашка, я роман в стихах начал…

И пропал с горизонта моего. А я мыкался. К

нему привязался, в салоны не тянуло, даже карты позабыл. Маялся, метался, бродил. Пил — с кем-то, беседовал — с кем-то, понтировал — тоже с кем-то, сейчас уж и не упомнишь. И почувствовал вдруг странную потребность к Дорохову заглянуть.

Необъяснимое желание, но — заглянул. Благо предлог имелся: за подарок поблагодарить.

Руфин Иванович по квартире еще с палочкой передвигался — видно, глубоко я бедро его тогда проткнул, в последнем падении. Но посещению моему он явно обрадовался, хотя почему-то изо всех сил пытался это скрыть.

— Аве, патриций! На растущей молодости раны быстро затягиваются, не так ли?

Почему он меня патрицием прозвал, не знаю, но я не обижался. Спросил о здоровье, ответ получил невразумительный и поинтересовался, не скучно ли в четырех стенах натуре его, столь энергичной и к азартным действиям склонной. Усмехнулся Дорохов:

— Я более к покою склонен, патриций. По мне, так сидеть бы сиднем в имении, управлять бы крестьянами с разумной строгостью, а там бы, может, и на соседской помещичьей дочке какой жениться ради рода продолжения.

— А что же мешает вам, Руфин Иванович, мечту

свою заветную осуществить?

— Так нет у меня ни имения, ни крепостных. Батюшка в лучший мир отошел, матушка с сестрой незамужней в Калуге проживают, доходов у них — один его пенсион за тяжкое ранение в войне Отечественной. А у меня и этого нет. То есть вообще ничего нет, поскольку я — в отставке без мундира и пенсии.

— Это почему же так?

Спрашиваю растерянно, поскольку им рассказанное как-то не укладывается в образ знаменитого бретёра и игрока. Да и просто в голову не укладывается.

— Долгим рассказ будет, — вздохнул Руфин Иванович.

— Мне терпению друзья учиться советовали.

Улыбнулся Дорохов:

— Впрочем, за парой бутылок доброго вина разве? Если вы и впрямь к дружеским советам склонны.

Заверил я его, что и склонен весьма, и спешить мне некуда. Лакей по знаку его три бутылки доставил. Выпили мы с ним по бокалу, и Дорохов начал свой неторопливый и, признаться, неожиданный для меня рассказ.

— Я из семьи небогатой да к тому же и разо-

ренной порядком. Но — большой: отец, мать, три сестры да младший брат. Но как-то сводились у нас концы с концами: батюшка и я уже офицерами были, а младший брат мой вот-вот закончить должен был свое образование и первый чин получить. А тут — наполеоновское нашествие, и очень скоро батюшка мой получает осколочное ранение при обороне славного города Смоленска. Я — в драгунском полку, младший брат корнетом в гусарский определен, а война идет себе да идет. И по дороге своей проходит через наше имение.

И — замолчал.

— Разорили?

— Дотла, патриций, дотла. — Руфин Иванович не сумел сдержать вздоха, хотя отменно владел собою. — А затем…

И опять замолчал вдруг, голову опустив. А сказал для меня неожиданно:

— Помянем брата моего, а?

Я бокалы наполнил. Встали мы, помолчали торжественно и выпили до дна.

— Семнадцатилетнего мальчишку наши доблестные сельские гверильясы до смерти кольями забили. Он по-французски куда лучше, чем по-русски, говорил, вот они его за француза и приняли, в полковых наших формах не разобравшись.

Как представлю себе гибель его под озверелыми дубинами, так…

Оборвал себя Дорохов, зубами скрипнув. Я поспешно вина налил, ему под руку придвинул. Он залпом бокал осушил, долго молчал, а усмехнулся невесело:

— В учебники для школяров это не попадет.

Промолчал я. Не до слов тут мне стало.

— Да. А я, представьте себе, уцелел в той кампании. За весь день Бородинского сражения только одно сабельное ранение и получил. А как выгнали французов из пределов Отечества, отпуск взял да и поехал на родное пепелище. Руины, патриций, руины. И от последней, единственной нашей деревни, — одни головешки. Чтоб деревню, мужиков да именье поднять, капиталы нужны, а у нас с отцом — дыры сквозные во всех карманах. Написал батюшка прошение государю с нижайшей просьбой о воспомоществовании. Какое там! С чиновничьей отпиской вернули: «Казна средствами не располагает». Рассвирепел я, тут же государю дерзкое письмо сочинил под горячую руку, красочно гибель юного корнета описав. Вот это послание до государя дошло, и был я изгнан из армии без мундира и пенсии.

И опять сам себя оборвал. Мы некоторое время

молча вино прихлебывали, а потом Руфин Иванович жестко весьма усмехнулся и продолжил рассказ свой.

— Знаете, как в приказе значилось? «За клевету на великий русский народ». И понял я, что правды Россия не приемлет. Россия мифами живет, патриций, и чем восторженнее мифы сии, тем больше в них верит. Даже не верит — раболепно им поклоняется. Не надоело вам слушать меня?

— Продолжайте, Руфин Иванович, — говорю. — Если вам не тягостны воспоминания сии, конечно.

— Наоборот. — На сей раз он усмехнулся скорее с грустью, нежели с жесткостью, столь свойственной ему. — Странно, но я некоторое облегчение, что ли, от исповеди своей испытываю. А еще то странно, почему я именно вас, столь юного и безмятежного, личным исповедником выбрал. Да не в том суть, вероятно. Наверно, в том суть, что батюшка мой, в отчаяние впав, решил пепелище наше продать вместе с крепостными, родовое гнездо наше. Я воспротивился было, а он: «О сестрах думать изволь! Образование им дать достойное, замуж выдать прилично!» И — продал. Но вскорости понял, что погорячился, да с горя и помер, едва старшую сестру мою замуж

пристроив. Средняя сестра в монастырь послушницей-черноризкой ушла, без вклада, а матушка да младшая — на моей совести теперь. — Дорохов раскурил трубку, помолчал. — А коли уж до конца исповедь доводить, так сначала бокалы наполните. Потому как, боюсь, узнав всю правду, вы от меня на другую сторону улицы переходить станете.

— Вот уж и не думаю даже, Руфин Иванович, — говорю. — Я из тех русских, кои правды взыскуют, а не мифов, национальную самовлюбленность ласкающих.

Вино мы неторопливо пили, каждый о своем думал. Ну, Дорохов — понятно, о чем, а я… Я не знаю, о чем думал. О том, пожалуй, что одиноки мы в толпе человеческой. Страшно, пугающе одиноки. Как пустынники в пустыне…

— Пенсион у батюшки невелик был, — неожиданно начал Руфин Иванович. — А после смерти его и невеликость сия вдвое уменьшилась, поскольку дочери законами не предусматриваются. Стало быть, моя очередь пришла содержать их достойно. А как? От офицерской карьеры высшей волею отлучен. В чиновники идти? Так там воровать придется, иначе концы с концами никак не сойдутся. И я, подумав да рассудив, иную профес-

сию себе выбрал.

Вдруг замолчал и уперся в меня ставшим враз колючим, выжидающим взглядом.

— Какую же, Руфин Иванович? — спросил я, ни о чем не догадавшись, да, признаться, и не желая ни о чем догадываться.

— Я — профессиональный игрок, Олексин, — жестко, с вызовом сказал он. — Дурачков богатых обдираю беспощадно, как липку, на что и существую, и матушку с сестрой безбедно содержу. А теперь уходите, пока опять к барьеру не подошли.

Растерялся я? Да, пожалуй, нет: что-то внутри меня готовым к этому признанию оказалось. Но — встал, руку через стол протянул и сказал:

— Я не чистоплюй, Руфин Иванович, хоть и из состоятельных. И вот вам моя рука.

Дорохов рассмеялся с огромным облегчением, как мне показалось. И руку крепко мне пожал, и обнял крепко.

— Что-то в тебе есть, патриций. Не пойму, что, но сквозь шкуру собственную ты просвечиваешь. Почему я изо всех сил и старался шпагой ее лишь продырявить, чтобы только глубже куда не попасть!..

Ну, посидели мы тогда еще немного — Руфин

Иванович уставать начал, и я это заметил, — допили вино под смех и шутки, и я даже решился вопрос, меня мучивший, ему задать:

— А почему вы, Руфин Иванович, тогда, на дуэли, с шестнадцати шагов потребовали обмена выстрелами?

— Что, сурово слишком?

— Сурово, — говорю.

— Проверить их решился, хоть и жестокой могла стать проверка. Но возмущен был, до крайности возмущен. Благородное выяснение отношений в балаган превратили, изо всех сил стараясь друг в друга не попасть. Ну, коли жалеете друг друга или вообще крови избегаете, так принесите взаимные извинения — и дело с концом. Зачем же публичная комедия сия?

— А коли бы пролилась кровь с шестнадцати-то шагов?

— Натура моя половинчатости не выносит, патриций. И очень я тогда, признаться, рассердился. И решил, помнится, настоящую проверку господам дуэлянтам учинить, подозревая, впрочем, что они и с двух шагов промахнуться готовы.

— Возможно, вы правы, — говорю.

Тепло мы с ним распрощались, и я ушел.

Пока до мазанки своей добрался, уже оконча-

тельно стемнело. Смутно вижу — вроде лошадь оседланная, а всадника что-то незаметно. Насторожился, шагнул…

Фигура от мазанки отделилась:

— Александр? Это Раевский. Где ты шляешься, когда нужен мне позарез?

— А что случилось, майор?

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его…

…Дописал до этого места, уморился, признаться. Только «Записки» эти припрятать успел — матушка на пороге.

— Нежданный гость к тебе, Сашенька.

И входит — Пушкин. Бросился я к нему, обнял.

— Александр Сергеевич! Какими судьбами?

— Твоими, Сашка. — Расцеловались мы. — Как узнал, что тебя едва на дуэли не убили, так и приехал.

Осунувшийся, почерневший даже. И глаза напряженные. Таким и запомнил его: не пришлось нам больше свидеться…

Но мы с ним тогда часок славно посидели, Кишинев вспоминая. А потом он заторопился — путь-то неблизкий — и достает из кармана несколько не по-пушкински аккуратно сложенных листов.

— Надумал тебе подарить, Сашка. Но, извини,

с условием, что не только вслух посторонним читать не будешь, но и спрячешь подальше. Это — «Андрей Шенье» со всеми строфами, полностью. Цензура сорок четыре стиха выбросила от «Приветствую тебя, мое светило!» до «Так буря мрачная минет!». Сорок четыре стиха четырьмя строками точек в печати заменили. Ну а я подумал и решил тебе полный авторский экземпляр преподнести…

(Приписка на полях:*...Рассудил я, любезные мои, что обязан включить в сей жизненный отчет свой полный список «Андрея Шенье», поскольку переплелся он с судьбою моею весьма причудливым и странным образом.)*

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

Посвящено Н.Н. Раевскому

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois S'ŭveillait…

(Так, когда я был печален и в заключении, моя лира все же пробуждалась…)

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир

Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет.

Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.

Я славил твой священный гром,

Когда он разметал позорную твердыню

И власти древнюю гордыню

Развеял пеплом и стыдом;

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,

Я слышал братский их обет,

Великодушную присягу

И самовластию бестрепетный ответ.

Я зрел, как их могущи волны

Всё ниспровергли, увлекли,

И пламенный трибун предрек, восторга полный,

Перерождение земли.

Уже сиял твой мудрый гений,

Уже в бессмертный Пантеон

Святых изгнанников входили славы тени,

От пелены предрассуждений

Разоблачался ветхий трон;

Оковы падали. Закон,

На вольность опершись, провозглашал

равенство,
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, — не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой, —
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;

Так — он найдет тебя. Под сению равенства

В объятиях твоих он сладко отдохнет;

Так буря мрачная минет!

Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:

Я плахе обречен. Последние часы

Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою

Палач мою главу подымет за власы

Над равнодушною толпою.

Простите, о друзья! Мой бесприютный прах

Не будет почивать в саду, где провождали

Мы дни беспечные в науках и в пирах

И место наших урн заране назначали.

Но, други, если обо мне

Священно вам воспоминанье,

Исполните мое последнее желанье:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;

Страшитесь возбудить слезами подо-

зренье;

В наш век, вы знаете, и слезы преступленье:

О брате сожалеть не смеет ныне брат.

Еще ж одна мольба: вы слушали сократ

Стихи, летучих дум небрежные созданья,

Разнообразные, заветные преданья

Всей младости моей. Надежды, и мечты,

И слезы, и любовь, друзья, сии листы

Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни,

Молю, найдите их; невинной музы дани

Сберите. Строгий свет, надменная молва

Не будут ведать их. Увы, моя глава

Безвременно падет: мой недозрелый гений

Для славы не свершил возвышенных творений;

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь… и, может быть, утешен буду я,
Любовью; может быть, и Узница моя,
Уныла и бледна, стихам любви внимая…»
Но, песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Всё вместе ожило; и сердце понеслось
Далече… и стихов журчанье излилось:
«Куда, куда завлек меня враждебный

гений?

Рожденный для любви, для мирных искушений,

Зачем я покидал безвестной жизни тень,

Свободу, и друзей, и сладостную лень?

Судьба лелеяла мою златую младость;

Беспечною рукой меня венчала радость,

И муза чистая делила мой досуг.

На шумных вечерах друзей любимый друг,

Я сладко оглашал и смехом и стихами

Сень, охраненную домашними богами.

Когда ж, вакхической тревогой утомясь

И новым пламенем внезапно воспалясь,

Я утром наконец являлся к милой деве

И находил ее в смятении и гневе;

Когда, с угрозами, и слезы на глазах,

Мой проклиная век, утраченный в пирах,

Она меня гнала, бранила и прощала, —

Как сладко жизнь моя лилась и утекала!

Зачем от жизни сей, ленивой и простой,

Я кинулся туда, где ужас роковой,

Где страсти дикие, где буйные невежды,

И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,

Вы завлекли меня! Что делать было мне,

Мне, верному любви, стихам и тишине,

На низком поприще с презренными бойцами!

Мне ль было управлять строптивыми конями

И круто напрягать бессильные бразды?

И что ж оставлю я? Забытые следы

Безумной ревности и дерзости ничтожной.

Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,

Ты, слово, звук пустой...

О, нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцепенелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопаг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый

зверь,

Моей главой играй теперь:

Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:

Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!

Пей нашу кровь, живи, губя:

Ты всё пигмей, пигмей ничтожный.

И час придет… и он уж недалек:

Падешь, тиран! Негодованье

Воспрянет наконец. Отечества рыданье

Разбудит утомленный рок.

Теперь иду… пора… но ты ступай за мною;

Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.

И всё покоилось. Лампады тихий свет

Бледнел пред утренней зарею,

И утро веяло в темницу. И поэт

К решетке поднял важны взоры…

Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надеж-

ды нет!

Звучат ключи, замки, запоры.

Зовут… Постой, постой; день только, день один:

И казней нет, и всем свобода,

И жив великий гражданин

Среди великого народа.

Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.

Но дружба смертный путь поэта очарует.

Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…

Плачь, муза, плачь!..

С тоскою жить — не значит жить тоскливо

17-е июня. Птичий денек, шумный

А я — болею. Не только больным числюсь, но и с болями в голове еще не расстался. Но уже в постели не валяюсь. Читаю в креслах, в саду гуляю, и все еще на ногах. Попробовал в седло сесть — земля перед глазами поплыла, и доктор наш, Фридрих Карлович, опыты мои пресек категорически:

— Голова просит время. Ждите, когда позволит.

Карамзина перечитываю, и в этот раз — с большим вниманием. Гордая у нас история, ничего не скажешь. Если бы не татаро-монгольское нашествие…

(Приписка на полях: *Это я так тогда думал. А сейчас перечитал мысли свои и — усомнился: да неужто ж, думаю, из-за ига этого проклятого мы и до сей поры в Европе чуть ли не варварами считаемся? Да не может так быть, почти что пол-*

тысячи лет со дня битвы Куликовской прошло, а мы никак оправиться от победы сей великой не можем, что ли? Нет, дети мои, невозможно сие предположить даже. Значит, думайте, размышляйте, прожекты собственные сочиняйте на сей предмет. История — не пропахший табаком да лавандой бабушкин сундук, а деловой портфель с документами, которые всегда следует держать под рукой, потому что они могут вдруг оказаться востребованными.)

И вот в день, обозначенный выше, батюшка мой, с Фридрихом Карловичем наедине потолковав, утром объявляет мне, что во Псков едем, но — в коляске.

— Пора тебе, Александр, командиру полка представиться.

Наверняка на него мой новый мундир подействовал: Савка этот мундир от портного вчера в Опенки доставил. Здесь местные женские ручки его на меня подогнали (а куда как лучше бы было меня под него подогнать, хоть и отощал я слегка в бездельной своей болезни) и предъявили на высочайший родительский смотр. И родителю мой

бравый пехотный вид настолько по душе почему-то пришелся, что утром и прозвучал приказ.

Едем, в рессорах покачиваясь. Жаворонки в небе, васильки во ржи, щебет птичий — со всех сторон.

— В каждой неприятности необходимо всегда приятность сыскать, потому как одно без другого не обходится, — говорит батюшка. — Офицер, в пехоте не послуживший, не есть офицер, безукоризненный во всех отношениях. Только серая пехота, столь несправедливо нами третируемая, способна оттачивать ремесло командирское, подобно точильному камню, придавая ему блеск и надежность.

«Пилюлю подслащивает, — лениво этак думаю я, разомлев. — А как относительно неоспоримых аргументов?»

— В пехоте солдату труднее всего службу нести, — продолжает мой многоопытный командир. — Почему, спросишь? Потому, мол, что тело свое, амуницией перегруженное, таскать на ногах приходится? Ан нет, не поэтому.

— А почему? — с ленцой спрашиваю, зевота вконец одолевать начинает.

— А потому, что нигде солдат себя одиноким столь сильно не ощущает, как единственно толь-

ко в пехоте. В кавалерии у него вроде как бы семья имеется: конь. И почистить его надо, и напоить, и выгулять вовремя — чем не семейная забота? В артиллерии — орудие, которое тоже любви и заботы твоей требует: чистить, смазывать, драить, чтоб сверкало парадно и устрашительно. Стало быть, и там — вроде бы как семья. А в пехоте ты один как перст. Себя призван обихаживать, а это — скучно.

— А ведь и вправду, — говорю я, начиная соображать, что зазря болтать старик мой не любит.

— Истинно что так, Александр, — торжественно изрекает батюшка. — Из чего следует одинокость пехотной солдатской единицы. Стало быть, пехота от офицера куда большей заботы требует, чем кавалерия. Не оставлять пехотинца надолго один на один с его осиротевшей душой. Это — пункт первый.

— Запомнил, батюшка. А второй?

— Второй в том состоит, что тебе, ротному командиру, в атаку их водить доведется. Думаешь, впереди да на лихом коне? А то уже от обстоятельств сражения зависит. Под Бородином из-под меня лошадь в первой же схватке выбили, и в шесть последующих я солдатиков своих уже со штыком наперевес водил. Стало быть, и шты-

ковой бой ты лучше всех в роте своей освоить обязан. Лучше всех, потому как первым на противника идешь, пример показывая и брешь во вражеской цепи прорубая. Вот этим и займись, времени не щадя.

(На полях — приписка: *Ах, с какой же великой и искренней благодарностью я батюшкины слова впоследствии вспоминал! Потом, потом… Будто предчувствовал он судьбу мою и старался облегчить ее, как только мог. Земно кланяюсь тебе, отец мой земной, и вы низко поклонитесь всем дедам своим, прадедам и пращурам заодно. Кабы не они, не отвага их, не стойкость несокрушимая, не забота о детях — и вас бы на свете не было…)*

В полку я командиру представился, но он особо разговаривать со мною не стал. Он ведь когда-то, еще юнцом безусым, под батюшкиной рукой службу свою нелегкую начинал, а потому быстренько и спровадил меня, задав приличествующие вопросы и выслушав вполуха ответы. Вызвал какого-то капитана — то ли помощника, то ли адъютанта — и велел меня в роту отвести да и оставить там наедине с солдатами.

Что капитан тот в точности и исполнил. И остался я один на один со своею ротой. С теми, которых вести мне во все баталии предполагалось, впереди шагая с ружьем наперевес, как батюшка разумно предостерег. И сто пар глаз тотчас же в меня уперлись, то же самое думая и то же самое представляя. И все молчат, слова моего командирского ожидая. Молчат настороженно, и я молчу настороженно, в глаза им глядя.

И видит бог, будто читаю вопросы их: «Каков ты, командир наш, нам покуда что неизвестный? Будешь ли терпеливо учить, как в бою выстоять, или все унтерам передоверишь, которым мы уже до смерти надоели? Постараешься ли беспокойства наши понять и сиротство наше постичь, или по плацу гонять станешь, парадный шаг отрабатывая да розгами грозя?..»

И я, помнится, одно тогда сказал:

— Служить всем трудно. Вам — ваши двадцать годов, мне — всю мою жизнь. Давайте же взаимно постараемся облегчить трудности сии друг другу. Вопросы есть?

— Обзовитесь, ваше благородие.

Унтер спрашивает. Седоусый, кряжистый, глаза умные и — сабельный шрам на щеке.

— Верно, прощения прошу. Поручик Олексин

Александр Ильич. В строю с восьми лет. В офицерском чине — с семнадцати. В бою быть ровно один раз случилось, но под пулями стоял больше.

Заулыбались солдаты. Видно, чем-то ответ мой им понравился. Может, откровенностью своей.

— Слава богу, повезло нам, значит, — вздохнул унтер. — Трое до вас было, да каждый — по три месяца. Отметится, что служил, день на плацу покрутится — да и поминай как звали. Прощения прошу за то, что прямо вам все выложил, но пополнения к нам много пришло. А пополнение не столько учить, сколько приучать к солдатской жизни пока еще требуется.

— Как командир полка мне скажет, так оно и будет. А о себе одно могу сказать: коли за гуж взялся, то воз вытащу.

Засмеялись мои солдаты. Я же на голову выше любого из них. Бывший гвардеец как-никак.

Но начало занятий моих с ними отложилось надолго, хотя я, честно скажу, намеревался к новой службе своей приступить прямо с завтрашней побудки. Но…

Но командир мне трехмесячный отпуск предписал для поправки здоровья. Будто жалобу унтера того, седоусого, подслушал и службу мою поелику возможно решил осложнить. И уже на

следующее утро отбыли мы с батюшкой восвояси…

1-е июля

В тот день переезд мой состоялся в дарованную мне Антоновку. Не по моему желанию, что уж скрывать. Я под матушкиным крылышком еще долго бы с удовольствием выздоравливал, лишь бы подальше от графских угодий. Не тянуло меня к ним, воспоминаний боялся, если напрямоту говорить. Но батюшка сказал как-то за ужином, вскоре после возвращения из Пскова:

— Поместье твое без призора, помещик. А потом — служба. Займись ты хозяйством своим, пока люди твои окончательно в разор не вошли.

И поехал я хозяйством, лично мне принадлежащим, заниматься. Вместе с Савкой и Карамзиным.

Архип добрым заместителем моим оказался — да и знал я о том, что умный он мужик, — но батюшку огорчать не хотелось. Отчитался Архип передо мною, как водится, ничего в делах его я предосудительного не нашел, и все пошло, как шло и без меня.

А я — силы копил, хотя уже и ощущал их (впервые, если уж признаваться, еще тогда, когда меня

женские руки вертели, новый мундир по фигуре подгоняя). Но, поверите ли, держал себя в строгости. Пассий не заводил, гостей не приглашал, к соседям не ездил и вином не увлекался по совету Фридриха Карловича. Монах монахом жил.

И терпеливо прожил этакой святой жизнью недели две. Земли свои объезжал, хозяйство осматривал, читал. Много читал, кстати… И чем спокойнее и привычнее жизнь моя помещичья становилась, тем труднее мне было с нею мириться. Ну не землевладелец я по натуре, нет во мне ни грана от Адама Смита, и деньги я считать только на зеленом сукне умею, что уж тут поделаешь.

И — затосковал. А затосковав, начал круги своих ежедневных прогулок расширять. То ли вольно, то ли невольно. И Лулу, умница моя, однажды вывезла меня к графскому особняку.

Долго я из кустов на него смотрел тогда…

Заброшенным особняк выглядел. Окна на первом этаже досками забиты, парк замусорен, дорожки зарастать стали. Все правильно: стареет дом без хозяев…

А вот крыло второго этажа мне живым показалось. И хоть и не увидел я жизни той в яви, но решил проверить, а не живет ли там какая-либо дальняя родственница, оставленная графом, что-

бы хоть как-то за родным гнездом приглядывать.

На обратном пути я об Аничке думал. Но — как о покойнице, что ли, прости ты меня, Господи. Точнее, конечно, как о погибшей любви, но любовь тогда любовь и есть, когда она не понятие, а — реальность. С теплом, улыбкой, смехом, тебе одному предназначенными. Для нас, мужчин, любовь — всегда живая женщина, а не мертвый схоластический постулат. А в Антоновку вернувшись, Савку позвал и велел ему осторожно навести справки, кто ныне проживает в том доме, где я впервые востребованным к жизни себя ощутил.

Через сутки докладывает. Парень исполнительный.

— Месяц назад приехал господин с доверительным письмом самого графа. Кто — никому не известно. Живет покойно, в хозяйство не вникает, но за домом следит.

День я голову ломал, кто же этот господин, а наутро решил идти в атаку. Предлог был: сосед, мол. Надо бы друг другу представиться, что ли. Для порядка.

А представляться-то и не пришлось.

— Оексин?.. Гьязам не вегью!..

Засядский. Хлыщ картавый. Графский при-

хвостень. Вот уж этого пшюта никак увидеть не ожидал. Но — обрадовался он, со скуки, что ли? Велел стол накрыть, как для гостя дорогого.

— А я — из Италии. Его сиятельство пьосил за домом пьигьядывать и дал письменное погьючительство.

Вот бы кого нашим сельским гверильясам укокошить. С великим отвращением речь его слушаю, а потому, вас щадя, не стану больше язык ломать.

— Два месяца с ними в итальянском раю. Чудно, чудно. Кампочино по утрам, фрутти ду маре…

Ну, обормот! Но слушаю, каждое мгновение нетерпеливо ожидая, когда же он об Аничке заговорит. А он не говорит. Он о себе только говорить умеет и стрекочет как сорока. Даже глаза чисто по-сорочьи закатывает.

— Нет, не умеем мы жить в такой приятности, не предназначены к ней. Окраинные мы люди. Думаете, мое наблюдение? Что вы, что вы! Графские слова…

Пьем вино — доброе, кстати, вино, из графских подвалов, не иначе. Ну, пьем, сорока трещит, а я — жду… А когда понимаю, что ничего путного от него не дождусь, бью в лоб:

— Да, да, одиночество, окраина, глухомань,

провинция. Может быть, банчок?

На миг глаза его блеснули. Только — на миг. Вздохнул, щипаные свои бровки на лбу собрал и — ответствует:

— Прощения прошу, никак невозможно.

— Что ж так-то?

— Слово графу дал.

— Святое дело, — говорю. — Однако засиделся я. Пора и честь знать.

— Знаете, почему слово дал? — захихикал он, глазками заблестев. — Помолвлен я с дочерью его. Да вы же знаете ее, Олексин. Да, да, с очаровательной Аннет…

А меня — будто молотом по голове. Но каким-то образом выдавил-таки из себя улыбку:

— Что ж, поздравляю.

— Да, да, такая партия! Такая партия…

Для кого — такая любовь, а для кого — такая партия. Вот так, стало быть, вот так…

Домой почему-то шагом возвращался. Лулу очень удивлялась. А воротившись, буркнул Серафиме Кондратьевне, не глядя:

— Настюху пришли. Подушки поправить.

А кормилица моя вздохнула с великим облегчением и даже перекрестилась:

— Слава богу, поправляешься ты, Сашенька

мой…

…Не сторонник я жизни монашеской, да и тебе ее не рекомендую. Однако пить да понтировать — то страсть личная, но девы милые всегда пусть станут для тебя страстью только с избранницей твоею совместно. Как бы пополам, что ли. Иначе чем ты тогда от скотов отличаться будешь? Не говорю здесь о любви с твоей стороны (лучше не влюбляйся, хотя и трудно это поначалу). Говорю о стремлении естества твоего, бороться с коим должно, лишь союзника в лице любви обретя. Долго быть девственником противно сути мужской, а коли прямо сказать, так и попросту вредно. Но помни: любая избранница твоя — живой человек, с душою, сердцем и мечтами. Не губи их, поелику возможно это. Да, историческое право…

(На полях — приписка: *Возможно, что историческое бесправие: вечное проклятие России, которое скажется, ох как скажется потом!..)*

…сделало тебя господином не только

над судьбами их, но и над жизнями одновременно. Да, в твоей власти отослать любую на скотный двор — за дерзость ли, за раздражающее стремление покуситься на свободу твою (взять реванш — свойство, присущее очень многим женщинам, к сожалению), за глупость или потому просто, что надоела однообразием, — подумай сначала. Очень хорошо подумай, потому что — живые они. Живые, страдающие и беспомощные и полностью в капризе твоем. Не давай воли ни капризу, ни минутному раздражению своему. Беря тело ее, ты и душу ее берешь, ибо неразделимы сущности эти. Да, необразованны они, темны, подчас и раздражающе темны, но отдали все, что могли, — не тебе, страсти твоей, — за что долг твой как мужчины озаботиться о дальнейшей их судьбе. Непременно замуж их выдавай, мужа сурово предупредив, что всю жизнь приглядывать будешь. Ну а уж коли ребенка тебе она родила — ни денег, ни земли не жалей ради дитяти собственного. Полевые цветы куда как оранжерейных лучше. По личному

опыту говорю, верь. И чести мужской не урони.

17-е, июль

Вот так и жил… нет, существовал так. Настюхи, Варюхи, Дашеньки, Машеньки. Без любви, без страсти, без смысла да, в общем-то, и без радости.

А в означенный день матушка приехала. Мы с Лулу где-то по полям мотались для убиения времени и тоски ради. И за время отсутствия нашего матушка не только приехать успела, но и все разузнать и встретила меня взглядом неодобрительным:

— Погнал во все тяжкие?

— Тоска заела.

— Стало быть, верно мне сердце подсказывало. Лекарство тебе привезла.

— Какое лекарство, матушка? — не удержался я тогда от вздоха. — Какое лекарство?..

— Такое, что, надеюсь, встряхнет тебя. На бал мы приглашены к людям, весьма достойным. И очень прошу тебя не усаживаться за карточный стол, едва порог переступив. Будет слово с тебя такое или сам с собой справишься?

— Слово, матушка.

Мне, признаться, все равно тогда было. Все

решительно: балы, дамы из общества, музыка и танцы, девичьи глазки и красноречивые веера их, флирты и игры, застолья широкого русского гостеприимства и умные разговоры бывалых стариков. Все, даже карточный азарт. Покинул меня смысл жизни моей.

> …Задумайтесь на досуге, для чего человек на свет Божий рождается. Для удовольствия тела своего? Так оно же, удовольствие это, с телом вместе и меняется. В детстве — одно, в отрочестве — другое, в молодости — третье. Стоит ли суетиться при такой переменчивости? Коль карты вразнобой, так и банка не сорвать. А банка не сорвал — в проигрыше остался, и скулить тебе в старости, в своей же бессмысленно прожитой жизни кого-то непременно осуждая. Не себя же. Себя человек никогда не осудит. Чтобы себя осудить, Человеком быть надо. Ну а коли ты сквозь все соблазны Человека в себе пронес, так и в старости брюзжать не будешь. Плоды будешь пожинать трудов своих, твердости своей, упорства своего, любви своей, преданно-

сти делу своему на любом, добровольно избранном поприще. А главное — чести незапятнанной. Многое я вам, дети, оставлю, весьма многое. Можете все по ветру пустить: прогулять, в карты проиграть, крестьянам собственным раздарить или в монастырь отдать на помин души — воля ваша полная. Только честь свою никогда не прогуливайте, не проигрывайте, не дарите и никому не отдавайте. Честь — алмаз души вашей, который вы всю жизнь сами огранивать обязаны, в сверкающий бриллиант его превращая…

В доме к предстоящей поездке на бал готовились. Собственно, готовилась одна матушка, новые, из Петербурга доставленные платья без устали ежедень примеряя. Меня тоже было во фрак обрядить решили, но я отбился. Да и то чудом. Исключительно с помощью вовремя подъехавшего батюшки.

— У офицеров — один фрак на всю жизнь.

— Неказист армейский-то мундирчик, Илья Иванович, — вздохнула матушка.

— Не мундир офицера красит.

Вот и весь разговор. Бригадир на пустые споры

слов тратить не любил.

И во дворе суматохи хватило. Батюшка, погоду учитывая, в ландо ехать решил. Вот его и чинили, и подкрашивали, из Опенков в мою Антоновку перегнав. Почему в Антоновку? Бригадир в ответ на мой резонный вопрос ответил, что-де отсюда ближе к балу, но я подозревал, что он, случаем воспользовавшись, поглядеть решил, как я тут с хозяйством управляюсь.

А я никак не управлялся. Не до того мне было, я с самим собой управиться не мог. Но батюшка все обследовал и дал мне хорошую выволочку.

— У дурного хозяина люди голодные. Вот о чем думать следует в первую голову. Если и с солдатиками безответными так поступать намереваешься, так лучше загодя в отставку просись.

Но все кончается, и в назначенный день мы ранним утром выехали к дальним соседям на бал.

Августа, 5-го дня

Точнее, вечера, поскольку ландо сломалось по дороге. Судьба часто ломает экипажи, в которых вы намеревались добраться до цели, казавшейся вам совершенно третьестепенной. И не целью даже, а так, увеселительной прогулкой, что ли.

Скажем, прокатиться по Фонтанке, попутно навестив господина N. А у вашей коляски летит ось, как то и случилось с нами в чистом поле.

— Эт, барин, не починишь, — доложил кучер после долгого осмотра. — Эт кузня нужна.

Поначалу батюшка хотел послать его за помощью к тем, к кому мы так стремились в гости. Но, поразмыслив, решил, что это будет не совсем учтиво.

— Понимаешь, Наталья Филипповна, я с ним не просто давно не виделся, я служил под его командой. И гонец должен сему обстоятельству соответствовать.

И послал меня. Спорить в подобных случаях было делом совершенно безнадежным — чем больше с бригадиром спорили, тем основательнее он убеждался, что прав, как всегда. Почему я безропотно взгромоздился на лошадиную спину и затрусил в направлении, кое-как мне растолкованном. Без седла затрусил, охлюпкой.

Указанного пункта достиг без приключений: нас в Корпусе охлюпкой препятствия заставляли брать, а не просто ездить верхом, да и с лошадью управляться, аллюры ее шенкелями меняя. Особняк вполне пожилой, давно в этой земле корни пустил, два крыла полукругом от центрального

двухэтажного дома раскинув. Пареньку какому-то из дворни высыпавшей лошадь отдал, несколько уже прибывших экипажей приметил и сказал дворецкому в ливрее, чтобы он мне тотчас же хозяина вызвал ради дела неотложного.

Вышел седоусый, весьма и вполне крепкий еще хозяин в генеральском мундире, а следом за ним — полная, искренней приветливостью лучась, и хозяйка пожаловала. Я и представиться не успел, как она — с радостью огромной:

— Как мы вам благодарны! У внучки единственной именины…

— От всей души поздравляю, — бормочу, к ручке припав.

Засим докладываю, кто я есть и что с нами стряслось. Генеральша разахалась, генерал собрался было тотчас же карету выслать, а меня просил проходить и быть как дома.

— Церемоний не признаем, поручик. Прошу чувствовать себя отнюдь не в гостях.

А я отказался, насочиняв, что наше ландо никакой посланец не сыщет потому-де, что ехали мы особой дорогой, спеша к дорогой именинице. Дал слово, что поторопимся, поелику возможно, и отбыл в хозяйской карете за родителями своими.

Почему не остался, спросите? Да потому что ни

матушка, ни батюшка и словом не обмолвились, по какому поводу бал. Не знаю, уж по какой причине такая забывчивость с ними приключилась, а только мне совестно стало к единственной генеральской внучке без цветов заявиться. Как гарнизонный замотанный офицеришко на дармовой стол с дармовой же выпивкой.

Глупость? Только с мужской точки зрения. А с точки зрения дам любого возраста — весьма приятный знак внимания. Вопрос, правда, в том заключался, где же мне эти цветы взять…

А места нашего крушения достигнув, вышел из кареты, огляделся… Да цветов-то — поле целое! Правда, не признанных в качестве подарка в провинциальном дворянском обществе, но лучше прослыть оригиналом, чем явиться вообще без ничего. И пока батюшка с матушкой в присланную генеральскую карету пересаживались, я нарвал целый сноп, сообразуясь с собственным вкусом.

— Веник твой неприличен, — строго сказала матушка.

— Что же вы мне загодя-то не сказали?

А батюшка лишь усмехнулся в усы. По-моему, вполне удовлетворенно.

С этим веником я в залу и вперся, где гостей уж

было предостаточно, поскольку все только нас и ожидали. Радостный шум, приветственные возгласы. И подводит ко мне генеральша худенькую деву, милую почти во всех отношениях исключительно вследствие своих осьмнадцати или там девятнадцати лет.

— Это — Полин, наша именинница. Полиночка моя. Внученька наша единственная.

Я звякаю шпорами, бормочу что-то галантно-французское. Девица рушится в низком реверансе, а когда выныривает из него, я гружу в ее объятья охапку полевых цветов.

— Merci pour attention («Спасибо за внимание»), — слабым голоском, а посему и как-то растерянно говорит именинница, зардевшись до весьма скромного выреза платья. — Vous êtes très gentil («Вы очень любезны»).

И вдруг ринулась от меня к подругам, к дамам, завертевшись по всей зале.

— Господа, господа, посмотрите, какое чудо! Ко мне пришла сама природа! Сама природа!..

И я сразу же делаюсь центром дамского разноцветия и разноголосия. Щебечут наперебой, как птицы в теплый майский вечер. Не потому, разумеется, что я уж этакий утонченный ценитель прекрасного. Все куда прозаичнее: в провинции

всегда с женихами трудности великие, потому что женихи эти в большинстве гарнизонную лямку тянут вдали от родных пенатов. А тут — вчерашний гвардеец да к тому же (глухомань только для посторонних глухомань, слухов в ней бродит больше, чем в Петербурге) сын единственный весьма и весьма состоятельных и известных родителей.

А дворянство-то вокруг — мелкопоместное большей частью. Детей, как правило, рожают много, дележи наследство кромсают, как торт именинный, и каждому — по кусочку. Только для скромного прожития. И землицы-кормилицы — по кусочку, и рабочих рук, то бишь крепостных, — по пальцам перечтешь. И ажиотаж вовсе не моим букетом объяснялся, а этим именно обстоятельством.

Правда, хозяев это не касалось. Два сына на Отечественной войне в боях погибли (Полина — единственная внучка генеральская — старшего сына дочь, а младший и жениться-то не успел), но о них — потом. Успею еще.

Потому и общество оказалось дамским в своем подавляющем большинстве. Девы, матушки, вдовы… Много вдов: французские сабли, пушки да штыки смертной косой прошлись по дворян-

ским фамилиям. На провинциальных балах это особенно тогда заметно было.

И еще одно было заметно: провинция предпочитала говорить на родном языке в отличие от столицы. И образование было не ахти чтоб, и практики маловато, и, мой французский услышав, умненькие от соревнований сразу отказались. Но мне это, признаться, очень понравилось, и я свой языковой багаж распечатывать не спешил. Да и Кишинев многому меня научил: Александр Сергеевич и друзья его, безукоризненно французским владевшие, по-русски спорили меж собой. А спорить начинали едва ли не по каждому поводу…

… — Нет уж, друг мой, ты совершенно не прав. Влезать можно не только на крышу, но и в карету. Ты видишь в этом одну лишь простонародность, не желая внимания обратить на стилистическую насмешку, в простонародности заключающуюся…

Ну и так далее. Не помню уж тонкостей споров этих, поскольку ровно ничего я тогда в них не понимал, но смысл передаю верно. За что и поручиться готов…

А матушка, как вскоре выяснилось, напрасно относительно карт беспокоилась: совсем не до

карточных страстей мне тогда оказалось. Нарасхват я шел в тот вечер. На дамский расхват, и мне это было, признаться, весьма даже лестно. И бал я вальсом открывал с именинницей и с нею же закрывал его Большой мазуркой.

Да, так о Полин. Об имениннице и хозяйке бала. Живая, неглупая, по-своему очень милая девица с грустными, какими-то… сиротскими, что ли, глазками. Фигурка даже не худенькая, а щупленькая скорее, и в этой фигурке что-то щемящее было. Настолько, что основной мужской инстинкт срабатывал: оберегать. Мужской, подчеркиваю, не жеребячий. И движения порывистые, в мазурке это особенно заметно: она чуточку задыхалась и очень уж стеснялась сего досадного обстоятельства. Почему я и не оставил ее после финального поклона, а пригласил к открытому окну, сославшись, естественно, на то, что, пардон, запыхался и без свежего воздуха никак не обойдусь.

— Может быть, на веранду?

Кажется, она чуть покраснела при этих словах, но пошли на веранду. Вечер таким густым был, что хоть ножом его режь. Ветерок как чуть прогретый бархат — настолько ласков и мягок. Аромат… нет, для русского августовского вечера иностранное слово никак не подходит, не вмещает его в

себя… Запахи. Копна запахов на тебя рушится. И всплески на близком озере. Только в России такие всплески, ей-богу. Редкие, таинственные, тугие какие-то, что ли. Ни в одной стране я таких всплесков не слышал, о чем и сказал Полин.

— А я ни разу не была за границей.

И лба при этом ладошкой ей прикрывать не пришлось. И что-то во мне… екнуло, что ли…

… — А почему вы ладошкой лоб прикрывали, когда с этой противной Полин беседу вели?..

Другие именины. Пруд. Аничка. Лебедей кормит, а я палец сосу, кремом сначала его смазывая…

А именинница говорит вдруг, вдаль глядя, точно воспоминания мои прочитав:

— Мы с вами давно знакомы. Даже немножко беседовали. У графинюшки Аннет на именинах. Мы с Аничкой — кузины. А потом вы с ней ушли. И кормили лебедей на пруду. Я подсмотрела. Это, конечно, очень стыдно, но это так.

Господи, никогда я доселе с прямотой такой не встречался. Ну, у мужчин, правда, она изредка попадалась, но у дев — никогда. И я был убежден, что она девицам вообще несвойственна. Так сказать, органически. И вдруг — откровение настежь.

…Откровение заразительно, никогда не замечали? Стало быть, прививку вам сделали от откровения, как от оспы. А мне — не сделали. И слава богу…

— Я потерял ее, — говорю. — Навсегда потерял. И никогда мы более не встретимся…

Замолчал, вдаль гляжу. И вдруг чувствую, как ее ладонь легла на мою и чуть ее сжала. Без всякого дамского намека, кокетства — что там еще? Как друг, как товарищ руку мою пожала, чужую боль как свою ощутив.

И я все ей рассказал, вообразите себе это! Все, все решительно, лба ладонью ни разу не прикрыв. Нас на ужин звали, но Полин даже бабушке своей сказала: «Пожалуйста, не прерывай…» Твердо, признаться, сказала, с характером…

— Почему граф промахнулся? Почему, Полин? Он ведь в лоб мне стрелял тогда.

— Здесь? Где седые волосы?

А у меня шрам почему-то седым клоком зарос. След смертного ужаса плоти моей.

И нежные, до хрупкости тонкие пальчики коснулись тогда шрама моего, прикрытого седой прядью.

Мы как-то оба примолкли. Как дети. И долго

стояли молча. А потом пошли в столовую, где все уже заждались именинницы. И то ли так получилось, то ли нас вполне осознанно так усадили, а только мы оказались за столом рядышком. И я нисколько не пожалел об этом, потому что разговаривать с Полин было интересно. Не болтать, а говорить с нею и слушать ее. Она любила книги, много читала и умела не просто помнить прочитанное, но и чертить собственные параллели и делать неожиданные умозаключения.

— Пушкин представляется мне Гулливером. Даже в ваших, очень мужских, рассказах.

— Что вы, Полин. Александр Сергеевич, увы, совсем не гвардеец. Два аршина пять вершков с половиной. Сам его измерял: тогда он еще мечтал подрасти хоть на полвершка.

— Вы читали Свифта как сказку, а между тем это — грустная метафора. Судьба гения, которого обыкновенные лилипуты своими лилипутскими правилами и представлениями опутывают лилипутской паутиной с ног до головы. Попробуйте перечитать в такой плоскости, и вы убедитесь, что это — предупреждение на все времена. Просто потому, что лилипутов всегда будет больше…

Засиделись мы до рассвета. Не помню даже, о чем вели беседы за столом, потому что после

нескольких настойчивых попыток нас оставили в покое. Мы сидели на веранде, я принес ей шаль. И говорили, говорили… О чем только мы не говорили…

Потом всех отправили спать, а на следующее утро мы выехали домой в починенном за ночь ландо. И прощание получилось каким-то торопливым, скомканным, как то всегда бывает по утрам…

6-е августа

Стало быть, едем, сидя друг напротив двух. Батюшки и матушки в данном случае. Матушка дремлет, батюшка хмур и сосредоточен, а я все еще как бы веду беседу с Полин.

— Знавал ли ты в Бессарабии некоего Раевского Владимира Федосеевича? — вдруг довольно резко спросил мой визави.

— Начальника дивизионной школы майора Раевского? — Я улыбнулся. — Больше чем знавал. Смею сказать, добрыми были приятелями.

— Уж лучше не смей сего говорить, — проворчал мой бригадир. — Вчера слух прошел, будто арестован он и ныне содержится в тираспольской тюрьме.

— Господи, да за что же? — вырвалось у ме-

ня. — Умнейший и образованнейший человек, друг Пушкина ближайший. Александр Сергеевич Спартанцем его называл…

— Болтуны! — рявкнул батюшка. — Мы за Отечество жизней своих не щадили, а как закончилась святая Отечественная наша, так и зашептались, зашептались кругом. И это нехорошо-де у нас, и то не славно, и третье в странах заграничных куда как лучше выглядит. Там, там, на полях Отечественной нашей, истинная цена проверялась, а не в умствующих лепетах ваших. Нет бы вино пить да за дамами волочиться — мало вам, не ценится уж ноне сие! А грязь на власти лить — то в цене, то — прогресс, то уж так современно, что и модой ныне заделалось. И Пушкин — такой же. Ну дан тебе талант от Бога, так патриотизм народа воспевай, отцов да братьев своих старших. Певцом быть во стане русских воинов — вот каков долг любого русского таланта…

Что он там дальше бурчал, я уж и не слышал. Я о Раевском думал. О глухом каземате его, тощей свечой освещенном…

> …Я, признаться, спорами тогда мало интересовался, а Пушкин с Раевским постоянно о чем-то спорили. О стихах, о

народах, об истории: Раевский, помнится, как-то при мне Пушкину пенял, что тот в стихах бесконечно эллинских богов да героев воспевает, а о своих — будто и не было их у нас. О Великом Новгороде говорил, о Вадиме, о Марфе Посаднице…

И вдруг иное припомнилось. Вечер, конь оседланный возле моей мазанки. И — голос Раевского:

— Урсула взяли. Прямо в дубравах его…

…Я тогда как-то сразу понял, что майор попытается спасти нашего романтического Медведя («Урсул» — «медведь» на местном наречии) во что бы то ни стало. Да он и не скрывал этого:

— Могу я на помощь твою рассчитывать, Александр?

— Вполне, майор.

— Тогда никому ни слова. Я попытаюсь разузнать, где Урсулу содержание определено, а там и тебя извещу.

Разузнал быстро: уже на третий день мы с ним встретились. В том же погребке, у Думиреску. Безусых гусарских корнетов, к счастью, там на сей раз не оказалось.

— В крепостном каземате в Бендерах. Окно

каземата выходит во двор, где три караула даже ночью. А, заметь, казематы, выходящие на Днестр, пустуют.

— Но там же стены прямо в реку обрываются.

— То-то и оно, что в реку, — вздохнул Раевский. — Рыбу ловить любишь?

— Терпения не хватает.

— Придется полюбить.

— Зачем?

— Добрые люди просили глубину реки у самого замка замерить. А удобнее всего сделать это с удочкой в руках. И — в полной войсковой форме.

— Да кто же в офицерском мундире рыбу ловит, майор?

— Оригинал ты, Александр, понимаешь? Большой оригинал. Часовой со стены увидит офицера и даже не окликнет.

— Готов допустить. Но как ее замерять, глубину эту? Удочкой, что ли? И где именно?

— С тобой два гребца будут. Молчаливых.

А вот рядом молчания у меня не было:

… — Дурно крепостное право, спору в том нет, согласен. Но размах наш российский надо во взоре умственном держать, земли тощие, морозы. Морозы да снега — из-за них Россия спать обречена по полугоду. Как медведь. И чтоб медведь этот

с голодухи лапу не сосал, им управлять нужно! Вот в чем роковая особенность наша, вот в чем, как бы сказать, особый путь. Ну не Европа мы. Не Европа! И не будем ею, сквозняк один от этих окон прорубленных…

Батюшка все ворчал, матушка все дремала. А я опять в прошлое, в прошлое ушел, ощущения свои вспоминая…

> …И главным в этих ощущениях тогда было — мистификация. Залавливают меня, юнца доверчивого, в некую веселую игру, которая и закончится развеселой пирушкой с хохотом и остротами. Правда, Раевский мало для подобной роли подходил: был и весьма образован, и сдержан весьма, даже суров подчас — недаром Пушкин его Спартанцем именовал. Но розыгрыши очень тогда ценились, любили их придумывать, кишиневское общество и удивляя, и развлекая, а то и фраппируя. «Ладно, — думаю, — почему бы не поучаствовать…»

— Такова первая твоя задача, Александр. Когда решишь ее, скажу о второй.

Поскакал в Бендеры задачу исполнять. Лодка

— в условленном месте, два гребца в ней, молчаливых и настолько черноусых, что так и тянуло за усы эти их подергать. Но — воздержался: играть — так по правилам. Молча поплыли к крепостным стенам. Один лодку на течении удерживает, чтобы не снесло, второй — глубину веревкой с грузом замеряет, а я усердно червячка в воде отмачиваю.

Часовой на стене появился. Постоял, посмотрел на нас, но не окликнул. Решил, видно, что офицер и впрямь в тихое помешательство впал.

Замерили беспрепятственно, о чем не без тайного азарта и доложил я майору, а где-то в глубине мелькнуло: ну, мол, еще что удумал?

* * *

И впрямь, не унимается Раевский:

— Задача вторая, Александр. Прутья, из коих решетки сделаны, разогнуть сумеешь?

— Чтобы решетки гнуть, надо сначала в каземат попасть, майор. Даже если я, предположим, и подстрелю кого-нибудь на дуэли, меня в кишиневский острог определят, но уж никак не в крепость.

— Тимофей Иванович Збиевский, комендант крепости в Бендерах, большой любитель

понтировать. Но — в своем кругу. А круг — полицмейстер Бароцци.

— Не имею чести быть знакомым.

— Евдокия Ивановна Бароцци — родная сестра Пущина. Мы с Пушкиным как-то навещали их. Почему бы ему не повторить посещение? Разумеется, с нами вместе?

— Откажется, — сказал я, подумав. — Он мне говорил, что какой-то роман начал. Значит, его уже не оторвать.

— Попытаюсь.

Признаться, не по душе все это мне стало. Зачем в мальчишескую затею Александра Сергеевича втягивать? За ним и так в шестнадцать пар глаз наблюдают.

— Может, избавим Пушкина от этих забав, Раевский?

— Пушкин уедет до всех наших авантюр, Александр. Подальше. Скорее всего, в Одессу.

— Ну и сколько я должен проиграть этому коменданту, чтобы согнуть решетку?

— Сердишься? — Раевский улыбнулся. — Прости, Александр, не мой это замысел. Я всего лишь звено в цепи.

— А чей же?

— В Молдавии есть хорошие люди, но кое-ка-

кую помощь просили им оказать. Ты одну задачу, для них весьма трудную, уже решил, осталась последняя — согнуть прутья решетки. Затем ты сразу же уезжаешь охотиться с господарем Мурузи, Пушкин — в Одессу, я — на лагерный сбор дивизионной школы. Остальное — если удастся, разумеется, — будет сделано без нас.

— Да я же в Канцелярию каждое утро являться должен, — напоминаю с этакой все уже постигшей усмешкой.

— Завтра явишься и получишь десятидневное разрешение отправиться на охоту по личной просьбе господаря Мурузи.

Как ни странно, но все именно так и случилось. Я получил вольную на десять дней, а Раевский каким-то образом уговорил Пушкина навестить в Бендерах семью полицмейстера Бароцци. На следующее утро мы выехали: Александр Сергеевич вместе с майором в карете, а я — верхом на арендованной лошади, к которой привык, потому что частенько пользовался ею для конных прогулок.

Пушкин был хмур и, казалось, очень недоволен собой. О чем они толковали с Раевским по дороге, не знаю, но майору удалось улучшить его настроение. Мало того, едва объявившись в доме полицмейстера, он тут же признался, что

намеревается писать поэму о дерзком бегстве разбойников из тюремного замка, почему и просит непременно замок этот ему показать.

Однако гостеприимные хозяева сперва пригласили нас отобедать, сказав, что к трапезе непременно пожалует и сам комендант крепости. Это решало дело, мы дождались пожилого и весьма добродушного Тимофея Ивановича Збиевского, тут же, еще до обеда, пригласившего нас к себе в крепость.

— На чашку, господа любезные, на чашку единую. Не обижайте старика.

— Берегитесь, — шепнула нам Евдокия Ивановна. — Он так называет пунш, который сам же и варит неизвестно из чего.

— Он понтирует? — спросил я, беспокоясь о задаче, решить которую был обязан.

— Только скажите, до утра не отпустит!

Я и сказал. Тимофей Иванович невероятно возбудился, что резко сократило время нашего пребывания за столом. Евдокия Ивановна была несколько обижена, а супруг ее, более похожий на углубленного в себя схимника, нежели на полицмейстера, напротив, даже не скрывал известного облегчения, что ли.

Одним словом, мы быстро перебрались в кре-

пость, где комендант тотчас же занялся подготовкой к «чашке единой», о которой не переставал бормотать.

— А ром — не с желтком, а с белтком…

Почему-то он именно так говорил, помню. «С белтком…» Смешило это меня…

— Неплохо бы нам ознакомиться с замком, пока хозяин столь увлечен, — тихо сказал мне Раевский. — Оставим ему Пушкина для утешения и первых проб варева.

А Пушкин и так уже ходил хвостом за Тимофеем Ивановичем, слушая рассказы его о шведском лагере в бывшей Варнице, короле Карле XII и Мазепе, который, по слухам, там умер. Старик выдавал рассказы малыми порциями, связанными меж собой весьма замысловато, как, скажем, соленые огурцы с ванильным мороженым.

— Мы заплутаемся в этой турецкой крепости без провожатого, — говорю я майору.

А сам думаю, что кто-то на меня поставил неплохой заклад. На пари, что я умудрюсь разогнуть прутья решетки не где-нибудь, а в самой крепости. И что такой серьезный, разумный и весьма сдержанный господин, как майор Раевский, оказался каким-то образом втянутым в это пари. Но я Раевскому не только был обязан, но и

любил его искренне, а потому решил сделать все, чтобы он выиграл.

Пока размышлял, майор с комендантом беседовал. И кончилась эта беседа тем, что Тимофей Иванович, увлеченный варевом своего зелья и отвлекаемый любознательностью Пушкина, вызвал какого-то кряжистого немолодого усача унтера и велел ему показать нам все казематы второго яруса.

— Только исключительно второго яруса, — подчеркнул он, передавая ключи. — Там — пусто, аки в раю, предназначенном для душ русских офицеров.

Прошли во второй ярус вослед за унтером, молчаливым, как сфинкс. Длиннющий широкий коридор. Справа и слева — двери казематов, все почему-то запертые на огромные висячие замки, к которым подходил один и тот же ключ, столь же огромного размера. Левые казематы, как тут же выяснилось, выходили на Днестр, правые — во двор, и этими правыми живо заинтересовался Раевский, как только унтер открыл двери левых. И увел в них за собою тюремщика, а я вошел в первый же правый каземат.

Странно, но там было сухо. Странно потому, что я почему-то представлял себе, что в казематах,

предназначенных для содержания узников, всегда должно быть сыро и мрачно. Мрачно было, но сухой какой-то мрачностью. С густой пылью на каменном полу.

Впрочем, это все — как-то мельком. Меня окно интересовало, и я пошел его изучать.

Оно оказалось забранным не решеткой, а тремя вертикальными железными прутами, вделанными в каменную кладку стен. Пруты были толсты порядочно, но весьма изъедены ржавчиной и, к счастью, не из каленого железа. Я уперся левой рукой в один, а правой — на распор — потянул средний на себя. Дело оказалось нелегким, пришлось поднатужиться, но в конце концов середины обоих прутьев дрогнули и пошли, начав этак нехотя гнуться. У меня ломило плечи, стучало в висках, но в три приема я раздвинул старый железный забор настолько, что в него мог бы вполне протиснуться ловкий молодой человек.

Дело было сделано, но, признаюсь, покачивало меня совсем не от гордости. Двери казематов я старательно прикрыл, унтеру осталось лишь запереть замки, и мы пошли следом за ним к обещанному комендантскому пуншу. По дороге я цеплялся за стены плечами, да и в висках у меня постукивало, но о подвигах своих я доложил

Раевскому не без некоторого самодовольства.

А чаша с пуншем, которую Тимофей Иванович пустил вкруговую, дрожала в моих руках. Да и захмелел я быстро, откровенно говоря. То ли пунш оказался непривычно забористым, то ли и впрямь я уморился… От игры мы как-то улизнули, пуншем увлекшись. Ну и слава богу, потому как ломота в плечах доброму понтированию не соответствует, а проигрывать я, признаться, не люблю. Так уж устроен.

Однако к утру все закончилось благополучно, кроме ощущения, откуда именно растут плечи. Но я надеялся, что забуду об этом к началу королевской охоты, обещанной мне.

Ан не вышло. Ни разу ни в кого не попал: ни в зубра, мне господарем показанного, ни в оленя, ни в косулю. В зубра Мурузи тоже, правда, промазал, но, думается, вполне сознательно, потому что стрелял он отменно, несмотря на вполне серьезный возраст. Не то что я после крепостных своих развлечений…

Затем — костер, челядь суетится, косуля целиком на вертеле жарится, а мы с господарем и дубро закусываем, и доброе вино пьем, и по-доброму беседуем.

Только не пришлось мне тогда косулю эту

попробовать. Подлетает неожиданно конный арнаут хозяина моего, спешивается и что-то негромко ему докладывает…

— Не дают турки честным христианам плодами охоты своей мирно насладиться, — невесело усмехается Мурузи. — Извини, Сашка, сначала проучить их придется.

— Я с вами, господарь, — говорю.

— Там, юноша, без боя не обойтись.

— Неужели, господарь, вы можете гостю своему в его желании отказать?

Усмехнулся Мурузи:

— Гостю могу, офицеру — нет. Арнауты мои оружия достаточно привезли. Выбери себе саблю по руке да пару пистолетов не позабудь в седельные кобуры сунуть.

Пока мы собирались, господарь дозоры по двум направлениям выслал. Воякой он был опытным, турок колошматил, где только мог, но плетью обуха не перешибешь. Выжили они его все-таки за Прут, где он от них и укрывался. Но надежда голову его самому султану доставить их не покидала, поскольку оценена голова была весьма высоко. По достоинству оценена, турки считать умели.

Арнаутов собралось человек до сорока. Про-

водники вели без дорог, ехали неторопливо и осторожно, ожидая сведений от дозоров. Мурузи поглядывал на меня, потом спросил:

— В сражениях участвовал?

— Надеюсь вечером ответить на ваш вопрос утвердительно, господарь.

Рассмеялся Мурузи. Только хотел ответить, как подскакивает арнаут и что-то негромко ему говорит.

— Турки в полуверсте, Сашка, за этим лесочком, — объясняет мне господарь. — Атакуем встречной атакой, у них кони приморились. Под тобой лошадка молодая, но игривая. Особо повод ей не отдавай, она скачку очень любит.

Но я отдал, едва турецкий дозор увидел. Тоже был молод и тоже скачку любил. Одного дозорного из пистолета снял, второго игривая моя из седла выбила, с разгону в круп его лошади врезавшись. Азартная лошадка, ничего не скажешь, но заодно и я из седла вылетел. И слава богу, вскочить не успел: господарь Мурузи со своими арнаутами следом за мной на боевом галопе в атаку шел…

А я лежал, как упал, не шевелясь: этому нас в Корпусе неплохо научили. Лежал и копыта считал: сорок лошадей на четыре копыта — сто

шестьдесят конских кованых ног над головой. Когда пронеслись, вскочил и… турка, размозженного конскими копытами, увидел. Не обучался он, видно, в Корпусе для дворянских детей…

— Вы давеча спрашивали, господарь, не участвовал ли я в сражениях? — нахально объявляю вечером. — Тогда недосуг было ответить: да, участвовал.

Расхохотался Мурузи:

— За здоровье моего дорогого гостя русского офицера Сашки Олексина! Ура, господа!..

Три дня я тогда у господаря гостил, три веселых и шумных дня. А потом в Кишинев выехал. Чтобы каждое утро в Канцелярию генерала Инзова являться…

На следующее по прибытии утро явился, а мне Смирнов, чиновник Канцелярии, и говорит:

— Новость слышали, Олексин? Урсул из крепости сбежал.

— Как, — искренне поражаюсь, — сбежал?

— Представьте себе, силища какая! Прутья раздвинул, прыгнул в Днестр — и поминай как звали.

— Может, утонул?

— Если бы. За две ночи две почтовые кареты ограблены. Сопровождающие все живы, деньги

и ценности исчезли, на дверцах каждой кареты — его визитная карточка.

— Визитная карточка?

— Дубовая веточка.

Вот тебе, думаю, и пари, вот тебе, думаю, и розыгрыш… Или я ничего не понял, или Раевский не все мне говорил, а только вместо озорного пари совсем неплохо придуманный план вдруг явственно обозначился. И характер старого коменданта Тимофея Ивановича учтен, и его влюбленность в пунш по собственному рецепту, и Пушкин для отвода глаз, и я — для сокрушения решеток. И Тимофей Иванович при этом никогда в жизни не признается, что допустил посторонних в крепость, потому как вылетать со службы без мундира и пенсии ему совсем не хочется. Настолько это ему не хочется, что унтеру своему он только три слова произнести разрешит в ответ на все вопросы: «Не могу знать!» И Пушкин — уже в Одессе, и Раевский — на дивизионных сборах, и я — на королевской охоте…

(На полях — приписка: *Да было ли все это на самом деле? Порою мне кажется, что и не было вовсе, что легенда это, в которую я был вовлечен, а потому и сам*

же в нее уверовал. Не знаю, не знаю, и спросить уж не у кого…)

И еще одно вспоминается — еще до этого, до этого. Костер, я перепелов настрелянных жарю на шомполе, как умею, а за спиной у меня разговор.

— Рим сгубила несвобода, но отнюдь не нашествие варваров. Деление собственного народа на патрициев и плебеев лишает гражданских чувств как первых, так и вторых.

Пушкин, Раевский и капитан Охотников. Признаться, очень этот капитан почему-то невзлюбил меня, но — терпел. Ну и я его — соответственно.

— Упрощаешь, Владимир Федосеевич, упрощаешь…

— Тюремщик меж ними, — вдруг говорит Александр Сергеевич. — Меж патрициями и плебеями непременно тюремщик появляется. Только к одним — лицом, а к другим — затылком.

— Любая несвобода есть слабость государства, но никак не мощь его…

Это — Раевский.

А я слушаю во все уши и перепелов на шомполе во что-то совершенно несъедобное превращаю…

…И почему вспомнилось вдруг?..

22-е августа. Очень памятный день

Утром являюсь в Канцелярию, а мне:

— К его превосходительству.

Проводят. Вхожу. Докладываю:

— Ваше превосходительство, прапорщик…

— Простил тебя государь, Олексин, — добродушно улыбнулся Инзов, по-отечески. — И повелел служить в Новгородском лейб-гвардии конно-егерском полку. Выезжай немедля.

Подорожную и все бумаги на руки тут же выдали, собраться мне было что голому подпоясаться, а попрощаться… С мамой Каруцей расцеловался, с Беллой да Светлой… Всплакнула она над нежданной свободой моей.

— Краев у тебя нет, Саша. Ну ни в чем…

Еще кое-кому добрые слова сказал. А вот Руфина Ивановича Дорохова в квартире его не оказалось.

Но я разыскал его в конце концов. За одним из карточных столов. То ли на охоту вышел Дорохов, то ли на работу — это уж кому как судить. Увидел он меня, нахмурился почему-то. Поначалу показалось, что рассердился даже. Карты отложил и отвел меня в сторонку. Я рассказал ему о новостях, столь радостных для меня, и добавил в конце:

— Пригласите за стол, Руфин Иванович. За ним и распрощаемся ко взаимному удовольствию.

— Нет, — отрезал он весьма жестко, но — улыбнулся. — Я проигрывать не умею.

— А я — не люблю. Чем не пара?

— Прощай, патриций, — обнял он меня на дорожку, сказал вдруг: — Я — не мистик, но у меня сейчас такое чувство, что мы непременно с тобою встретимся.

(Приписка на полях: *Как в воду глядел…)*

Сентябрь, что ли. Желтая листва

Тоскую в своей Антоновке. И потому, как ни странно, еще тоскую, что матушка с батюшкой что-то к своим пенатам не торопятся. А я, признаться, при матушке не могу очередной Марфуше или там Дуняше сказать, чтобы подушки мне на ночь взбила. Ну не в силах. И это пройдя огонь, воду и медные трубы. Боюсь, что утром, с матушкой глазами столкнувшись, лоб ладонью прикрою, что ли…

А еще потому тоскую, что в сторону графского особняка сам себе дорогу заказал. Каждое утро Лулу по полям, лугам да опушкам гоняю, но туда

— ни под каким видом. Да Лулу и сама не идет, проверял. Понимает. Уверен, что понимает.

Батюшка днем усердно хозяйством занимается, а вечерами — мной. С тем же усердием.

— Что есть родина и что есть отечество?

— Одно и то же.

— Ан и нет. Отечество — под ногами. Святая память о доблести и чести предков твоих, а с их помощью и о самой Руси. А родина — место, где родиться довелось да вырасти до осмысления, что родился именно тут. Две березки, сосна корявая за околицей да ракита над прудом. И никуда от сих предметов не денешься, сколько бы ни жил. А коли деться довелось, так о них и тосковать будешь всю солдатчину, как о знаках родины своей.

— Ну и слава богу, — говорю. — И я…

И — замолкаю, подумав: а о чем, собственно, тосковал я, скажем, в Бессарабии? Об Антоновке? Нет. Об Опенках родовых? Да тоже нет. О… о Корпусе, что ли?

— Вот-вот, — говорит батюшка, будто мысли мои прочитав. — Да ни о чем ты не тосковал по той простой причине, что все твое было с тобой на манер багажа. Отечество, память о великой его истории, которую никакой околицей не ограничишь, потому что ни в какую околицу она и

не вмещается.

А ведь прав в чем-то мой бригадир, думаю. Не свойственна нашему брату офицеру тоска по чему-то предметному…

— Никогда крестьян своих на вывод не продавай, — строго говорит вдруг батюшка. — Только с землей, коли уж нужда заставит. Только с землей, с березками их и прочей видимой атрибуцией.

Omnia mea mecum porto («Все свое ношу с собой»), думаю. Похоже, что так, по себе сужу. Только хорошо это или плохо? Хорошо или плохо?..

Вероятно, я — в основе, что ли, — не самый плохой сын. Из любви к матушке и почтения перед нею — все терплю. И не просто терплю, но и порывы свои ограничиваю. И батюшку терплю, и назидательные беседы его — тоже. В конце концов, на то и дети, чтобы на них выводы из собственных ошибок изливать.

…А может быть… может быть, признаем за каждым право на собственные заблуждения? В конце концов, человек живет только один раз. Ровно — один раз. Странный счет, не правда ли? Очень уж смахивающий на первый пункт какой-то нам неведомой программы…

Однако и мое почти ангельское терпение ис-

черпалось до дна. Почувствовав это, я не стал дожидаться, когда взбунтуется муть души моей, и объявил, что намерен приступить к своим обязанностям ротного командира досрочно, поскольку отпуск, дарованный мне командиром полка, еще не истек.

— Нетерпение твое понятно и весьма лестно для меня, — сказал батюшка. — Однако существуют обстоятельства.

Обстоятельства поведала матушка:

— Вот ужо гостей примем, Сашенька.

— Каких еще гостей?

Что это я насторожился вдруг тогда?..

— Рассудили мы с батюшкой, что окажутся они для тебя весьма даже приятными.

Ничего более не сказала, но улыбнулась как-то особенно. Я велел Лулу подседлать и поскакал неизвестно куда. Обдумывать, что же это за весьма приятные…

Не столь важно, каким путем шли мысли мои. Не столь важно потому, что путь был прям, как шеренга линейных на парадном плацу. Приятными гостями для молодежи во все времена являются только их ровесники противуположного пола, какими бы словами эта простейшая

истина ни прикрывалась. Аничка была не просто далеко, а как бы за гранью возможного, и, следовательно, таковой приятностью могла быть только ее кузина. Полин.

> …Огорчило это меня? И да и нет, однако совсем не по принципу «на безрыбье и рак — рыба». Любовь к Аничке я замкнул на все замки в душе своей, как Кощей — смертную иглу в ларце. И любовь эта жила в душе, но как бы не имела никакого отношения к худенькой, умненькой и душевно какой-то… какой-то открыто бесстрашной, что ли, Полин. Нет, не пыл страсти телесной толкал меня к ней, а тихое и покойное стремление души. Женщина-друг нужна мужчине нисколько не меньше, чем женщина-любовница, хотя бы просто потому, что другу-мужчине вы никогда не откроетесь столь широко и беспощадно, как другу-женщине. Да никакой мужчина и не поймет вас так, как поймет женщина, если, разумеется, Господь не обошел ее умом и пониманием. Так вот, Полин Господь не обошел…

И я не то чтобы повеселел — нет, веселеть мне

было не с чего, и тоска моя никуда не делась, все так, и все же… Все же светлее мне стало. Стало кого ждать.

> …Ах, как это важно для человека — кого-то ждать. Важнее, чем «чего-то». Уж поверьте мне…

Поэтому и спросил не очень обдуманно:

— Когда Полин приезжает, матушка?

Странно она тогда на меня посмотрела. С долгой и доброй полуулыбкой.

— На той неделе ожидаем. Дня на три, а там, может, и на четыре, если понравится им.

Сентябрь то был. И уже срединный. Уж и листва звенела на ветру…

И не три дня они гостили в моей Антоновке. И — не четыре. А неделю да плюс еще один особый день.

Гости загодя казачка прислали, чтобы точно свое прибытие обозначить. Я у казачка дорогу их выведал, Лулу велел подседлать и выехал им навстречу. Признаться, скорее из вежливости, нежели от нетерпения, если, конечно, не учитывать, что вежливость для того и придумана, чтобы порывы нашей искренности скрывать. И в данном случае помчался я не столько из желания

Полин поскорее увидеть, сколько из стремления от тоски по Аничке подальше убежать.

(Приписка на полях: *А может быть, мне так тогда казалось?)*

Осень сухой выдалась, цветы в полях пожухли и состарились. Зато вовсю цвел бересклет, и я наломал порядочный веник. Сознательно пропустил карету их, в кустах схоронившись, а потом догнал ее и сунул этот веник в открытое окно. И услышал сквозь бледно-розовые сережки бересклета детски восторженное:

— Бабушка, это он!..

Карета остановилась, обе дверцы распахнулись. Я с седла спрыгнул, бросив поводья. И поклонился по-французски, шляпой осеннюю траву причесав:

— Счастлив приветствовать вас в своем углу!

— Это — твоя земля, поручик? — Генерал обнял меня, расцеловал в обе щеки. — Какой предмет, чтобы по чарке выпить, Прасковья Васильевна!

— Предмет, предмет. — Генеральша по-родственному расцеловалась со мной, Полин из-за обширных юбок вперед выдвинула. — Целоваться — так со всеми.

Полин, зарозовев, щечку подставила, я при-

ложился к ней. Выпили мы по чарке, генерал о здоровье матушки с батюшкой расспрашивает, я что-то отвечаю, а сам, признаться, слушаю, о чем это внучка с бабушкой шепотом спорят.

— Ну что с тобой поделаешь, баловница! — в конце концов говорит генеральша Прасковья Васильевна с улыбкой.

И — громко, хотя прежде шептались. Будто для посторонних ушей сие предназначено.

А Полин, смотрю, вдруг резво этак на козлы лезет. И кричит мне оттуда:

— Ко мне — на коне!

Я вскакиваю на Лулу, подъезжаю к карете. Полин с козел протягивает мне руки, и я легко сажаю ее впереди себя.

— За нами! — командует Полин, как-то очень естественно и невесомо обнимая меня за шею правой рукой.

Скачем впереди на легкой рыси. Полин что-то говорит, я что-то отвечаю, странно ощущая, что сердце мое бьется столь же ровно, как билось до сих пор. И наплевать ему на то, что в моих объятьях — милая, хрупкая барышня…

Появились мы первыми — карета еще где-то позади громыхала. Родители уже встречали гостей на крыльце, а нас, передовых, увидев, батюшка

поспешил навстречу и галантно принял в свои объятья мою то ли добычу, то ли спутницу. И осторожно поцеловал в щечку, хотя я был убежден, что таковое наше появление ему не очень-то понравилось. Брови выдали, заерзав на лбу.

Но раздвинул он их по местам, когда подъехала карета. И ничего никому не сказал, а уже на другой день в моей конюшне обнаружилась смирная лошадка, коей доселе здесь не было. А заодно и дамское седло. Видно, в Опенки бригадир мой за ними посылал.

— Так оно удобнее, — сказал он наезднице моей вчерашней следующим же утром. — Лошадка смирная, иноходец. Дамская, коли с седлом в комплекте.

Четыре дня пролетели в конных прогулках и разговорах. Полин отлично держалась в дамском седле, лошадка-иноходец отлично была выезжена, а я… Я почему-то непрестанно об Аничке думал. Скорее, не столько думал, сколько мечтал.

…Ах, кабы она сейчас подле моего стремени скакала!.. Не до разговоров бы нам было, Аничка моя…

Но мечты мечтами, а разговоры — разговорами. Сказать, что неинтересны они мне были,

что с живостью не поддерживал я их, — значит неправду сказать. И поддерживал, и смеялся, и удивлялся, и… И радовался, искренне радовался, что — не один. Что рядом — живая, умненькая, бесстрашная и беззащитная одновременно… кузина. Двоюродная сестра любви моей.

— Вы торопитесь жить, Александр? Я часто ловлю себя на том, что — тороплюсь. Что мне жаль стало часов, которые я трачу на сон. Я все время хочу жить. Все время, каждое мгновение! Бывало ли такое с вами?

— Не поручусь о прошлом, но и не заручусь на будущее.

Рассмеялась Полин. Искренний смех, звонкий, девичий, но… Но не колокольчик. Не колокольчик, серебром своим пробуждающий все силы и все желания ваши.

— Не торопи воспоминаний, но догоняй свою мечту? А если нет воспоминаний, но есть в тебе одна мечта?..

Хлестнула свою иноходную кобылку и помчалась вперед. Я Лулу-любимицу никогда не понуждаю следовать желаниям моим: она сама в них разбирается. А я ей обязан: жизнь мою она спасла, из великого оледенения вытащив. И я моей спасительнице только повод отдаю — сама

разберется, куда, зачем и на каком аллюре. Умная лошадь — половина судьбы офицерской, как однажды мне батюшка сказал. Расчувствовался тогда бригадир.

И понесли нас кони куда-то. Лулу на полкорпуса позади иноходки держалась, гордясь отпущенным поводом, и так скакали мы по поникшим полям. И хотя осень сухою выдалась, утренние росы травы все же положили, листву с деревьев обрушили. Осень есть осень. Слезы года.

Я, признаться, так и не успел заметить, когда заяц порскнул из-под копыт кобылки-иноходки. Но лошадка заметила и испугалась. И рванулась в сторону, вдруг на дыбки вскинувшись и выбросив Полин из седла.

Это, так сказать, с точки зрения лошади. А с моей — Полин скорее не вылетела из дамского седла, а — выпорхнула, как птенчик выпархивает. И что поразительно — даже не вскрикнула при этом, хотя вскрикивать девицы прямо-таки обожают. И не столь важно, по какой именно причине: от испуга, боли, неожиданности или восторга, вдруг неистово всю натуру их охватившего. Важно, что вскрик девичий — всегда призыв. Требовательная полковая труба. В отсутствие представителей противоположного пола они, заметьте, почему-то

не вскрикивают. Призывать некого.

А тут — было кому призыв адресовать, а — не вскрикнула. И, откровенно говоря, мне это молчаливое ее терпение очень тогда понравилось.

Я возле нее оказался, когда она еще встать не успела. Протянула руку, улыбнулась (по-моему, через силу улыбнулась, внезапный испуг превозмогая), и я помог ей подняться.

— Благодарю.

— За что же, Полин? За то, что не уследил за вами?

— Думаете, вас благодарю? — вдруг тихо сказала она. — Нет. Судьбу благодарю, что встретила вас.

Очень это серьезно, что ли, прозвучало, и я, признаться, растерялся. Молча подвел к иноходцу (или — иноходке, как там по-русски полагается?..), молча усадил в седло. Она невесома была, как пушинка с одуванчика…

> Записываю не ежедень, кусками, воспоминаниями… Нет, событиями время отмечая.

Вечерами мы тоже были вместе. Точнее, от старших отдельно, и на эту нашу отделенность никто из них вроде бы и внимания не обра-

щал. Полководцы в отставке с орденоносными мундирами былые сражения вспоминали, взаимообидчиво споря порою, а матроны о чем-то уютно-семейном меж собою толковали, весьма даже согласно и миролюбиво. И нам предоставлялась полная возможность говорить, о чем душам нашим угодно тогда было.

— …Вы помянули о терпении, Полин? Терпение — наследие плоти нашей. Ожидание, когда пройдет боль, например.

— Вы говорите о телесном терпении и в этом — правы. Но я имела в виду терпение души человеческой. Ждать терпеливо не когда что-либо пройдет, а когда — придет. Терпеть и верить, что наступит час откровения души…

— Признайтесь, вы тайно пишете стихи.

— Грешна ли? — Полин улыбается. — Но — в мечтах, не на бумаге. Проговариваю их себе самой, когда есть что проговаривать.

— Проговорите что-нибудь вслух. Для меня.

— Когда-нибудь… — Улыбка начинает таять, таять и исчезает окончательно. — Но — нет-нет-нет.

— Почему же «нет-нет-нет»? Вы не похожи на ломаку.

— Я — не медовый пряник. Увы.

Сознаюсь, я не очень ее понимал порою, а может быть, просто не решался понять. За три дня наших ежедневных прогулок Полин менялась на моих глазах. В ней исчезала непосредственность, но посредственностью она быть уже не умела или просто не желала и — странно замыкалась. Словно никак не могла решиться на какой-то уже внутренне решенный ею шаг и — съеживалась, ненавидя саму себя за эту нерешительность.

Возможно, что она ожидала встречного шага от меня. Ну, не шага — движения, слова, какого-то взгляда, наконец. Но я был древесно молчалив, гладок и вполне предсказуем, как хорошо обтесанное бревно, и зацепиться ей, бедняжке, было не за что.

В тот вечер, не без горечи объявив себя «не медовым пряником», Полин оборвала разговор и быстро ушла, сославшись на усталость. Я помыкался вокруг стариков, бездарно проиграл генералу партию в шахматы и тоже отправился спать.

Утром она встретила меня куда как непринужденнее, нежели я — ее. Шутила, улыбалась, болтала ни о чем, что, в общем-то, ей было несвойственно. А когда нам подали лошадей и я посадил ее в седло, объявила:

— Сегодня я скачу впереди, а вы следуете за мной.

И полуверсты так не проскакали, когда я сообразил, что она ведет меня прямиком к графскому особняку. До сей поры я старательно объезжал его стороной, но, кажется, именно моя нарочитая старательность и подвигла ее командовать сегодня нашим выездом. Дороги она не знала, но направление выдерживала вполне осознанно, и я сообразил, что она дотошно расспросила, где именно находится покинутое графское логово.

Относительно того, что оно покинуто косноязычным Засядским, я не сомневался: мне как-то сказал об этом Савка. Непредвиденных встреч быть не могло, ничто, казалось бы, не должно было меня тревожить, а, поди ж ты, я почему-то заволновался.

> …Тогда не понял причины сего, но сейчас разобрался: я не хотел возвращать никаких воспоминаний. А уж тем паче — призрачных…

Но то, что для меня представлялось призрачным, Полин воспринимала, видимо, вполне реально. Для нее прошлое оставалось живым, а для меня — мертвым, а мертвое взывает к молча-

нию, и я молчал.

У Полин — душа удивительной глубины, и никакие внешние изменения ее замутить не способны. Она сразу же поняла причину моей замкнутости на все засовы, а потому молчала тоже. И не просто прикусила язычок, но примолкла с уважительным пониманием, как то случается на кладбищах у совсем, казалось бы, посторонних могил.

Спешились, едва ворота проехав. Заколоченный дом всегда вызывает грусть. Не знаю, у всех ли, но у меня — вызывает. Даже шагать стараюсь бесшумно…

…Девочка с бабушкиными кружевами. Мечтающая, чтобы детки ее прикрывали лоб ладошкой, коли уж очень захочется им сказать не всю правду маменьке…

Не успел подумать, как Полин тут же бросила на меня настороженный взгляд. Нет, не настороженный — горький, все понимающий. Свернула неожиданно в заросший сад, и мы вышли к прудам. Темным, осенним, с притопленными кувшинками и печально задернутым дырявым покрывалом опавшей листвы. И не было больше белых лебедей.

— Улетели. — Я не удержался от вздоха.

— Не было их. — В голосе Полин слышался напряженный звон. — Не было, не было. Взлелеянное прошлое превращается в сказку, но сказками живут только дети. Опомнитесь, Александр, опомнитесь!

— Опомниться?

Глупо спросил. И улыбнулся глупо.

— Эклеры съедены и блюдо утоплено…

— Долго же вам пришлось сидеть в кустах, — усмехнулся я.

— Я всю жизнь сижу в этих кустах! — вдруг выкрикнула Полин. — Всю жизнь, когда же вы наконец уразумеете это, деревянный вы человек!..

Кажется, я начал что-то соображать. Посмотрел на нее… И Полин не отвела глаз. Смотрела в упор, и взгляд сверкал решимостью. Будто дошла она до края и сейчас готова была шагнуть за него, куда бы тот край ни обрывался.

— Я не могу приклеить мушку посреди лба, ну не могу! А вот блюдо ваше бесценное достать — могу! Чтобы вы еще раз убедились, что пирожные детства — съедены. Навсегда съедены! И не воскреснут больше, не воскреснут!..

Слезы тут из глаз ее брызнули, и она побежала. Побежала куда-то — не к лошадям, не к особняку: куда-то побежала. Как бегут от самой себя…

И упала, споткнувшись. Беспощадно как-то упала, что ли. Я бросился к ней: она лежала ничком, плечи тряслись, и не рыдания — вой какой-то последний из нее вырывался…

— Что с тобой, Полиночка? Что с тобой?..

Хотел повернуть ее — не давалась. Билась изо всех сил, как птица билась, и сердечко ее стучало на всю округу. Но я все же повернул ее, к себе прижал, целовал зареванное, слезами залитое лицо, щеки, губы…

— Прости меня. Прости, прости…

Возвращались рядышком, рука об руку, и лошадки наши шагали согласно. Полин улыбалась, и глазки ее сияли, но в улыбке было… некое ожидание, что ли. Скорее тень мучительно долгого, изнурительного ожидания и робкая надежда, что оно вот-вот может закончиться, навсегда душу ее покинув.

Не выдержал я этого и сказал:

— Мы войдем, возьмемся за руки и встанем на колени.

— Может быть, лучше вечером?

— Нет, сейчас. Ты же такая решительная, Полиночка.

— Я такая счастливая… — Она улыбнулась. — Такая счастливая, что мне страшно. Мне страшно

счастливым страхом, Саша…

Вошли и встали на колени, держась за руки. И я сказал:

— Благословите нас, родные наши.

Матушка с бабушкой расплакались, целовать кинулись жениха с невестой. Генерал слезу смахнул, а мой бригадир бакенбарды свои расправил. Одной рукой почему-то. Как кот лапой.

А тем же вечером сказал мне с глазу на глаз:

— Ты ведь не влюблен еще.

— Я люблю Полин, батюшка.

— Любишь, спорить не стану. Но любишь — без влюбленности. А она в тебя влюблена по уши.

— Тонкости, батюшка.

— Тонкости? Ну-ну… — Бригадир похмурился, бровями поерзал. — Слово, девице данное, есть слово чести. Назад его не берут. Немыслимо сие. Немыслимо.

— Вы сомневаетесь в моей чести?

— В счастье, а не чести, — вздохнул мой старик.

Засим подходит ко мне и берет в ладони мою голову. Как в детстве только делал.

— Благословляю и рад за тебя.

Неожиданно целует не куда-нибудь, а — в шрам от графской пули, седым волосом заросший. И

шепчет на ухо:

— Вот где печать любви твоей…

Свадьба в наши времена была событием наиважнейшим, а потому и неспешным. Право решать, когда, где и как именно произойдет сие событие, принадлежало дамам, и я выехал наутро в одиночестве. Не скажу, что мне было невесело, но и грустно тоже не было, хотя и понимал я, что шаг мною уже сделан. И куда бы он ни привел, возврата уже не могло быть даже в мыслях моих.

Ни о чем я не думал да и вокруг ничего не замечал. Отдал поводья Лулу, и она сама выбирала не только аллюр, но и задумчивость общего нашего пути. Я был — она, а она — я, а кентавры не знают ни удил, ни поводьев.

А вокруг нас лежала поникшая осень. Не мокрослезливая, с бесконечными нудными дождями, а какая-то вялая, отсыревшая, что ли. И — беззвучная, точно замершая на самой грани прощания между теплом и холодом…

Дамы наши, все продумав и обсудив, донесли свое решение генералитету, который привычно выдал его за свое:

— Свадьбе быть после Рождества Христова.

Через день мы как-то поспешно разъехались. Полиночка с бабушкой и дедушкой — сначала

к себе, в имение, а оттуда — прямо в Петербург. Готовиться, наряды шить да дни до свадьбы считать. А я — во Псков. Служить и ждать.

Октябрь

Говоря откровенно, нелегко мне было вновь пред солдатскими глазами предстать после столь длительного отсутствия. Но я все причины доложил с полной искренностью, на которую только был способен. Даже седой клок волос у виска показал им: не каждая, мол, пуля насмерть убивает.

— Штык надежнее, ребята. Но в пехоте я еще не служил, а потому очень прошу научить меня всем хитростям пехотным, и особенно — штыковому бою.

Никогда еще доселе я столь ревностно к службе не относился. То ли легкомыслием молодости до краев переполнен был, то ли радостью жизни, то ли самонадеянностью, что ли. А тут — и сам себе не верю, что со мною стряслось.

Вставал еще до общей побудки, на квартиру уходил после общего отбоя и весь день проводил со своими солдатами. Учил их без окриков и угроз тому, чему обязан был учить как командир роты, и сам учился до седьмого пота у бывалых,

в смертельном деле себя проверивших седоусых старослужащих как солдат. Особенностям пехотного мира и пехотной войны и — с особым усердием — штыковому бою. И старался не только потому, что батюшка так посоветовал, но потому еще, что искренне хотел не просто командовать ротою, но и сдружиться с нею. Может быть, не сдружиться — это уж чересчур сильно я выразился, — а стать в ней старшим вопреки собственному возрасту, поскольку по годам я еле-еле с новобранцами тогда сравнялся.

Уставал поначалу, что уж там. Солдатчина не просто трудна, солдатчина всей жизни твоей требует. Сил, веры, надежд, упорства, настойчивости, терпения, смекалки и непременно — веселого расположения духа. Иначе до воли не дотянешь. В прямом смысле воли: солдат вольным человеком службу воинскую покидает, на благо Отечества потрудившись и лишь ему да государю отныне принадлежа.

Вот это я своим солдатам и втолковывал. Каждый день. Перед строем и на вечерних беседах. Коли честно служить будете, так вольными людьми в деревни свои вернетесь. Свободными и грамотными к тому же. И жениться еще успеете, и детей нарожать, и дети ваши тоже навсегда

свободными будут.

Зима

Вот так и осень закончилась, и зима началась. И едва началась она, как разбудил меня денщик мой в неурочный час. Среди вьюжной и морозной декабрьской ночи.

— Ваше благородие, в штаб требуют.

— Кто?

— Не могу знать. Вестового прислали.

Примчался в штаб, а там уж — почти все офицеры. Никто ничего не знает, так с незнанием и ввалились к командиру полка.

— Господа офицеры, поднимайте солдат по тревоге и держите в полной готовности.

— Война, господин полковник?

— Гвардейский мятеж на Сенатской площади.

К счастью, для полка нашего все обошлось: без нас Санкт-Петербург с мятежниками справился. А для меня — не совсем. С батюшкой от всех этих государственных передряг удар приключился. Матушка депешу прислала о внезапной болезни его, и командир на неделю отпустил меня домой.

…Судьба ли, природа ли или сам Господь Бог сдает каждому его карты на всю

жизнь ровно один раз. У кого — сплошные онеры в козырях, у кого — тузы, а у кого и одни фоски — это уж как кому повезет. Но большинство почему-то всю жизнь так и живет с теми картами, что при рождении выпали. Стонут, жалуются, кряхтят, просят пересдать заново. А нет бы подумать об изменении судьбы собственной. Да, карты сданы, но — для игры, для азарта, для способностей и куража вашего. Так разберитесь в них и смело играйте по тем правилам, которые сама жизнь вам предлагает! Она — ваш соперник отныне, и тут уж — кто кого. В жизненной игре и сброс предусмотрен, и прикуп, и козыри, и ходы ваши: так дерзайте же, не ждите милостей. Берите игру на себя и — по банку!

Это я написал, то разумея, что обстоятельства жизни меняются и мы обязаны меняться вместе с ними, иначе из игры вылетим. И люто начнем завидовать тем, кто куши с банка снимает, а то и весь банк. Что, завистников, коим и тридцати еще не исполнилось, не встречали? Встречали, поди, — глазки их выдают.

Это я к тому, что в том декабре двадцать пятого я еще не собственной колодой играл. Почему, как и большинство, не одобрял событий на Сенатской площади. Мятежников с претензиями в них видел, а не рыцарских героев российской истории. Без всякого стыда в этом признаюсь, потому что искренность чести не в упрек.

Но что-то, вероятно, в глубине души моей шевелилось. Что-то мне непонятное и как бы даже неощущаемое. Предчувствие?.. Нет, что-то похитрее. Что-то из памяти предков моих, дружинников княжеских, не забывавших перед тяжкой битвой сунуть за голенище мужицкий засапожный нож…

Иначе как объяснить, почему я решил вдруг, к занемогшему батюшке в Петербург направляясь, сунуть в дорожный чемодан пушкинские стихи о французском поэте Андрее Шенье?..

Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Антоновок. А тут еще и свадьба на носу. И бригадир мой, по счастью, оказался в столице, где и воспринял декабрьское противостояние в виде личного удара. Но и врачи вовремя, и кровь сброшена, и пьявки к затылку, и матушка моя — рядом днем и ночью.

Когда я на курьерских примчался, ему уже полегчало. И усмешка вернулась, и брови по лбу обычным путем уже перемещались, и речь на своем месте. Только, правда, еще короче теперь стала:

— Вот они, Раевские твои.

Лежал он еще в постели: и откуда терпение нашлось? И читать в мыслях моих, к удивлению, не разучился.

— Любовь не только совместное ложе, жених, но и совместное лобное место.

Женихом он меня скорее в насмешку обозвал, поскольку свадьбу отложили до лучших времен: до полного выздоровления так некстати пострадавшего батюшки.

Генерал навещал старика моего ежедень, а Прасковья Васильевна от матушки всю первую, решающую, неделю вообще не отходила. Но невесте, Полиночке моей, бригадир решительно, языком, еще коснеющим, запретил пред глазами его мельтешить, почему я и поехал к ней уже в следующий вечер. И, собираясь на свидание то, достал из дорожного чемодана подаренные мне Александром Сергеевичем стихи об Андрее Шенье и захватил их с собою.

И — опять загадка: почему я именно тогда

вокруг этих строф закружил? До того времени лежали они и лежали, да и не вспоминал я о них, признаться. Тоска меня заедала, я в прогулках да разговорах с милой девицей топить ее пытался, но закончилось все обозначенной свадьбой как-то, признаться, уж совершенно для меня неожиданно. И мысли вокруг женитьбы завертелись, вокруг будущей семейной жизни… А тут после разгрома восстания на Сенатской площади, после того как отца удар хватил, после переноса собственной свадьбы на срок неопределенный — ну будто заколдовало меня на «Андрее Шенье».

Правда, тогда я просто себе все объяснял. Мол, с Полиночкой давно не виделся, а она так стихи любит. И так огорчается, что свадьбу нашу перенесли. И ей будет приятно внимание мое. Потому с того и начал, что протянул ей исписанные пушкинским почерком странички. Но она неожиданно отложила их и глянула на меня:

— Как ты провел день четырнадцатого декабря?

— В полупоходе. Приказано было в полной боевой выкладке дальнейших распоряжений ждать.

— Я не о том, Саша. Это — как бы снаружи. А в душе твоей что творилось?

Не понравился мне тогда вопрос ее. Вам ведь

тоже не нравится, когда на мозоль наступают.

— Злился, что выспаться не дали.

— И со злости мог приказать роте стрелять по своим?

— Присяга есть слово чести.

Я нахмурился и замолчал. Полиночка грустно улыбнулась и начала про себя читать строфы «Андрея Шенье». Думаю, щадила меня, давая время подумать и успокоиться.

> …Стрелять по своим? Признаться, в такой телескоп я собственную душу тогда не рассматривал. Я был офицером, видел себя офицером и ощущал себя только им. А у офицера собственная душа муштрой и учением на второе место задвинута: на первом у нее — государь и Отечество, заботы, с ними связанные, а главное — защита и незыблемость. Офицерский корпус — цемент, блоки государственные скрепляющий. А душа собственная — так, для личного пользования, что ли. Для милых дев, дружеских попоек, карточного азарта, любимых лошадей да дуэльных барьеров, коли зацепит ее кто хоть из расчета, хоть ненароком.

И все.
Все?..

— Он задолго все знал, — вдруг с глубоким вздохом сказала Полин. — Он предвидел, он все предвидел.

— Кто предвидел?

— Пушкин.

Мне было как-то недосуг разгадывать ее намеки. Я о своей, всем воспитанием искусно раздвоенной душе думал и ужасался, до чего же незаметно из нас механизмы делают, ежедневной муштрою все человеческое вытаптывая из сердец наших.

— Слушай, — сказала Полин.

И начала негромко читать:

Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу

И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли…

— Пушкин, — сказал я весьма туповато. — Так это же когда им написано…

— В этом все и дело, Саша, — озабоченно вздохнула моя Полиночка. — Сейчас лилипуты такими канатами его повяжут… Не его даже — гений его повяжут.

— Так когда же это написано!..

Я повторил с прежней тупостью, но в чем-то все же заколебался, что ли. Не с прежней уверенностью повторил.

— Знаешь, как должны называться эти стихи? — вдруг тихо сказала она. — Знаешь как?..

Вскочила, бросилась к бюро и чуть скошенным почерком написала вверху, над пушкинскими, рукой его написанными строфами:

«НА 14 ДЕКАБРЯ».

И я… как-то опомнился, что ли. Из души моей гремящий офицер вдруг словно выскочил. Освободилась она от него. От всех уставов и на-

ставлений, приказов и повелений. А главное, привычек, честь твою личную зачастую подменяющих. И я освободился вместе с нею. И как бы прозрел.

— Все понял, Полиночка. Все понял я. Для чиновников время есть, а для поэта — нет. Он выше времени и зорче его…

И как же я был благодарен за момент прозрения своего! Она же в человеческий облик душу мою вернула, из армейского мундира ее вытряхнув. В объятьях ее сжал, целовал, целовал…

Туман потом. Только шепот ее помню:

— А зачем нам свадьбы ждать, Сашенька мой?..

И мы не стали ждать венчанья…

Четыре дня спустя

Четыре дня спустя я возвращался в полк уже на перекладных. С «Андреем Шенье» в кармане и надсадной болью в душе. И места себе не находил от боли этой.

> …Я изменил тоске своей. Не любви, нет, — любовь как была в ларце на дне сердца моего, так и осталась. Но не охранял ее больше свирепый и неподкупный

цепной пес — тоска моя. Потерял я на нее право, перестал властвовать над нею и — предал оборону любви своей. За диванные ласки, за минутный взрыв страсти предал я свою Аничку, право потеряв на последнюю чистоту…

Спросите: а как же Настюхи, Варюхи, Машеньки, Глашеньки? Да просто другого круга коловращения эти. Не Аничкиного. А здесь — Аничкиного. Кузина любви моей в жарких объятьях моих была…

Помнится, пил я неуемно. В дороге пил, во всех встречных и поперечных трактирах, а на станциях — с особенным неистовством почему-то. Ожог души пытался остудить…

— Ваше благородие, банчок не желаете-с?

Смотритель спрашивает весьма вкрадчиво.

— Чего тебе?

— Лошадок долго ждать, а в тихой половине офицер банчок предлагает. Мирно и покойно время скоротаете.

— Банчок так банчок.

Вхожу, тоску свою волоча. Вижу: поручик конно-пионерского полка. Приятной обходительности.

— Куда поспешаете?

— Во Псков.

— Вам — на юг, мне — на север, — улыбнулся этот конно-пионер. — Удобно метать, не правда ли?

— Да хоть сверху вниз, хоть справа налево. Что в банке, северянин?

— Пятьсот рублев не жалко?

— На все пятьсот под туза бубен.

> …Не было уже у меня прав на мою червовую даму, не было. Чувство было, что предал я ее, а потому и о помощи ее даже думать не смел. Да я ни о чем тогда и не думал. В голове — вихри, как в снежном поле в стужу зимнюю, а в сердце — тяжесть. Тоскливая, как волчий подлунный вой…

— Нет вашего счастья, поручик. Ни в каком ряду нет.

— И еще полтысячи. Да на того же туза. Может, еще и догоню свою удачу.

— За счастьем гоняться — пустое занятие. Впрочем, воля ваша, поручик. Воля ваша, а карта — наша.

Верное слово сказал конно-пионер: пустое заня-

тие за счастьем гоняться. И оно от меня ускакало, и я от него ускакал. По разным тропам, по путям разным…

Потому, видать, и проигрывал легко. Ни куражу во мне не было, ни азарту, ни интересу даже. Как и лошадей у смотрителя. Может быть, если бы заржали призывно кони под окном, остановился бы я. Но кони не заржали, и конно-пионер очередной банк у меня сорвал: везло ему в игре сегодня.

— Коль больше денег нет, так и игре конец.

— У меня пистолеты добрые. Ставлю по тысяче каждый.

— Не нужны мне пистолеты. Конно-пионеры люди тихие.

— За пару тысячу!

— Нет, поручик, уж увольте. Своему слову я хозяин.

А в меня вдруг упрямство вселилось. Не кураж, не ажитация, а глупая упрямая обида. Будто бес в мальчишку безусого, отцовскими деньгами впервые зеленое сукно засевающего.

— Нет, так невозможно, невозможно так разойтись…

Бормочу, карманы обшаривая. В сумку зачем-то заглянул, хотя и знал, что денег нет уж ни бумажки. Мундир охлопал… А там — хрустнуло.

И вытащил я из-под него пушкинского «Андрея Шенье». И на стол бросил:

— Вот.

— Под бумажки не играю.

— Протрите глаза, конно-пионер! Это — сам Пушкин, своей рукой написал!

— И вправду Пушкин? — Мой визави в рукопись вгляделся. — А как не его то рука?

— В чести моей сомневаться изволите? Так у меня разговор короткий.

— Не сомневаюсь, Олексин… Не ошибся с фамилией? Уж извините, если напутал что.

— Не напутали, — говорю. — Ни со мной, ни с бумагами, кои просматриваете сейчас. В тысячу рублев пойдет?

Хотел же на червонную даму поставить, до жжения сердца хотел — и опять не посмел. Не моей была червонная дама моя. И я на бубновую поставил.

— Бита!..

Встал я и побрел куда-то. Мимо смотрителя, через всю избу — в холодные сени. И в сенях этих горячим лбом в холодную бревенчатую стену уперся.

Ничего больше у меня не было. Ни юной любви, на чужом диване преданной. Ни бесценной

дружбы со славой всей России, на корявый станционный стол брошенной за тысячу рублей. Ни чести более уж не было, ни совести, ни родительских глаз, ни офицерского незапятнанного мундира. Ничего не было, из-за чего стоило бы жить.

Достал я пистолет, который куражистому счастливчику коннопионеру предлагал. Он заряжен был, но порох с затравочной полки стряхнулся, когда я им как товаром размахивал, и я не поленился за пороховницей сходить, взять ее и в сени вернуться. И все делал очень медленно, старательно и спокойно, сам себе демонстрируя решимость свою. И там, в сенях, начал на курковую полку сыпать сухой порох. Неторопливо и аккуратно, крупинка за крупинкой.

Смотритель мимо во двор пробежал, так тяжелой дверью грохнув, что у меня весь порох сдуло. И я опять начал все сначала. Неторопливо и очень старательно…

— Ваше благородие, вроде как вас спрашивают!

Смотритель с улицы заглядывает, а у меня снова порох с полки сдувает. И я опять начинаю заново…

* * *

— Барин, Александр Ильич, чего это ты тут на холоде с пистолетом?..

Поднимаю голову — и глазам не верю: Савка. Мой Савка, Клит мой верный, молочный брат, которого я в Антоновку отправил, когда помчался к захворавшему батюшке.

— Вот так встреча! Я же за вами приехал! Думал, в Петербург придется гнать, ан нет, вы — тут.

Стою, ничего еще не понимая. В одной руке — пистолет, в другой — серебряная пороховница. Хороший вид.

— Почему — тут?

— Так я же и говорю… — растерялся Савка.

— А зачем?

Вздохнул Савка, пригорюнился. Покачал головой.

— Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Проститься очень уж ей с вами хочется.

Слышу все, известия понимаю и запоминаю, а сам на Савку гляжу. Плечистый, разбитной, грамоте обучен… И говорю вдруг, но как бы и не я говорю, а кто-то со стороны:

— Идем.

— Куда? — удивляется Савка. — Собираться в

Антоновку надо. Мамка наша помирает, Серафима Кондратьевна. Пока пообедаете, пока лошадок покормим…

— За мной, — говорю. — И ты, смотритель, тоже.

И, избу миновав, прямиком входим в тихую половину. Конно-пионер стихи, у меня, дурака, выигранные, просматривает. Воззрился на нас, голову подняв.

— Вот, — говорю, — моя последняя ставка. Скинь шубу, Савка, себя поручику покажи.

Тот послушно шубу сбрасывает, подбоченивается, ничего не понимая. И конно-пионер смотрит удивленно, тоже ничего не понимая. А я Савку к столу подталкиваю.

— Извольте принять под стихи, что у меня выиграли. Смотритель свидетелем будет.

— Я, милостивый государь, на людей не играю, — сухо объявляет мне конно-пионер.

— Сыграете, — говорю, и все вроде как в беспамятстве. — А коли откажете в сем, пулю себе в лоб пущу на ваших глазах. Пущу, честью клянусь!

…Господи, что творилось со мной, кто объяснит?! Но то, что творилось, видно, на лице моем написано было, а лба я ла-

донью при этом не прикрывал…

И потому поручик, посмотрев в лицо мое, бросил пушкинские стихи на стол:

— Дарю.

Взбеленился я, аж дыхание пропало.

— Унижений не потерплю! Извольте карты сдать, поручик. На кону — мой Савка и пушкинские стихи.

— Ваши благородия… Ваши благородия… — залепетал тут смотритель, побелев.

Конно-пионер пожал плечами и стал тасовать колоду.

> …А я молиться начал, верите? Про себя, конечно, но — искренне, жарко, истово и неистово одновременно. К святой Божьей Матери обращаясь чрез душу, что предстать пред нею вот-вот должна была. «Мамка моя, — шепчу, — меня вскормившая, силою своею налившая меня, упроси Матерь Божью карту мне верную подсказать. Молю тебя, мамочка моя…»

Богохульствую от всего сердца своего. Не жизнь свою спасая — нет-нет, честью клянусь, о жизни не думал!

Я пушкинские строфы спасал, мне от души подаренные.

Пред ним я тогда себя подлецом ощущал, только пред ним и ни пред кем более. И молил, молил, умолял и молился…

— Извольте карту, поручик.

— Карту?..

> …Карту?.. Вспомнил я, сколь часто карту на свою червовую даму заламывал и сколь часто выручала она меня. Но не было у меня более дамы моей червонной, предал я ее, как дружбу Пушкина, как… Как Полин, в конце концов, без влюбленности бешеной девичество ее нарушив. Одна теперь у меня дама осталась, да и та в Антоновке душу свою чистую Богу отдает…

И — будто молния блеснула.

— Дама треф.

Пришла. В третьем ряду пришла…

Пришла!..

— Ваша взяла, Олексин, — усмехнулся конно-пионер.

А я на пол сел, поверите ли? Будто ноги мне подкосили и — без сил совершенно.

— Вина… — выдохнул последним выдохом.

— Не вина тебе надобно, Александр Ильич, — усмехнулся Савка и вышел.

И все молчали. А я сидел. С пустотой в голове.

Савка с баклажкой и оловянной кружкой вошел. Присел подле меня на корточки.

— За мамку нашу, барин.

И налил мне полную кружку. И не вина, а домашнего ерофеича, который каждый год наша мамка готовила. Забористый ерофеич, родной, и выпил я до дна эту кружку.

Выехали мы сразу же, даже перекусывать не стали. На своих лошадях выехали: Савка за мною на паре примчался. И я, признаться, с поручиком конно-пионером даже не попрощался. Не до того мне было, да и не хотелось, признаться.

Савка меня на сено уложил, с боков подгреб его, в тулуп укутал. Но — все молча.

— Ну, родимые!..

Дорога на Антоновку через Псков лежала, и до города мы ни словом не обмолвились. А как въехали в него, Савка впервые ко мне оборотился:

— Лошадок подкормить надо. Я тебя, Александр Ильич, пока на квартеру твою завезу.

— Обидел я тебя, Савка?

— Проиграл бы, так сам же и выкупил бы. —

Помолчал он, вздохнул. — А обидеть, что ж… Обидел, прямо скажу. Чай, одну титьку-то пополам сосали.

Довез он меня до квартиры и поехал на постоялый двор лошадей кормить. Я умылся да переоделся, отыгранного «Андрея Шенье» к прочим пушкинским рукописям приложил, а с собою в Антоновку взял эти «Записки». Чтоб события в них занести, какие доселе произошли. И пешком пошел на постоялый двор.

— Я бы заехал за тобою, — сказал Савка.

— Пойдем в трактир. Пообедаем, выпьем на дорожку.

— Подлизываешься? — усмехнулся Савка. — Эх, барин, Александр Ильич, кабы не любил я тебя, как брата…

Ладно пообедали, выехали и… поспели. К последнему вздоху Серафимы Кондратьевны чудом поспели.

Подле нее уж и священник был, и монашки тихо горевали. Кормилица моя еще в сознании находилась, хотя на глазах слабела, жизнь теряя.

— Прощайтесь, — сказал батюшка. — Чудом поспели.

Бабы дворовые и девки тихо плакали, меня стесняясь. Потом мужская дворня пошла: все

любили ее, искренне любили. Да и я с трудом тогда слезы удерживал. Долго длилось прощание, слабела на глазах кормилица моя.

Наконец все попрощались, кроме меня да Савки. Я хотел его последним оставить, единственный сын все-таки, но она по-иному решила, прошептав через силу:

— Савушка, сынок… Уступи Сашеньке. Старший он братец… Слово сказать ему надобно…

Савка попрощался с маменькой своей и тут же вышел, слезы рукавом размазывая. А я на колени у ее изголовья стал.

— Из краев… дальних… горничная приезжала… велено от графинюшки…

Отходила она, слова еле слышно с уст ее слетали. Я ухом приник, чтоб расслышать.

И расслышал последнее:

— Ваничка… внучек мой… Ваничка…

И все. И тихий последний вздох ее я скорее душою своей уловил, так ничего и не поняв…

Пишу все это уж после похорон. Завтра во Псков меня осиротевший Савка отвезет.

…Так что же Аничка велела горничной своей передать? Что?.. Сил недостало у дорогой моей кормилицы сказать об этом.

А вернее всего — меня она пощадила, последний раз меня от боли уберегла. Потому что единственная новость, которую Аничка могла мне передать, в том заключалась, чтобы не ждал я ее более. Замуж графинюшка моя вышла. За косноязычного пшюта Засядского…

Дописываю «Записки» сии много времени спустя. Задним числом дописываю, потому вместо дат будут отныне только события.

На следующий день после прибытия во Псков я был арестован. Господами в голубых мундирах.

Все лестницы российских казематов ведут только вниз

Свеча первая

Помнится, я сидел за столом вместе с солидным, уже в годах, орденах и полковничьем чине господином в голубом мундире. Он вел светскую беседу о роговой музыке, сокрушаясь, что сия традиция исчезает ныне совершенно, а двое его помощников в цивильном тем временем деловито рыскали по моей квартире.

— Хор рожечников являет поразительное звучание, коли доводилось вам слушать его во время лодочных катаний по Неве. Каждый рожок ведет лишь свою собственную ноту, но какова же сила общей созвучности при слаженной игре всех сорока осьми рогов! Божественно! В особенности когда хор исполняет русские песни. Божественная патриотичность и державная гармония охватывают душу слушающих…

Я не поддерживал беседы. Был растерян? Угнетен? Взволнован? Ничуть не бывало. Я был скорее удивлен и расстроен, а посему и мысли мои вились удивленно-расстроенным роем.

…Что ж теперь станет с батюшкой, бригадиром моим?

Каково-то ему узнать будет, что сын его единственный ныне как бы уж и не сын его вовсе, а, скорее, пасынок государства Российского. И как известие о сем, изукрашенное добрыми и недобрыми языками, скажется на здоровье его, уж подточенном тяжкими бранными ранами и недавним ударом? И как, должно быть, трудно, досадно, мучительно даже будет матушке моей от незаслуженной обиды сей?.. Как исплачется и исстрадается она и… И сороковой день по кончине кормилицы моей Серафимы Кондратьевны пройдет без моего поклона. А сыну ее, Савке, молочному брату моему, Клиту моему верному, я вольную должен был бы дать, обязан был дать, чтоб детки его успели вольными родиться, а теперь не получится сие, отложить придется в далекую неизвестность волю детей его. Если не навсегда…

Навсегда — это Аничка моя. Вот что теперь уж — точно навсегда…

А о невесте своей Полиночке, равно

как и о свадьбе нашей, так я тогда и не вспомнил…

Вот такой клубок на меня обрушился, и я его распутать пытался. А о себе и не подумал. За что бумагу об арестовании на неопределенный срок мне показали, почему в квартиру мою офицерскую с обыском вломились, в чем обвинен я сейчас и какую же безвинность мне доказывать придется, где и кому?..

Не думал. Не потому, что такой уж хладнокровный, бесчувственный или там спокойный, а потому, что — русский. А каждый русский с рождения, от материнского молока понятие на всю свою жизнь получает, что вина не столько в поступках его содержится, сколько в столах канцелярий государства Российского. Там, там вина каждого подданного хранится за казенными печатями, почему никаких доказательств не требует и никаких оправданий не принимает…

— Чьи стихи это?

— Пушкина.

— Присовокупляю к «Делу».

— На каком основании?.. — вскочил я, помнится. — К какому такому делу? По какому такому праву?

— Сидите, сидите. Стихи-то не ваши, а Пушкина. Зачем же вскакивать, кричать?

— Но позвольте, однако же, сударь, это… это ни в какие ворота. Это — личные вещи.

— Не может быть в России ничего личного, коли вопрос государственности касается.

— При чем же здесь государственность, помилуйте?

— А это уж как вам доказать удастся.

— Мне?..

— Вам, господин Олексин, вам. Так что подумайте о сем. Досуг для осмысления сего вам будет предоставлен.

Еще чего-то поискали присные его, книги просмотрели, на пол каждый пролистанный томик бросая. Не откровения мудрецов их интересовали, а моя восторженная откровенность в заметах на полях. Но ничего не нашли ни на полях, ни меж страницами.

— Имеются ли еще какие-либо записи в квартире вашей, господин Олексин?

— В квартире моей нет более ни единой строчки.

— Слово в сем даете?

— Слово.

Не солгал и душою не покривил. В Антоновке

«Записки» мои остались, сороковин кормилицы моей дожидаясь. Не из предчувствия какого я с собою тогда не взял их, а только чтобы не таскать понапрасну. При службе не распишешься, рота и время отнимает, и силы, и заботы. А в Антоновке…

— Извольте пройти с нами.

Я встал, начал шинель надевать.

— Что же не спрашиваете, что с собою дозволяется взять туда, куда повезем вас?

— Что же дозволяется?

Улыбнулся голубой полковник. Впервые зло тонкие губы поперек лица растянул:

— Ничего.

Свеча вторая

Ожидал, что в Санкт-Петербург меня повезут. В казенную столицу, столь красиво и своевременно из-под батогов выстроенную. Ан нет, по Московской дороге погнали. Во вторую, хоть и Первопрестольную, столицу нашу. На курьерской тройке с двумя верховыми жандармами и молоденьким офицером у меня под боком.

Он растерянным выглядел, испуганным даже. И смотрел на меня в упор не отрываясь.

— В Москву торопимся?

— Мне молчать приказано. Молчать. И вас молчать попрошу. Лучше про себя думайте.

Вот я про себя и думал.

Боимся мы государственных арестантов. А вот кандальников не только что не боимся, но и жалеем их. Дозволено нам убивцев, разбойников да татей ночных жалеть. Даже подкармливать их дозволено: «несчастненькие вы наши…» Но коли государственным ты преступником властями объявлен, то уж никакой не несчастненький, а — враг. Без следствия и суда всего народа враг. Может, потому, что жандармским порядком образованных людей гонят, а конвойным — убийц дремучих?.. Грамоту наш народ любит, а образованных — сторонится. Чужие они в отечестве своем, а чужих на Руси боятся и ненавидят. Странный мы народ. Прилагательный к государственным повелениям.

…А в самом деле, задумайтесь, дети мои. Все народы, все, без исключения, именем существительным в русском языке называются. Француз, молдаванин, немец, татарин, турок, калмык, индеец, швед, англичанин — все, все решительно требуют вопроса — «кто?». Кто перед тобою. Но сами себя мы — единственные во всем мире! — только именем прилагательным называем:

«русский». То есть не кто ты есть как личность, а к кому ты прилагаешься, кому принадлежишь как невольник. Как раб…

К государству ты прилагаешься, ему ты принадлежишь.

Его ты собственность полная от самого рождения своего вплоть до самой кончины своей. И не оно для тебя существует, а ты — для него и ради него. Ради величия его, мощи, славы и самоутверждения — во имя самоутверждения…

Гнали, лошадей не щадя. Запаленных меняли на станциях, не давая из тюремной кареты выходить. И снова гнали, гнали. И спали в скачке этой, и перекусывали на скаку. Пади, Русь, государственного преступника везут…

Привезли в густых сумерках. Куда — не разобрал. Мрачные, безмолвные, узколобые какие-то строения. Каменные крутые лестницы с истертыми ступенями — вниз, вниз. Молча: один солдат с фонарем впереди, другой — позади. Глухой коридор, двери, железом окованные. Лязг ключей, скрежет петель и…

И дверь заскрежетала уже за моей спиной.

Каземат.

Дрожащий огонек свечи, стен не видно. Чуть освещено каменное ложе с тощей подстилкой. И

— тишина. Полная тишина: звуков нет, а в уши — давит. На все барабанные перепонки давит гигантским давильным прессом…

Сел я на твердь, что отныне постелью мне служить должна была неизвестно сколько времени. Может, и навсегда. Долго сидел неподвижно: давило меня, давило со всех сторон. Камнем, тишиной и неизвестностью…

И впервые за все прошедшее время подумал: за что? В чем вина моя, так мне и не объявленная? Граф, что ли, пожалел, что промахнулся тогда?.. Ну, вряд ли. Это бы он раньше проделал, коли бы возжелал. Да и по характеру — не его сущность поклепами заниматься. Нет, не он. Не по его навету я в этот камень одет, не по его. Тогда что же? Или кто же?.. Ну должна же хоть какая-то вина существовать? Не для меня, разумеется, — для записи в казенной бумаге.

Долго сидел, но ничего в голову не приходило. А озноб — мерзкий, сырой какой-то — пришел. Однако знал я к тому времени, что не в шинели русский солдат греется, а — под шинелью. В Корпусе нас этому, правда, не учили, но бывалые старослужащие моей роты как-то пехотную сию премудрость мне поведали. Вспомнил я с благодарностью о добрых советах их, встал, снял

шинель, завернулся в нее, завалился на каменное ложе и…

И уснул.

Сколько спал — не знаю. В каземате у времени всего два цвета — мрак серый да мрак черный. И как сереть начало, так и сон мой на убыль пошел. Я глаза открыл, увидел тусклое оконце под потолком, свечу догоревшую и сел. Что-то вспомнилось, но неясно, неотчетливо, туманно. Я хотел туман этот рассеять, да не успел: петли дверные заскрежетали.

И вошла громоздкая, темная — темнее серого мрака каземата моего — фигура с фонарем. Прошла к столику подле моего ложа, поставила котелок с деревянной обгрызенной ложкой, достала новую свечу, вздула ее и заменила ею сгоревшую.

— Час который? — спросил я у фигуры этой.

Не отозвалась она. Повернулась и вышла. И снова железо ржаво заскрежетало.

Я в котелок заглянул: варево какое-то неопределенное. Есть мне, признаться, хотелось, брезгливостью особой я не отличался, но за ложку хвататься обождал, поскольку ощутил не столько голод, сколько холод. И, надев шинель, начал быстрыми шагами каземат измерять. Девять ша-

гов от окна до двери, девять — от двери до окна. С добрых полверсты прошагал, пока щедрой испариной не покрылся. Тогда сел к столику и съел все неведомое варево до дна, ложкой старательно котелок выскребав.

«Ни хлеба, ни воды, — подумал, помнится. — Хуже, чем на гауптвахте…»

Но поспешил с заключением, потому как вновь заскрежетало, и вторая фигура объявилась. Помельче первой, но столь же безгласая — проверил. Кружку кипятку принесла и добрый кусок хлеба. И удалилась, столь же молчаливо.

Лучше, чем на гауптвахте, как выяснилось. Если вообще наречие сие к каземату подходило.

Попил я кипяточку с хлебушком, не повеселел, естественно, но мысли мои, как ни странно, слегка прояснились. Немного совсем, но достаточно, чтобы вспомнить, как что-то встревожило меня на грани пробуждения. Но что же именно, что?..

К тому времени серость уже весь мой каземат залила, разгоняя черноту по углам, и я впервые мог обозреть границы узилища моего, а может, и всей оставшейся жизни. Две глухих стены, осклизлых от медленно, с улиточной скоростью, ползущей… слякоти, что ли. Да, мерзкой липкой слякоти: может, точнее, — слизи, но и слякоти в

то же время. На ощупь — мертвой и живой одновременно, чтоб понятны вам стали оба первых моих впечатления. Что еще? Пол и потолок. Оба — каменные, только верх гроба этого вроде как мхом порос, а низ — та же мерзостная грязь.

Оглянулся: позади — окованная железом дубовая глухая дверь. Впереди — высоко вверху — забранное толстой решеткой оконце, в которое и без решетки не вдруг-то пролезешь. Уж что-что, а тюрьмы строить мы выучились. Не то что турки в Бессарабии понастроили…

Бессарабия!..

И я на каменное ложе свое опустился. Без сил. Точно в миг тот выпустили их из меня.

Так вот почему я здесь сижу сейчас! Потому что решетки с буйным озорством гнул в сухом и светлом каземате Бендеровской крепости, пока комендант ее пунш свирепый варил, а Пушкин ему зубы заговаривал. И Урсул бежал тогда, ловко в реку выбросившись, а Раевского взяли, а ниточка от него и ко мне привела. Ко мне, пособнику в дерзком побеге государственного преступника.

…И вспомнил старую, до желтизны седую цыганку. Глаза ее — пронзительные, без дна, — вспомнил. И голос мамы Кару-

цы, монотонно слова ее переводившей: «Раны тяжкие она видит, но не они тебя в могилу сведут. Казенный дом с железными решетками видит…»

Права оказалась гадалка…

Долго я сидел, бессильно плечи опустив. Бессильно потому, что все силы мои на борьбу с отчаянием уходили. Все, без остатка. Не щадил я их тогда, а потому — победил.

Победил! Сам себя победил. И в голос, громко и четко, как на плацу, отдал команду:

— Не раскисать. «Отче наш» — каждое утро. Бриться каждое утро. Есть все, что ни принесут. И ежедневно — не менее трех верст вышагивать. Понял, дворянский сын Александр Олексин? Коли все понял, исполнять сие приказываю неукоснительно!

И громко сам же себе ответил:

— Будет исполнено, ваше благородие…

Свеча третья

Менялись свечи каждую побудку. Менялись фигуры, голоса не имеющие. Порой и еда менялась даже — по воскресеньям, что ли? Да, менялось что-то все же, а значит, и жизнь где-то продол-

жалась, потому что в тишайших тюрьмах наших только по этим признакам и догадываешься, что она — существует.

Лишь я себе меняться не разрешал, каждое утро непреклонные команды самому себе отдавая. Правда, уже не в голос, а про себя. Но исполнял я команды эти, как и положено русскому офицеру команды исполнять.

Не раскисал. Молился. Истово, на коленях, как положено узнику. Старательно брился каждое утро, пальцами усы и баки свои оберегая, чтобы внешний вид сохранить вопреки всем казематам. Ел все, что приносили, котелок выскребая до донышка. И каждый день ровно три версты отмеривал, в полный голос походные марши распевая. Девять шагов — в одну сторону, девять — в другую, пары шагов отсчитывая.

И — дошагался.

* * *

В неурочный час двери тогда заскрежетали. За ними в свете двух фонарей — офицер и аж трое солдат с примкнутыми штыками.

— Следуйте за мной.

— Позвольте сначала в порядок себя привести.

— Если угодно.

Сумку с кое-какими принадлежностями у меня не отбирали. Я почистил щеткой мундир, вытер тряпицей ботфорты, пригладил волосы. Руки, признаться, у меня подрагивали, потому что я решил тогда, что ведут меня прямиком на казнь. Зачитают приговор, неизвестно кем и за что сочиненный, и — либо петля на шею, либо — залп в грудь. И мечтать в казематах наших, ни в каких бумагах не обозначенных, об одном лишь можно: чтоб — залп в грудь.

— Я готов.

Долго вели. Сначала — по лестницам, потом — по сводчатым коридорам, а затем и по светлому, с до блеска навощенным паркетом, ступив на который, я наконец-то сообразил, что казнить меня, кажется, пока не собираются.

Остановились у дубовой двустворчатой двери. Солдаты по обе ее стороны замерли, а офицер дубовые створки настежь распахнул. Как перед генералом.

— Прошу.

И я шагнул в просторный светлый кабинет. Прямо напротив двери оказался огромный начальственный стол, за которым сидел тот самый полковник в голубом мундире. Любитель рожечной музыки. А по краям еще двое каких-то

мундирных субъектов, на которых я тогда и внимания не обратил. Звякнул шпорами:

— Поручик Олексин! Честь имею явиться!

— Садитесь, Олексин, — буднично пригласил полковник.

Я прошагал к стулу, стоявшему напротив начальственного стола, и сел.

— Похудели, однако, — вздохнул полковник, поизучав меня довольно продолжительно.

— Исключительно вследствие ежеутреннего бритья, господин полковник.

— Молодцом, молодцом. Льщу себя надеждой, что и ответы ваши будут столь же бодры. Начнем с простого. Когда вы честь имели с коллежским секретарем Александром Пушкиным познакомиться?

«Пушкин!.. — звоном колокольным в голове прозвучало. — Значит, и его хотят в урсуловский тот побег… Ну уж нет…»

Это во мгновение все пролетело. С такой быстротой, что никто и заминки никакой не приметил.

— С каким коллежским секретарем?

— С Пушкиным, разумеется. С известным ныне поэтом.

— Ах, с Александром Сергеевичем! — улыбаюсь как бы с облегчением. — Так со дня рождения

своего.

Нахмурился полковник:

— Как понимать вас прикажете?

— Так ведь земляки мы с Александром Сергеевичем, господин полковник.

Отвечаю, что называется, глазом синим не моргнув. А сердце колотится — аж ребра стучат. «Злить, — думаю, — злить его надо, чтоб он от злости все вопросы про Бессарабию позабыл…» И потому улыбаюсь с некоторой нагловатостью даже.

— От младых ногтей, следовательно?

— В зыбке одной качались!

Потемнел полковник. Потом — покраснел. Но заметил скучно (умел собою владеть, подлец):

— Позвольте напомнить, что вы на допросе, сударь. Но отнюдь не в дамском салоне.

— Безусловно, господин полковник. В дамском салоне я подобной искренности себе никогда бы не позволил.

— Дерзости, вы хотели сказать?

— А касательно дерзости, так она там к месту. Офицер без дерзости, что дама без шарма.

Наступило молчание: видно, голубой полковник в руки старался себя взять. А у меня сердце вдруг колотиться перестало. И не колокольный

звон тревожный, а полковая труба во мне пропела. Кураж я свой поймал.

Заседатели так заседателями и сидят, как и положено при истуканьей их должности. А полковник, порывшись в бумагах, извлекает пушкинскую рукопись и показывает ее мне через стол.

— Узнаете?

— На таком расстоянии я только стрелять умею. А читать — прощения прошу.

— Так извольте встать и посмотреть!

«Ага, — думаю, — разозлился. Так разозлился, что и про Бессарабию забыл…»

Встал, вид сделал, что изо всех сил всматриваюсь. Не только наклонился — прищурился даже.

— Вроде стихи.

— Чьи стихи?

— Не имею понятия. Не подписано, чьи.

— Руку не узнаете?

Что тогда во мне взыграть могло, кроме куража? А посему заулыбался я радостно да и пошел ва-банк:

— Неужто ваши, господин полковник?!

Взревел он наконец:

— Пушкина!.. Пушкина стихи возмутительные! К противудержавному восстанию зовущие! Отку-

да? Откуда они у вас? Признавайтесь, он подарил? Он?.. Вы же в зыбке одной качались!

— В зыбке иными чернилами писать принято. Вот теми стихами мы с ним обменивались щедро, не скрою.

— Остроумно, — сдержался полковник, хотя и вновь в краску его ударило. — Только откуда они у вас в виде, так сказать, первозданном, хотя и без подписи? Откуда, Олексин? Подумайте о себе сейчас. Вам каторга грозит, если не Петропавловская крепость навечно. Так что хватит шутить. Отшутились.

Признаться, задумался я вполне серьезно, но как бы и раздвоенно в то же самое время. Для них — о своей судьбе, которой пригрозили не на шутку, а для себя — о Пушкине. И об Александре Сергеевиче — с куда большей тревогой, чем о себе самом.

Какого ответа он от меня ждет в обмен на Алексеевский равелин? «Не могу знать» пройти не может, это ясно. На дороге нашел? Ни за что не поверят и гноить в Петропавловке будут, пока до корней не сгноят или пока я малодушно не сознаюсь. В чем же я должен сознаться? Да только лишь в правде святой. В истине, что Александр Сергеевич Пушкин подарил мне эти стихи на

добрую память. Лично, из рук в руки передав. В полном списке, с теми строфами, которые цензура печатать не разрешила. Сорок четыре строки, которые мне Полиночка читала в страстный наш вечерок… И, умница, предупредила меня, дурака, относительно путов и лилипутов… Вот они, передо мной сейчас. Путы и их лилипуты. Или наоборот. Вот и надо, чтоб все — наоборот. Чтоб не вышло у них Гулливера в липкую свою паутину запеленать. Спасибо, Полиночка, спасибо, невеста моя, очень вовремя ты главное подсказала. А что не влюблен в тебя, прости великодушно. Может, еще и влюблюсь, в казематах вдосталь насидевшись.

> …Может, так, может, и не совсем так бежали тогда думы мои. Дословно за давностью дней их не запишешь. Но одно могу с полной убежденностью и верой и сегодня сказать, дети мои: никогда, ни под каким видом не свершайте того, чего враг ваш от вас упрямо добивается. Ну а друг в каземат вас ни с того ни с сего не упрячет, если, разумеется, он — Друг…

«Надо, чтоб все — наоборот…»

Вздохнул я горестно, до этого решения додумав-

шись. Головой сокрушенно помотал, чуть ли не всхлипнул даже.

— Виноват, господин полковник.

— Ну, ну? — оживился голубенький мундир. — Припомнили, когда подарок сей получили?

— Все припомнил, — говорю. — Трактир тот гнусный, как в яви, вижу. Вот как вас. Истинный Бог! Водка преотвратнейшая, а карты перли, как на нерест.

— Кому?

По-моему, запутался полковник в моем чистосердечии. Иначе не спросил бы со столь изящным обалдением.

— Как так — кому? Мне, разумеется. Кураж пьяных любит и всегда сидит на левом плече.

— А Пушкин?

— Что — Пушкин?

Смотрим друг на друга с искренним удивлением. Полковник искренне ничегошеньки не понимает, а я — искренне все. Банкую по-крупному, и кураж — на моем левом плече.

— Пушкин играл с вами?

— Когда?

— Ну, в трактире том, в трактире!

— Нет. Почему Пушкин? Поручик какой-то понтировал с рябым лицом. Или в глазах у меня

тогда рябило?..

Замолчал полковник. Платок достал, отер побагровевшее лицо и глянул на меня измученными, отчаянно усталыми глазами. Сказал неожиданно спокойным, почти отеческим тоном:

— Повеселились предостаточно, Александр. А теперь отца пожалей, бригадира Илью Ивановича, он еще от удара не оправился. Матушку свою Наталью Филипповну тоже пожалей. Невесту свою вспомни, о свадьбе грядущей подумай. Вполне так может статься, что не выйдешь ты отсюда. Вполне.

Поверите ли, жалко мне его стало. Семья, дети, карьера нелегкая. Не всякий дворянин в эту голубую службу шел, потому что презренной она считалась. Государству, может, и нужная, а честью дворянской отвергаемая решительно, язвительно, а подчас и грубо. Руки мы, офицеры, им, голубым мундирам, никогда не подавали. А коли подал бы кто, то тем же днем и рапорт бы своему командиру подал. С просьбой о переводе в самый что ни на есть глухоманный полк. Честь закон подпирает, но никогда не наоборот.

— Прощения прошу, господин полковник, — искренне сказал, без всякой задней мысли. — Шлея

под хвост попала.

— Пушкин подарил стихи об Андрее Шенье?

— Пушкин много стихов мне дарил — вон они, в кожаной папке у вас под рукой. Там для потомства пушкинские подарки хранил. А эти стихи — отдельно. Сами видели во время обыска. Потому отдельно, что попали они ко мне и впрямь по пьяному счастью.

Боже ж ты мой, как же мне хотелось лоб ладонью заслонить! Да хоть бы почесать даже… Но удержался я.

— Опять начинаете? — устало вздохнул полковник. — Снова «здорово», как говорится. Только несчастье ваше вполне даже трезвое сейчас. Уж трезвее и не бывает.

— Да Богом клянусь, пьян был в лоскуты! — перекрестился я, поскольку истинную правду говорил в тот момент. — Лакея своего, Савку, чудом тогда не проиграл, на кон его поставив!

Что-то в голосе моем и впрямь святою искренностью прозвенело, и полковник звон этот воспринял своим чутким жандармским ухом.

— Значит, по-крупному игра шла?

— Такой, знаете ли, кураж, что только пьянством моим окаянным объяснить можно.

— И что же, банчок сорвали?

— Полностью, господин полковник. Настолько полностью, что у поручика того уж и денег не осталось. Вот он стихами со мной и рассчитался тогда. Этими самыми, которые не в папке. Про Андрея. И я, каюсь, принял список этот даже с удовольствием.

Молчит мой полковник.

— Да кабы знал я, что стихи к печати не допущены, разве ж я стал бы их брать? Да я свою роту первым в полку поднял, чтоб государя императора защитить!

— Вот это-то нас и удивило…

Искренне признался, значит, в полку уже розыск провели. И несколько озадачились, поскольку рота моя и вправду лучшей считалась, а я мятежом на Сенатской площади громко тогда возмущался. От всей души, что называется.

> …Это сейчас, сейчас они — герои наши легендарные, но в то время… В то время ни армия, ни простой народ ничего о них не знали. Ни целей их, ни дальнейших планов, ни понимания, ради чего все это сотворено. Замкнуто они держались, на все пуговицы застегнувшись, и посторонних к себе и на версту не подпускали. А

любой гарнизонный офицеришка — он ведь тоже человек. Не пешка он в гвардейской высокой игре, он знать право имеет, зачем все делается да за ради чего.

Вот когда узнал, ради чего, тогда и отношение к декабристам изменилось. Тогда героев в них увидели, только тогда, не раньше. И я — не исключение…

— А с кем же все-таки играли вы в тот свой куражный день? И на какой станции?

— На какой? Да на третьей… нет, на четвертой от Новгорода на Санкт-Петербург. А может, на Псков… Памятью помрачился, господин полковник. Одиннадцать дней пил беспробудно.

— Помрачились памятью? С кем играли, где играли, когда играли — запамятовали?

— Совершенно верно, господин полковник. Запамятовал до полного провального тумана.

— Стало быть, вспомнить следует. — Полковник побарабанил пальцами по столу, глянул свирепо. — Вот и следуйте вспоминать!

Свеча четвертая

И последовал я вспоминать собственную провальную память. Вниз, в казематные погреба,

где даже трензеля невозможно было хранить, а людей — возможно, можно и нужно, как выяснилось. Чтобы вспомнили либо истину, либо — угодное. Об истине я и не помышлял — в цене мы с ней расходились, — а угодное сыскным господам доброго размышления требовало.

Судя по задушевной беседе с полковником, бессарабские проказы мои никого не интересовали, хотя я не понимал тогда, почему не интересовали, и опасался подвоха. Но по всему выходило, что их сильно заинтриговал полный список «Андрея Шенье». Может быть, не столько сам список, сколько путь, каким он в моих руках оказался. Самый короткий, понятный, а потому и удобный для них путь (от Александра Сергеевича в мои руки) я сразу же отверг решительно и бесповоротно. А кое-как, почти на бегу сочиненный мною сложный, неудобный и, скорее, подозрительный, чем ясный, путь отстаивал с пеной у рта, себя не щадя, несмотря на всю его дырявость, абсурдность и явное несовершенство. И я вовремя, исключительно вовремя ввернул, как чудом не проиграл собственного молочного брата, очень вовремя и — к месту: таковое за все рамки выходило, а потому и запоминалось, и как мой Савка, так и смотритель на этом крест

поцелуют со всей истовостью…

Тут меня подтолкнули в каземат, я глотнул спертого, гнилого воздуха, захлебнувшись им, как жижей болотной. Шатнулся то ли от контраста, то ли от омерзения, влип рукою в склизь на стене и понял вдруг, что я для них — нуль. Никто. Пустота. Ямка на дороге, чуть качнувшая государственный экипаж. И упрятать меня хоть в московские подземелья, хоть в Петропавловские равелины для них никакого труда не составляет, как бы мой родной бригадир ни метался при этом по присутствиям, кабинетам да салонам: человека Россия видеть так и не научилась. Она с рождения близорука и видит только того, кто у трона суетится. А кто там поодаль шпагой отмахивается, честь ее защищая, или хлебушек ей к столу на собственном горбу тащит, — тот всегда как бы в некоем казенном облаке пребывает, фигуры собственной не имея. Размыты очертания его для России, до той поры размыты, пока он, пупок собственный едва не развязав, каким-либо знаком себя не обозначит. Звездой, разумеется, всего лучше. Заметнее. Вот потому-то все к орденам, чинам да званиям так у нас и рвутся. Бешено рвутся, себя не щадя и других не жалея, чтоб только бы из того казенного тумана вырваться.

Замеченным стать. Фигурою.

Как-то, помнится, умный немец сказал мне в… Ляйпциге, что ли? Или в Баден-Бадене…

— У вас, в России, талантливых да отчаянных куда как больше, чем во всей Европе.

Конечно больше. Иначе из казенной туманности не вырвешься. Контраст меж туманной массою и освещенными фигурами у нас ослепительно велик. До рези в глазах…

Дней пять, что ли, я над этим парадоксом размышлял. Размышлял, неукоснительно и непременно исполняя отданный самому себе приказ:

— Не раскисать, Олексин.

Конечно, размышления мои аристократии не касались. Аристократия — каста замкнутая, родовыми узами перевитая, общим детством сплоченная в особое стадо, а потому и ощущающая себя иной породой. Но я не из их числа. Я из тех, кто мечом да шпагой их житейское спокойствие обеспечивал. Предки мои Царя-батюшку на Московском Земском Соборе среди своих знакомцев да родичей не выбирали. Недосуг им было: они границы Руси берегли, пока боярство прикидывало, кого сподручнее на трон посадить…

И так всегда будет. Всегда. Во веки веков. Страна

без краю, народу не сосчитать, и столица никогда никакой усадьбы не увидит, не услышит и не поймет…

…Не следует из сих казематных размышлений моих вывод делать, будто взбунтовался я душою своею, сыны мои любезные. Нет. Всякая власть — от Бога, чтоб народ друг дружке глотки не перерезал. И русская — тоже от Бога, и мятежничать да крамолу ковать супротив нее все едино что супротив премудрости Господней. Противузаконно сие и противуприродно. Но о странностях судьбы русского человека я тогда впервые задумался и к такому выводу пришел, что уж кому-кому, а нашему брату русаку милостей ждать от судьбы ли, от властей ли, от природы ли никак не приходится. Нам самим свою Жар-птицу ловить, коли есть хоть какая к тому способность. Кто за хвост ее ухватит, кто за горло возьмет, кто за когти уцепится, крови своей не щадя, кто хитрую ловушку для нее смастерит или сладкозвучным пением своим заворожит ее. Потому-то заграница

и удивляется, что талантами Русь столь небывало одарена…

А потом вновь заскрежетали двери, и конвой повел меня, раба Божьего, наверх по крутым лестницам. По навощенному паркету в приторно-строгий кабинет.

— Так что же, Олексин, припомнили, на какой станции вы играли в штосс с поручиком конно-пионерского полка? И кто у кого выиграл полный список «Андрея Шенье», собственноручно записанный коллежским секретарем Пушкиным?

…Поручик конно-пионерского полка?.. Насколько мне помнилось, я утверждал, что был настолько пьян, что формы его не приметил, как, впрочем, и лица. Стало быть, станцию они вычислили, и смотритель моего партнера припомнил…

И — закашлялся. Не для оттяжки времени, а вполне натурально. Как я ни берегся, как версты свои ежедневные ни отмерял, а сырость казематная, промозглая, скользкая какая-то сырость до меня все же добралась.

— Застудились?

— Немудрено сие… — прохрипел я сквозь кашель.

— Сами виноваты. Лакей ваш умнее оказался. Сразу признался, что вы его на кон ставили. Некрасиво, молодой человек. Живого человека и — ва-банк. Некрасиво.

Вот тут-то и посетила меня благая мысль. Совладал я кое-как с кашлем и — со всей сердечной искренностью:

— Совершенная ваша правда, господин полковник. Мучительно стыжусь сего пьяного поступка. Мучительно стыжусь. А посему и рискую обратиться к вам с нижайшей просьбой помочь мне снять с души сей тяжкий грех.

— Каким же-с образом?

— Я ведь не лишен еще ни сословных, ни имущественных прав?

— Пока не лишены. Пока!

— Понимаю: пока суд да дело. А посему прошу вас официально, как должностное лицо и как свидетеля одновременно, подтвердить мое твердое решение. Я дарую вольную слуге своему.

— Хорошо подумали? — нахмурился полковник. — Допустим, я решусь подтвердить ваше волеизъявление, а ваш батюшка возьмет да и опротестует сей документ?

— Я распоряжаюсь личной собственностью, господин полковник. Деревенька Антоновка

дарована мне со всеми сорока шестью душами мужеского полу. Дарственная сия подписана моими родителями как прежними владельцами и утверждена властями.

— Юридически безупречно?

— Как де-юре, так и де-факто.

Полковник помолчал, прикидывая, как мне показалось тогда, выгодно ли сие решение мое для его дальнейшего следствия. А затем сказал одному из истуканов-заседателей записать то, что я им продиктую.

— Диктуйте без ошибок.

И я начал неторопливо диктовать, обдумывая каждое слово, ибо от правильности документа свобода человека зависела:

— «Я, потомственный дворянин Олексин Александр Ильич, владелец деревни Антоновки Псковской губернии Островского уезда Опенковской волости, сим документом навечно освобождаю крестьянина указанной деревни Савву Игнатова от крепостного состояния и всех иных форм зависимости…»

…Ну, и так далее. Торжественно, с радостным подъемом духа диктовал, кажется улыбался даже. Не только потому,

что исполнял тем свой долг как перед памятью покойной кормилицы моей Серафимы Кондратьевны, но и потому, что снимал с души своей грех, который ощущал, как банный раскаленный камень, как терзания совести собственной. Дети мои, поверьте мне! Нет большего стыда и позора для чести собственной, чем унижение того, кто и права-то не имеет ответить тебе хотя бы словом смачным, не говоря уж о пощечине, вполне тобою заслуженной. А потому счастлив я был, что успеваю, успеваю до решения суда, под который меня подвели, и совесть свою примирить, и честь спасти, и Савку наградить, как могу, за все то, что он для меня делал доброго. За каждое переданное мне румяное яблочко, привезенное им из моего же барского сада…

А еще потому радовался, что бессовестно время тянул, уведя допрос совсем уж в иную сторону…

Закончили. Утвердили. Свидетели расписались, и я вздохнул с огромным облегчением:

— От души благодарю вас, господа.

— Знаете, Олексин, почему я пошел на столь явное нарушение всяческих повелений, наставлений, разъяснений да и просто порядка проведения следствия? — спросил вдруг полковник. — В Санкт-Петербург мы с вами сегодня же помчимся на курьерских. Из Первопрестольной в столицу империи Российской, где вам не удалось бы свершить столь благородного поступка, под следствием находясь. Но попали вы в некий как бы просвет юридической процедуры: московское следствие закончилось, а петербургское еще не началось.

* * *

…Петербург? Зачем же — в Петербург?.. Какое же следствие еще может быть, когда полковник получил подтверждение, что я спьяну выиграл пушкинский список у конно-пионера?..

— Вещи ваши из каземата уже на выход доставили, — продолжает тем временем мой дознаватель, ставший сегодня неожиданно великодушным. — Сейчас пообедаем и — в дорогу. В дальний и, признаться, неведомый не только вам, но и мне тож, путь по юридическому бездорожью России…

Странно, но обедали мы с ним вдвоем. Мне,

изголодавшемуся, обед тот лукулловым пиром показался, поэтому не до бесед мне было. А полковник мило, порою остроумно даже болтал, как водится, ни о чем. Как принято болтать на полуслужебных, полудружеских, но — официальных застольях: обо всем гуртом и ни о чем в частности.

И лишь под конец, за доброй рюмкой вина, сказал вдруг вполне искренне:

— Знаешь, Олексин, почему я твою просьбу уважил? Дед мой — крепостной мужик. Спасибо, барин в нем талант углядел и отпустил его на полную волю, как ты своего лакея. Цветы дед такие выращивал, каких ни у кого в округе не было, а тут деревеньку за долги должны были в казну забрать, вот барин и поспешил на волюшку моего деда отпустить, чтобы он кому иному не достался. Россия — страна загадочная. В Англии — законы, в Германии — орднунг, во Франции — галльская дерзость, а у нас — барские капризы…

Свеча пятая

Мой дотошный следователь, как мне показалось, был весьма рад, что нас неожиданно востребовал Санкт-Петербург: уж очень много гордости и некоей мечтательности, что ли,

звучало в его голосе, когда он поминал о самом способе нашего передвижения — «курьерский!..». Но помчались мы куда быстрее, чем мчатся курьеры, поскольку нас неожиданно решили доставить в столицу по фельдъегерской связи. С ее государственной стремительностью, готовыми поставами и трубачом впереди, оповещавшим об особой срочности и важности нашего путешествия в Северную Пальмиру.

> ...Впрочем, скорее — бешеной скачки, при которой мы не только дремали в карете, но и перекусывали в ней: какое уж тут — «в пути шествие»! Пишу об этом потому лишь, что вдруг припомнился мне спор меж Пушкиным и Раевским как раз по поводу этого странного русского слова, никогда не воспринимаемого нами буквально. У нас можно передвигаться и вскачь на лихой тройке, и упорным солдатским маршем, и даже — по морю на корабле, и все это будет называться «путешествием». Чуден русский язык, и я не завидую иностранцам, пытающимся постичь его с позиций усредненной европейской логики...

Да, мы неслись вскачь, и это обстоятельство, как ни странно, весьма озадачило моего голубого полковника. Он внезапно утратил свое добродушие, ясно проявившееся во время нашего последнего свидания в Москве и — особенно — во время почти дружеского обеда tête-à-tête. Что-то его озадачило, и он стал вдруг не просто молчаливым, но, скорее, — угрюмо озабоченным. И я ломал голову, пытаясь понять причину этой внезапной перемены.

Ему удалось удостовериться, что я и впрямь выиграл полный список «Андрея Шенье» в штосс: Савка и смотритель оказались тому свидетелями и клятвенно подтвердили мои слова. Истина — для него, разумеется, — была установлена, что и привело полковника в доброе расположение, но фельдъегерская стремительность нашей переброски в Санкт-Петербург явно насторожила его и, как мне представилось вдруг, поколебала его приятную уверенность в результатах собственного расследования. Я не понимал, что же именно послужило тому причиной, но в окончательном выводе своем не сомневался, ибо угрюмость жандармского дознавателя весьма красноречиво говорила сама за себя. И, признаться, встревожился этим обстоятельством.

Чуть ли не до Твери — а уж до Клина во всяком случае — я раскладывал и перекладывал пасьянсы из собственных соображений в собственной голове. Они никак не желали складываться, и я, не расстраиваясь, тут же перетасовывал колоду и раскладывал новый пасьянс. И в конце концов добился…

Нет, не добился — додумался до единственного расклада, при котором каждая карта легла на свое место, не мешая, а, наоборот, способствуя определению точных мест карт всей колоды, стасованной всею судьбой моею.

Я пришел к выводу, что санкт-петербургская жандармерия провела свое следствие без моего участия, для чего меня и задержали в Москве, подальше от столицы. И весьма возможно, что им удалось добыть доказательства моей лжи, уличив не только меня, дворянина и офицера, в заведомой неправде, но и поставив под сомнение profession de foi самого полковника. И для нас обоих это могло означать одно: мы оба впадали в немилость с самыми непредсказуемыми последствиями.

Однако кто мог разрушить мою легенду, подтвержденную двумя свидетелями и поддержанную следователем? Только тот, кто подарил мне

«Андрея Шенье», или тот, кому я об этом сказал. Александр Сергеевич Пушкин и моя нареченная невеста Полиночка. Даже поручик конно-пионерского полка не знал всей правды и мог лишь опровергнуть мое утверждение, что я выиграл у него рукопись, а не он ее — у меня с последующим проигрышем. Тут могла начаться такая путаница, в которой мне забаррикадироваться беспамятством, сославшись на недельное беспробудное пьянство, не составляло никакого труда. Нет, нет, показания конно-пионера никак не требовали фельдъегерской поспешности в доставке меня пред грозные очи грозного жандармского начальства. Поводом для этого могли служить только признания либо моего дорогого друга, либо дорогой — да, да, вновь и дорогой, и бесценной!.. посидите в гнилом каземате: в России именно там познаются истинные ценности! — любезной невесты моей.

Не из-за своей судьбы я страдал и терзался в том стремительном броске из Москвы в Санкт-Петербург. Нет, не за будущее болела душа моя, а за прошлое. За треснувшую дружбу или рухнувшую любовь.

Потому-то и молчали мы с полковником, забившись в противоположные углы кареты.

Въехали мы в Санкт-Петербург в сумерки. Впрочем, там всегда для меня сумерки, даже в белые ночи… Но это — так, к слову.

Въехали в сумерки, завернули куда-то, чтобы высадить полковника — признаться, расстались мы молча, сухо и как-то весьма напряженно, что ли, — и далее меня помчали одного. Не считая, разумеется, трех жандармов, сопровождавших нас всю дорогу. Окна кареты были зашторены снаружи — все же арестантской она была, — я ничего не видел, а потому и ведать не ведал, куда меня везут. Да и не желал задумываться об этом, потому что путевые размышления мои, а главное, горькие выводы, к которым пришел я, породили полнейшее безразличие к собственной участи.

А потому даже не удивился, когда карета вдруг остановилась. Распахнулась дверца с наружным засовом, и я ступил на крупный обледенелый булыжник внутреннего дворика Петропавловской крепости.

Меня встречали. Старший из жандармов подал крепостному офицеру пакет, получил расписку на конверте и тут же уехал со товарищи в опустевшей карете. Офицер неторопливо прочитал присланную сопроводительную бумагу при свете факела, свернул ее в трубку и равнодушно глянул

на меня:

— Бывший поручик Псковского…

— Почему «бывший»? — взъерепенился я. — Офицерский чин жалован мне государем, а посему только им и может быть отозван.

— Пардон, оговорился, — устало вздохнул офицер. — Декабристы голову заморочили. Судя по сопроводительной бумаге, вы — дворянин Олексин Александр Ильич?

Чина моего он решил все же на всякий случай вслух не произносить. Но я уморился и от скачки, и от горестных размышлений, а потому просто подтвердил, что я — это я.

— Следуйте за мной.

Следую. Впереди — солдат с фонарем, позади — солдат с ружьем, посреди — офицер и я. Но не рядом, а я — следом за ним. Крепость есть крепость, порядок есть порядок и закон есть закон.

Ожидал опять крутых лестниц с истертыми ступенями — вниз, ан ничего подобного. Длинный коридор, скудно освещенный тусклыми фонарями со слюдяными стеклами и гулкими каменными плитами на полу. Массивные двери с закрытыми на задвижки форточками и — тишина. Только грохот солдатских сапог. Когда же вниз поведут? — думаю.

Никакого низа. Остановились перед дверью. Точно такой же, как остальные. Глухой, окованной и — с закрытым на засов окошком посредине. Чтоб заглядывать снаружи, что ли. Или — еду давать.

Офицер своим ключом разомкнул замок. Ключ — крепостной, в карман не спрячешь: он его от пояса отцепил. Солдат открыл дверь — почти бесшумно, петли здесь то ли уже разболтались от частого употребления, то ли смазывали их.

— Свечу зажги.

Солдат с факелом прошел в распахнутую темноту. Мы молча ждали, когда он вернется. Вернулся скоро, и за спиной его я увидел затеплившуюся свечу. Свою, очередную.

— Прошу, — сказал офицер.

Я шагнул за порог, и дверь тут же закрылась за мною.

Свеча шестая

Все здесь было создано из камня, огорожено камнем и одето им. Но сырость была иной, менее липкой, что ли. И угрюмость после подвального узилища моего в Первопрестольной не давила на меня этажами да перекрытиями. И даже тишина — тоже омертвелая, тоже гробовая — не с

такой беспощадной силой сжимала душу мою, как было то в московском каземате. Да и от стены с дверью до стены с зарешеченным окном здесь оказалось не девять, а все тринадцать шагов, и я — поверите ли? — повеселел. Ей-богу, повеселел, хотя, признаюсь, пишу сейчас не то слово. Смысл ощущения, мною восчувствованного в каземате Петропавловской крепости на первом шагу пребывания в нем, словом сим просто обозначаю. Как некое противопоставление каземату московскому всего лишь. Будто из подземелий разбойного приказа перевезли меня в суровый крепостной, но — более или менее — современный, что ли, замок. Равнодушный ко всему живому настолько, что даже склизкой плесени на стенах не было. Только сырость, холод да безмолвие.

В бешеной скачке нашей меж двумя столицами надремался я вдосталь, и спать мне не хотелось. Свеча была потолще той, что столько недель светила мне в средневековом подземелье. И хоть свет ее был жалок, я осторожно, чтоб, боже упаси, не погас огонек, взял ее и оглядел новое свое жилище. Прошел вдоль стен, осветил малое оконце, забранное крепкой — не согнешь, Сашка, не турецкое изделие! — решеткой. Ложе осмотрел, выяснил, что не каменное это возвышение,

а — узкая железная койка с приплюснутым сенником, подушкой размером в лепешку и грубым солдатским одеялом. Обнаружил на столике глиняную миску, деревянную ложку да оловянную кружку. А под столешницей оказалась полочка, на которой что-то лежало. Я присел, посветил и вытащил толстую тяжелую книгу.

Книгу…

Это была Библия. Рыхлая, зачитанная предыдущими постояльцами, изрядно потрепанная, но — целая. И я нежно погладил ее, странное тепло вдруг ощутив в груди.

Матушка в детстве читала мне Великую Книгу сию по часу в день. А я в окошко глядел с нетерпением до зуда, вполуха слушая непонятные имена. Но сам никогда и не раскрывал ее, да никто особо и не заставлял меня это делать. Новый Завет и Псалтырь — да, читал, молитвы учил, в Корпусе даже экзамены сдавал. Но Библия… О ней ведь больше слышат, чем читают ее. Да и при желтой казематной свече не вдруг-то вчитаешься в нее, она света требует. Пробовал.

Закрыл Библию, руку на нее положил и сказал вслух, мертвую тишину нарушив:

— Не раскисать. И исполнять приказ, Олексин. Неукоснительно исполнять.

Лег, укрылся одеялом и шинелью, приказал себе спать и… уснул.

Сколько спал, не знаю: брегет свой я удачливому конно-пионеру проиграл, так что никто мне побудки не прозвонил. Но проснулся рано: чуть посерело оконце. Отшагал версты полторы — в дверь стукнули. Глянул — форточка в ней открылась, и прокуренный солдатский голос произнес:

— Миску да кружку. Хлеб — на весь день.

Получил полную миску щей, кипяток и два куска ржаного. По полуфунту каждый. В Северной столице кормили получше. Не в пример Москве. Дважды в день открывалась эта дверная форточка, как я потом выяснил. Дважды в день я щи свои получал и кипяток, а по утрам — два фунта хлебушка.

И более никто меня не тревожил. Никто не мешал Библию читать. Никто, кроме крыс, но с ними быстро договариваешься, коли хотя бы одну пришибить удается. Мне это дважды удалось, и я воцарился в каземате. Крысы побаиваться стали и весьма осторожничать. Я их в одном и том же углу начал подкармливать, а из всех остальных — гонять беспощадно. Твари быстро привыкли к моему порядку, постигли его и читать не мешали.

Признаться, долго не понимал я, что Книга сия есть из всех Величайшая. Сперва читал, как привык читать, за событиями следуя. И ничего не понял. И события в ней повторяются, и возникают вдруг, как бы вообще ниоткуда. Потому я ничего не понимал, что достаточно избалован был людскими книгами, людским же разумением и изложенными: по логике человека. А когда по три, по четыре раза главы стал перечитывать — да что там главы: стихи отдельные! — уразумел Божескую логику. Иные у нее пути, не вам известное она излагает, а — вам неизвестное. И это, человеку неизвестное, постичь можно только двумя способами — либо верой нерассуждающей, либо — просветлением. К вере я был не очень приспособлен, потому что с детства учили меня непременнейшим образом доказательств искать и разъяснений требовать, но когда заставил себя думать, соображать, что же под каждой строчкой кроется, тогда понемногу, по шажочку начал понимать не что Господь рассказывает нам, а от чего он нас предостерегает.

> …Нет, не ждите от меня откровений, не постиг я глубин и не воспарил в выси горние. Я — земной человек, не очень

глупый, но и вовсе не прозорливый. Многое, что уразумел, так во мне и останется навсегда, потому что не в силах я Божественное Слово на язык человеческий перевести. Не дан мне талант сей, не призван я. Но кое в чем все же разобрался, и долг ощущаю вам, сыны мои, свое толкование поведать. Главное в том, что законов человеческих в Библии не содержится. Какой придет государь или правитель, какие для себя и народа своего законы установит и повеления отдаст — Библию это не интересует. Она общечеловеческие законы излагает. Для всех народов и на все времена.

Основной Закон существования племени человеческого — вечная война Добра со Злом. Природы он не касается, нет в природе ни Добра, ни Зла, нет и никакой борьбы между ними.

Но в племени человеческом — есть. И как только вышел человек из природы в самостоятельную жизнь (Библейский Эдем и есть Природа, где пища без труда и особых хлопот достается — только руку протяни), так и стал сражаться за

Добро против Зла. Потому что и то и другое — с ним, вокруг и внутри его. В обществе каждом, народе каждом и человеке — каждом. Он ведь единственный изо всех Божьих созданий вкусил плода от древа Познания, но вкуса Добра и Зла запомнить ему было не дано. Дано было — познать, и познание это и есть мучительный прогресс человечества. Его Восхождение к недостижимому совершенству.

А мерило грани меж Добром и Злом Господь обозначил. Грехом. Но и понятие греха тоже в душу не вложил, потому что грех осознать сперва надо. И дети поэтому созданы безгрешными: их старшие пониманию греха обучить обязаны. Поначалу — маменька, потом — семья, следом — труд среди людей и бой ради людей.

Знаете, когда наших прапрародителей Господь из Рая изгнал? Когда они взрослыми стали. Детей из Рая не изгоняют. А изгнав и повелев им в поте лица своего снискивать хлеб свой, Он благо в них вложил, ими самими открываемое: Любовь. Одну-единственную Великую Любовь и

Адаму, и Еве на все грядущие времена. И коли посчастливится Адаму познать, что Ева его из его же ребра сотворена, а Еве — восчувствовать, что она — частица его, тогда и только тогда им благо это является: они — друг для друга.

Они — одно целое, друг друга они нашли и — воссоединились. Обрели счастье. А потому — не спешите соединять судьбы свои. Если одно лишь желание вами движет к предмету страсти вашей, это — не любовь. Это — страсть всего лишь. Вожделение. Утолите его, и кончится тяга ваша. Но когда мужчина боль ощущает в отсутствие предмета своего — это ребро его, из которого его Ева сотворена была, в нем криком кричит. А женщина — тоску по своему ребру. Боль мужчины и тоска женщины — сигналы того, что нашли они друг друга, что Любовь — Благословение Божие, в души их стучится мужской болью и женской тоской непереносимой. И это, только лишь это — тоска и боль — и есть зов Любви, а не вопль плоти. За нею и ступайте, ибо нашли вы счастие свое…

Вот что открылось мне спервоначалу и вот что осознал я. По вновь возникшей боли осознал, навеки утеряв ту, что создана была только для меня. Одного-единственного. Из моего ребра создана и увезена в Италию. Навсегда.

Никак не менее недели я над этим своим прозрением размышлял. А в остальном — существовал как существовал. Версты свои отмеривал, щи хлебал и крыс дрессировал, чтобы место свое знали. А что невнятно свое открытие изложил, прощения прошу. Не в халате, не с трубкой в зубах, не с бокалом вина перед камином в удобном кресле…

Дней двенадцать, что ли, минуло, и распахнулись двери моего каземата. На пороге — молодой, старательный, румяный от исполнительности офицерик. За порогом — двое солдат с ружьями.

— Прошу за мною следовать.

Привел себя в порядок, как мог. Мятый мундир почистил, пыль с ботфортов смахнул, причесался, усы расправил. И шагнул за порог.

Снова — карета с окнами, зашторенными снаружи, снова — перестук копыт по петербургским мостовым, снова — жандармское молчание в ответ на все мои вопросы.

Наконец остановилась карета, дверцы рас-

пахнулись, и я вылез. Мощеный двор, казенные здания со всех четырех сторон и — безлюдье. Подъезд, лестничный марш, коридор и — строгая казенная дверь. Важная, как штатский генерал, получивший чин за вовремя рассказанный анекдот. Обождал, пока офицерик доложит, и распахнулись предо мною дверные дубовые створки.

Вступил в кабинет. Поменьше московского, да и заседателей нет за присутственным столом. В полном одиночестве восседает за ним молодой подполковник. С рыжими бачками, но — без усов. А секретарь — тихий, как тень, — за отдельным столиком у меня за спиной. Подполковник бумаги листает, так на меня и не глянув. Ну и я, естественно, представляться ему не стал.

Впрочем, это его не обескуражило. Буркнул, так и не глянув:

— Прошу садиться.

Сел на стул перед его начальственным столом. Что-то в рыжем подполковнике было нестерпимо раздражающим. Что-то казенно-бумажное, немецко-старательное. Мне это не понравилось, почему я и закинул ногу на ногу весьма вольготно. Подполковник чуть приподнял бесцветные брови и говорит:

— Вас доставили на допрос.

Явно намекал на мою салонную позу. Но я ее не изменил.

— Я лишен чина и дворянства?

— Чина и дворянства может лишить один лишь государь. Следствие по вашему делу еще не завершено, следовательно, государю еще не доложено.

«Следствие — следовательно». Скучный господин.

— Слушаю вас, подполковник. Допрашивайте.

Вновь бровки его вздрогнули: видно, резануло его канцелярскую душу, что я запросто подполковником его назвал, а не «господином подполковником». Значит, не служил ты в полках, казенная душа…

— Предварительное расследование выяснило, что вы выиграли полный список «Андрея Шенье» в карты у неизвестного вам поручика.

— Спьяну, подполковник. Исключительно спьяну. Занесите в допросный лист, если сие уточнение в нем отсутствует.

— Присутствует уточнение, присутствует, — с неудовольствием сказал подполковник. — Однако при этом присутствии отсутствует другое весьма важное ваше объяснение. Весьма важное.

— Какое же?

— Строка наверху. Над поэтическими строфами. Так сказать, обращение к читателям.

— Обращение? — Я сразу сообразил, что он имеет в виду, однако переспросил с максимальным удивлением. — В первый раз слышу.

— Не сомневаюсь.

С ехидцей сказал подполковник. Даже чуть улыбнулся при этом. Подсиживают моего московского полковника, подумал я. И спросил:

— Покажите-ка. Может, оно позднее появилось? Пока я крыс в каземате правилам приличия обучал?

— В свое время. Все — в свое время.

Подполковник через стол протянул мне лист бумаги и перо, предварительно ткнув им в чернильницу:

— Извольте записать то, что продиктую.

Я развернулся лицом к столу, взял перо.

— Пишите цифрами: «Тысяча четыреста четырнадцать. Десять. Четыре. Четырнадцать». Написали? Теперь — словами: «Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь…» Написали? Дайте мне.

Перегнулся через стол, схватил, даже песком не присыпав. И стал сличать мои записи с тем, что когда-то написала Полиночка. Я знал, для чего

мне этот диктант устроен, а потому и не волновался. Не ту карту они прикупили. Не в масть.

— Кто это написал?

— Что — написал?

Подполковник — вновь через стол перегнувшись — показал мне пушкинский список, над которым когда-то Полиночка в торжестве от прозорливости своей написала: «На 14 декабря».

— Это ведь не ваша рука?

— Вообще эту надпись впервые вижу.

— Кто же ее сделал, по-вашему?

— А бог ее ведает. Я ведь не надпись выиграл, я стихи выиграл. И не читал, что да кто там написал. Может, сам Пушкин.

Знал, что тут у них — пустышка. Пушкинский почерк был похож на почерк Полиночки, как моя сабля на мой ботфорт.

— Нет, это не Пушкина рука, — вздохнул подполковник, вновь удобно угнездившись в кресле. — Давайте разбираться. Давайте все вспоминать и разбираться. Кому вы показывали сей список?

— Никому.

— Так-таки и никому?

— Так-таки и никому.

— И в полку выигрышем не похвалялись?

— Вообще никогда не хвастаюсь.

Ну и пошло-поехало. Часа четыре скакали мы по манежному кругу, на котором, как известно, доскакаться до чего-либо — пустое занятие. Но подполковник был упорен, менял аллюр, даже направление, однако ничего не добился. Перебрал всех моих приятелей, знакомцев и даже родственников, но ни разу не упомянул о невесте моей. О Полиночке. И я возблагодарил Господа, что помолвку мы не оглашали из-за батюшкиного удара.

Кончилось тем, что он раскраснелся, вспотел и уморился.

— Кто же это мог написать?..

Я пожал плечами. Эта скачка вопросов вокруг да около окончательно убедила меня, что они пытаются добраться до Пушкина. Заполучить его в свою паутину, и здесь я не желал служить им ни проводником, ни пособником. Ни в каком виде и ни при каких условиях. По разные стороны барьера мы стояли, и я позиции своей менять не собирался, хотя и не имел права на ответный выстрел.

— Ладно, — со злорадством сказал мой новый дознаватель. — Будете крыс дрессировать, пока не вспомните.

— Каким же образом можно вспомнить то, чего вообще не было? Не подскажете?

— Всяко бывает, Олексин, всяко, — улыбнулся вдруг подполковник. — Озарение может на вас снизойти. Озарение и понимание. Думайте, думайте, вы же — игрок, и я вам предостаточно карт на стол выложил. И все — в масть, заметьте.

Гнусен намек его был: выдумать нечто, чтобы оговорить Александра Сергеевича. Гнусен и подл, но я сдержался. Нельзя мне было свои истинные чувства жандармам показывать. Никак нельзя.

К счастью великому, мои отношения с Пушкиным, моя любовь к нему и мое восхищение места в жандармских мозгах не занимали. В таком раскладе мне повезло, повезло отчаянно, хотя поначалу и обидело. Как же так, я ведь в бессарабской ссылке с самим Александром Сергеевичем приятельствовал, со Спартанцем Раевским, с Руфином Дороховым на дуэли дрался! Это же счастливейшая заря жизни моей, а вы, мундиры голубые, — будто и не было ее у меня? Обидно. А промерзнув в казематах, изголодавшись да кашель подцепив, сообразил, что за расклад у них, и — возрадовался. Возрадовался, что не догадались там копнуть, что мимо майора Владимира Раевского проскочили, мимо Урсула, а заодно — и

мимо Пушкина.

А вот почему проскочили, долго понять не мог. Только потом уж, потом догадался наконец, что юнцом безусым во времена кишиневские я для них выглядел. Фоской, картежным языком выражаясь. Ну а какой с фоски прок? Она только для сноса и годится. Поэтому жандармы и скинули это время, будто и не было меня в нем вообще.

Осьмнадцать лет, румяная пора!..

Свеча седьмая

Сколько дней после этого разговора меня никуда не вызывали, сколько дней я крыс приличным манерам обучал, версты парами шагов отмеривал да неизменные щи дважды в сутки хлебал — не помню. День в день был, и все — трефовой масти предсказанного мне древней цыганкой казенного дома.

Но ни бодрости, ни веры я не терял. Бодрость во мне поддерживалась неукоснительным исполнением приказа, себе самому отданного, а вера — Библией. Читал я ее вдумчиво и неспешно, по два, а то и по четыре раза каждый стих перечитывая. Чтоб сквозь человеческое понимание до Божественного смысла добраться, а потому и продвигался в аллюре улитки. И как-то, перевер-

нув очередную страницу, с трудом различил на полях блеклую, выцветшую до бледной ржавчины надпись:

УСП
г — 1
шо — 1
оо — 17
нч — 282
гл — 67
т — 903
и всего — 1271

Долго я ничего не мог понять. Что за буквами кроется, кто за цифрами стоит?.. Ясно одно было — это подсчет. Но чего — подсчет? Людей или рублей? Потерь или приобретений? И неизвестно, удалось бы мне загадку сию решить, если бы однажды, едва проснувшись, а может, и в схватке со сном еще, я не призадумался: а кто вообще мог это написать? Ну, естественно, узник вроде меня, кто же еще? Но — чем? Чернил и перьев в казематах и быть не может, и быть не должно.

Вот тогда я и стал заново эту бледно-ржавую надпись изучать. Но теперь не что написано, а — чем написано. И так книгу вертел, и этак…

И вдруг осенило меня. Подвигло, что ли, не на разгадку тайны сей, а на опыт.

Отгрыз я тонюсенькую щепочку от черенка ложки, рванул нижнюю губу зубами до крови, намочил ею щепочку и на последнем листе Библии написал:

«БЛАГОДАРЮ ТЯ, ГОСПОДИ»

Надпись вполне безобидная, даже если бы кто и заинтересовался ею. Рыхлая бумага быстро кровь впитывала, макать самодельным пером в самодельную чернильницу приходилось мне беспрестанно, но я дописал, закрыл Библию, а щепочку изгрыз чуть ли не до стружек. Полдня ранку на губе зализывал, пока не затянуло ее, и определил себе срок: три дня. И три дня Книгу в том месте, где надпись сделал, не открывал.

А на четвертый — открыл. Надпись моя впиталась, поблекла и как бы выцвела до бледно-ржавой желтизны. Я сравнил ее с таинственными цифрами, и все недоумения пропали.

Да, никаких сомнений: подсчет тот делал узник. Но писал — кровью собственной, следовательно, писал нечто, очень уж для него важное. Жизненно важное. И, судя по цвету моей надписи, совсем недавно, по всей вероятности, незадолго до меня.

А кто прошел незадолго до меня сквозь эти казематы? Декабристы. Этой зимой, которая только-только первой весенней оттепелью вздохнула.

Их прямо с Сенатской площади…

И тут сказал себе вслух:

— Тпру, Олексин!

Сенатская площадь. Это — «СП». А «УСП»? Если «СП» я угадал, то «УСП» — «убиты на Сенатской площади». Эту догадку подтверждает и первая строчка столбца: «г — 1», поскольку убит был один генерал. Милорадович, застреленный Каховским. И один штаб-офицер тогда погиб. Знал я его фамилию, знал, кто-то говорил в полку…

А в столбце — «шо — 1». То есть один штаб-офицер.

Все сошлось, весь пасьянс. Помнится, от такого открытия я на месте усидеть не смог. Вскочил, по казематy пометался. Потом сел, вгляделся в блеклую надпись на полях, и все для меня окончательно стало ясным:

Убиты на Сенатской площади:
генерал — 1
штаб-офицер — 1
обер-офицеров — 17
нижних чинов — 282
гражданских лиц — 67
толпы — 903
и всего — 1271.

Не знаю, откуда мой предшественник по тем-

нице мог взять цифры погибших 14 декабря: их держали в строжайшей тайне, их нигде не печатали, о них даже не упоминали. И мне одно объяснение пришло в голову: сообщили со стороны. Через дежурных офицеров Петропавловской крепости, через адъютантов и курьеров, через помощников дознавателей да и самих дознавателей, через случайно, на лестницах или в коридорах, встреченных офицеров. Офицерское братство не смогли поколебать никакие ссоры, дуэли, обиды и разногласия, почему и пришлось придумать жандармский корпус в голубых мундирах, руку владельцам которых не подавал ни один офицер русской армии…

Впрочем, я об этом вам уже докладывал.

> …Человек несовершенен, и я никогда не встречал человека совершенного. Долгое время считал, что виною несовершенства человеческого служит лень, а потом задумался: ну а лень-то — откуда? Чем подкармливается она в нашей душе, ибо не попадались мне что-то ленивые звери. Зверь ленив, когда он сыт. Так, может быть, и человек тогда ленив, когда душа его наелась до отвала? Но чем же

может насытиться наша душа?..

Долго я над этим размышлял: уж чего-чего, а времени мне хватало. Не столь уж важно, как именно ползла моя мысль, но важно, до чего она доползла.

Я, как мне показалось, в конце концов нашел ответ, что же закармливает душу человеческую до сытости с отрыжкой. Для себя, разумеется…

> …Это — не пища, тело питающая. Это всего лишь жвачка, дающая обманное ощущение сытости. Все в детстве, наверно, любили жевать вишневую или сливовую смолку: затвердевший сок деревьев этих, которым они раны, трещины да надломы свои затягивают. Вспомнили, о чем толкую? Такой жвачкой для души человеческой является самоуверенность. Сколь часто заменяет она нам тяжкий путь размышлений! Едва начав о чем-то думать, человек в поспешности хватается за самопервейшую, навязшую в зубах мысль, тут же объявляя ее истиной. Он щадит себя, силы свои и нервы свои, убеждая душу свою, что ответ уже найден и ей не о чем более тревожиться.

Самоуверенность есть самообман души нашей. Замена живительных сомнений пустой убежденностью в собственной непогрешимости. Я проверил сей постулат на собственном опыте. По счастью, он оказался не столь уж печальным, хотя вполне мог им стать. Душа обязана трудиться, дети мои. Не позволяйте ей пережевывать жвачку простейших решений…

Свеча восьмая

Вторично дверь моего Петропавловского каземата распахнулась в сырых петербургских сумерках. В столицу шла весна, из прорубленного в Европу окна уже стремился теплый ветер, и день заметно прибавился, что сказалось даже в сумрачной темнице моей.

Но меня куда-то везли в то время, когда служба во всех присутствиях закончилась, чтобы через время некое переместиться в храмы Божии. Семья моя, свято соблюдая православные обряды, особой религиозностью никогда не отличалась, поскольку предки мои, насколько мне было известно, добывали хлеб насущный не серпом да цепом, а мечом да шпагой. Такой способ деятель-

ности во благо Отечества необходим и достоин, однако по самой сути своей он как-то не совсем, что ли, совмещается с постулатами Нагорной проповеди. И «не убий» для воина — завет относительный, и «не укради», и «не возжелай», и многое другое: à la guerre comme à la guerre («на войне как на войне»). А потому я, грешный, о Пасхе узнавал тогда лишь, когда в нашем доме начинало пахнуть куличами. И в тот вечер подумал вдруг: уж не в церковь ли меня везут ко всенощной?..

Однако здание, подле которого меня из арестантской кареты высадили, на храм Божий мало походило. Менее, скажем, нежели армейская шинель на поповскую рясу. Да и сам подъезд с застывшими часовыми — тоже.

Поднялись на второй этаж по пустынной лестнице, прошли в залу с двумя настенными зеркалами в бронзовых рамах и изящной, совсем уж не казенного вида, мебелью. Мой сопровождающий, велев обождать, исчез за тяжелой, бронзой отделанной дверью, и я замер подле одного из зеркал. Потому замер, что в зале этой парадно-приемного вида оказалось целых два генерала и никак не менее дюжины штаб-офицеров, не обращавших, впрочем, на меня, жеванного казе-

матами арестанта, ровно никакого внимания.

Из-за той двери, за которой скрылся мой крепостной офицерик, вышел молодой жандармский капитан и остановился перед зеркалом в шаге от меня.

«Франт, — подумал я нелюбезно. — Ишь охорашивается, крыса жандармская…»

— Обращение — ваше высокопревосходительство, — вдруг шепотом, но вполне явственно сказал этот франт, по-прежнему глядясь в зеркало. — Почаще, он это любит. Не задерживайся с ответами — подозрителен. И не вздумай изворачиваться, он многое знает. Лучше умолчи. Так безопаснее.

И пошел себе к выходу, на меня так ни разу и не взглянув.

Но сказано-то было для меня! В этом не могло быть никаких сомнений, и сердце мое прямо-таки теплой волной обдало: «Живо! Живо ты еще, братство офицерское, живо!..»

И вспомнил тут я, что при формировании голубого жандармского корпуса многих армейских офицеров переводили в него помимо их желания. Повелением простым переводили. Те, кто мог, сразу же в отставку подавали, ну а те, кого одна лишь служба кормила, у кого родовое поместье

— с гулькин нос или сестер незамужних куча, тем некуда было деваться. И напялили они голубые мундиры на верные армейские сердца…

Неожиданно дверь распахнулась. Мой надзирающий офицерик выглянул:

— Проходите.

Я мятый свой мундиришко одернул, шагнул за порог и очутился в огромном кабинете. Освещен был лишь стол да круг подле него: два кресла, что ли. Стены в сумрак уплывали, но фигура в генеральском мундире, восседавшая за столом, выделялась от этого еще отчетливее. И я рванул к ней с места строевым шагом.

— Поручик Олексин, ваше высокопревосходительство! Честь имею явиться!

Генерал, глаз от бумаг не оторвав и на меня не глянув, бросил отрывисто, по-сановному:

— Садитесь.

Я поспешно сел, замерев на краешке кресла. Бумаги листались неторопливо и вдумчиво. Совершенно беззвучно при этом, будто сами собою, перепархивали.

— Когда, каким образом и где именно познакомились с Александром Пушкиным?

— В Кишиневе, ваше высокопревосходительство. Был сослан туда за дуэль.

— За дуэль? — Генерал впервые поднял на меня бледные, безмерно усталые глаза. — Какая по счету?

— Первая, ваше высокопревосходительство.

— И чем же она закончилась?

— Прострелил ногу гвардии поручику Турищеву, ваше высокопревосходительство!

— А он пальнул в воздух, — с укором сказал генерал. — Неблагородно поступили, Олексин.

— Иначе поступить не мог, ваше высокопревосходительство. Турищев оскорбил даму.

— Даму? Это меняет оценку.

Генерал оставил бумаги. Откинулся к спинке кресла, и лицо его ушло в тень.

— Затем прибыли в Кишинев. Кто представил вас Пушкину?

— Никто, ваше высокопревосходительство. Занимались фехтованием у одного местного мастера. В конце концов я счел возможным лично представиться Александру Сергеевичу под тем предлогом, что мы с ним — земляки.

— После чего вы затеяли новую дуэль.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, о чем весьма сожалею.

— И с кем же на сей раз?

— С Руфином Ивановичем Дороховым. Исклю-

чительно вследствие собственной невоздержанности.

— И кто же был вашим секундантом?

— Майор Раевский, ваше…

— Майор Владимир Раевский, — почему-то с некоторым удовлетворением отметил генерал.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

Я уже сообразил, что меня допрашивает сам шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф. Но пугало меня не это. Я очень встревожился, что он спросит, кто именно меня познакомил с Раевским, и я вынужден буду назвать Пушкина. Однако генерал сказал совсем иное. И — весьма неожиданное:

— Дуэль на шпагах — скорее спорт, как говорят англичане. Ковырнули друг друга — и разошлись. Так оно и было?

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — с огромным облегчением согласился я.

— Ну и бог с вами. А по какому поводу вы устроили попойку за неделю до бряцания шпагами?

— Осьмнадцать лет мне исполнилось, ваше высокопревосходительство.

— И кого же вы в сей знаменательный день пригласили?

— Троих, ваше высокопревосходительство.

Господина Александра Пушкина, майора Владимира Раевского и… — Я мучительно соображал, как мне представить Урсула Бенкендорфу, делая вид, что припоминаю фамилию. — И капитана Охотского, кажется. Прощения прошу, фамилию запамятовал.

— Капитана Охотникова, — поморщившись, поправил Бенкендорф. — Вам известно, что он умер?

— Умер?.. Не знал об этом, ваше…

— А с ним вы каким образом познакомились?

Как же повезло мне тогда, что генерал сначала сообщил о смерти капитана Охотникова — а я знавал его в Кишиневе, знавал, но близко знаком не был — и лишь потом заинтересовался почему-то, как мы с ним познакомились. Раевский был уже арестован, так что навредить ему я не мог, а вот Пушкина следовало выводить из этой жандармской игры в подкидных дурачков.

— Нас познакомил майор Раевский.

— Присутствовали при их беседах?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство. — Я позволил себе улыбнуться. — Я тогда, в Кишиневе, безусым юнцом еще считался. А потому я их приглашал, а они меня — никуда и никогда. Даже на дуэли секундантом не брали.

Зря я это выпалил, относительно дуэлей. Но Бенкендорф и на оговорку мою внимания не обратил.

— Однако ясский господарь Дмитрий Мурузи почему-то отошел от этого правила.

— Крайне удивлен сим обстоятельством, ваше высокопревосходительство. Крайне удивлен приглашением его и по сей день, хотя, не скрою, и весьма польщен.

Бенкендорф нагнулся к столу, вновь возникнув в кругу света. Взял в руки очередную бумагу.

— Господарь отозвался о вас весьма восторженно. Послушайте его доклад Инзову. «Атаку возглавил прапорщик Александр Олексин, убив двух турецких разбойников…» — Кончив читать, поинтересовался: — Соответствует действительности?

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— У Инзова к вам тоже претензий не оказалось, — продолжал главный жандарм. — Отмечает вашу искренность и чистосердечие. Вот на чистосердечии и остановимся. Когда Александр Пушкин передал вам для хранения полный список «Андрея Шенье»?

— Он мне не передавал его, ваше высокопревосходительство. Я выиграл эти стихи. В штосс.

— Что-то я не замечаю в вас того качества, которое столь восхитило генерала Инзова.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я, проникновенно прижав руки к груди. — Пушкин посвятил мне два стихотворения и еще четыре — подарил на память. Они — в бумагах, что взяли у меня при аресте. Все. Все шесть стихотворений подписаны Александром Сергеевичем, а список «Андрея Шенье» — не подписан. Извольте обратить внимание, прошу вас. А не подписан потому, что подарен был кому-то другому и я его просто выиграл в штосс…

— Поручик конно-пионерского полка Молчанов утверждает в своем заявлении как раз обратное вашим словам. А именно, что вы расплатились с ним пушкинским «Андреем Шенье», но потом отыграли сей список назад.

— Ваше высокопревосходительство, виноват. Пьян был до полного ошаления, все — как в тумане, только ошибается конно-пионер. Он тоже на хороших воздусях был…

— Хватит! — резко выкрикнул Бенкендорф. — Как только Пушкин будет арестован, я устрою вам очную ставку. Что тогда скажете?

Ничего я не сказал. Разинул рот, закрыл его, снова открыл и спросил:

— Пушкин арестован?..

— Будет арестован без всякого промедления, как только государь изволит дать согласие свое. Представление по сему предмету мною уже сделано.

— Зачем же Пушкина арестовывать, ваше высокопревосходительство? — растерянно и как-то не к месту, что ли, сказал я. — Проще с этим конно-пионером и мною очную ставку…

— Поручик Молчанов ни в чем не повинен. Мало того, он проявил истинно патриотическое рвение, и нет причин…

Что-то жандармский шеф еще говорил, но я уже ничего не слышал. Горечь до горла меня переполнила: знал я теперь, кому обязан казематным своим сидением. Знал. Знал, кто проявил истинно патриотическое рвение…

— …Так кто же с кем расплачивался стихами? — наконец-то до меня донесся генеральский голос. — Вы с Молчановым или Молчанов с вами?

— Конно-пионер со мной, конно-пионер, ваше высокопревосходительство. То и человек мой подтвердить может, и станционный смотритель в любое время.

— Да, они ваши слова подтверждают, — согла-

сился Бенкендорф, посмотрев в какие-то свои бумаги. — Однако Молчанов утверждает обратное.

— Он бутылку рому у смотрителя купил да один и высосал ее, потому что в меня уж и не лезло.

— Молчать! — гаркнул жандармский верховный вождь.

Замолчали мы оба. И молчали, пока Бенкендорф не обрел прежнего холодного величия.

— Теперь — о надписи «На 14 декабря». Она не принадлежит ни Пушкину, ни вам, ни Молчанову. Сие установлено. Кому же она принадлежит?

— Не ведаю, ваше высокопревосходительство. Я ее с этой надписью и выиграл.

— Кому вы давали читать сей стихотворный памфлет?

— Никому. Может, Молчанов кому давал, ваше высокопревосходительство?

— Перестаньте, Олексин. Перестаньте перекладывать на достойного офицера свое беспутство. Знаете, как вас полковой командир охарактеризовал? — Генерал извлек очередную бумажку и зачитал почти с выражением: — «Картежник и бретёр, игрок и дуэлянт». Куда ближе к действительности, нежели старческие сантименты Инзова. А потому в последний раз задаю два во-

проса. В последний! Первый вопрос: когда именно Александр Пушкин попросил вас припрятать свой стихотворный антиправительственный манифест? До бунта на Сенатской площади или после оного? И второй: кто и когда написал поверх стихов «Андрей Шенье» слова «На 14 декабря»?

— Ваше высокопревосходительство, я…

— Я не спрашиваю вас более!.. — сурово оборвал меня Бенкендорф. — Я дал вам последний шанс подумать о своем будущем. В переводе на общедоступный офицерский язык — подумать о собственной шкуре. Собственной, Олексин, а не своих кишиневских приятелей, уразумейте же это наконец. Ступайте!

Я вскочил с кресла, звякнул шпорами, поклонился. Пошел к дверям, по-прежнему строевым шагом, ворс из ковра выколачивая. Вероятно, именно это и обозлило шефа жандармов. Сказал вдогонку, когда я уже у дверей был:

— Вашего отца, всеми уважаемого бригадира Илью Ивановича, хватил второй удар. Наталья Филипповна просила меня разрешить вам свидание с батюшкой вашим. Я обещал при условии, что вы поведете себя благоразумно. Этого не случилось, почему и свидания вы не получите. Ступайте.

— Он… Он в сознании?

Молчание. И — резкий холодный приказ:

— Извольте покинуть мой кабинет, сударь!

Не помню, как я вышел. Не помню…

Свеча девятая

Это была первая ночь, когда я не смог уснуть. Батюшка мой, едва от первого удара оправившись, свалился во втором. И оба — из-за меня. Из-за меня!..

К сожалению величайшему, я уже не умел рыдать, израсходовав весь запас слез, выданный на всю жизнь, и мне было во сто крат тяжелее. Я молился, молился искренне, с огромным отчаянием и крохотной надеждой в душе. Я метался по каземату, падал на койку, вскакивал и снова метался и уж не знаю, сколько верст наметали мои ноги в ту страшную ночь.

Забылся я на считаные минуты перед рассветом. Помню, что не лежа, а сидя на койке, зажав голову в ладонях. Не заснул, все чувствовал, все слышал и ощущал, ворочая тяжкими думами своими. И вдруг… услышал вдруг отцовский голос! Не снаружи, а — изнутри, не ушами, а как бы душою своею:

— Ты — единственная надежда моя, сын. Ты,

только ты продлишь меня в детях своих. А потому обязан выстоять. Выстоять! Ты — потомок бесстрашных княжеских дружинников, офицер армии русской, найдешь в себе силы. Знаю, надеюсь, верю, что сыщешь их…

Смолк голос в душе моей, и я вскочил. Вскочил, вытянулся, как на высочайшем смотру, и сказал вслух:

— Выстою, батюшка.

И начал версты свои ежедневные парами шагов отмерять…

> …Что наследуем мы от родителей своих? Здоровье? Силу? Способности бурям противостоять? Не это главное. Главное, что мы наследуем, — любовь родителей к нам. Их заботу о нас. Их веру — в нас. Их надежду — на нас. Мы такие, какими нас испекли в родительском тепле. Все последующее — всего лишь бутерброд на куске хлеба, испеченном матушкой из отцовской муки…

Голос батюшки, столь явственно прозвучавший в душе моей, вернул мне силы. Я понял, что обязан бороться, обязан выиграть эту борьбу, обязан устоять и вновь вернуться в жизнь. Во

имя исполнения его завета и его надежды. Вероятно, поэтому, когда я по заведенной привычке на ощупь подбривал усы и баки, в меня и влезла паскудная мысль. Простая, как змея, сотворенная Господом.

…А зачем мне, собственно, мудрить, страдать и терпеть, не имея при этом никакой возможности повидать тяжко захворавшего бригадира моего? Зачем мне упрямством своим способствовать аресту Пушкина? Зачем? Во имя чего? Пушкина, даже арестовав, никто не посмеет тронуть, потому что все общество, все лучшие люди России поднимутся на его защиту. Все, даже враги его, ибо в противном случае общество отвернется от них. Пред ними закроются двери всех салонов, гостиных, клубов, собраний. Нет, нет, Россия никогда не даст в обиду светлого гения своего, она грудью прикроет его от всех застенков, крепостей и казематов. Так не лучше ли, не мудрствуя лукаво, откровенно признаться в истине? Да, ваше высокопревосходительство, Александр Сергеевич Пушкин лично вру-

чил мне полный список «Андрея Шенье» с просьбой никому его не показывать. Я не исполнил этой просьбы, показав стихи моей невесте, и она в восторге написала поверху «На 14 декабря». Пушкин и моя Полиночка — благородные люди, они подтвердят мои слова, меня выпустят из крепости, и я увижу батюшку, страдающего смертельным недугом. Все же очень просто, Сашка, они — благородные люди…

И тут… Тут — поверите ли?.. — я с размаху отпустил самому себе пощечину. В полную силу: дня два щека нытьем ныла…

…Они, бесспорно, благородные люди, а ты, Олексин? Посмеешь ли ты, посмеют ли дети, внуки, правнуки твои когда-либо считать себя просто порядочными людьми, ощущая зловонное дыхание предательства, некогда совершенного тобою? Нет, Пушкина не тронут — зачем же беспокоить общество? Ему просто сплетут поводок из липкой лилипутьей паутины. И накинут ее на вольную душу гения, как ошейник на раба…

И я удавил гадюку, посмевшую поднять ядовитую голову в душе моей. Навсегда…

И продолжал каждый день отмерять версты, неторопливо и вдумчиво читать Библию, до донышка выскребывать все, что дают, и… и терпеливо учить крыс пристойно себя вести…

Так прошло… да с неделю или чуть более того. Двери каземата моего распахнулись вскоре после обычного скудного завтрака, и меня востребовали на выход.

Снова — зашторенная карета, столичный шум за окнами. Снова — глухой каменный двор, лестница, кабинет и — рыжеватый подполковник за прежним столом.

— Садитесь, Олексин.

Сел и молчу. После свидания с самим Бенкендорфом рыжий подполковник мне пешкой казался. Причем пешкой, которая в дамки так никогда и не выйдет.

— Во время службы в лейб-гвардии Нижегородском конно-егерском полку…

— Сначала вы ответите на мой вопрос, подполковник, — решительно перебил я. — Каково самочувствие батюшки моего бригадира Ильи Ивановича Олексина?

— Сначала — дело, сударь! Тем более что мне

ничего не известно о самочувствии вашего батюшки.

— Так извольте же послать кого-нибудь узнать! Или везите меня назад, в крепость, потому что я рта не раскрою, пока известия о нем не получу.

И что вы думаете? Послал он дежурного офицерика. А мы остались в кабинете. Подполковник что-то говорил, о чем-то спрашивал, но я и губ не разомкнул. Так в молчании и просидели часа полтора, пока посланец не возвратился. Начал шептать что-то, но подполковник резко его оборвал:

— Извольте вслух! И не мне, а Олексину.

Дежурный офицер сразу же ко мне оборотился:

— Прощения прошу, поручик. Ваш батюшка бригадир Илья Иванович Олексин жив, но отнялась левая сторона. Речь нарушена, однако он — в полном сознании. Имею честь передать вам сердечный привет от него лично.

— Благодарю.

— Довольны? — не без ехидства поинтересовался подполковник.

— Чем? Тем, что у отца речь нарушена?

Подполковник досадливо поморщился, отпустил офицера. А когда дежурный удалился, проворчал:

— Теперь-то будете отвечать?

— Теперь буду.

Вздохнул я, признаться, батюшку представив. Мой дознаватель поковырялся среди бумажек, потасовал их и наконец приступил к допросу:

— Во время службы в конно-егерском общались ли вы со своим эскадроном вне службы? Беседовали с егерями, расспрашивали их?

— Нет.

— Почему?

— Смысла не видел.

— Но открыли же почему-то сей смысл в пехотном полку? Во Пскове?

— Егерь — не пехота, подполковник. Не хуже меня знаете.

— Разъясните, что имеете в виду.

— Все просто. В егеря отбирают наиболее сообразительных солдат. В гвардию — тем паче. А Псковской полк — обычный гарнизонно-затрапезный. Почему с солдатами приходится заниматься и вне строя, ничего не поделаешь. Армия — снятое молочко: сливки всегда в гвардию уплывают.

— И вы просвещали их, так сказать, в полном объеме?

— Спросите конкретно.

— Конкретно? — усмехнулся подполковник. — Конкретно — вопрос о воле. Вы вели с солдатами беседы на эту тему?

— О воле как императиве души человеческой? Разумеется. Я их к сражениям готовил, а в сражениях тот побеждает, у кого воли на весь бой хватает. Да еще с запасом.

Вздохнул мой следователь:

— Вы наделены поразительной способностью не отвечать на то, о чем вас спрашивают.

— Вы спросили о воле. Я и ответил о воле.

— В России под волей не философскую детерминанту разумеют, а свободу от крепостной зависимости, Олексин. И вам сие прекрасно известно.

Моя очередь усмехаться пришла:

— Так вы свободой заинтересовались, подполковник?

— Это вы ею заинтересовались, Олексин, вы. И чуть не ежедень втолковывали солдатам своей роты, что они — свободные люди. Это-то вы признаете?

Вспомнил я свои беседы с батюшкой о доле простого пехотинца. О том, сколь сиротливо чувствует он себя, лишенный возможности хоть о ком-то или о чем-то заботиться. Хотел было

подполковнику с рыжеватыми бачками об этом поведать, но — передумал. Щечки у него слишком румяными мне показались.

Об ином напомнил:

— После государевой двадцатилетней службы солдаты освобождаются от крепостной зависимости согласно закону. А в случае боевой инвалидности — вне срока службы. Вам, надеюсь, это известно?

— Мне — да, но солдатам знать о сем не положено, поручик. Не положено, потому как законов они не знают и знать не должны.

— Почему же — не должны? — Я искренне удивился, поскольку никак не мог понять, куда он гнет. — Каждый подданный Российской империи обязан знать ее основные законы.

— Они — помещика подданные, а не Российской империи!

— Вот это уже прелюбопытнейшая новость, — говорю. — Стало быть, наши солдаты за любимого помещика на смерть идут, а не за Бога, Царя и Отечество?

Помолчал подполковник, беседу нашу припоминая. И вздохнул, сообразив, что ляпнул нечто несусветное. И даже улыбнулся как-то… искательно, что ли.

— Я образно выразился, Олексин, образно. Неудачный образ, признаю. Но признайте и вы, что превысили свои офицерские обязанности, и превысили недопустимо. В чем недопустимость превышения сего? В том, что…

Занудил, и я слышать его перестал. Я лихорадочно соображал, куда подевались два вопроса, которые мне задал сам Бенкендорф: передавал ли мне Александр Пушкин полный список «Андрея Шенье» на хранение и кто написал поверх этого списка слова «На 14 декабря». Об этом мой следователь ни единым словом не обмолвился, добиваясь почему-то ответов о моих отношениях с солдатами вне службы. Это было непонятно, и это необходимо было понять.

— …подобные беседы не входят в обязанности ротного командира, Олексин.

— А в обязанности приличного человека?

— Вы прежде всего — офицер!

— Я прежде всего — человек чести, подполковник. Не знаю, чему учат остзейских баронов, но потомственных русских дворян учат именно этому.

Разозлился я, признаться, почему и брякнул об остзейских баронах, хотя и не был уверен, что мой дознаватель — из их племени. Но оказалось,

попал в точку. Покраснел подполковник, блеснул бледными глазками:

— Вспомним еще, как наши предки на льду Чудского озера друг друга колошматили?

— Ну, положим, — улыбнулся я, — это мои предки ваших колошматили, подполковник.

— Пустопорожний спор, Олексин, — сказал мой визави, сдерживая раздражение. — Отвечайте мне четко: вы вели с солдатами беседы о том, что они — вольные люди?

— Вольные лучше сражаются. Разве не так?

— Не уходите от ответа!

— Ну вел, вел. Мало того, считал и продолжаю считать эти беседы боевой подготовкой вверенной мне роты. И ничего противуправного в них не усматриваю.

— Так и запишем, — обрадовался он. — Не возражаете?

— Не возражаю.

Он пером скрипел, а я думал. Думал, куда же «Андрей Шенье»-то подевался? Вместе с Пушкиным?..

— Ознакомьтесь.

И бумагу передо мной положил. Я прочел, пожал плечами.

— Согласны? Тогда внизу прошу написать: «С

моих слов записано правильно». И расписаться.

И это было новым. До сей поры мне дознавательных листов не показывали и подписи под ними не требовали. Я написал то, о чем он просил, и поставил свою закорючку.

— Вот и отлично. Можете идти.

— Куда?

— Крыс дрессировать.

(Надпись на полях. Другими чернилами: *…Уж позднее, позднее, много позднее узнал я, что государь прекратил мышиную эту возню вокруг Пушкина. Что лично принял его, долго беседовал, простил все прегрешения. Что милостиво вызвался быть его цензором, вернул из ссылки и повелел служить отныне при дворе. И «Дело» жандармское развалилось. Развалилось, но остался свидетель, от которого Бенкендорфу необходимо было избавиться во что бы то ни стало.*

Свидетелем был я.)

Свеча десятая

И вновь я в своем каземате. Вновь — обязательные версты от двери до окошка, Библия, кашель,

щи дважды в день и вполне дисциплинированные крысы. На подкормку приходят строго по команде, когда постучу. А потом — по норам, и не видно их. До следующего моего приглашения.

> …Не бойтесь одиночества, дети мои. Весь мир одиночество самым тяжким наказанием полагает, и для очень многих оно и впрямь ужасно. Но надо себя преодолеть, тогда оно из наказания способно превратиться в самоуглубление — высшую форму существования самодостаточной личности. Вспомните древних философов, святых отшельников, мудрых монахов-затворников. Если ты умеешь размышлять, сам себе вопросы задавать и отвечать на них, спорить сам с собой, а в спорах сих новые истины открывать, ты — самодостаточен, и никакой каменный мешок тебе не страшен. Одиночество снаружи куда легче одиночества внутри, если душа твоя научена трудиться…

Странно, но, думая обо всем, что только в голову приходило, я ни разу не только не задумался о последнем свидании со своим дознавателем, но и вообще не вспоминал о нем. Его высокопре-

восходительство генерал Бенкендорф настолько прочно вбил в меня два основных вопроса, на которые ждал ответов, что все остальное представлялось мне лишь отвлекающим или, наоборот, побудительным маневром, чтобы подтолкнуть меня к этим ответам. Своего рода шенкелями представлялось, посылающими меня на двойной прыжок. Вот почему я напрочь выбросил из головы последний допрос, а заодно и свою собственную подпись, впервые с меня востребованную.

…Я размышлял о личности. Не о ее влиянии на историю или там общество, а на ее зарождение, становление, рост и осознание самою себя таковой. То ли потому, что я возгордился, ощутив в себе зачатки ее, то ли из-за душою расслышанных слов отца поняв вдруг, что я есть не просто говорящее, кое-как соображающее и даже немного размышляющее двуногое животное со вложенной в меня душою Божией, а некое звено между прошлым и будущим. Меж дедами и внуками, меж «Я» и «МЫ»: семья, род, клан, если угодно. А поняв это, понял и то, что коли звено

я, то, стало быть, должен, обязан пред прошлым и будущим быть крепким, прочным и — без единого ржавого пятнышка. Ни внутри, ни снаружи.

Вероятно, в этом и заключено содержание чести. Не внешней, не для показа другим, а безупречной прежде всего для цепочки рода собственного. Для всех предков и всех правнуков, ибо тем я умножаю общую копилку внутренней силы рода своего, а не заимствую из нее на потребу дня сегодняшнего. Признаю, путано излагаю, но сейчас, сейчас соображу.

Солдаты любят говорить, что-де «на миру и смерть красна». Они — крестьяне, и мир для них — община. Дворянин так никогда не скажет, поскольку «красота» гибели нисколько не уменьшается для него и при гибели в одиночестве, один на один с врагом. Например, на дуэли. Почему такое различие в оценке собственного достоинства? Не потому ли, что дворянин никогда не бывает сам с собой наедине? Он обладает исторической памятью, коли родители не поленились вложить ее ему в детстве. Крестьянин лишен этого: далее

деда он вряд ли кого помнит. Да и нет нужды у него запоминать их, потому что они делали то же самое, что делает он: трудились на господской ниве до седьмого пота.

Историческая память — основа доблести потомков. Родник чести их, достоинства, гордости и отваги. И если мужик в силу каторжного однообразия труда своего лишен возможности черпать из прошлого примеры особого служения Отечеству, то дворянин не только имеет такую возможность, но и обязан приумножать ее всю свою жизнь для передачи детям своим и внукам своим очищенного и углубленного им лично источника родовых традиций и примеров. А на это способна только личность.

Так что же тогда такое — личность?

Личность есть человек, внутренне, душою своею осознавший себя как звено истории рода своего, а следовательно, и Отечества в целом.

Вот о чем размышлял я в каземате Петропавловской крепости. Размышлял путано и непоследовательно после стран-

ного допроса с подписью допросного листа. И записал тоже путано и непоследовательно, потому что не дано мне способности ясно излагать мысли свои. Ни в беседах, ни на бумаге тем паче. Это в уме они ладно складываются, а в яви — прощения прошу. И нить рвется, и слов не хватает. Ну, уж как есть, дети мои…

А так — в действительности, не в раздумьях, — ничего не происходило, пока ручьи не потекли. Но зажурчали ручьи — и распахнулись двери каземата.

— Собирайте вещи, Олексин.

— Куда?

— Куда повезут.

«Сибирь!.. — почему-то билось у меня в голове, пока собирал я свой скромный скарб. — Сибирь…»

Сунули в зашторенную карету, повезли. Со мною в ней какой-то немолодой капитан трясется, вздыхая и охая. На козлах рядом с кучером — жандарм, позади… Нет, никого вроде позади нету. Значит, не под конвоем везут, а «в сопровождении». Значит, не в Сибирь, слава Тебе, Господи!.. Не в Сибирь!..

Из Санкт-Петербурга выехали и неспешно куда-то затряслись. Неспешно лошадей на станциях меняли, неспешно молчаливый капитан меня обедами кормил, угрюмо отмалчиваясь на все мои вопросы. И на третьей, что ли, станции я наконец-то сообразил, что едем мы прямехонько во Псков.

— Во Псков путь держим? — спросил.

Вздохнул капитан. Весьма недовольно.

— Во Псков, во Псков. Оставьте вопросы свои, не желаю я разговаривать. Ни разговаривать, ни отвечать даже. У меня — жена, дети, год служить осталось…

До самого Пскова ехали молча. А перед ним на последней станции задержались по воле угрюмого сопровождающего моего, все помыслы которого в одном девизе заключались: «Абы дослужить». И — как понял я позднее — для того лишь задержались, чтобы въехать в город в синих весенних сумерках.

Ну, наконец приехали. Думаете, в тюремный замок? Я тоже так думал, а оказалось — на гарнизонную гауптвахту.

И я вздохнул с огромным облегчением. Гауптвахта — это все-таки армия. А не жандармский голубой корпус.

Сопровождающий меня под расписку начальнику гауптвахты сдал — тоже, кстати, капитану и тоже — немолодому. И укатил в своей карете восвояси, едва кивнув мне.

— В чем дело, капитан? — спрашиваю, когда меня начальник лично доставил в очередной каземат для строгого содержания. — Меня ведь к вам — прямо из Петропавловки.

— Знаю, Олексин, — вздохнул он. — Приказано содержать вас на строгом режиме, но на полном армейском довольствии. Прогулки запрещены и разговоры с вами — тоже. На сколько времени, мне неизвестно. Так что прошу потерпеть.

И вышел, дверь снаружи заперев на висячий замок, что я определил натренированным ухом своим.

Свеча одиннадцатая

Свеча горела. Толстая, армейская. И каземат тоже был армейским: из кирпича, а не из камня. Окно забрано решеткой, такую бы я согнул, даже ослабев на жандармских харчах. Каземат — сухой, койка — армейская. С армейским одеялом, офицерской простыней — впервые! — и подушкой с чистой наволочкой. Все это я мгновенно оценил, уже немалый опыт имея, а оценив, окон-

чательно удостоверился, что жандармы от меня отступились, возвратив в армию. Разбирайтесь, мол, сами.

Почему? Почему же они меня из лап своих мохнатых выпустили?..

Вот эта непонятность и мешала радости моей. То есть я ее, конечно, ощущал, но не осознавал, что ли. Мерил очередной каземат шагами и думал, думал. Вспоминал, сравнивал, понять пытался.

Меня терзало полное непонимание причин того, что вдруг произошло. Может быть, арестовали Пушкина и я стал им больше не нужен? Нет, это вряд ли. Пушкин надписи «На 14 декабря» и в глаза не видал, доказательств противного у жандармов нет, и тут им без меня никак не обойтись. Тогда что же? Моим объяснениям поверили, посадив в кутузку патриота конно-пионера? Тоже маловероятно, доносчиков они не сажают: кто же тогда доносить-то им станет? Вступился кто-либо за меня? Но кто же вступится, когда батюшка мой во втором ударе?.. Может, с батюшкой что приключилось? Может, батюшка мой… помер батюшка, потому и отпустили меня?.. Нет, нет, быть того не может, потому что батюшку в Санкт-Петербург перевезли: Бенкендорф сказал,

что матушка моя его лично о свидании просила… Нет, конечно же нет. Не потому я сейчас во Пскове оказался.

А тогда — почему? Почему я во Пскове да еще на армейской гауптвахте?..

Совсем запутался я тогда, но вовремя правильное решение выбрал. Опять себе приказ отдал, отцовский завет исполняя. Лег и уснул. Даже без сновидений.

Утром — по заведенному порядку. Молитва, три версты парами шагов по кирпичному полу. Бритье на ощупь.

А тут и завтрак солдаты принесли. Добрая миска гречневой каши с конопляным маслом, хлебушка вволю, солдатская кружка… крепким чаем заваренная. Чаем! Глазам своим не поверил — вкусу поверил. И аромату. Откуда? Солдатам китайский чай не положен…

Оттуда. Из братства офицерского, вот откуда. Всхлипнул я, признаться. Не удержался…

Четыре дня и пять ночей так отсидел. Просох изнутри, кашель на убыль пошел. И отъелся малость. Не столько, может быть, отъелся, сколько чувство постоянного голода утолил. Привел, так сказать, организм свой в некое равновесие.

А днями опять крыс обучать пришлось. Но я

уже имел опыт: одну подстерег, ботфортом ее о стену шмякнув, другие опасаться стали. И начал я их заставлять появляться передо мною только по моему сигналу. На кормежку. Поели хлебушка и — марш по норам. Быстро привыкли, твари сообразительные.

Да, так на четвертый день — после завтрака уже — распахивается дверь. Начальник гауптвахты. Тот самый, что меня встречал.

— Сегодня к четырем пополудни приказано доставить вас под конвоем в полк. На суд офицерской чести.

— На суд?..

Помолчал капитан. Сказал тихо:

— Я карету для вас достану, Олексин.

И вышел.

Арестанту — карету. Чтоб не вести меня через весь город под конвоем. Единственное, что он мог для меня сделать.

Кроме крепкого чаю, разумеется.

> …Ох, милые, любезные сердцу моему потомки мои! Не могуя писать о суде чести. Не могу. Я — офицер, сын офицера, внук офицера, правнук… ну и так далее. Я — оттуда родом, из офицерского брат-

ства России. Я никогда законов его не нарушал, ни в чем я не повинен пред товарищами моими, но… Но приказано было сие свыше, как я потом узнал. Свыше приказано, а посему и судьба моя была предрешена. Приговорен был я еще до решения офицерского суда… А потому просто перескажу вкратце, в чем меня обвинили да чем все закончилось.

Обвинили меня ни много ни мало, как в противуправительственной деятельности. А заключалась она в том, что я вел со своими солдатами разлагающие и смущающие души их беседы о воле. О том, что они — граждане России, а не холопы помещиков своих, и дети их тоже будут гражданами, а не рабами. И все однополчане мои, друзья и сослуживцы помалкивали, головы опустив. Один только юный прапорщик княжич Лешка Фатеев, неизвестно за какие провинности в наш армейский полк переведенный, вскочил и выкрикнул:

— Как же не стыдно вам, господа офицеры! Да Олексин честнее любого из всех, здесь присутствующих!

Осадили его. Он не соглашался, с места вска-

кивал. Тогда приказали тотчас же покинуть собрание. Вышел Лешка Фатеев весьма демонстративно. Милое мое «ваше сиятельство»…

Двое штаб-офицеров выступили, как и полагалось им выступать. Пробурчали что-то маловразумительное, осуждая непозволительную революционность мою. Потом поспешно перерыв объявили, вроде как бы для совещания. И во время этого перерыва меня наш полковой врач Аристов Семен Семенович к себе в кабинет увел. Для того, полагаю, чтобы я с офицерами не якшался.

— Батюшка ваш, поручик, болен весьма опасно.

— Что значит — «весьма опасно», Семен Семенович?

— А то значит, что разрушительный удар, голубчик, — вздохнул Аристов. — Я осматривал его, когда Наталья Филипповна, матушка ваша, из поместья в Санкт-Петербург его везла. Правда, он — в полном сознании, но речь его измята изрядно.

— Есть ли надежда?

— Надежда есть, как врач вам говорю. Ему покой нужен, полный покой. Я просил командира полка повременить с этим судом, чтобы больного

поберечь от неприятностей, но… — Семен Семенович беспомощно развел руками. — Сказал, что не в силах он исполнить сие. Так что мужайтесь, поручик, мужайтесь.

— Но, Семен Семенович…

— Мужайтесь, Олексин, — подавив вздох и, как мне показалось, весьма значительно сказал наш добрый полковой врач.

Тут кликнули, что пора возвращаться к продолжению заседания, и мы прошли в залу.

Приговор зачитали как-то чересчур уж поспешно. Я стоял, и вместе со мной в зале стояла гробовая тишина. А высокие судьи ни разу голов не подняли, а если и поднимали их, то изо всех сил смотрели мимо меня.

Суров был приговор. Лишение офицерского звания и ссылка в действующую на Кавказе армию рядовым солдатом.

Кажется… Да нет, что уж там кажется, когда — точно. Точно в глазах у меня потемнело, сердце вроде остановилось, и… и качнулся я даже.

— Он же грохнется сейчас! — вскочив, крикнул подпоручик Гриша Терехин.

Бросился ко мне, поддержал. Кто-то воды принес. Выпил я полный стакан, и все вроде бы назад вернулось.

— Благодарствую, — говорю, — господа офицеры.

А председательствующий, молчавший во время этой легкой сумятицы, дочитал последнюю строку приговора:

— Приговор офицерского собрания вступает в силу после Высочайшего его утверждения государем императором. До сего утверждения определить поручику Александру Олексину содержание на гарнизонной гауптвахте.

Вот и все. Крест на военной карьере. Но я о себе не думал. Я думал о бригадире своем и о словах Семена Семеновича Аристова, полкового врача: «Ему покой нужен. Полный покой».

Шум поднялся среди господ офицеров. Все громко говорили, что приговор сей неоправданно суров, а вернувшийся княжич Лешка Фатеев пытался собирать подписи однополчан под петицией государю. Но тут вошел караул, и я был препровожден на гауптвахту. Правда, в карете, а не пешком через весь город Псков.

Как уж там себя чувствовал, сами представьте. Представьте, что вы только что услышали смертный приговор собственному отцу с отсрочкой казни на неопределенный, но очень небольшой срок.

И все же внутренне не верил я, что государь может утвердить такое постановление полкового офицерского собрания. Полагал, что командиры полковые со страху рубанули по самому высшему разряду в надежде, что наверху отменят их решение, а усердие — запомнят. Для России подобные случаи уж давно и не случаи, а — норма. Перестараться куда как безопаснее, нежели недостараться: этот закон неписаный не только среди чиновников популярен весьма, но и всюду, где приходится самим решения принимать. За перегиб у нас журят с улыбкой, за недогиб — с отмашкой бьют.

Так думал я о своей судьбе: человек и за былиночку хватается, когда в пропасть летит. Так что особо беспокоиться у меня причин вроде как бы и не существовало: я их судорожно надеждой драпировал. А вот за батюшку — были, и я о нем куда больше тогда думал, чем о себе самом.

Но порядку не изменил ни разу. Подъем с зарею, молитва, версты, бритье…

Не помню уж, сколько дней так прошло — мало, очень мало! Только однажды распахнулась дверь темницы моей, и вошли судьи мои во главе с командиром полка. А за ними — и наш псковской губернатор. И сердце у меня оборвалось: неужто

с батюшкой что?..

Слава богу, нет!..

— Батюшка ваш чувствует себя неплохо, — торопливо сказал командир полка, лицо мое увидев.

А заместитель его тотчас же добавил, что меня в Москву отправляют, поскольку именно там формируются команды в действующую на Кавказе армию.

Стало быть, убеждены были, что государь их решения не отменит. Заранее убеждены!

— Так что мы, так сказать, попрощаться зашли, — пояснил секретарь суда.

Хотел я на прощанье от всей души послать их… Покуда не солдат еще. И рот уж раскрыл, да не успел. Губернатор перебил, какую-то бумагу достав:

— Александр Ильич, ко мне документ поступил, вполне официально заверенный, из коего следует, что даруете вы полную свободу своему человеку Савве Игнатову. Вы подтверждаете это?

— Да.

Только и смог из себя выдавить.

— Я так и подумал, а потому и вольную ему оформил, как положено. Извольте подписать.

Я подписал. Полную волю молочному брату.

Клиту моему.

— Прощайте, Олексин. Дай вам бог…

Господа офицеры честь мне отдали, губернатор обнял, и все удалились друг за другом гуськом.

И тотчас же в открытую дверь вошел молоденький прапорщик:

— Приказано доставить вас в Москву.

Свеча двенадцатая

В Первопрестольную мы с прапорщиком ехали в кибитке, которую губернатор мне предоставил. Я больше молчал, прапорщик трещал, а кучер кнутом щелкал да лошадь кучерскими словами подбадривал. Так и прибыли на московскую гауптвахту. Не в каземат, а в охраняемую казарму, где сидели солдаты. И все — без амуниции.

А меня попросили только отстегнуть шпоры: устав, мол, требует. И разместили в огороженном закутке той же солдатской казармы. Там уже находились двое солдат, вытянувшихся при появлении дежурного офицера вместе со мною.

— Здесь вам надлежит ждать, когда соберется команда на Кавказ, — сказал дежурный и вышел.

А солдаты не садятся. Смотрят на меня во все глаза.

— Здорово, — говорю, — братцы. Теперь мы с вами — в одном строю, и я такой же рядовой, как и вы. Так что не вскакивайте.

Помолчали они, переглянулись. Потом старший спрашивает:

— За что же вас, ваше благородие?

— За дуэль, ребята, — не объяснять же им про «Андрея Шенье». — Так что зовите просто Александром Олексиным. Или — Александром Ильичом, если вам так удобнее.

Познакомились. Старший — Пров Сколышев — за то на Кавказ угодил, что сапоги казенные пропил. Служил в Москве, тихо и послушно служил, а тут земляк заявился да прямо с порога и брякнул:

— Дуньку твою барин на вывод продал.

— Сильно любил я ее, — рассказывал Пров. — И она меня жалела, ждать с солдатчины обещалась. Да не понравилась, видать, барину любовь наша. Меня — в солдаты, ее — неизвестно куда, неизвестно кому. Ну и запил я с горя черного. И казенное имущество на штоф горькой сменял.

Это уж позднее, когда привыкли они ко мне. Крестьяне долго присматриваются, нескоро привыкают. А солдаты — те же крестьяне, только в военной форме.

— А тебя за что? — спрашиваю у второго.

Молодой еще, глаза ясные и одновременно — лукавые. Вот такой парадокс. Егором, помнится, звали.

— Да по глупости.

Засмущался, а Пров пояснил:

— Кровь взыграла, весну почуяв. Денщиком у майора служил да и с горничной в его же доме перемигнулся, а потом и вовсе к ней в каморку залез. Ну а майор тот, видно, тоже не промах насчет той горничной оказался, вот, стало быть, и не поделили они жаркую бабенку. В чем тебя майор обвинил?

— Да будто я у него табакерку украл.

— Вот-вот, — вздохнул Пров. — Как от человека избавиться? Обвиновать его — и избавишься.

Обвиноватить и избавиться, подумал я, собственную судьбу представив.

По пути из Пскова в Москву под болтовню зачарованного собственной юностью прапорщика я, как мне показалось, понял, что со мною произошло. А то произошло, что господам в голубых мундирах никакого «Дела» против Пушкина сочинить так и не удалось. Главный их козырь — то бишь я — им в масть не пришелся, как они карт ни передергивали. Да еще два свидетеля

— Савка, братец мой любезный, и честный станционный смотритель — подтвердили мои слова, что я выиграл у пионер-поручика список «Андрея Шенье», а не он у меня, и «Дело» развалилось. И чтобы не болтал я по гостиным да салонам об их способах признания осклизлыми казематами вышибать, они раздули мои беседы с солдатами чуть ли не до государственной измены. Похоже, что «обвиноватить да и избавиться» и есть та правовая основа, на которой твердо стоит все российское чиновничество.

В России судьба человека — нуль в сравнении с благополучной карьерой. Нуль. Ничто.

Я и на солдатской гауптвахте не изменил своим привычкам. Вставал с первыми проблесками, вслух читал «Отче наш», отмеривал версты и брился на ощупь каждый день. Солдаты поначалу снисходительно приняли все это за очередное барское чудачество — я ведь в офицерской форме ходил, хотя порядком таки уже обтрепанной, — а потом и самого меня приняли таким, каков я есть. Даже с уважением за малопонятное постоянство мое.

А форма сильно пострадала, когда нас какие-то доски разгружать направили. Правда, дежурный офицер сказал, что меня приказ сей не касается.

— Нет уж! — говорю. — Коли с солдатами я, то и лямка моя.

И пошел грузить. И несмотря что ослаб, что кашель порою донимал, сила еще осталась. Было что показать, и я — показал. Один по четыре доски таскал, когда остальные — по три вдвоем. Но — справился, показал силушку, и вся казарма вставала теперь не потому, что форму мою видела, а потому, что содержание мое разглядела.

Вот на этой-то работенке я и порвал мундир. В двух местах и — безнадежно.

— Сымай, — сказал Пров. — Шить-то умеешь, Александр Ильич?

— Не приходилось.

— Ну, тогда учись.

Я глядел, как тщательно и точно он подшивает. С изнанки, края подогнув. Прочно, в две нитки, мелкими стежками.

— Ловок ты, Провушка.

— Солдату без этого никак невозможно, Александр Ильич. Я тебя научу, пригодится.

Казарма наша постепенно наполнялась. Офицер объяснил мне, что, как только соберется около сотни, нас направят пешим порядком в Новочеркасск. И — далее, куда там велят.

— И долго шагать?

— Двадцать пять верст в день. Вот и считайте.

Считать мне не хотелось, поскольку в своих ботфортах, порядком уж в казематах истоптанных, я бы и двенадцати верст не прошагал. Да и Пров это подтвердил:

— Обувку тебе менять надобно, Александр Ильич, а то дале городских застав и шагать не в чем будет. Солдатские сапоги добывать, портянки хорошо бы бязевые.

— Так теплынь уже.

— А пот с ног кто забирать будет? Портянка. Коли не заберет она, то и не дойдешь. Ноги до язв сопреют, шага не ступишь. Только без денег солдатские сапоги отдельно от всей формы не достать.

А денег у меня с собою не было: не знал же, сколько просижу. Я дежурному офицеру доложил, а он посоветовал письмо написать, сказав, что оказия в Петербург намечается.

Я написал матушке. Расспросил о здоровье батюшки, о своем солдатском житье доложил и попросил прислать денег.

И продолжал пребывать на гауптвахте в ожидании то ли похода в Новочеркасск, то ли государева решения. Рыл вместе с остальными проштрафившимися солдатами какой-то котлован, грузил

землю на подводы и даже два раза дежурил по кухне, таская кашеварам воду. Не скажу, чтобы работы эти особо тяготили меня, но ботфорты поползли уже прямо на глазах.

— Починим, — сказал Пров. — Учись, Александр Ильич, в солдатчине все сгодится.

И я учился. К тому времени Егорку перевели в особую казарму, где собиралась команда для кавказской армии. И в закутке мы остались с Провом вдвоем.

— Гляди, Александр Ильич, и запоминай, как деревянные гвоздочки делать. Повдоль, а не впоперек, и лучше всего — из осины. Осина гнить не любит.

Чинить собственную одежду я под руководством Прова уже наловчился. И даже приобрел привычку осматривать ее перед сном и тут же латать те прорехи, которые обнаруживал.

— За солдатом его собственный унтер-придира приглядывает, — говорил Пров. — Больше некому.

И вот как-то после работы появляется дежурный офицер:

— Пожалуйте со мной, Олексин.

Я сразу насторожился: неужто свобода?..

— С вещами?

— Нет. Свидание у вас.

— Свидание, прапорщик? С кем свидание?

Но прапорщик не ответил. И внимания не обратил, что я обращаюсь к нему как-то не по-солдатски, хотя числюсь рядовым. Стало быть, бумаги государевой, лишающей меня офицерского чина, они еще не получили…

— Сашенька, свет мой!

Полиночка. С плачем бросилась на шею, да и у меня, признаться, запершило в горле. Обнял ее, расцеловал, шепнул:

— С батюшкой что? Жив?

— Жив, Сашенька, жив. — Полиночка вздохнула. — Хотя…

И замолчала.

— Что — хотя?

— Плохо ему, Саша. Потому-то маменька при нем и осталась, а послала меня. Я деньги привезла.

Свидание нам в час определили. И весь час мы друг друга расспрашивали и друг другу отвечали. Господи, как же незаметно тот час пролетел…

— Я буду ждать, Сашенька. Терпеть, тосковать, молиться и ждать. Дай тебе бог раны легкой.

«Или — чтоб наповал».

Но это я, разумеется, про себя усмехнулся.

Уехала Полиночка.

На другой день… Нет, через день после этого свидания меня прямо с работ вытребовали к начальнику гауптвахты.

— Государь изволил наложить на приговор офицерского суда резолюцию «Согласен».

Сжало мне сердце, аж глаза закрыл от боли. Постояли мы так, помолчали. Потом отпустило. Я сам с себя погоны снял и на стол положил.

— Разрешите обратиться, господин майор?

— Оставьте это для строя, Олексин, — вздохнул майор. — Что желали узнать?

— О форме солдатской. Моя совсем в ветхость пришла.

— Вас сегодня же на сборный пункт переправят, там и форму выдадут. В карете поедете, Олексин, в карете. Не вести же вас под ружьем через всю Москву.

И в тот же день меня в санитарной карете перевезли в казармы над Москвой-рекой, где комплектовалась команда в действующую на Кавказе армию…

Свеча последняя

По прибытии сопровождающий прапорщик передал меня с рук на руки начальнику сборного

пункта. Немолодому и невеселому подполковнику с диковатым шрамом на щеке.

— С пушками знакомы?

— Так точно, господин подполковник.

— Рано вам, Олексин, тянуться в струночку. Успеете еще. Хотите в горную артиллерию?

— Нет.

— Почему? — удивился начальник пункта. — И рост у вас, и силенка подходящая. Да и легче в артиллерии служится.

— Мне солдатский «Георгий» нужен, подполковник, честно вам скажу. А в пехоте его куда быстрее заслужить можно, нежели рядом с пушкой.

— Быстрее, но опаснее. — Он дотронулся пальцем до шрама. — Это оттуда память, Олексин. Там совсем иная война. Особая. Не такая, о которой баллады слагают, и не такая, о какой в Корпусе рассказывают.

— Мне терять нечего.

— Отвагой прощения добиться решили? Молодецкое решение, хотя и рисковое весьма. Зачислю в первую роту. С богом, Олексин.

И неожиданно обнял меня. Тепло, по-отцовски.

И пошел я в первую роту. В ней не работали, в ней — учились от подъема до отбоя. Строевой,

штыковому бою, стрельбе залпами, стрельбе плутонгами и даже стрельбе в одиночку, по мишеням. Это меня удивило, потому как по мишеням в одиночку стрелять в армейских полках не обучали. Видно, и впрямь Кавказская война иной была, не такой, как Отечественная.

Уже на второй день меня от общих занятий освободили. И шагать в строю я умел, и в штыковом бою равных мне не оказалось, и три мишени на первых же одиночных стрельбах я в самое «яблочко» поразил. Назначили старшим в отделении из десяти солдат, и теперь я их учил под общим наблюдением нашего ротного командира.

Сухой был поручик. Может, от природы, может, по семейным обстоятельствам, может, потому, что в чине застрял. Ему при его годах уж в майорах быть бы полагалось, никак не меньше. Меня он за разжалованного офицера не признавал, даже наедине ни разу улыбки не выдавив. Придирался, как ко всем, но поводов для этого я ему не давал. Я никогда особо не стремился быть отличным офицером — все шло как-то само собой. Но стать отличным солдатом цель перед собою поставил. И служил не за страх, а за совесть.

Так продолжалось дней десять — двенадцать, что ли. Я, помнится, солдат штыковому бою

учил, когда прибежал вестовой и что-то сказал поручику.

— Олексин!

Я подбежал, вытянулся:

— Так точно, господин поручик!

— К подполковнику. Бегом!

Помчался я вслед за вестовым. Прибежал, представился подполковнику по всей форме. Он по всей форме рапорт выслушал и велел пройти за ним.

Зашли в канцелярию. Он плотно дверь прикрыл и — мне, весьма удивленно:

— Приказ получил, Олексин. Вам разрешается следовать до Моздока вольно, в статском платье. Срок — месяц, но от маршрута отклоняться категорически запрещено.

— А на чем следовать? На почтовых?

— Нет. Вестовой сейчас ваши вещи доставит и проводит до постоялого двора. Там вас тарантас с кучером ожидает.

— Тарантас?!

Подполковник вышел, не ответив. Отдал приказ вестовому, вернулся. Снова дверь прикрыл.

— Чудеса! Деньги-то у вас есть на дорогу?

— Есть.

Ничего я не понимал, и что-то мне не сообра-

жалось тогда. Стоял и глазами хлопал.

Подполковник полез в шкафчик, достал бутылку водки и два стакана. Мне полный налил, а себе — на донышке.

— Ну, Олексин, это ведь что-то значит, а? Дай-то бог. Дай-то бог тебе, Сашка Олексин. Ты же для меня не кто-нибудь. Ты — сын моего первого командира Ильи Ивановича.

Чокнулись мы и выпили. Зажевали хлебушком. Подполковник все головой качает:

— Что бы это значило, а? Может, государь передумал? Приедешь в Моздок, а там — офицерские погоны ждут.

— Не знаю, — говорю. — Только вряд ли.

А сам улыбаюсь на все зубы. И от хмеля, и от счастья солдатского.

Вестовой вернулся с моими вещичками. Обнялись мы с подполковником.

— Спасибо вам, подполковник. Век не забуду!

— Дай тебе бог, сынок…

И пошли мы с вестовым на постоялый двор. Где-то на Спасской заставе. Нашли наконец.

— Иди прямо к хозяину, — говорит вестовой. — А я пошел. С богом!

— С богом, — говорю.

Почему у меня сердце забилось вдруг? Предчув-

ствие, что ли?..

Взбегаю на крыльцо, распахиваю дверь. Хозяин с каким-то молодым бородачом чаи гоняют. Я и рта не успел раскрыть, как вдруг вскакивает бородач:

— Александр Ильич?!

И — мне на шею.

Савка. Молочный брат. Клит мой верный.

— За такую встречу — и штоф не во грех, — улыбается хозяин, вставая из-за стола.

— Не твоя то забота, Поликарпыч! — кричит Савка и бросается в угол.

Гляжу — там сундучок мой походный, погребец, узлы какие-то, корзины. А Савка из сумки бутылку шампанского достает.

— Грешно, конечно, такие денежки из стаканов пить, но — надо. — Открыл бутылку, разлил и — вдруг: — Шампанское это я на свои кровные купил. Затем купил, Александр Ильич, чтоб моим первое слово было. И слово то — спасибо тебе великое и за меня, и за деток моих будущих. Вольный ведь я теперь. Вольный!..

И поклонился мне в пояс. Я обнял его, расцеловал.

— Как случилось-то, что ты здесь оказался, Савка?

— А так случилось, что разыскал меня офицер из полка. Прапорщик Фатеев…

— Княжич?

— Да ну?.. Не знал я, а ему ведь «ваше сиятельство» полагалось говорить. Прощения попрошу, коли свидимся. Я во Пскове постоялый двор приглядывал, хотел извозом заняться, как отец мой. Ну и в полк наведывался, о вас спрашивал, вот княжич и пришел, стало быть. Иди, говорит, сейчас же к командиру полка. Об Олексине, мол, какая-то бумага пришла неожиданная. Я — бегом. Полковник говорит: барину твоему, мол, разрешение пришло самому до Кавказа добираться. Ну я и решил, что вам со мной, пожалуй, сподручнее будет Россию поперек колесить. Так, Александр Ильич?

— Спасибо, — говорю, — брат. Что о батюшке знаешь?

Вздохнул мой Савка:

— Хорошего мало, Александр Ильич, но жив покуда Илья Иванович. Жив…

Наутро выехали мы с Савкой, до зари проговорив. О моих казематах и допросах, об Антоновке и Опенках, о наших матушках и батюшках. И о кишиневской юности нашей. О маме Каруце и цыганах, о Белле и Урсуле, о Раевском, Дорохове,

Светле…

— А чего бы тебе не жениться, Савка? — говорю. — Антоновкой управлять будешь, пока я солдатчину свою не отслужу. Любую бери, какая глянется.

— Я сперва на ноги встать должен, — сказал Савка. — Вот ужо дело свое заведу… Да и потом, Александр Ильич, яблочки, тобою надкусанные, мне вроде не с руки подбирать.

И завалился на другой бок. Я рассмеялся, но както виновато, что ли, прямо скажем. И подумал, до чего же глубоко мы их обидели, мужиков-то наших. Лет на двести вперед обидели…

Ну а потом выехали. С утра пораньше.

В бумагах, разрешающих мне проезд, содержалось одно непременное условие. Я был обязан отмечаться во всех крупных городах либо у воинского начальника, либо у губернатора. Но это нисколько не стесняло. Савка прихватил мою статскую одежду — я ехал как помещик Олексин «по служебной надобности», и местные власти не только никаких препонов нам не чинили, но и принимали с размашистым русским гостеприимством, искренне радуясь гостям почти что из обеих столиц разом. А местные помещики и Савку за стол сажали непременнейшим образом.

И мы, признаться, не спешили.

А у меня добрую тысячу верст не шла из головы нежданная государева милость. Ведь не бывает же, быть не может, чтобы он — Он! — совсем недавно суровую руку приложивший к судьбе моей, по какой-то причине сам же и облегчить ее решил. Или — согласие дал, чтобы кто-то облегчил, поскольку самой бумаги я так и не видел: выписку из нее мне показали с главным словом «Дозволяется». Нет, кто-то государю напомнил обо мне, кто-то упросил не добивать уж окончательно потомственного дворянина Олексина пешим маршем поперек России всей. Только так могло быть, только так.

Но тогда — кто? Кто хлопотал за меня, рискуя гнев императорский на себя навлечь? Бригадир мой, любимый и единственный? Нет, не мог он, речи и движения лишенный, никак не мог. Будущий родственник-генерал? Вряд ли, не в его натуре поступок столь энергический, поскольку был он вяловатым и застенчивым, света почему-то не жаловал, сторонился его, из деревенек своих с великой тоской выезжая. Тогда — кто же, кто? Кто, кому заботою я обязан на всю жизнь свою?..

Долго это меня мучило. А потом как-то забылось и улеглось на дно памяти…

В забывчивости этой одна встреча свою роль сыграла, поскольку мысли в растревоженной душе сами по себе на дно не опускаются, а как бы погружаются в нее, оседают, уходят с поверхности, иными тревогами замещаясь. Вот и у меня одно другим навсегда заместилось на какой-то богом забытой станции за городом Воронежем.

Никуда не торопясь, мы и не спешили, как я уже отмечал. Бежали лошадки ленивой трусцой, поскрипывал тарантас ленивыми скрипами. И мы зевали ленивой зевотой, сменяя друг друга на козлах, чтобы подремать под навесом, прячась от дорожной пыли и жаркого степного солнца. Встречных повозок, а уж тем паче экипажей почти не было. Пропылит пролетка с атаманским местным начальством, с натугой проскрипит чумацкий обоз, да редко когда обгонит почтовая тройка.

А тут — фельдъегерская обогнала вскоре после того, как мы с какой-то станции выехали. С трубачом впереди, нас ревом трубы своей поприветствовавшим.

— Поспешает, — сказал Савка.

— Курьер с пакетом, — согласился я, лежа под навесом. — Теперь уж не догоним.

Догнали.

Часа через два, что ли, подъезжаем к следующей почтовой станции — стоит фельдъегерская тройка. Трубач с кучером разговаривают, а самого курьера не видно.

— Чего застряли, ребята? — весело спросил Савка. — Или ось пополам?

— Видать, вас дожидаемся, — вздыхает кучер.

— Не вы ли господин Олексин? — трубач у меня спрашивает. — Так в избу ступайте.

«Вернуть меня приказано!..» — почему-то подумал я.

И сразу же в избу прошел. Там — подпоручик, нервно готовый к выезду. Перчатками по ладони похлопывает.

— Господин Олексин? На предыдущей станции справился и понял, что вы впереди на один перегон. Извините, продремал, вот и разминулись. Депеша вам.

Разорвал я конверт, прочитал… И сел на скамью. Ноги мои подкосились.

— Что, неприятное известие? — спросил подпоручик.

— Батюшка мой скончался.

— Примите мои соболезнования…

Батюшка скончался. Бригадир Илья Иванович Олексин. И нет больше у меня бригадира моего,

любимого и единственного. Нет больше…

Свеча погасла…

Кавказ надо мною проклятьем навис

Последняя свеча погасла, а впереди меня ждали только марши. Марши, марши, марши… И отсчет теперь мне придется по маршам своим вести.

Первый марш

Уже за Новочеркасском, что ли… Да, да, на второй станции за Доном мы решили дать коням роздых, перед тем как пустынные степи пересекать. Когда-то здесь ногайцы кочевали, но Суворов беспощадно выгнал их на восток, поближе к калмыкам, а сюда велено было переселить казаков. Но переселялись они неторопливо, и степи успели обезлюдеть и задичать, дав приют лихим татям решительно всех племен и народов. Пустое место всегда сорняками зарастает.

Савка разыскал невдалеке тихую речку с пологими берегами, на которых еще не окончательно высохли травы, где мы и решили передневать. Он поехал туда, а я задержался, поскольку не успел побриться до предложенного нам завтрака.

— Дозвольте, ваше благородие?

Урядник в дверь заглянул. Здесь, в области

Всевеликого Войска Донского, уже не встречалось станционных смотрителей, обычных для России. Здесь уже были станционные начальники — старослужащие казачьего сословия при непременной шашке на боку и седом чубе из-под сбитой набекрень фуражки.

— Что тебе?

— Барышня вас спрашивает.

— Барышня?.. Какая еще может быть барышня?

— Вчера поздним вечером с почтой прибыла. Почта спешила, а она от скачки растряслась да сомлела, почему тут и осталась. Жена моя в свою половину ее ночевать взяла.

Я вышел в горницу. У стола, весьма нервозно меня дожидаясь, прохаживалась худенькая, более чем скромно одетая девица еле-еле за девятнадцать, коли судить по бледно-перепуганному виду ее.

— Господин Олексин?

Ага, значит, в книгу регистрации проезжающих уже заглянула. Мне такая практичность очень тогда не понравилась, и осведомился я весьма сухо:

— Чем могу служить?

— Спасением, господин Олексин, — шагнула

ко мне и остановилась. — Спасением души и чести моей.

Хотя фраза показалась заготовленной, сказано было с такой искренней непосредственностью, что я невольно Полиночку свою вспомнил. Правда, внешне эта девица не весьма ее напоминала — разве что худобой да какой-то болезненностью, — но внутренне они почему-то совместились в моем представлении. Не случись этого — не случилось бы и последующего.

— Мне о вас добрая хозяйка много рассказала. Что холопа своего на волю отпустили, что с самим Пушкиным в больших друзьях состоите, что из-за дамы сердца многое претерпели…

Нет, тут не книга регистрации разоткровенничалась и даже не хозяйка. Тут вчера Савку несло безудержно под хмельные донские выморозки…

— Умоляю. Умоляю вас хотя бы выслушать. Он по пятам преследует меня…

Суетливая робость ее выглядела несколько назойливой, что ли, но я вовремя понял, что за этим — страх. Непонятный, но не приснившийся, а — присутствующий. Страх, что ее, как всегда, не выслушают, как всегда, отмахнутся от нее и, как всегда, не поверят. И сначала ее следовало успокоить.

— Прошу вас сесть.

— Да?..

Она смотрела недоверчиво. Видно, гоняли ее все, на кого надеялась она, кому поверяла тайны свои. Но присела на краешек скамьи, всем телом подалась вперед и уже хотела что-то сказать, но я не дал ей возможности:

— Разрешите представиться. Олексин Александр Ильич.

Конечно же она знала не только, кто я таков, но и как меня зовут. Но мне хотелось продолжать беседу в менее напряженном регистре.

— Подколзина Вера Прокофьевна. Отец — из служилых дворян.

Из служилых — значит, безземельных. Таковых много было в наши времена, особенно — в южных губерниях. Они достались в наследство от турецких походов, когда казакам, а порою и солдатам широко жаловали дворянство за особую удаль в бою, но — как правило — без земли. И горше всех приходилось дочерям этих служивых: знакомств никаких, образование случайное и приданого нет.

— Меня взяли компаньонкой в добрый, хороший дом к добрым, хорошим людям. Но супруг моей патронессы приехал в отпуск и… — Вера

опустила глаза, но продолжила: — Он начал преследовать меня. Нагло, не стесняясь больной жены. И мы решили, что я должна уехать. А ехать мне совершенно некуда, потому что отец мой погиб на Кавказе. Но моя хозяйка добыла мне письмо к бывшему начальнику отца генералу Граббе. И я поехала, но этот человек, майор Афанасьев, оставил жену и помчался следом. В Новочеркасске он настиг меня, я чудом отбилась и бежала, а деньги и подорожная остались у него…

Рассказ ее замирал, замирал и скончался окончательно. Может быть потому, что я не задавал вопросов.

— Вот…

И безнадежно вздохнула.

— Ваш преследователь еще не появился?

Она очень обрадовалась, что я заговорил. Даже несмело улыбнулась.

— Почтовых ожидают к вечеру, и он наверняка приедет с ними. Спасите меня, умоляю…

— Каким же образом я могу вам помочь, Вера Прокофьевна?

— Мне необходимо уехать до прибытия почтовой тройки. Но… Простите меня, бога ради, мне нечем оплатить прогон.

Я поверил ей сразу. Не словам — состоянию ее. Состояние души сочинить невозможно.

— На станции есть оказия?

— Да. И как раз — до Кизляра.

— Собирайтесь, Вера Прокофьевна.

Я нашел урядника, оплатил прогоны до Кизляра.

— Поверили ей, стало быть?

— А ты — не поверил?

— Кто ее знает. — Урядник пожал плечами. — Тут — середка: донцы еще верят, а кубанцы — нет.

— Что ж так?

— Тут война особая, господин хороший.

Мне совсем не хотелось слушать благодарственные возгласы и видеть благодарственные слезы, и я ушел к Савке. Он уже пустил на траву стреноженных лошадей, расстелил под ракитою рядно, и мы славно провели время до вечера. А возвращаясь, еще издали расслышали громкий и явно нетрезвый рык:

— Как смел отправить ее без подорожной!..

Майор Афанасьев был коренаст, волосат и уродлив, как человекообразная обезьяна. Увидев меня, заорал в новом приступе яростного бессилия:

— Расчувствовались, господин благодетель?

— Знаете, за что я сослан на Кавказ, майор? — Я улыбнулся этой горилле, как закадычному другу. — За дуэль. Так что укротите свой нрав, пока не поздно.

— Она обокрала мою жену в благодарность за приют! — взревел майор. — Любопытно узнать, чем она расплатилась с вами…

Я ударил его по щеке. С силой и не раздумывая. Он отшатнулся и стал на глазах наливаться кровью. Как клоп.

— Я вас предупреждал, майор.

Он молча пошел к выходу. У дверей обернулся:

— Я это запомню, Олексин. Запомню!..

И вышел, хлопнув дверью. Как выстрелил.

Второй марш

В Моздоке меня, так сказать, сняли с марша, приказав явиться в казарму сборного пункта, получить форму и… И тянуть потную лямку рядового стрелка в пока еще неизвестном полку.

Времени для прощания с Савкой мне дали совсем мало. Сидели в трактире, пили кизлярское — кстати, очень хорошее вино, рекомендую. Брат мой молочный плакал чуть ли не в голос, а я — еще в статском, еще на час еле-еле отпущенный

для прощания — завидовал, что и зареветь не в состоянии.

— Может, мне здесь остаться, Александр Ильич? Может, квартиру сниму, так хоть поночуете когда.

— Матушка моя одна там, забыл? Я ей письмо напишу, чтоб определила тебя официально, с хорошим жалованьем, управляющим всеми нашими деревнями и землями. Справишься?

Савка громко высморкался в платок, утер слезы. Подумал, вздохнул и сказал:

— Можешь не сомневаться, Александр Ильич.

И потому, что на «ты» ко мне обратился, я понял, что решение такое он и сам уже принял, и с делом справится. Парнем… Да нет, уже не парнем — мужиком он был грамотным, толковым и, главное, соображающим.

— Возьми у трактирщика бумагу и чернила.

Написал я письмо, выпили мы по последней, обнялись по-братски, троекратно расцеловались…

И пошел я в казарму. Форму получать.

Служба моя началась с полного безделья и ожидания, когда подойдут маршевые роты. С безделья потому, что начальник сборного пункта, пожилой капитан без левой руки, сказал:

— Нечему вас учить здесь, Олексин. А на воль-

ное поселение отпустить права не имею.

— Тогда позвольте с солдатами позаниматься. Хотя бы стрельбой, что ли.

— Нет, Олексин, не позволю. Вам служить с ними, а ну как ненароком обидится кто на ваше учение? И не просите, здесь — война особая. Рассыпная война, я бы определил.

Проболтался я так с неделю и чуть умом не тронулся, ей-богу. Существую по солдатскому уставу, а бездельничаю — по офицерскому: солдаты занимаются, а я — хоть гуляй вокруг них, хоть валяйся на нарах. Ну решительно нечего делать. И я вновь пошел к однорукому капитану.

— Понимаю, — проворчал он. — К лекарю нашему пойдете в помощники? От него вчера очередной помощник сбежал, так что вакансия свободна.

Вот так и сказал: «Вакансия свободна». Они тут вообще странно разговаривали, на Кавказе, но не в этом дело.

Мне бы, дураку, спросить, с чего вдруг очередной помощник сбежал, а я — обрадовался. И дело вроде нашлось, и при лекаре жить — не в казарме. Ему в городе квартира полагалась, и он кого-то там, по слухам, даже пользовал.

— С удовольствием, — говорю.

Лекарь Матвей Матвеевич был на редкость краснорож и сизонос. Я не придал окраске должного значения, узрев в ней лишь влияние кавказского климата. День он меня учил порошки да мази готовить — толково учил, ничего не скажешь, потом пригодилось, — а еще через день, что ли, озадачил особым заданием.

— Вечером я по визитам пойду, пора уж, — бурчал он (он всегда бурчал, а не говорил). — Тебе, как помощнику, доверяю расставить по точкам по два стакана крепкого кизлярского.

— А где, — спрашиваю, — точки, Матвей Матвеевич?

А разговариваем мы на его квартире, и тут он начинает меня по ней водить. С разъяснениями.

— Первая точка — первое окно: два стакана на подоконник. Вторая точка — стол. Тоже два стакана. Третья — печка…

Ну, и так далее. Всего набралось восемь точек его встреч с визитерами. Я поначалу ничего не понял, только удивился, что сразу столько визитеров пожалует. Но поскольку все толковали об особенностях Кавказской войны, то я промолчал, подумав про себя, что так, вероятно, в Моздоке и полагается врачу занемогших принимать. И все в точности исполнил к его возвращению со

сборного пункта.

К вечеру он явился чуть бледнее обычного.

— К визитам все готово?

— Так точно, Матвей Матвеевич.

— Все тогда. Спасибо. Свободен. Ложись спать. Я им сам двери открывать буду.

Свободен так свободен. Ушел я к себе за перегородку, взял, помнится, томик Загоскина с «Юрием Милославским» — у лекаря на кухне нашел — и завалился в койку.

Лежу, читаю. Никто не стучит, не звонит, двери не хлопают. Что-то не торопятся визитеры, думаю.

И вдруг слышу из-за перегородки приветливый голос Матвея Матвеевича:

— Рад, сердечно рад видеть вас, Иван Сергеевич. Как супруга ваша, детки?

С кем же это он? — думаю. Дверь не стукнула, шагов не слышно…

Встал на койку, за перегородку заглянул…

— На что жалуетесь, любезный Иван Сергеевич? Кашель замучил? А вот, пожалуйте, микстурку…

Смотрю — и глазам не верю: у окна, в первой «точке», — один Матвей Матвеевич со стаканом в каждой руке.

— Ваше здоровье!

Чокнулся мой лекарь сам с собой этими стаканами и отправил их содержимое один за другим в собственное горло. Поставил опустевшие стаканы и неспешно, важно даже, перешел к столу. И — закланялся, заулыбался:

— Марья Степановна, дорогая вы наша! Как супруг, как детки? Ну слава богу, слава богу! Что, тягость в груди испытываете? Так я микстурку предложу. Преотличнейшая микстурка, доложу вам. Преотличнейшая!..

И опять чокается стаканами и друг за другом отправляет их содержимое в горло.

— Ваше здоровье!

К печке перешел:

— Ваше превосходительство, глазам не верю!.. Честь-то какая, вот уж мои-то обрадуются!..

Ну и так далее. До восьмого визитера Матвей Матвеевич, правда, не добрался, свалившись на седьмом. Я его на кровать перетащил, раздел, одеялом прикрыл, убрал все, по местам расставил, стаканы перемыл. И на следующий день — ни слова.

Утром лекарь — опухший весь — отправился на службу. Вернулся вечером — нормальный, трезвый, только что-то уж слишком молчаливый. А о вчерашнем — ни слова. Ни он, ни я. Будто

и не было никаких визитеров у врача Матвея Матвеевича.

Визитеры появились через два дня на третий. Он заранее предупредил меня, что они непременно появятся, и я расставил по точкам стаканы с крепким кизлярским. И опять были короткие светские беседы, опять Матвей Матвеевич выслушивал жалобы на недомогание и лечил всех своей микстурой.

Тут уж я не выдержал и разыскал капитана.

— Понимаете теперь, почему помощники от него сбегают? Боятся по дремучей темности российской. Коли малость не в себе человек, так, стало быть, непременно убьет.

— Он что же, запойный?

— Да как понять, — вздохнул капитан. — Расскажу, а вы уж сами рассудите. Матвей Матвеевич считался когда-то лучшим врачом не только Моздока, но и всей нашей округи. К нему на прием из других городов, крепостей да станиц все занемогшие приезжали, а коли на чьих вечерах он появлялся, так за честь визит его почитали. Особенно когда он — в сопровождении двух красавиц. С супругой и дочерью пятнадцати годов…

Капитан замолчал вдруг, сокрушенно покрутил головой.

— А где они? — спросил я. — Покинули его, когда в запой ударился?

— Наоборот, — строго сказал начальник сборного пункта. — Решили девочку в пансион отдать, ну и повезли в Новочеркасск. А Матвей Матвеевич не смог с ними поехать — транспорт с ранеными пришел, полковых врачей не хватало, он и остался. Дали женщинам коляску, троих сопровождающих в охрану, и они отправились без него. А через неделю коляску в степях обнаружили. Конвойные и кучер убиты, женщин и лошадей — нет. Так и сгинули.

— Сгинули? Как понять — сгинули?

— А так, что и до сей поры нигде не объявились. Либо украли и продали кому, либо просто убили.

— Кто?.. Кто же мог, ведь здесь же — тыл…

— Тыл, Олексин? — криво усмехнулся капитан. — В таких бесчеловечных войнах тылов не бывает. А кто мог сие убийство с похищением свершить, спрашиваете? Да кто угодно. Ногайцы, абреки, кумыки, казаки могли позариться. Такая здесь война, Олексин. По ее счетам чаще всего ни в чем не повинными и платим. — Он помолчал. — А Матвей Матвеевич пить начал с той поры. И докатился до солдатского лекаря. Но воспоминания, видать, остались, вот он раз

в три дня по визитам и ездит. Понимаю, не для дворянина занятие — пьяного солдатского лекаря в постель укладывать. Если желаете, переведу.

— Нет, — сказал я. — Не желаю, капитан. Спасибо. Разрешите следовать к Матвею Матвеевичу.

Капитан протянул мне свою единственную руку. Крепко пожал и опять вздохнул:

— Такая война здесь, Олексин. Такая война.

Три недели служил я помощником у несчастного Матвея Матвеевича. Он многому меня научил: как кровь останавливать, шину накладывать, вывихи вправлять да раны перевязывать. Но через два дня на третий я готовил визиты дорогих его сердцу воспоминаний. Он никогда до восьмого гостя не добирался, но всегда требовал, чтобы эту восьмую пару стаканов я наполнял непременно. А после седьмой пары я укладывал нашего лекаря в постель и приводил в порядок квартиру.

— Давненько не виделись с вами, любезная Марья Степановна, давненько…

Признаться, жалел я его…

И так продолжалось, пока не подошли маршевые роты и я был определен в стрелковый батальон Апшеронского полка. И — уже снега легли, морозы стояли — ушли мы маршем на передовые позиции…

Третий марш

Кажется, мы свершили невозможное. И остались целы. Правда, не все. Не все…

Эти слова я не придумал. Я устал до тошноты, до звона в ушах, до отупения и полного равнодушия. Голова болит уже сутки, и я еле-еле сапоги да амуницию от крови отмыл. В горле скрип, а слов нет. Вместо них в душе что-то тренькает, и нет больше слов во всем мире. Онемел мир в оре своем. «Ура!» равно «Аллах акбар!». Оба надсадных клича одинаково заглушают страх, боль и совесть.

Пало Орлиное гнездо.

Последнее? У орлов не бывает последних гнезд. Последнему орлу незачем строить гнезда.

Что знает солдат о маневре?

Ничего.

Что знает о маневре офицер?

Тоже ничего. Или — почти ничего: ему приказали провести солдат по горному карнизу, и он провел. Слева — пропасть и ревущая речка, справа — стена. Тропа… Нет, не тропа — полосочка скалы шириною редко в пол-аршина. Чаще — в солдатский сапог. Упасть нельзя, споткнуться нельзя, остановиться нельзя, поскользнуться

нельзя. Сорвешься. Можно только идти боком, спиной прижимаясь к скале. В трех шагах друг от друга, чтобы в ужасе не ухватиться за товарища, когда под ногою поедет в бездну камень.

— Стрелки в Чечне держатся только за свой карабин, ребята. Иначе все там будем.

Это офицер знает. И идет первым.

О маневре знает генерал. Знает, что надо взять гнездо. Знает, что в нем — имам в белой черкеске с золотыми газырями. Знает, что коли возьмет — звезда на грудь, коли не возьмет — звезды не будет. Будут кресты над его солдатами и — что здесь часто случается — крест на его карьере. А звезды над головою генералам неведомы: они ведь не ночуют под открытым небом.

Я затылком прижимался к отвесному откосу за собственной спиной. Затылком, помню. Спиной можно запнуться за камень или провалиться в расселину, а затылок считает каждую неровность. Я содрал с затылка кожу, прижимаясь к скале, и голова болела совсем не от простуды.

Я не в состоянии писать по порядку, потому что порядка в сражениях нет. Он не выстроился для меня, но придется его сочинить для вас.

Вместе со своим Апшеронским полком я проделал очень длинный марш. Всю зиму куда-то

нас перебрасывали, кого-то мы охраняли, кого-то куда-то сопровождали. А потом приказано было форсированным броском перейти в горную Чечню. На подходе к горам попадаем в засаду, теряем два десятка солдат и капитана Ермакова, нашего командира батальона. И застреваем в каком-то разрушенном ауле, ожидая, когда к нам прибудет новый командир.

Наконец он прибыл. Майор Афанасьев.

Я сразу узнал его, а он меня — нет. Оно и понятно: я бороду отпустил, форму надел и совсем перестал быть похожим на богатого цивильного помещика, следующего на Кавказ не только по своим надобностям, но и в собственном экипаже. А солдаты все одинаковые. Бородатые, оборванные и безымянные. Откликаются на кличку «Эй, ты!». Как собаки. А как только майор Афанасьев появился, нас быстрыми переходами погнали на помощь отряду, обложившему Орлиное гнездо имама в белоснежной черкеске.

— Обойти и ударить с тыла.

Это нам не майор сказал, а командир роты. Весьма сдержанный и по-немецки пунктуальный поручик Моллер. И мы пошли обходить и ударять, оставив все лишнее. До стены добрались, когда только чуть посветлело. Солнце еще не

проснулось, но снежные вершины уже светились холодным чужим светом.

Майор шел первым, сразу же за проводником из мирных горцев. Сначала тропа была на тропу похожа, но, вероятно, только в полусумраке. Когда немного рассвело, мы поняли, что никакой тропы нет. Есть узкий длинный уступ. Карниз. Складка меж пропастью вниз и пропастью вверх.

Как шел человекообразный майор — не знаю, прямо скажу. Я бы сразу за проводником не прошел бы и двадцати шагов, потому что нитяная тропочка эта оказалась заснеженной, и как там передовые в пропасть не угодили — чудо. По себе знаю. Сам чудом не угодил, затылком за камень удержавшись, когда вдруг ноги поехали.

Сражение началось с рассвета, как только мы на ту горную приступочку втянулись. Начали наши пушки — у горцев артиллерии не было, — а за ними и ружейная стрельба поднялась по всему охвату. Ниже нас. Мы уже в горы поднялись к тому времени. Может быть, красивые виды пред нами распахнулись. Может быть, не помню. Я потом для дам придумывал, как это красиво — воевать в горах. Красивая война всегда придумывается ради успокоения совести и победных реляций. В ней — крики вверх, а не крики вниз.

Крик вниз — это когда твой сосед с карниза сорвался. Этот крик — последний, а потому нет ему равных. От него вздрагивают горы и снега вокруг тебя, страх и совесть в тебе самом, и ты видишь, воочию видишь, как пробегает трещина между жизнью и смертью.

Этот крик — когда душа падает вниз. Он одинок, он — единственный в мире.

А взлет души вверх — крик общий. Для генералов и героев — это восторг славы, для солдата — тихий вздох спасения. Меж этими двумя криками и находится то, что в салонах, в газетах, в светских ли разговорах или в беседах на деревенских завалинках называется войной, лихим сражением или удачной кампанией. И появляются румяна на страшном черепе войны.

Я шел по карнизу в первом десятке, вцепившись руками в карабин. Не шел — переставлял ноги. Правую — в неизвестность, левую — к правой. И — снова, снова, снова. И смотрел только вверх, потому что цеплялся напряженным затылком за все неровности скалы за спиной. Тропинка вилась по карнизу, как уж, и я вился вместе с нею тоже, как уж, всеми своими изгибами. И за одним из поворотов ощутил вдруг несущийся сверху холод. Скосил глаза и замер, распластавшись по

скале не только спиной, но всем телом своим, всем существом и душою всею.

Сверху летел обломок скалы, толкая перед собою ледяную вечность гибели.

Он обрушился на моего соседа впереди, на Сидорку: мы с ним хлебово в одном котелке варили. Грохот был страшен, но Сидоркин последний вопль перекрыл и грохот обвала, и грохот пушечной пальбы, и грохот реки под нами. А я не мог даже глянуть ему вослед, не мог в последний путь взглядом его проводить, потому что не смел головы оторвать от каменной стены за спиною своей. Я обречен был смотреть только в небо.

Но еще не замер прощальный выдох Сидорки, как я закаченными под самые брови глазами увидел над собою, на вершине скалы, в которую вжался, размазываясь телом и душою, толпу женщин с распущенными волосами в изодранных белых одеждах. Они орали и бесновались, сбрасывая на нас все, что имелось под руками. Камни, обломки скал, стволы деревьев. Все летело вниз, и если цепляло кого из наших солдат, то отрывало от скалы, увлекало за собою в бешеную пену ревущей реки.

Первая стрелковая рота замерла меж белой неистовой яростью реки внизу и такой же неисто-

вой яростью белых женщин вверху, на вершине скалы. Они бы снесли всех нас в пропасть, коли хватило бы у них каменьев под руками. А может, просто выдержки и терпения, не знаю. Не знаю, что нас тогда спасло, хотя, правда, и не всех.

Наверно, великая, ослепляющая надежда прикрыть собою своих детей и мужчин и столь же великая ненависть к нам, несущим смерть. Любовь и ненависть сомкнулись тогда в этих чеченках меж вершиной и рекою, и накал оказался столь нестерпимым, что пред ним померк страх за собственную жизнь.

— Аллах акбар!

С этим грозным кличем горянки бросились вниз. В пропасть. Поодиночке и вдвоем, обнявшись последним объятьем. Не для того, чтобы покончить с жизнью, — чтобы сбить нас с карниза. Нас, смертных врагов своих мужей, детей и любимых.

Меня спас чуть заметный выступ над головою. Об этот выступ, а не об меня ударилось женское тело с длинными распущенными волосами. И лишь легкий шелк накидки скользнул по моему лицу…

…Да, Господь велик. Но почему же Он

слышит только предсмертные восторги во имя собственного величия? Откуда в Нем столько непомерного самодовольства и мелкого тщеславия? Может быть, это мы сами вылепили свое представление о Нем, как Он когда-то вылепил свое представление о нас?..

Жертвенные горянки оказались последним испытанием для нашего батальона. Тропа вскоре расширилась, и мы вышли в тыл чеченскому редуту, запиравшему дорогу основным нашим атакующим силам, потеряв добрую роту на этом переходе. Впрочем, Россия никогда не умела считать. Двойка у нее по арифметике еще со времен Игорева похода на древлян.

Волосатый майор Афанасьев дошел до укрытия, где можно было собрать стрелков для атаки в спину вражескому укреплению. И мой командир роты поручик Моллер тоже дошел.

— В штыки, ребята, — сказал он, едва дождавшись, когда соберется хотя бы половина.

— Пленных не брать, — тут же уточнил майор. — Вперед, пока нас не обнаружили. Ведите, поручик.

— С богом, ребята. — Моллер обнажил саблю. —

За мной и без «ура!».

Мы выбежали из-за утеса, едва отдышавшись после перехода над пропастью. Было нас всего около трех десятков, но, на наше счастье, чеченцы не беспокоились за свой тыл. И мы ворвались в редут без потерь.

* * *

Ружье сподручнее для рукопашной, нежели сабля, коли умеешь им действовать. Сабля, а уж тем паче горская шашка легче и изворотливее, но — короче, и если ты вовремя выдернул штык, то всегда от шашки отобьешься. Успеть выдернуть — значит не попасть в кость. Колоть в живот, в шею, в грудь, но — только меж ребер. Тогда успеешь оборониться, иначе — несдобровать.

Меня мои солдатики еще в Псковском полку неплохо штыковому бою обучили.

— Прикладом больше старайтесь, ваше благородие. А штыком ежели, то на длинном выпаде и непременно — в мягкое. И выдергивать штык сразу, прыжком назад.

Атака оказалась неожиданной, почему и кончилась в полчаса. Я троих заколол, к себе шашку не допустив, а усталость такая навалилась, что я на камень сел, последнего чеченца прикладом

отбросив. Кто-то раненых добивать вызвался, надеясь, что командиры запомнят усердие, но на Кавказе подобное всегда в обратную сторону запоминалось. Да, запомнили доброхвата — и офицеры, и солдаты запомнили, только — на его же несчастье. Такое в пехоте не поощрялось, если, конечно, раненый сам не умолял его добить. В последней просьбе отказывать недопустимым считалось, кто бы об этом ни просил. Хоть свой, хоть горец.

Майор по редуту прошелся. Сказал Моллеру, ткнув в меня большим пальцем через плечо:

— Этого Ваньку — к Знаку отличия ордена Святого Георгия. Свое дело знает. Оформить, как положено, да побыстрее, пока генерал от победы не остыл.

Не поверите, а только не воспринял я, что ли, того, что услышал. Все понял, а восторга не зародилось во мне при этом известии. Да что восторга — ничего тогда не зарождалось в душе, все в усталости утонуло. Такой густой и бессветной, что ничегошеньки я, кроме нее, не чувствовал и чувствовать был не способен.

Потом кое-как на дрожащих ногах к реке спустился. Долго пил, будто верблюд. Умылся, сапоги да ремни от крови кое-как отмыл и поплелся к

солдатам. Нового Сидорку искать, с кем похлебку в одном котелке варить, с кем хлебать ее, с кем спать рядом: одна шинель — под низ, вторая — поверх.

А чувств по-прежнему не было. Никаких. Ни радости за всех, ни отвращения к себе. Ни восторга победы, ни равнодушия к славе. Ни ужаса пред бездной, ни жалости к своим, ни ненависти к чеченцам. Ничего не было. Нуль, пустота. Выворот нутра наизнанку, как после рвоты.

Нового моего знакомца звали Сурмилом. Может, имя такое, может, прозвище — мне тогда все равно было. А сыскалась замена канувшему в бездну рабу Божьему Сидору быстро и как-то сама собой. Сурмил сам меня нашел.

— Александр Ильич, хлебушек с тобой ломать желаю, чтоб и солдатскую соль — пополам. Сидорка-то убился, спаси, Господи, душу его многогрешную.

Я просил роту Ильичом меня звать. Знали ведь, что я — офицер разжалованный, но просьбе моей не вняли. Так и остался я солдатом не только с именем, но и с отчеством. Хотя солдат всегда солдат, а война — всегда война…

…Вот написал, и перо дрогнуло. Не со-

гласилась душа с рукою, как несогласна она была эту кампанию войною называть. Особенно после Отечественной. Нет, нет, карательной та кампания оказалась, я в этом собственными своими глазами убедился. Жестоко карательной с нашей стороны, а для горцев… Для горцев она была Отечественной, давайте честно в этом себе признаемся. Великой Отечественной войной Кавказа против Российской империи. Горько, но — правда. Отсюда и немыслимая их отвага, и небывалая гордость, и презрение к нам со всеми нашими пушками, лихими казаками и пехотной обреченностью. Доказательства? Сколько угодно, господа, сколько угодно… При захвате немирных аулов мы вырезали всех мужчин, считая таковых с тринадцатилетнего возраста. Дотла сжигали аулы, угоняли скот, вытаптывали жалкие их посевы, а женщин и детей продавали в рабство. И это — в христианской стране, в просвещенном девятнадцатом столетии! К примеру, генерал Вельяминов продал ногайцам в рабство две тысячи женщин и детей по

цене от 150 до 250 рублей за голову. Тогда же было введено денежное поощрение: червонец за каждого убитого горца при предъявлении его головы или хотя бы правого уха, если голову затруднительно было доставить. Это решение высокого начальства, позорящее честь русского воина, породило массу охотников за головами.

Добровольных головорезов как среди казаков, так и среди офицеров, как это ни прискорбно. И коли уж до конца признаваться, то совестно мне было глядеть в горестные глаза чеченок.

И через это тоже надо было пройти, не уронив чести и не опоганив души своей. Невольно сопоставляется, что «во глубине сибирских руд» было куда легче сохранить и собственную честь, и собственное достоинство. О, Россия, Россия, как же наловчилась ты унижать собственных воинов своих…

Едва нашел я нового товарища, как примчался денщик поручика Моллера:

— Ротный требует, Александр Ильич. А мне за

новой формой для тебя сходить велено.

— Какая еще новая форма?

— К поручику доставлю — поглядишь.

Признаться, мне нравился поручик Моллер. Он был деловито отважен и завидно при этом хладнокровен, прост в общении и строг к дисциплине, а с офицерами всегда сохранял спокойное приветливое достоинство, удерживая на дистанции любителей нашего национального панибратства.

— Рядовой первой роты…

— Садитесь, Олексин, — устало прервал поручик. — Садитесь, пейте вино. Вино доброе, его в России во всех трактирах за французское выдают.

Вина мне хотелось: уголек в душе залить. Но спросил. Скорее для уточнения, поскольку до сей поры мы столь запросто с Моллером еще не встречались.

— А вы компанию солдату не составите?

— Так кружка-то одна у меня, — проворчал ротный. — Своей не прихватили? Ну, значит, по очереди пить придется. Пейте пока свою долю, у меня бок дьявольски ноет. Чеченец перед смертью кинжалом достал.

Я выпил залпом, но жажды не утолил. Хотя

проглотил наконец-таки ком в горле, вином смоченный, да так и не размякший. Наполнил кружку для поручика.

— Наш батальон отводят на отдых и ремонт, — продолжал Моллер, выпив свою порцию. — А всем офицерам, бывшим в деле, дан отпуск для забвения душ и восстановления тел. Если вам не очень оскорбительно числиться моим денщиком, я впишу вас в свою подорожную. И укатим мы с вами отсюда подальше. Кстати, с весьма и весьма любопытным человеком познакомитесь. Согласны, Олексин? Прощения прошу, если чем обидел ненароком, но нет другой возможности вас хоть на время в приличное общество вытащить.

— Искренне благодарен вам, поручик.

— Ну, так пейте прямо из бутылки. Это позволит нам чокнуться по поводу личного знакомства.

Мы чокнулись, выпили каждый из своей посудины, и мне как-то полегче стало. Меньше ссадину в душе ощущал.

— У вас есть статский костюм?

— В обозе. Если не украли.

— Пошлем за ним. Но до Пятигорска ехать вам придется в солдатской форме: условия игры, ничего не поделаешь. Наливайте, наливайте. Напьемся и спать завалимся, ваш костюм денщик

доставит. Да, реляцию на «Георгия» я майору Афанасьеву уже подал. Даст бог, пройдет без осечек.

— Благодарю, поручик.

— Ох!.. — Моллер скривился, схватившись за бок. — Кажется, поездка отменяется. Опять кровь из раны пошла. А жаль, искренне жаль. Из ада нашего вырваться да вас вырвать…

— Снимите мундир.

— Зачем?

— Рану хочу поглядеть.

— Из любопытства, что ли?

— Да. Снимайте, снимайте.

Моллер скинул мундир. Нижняя рубаха была в крови. Я разодрал ее, обнажив глубокий кровоточащий порез вдоль правого ребра.

— Ложитесь на левый бок. Много вы сегодня натерпелись, но придется еще одну боль вытерпеть, хотя и немалую. Иначе весь отпуск и впрямь насмарку пойдет.

Пока он, кряхтя, укладывался, я снял с ремня лядунку, посыпал из пороховницы его рану и запалил трут.

— Будет очень больно. Зато и кровь уймется, и зараза не прицепится.

— Давайте, Олексин.

Я поджег порох. Поручик вскрикнул, задергал-

ся, заскрипел зубами:

— Черт вас возьми с вашими способами…

— Не мои это способы. — Я налил вина. — Выпейте, поручик. Средство я применил зверское, но действенное, поверьте. Теперь у вас — просто ожог, а не кровоточащая рана.

— Ох!..

Лицо Моллера покрылось крупными каплями пота. Он жадно выпил кружку до дна, тут же потребовал вторую, осушил ее и только тогда обрел силы полюбопытствовать:

— Солдаты научили?

— Солдаты много чего знают и умеют, но научил меня этому прижиганию старый моздокский врач Матвей Матвеевич. И спасибо ему, иначе в солдатчине не выживешь. Выпейте еще и постарайтесь уснуть. День поболит — и о ране позабудете.

— Сейчас мой денщик вам форму принесет, — ротный говорил с трудом, сквозь зубы. — Надо его с запиской в обоз послать. За вашим цивильным нарядом. Возьмите бумагу, я продиктую официальный запрос, пока силы есть.

Поручик продиктовал, выпил еще кружку вина и уснул еще до того, как денщик вернулся с новой солдатской формой для меня. Он нисколько

не удивился, когда я тут же направил его в обоз за своими вещами. Все солдаты в нашем полку знали, что я — разжалованный офицер, и все воспринимали это как явление того же несерьезного порядка, что и барский каприз.

Денщик ушел, а я завалился на ковер рядом с постанывающим во сне поручиком, но мне не спалось. Несмотря на ночной марш, рассветное карабканье над пропастью, тупую боль в затылке и ломоту во всем теле. Пережитой ужас, небывалое перенапряжение и тяжкая надорванность души изгнали сон мой. Тело требовало его, но душа отвергала, и я маялся между физическим изнеможением и духовной истеричностью своей настолько, что даже не ощущал и краешка радости, что вскоре, даст бог, украшу свой мундир знаком самого весомого ордена Российской империи — ордена Святого Георгия.

Вместо радости мне почему-то грустное виделось. Прощание с молочным братом Савкой. Верным Клитом моим…

— Сохрани тебя бог, Александр Ильич, сохрани тебя бог. — Савка плакал в голос, громко всхлипывая. — О поместьях своих не думай, не береди душу свою: я теперь за них в ответе полном. Ведь дразнил же я тебя, когда говорил, что извозным

промыслом займусь, злил со зла собственного, уж прости ты меня, ради Христа. Рукой твоею там остаюся, Господом Богом тебе клянусь…

Уехал наконец на почтовую станцию в тарантасе своем. А я стоял у трактира, пока пыль за ним не осела. И очень жалел, что зареветь не могу…

А потом пошел в Воинскую управу и отдал все бумаги, получив взамен солдатскую казарму.

И клетка захлопнулась.

Четвертый марш

До Пятигорска мы добрались, пристроившись к испуганно-напряженному ревизору-полковнику, неторопливо, с оглядкой поспешавшему из Петербурга в Тифлис. Я, естественно, поспешал в обозном арьергарде, но это обстоятельство куда больше смущало моего милого командира, нежели меня самого, поскольку поручик ехал в офицерском окружении полковника. Силы наши были значительны, и разрозненные отряды разбитых в Чечне горцев не решались нас тревожить. Миновав опасные места, мы расстались с конвоем полковника и остановились на ночевку в перегоне от Пятигорска.

— Надевайте ваш цивильный костюм, Олексин, — сказал поручик. — Мои приятели, местные

офицеры, жаждут отужинать с участниками штурма Ахульго.

— Мне выдать себя за скупщика краденых ковров?

— Оставьте вы, право, у меня и так бок ноет от вашего первобытного лечения, — поморщился Моллер. — Весь положенный нам отпуск вы в прихожей все равно не отсидитесь. О вас уже знают и, поверьте, не удивляются: на Кавказе разжалованных хватает.

— Простите фанфаронство мое. Так сказать, рецидивы детской болезни. Много ли будет местных офицеров?

— Двое. Я разборчив в знакомствах.

— Как мне отнестись к вашим словам?

— О Господи, — вздохнул поручик. — За вами тянется пренеприятнейший шлейф светских гостиных, но на Кавказе он быстро рассеивается.

— Еще раз прощения прошу. Видимо, мой шлейф еще недостаточно рассеян.

Поручик вздохнул:

— Я понимаю вас, Олексин. Вы превратились из бабочки в гусеницу, а это ох как и непросто, и неприятно. Но приглашают нас не ради приятельской попойки, а ради свидания с человеком неожиданным. Мне твердо обещали, что он

непременно появится, и я, признаться, жду этого с нетерпением.

— Он в большом чине?

— Он такой же разжалованный, как и вы. — Моллер неожиданно оживился. — Можете представить себе пожилого декабриста? И никто не может, а он — есть, хотя на Сенатской площади не выступал, поскольку в начале того же года был арестован. Потом судим, разжалован и сослан на Кавказ. Любопытно? Мне тоже, а потому — переодевайтесь к дружескому застолью.

Костюм был изрядно помят, но Моллер не позволил мне его погладить, сказав, что дам не ожидается, а время не ждет. Отсутствие дам, прямо скажем, произвело на меня большее впечатление, нежели отсутствие времени. Я напялил цивильную оболочку, мы пересекли очень грязную улицу и сразу же, без передней, попали в небольшую горницу, где нас ожидали два молодых офицера. Нездорово румяный подпоручик и худой носатый прапорщик. Мздолевский и Шустрин, соответственно встретившие нас без малейшей аффектации, что, признаться, было для меня весьма приятно.

— К столу, господа.

И никто ни о чем не расспрашивал. Ни о тяготах

солдатской службы, ни о штурме аула Ахульго. Предложили вина и ужин, завели разговор о литературе, упоминая какого-то разжалованного в солдаты Полежаева, о котором я слышал впервые.

— Говорят, он разжалован за поэму «Сашка».

— Вполне возможно, но я здесь ни при чем, господа. Хотя и кличут Сашкой.

Признаться, самолюбие мое все же чуточку оказалось уязвленным: я ведь все-таки по карнизу над пропастью прошел, редут штурмовал, к «Георгию» представлен. Но это — так, мельком. Я своевременно опомнился и умерил свои тщеславные судороги. Поболтали еще немного, и наконец послышался шум у двери.

— Игнатий Дормидонтович Затуралов, — сказал Шустрин и тут же бросился встречать нового гостя.

И вошел старик лет за сорок. Старик потому, что был сед как лунь, имел огромный, морщинами изборожденный лоб и пронзительный, пророческий, как мне показалось, взгляд. И ношеная солдатская форма смотрелась на нем как порфира.

…Я позабыл все светские отступления, но не каюсь в этом. Все затмилось его парадоксальными

размышлениями, кои и постараюсь передать в меру того, насколько понял и усвоил их.

— Вы спрашиваете, что движет людьми образованными на общественном поприще, молодой человек? Полагаю, что в первую очередь — несогласие, ощущаемое как тщеславная потребность равенства.

— Разве равенство не самоценно само по себе? — спросил Мздолевский.

— Равенства вообще нет и быть не может, если не понимать под ним равное право на кусок хлеба и справедливый суд. Все остальное есть всего лишь отзвуки основных христианских постулатов, вложенные в наши представления с детства. Вспомните, именно равенство было основным лозунгом первых христиан, причем лозунгом, рассчитанным на рабскую психологию, лозунгом рабов. Всеобщее равенство и осталось лозунгом черни во Французской революции и обречено оставаться лозунгами всех последующих революций для толпы, потому что само по себе понятие равенства не содержит никакого позитивного смысла. И следовательно, претендовать на самоценность никак не может.

— Но революция, Игнатий Дормидонтович? — спросил Моллер. — Что же тогда есть революция,

если из нее вычесть лозунги свободы, равенства и братства?

— Революция — всего лишь победивший мятеж, восстание, бунт, если угодно.

— Бунт — это что-то морское, — неуверенно улыбнулся румяный Мздолевский.

— Прекрасное уточнение, возьмем его для наглядности. Корабль в море для простоты уподобим государству, где капитан — император, господа офицеры — правящая каста, а матросы — рабочая сила, питающая этот корабль за счет собственного недоедания. Неравенство — вопиющее, но оно же и движет этим кораблем. Убрать его все равно что спустить все паруса разом.

— Простите, Игнатий Дормидонтович, не усматриваю аналогии при последнем вашем сравнении.

Я, признаться, помалкивал. Не потому, что ощущал себя рядовым — это чувство пропало сразу же, как только я напялил на себя статский костюм. А потому, что смутно улавливал мысль, но упорно не терял надежды ее в конце концов понять.

— Аналогия — в разнице культуры палубы и культуры трюма, поручик. А культура вмещает в себя все, что обеспечивает человечеству суще-

ствование в природе. Субъективно — потребность в питании, безопасном сне, тепле, удобствах. Объективно — необходимость в законах, понятиях морали и нравственности, жажде любви и семьи, ее защите и опоре. И, наконец, абсолютно — в общей религии, общем — в национальных истоках, разумеется, — искусстве, языке, истории, традициях, философии. Все это, совместно взятое, — то есть культура палубы и культура трюма — несовместимо друг с другом, как несовместимы сами уровни палубы и трюма. До поры до времени это противоречие, эта несовместимость сдерживается послушанием, привычкой, равнодушием, психологической инерцией, столь свойственной человечеству вообще. Но разные культуры тесно соприкасаются, трутся друг о друга, цепляются, дышат друг на друга и…

— Переход количества в качество? — неуверенно попытался угадать Моллер.

— Величайшее заблуждение, — вздохнул Затуралов. — Близко лежит, потому и хватаемся. Нет, тут действовать начинает другой закон диалектики: закон отрицания отрицания. Помните, в Евангелии от Иоанна сказано: «Если зерно, павшее на землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плодов…» То есть закон

утверждает, что развитие как в природе, так и в особенности в человеческом обществе невозможно без гибели прежних форм. Конечно, трюмная массовая культура не знает законов диалектики, но законы ее объективны, они действуют вне зависимости от наших знаний. Действуют в обществе, и трюм рано или поздно начинает ощущать жажду отрицания более высокой, более развитой, а потому и более избирательной палубной культуры, чувствуя в ней некую силу, тормозящую его развитие. И, осознав эту жажду как непреодолимый позыв к действию, носители трюмной культуры ополчаются против обитателей палубы под ясным и понятным им лозунгом равенства. Вспыхивает бунт, меняются флаги, капитанам отрубают головы, офицеров выбрасывают за борт, а обитатели трюма с восторженным ликованием занимают места на палубе. Удачный бунт есть революция в миниатюре, господа.

— Ну и слава богу, — сказал молчавший доселе прапорщик. — Если нет победы равенства, то есть, по крайней мере, торжество справедливости.

— Беда в том, что трюмные не знают навигации, — невесело усмехнулся Игнатий Дормидонтович. — А посему корабль обречен сбиться с

курса, угодить в жестокий шторм, а то и вообще кануть в пучину морскую.

— И что же, эти трюмные не способны обучаться управлять захваченными кораблями?

— Отчего же, вполне способны, только обучение предусматривает непременное освоение хотя бы азбучных основ более высокой культуры. А столкновение культур, послужившее поводом к бунту, признает лишь одно: полное господство победителя, что означает торжество его представлений. И полетят за борт не только господа офицеры, но и непонятные трюмным книги и ноты, картины и статуи, виолончели, рояли, арфы и скрипки, расчищая место для новых представлений и вкусов. Низшая культура всегда чрезвычайно беспощадна к высшей просто потому, что не в состоянии ее постичь. Непонятное всегда чуждо, а следовательно, и враждебно. Вспомните гибель Древнего Рима, господа, и воспоследовавший за ним почти тысячелетний мрак Средневековья.

— Это отрицание понятно, — согласился Моллер. — Но откуда же возьмутся последующие отрицания?

— Победители приносят их с собою, не понимая, что несут. Высшая культура, включающая в себя не только высокое искусство, но и более вы-

сокий, а значит, и более привлекательный образ жизни, становится — сначала, естественно, чисто формально — как бы собственностью новых обитателей капитанского мостика. Она весьма соблазнительна, почему новые правители и приспосабливают ее под себя в усеченном и упрощенном виде. И как бы ни старались тщательно делить кусок хлеба и рубище, культура останется неделимой благодаря своей целостной законченности. Плесневелый сухарь, съеденный на палубе, вовсе не равен такому же сухарю, съеденному на капитанском мостике, и никогда равным не будет, вызывая зависть и обиду. А зависть и обида — первые весточки грядущего отрицания. Все начинается со споров и недовольства, но в конце концов на каждого Марата находится своя Шарлотта Корде, а доктор Гильотен всегда готов услужить побеждающей стороне. Закон отрицания неумолимо начинает действовать в обществе победившей низкой культуры, с холодной последовательностью перемалывая героев восторжествовавшего бунта. И все возвращается на круги своя.

— А если попытаться перейти с бунтующего корабля на твердую часть суши?

Не помню, кто это спросил. Не помню потому,

что Затуралов говорил о том же, о чем Пушкин в «Андрее Шенье», которого я знал наизусть…

— Именуемую Россией? Что же, в ней целых два «если бы». Одно — полувековой давности, второе — для нас, так сказать, — как бы вчерашнее. Допустим, что Пугачев въехал в Первопрестольную нашу не в железной клетке, а верхом на белом коне. Короновался бы на царство под именем Петра Третьего, назначил бы своих неграмотных есаулов министрами, губернаторами и генералами и тем исполнил бы закон отрицания отрицания, не подозревая об этом. Пример уничтожения вождей Французской революции настолько нагляден, что не извлечь из него уроков может только тот, кто наивно полагает, будто общество может развиваться неким особым путем, на котором якобы не действуют законы диалектики. Но такого «особого пути» нет и быть не может ни для каких народов и государств…

Словно что-то сверкнуло пред моими глазами, что-то чуть высветило одну загадку, долго терзавшую меня. И я спросил:

— И поэтому вожди декабристов так сузили круг посвященных?

— Совершенно верно, молодой человек, именно поэтому, — строго сказал Игнатий Дормидонто-

вич. — Нет ничего опаснее для нации, нежели забвение вершин собственной культуры. Такой народ неминуемо повторит судьбу древних египтян, греков, персов, римлян и многих, многих иных народов, канувших в Лету мировой цивилизации…

(Приписка на полях:*…Я гордился своей прозорливостью, но понимал ли я все, о чем не без нервного сумбура говорил почтенный и — от себя добавлю — навсегда потрясенный Игнатий Дормидонтович Затуралов? Я уж не поминаю о других собеседниках: они — кроме, кажется, Моллера — вообще ничего не поняли, поскольку Гегеля и в руках не держали. Но мой ротный был натуральным старательным немцем, а немец немца чутьем воспринимает. А коли не совсем воспринимает, то чутьем же и догадывается, что тот имел в виду: у всех немцев неодолимая тяга не только к порядку в собственном доме, но и во всей Вселенной с материнским молоком впитывается. Ну а я? Тогда скорее почувствовал, потом — старался уверовать, но понять… Нет,*

даже не пытался. Мне важнее было подтвердить самому себе причину гордой кастовой замкнутости заговорщиков: они больше собственной гибели страшились нарушения внутренних законов развития общества при смелом посягательстве на законы внешние. Прекрасно зная неумолимость основополагающих постулатов диалектики, они боялись русского бунта. Бессмысленного и беспощадного бунта трюмной культуры…)

Осознание пришло потом. Потом, уже значительно позже, когда я перечитал Гегеля, держа в уме практический разговор в применении к России, не причесанной европейским куафером…

Потом мы пили вино и толковали о Кавказской войне как форме столкновения двух далеких друг от друга культур. А после определенного количества бокалов беседа, как водится, перешла на взаимоотношения двух других сверхкультур — мужчины и женщины. И здесь гарнизонные приятели моего ротного чувствовали себя явно в своей тарелке. И закончилось все тем, что Моллер вместе с подпоручиком и прапорщиком пошли провожать седого декабриста. А мне ротный ска-

зал, чтобы я ложился спать, утром действовал по собственному разумению, но вечером непременно прибыл бы в гостеприимный дом генеральши Феоктистовой, где он будет меня с нетерпением ждать.

— Понимаете, Олексин, стоит мне промыть глаза вином, как я сразу же начинаю видеть только прелести моей модисточки, — несколько смущаясь, пояснил он. — Субъективно, объективно и абсолютно. Потому что она и есть очаровательная объективная реальность, а прочее — все гиль.

И все ушли, а я завалился спать.

Спал я мало, но зато без разногласий тела и души. Проснулся бодрым, нашел хозяев, велел, чтобы все прибрали, и пошел в город пешком.

Господи, как же я мечтал о такой прогулке! Сбросить солдатский мундир, облечь себя в модное — по крайней мере для Кавказа — платье и фланировать по улицам, помахивая тростью. Да существовала ли тогда для меня иная форма высшего ощущения своего «я», несмотря на все казематы и марши по тропам над пропастью!..

Вероятно, я странно выглядел. Франт, блуждающий в одиночестве по не очень ранним, но все же утренне-пустынным улицам незнакомого города. Да, шумел базар, открывались лавки, сновали

люди, но, как разъяснил мне почтенный Игнатий Дормидонтович, вторая культура России просыпалась существенно раньше первой, и я ощущал себя в полном одиночестве. Как Робинзон Крузо.

…Кстати, почему именно о Робинзоне я вспомнил в то пятигорское утро? Не потому ли, что Дефо ясно обозначил в бессмертном творении своем мирное сосуществование не понимающих друг друга культур, их путь к пониманию и последующее слияние?..

Эта мысль показалась мне занятной, и я настолько углубился в нее, что очнулся лишь от удивленного возгласа:

— Сразу Господь на месте, если это не Олексин! Камо грядеши, патриций?

Дорохов. Сам Руфин Иванович Дорохов из остановившейся передо мною коляски — навстречу…

Обнялись, расцеловались, долго друг друга из объятий выпустить не могли.

— Да что же это творится в мире, патриций? Болтали, будто сгноили вас в темницах мрачных и сырых? Как же объяснить сию встречу, если не чудом?

— Чудом, дорогой Руфин Иванович, истинным чудом! Хоть и в солдатском мундире обретается

ныне чудо спасения моего.

— Помилуйте, на вас вполне еще модное платье.

— Пред вами — рядовой стрелок Апшеронского полка. Пардон, вы куда-то спешите?

Расхохотался Дорохов:

— Спать! Я — от стола, с известной вам работы, и никуда не спешу. А вы?

— Ну, я-то — тем более.

— Поехали!..

И — поехали. На какую-то роскошную квартиру с шампанским, одалисками, нукерами, цветами и музыкой. Боже мой, как я был счастлив этой встрече!

Говорили и пили, пили и снова говорили. Нет, нет, ничего я не сказал Дорохову об истинной причине своих злоключений: он полагал, что я пострадал в связи с причастностью к декабристам, и я не стал его разуверять. Это объясняло все мои казематы и даже личное свидание с самим Бенкендорфом.

— Однако разболтался я, Руфин Иванович. Вам отдохнуть необходимо.

— Не стану отрицать, патриций, у меня — страда. Только за зеленым сукном вы мне не нужны, а расставаться не хочу. Сделаем так. Я одолжу вам

своего человека…

— Я — солдат, Дорохов.

— Спина и у солдата есть. А кроме того, нам ниточка нужна, и мой Ванюшка станет этой ниточкой.

И я ушел с его Ванюшкой, очень непосредственным и живым пареньком с глазами, скорее, лукавыми, нежели хитрыми. Он неторопливо и обстоятельно познакомил меня с городом, оказавшись вполне толковым чичероне, а затем проводил в дом, где мы с поручиком Моллером условились встретиться…

Этот день оказался воистину днем неожиданных встреч. И первым, с кем я столкнулся в том доме, был мой человекообразный командир батальона. Майор Афанасьев.

— Какая неожиданность, Олексин, — сказал он, ухмыляясь. — Удивлены?

Я молча пожал плечами, хотя все во мне как бы оборвалось. Все праздничные фейерверки разом.

— А я, признаться, был весьма неприятно удивлен, обнаружив вашу фамилию в списке на «Георгия», — продолжал он. — Разумеется, я немедля ее похерил, но с помарками наградные списки сдавать не положено, вот я и бросился Моллера искать. А тут — вы, к нечаянной радости

моей.

— Не боитесь в следующем бою нечаянную пулю получить?

…Зря я это сказал, фанфаронство дурацкое вылезло. Поверите, до сей поры совестливое неуютство испытываю…

— Так вы, Олексин, ни в каких боях более участвовать не будете, чего же мне бояться? — Майор прямо-таки изнутри светился от прилива какого-то особенно злого восторга. — Я уж постараюсь и себя сберечь, и вас упечь. В тылы, чтобы ни в какие победные реляции вы никогда впредь и не попадали. Будете двадцать лет скот пасти вместе с трусами, ворами и дезертирами.

Это была не угроза сгоряча — это был продуманный план, как вынудить меня отслужить весь солдатский срок без всяких скидок. Подобная гуртовая служба засчитывалась день за день, в ней не предусматривался ни отпуск, ни отдых. Не говоря уже о льготах за боевые ранения, личную отвагу, за участие в сражениях, в поисках и захвате пленных. Тыловые скотопасы были армейскими париями, получая из солдатского довольствия лишь гнилую муку да кое-как застиранное обмундирование третьего срока годности…

И мне вдруг стало так страшно, как никогда доселе. Настолько, что я залепетал совсем уж позорно:

— Вы не сделаете этого, майор. Нет, нет, не сделаете. Это… это невозможно!..

Афанасьев торжествующе расхохотался:

— Где же ваша бретёрская заносчивость, Олексин? Где дуэлянтское бесстрашие и картёжный кураж? Я ведь ничего не позабыл и забывать не намерен. И с наслаждением через год приеду поглядеть, как вы там в навозе копаетесь. Да вы сапоги мои прилюдно лизать будете, лишь бы я дозволил вам хотя бы в баню сходить!

Вот это преждевременное торжество его меня тогда и образумило. Не вызови он дикого гнева во мне, неизвестно еще, как бы судьба моя обернулась. Вполне вероятно, что именно так, как о ней он и размечтался…

Я размахнулся и отпустил Афанасьеву очередную пощечину. Вторую за истекшее полугодие. Ударил собственного командира батальона, за что мне, рядовому стрелку, полагался военно-полевой суд во всей его военно-полевой суровости. Правда, дворянину, даже разжалованному в солдаты, шпицрутены не грозили, но бессрочная каторга, если не расстрел с учетом военного поло-

жения, в арсенале суда вполне могли оказаться.

Но человекоподобный майор и в этот раз поступил точно так же, как и в предыдущий. Дернулся, схватился волосатой дланью своей за щеку и… И улыбнулся:

— На скандал рассчитываешь? Не будет скандала. Пострашнее тебе будет, чем любой суд, Олексин!..

И ушел в гостиную, пред входом в которую и состоялось наше нежданное рандеву. На миг оттуда веселый шум донесся, женский смех, оживленные голоса. И все опять смолкло, когда майор дверь за собою закрыл.

А я, поверите ли, вроде как бы в себя вернулся, что ли. Вроде как успокоился даже. И тут только заметил, что приданный мне Ванюшка замер в углу.

— Все видел?

Он почему-то только кивнул тогда.

— Расскажешь барину. Обожди, записку отнесешь.

Я отыскал в карманах листок бумаги и написал:

«Я ПОГИБ, ДОРОХОВ, ЕСЛИ НЕ СЫЩЕШЬ СПОСОБА ИЗБАВИТЬ МЕНЯ ОТ МАЙОРА АФАНАСЬЕВА».

Написал было еще слово «УМОЛЯЮ», но зачеркнул его и отдал листочек Ванюшке. Он сразу же умчался, а я почему-то с особой старательностью оправил свой статский костюм и, вздохнув, решительно шагнул в гостиную.

— А вот и мой припозднившийся друг! — радостно воскликнул Моллер. — Позвольте, дамы и господа, рекомендовать…

— Рекомендовать буду я, — перебил Афанасьев. — И — с полной откровенностью. Так вот, как командир батальона, я НЕ рекомендую вам, дамы и господа, сего мелкого фрондера, бахвала и картёжника-перехвата. Впрочем, разбирайтесь с ним сами, поскольку у нас с поручиком Моллером есть небольшое служебное дело. Может быть, нас проводят в другую комнату?

— Пожалуйте сюда, господа офицеры, — сказала хорошенькая брюнеточка.

Мои командиры куда-то вышли, а все оставшиеся молча смотрели на меня. И среди этих оставшихся не было ни одного хоть сколько-нибудь знакомого мне лица: майор безошибочно просчитал момент моего первого появления в совершенно стороннем для меня обществе, уведя с собою Моллера. И все сейчас настороженно смотрели на неизвестного им статского госпо-

дина, весьма красноречиво представленного волосатым моим командиром батальона.

— Полагаю, что этот странный майор столь же странно и шутит? — спросила некая миловидная белокурая особа, неуверенно при этом улыбнувшись.

— Вы совершенно правы, мадам, — сказал я. — При столь крупной игре, которая идет на Кавказе, кого удивишь картами? Здесь, куда ни глянь, казаки — с пиками, оркестры — с бубнами, кладбища — с крестами да раны с червями. А если при этом учесть, что милые дамы хлестко бьют незадачливых королей удачливыми валетами…

Слова мои утонули в хохоте, чему я был весьма рад, поскольку никак не мог самостоятельно выпутаться из собственной болтовни. Особенно оживленно смеялись дамы, а полненькая брюнеточка — хозяйка дома, как потом выяснилось, — кокетливо погрозила мне пальчиком:

— Вы опасно дерзки, милостивый государь!

Ничто так не разряжает обстановку, как вовремя прозвучавшая грубоватая шутка. Все сразу же ощущают себя умнее ее содержания, переполняются собственной самоуверенностью, и затянувшаяся страница угасших было бесед переворачивается чистой стороной. Несколько

заскучавшее общество, уже готовое разбиться на изолированные осколки, сплачивается вновь, вдруг обретя новые центростремительные силы. Я со всей возможной оживленностью рассказывал петербургские анекдоты полуторагодичной давности, милые дамы и офицеры помоложе с интересом слушали меня, и все вернулось в свою колею. И не вылезло из нее, когда в гостиную возвратились мои непосредственные командиры: ротный и батальонный, причем последний был явно обескуражен тем обстоятельством, что я стал центром весьма улыбчивого внимания. При этом я заметил, что оба моих командира выглядят одинаково напряженно: мне показалось, что они откровенно объяснились друг с другом, но общего языка так и не нашли. Майор сразу же прошел к мужчинам постарше, где и принялся за кизлярское, а поручик при первой же возможности отозвал меня в сторону:

— Скверное дело, Олексин. Он не желает ни оставлять вас в полку, ни тем более уходить из него сам. Надо что-то немедленно предпринимать.

Я не успел ответить, как пригласили в столовую. Полагаю, что к счастью, потому что сказать поручику мне было решительно нечего.

После обеда, когда вино в гостиной, как водится, уже лилось рекой, неожиданно вошел Руфин Иванович Дорохов. Дамы и большинство офицерской молодежи встретили его почти восторженно, пожилые — куда более сдержанно, но не это меня удивило. Меня удивило… Нет, меня неприятно поразило, что Дорохов упорно и весьма подчеркнуто меня не замечал.

И — глупо, разумеется, — я страшно разобиделся. Я вдруг решил, что этим подчеркнутым невниманием к моей особе он дает мне понять, что исполнять изложенную в записке отчаянную просьбу мою не намерен. И явился для того лишь, чтобы продемонстрировать мне свой категорический отказ. И я тут же решил уйти, и ушел бы, если бы милая хозяйка не сказала, понизив голос:

— А наша очаровательная Элен так надеялась, что вы проводите ее. У нас в Пятигорске не принято, чтобы дамы ходили в одиночестве, а ее супруг — такая незадача! — отбыл в Тифлис по служебным надобностям.

Я проводил уже, признаться, отмеченную мною прелестную блондиночку, выразил горячее желание выпить с нею чашечку шоколада, обождал в саду, пока она отпустит на покой прислугу («…у нас обожают всяческие сплетни!..») и… И напрочь

позабыл о человекообразном майоре, а заодно и о всех своих страхах…

Но — вот странное свойство натуры человеческой! — при этом отлично помнил, как обидел меня Дорохов своим дерзким невниманием. И прямо из страстных объятий помчался к нему за разъяснениями, не отряхнув, так сказать, поцелуев с лица.

Руфин Иванович недавно вернулся «со страды» и еще почивал. Но я поднял крик, и его разбудили.

— Вы бестолково настойчивы, патриций, — недовольно сказал он зевая. — Майор Афанасьев проигрался вдрызг и в счет проигрыша обязался немедля подать рапорт о переводе из Апшеронского полка. Так что спите спокойно и, бога ради, дайте выспаться мне…

Пятый марш

Майора Афанасьева я более так и не увидел. Правда, заодно я не увидел и Знака ордена Святого Георгия: горилла все-таки вычеркнула из списка мою фамилию. Однако перспектива угодить в скотские тылы была куда страшнее, и я быстро утешился в объятьях обворожительной блондиночки.

У поручика Моллера кончился краткий официальный отпуск, и мы отбыли в свой полк, разбросанный для отдыха и пополнения по крепостям и станицам вокруг Кизляра. Нашей роте досталась самая удаленная от города местность — крепость Внезапная, выстроенная недавно на пепелище древнего чеченского аула.

Аборигенов здесь уж почти что и не встречалось. Заселив эти земли в незапамятные времена, они были частью перебиты, частью оттеснены в непригодные для земледелия горы, а на их нивы и пастбища уже переселялись казаки. Служба казалась пустячной после дела под аулом Ахульго, если, конечно, не сравнивать ее с размеренными и привычными обязанностями солдат в собственно России. Порою нас поднимали по тревоге, мы куда-то бежали, занимали позиции, стреляли по гарцующим вдали джигитам, которые упрямо прятались в горах, не желая ни замиряться, ни отходить в Дагестан.

— Нет, не уйдут они сами отсюдова, Александр Ильич, — рассуждал Сурмил, готовя на костре варево на двоих. — Знаешь почему? Потому что землица эта — ихняя. Какая ни есть, а — родимая. Ну и кто же добровольно родимую землицу свою отдаст?

— Ты бы не отдал?

— Не было у меня никогда ничего своего, окромя драного зипуна. Но так скажу, что и зипун без драки не отдам.

Он окончательно оттеснил меня от костра и котелка, сурово обвинив в том, что я только перевожу добро. На мне осталась заготовка дровишек да мытье нашей общей посуды, и нас обоих это вполне устраивало.

— Еще до тебя наша рота как-то чеченца в плен взяла. Немолодой уж, по-нашему понимает и говорить может. Да-а…

Это неожиданное «да-а…» означало, что Сурмил по какой-то причине раздумал продолжать рассказ. Мужиком он оказался сообразительным, хотя безулыбчивым и хмурым, в солдатских вечерних беседах за словом в карман не лез, но со мною — осторожничал. Сидорка был куда попроще, зато Сурмил размышлял и умел сравнивать, чем и выделялся из основной солдатской массы.

— Ну и что же чеченец?

— Чеченец-то? — Сурмил помолчал. — Чеченец говорил, что у них, мол, крепостных нет и никогда не было. Не знаю, может, соврал.

Осторожничал мой товарищ. Тема эта очень солдат волновала, рассуждали о воле они часто,

но при мне особенно не распространялись. Я для них оставался барином и в солдатском мундире.

— Нет, не соврал, — сказал я.

— А кто же их князей да богачей кормит?

— Нанимают. Десятый сноп, двадцатый баран.

— А у нас так нельзя?

— У нас — держава, Сурмил. Государь, армия, чиновники. Тут казна нужна, без нее не обойдешься.

— А их благородие ротный командир поручик Моллер как-то сказал, что и у немцев, мол, крепостных тоже нет. А держава — есть. Это как же — тоже за двадцатого барана нанимают?

— За деньги. Европа деньгами расплачивается, а мы — по старинке, землицей. Матушка Екатерина Великая все завоеванные земли генералам раздала.

— Все раздала, и погнали солдат на Кавказ за новой землицей, — вздохнул Сурмил. — Кто, стало быть, баранами расплачивается, кто — денежкой, а кто и солдатской кровушкой. Для России это, конечное дело, куда дешевше… Ну, давай хлебать, Александр Ильич, пока горячее…

На том тогда этот разговор и закончился. Хлебали мы с моим напарником варево, и оба почему-то молчали. О чем думал Сурмил, не знаю, но меня

разговор этот почему-то зацепил, и я долго не мог уснуть в ту прохладную весеннюю ночь…

…Да, в Европе свободные земли кончились быстро, а вместе с ними кончились и пожалования за службу. Колумбы с Магелланами устремились за океан в поисках новых земель и новых рабов. Корабли, пушки, якоря, паруса да порох требовали денег, и они завертелись в Европе, отбросив крепостное право на самые глухие окраины. А мы открыли Сибирь, из которой хлебушка не привезешь, и ринулись отвоевывать жирные куски у соседей, чтобы было чем питать привычное крепостное свое существование. И прав Сурмил: солдатская кровь — самое дешевое из всего, чем располагает Россия и по сей день…

Только когда-нибудь это солдатам надоест. И вспыхнет бунт, бессмысленный и беспощадный, которого так боялись декабристы. И в пламени этого бунта сгорит дворянская культура, выпестованная тысячелетними страданиями всего народа. И Россия разделит судьбу всех древних

великих империй под грохот цимбал и торжествующие клики собственных варваров…

Моллер порою изыскивал способы выдернуть меня из строя, чтобы мог я дух перевести, вновь человеком себя почувствовать и сил новых набраться. Тогда я сбрасывал опостылевший мундир, блаженствовал в баньке, и мы усаживались длинными весенними вечерами за доброй бутылкой вина. Обычно он заранее предупреждал меня об этом, но однажды я был востребован им без предупреждения.

Поручик был не один. На веранде за накрытым столом сидел пожилой чеченец, угощавший виноградом шустрого черноглазого мальчика лет шести. Я вытянулся и отдал рапорт по всей форме.

— Здравствуйте, Олексин. — Моллер дружески пожал мне руку. — Позвольте представить вам, Амирбек, моего друга, о котором я вам рассказывал.

Чеченец поднялся, с уважением, двумя руками долго тряс мою руку. Затем мы с Моллером отправились в баню, где поручик мне все и объяснил.

— Амирбек — мирный чеченец, помогает нам,

как может, не предавая своих при этом. Однако многим умудрился насолить, после разгрома имама у Ахульго ему начали угрожать, а вскоре, в подтверждение нешуточности угроз, убили двух сыновей. Остался последний мальчонка, которого он и задумал перевезти в Кизляр. Уж как он до Внезапной добрался, не знаю, но я решил дать ему охрану до поста Сухой окоп. Не согласитесь прогуляться вместе с Сурмилом? Все интереснее, чем тут уныло прозябать.

Я согласился сразу же. Это и впрямь было определенной разрядкой в опостылевшей гарнизонной службе, да и — что уж греха-то таить! — засчитывалось в качестве боевой службы, ради чего, собственно, Моллер и остановил на мне свой выбор.

Выступили через сутки, ранним утром. Амирбек вместе с сыном ехали на скрипучей арбе, запряженной двумя ленивыми буйволами, а мы с Сурмилом сопровождали его пешком в полной амуниции и снаряженные ружьями.

Этому предшествовал дружеский ужин. Амирбек вполне сносно говорил по-русски, рассказывал о чеченских обычаях и своем понимании сложившегося в Чечне положения.

— Кавказ раздроблен на ханства и княжества,

а в каждом ущелье — свой народ, свой язык, свои обычаи, свое понимание, свои упрямые старейшины и свои застарелые обиды. Кровавые ссоры, грабежи, угон скота, умыкание девиц — вот в какой атмосфере вырастало каждое новое поколение, и кинжал всегда оказывался последней точкой в наших разногласиях. Мы либо слишком молоды, либо слишком древны для того, чтобы замечать, как изменилось время вокруг нас.

— Если и существовал когда-либо гордиев узел, то он — на Кавказе, — сказал Моллер. — Не знаю только, стоит ли его разрубать по примеру Александра Македонского.

— В молодости я воевал против вас. А потом понял, что сопротивление бесполезно. Не только потому, что вы, русские, упорны и своего добьетесь; все узлы развязывает только торговля. Мужчины гибнут, дети гибнут, женщины гибнут. Лучше договориться о мире, чем подстерегать друг друга за каждой скалой…

Относительно скалы он сказал тогда правду. Может, предчувствовал, может, характер собственных джигитов знал, а только так у нас и случилось.

На горной площадке остановились перекусить, а заодно и дать передохнуть буйволам. Отсюда

начинался спуск в узкую долину, за которой и располагался военный пост Сухой окоп, охраняемый дюжиной казаков. Самый опасный участок мы уже миновали, нам оставалось пройти совсем немного, передать Амирбека вместе с мальчонкой казакам и, переночевав у них, возвратиться к своим.

Итак, мы остановились на отдых, поскольку крутой спуск для подъяремных животных всегда тяжелее подъема. Пока Амирбек хлопотал с припасами, мальчик играл у арбы, а Сурмил разводил костер, я решил оглядеться, уже свыкнувшись с мыслью, что на этой войне своевременная оглядка жизнь бережет.

Крутая, каменистая и на редкость извилистая дорога уходила вниз, в долину, но вправо от нее я заметил заросшую сухобыльем малозаметную тропу, ведущую неизвестно куда. Она просматривалась только до невысокой обрывистой скалы, огибала ее и скрывалась с глаз. Это почему-то меня встревожило, и я пошел поглядеть, куда же ведет тропинка за утесом.

Шел я настороженно, с ружьем наперевес, часто останавливаясь и прислушиваясь. Однако ничего опасного не замечалось, тропка старательно огибала скалу почти по всему ее обводу и круто

уходила к долине. Я решил, что это всего-навсего более короткий путь для конника к тому же Сухому окопу, но вместо того, чтобы повернуть назад, к нашему походному стану, вздумал вдруг взобраться на утес. Лез и думал, черт, что ли, меня понес…

Но выяснилось, что не черт. Провидение…

Едва взобравшись на вершину, я услышал крик. Еще не вскочив на ноги — к счастью, как потом выяснилось, — глянул в сторону нашего лагеря, сначала ничего не понял, а потом разглядел, что Амирбек лежит на земле, Сурмил с карабином в руках бежит в мою сторону, но почему-то не стреляет, а ко мне, победно потрясая ружьем, мчится на коне чеченец в черной папахе. И перед ним, почти на шее лошади, — шестилетний мальчонка, сын Амирбека…

Как потом выяснилось, абрек незаметно подобрался к арбе, возле которой играл ребенок, когда его отец мирно беседовал с Сурмилом у костра. Амирбек оглянулся на крик сына, бросился к нему, но чеченец огрел его прикладом по голове, забросил на коня мальчишку, вскочил сам и был таков…

Был бы таков, если бы я вовремя не сообразил, что скачет он по тропе и, значит, вынужден будет

огибать скалу.

Здесь следует кое-что объяснить. Наш главный мучитель во время обучения в Корпусе капитан Пидгорный — о котором я уже рассказывал — был помешан на одной идее. В войнах с Наполеоном он лично познакомился с действиями вольтижеров — легкой французской пехоты, действующей в сражениях на флангах егерских полков. Вольтижеры были обучены вскакивать во время боя на круп лошади противника и мгновенно вышибать его из седла. Капитан считал, что вольтижеры необходимы и нашей армии, писал записки на Высочайшее Имя, а в ожидании ответов беспощадно гонял нас, отрабатывая особые приемы спешивания противника. Ответов он, насколько мне известно, так и не получил, но свирепые его тренировки даром для нас не прошли.

Во всяком случае, для меня. Я ведь даже и не вспомнил о воинском мастерстве французских вольтижеров: я просто знал способы, какими можно спешить любого кавалериста. И когда чеченец появился под скалой, прыгнул сверху на его лошадь. От вдруг свалившейся тяжести она присела, сбившись с аллюра, а всадник ничего сообразить так и не успел. Согнув в локте левую руку, я ухватил его за горло, одновременно заве-

дя вперед обе ноги и каблуками с силой ударив абрека по носкам его сапог, чтобы вышибить их из стремян. Тут же упал спиной на круп и обеими руками сбросил чеченца с собственной груди, а заодно, естественно, и с лошади.

Все это произошло мгновенно и должно было произойти мгновенно, потому что успех обеспечивался только стремительной внезапностью. Все было отработано до мелочей на собственных синяках да шишках, и единственное, чего я боялся, так того, усидит ли мальчишка в седле…

Но он был настоящий чеченский парнишка, с младенчества сидящий на коне куда увереннее, чем на стуле. Он насмерть вцепился ручонками в гриву лошади, я перепрыгнул в седло, на ощупь сунул ноги в стремена, подобрал повод и стал осторожно придерживать перепуганного аргамака, прочно зажав его шенкелями. Конь почувствовал их, перестал рвать узду и смирился, перейдя на мягкую рысь. Сын Амирбека оглянулся, затравленно глянув, но, узнав меня, заулыбался во весь рот.

— Ты — смелый мальчик, — сказал я ему.

Развернул коня и на той же мягкой рыси повел его к месту нашей стоянки.

И — остановился, потому что из-за скалы на

тропу шагнул абрек. Из-под папахи на лоб текла струйка крови — видно, ударился о камень, вылетев из седла, — но он улыбался в черную бороду, поскольку держал в руках ружье, а я был безоружен.

И мы — молчали.

— Почему ты не убил меня? — наконец спросил он по-русски, невероятно корежа слова.

— Джигитов не убивают в спину.

Сердце мое неистово колотилось, но я — улыбался. Улыбка и почти дружеский разговор были сейчас моим единственным оружием.

— Хорошие слова. Как твое имя, джигит?

— Сашка.

Чеченец по-прежнему стоял на дороге, дуло его ружья по-прежнему смотрело мне в грудь, кровь по-прежнему сочилась по его лбу, и он по-прежнему улыбался в густую черную бороду.

И неожиданно шагнул в сторону, уступая тропинку:

— Проезжай.

Я тронул коня: другого выбора у меня просто не было, равно как не было и оружия, а Сурмил куда-то подевался. И остановился, когда голова лошади поравнялась с абреком. А он погладил ее по морде и сказал:

— Старики учат верить хорошим словам.

— Сын — хорошее слово. — Почему-то ничего другого в этот миг не пришло мне в голову.

— Конь — тоже хорошее слово, — усмехнулся джигит. — Я меняю коня на мальчишку.

Я спрыгнул с седла, взял мальчика на руки. Мы стояли лицом к лицу с чеченцем, и, если бы не ребенок на руках, я, пожалуй, полез бы сейчас в драку даже безоружным. Уж слишком сильным было напряжение, и я с огромным трудом удерживал себя от всяческих действий. Видимо, я что-то позабыл из наставлений капитана Пидгорного, поскольку попался в собственный капкан.

— Зачем стоишь? — спросил он. — Обмен есть обмен.

И еще раз уступил мне дорогу. Я протиснулся между ним и конем, и мальчик что-то сказал. Абрек рассмеялся:

— Хороший волчонок! Иди, чего ты ждешь еще?

— Ты не назвал своего имени.

Почему я произнес именно эти слова? Может быть, потому, что начал чуточку понимать кавказцев?

— Беслан.

— Я запомню твое имя.

И пошел. Не скажу, что ноги мои не дрожали, но я старался ступать легко и твердо. И очень боялся, что он прочитает мой страх на моей спине.

— Стой!

Я остановился. Опустил мальчика на землю, шепнул ему:

— Беги к отцу…

Мальчик помчался, юрко петляя меж обломков скал. А я медленно повернулся лицом к Беслану.

— Разве мы не кончили наш разговор, Беслан?

— Я подумал, что тебя, может быть, следует застрелить. Одним джигитом у русских будет меньше.

— Держу на мушке!..

За спиною абрека неожиданно появился Сурмил с карабином у плеча. Беслан тоже услышал этот крик, прозвучавший за его спиной, но не обернулся.

— Не стреляй, Сурмил!..

Я почему-то закричал очень громко. Что было сил закричал.

— Червонец для меня — большие деньги, Александр Ильич.

— Дам четвертной, если отпустишь его живым!

Мы перекрикивались через голову чеченца,

замершего возле коня. Если бы он стоял, отступя хотя бы на полшага, он, пожалуй, рискнул бы вскочить в седло, а далее уже можно было надеяться на четыре ноги аргамака. Но сейчас, при столь неосторожно занятой позиции, оказался практически беспомощным: Сурмил держал его спину на мушке. А мы продолжали перекрикиваться.

— Они все — разбойники и бандиты…

— Этот отпустил меня с мальчишкой, когда мы были полностью в его руках.

— Воля твоя, Александр Ильич, — с неудовольствием согласился наконец мой напарник, опуская карабин. — Воля твоя, а четвертной мой.

— Твой, твой, — подтвердил я с огромным облегчением. — Ты свободен, Беслан.

Абрек, не сводя с меня глаз, сделал полшага назад и мгновенно оказался в седле. Поскольку оба конца тропинки были заняты нами, он развернул коня поперек. Спуск был весьма крут, но я знал выучку кавказских лошадей и искусство их всадников.

— Твой должник, Сашка! — крикнул он, вдруг придержав коня. — Лови!..

Бросил мне кинжал в черных потертых ножнах, отдал повод и с гиком помчался вниз по

крутому откосу…

Шестой марш

Весна цвела, жужжала и чирикала на все лады, а мы все еще стояли во Внезапной. Пополнение не подходило, все наступления вдруг замерли, а солдаты поговаривали, что горцы потеснили нас в Дагестане. Не знаю, так ли это было, но что-то где-то складывалось явно не по нашему желанию. Я хотел поговорить об этом с Моллером, а он, словно почувствовав, сам вызвал меня к себе.

— Есть возможность поехать в Кизляр дней на десять-двенадцать. Коли не против, готовьте статский костюм.

Костюм был у меня наготове. Поскольку поручик Моллер оказался во Внезапной старшим воинским начальником, я держал чемодан с цивильной одеждой при себе. Сурмил разыскал утюг, я самолично отпарил свои статские наряды и с нетерпением ожидал, когда Моллер сочтет возможным распорядиться о выезде. Но время шло, мой ротный командир помалкивал, и я начал вертеться у него на глазах.

— Так случилось, что мне пришлось отпустить на краткий отдых своих субалтерн-офицеров, — несколько виновато признался он, когда я прямо

спросил его, не спрятать ли мне свою статскую одежду в чемодан до лучших времен.

…Ничего нет хуже несостоявшегося нетерпения!..

Внезапно прибыл подпоручик из Кизляра в сопровождении пятерых казаков-кубанцев. Я видел, как они прибыли, как подпоручик тотчас же прошел к Моллеру. И как только казаки подвесили торбы на лошадиные морды, подошел полюбопытствовать.

— С чем прибыли, служивые?

— С депешей. — Урядник, старший конвоя, оглядел меня и добавил, усмехнувшись: — Слух такой, что вам, пехота, ружья чистить — самая пора.

Солдатские слухи чаще всего оказывались основанными на действительно важных событиях. Не потому, что солдатские уши и глаза были такими уж всеслышащими и всевидящими, а по той причине, что ни от вестовых, ни от рассыльных, ни от писарей из старых солдат, ни тем более от собственных денщиков никакой офицер отгородиться не мог. Что-то просачивалось, накапливалось, осмыслялось вечно ждущей только неприятностей солдатской массой, складывалось воедино и неминуемо порождало невеселый вывод: «Готовьтесь, ребята. По наши души депеша

пришла…»

Я еще болтал с казаками, надеясь выведать что-либо более определенное, когда из своего дома вышел мой ротный и подпоручик, доставивший депешу. Моллер попрощался, молча обождал, когда за порученцем и казаками уляжется поднятая пыль, и недовольно буркнул, чтобы я прошел к нему.

— Кизляр отменяется, Олексин, — очень серьезно сказал он. — Немирные захватили жену самого Павла Христофоровича Граббе. Нам приказано найти ее и отбить, поскольку ни на какой выкуп чеченцы не согласны.

— Может быть, вопрос — только в сумме выкупа?

— Скорее, это похоже на месть, — вздохнул поручик. — Граббе взял Ахульго и чудом не пленил имама. Да, к приказу приложена записка. Ознакомьтесь.

Он протянул мне листок бумаги. Я развернул и прочитал:

«ОТВАГА АПШЕРОНЦЕВ ПОД АХУЛЬГО СПАСЛА МОЮ ЧЕСТЬ. ВЕРЮ, ЧТО ЕСЛИ КТО И СПОСОБЕН СПАСТИ МОЮ ЖЕНУ, ТАК ТОЛЬКО ВЫ, МОЛЛЕР. ВЫ И ВАШИ СОЛДАТЫ. ПО СЛУХАМ, ОНА — В АУЛЕ АДЖИ-ЮРТ».

И — генеральская закорючка вместо подписи.

— Он немногословен. — Я возвратил записку.

— Чеченцы безусловно перекрыли все дороги и тропы к аулу, — вслух рассуждал поручик, не слушая меня. — Вы рассказывали, что будто бы подружились с неким абреком. Может быть, он проведет нас к Аджи-Юрту без всяких троп?

— Вряд ли он пойдет против своих соплеменников.

— Вряд ли, — согласился Моллер. — Но попытаться все же следует.

— Для того чтобы попытаться, мне сначала надо хотя бы встретиться с ним.

— Хорошо бы найти его сегодня, Олексин. Завтра нам необходимо выступить, пока немирные не спрятали свою добычу в горах. Возьмите моего коня. А главное, будьте очень осторожны.

— Не думаю, что в этих краях может оказаться кто-либо еще, кроме моего приятеля. У каждого абрека — свой участок охоты. А за коня — спасибо.

Признаться, я с большой неохотой отправился выполнять эту то ли дружескую просьбу, то ли приказ. Я понимал, что мой ротный пытается использовать все возможности, чтобы исполнить как можно быстрее (и лучше — бескровнее)

личную просьбу генерала Граббе, попавшего в беду. Понимал, но… Как бы это потолковее объяснить?.. Мне было неприятно, что ли. Неприятно обращаться за помощью к отъявленному чеченскому головорезу, отстреливающему из хорошего укрытия наших солдат и казаков. Что-то в этом было почти неприемлемым для меня…

Но, повторяю, понимал Моллера, а потому и выехал.

И представьте, нашел Беслана. Часа полтора проторчал возле скалы, где мы с ним впервые столкнулись, даже взобрался на нее, покрасовавшись на вершине. Хотел было уже возвращаться в крепость, но обратил внимание, как вдруг вытянула морду и запрядала ушами лошадь, одолженная мне поручиком. Я завертел головой и увидел черного всадника на черном коне.

— Беслан!..

Он подъехал, кивнул, сказал неодобрительно:

— Час смотрел, как ты искал свою пулю.

— Пулю? — растерянно спросил я.

— Только хранимые Аллахом да ваши начальники ездят на белых конях. И тогда подумал: может, ты ищешь меня?

— Я искал тебя, Беслан.

Мне трудно было начинать этот разговор.

Настолько, что я даже не подумал, как начну его. И сказал:

— Мы — джигиты. Разве к лицу джигитам сводить счеты с неповинными женщинами?

— Я не трогаю женщин.

И будто в доказательство собственных слов сдвинул на затылок папаху, обычно нависающую над его бровями, показав мне зеленую повязку. Я увидел арабскую вязь, выведенную черной краской.

— Что там написано?

— Имя моего сына.

— Он погиб?

— Нет. Он исчез, когда русские заняли мой аул. Вы называете это зачисткой.

— Ты хотел украсть мальчишку Амирбека вместо своего сына?

— Вместо ничего не бывает. Я хотел получить за него тысячу рублей, чтобы выкупить своего Лечу. Верный человек сказал, что видел его у казаков в станице Червленой.

— Казаки крадут детей ради выкупа?

— Всякая война имеет две стороны. Кто-то делается богаче, кто-то — еще беднее.

Он сам предложил начало трудного разговора. Правда, случайно и бесхитростно, но я вцепился

в него.

— Я дам тебе пять тысяч.

Беслан посмотрел на меня с укоризной. И расстроенно поцокал языком.

— У тебя — два желания, которые я должен выполнить. Два, — для убедительности он показал два пальца. — Ты дважды спас мою жизнь. Говори, что тебе надо, и не обижай понапрасну.

— У генерала украли жену, — решительно сказал я. — Почтенную женщину, мать двоих сыновей.

Беслан чуть пожал плечами:

— Какой-то мюрид очень хочет заслужить одобрение имама. Только женщина была не одна.

— Не одна?

— Две. — Абрек опять показал два пальца. — Их увезли в Аджи-Юрт.

— Нам приказано освободить их. Проведи нас к Аджи-Юрту какой-либо незаметной дорогой.

Беслан отрицательно покачал головой и горестно вздохнул:

— Тогда мне не спасти своего сына.

— Почему?

— Потому что меня убьют, а кто же его выкупит?

Я молчал, лихорадочно размышляя, как мне

убедить его. Он снова вздохнул. На сей раз виновато:

— Извини, я — твой должник. Но мальчик — последний мужчина в нашем роду. Извини.

Он уже тронул лошадь, но я придержал ее за повод.

— Ты сказал, что твой сын в станице Червленой? Я даю тебе слово, что найду его, если ты поможешь нам, Беслан.

Он помолчал.

— Я дал слово, Беслан.

— Это — твое слово или слово твоего генерала?

— Это — мое слово.

Он долго молчал, размышляя. Наконец решился:

— Сегодня после захода солнца — у переправы.

Чуть приподнял коня перед первым прыжком, отдал ему повод и понесся вниз по крутому обрыву.

Я не сомневался в его слове, о чем и доложил поручику.

— Но мои помощники не успеют вернуться, Олексин.

Они и впрямь не успели и — к своему счастью. Почти никто из того похода целым не вернулся, уж не говорю о погибших…

Моллер хмурился, но после обеда неожиданно подошло подкрепление: видимо, генерал все же помнил, что рота у нас далека от списочного состава. И своей властью снял из-под Пятигорска двадцать восемь стрелков, которых и привел к нам, во Внезапную, подпоручик Мздолевский.

Моллер очень обрадовался этому неожиданному везенью нашему. А я — даже вдвойне, потому что среди прибывших стрелков оказался мой давний знакомец по Москве: Пров Сколышев, заботливо обучавший меня солдатским наукам на гауптвахте.

— Рад тебя видеть, Пров. Как до Кавказа добрался?

— Широка Россия, Александр Ильич. Две пары сапог стоптал до самых до портянок.

Так у поручика оказался хотя и один помощник, да зато добрый малый. Этого было конечно же маловато для похода, и он негласно назначил вторым помощником меня, поручив командовать авангардом, а заодно и приглядывать за проводником. Если он, конечно, объявится на переправе.

Беслан появился, по брови замотанный черным башлыком. Я хотел представить его поручику, но он отказался:

— Я тебе служу, а не русским. Скажи, чтоб шли тихо и чтоб офицеры коней оставили там, где я оставлю своего.

Я передал это командиру роты. Солдаты обмотали тряпьем все, что только могло звякать или брякать, попрыгали для проверки перед Моллером и мы наконец тронулись к аулу Аджи-Юрт.

Трудно было назвать тропинкой те ужиные изгибы вверх по крутому склону. Но Беслан вел уверенно, я шагал следом, за мною — десятка, отряженная поручиком в авангард, а уж потом — остальные. И этих остальных было семьдесят два человека. Восемьдесят три всего, если с нами вместе считать.

Перевалив через невысокий, но весьма крутой хребет, Беслан спешился.

— Дальше — пешком.

Он не стал привязывать своего коня. Просто что-то шепнул ему на ухо, и конь послушно отошел в тень. Но лошадей Моллера и Мздолевского привязать велел и сказал:

— За этой горой — сады. Там будете ждать. Я покажу, где прячут женщин, только Сашке и уйду.

До границы садов мы добрались уже в густых сумерках: думаю, что абрек и вел нас сюда с этим расчетом. Шепотом предупредив поручика, что-

бы не было никакого шума, кивнул мне, и мы беззвучно исчезли в безмолвном саду.

Беслан тенью скользил впереди, не задумываясь над тем, куда и как ставить ногу. На нем были мягкие кавказские сапоги, а на мне — грубые солдатские, и мне приходилось задумываться. Кроме того, стало совсем темно, и я скорее угадывал гибкий силуэт чеченца, чем видел его фигуру.

И неожиданно силуэт этот внезапно исчез. Я остановился, напряженно вглядываясь, ровнехонько ничего не заметил, но казематным, что ли, опытом определил, что сад кончился, потому что впереди было чуточку светлее. И понял, что Беслан прячется в кустах, чтобы не рисоваться на опушке. Осторожно прошел несколько шагов, заметил его и прилег рядом.

— Сначала смотри. Слушать будешь потом.

Я осторожно раздвинул кусты. Впереди тянулась узкая полоска баштана, за ним — невысокая ограда, сложенная из каменного сланца, за которой смутно виднелась глухая, без единого оконца стена дома.

— Я готов слушать тебя, Беслан.

— Вход один, с той стороны дома. На входе — часовой. Может быть, один, может быть — два. В доме — ваши женщины, но может быть и кто-то

из чеченок. Тогда — скверно. Только решать — не мне. Я сделал свое дело?

— Да, Беслан. Спасибо.

— Теперь ты — мой должник. — Мне показалось, что он улыбнулся. — Отходи тихо и всегда помни о кинжале за поясом.

Он исчез, бесшумно растворившись в темноте. А я помнил не столько о кинжале за поясом, сколько о чеченках, которые могли оказаться в доме, и не знал, как поступить. Они сразу же завопят, как только мы появимся на пороге…

Правда, для того чтобы там появиться, необходимо убрать часовых. Однако они — наверняка мужчины, и нравственные затруднения наши начнутся не при входе…

Словом, я решил проверить, кто в доме и сколько их. В окно, конечно, не заглянешь, но можно услышать голоса, а по ним разобраться, что нас ожидает внутри. Пригнувшись, перебежал баштан и упал возле стены дома. Никто меня не окликнул, никто не заметил, но на этой стене тоже не оказалось ни одного окна. Я дополз до угла и осторожно заглянул за него.

Вдоль лицевой стороны дома тянулась узкая веранда. У двери, опершись спиной о косяк, сидела темная мужская фигура. Я долго всматривался

и вслушивался, но никого более не обнаружил.

«Один, слава Тебе, Господи. Но сколько может оказаться в доме?.. Даже одна чеченка — почти непреодолимое препятствие…»

Вероятно, дом стоял на окраине аула, потому что никаких иных строений нигде видно не было, но собачий лай откуда-то все же доносился…

Внезапно раздался скрип двери, и я поспешно втянул свою голову за угол.

— Куда?.. — спросил грубый гортанный голос.

— Господи, — вздохнула женщина. — Я же тебе уже говорила, что у вас ужас сколько блох. Ужас. Приходится выбивать одеяло, которое я забыла. Забыла одеяло, понимаешь? Одеяло!.. А твоя подруга-надсмотрщица не пришла, вот я и иду за ним. Ну холодно моей госпоже, можешь ты это понять?..

Женщина говорила громко, но не потому, что собеседник плохо ее понимал, а, как мне показалось, для кого-то иного…

Мужской голос что-то весьма недовольно пробурчал. Но — тоном ниже.

— Давно бы так, — с облегчением сказала женщина.

Вы не поверите, но я догадался, кому принадлежит этот женский голос. Не очень мелодичный,

прямо скажем, но — знакомый. Просто вспомнил его…

… — Хозяйка добыла для меня письмо к генералу Граббе… Мой отец служил у него…

* * *

Я вжался в стену. А когда легкая фигурка появилась из-за угла, шепнул наудачу:

— Вера…

И — угадал. Угадал!..

— Боже мой, мы знали, знали, что вы придете!..

— В доме никого?

— К счастью, сегодня нет. У нее заболел ребенок…

— К черту подробности! Сторож один?

— Один. Я возьму одеяло и отвлеку его, а вы…

— А я — это я. Действуйте!

— Только возьму одеяло…

Вера куда-то на мгновение скрылась, но тут же возникла вновь, на ходу складывая одеяло.

— Поверните его спиной ко мне…

Кажется, она кивнула. Темнота уже сгустилась. Южная, почти черная темнотища…

Я осторожно выпрямился, обнажил кинжал и выглянул.

Вера что-то говорила, даже неуместно хихикала, но я уже ничего не слышал. Я прикидывал шаги…

И — шагнул. Доски лежали почти на земле и поэтому только прогнулись под моей тяжестью, не заскрипев. Шаг, еще шаг… Вера все еще болтает, а он уже стоит ко мне спиной… В конечном счете женщины всегда делают с нами то, что хотят сделать…

Ах, Корпус, который мы в детстве так проклинали! Старые седые унтеры учили нас, как снимать часовых. Локтевым сгибом левой руки захватываешь противника за горло, резкий рывок на себя, чтобы не успел закричать, и — удар в сердце. В данном случае — кинжалом. У чеченцев отличные кинжалы. Лучшие на Кавказе…

Он даже не застонал. Я осторожно, чтобы не было никакого шума, опустил его на пол.

— Господи… — прошептала Вера и перекрестилась.

— Бери генеральшу — и через баштан — в сад. Я нагоню.

Вера юркнула в дверь и — следует отдать должное этим дамам, не потерявшим головы и в плену, — почти тотчас же вышла вместе с полной особой, заботливо укутанной в одеяло.

— Благодарю вас, спаситель…

— Быстро и — молча!

Дамы исчезли за углом. Я закрыл распахнутую настежь дверь, подтащил к ней обмякшее тело чеченца и кое-как усадил его у притолоки. Тело все время заваливалось на бок, и мне пришлось помучиться, пока я не нашел для него некоего равновесного положения. И уже открыто помчался вслед за дамами…

Я нашел их в кустах на окраине сада, и, как только мы добрались до отряда, Моллер приказал немедленно выступать. Поручик и Мздолевский уступили дамам своих лошадей, и мы шли с быстротой, на которую только были способны. Но чеченцы все равно нагнали нас еще до полудня. Пока арьергард во главе с Мздолевским отбивался от них залпами, мы с поручиком отыскали узкую расселину в скалах, куда и упрятали наших дам.

Холм, на котором нам пришлось оборонять-ся, господствовал над местностью и был усеян скальными обломками. Его затруднительно было атаковать в лоб, зато отстреливаться было удобно, пока не кончатся патроны. Великолепно приспособившийся к этой странной войне, Моллер не пугался полного окружения и атаки со всех направлений, по опыту зная, что чеченцы

никогда не замыкают кольцо, давая противнику возможность отступить. Делают они так, во-первых, для того, чтобы не доводить неприятеля до отчаяния, которое всегда сплачивает окруженных единством судеб, а во-вторых, они — редкие мастера конного боя и в особенности стремительного преследования.

— Стрелять из-за укрытий и только по моей команде, — сказал он солдатам. — Буду очень недоволен, если кто пальнет раньше времени. Мздолевский, держите левый фланг, Олексин — правый, а я уцеплюсь за центр. Повторяю, у нас мало патронов, поэтому стрелять только по команде и по возможности в неприятеля, а не ради шума и успокоения нервной системы.

Я нарочно так подробно записал его обычный разговор перед боем, потому что в нем, как мне кажется, звучит то продуманное немецкое занудство, которое сберегло России не одну солдатскую жизнь. Мой ротный был занудой и остался занудой, но как же я люблю навещать его хотя бы раз в два года…

Мы успели рассредоточиться и укрыться только потому, что чеченцы решили вначале попытаться решить дело переговорами. Вскоре после того, как они дугой оцепили наш пригорок, из их

отряда выделился молодой чеченец в черкеске с богатыми серебряными газырями и помчался к нам, размахивая белым башлыком.

— Хотят вначале побеседовать, — сказал поручик. — Олексин, отберите самого смекалистого солдата, готового добраться до нашего первого поста.

— Дать ему лошадь?

— Всадника чеченцы немедленно начнут преследовать, а пеший все же имеет шанс ускользнуть.

Из всех немногочисленных добровольцев я выбрал Сурмила. Он девять лет воевал на Кавказе, привык к горам, научился в них разбираться и был достаточно сметлив и осторожен.

— Пойду на Грозную, — сказал он. — Там добрый гарнизон, а ближе — только наша Внезапная, так она и так вся тут.

— Дорогу знаешь?

— Разберусь. Попросите ротного, пусть подольше парламентера задержит. Чеченцы любознательны, на него будут глядеть.

Оставил нам ружье с лядункой («Все одно не отстреляюсь, коли догонят») и незаметно соскользнул в кусты с обратного ската нашего холма.

Моллер выехал на переговоры верхом, на встречу не спешил, а чеченцы, выстроившиеся полукругом перед нами на расстоянии ружейного выстрела, и впрямь глазели только на него. Старые кавказские вояки хорошо изучили слабости своего противника.

С этой же целью поручик явно не торопился заканчивать беседу. Голоса его я не слышал, но сужу по жестам и спокойной неспешности. Наконец молодому чеченскому парламентеру, видимо, надоели эти пустопорожние переговоры. Всадники развернули коней и разъехались в противоположные стороны, но — разными аллюрами. Чеченец гнал галопом, а Моллер трусил манежной рысью. Однако наши противники терпеливо дождались, пока он не спешился и не отвел лошадь за скалу. Тогда они дружно заорали и помчались на нас со всех трех сторон.

— По моей команде! — успел предупредить ротный, укрывшись за своим камнем.

Признаться, исполнение этого приказа требовало выдержки. Я уже видел не только блеск чеченских шашек, но и бородатые лица передовых конников и слышал не только их рев, не только согласный грохот копыт, втянувшихся в общий ритм, но и отдельные возгласы особо

распаленных глоток…

— Пли!..

По-моему, до атакующих было менее пяти десятков шагов, когда прозвучала эта команда: железной выдержке нашего поручика можно было позавидовать. Зато большинство солдат успело разобраться в своих целях, и залп прозвучал впечатляюще. Не менее дюжины всадников оказалось на земле.

Вероятно, это была разведка боем, так как нападающие тут же развернулись и помчались на прежние позиции. Однако по пути добрая четверть из них на скаку попадала на землю.

— Неужто пулями мы их посшибали? — удивленно спросил Пров, — он расположился за соседним камнем.

— Это, скорее, лучшие стрелки, — сказал я. — Заметь, ни один из них своей винтовки не бросил.

Я был прав: вскоре они накрыли нас частым прицельным огнем. И сразу же закричали первые раненые.

— Раненых — в расселину, к женщинам, — распорядился Моллер. — Глядите внимательнее, ребята, сейчас опять пойдут!..

И вторую атаку нам удалось отбить ружейными залпами. Чеченцы вновь откатились и

вновь их стрелки начали обстрел, не давая нам пошевелиться…

Бой превратился в какую-то чересполосицу: прицельный обстрел сменялся стремительной конной атакой, конная атака — обстрелом. Уже убили Мздолевского, неосторожно выглянувшего из-за камня, еще двоих или троих, что ли, да ранили с добрый десяток. У нашего противника оказалось не только численное, но и тактическое преимущество, что говорило не просто об опытном, но и о думающем их командире. Чеченцы вели переменный бой, не давая нам при этом передышки и привязав нас к укрытиям, тогда как сами получали возможность хоть чуточку да передохнуть: когда шла пальба — отдыхали конники, когда атаковали конники — отдыхали стрелки. А мы не имели никакой возможности перевести дух, дать успокоиться нервному напряжению, хотя бы на миг отвести глаза от противника.

Не знаю, сколько времени так продолжалось. Потом выяснилось, что весь тот бой шел всего-то два часа восемь минут: Моллер засек время по своему брегету. А через полчаса после его начала противник изменил тактику — ох толковый нам достался командир с той, вражеской, стороны! Он

приказал своим стрелкам вести огонь и во время конной атаки — до тех пор, пока свои всадники не перекроют им цели. Он сократил нам и без того считанные мгновения, когда мы могли хотя бы оглядеться, подбодрить друг друга, оттащить раненых в укрытие, отдать команды, наконец. Он как бы изолировал нас друг от друга, заставил каждого из нас драться только за себя, рассчитывать только на себя и бороться за собственную жизнь.

Теперь нам пришлось встречать атакующих всадников, едва выскочив из-за личного укрытия, не получив ясной команды, практически не ощущая плеча соседа. Так долго продолжаться не могло: каждый человек имеет предел личной выдержки и боевой выносливости. В конце концов слабое звено должно было лопнуть, и какой-либо из солдат, отупев от бесконечного напряжения собственных сил и собственного внимания, мог либо не успеть укрыться при обстреле, либо кинуться бежать в момент начала атаки…

— Патроны!.. — Я с трудом расслышал крик Моллера: чеченцы пошли в атаку, и конский топот вместе с их дикими криками заглушал слова. — Последний ящик… у расселины…

Я бросился к центру нашего холма, где прята-

лись женщины и раненые. За мною почему-то сорвался с места Пров, но ранило меня, а не его. Ранило пустячно: зацепило бок, надломив ребро. Боли я не почувствовал, но кровь потекла обильно…

— Укройся и перевяжись!.. — кричал мне Пров. — Рану перевяжи!.. Я отнесу патроны!..

Он волоком потащил ящик за собою, а я нырнул в расселину меж двух колючих скал.

К сожалению, там уже было тесно от выбитых чеченскими пулями и раненных чеченскими шашками. Я оценил это мельком, успев подумать, что долго нам не продержаться. Сел у входа, торопливо сорвал с себя мундир, окровавленную рубаху. У кого-то попросил пороховницу, кто-то протянул мне ее. Я начал сыпать порох на рану: помню, дрожали руки. И я не глядел, как сыплю, а озирался с некоторым изумлением, что ли, если в той обстановке уместно употребить это слово. Изумлением потому, что в тесной этой щели всем распоряжалась Вера Прокофьевна, когда-то показавшаяся мне перепуганной до конца дней своих. Она споро и умело перевязывала раненых лоскутами их же рубах и остатками своих нижних юбок, не забывая бормотать притом такие женские и такие нужные солдатам слова:

— Потерпи, миленький, потерпи…

Генеральша тоже не сидела сложа руки. Она рвала на полосы остатки солдатского исподнего и собственных одежд, кому-то давала пить, кого-то утешала… Я успел подумать, что она — образец офицерской жены, да и Вера в скором будущем таковой станет, поджег трутом (вот кто мне его запалил, напрочь не помню…) порох на ране, взвыл от дикой боли, и тут в щель втащили Моллера.

— Принимай роту, Сашка… — прохрипел он сквозь зубы. — Расселся тут…

Не поверите, но я забыл о боли. То есть забыть о ней, конечно, было невозможно, но не воспринимать ее, что ли, я себя заставил. И выбежал из расселины.

На холме шла рукопашная. С криками, хрипами, стонами, проклятиями, матерщиной, лошадиным ржанием… Я подхватил чье-то ружье, в кого-то всадил штык, кого-то огрел прикладом — все уже как в тумане, как в тумане…

Мы и в этот раз отбросили чеченцев. Не потому, что я подоспел вовремя и заорал что-то воодушевляющее: атака и без меня уже захлебывалась, чеченцы начали откатываться. Я успел упасть за свой камень, обнаружил по соседству Прова. Спросил, помню:

— Цел?

— И не зацепило. Патроны я ребятам раскидал…

— Хорошо…

Опять начался обстрел, и мы примолкли, вжавшись в сухую, колючую землю, из-за которой, по убеждению Сурмила, и шла вся эта странная война. Мы выдержали пальбу и даже устояли в еще одной атаке, но устояли из отчаянных, последних сил, и я обреченно понял, что они — последние…

Залп громыхнул неожиданно и довольно близко. Добрый залп из двух горных орудий. Следом за ним еще один, еще, еще… Не знаю, откуда стреляли, где рвались ядра, а только чеченцы начали разворачивать коней…

Седьмой марш

Отдых. И душа, и тело заслужили его, а я — да и не только я! — все никак не мог заглушить в себе пальбу, крики, лошадиное ржание, предсмертные стоны. Может быть, потому, что к нам ходят как на экскурсию, только не с билетами, а с подарками.

Восемьдесят три стрелка вышли из Внезапной с двумя офицерами. А вернулось всего два десятка с половиной при одном, да и то раненом коман-

дире. Мы потеряли девятнадцать убитыми, да еще пятеро скончались от ран и потери крови. Дорого нам стало освобождение генеральской жены и ее компаньонки, но спасение женщин равно спасению солдатской чести, да к тому же спасли мы три жизни вместо двух. Три потому, что супруга генерала Граббе ожидала ребенка, хотя я узнал об этом позже. Да, мы стали героями, и о нас разговоров сегодня — во всех линейных крепостях.

Кусками, обрывками какими-то — да и то чаще в забытьи, чем в яви, — вспоминаю, как брели мы, чудом спасенные, к крепости Грозная по неласковой Кавказской земле. Не брели — ползли, еле волоча ноги. Солдаты из Грозной тащили на себе наших обессилевших раненых, я тащился сам… Нет, нет, я на Прова опирался, счастливчика Прова, которого ни разу так и не зацепило. Ни клинком, ни пулей. А Сурмил с кем-то из грозненцев нес потерявшего сознание Моллера, голову которого бережно поддерживала Вера. В оборванном, окровавленном платье, с растрепанными и спутанными волосами… И генеральша — тоже оборванная и тоже почему-то окровавленная — шла пешком, опираясь на кого-то из офицеров Грозненского гарнизона…

А потом нас всех отправили в лазарет. Всех, даже целехонького Прова. Смутно помню, как меня осматривали врачи, как кто-то из них ворчал неодобрительно:

— Кровь остановить — это еще понятно. Но зачем он весь бок себе обжег?..

Бок и вправду горел как в аду. Чем-то они его помазали, и я уснул. Провалился часов на четырнадцать…

— Братцы, да ни при чем тут я!.. Я до Грозной и добежать-то не успел, глядь — батальон с артиллерией!..

Слова помню: я от них проснулся. А может, очнулся… Сурмил с побитым видом бродил по огромной нашей палате и виновато оправдывался:

— Да ни при чем я, братцы! Совсем ни при чем: кто-то другой Грозную по тревоге поднял…

«Беслан…» — подумал я. И опять провалился…

— Олексин! Господин Олексин…

Открыл глаза. Надо мною — черноусое незнакомое лицо. Тонкое, по-мужски жесткое и… и по-кавказски строго красивое.

— Очнулись? Павел Христофорович хочет задать вам несколько вопросов.

Увидел генерала Граббе за спиной черноусого

подпоручика, попытался привстать, да боль подвела. Весь бок скрючило.

— Лежите, Александр Ильич, лежите спокойно, — поспешно сказал Граббе. — Всего несколько вопросов. Можете ответить? Меня наместник вызвал для подробного отчета, а поручику Моллеру врачи говорить запретили.

— Так точно, ваше превосходительство.

Он коротко расспросил о нашем поиске. Как шли, кто провел к Аджи-Юрту, как удалось освободить женщин без боя. Многое он уже знал — думаю, что со слов Веры Прокофьевны, потому что упорно полагал меня главным героем. Затем — о том, как нас настигли чеченцы, как Моллер выбрал единственное место, где можно было укрыть женщин от пуль и хоть как-то держаться. Тут мне стало полегче, потому что я начал рассказывать не о себе, а о поручике, о его хладнокровии и предусмотрительности. Вспомнил, как послали Сурмила в Грозную, как Моллер, сколько мог, тянул переговоры, как начались атаки.

— Сурмил все равно не успел бы…

— Знаю, Олексин. Он встретил батальон уже на марше. Командир батальона капитан Оскоцкий доложил, что о вашем положении рассказал постам какой-то чеченец. И тут же умчался без

подробностей.

— Это — Беслан, наш проводник. — Я вдруг все вспомнил и поспешил с добавлением: — Его единственного сына захватили казаки из станицы Червленой. Он собирает деньги на выкуп, ваше превосходительство, и я ему обещал…

— Как зовут сына?

— Леча. Так он его называл.

— Займись, Борзоев, — бросил через плечо генерал своему то ли переводчику, то ли порученцу.

— Будет исполнено, Павел Христофорович.

— Кто из солдат наиболее отличился?

— Все достойны, ваше превосходительство. Понимаю, всех не наградишь: Сурмил в сражении не участвовал, а Прова Сколышева даже не ранило…

— Никого не забуду, — улыбнулся Граббе и чуть наклонился ко мне: — Но вам — моя особая благодарность, Александр Ильич, совершенно особая. Вы мне не только супругу, но и будущего ребенка спасли. Как только врачи разрешат, прошу быть моим гостем: до окончательной поправки, а может, и решения судьбы вашей.

Пожал мне руку и ушел. А я, окончательно придя в себя, узнал, что пятеро из тяжко раненных уже здесь богу душу отдали, и, признаться, обра-

довался, что сознание мое это не восприняло. И подивился, чему это солдаты так рады. Оказалось, каждый по червонцу получил из рук генеральского черноусого порученца…

К вечеру того же дня пришла Вера. Подошла к моей койке, встала на колени и неожиданно поцеловала мне руку.

— Что вы, Вера Прокофьевна!..

— Вы дважды спасли меня. Дважды!.. И для вас, дорогой мой Александр Ильич, я — просто Вера. Всегда — Вера.

— Спасибо. Как мой ротный, Вера? Знаю, что подле него вы днюете и ночуете.

— Он тяжело ранен. Пуля попала в плечо, но и рану разворотила, и крови он много потерял. Я гранатовым соком его отпаиваю, врачи посоветовали.

— Гранатовый сок для боевого офицера — лучшее лекарство. А что слышно о человекоподобном майоре Афанасьеве?

— Ничего, но я его теперь не боюсь.

Я усмехнулся:

— Повзрослели?

— Нашла семью, которая не даст меня в обиду. Аглая Ипполитовна — чудный человек. И Павел Христофорович тоже, хотя я его побаиваюсь.

После всех событий они объявили, что считают меня дочерью. По крайней мере, до той поры, пока не выдадут замуж.

— Ну, за этим дело не станет, я полагаю?

Вера очень смутилась, порозовела, поцеловала меня в лоб и сказала:

— До завтра.

Но на следующий день первым появился подпоручик Борзоев, порученец генерала Граббе:

— Я нашел Лечу.

— Дорого запросили?

— Ну какой же линейный казак не исполнит просьбы генерала Граббе, Олексин? Леча уже под крылышком Аглаи Ипполитовны. Как мне передать его Беслану?

— Беслан выйдет на встречу только ко мне, поручик.

Борзоев улыбнулся:

— Мы с ним — из одного тейпа, Олексин. Следовательно, почти родственники.

— Я дал Беслану слово. И исполню его, как только сумею взгромоздиться на лошадь. Желательно белую.

— Завтра можете начать тренировки, поскольку врачи разрешили перевезти вас в генеральский особняк.

* * *

И вот я — в просторном генеральском особняке, расположенном в садах на окраине города. Меня встретили как родного, генеральша всплакнула и расцеловала в обе щеки, Вера засияла и по-сестрински прикоснулась губами, попав в порядком отросшие бакенбарды. Тут же проводили в просторную, всю в коврах на восточный манер, комнату с прямым выходом в сад и в помощь отрядили смекалистого паренька-армянина. Паренька звали Суреном: он показал мне дом и сад и торжественно обещал содержать в порядке мои обувь и одежду.

Потом он привел ко мне Лечу. Мальчик глядел настороженно, но без всякого страха, по-русски понимал почти все, но говорить стеснялся. Я рассказал ему — без деталей, разумеется, — что мы подружились с его отцом, и обещал свидание в ближайшие дни.

Вечером хозяйка устроила пир в мою честь. Не скрою, мне было весьма приятно, хотя и несколько стеснительно, что ли. Не привык я выслушивать бесконечные благодарности.

А через день из Тифлиса вернулся генерал. Воодушевленный, хотя и весьма озабоченный.

— Уделите мне десять минут, Олексин. Меня внезапно вызвали в Петербург для доклада государю, и я должен кое-что уточнить.

— Когда вам будет угодно, Павел Христофорович.

Мы уединились в его кабинете перед обедом. Я полагал, что речь опять пойдет о нашем рейде в Аджи-Юрт, но генерал начал беседу несколько неожиданно.

— В тысяча восемьсот четвертом году я принял Лубенский гусарский полк, а уже через восемь месяцев был освобожден от должности его командира с пренеприятнейшей формулировкой «за явное несоблюдение порядка службы». Через год обвинение было полностью снято, но нервов я потратил немало. Это — первое, Олексин. Второе. Во время Смоленского сражения я имел честь состоять офицером для поручений при вашем батюшке бригадире Илье Ивановиче, вечная ему память. Все это вместе, а также моя искренняя вечная благодарность вам позволяет мне спросить вас о причинах вашего разжалования. Не скрою, что надеюсь быть принятым лично государем, где вполне уместно будет вспомнить о вашем героическом деянии. А посему слушаю вас, Александр Ильич, со всем вниманием.

Я понимал искреннее желание генерала помочь мне, мало верил в успех, но рассказал все о своих казематах, крысах и допросах. Естественно, в той версии, которой придерживался сам: был пьян, играл в карты с поручиком конно-пионерского полка, чуть не проиграл собственного человека и в конце концов выиграл полный список пушкинского «Андрея Шенье». Затем — офицерский суд, обвинивший меня в недопустимых разговорах с солдатами, и — утвержденный государем приговор о разжаловании со ссылкой на Кавказ.

— Моллер сказал мне, что вы были представлены к Знаку ордена Святого Георгия за взятие аула Ахульго?

— Совершенно верно, Павел Христофорович.

— Почему же командир батальона вычеркнул вашу фамилию из поданной Моллером реляции?

— Когда-то он посмел оскорбить девицу, и я вынужден был образумить его пощечиной.

— А девицу зовут Верой Прокофьевной, — усмехнулся Граббе. — События порою пересекаются весьма забавно… Отдыхайте, Олексин, набирайтесь сил. Вы и поручик Моллер — мои гости.

Генерал уехал в Санкт-Петербург.

Я достаточно окреп на добрых харчах, вине и

фруктах, и мы с подпоручиком Борзоевым решили выехать в крепость Внезапную. Борзоев прихватил на всякий случай десяток казаков, посадил Лечу впереди себя, а я взял в генеральской конюшне белого жеребца, и мы двинулись воссоединять отца с сыном.

Удивительное дело, но солдаты — естественно, те, которые не ходили с нами в Аджи-Юрт, — встретили меня с какой-то странной завистливой неприязнью. «Вот, дескать, повезло: и червонец получил, и в генеральском особняке бока отлеживает…» Ну есть, есть это дурное чувство в русской душе, тлеет оно до времени, словно выжидая: а чем риск-то обернется? И коли ты цел остался — значит, счастливчик, Бога за бороду ухватил и сам жив при этом. А то, что не на прогулку тогда ходили, что погибли многие, что ранены почти все, — это все потом как бы отсеивается, исчезает, и остается одна зависть в глазах. И одно в них читается: «Ну, хитрован ты, Александр Ильич…»

А Пров и Сурмил чуть на шею не бросились. И радость, что видят меня, искренней была…

Ну, это я так. Разворчался, иного ожидая и не получив и грана того, что ожидал. И не от солдат, честно говоря, а от господ офицеров, помощников ротного Моллера, опоздавших из отпуска к той

внезапной тревоге…

— Искать Беслана поеду один, — сказал я порученцу Борзоеву чуть резче, чем хотелось.

— Я головой отвечаю за вас перед генералом, Александр Ильич.

— Ничего со мною не случится, подпоручик. Мальчика пока покормите, растрясло его по дороге.

Взгромоздился на белого жеребца и погнал его к знакомому месту со знакомой скалой.

Все было в точности как тогда, перед самым нашим походом. Только куда быстрее: всего около часу мне возле скалы верхом красоваться пришлось.

— Опять пулю ищешь?

Оглянулся — Беслан за спиной. Усмехается в бороду:

— Не бережешь ты свою спину, Сашка. Рад, что живым вижу тебя.

— Твоей милостью, Беслан. Ты предупредил посты под Грозной, что нас держат в кольце?

— Нет, — сказал, как отрезал: коротко, жестко и сурово. — Если только ради этих слов приехал, давай лучше разъедемся.

— Я нашел Лечу.

— Где? — Он резко повернулся в седле. — В

Червленой? Как зовут казака и сколько он просит за мальчишку?

— Твой сын — во Внезапной. С твоим родственником Борзоевым, порученцем генерала Граббе.

— У меня нет родственников на русской службе!

— Он спас твоего Лечу.

— Да, слава Аллаху, у меня теперь есть сын. И поэтому у меня не должно быть никаких знакомых из тех, кто служит русским!

— Не горячись, Беслан. Если ты так беспокоишься за судьбу сына, может быть, стоит оставить его в генеральском доме? Его обучат грамоте, отдадут в учение, в конце концов он может стать офицером…

— Нет, друг, — вздохнул Беслан. — Мой сын пойдет по тропе своих предков, чтобы тропа эта никогда не кончалась…

Через полтора часа я привез ему сына. Надо было видеть их встречу, их суровую сдержанность, при которой сияли только глаза мальчишки да чуть вздрагивали руки отца, чтобы понять крутизну тропы, по которой они намеревались идти до конца.

— Прощай, брат, — сказал Беслан. — На всю жизнь остаюсь твоим должником.

Перегнулся с седла, обнял меня. Потом усадил Лечу перед собою, развернул коня к обрыву…

— Будь свободен!..

И с гиканьем помчался вниз…

Не люблю гордых людей, но люблю гордые народы, желающие тебе при встрече не личного здоровья, а личной свободы. Когда они исчезнут с лица земли, исчезнет и их благородный пример, и человечество неминуемо превратится в одну гигантскую людскую барского дома средней руки, набитую толпой послушных завистливых обывателей…

* * *

Мы с Борзоевым вернулись в Кизляр, а вскоре в генеральский особняк пожаловал неизвестный мне художник. Он носил итальянский берет, французскую широчайшую блузу, длинные волосы и бородку a la кардинал Ришелье. Художник рисовал выздоравливающего Моллера — кстати, совсем недурно, надо отдать ему должное, — а я во время сеанса обязан был рассказывать ему о сражении со всеми деталями. Кто где стоял, что делал, как лежал, как стрелял и как погибал. Когда мне это надоедало, меня сменяла Вера.

Потом наступила моя очередь позировать, но

теперь художник развлекался рассказами Аглаи Ипполитовны. Затем пришла очередь самих дам, которых он после долгих уговоров заставил-таки обрядиться в то тряпье, в которое превратились их платья во время нашего сражения. Покончив с ними, он объявил, что ему необходима дюжина солдат, побывавших в том походе, и исполнительный Борзоев вновь помчался во Внезапную. Кстати, и сам преданный порученец не ушел от бдительного творческого глаза: художник именно с него писал портрет свирепого предводителя супостатов.

— Он вам еще не надоел? — спросил я в конце концов Аглаю Ипполитовну.

— Смертельно! — рассмеялась она. — Но картину заказал сам наместник.

Единственным моим утешением было то обстоятельство, что в солдатской дюжине оказались Пров и Сурмил, и это несколько примирило меня с искусством. По крайней мере, я получил возможность по-дружески угостить их в саду. И с помощью Сурена и Веры осуществил эту возможность с допустимым размахом: вином, шашлыком и фруктами. Мы услаждались солдатской беседой о глупом начальстве и добром везении, но тут опять принесло живописца, ко-

торому вздумалось запечатлеть для потомства и это скромное мужское удовольствие. Для чего — я так и не понял. По-моему, — про запас, поскольку в картину самого сражения дружеская солдатская пирушка никак не могла влезть при всех художественных условностях.

* * *

Да, представьте себе, картина в конце концов была нарисована, но я ее не видел. Я видел множество снятых с нее плохих литографий на стенах всех без исключения почтовых станций южнее земель Всевеликого Войска Донского. И если бы я не знал, что я — это я, то ни за что не угадал бы самого себя. С окровавленной повязкой на голове и почему-то с обнаженной саблей в руке. О, творческое воображение, где же обретаются пределы твои!

Лето вместе с солнцем быстро катилось под уклон, а генерал Граббе все еще пребывал в столице. Моллер уже бродил по саду, отдаляясь от юбок Веры только на расстояние видимости. Вечерами они усаживались на веранде друг против друга: Вера вязала, а геройский поручик послушно сидел — хотя и в весьма напряженной позе — перед нею, держа перед собою обе руки, опутанные

шерстяными нитками. Ему было очень хорошо, а мне — смешно, но веселье приходилось скрывать изо всех сил, потому что я искренне любил своего ротного. Правда, порою, когда Вера оказывалась занятой домашними делами, мы с Моллером играли в шахматы, но это тоже не утешало, поскольку я проигрывал ему то ли от раздражения, то ли потому, что влюбленность придавала ему дополнительное соображение.

Потом пришла пора ягод, и поручик покорно носил корзинку за Верой. Аглая Ипполитовна варила варенья одновременно в трех тазах и на трех кострах, и по всему саду разносился густой приторный аромат. Вероятно, я несправедлив в отношении своих милых хозяев, но попробуйте поставить себя на мое место.

Я перечитал по два раза все, что разыскал в генеральской библиотеке, трижды обсудил с Моллером библейскую проблему — кто кому первым протянул яблоко, — с помощью Сурена выяснил, что Армения — не только древнейшее место обитания человечества, но и самое прекрасное на свете, и окончательно угнездился на бурке под старым ореховым деревом с комплектом старых французских журналов.

Вероятно, наблюдательная Аглая Ипполитовна

верно представила себе как мое одиночество, так и неопределенность моего положения в кругу милых друзей. Сужу по тому, что передо мною как-то возник подпоручик Борзоев с предложением поохотиться. Я воспрял духом, и на следующее утро мы выехали на лошадях из генеральской конюшни в сопровождении непременных казаков, поскольку отчаянных абреков побаивались даже вдали от зоны непосредственных боевых действий.

Края там были охотниками не истоптанные, дичь — охотниками не пуганная, куропатки взлетали прямо из-под ног, и мы постреляли в полное удовольствие. Хандра моя куда-то испарилась, и мы тут же договорились, что непременно повторим наше громкое мужское удовольствие через два-три дня.

Вот тогда-то и состоялась неожиданная встреча, ради которой, собственно, я и принялся рассказывать о своих охотничьих развлечениях.

Обычно казаки, сопровождающие нас, разводили костер, выставляли наблюдение и ждали, когда мы возвратимся к огоньку с добычей. До сей поры все было тихо и мирно, но в тот день колючий кустарник передо мною внезапно раздался, и оттуда появился незнакомый мне вооруженный

человек.

— Не пальни, барин, свой я. Русский.

Одежда возникшего из кустов субъекта была весьма живописной, хотя и несколько неопределенной, что ли. Изодранная черкеска, прикрытая широким брезентовым балахоном, косматая папаха, кинжал за поясом, ружье в правой руке и мокрый грязный мешок в левой. Добавьте к этому по брови заросший лик — и картина станет полной.

— Я — тоже охотник, — сказал он. — Только дичь у меня погрознее твоей, барин. Промок по кустам лазить. Дозволишь у костра обсушиться?

— Федулыч! — радостно загомонили казаки, когда мы с незнакомцем подошли к огоньку. — С добычей или зазря опять?

— Считай, червонец в кармане, — самодовольно улыбнулся в бороду таинственный охотник, с глухим стуком опустив мешок на землю в стороне от костра. — Доброго зверя подстрелил сегодня. Покажу, может, и узнаете.

И вывалил из мокрого мешка отрубленную голову чеченца. И я сел. Ноги у меня подкосились.

Беслана то была голова…

— А, неуловимого на мушку поймал? — сказал кто-то из казаков. — Верный червонец, да еще и с

благодарностью.

А я смотрел на мертвую голову моего друга, нашего проводника и спасителя, счастливого отца и… И смутно мне было. Все вдруг в душе смешалось: боль, омерзение, гнев…

Еле протиснул сквозь зубы:

— Два дам, если мне ее оставишь.

— С нашим полным удовольствием, барин! Два завсегда одного лучше.

Оставил. Похоронили мы с Борзоевым голову Беслана, даже из ружей над малой той могилкой пальнули. А потом долго сидели в стороне от казаков и молча пили крепкое кизлярское…

— Где же Лечa-то теперь, Борзоев?

— Попробую поискать, но вряд ли. Попробую. А поискать попробую, попробую, попробую…

Он твердил это слово бесконечно…

…Всякая война — кровь и убийства, но не всякая власть деньги за скальп из казны выплачивает. Не всякая, а та лишь, которая сама бесчестье своей войны поняла. И отковала невыносимо тяжкий меч жестокости. Одинаково тяжкий для обеих сторон…

Больше не выезжал я на охоту. Не мог. Ничего мы с Борзоевым о той встрече с охотником за головами дома не сказали, и милая Аглая Иппо-

литовна вынуждена была списать мой отказ на мой же каприз да дурной характер…

И опять я валялся целыми днями на бурке под орехом и с трудом сдерживал раздражение вечерами, глядя на спятивших от счастья влюбленных и слушая их бессмысленные разговоры. В строй просился, у кого только мог: то у Моллера, то у Борзоева. Но генеральского распоряжения никто из них отменить не рискнул.

Не знаю, чем бы все кончилось, если бы однажды пламенным полуднем не крикнула вдруг Аглая Ипполитовна:

— А к вам — гость, Александр Ильич!..

Я и вскочить на ноги не успел…

— Аве, патриций!..

Дорохов. Руфин Иванович.

Обнялись мы. Кажется, даже расцеловались. А в душе у меня — будто солнышко выглянуло.

— Какими судьбами, Руфин Иванович?

— Шествовал следами героев к новой ниве своей, Олексин.

— Надолго в наши края?

Усмехнулся Дорохов:

— Сие зависит только от состояния карманов моих партнеров.

Стараниями Верочки мой армянский парниш-

ка расторопно соорудил нам добрую скатерть-самобранку. Руфин Иванович опустился на бурку, поднял бокал:

— За благословенный орех, патриций!

— Почему — за орех?

— Именно под его живительной сенью состоялось наше первое свидание в Бессарабии. Такой далекой отсюда как во времени, так и в пространстве.

Мы торжественно чокнулись, осушили рюмки и опять почему-то улыбнулись друг другу.

— Кстати, перед самым отъездом сюда я получил весточку от вашего волосатого недруга. Весточка включала в себя официальную справку о том, что в настоящее время господин майор Афанасьев имеет честь проходить службу на Черноморском побережье. И записку от руки в два слова: «НАДЕЮСЬ, В РАСЧЕТЕ». Так что служите спокойно.

— И рад бы, да заперт в золоченой генеральской клетке. Хозяин вызван в Санкт-Петербург, и до его возвращения я обречен на полнейшее безделье. Созрел для того, чтобы усесться за стол супротив вас, Дорохов.

— Увы, Олексин, но я всегда проигрываю друзьям. Чудовищный недостаток для професси-

онального игрока, вы не находите?

— И часто же вам приходится проигрывать?

— Нет. Приятелей да знакомцев у нашего брата предостаточно, а друзей я держу на дистанции от зеленого сукна. А в общем-то урожай оказался неплохим, но должен сознаться, что однажды проиграл. Хотя и в доброй компании.

— Вы и проигрыш — две вещи несовместные.

— И тем не менее. В пушкинском окружении оказались два моих ученика. Точнее, один ученик и один учитель.

— В пушкинском окружении?

— Вы не читаете газет? Александру Сергеевичу наконец-то разрешили выезд за границу, если заграницей считать взятый нашими войсками Арзрум.

Это известие упорно не укладывалось в моей голове, почему я с прежней отупелостью уточнил:

— Пушкин на Кавказе?

— Он уже миновал его, увезя с собою три сотни моих денег, заработанных тяжкими ночными трудами. Наливайте, Олексин, что вы замерли с бутылкой в руках?

— Жаль, что я не знал. — Я вздохнул и наполнил бокалы. — У меня тяжелый приступ меланхолии, Дорохов.

— За его заграничный вояж. — Руфин Иванович отхлебнул добрый глоток. — Мне показалось, что Александр Сергеевич путешествует не в лучшей компании.

— Почему вы так решили?

— Потому что знаю как минимум троих из его окружения по прежним встречам. Это — шулера, патриций, которых давно не пускают в приличное общество. И я вполне допускаю, что они-то и устроили ему эту поездку.

— Каким образом?

— А каким образом я отправил волосатого майора на Черноморское побережье? Карты — явление мистическое, Олексин.

— Помилуйте, для чего шулерам Александр Сергеевич?

— Увы, ему отведена всего лишь роль свадебного генерала, патриций. Его окружение поет ему дифирамбы, угощает живой стерлядкой, поит французским шампанским и умело проигрывает на путевые расходы. Взамен получает возможность сесть за стол с такими людьми, которые их в упор не замечают на улице, но готовы потерпеть ради знакомства с самим Пушкиным. А знакомиться проще всего за зеленым сукном, за которым сопровождающие поэта обдиралы

быстренько возвращают все расходы с хорошим наваром.

— Господи, но Александру Сергеевичу это зачем?

— А он этого и не замечает. Он счастлив удрать из-под бдительного ока, увидеть нечто новое собственными глазами, почувствовать себя, хотя бы в мечтах своих, за границами Отечества — да мало ли искушений! Удивительно, но истинно талантливые русские люди — совершеннейшие дети в той большой игре, которая называется жизнью, Олексин.

Последний марш

В ту осень рано начались дожди, и шли они воистину с южной щедростью. Унылость моего растительного существования утроилась, и неизвестно, как бы обернулось дело, если бы однажды вечером мой дорогой ротный командир, войдя в столовую, не взял Веру Прокофьевну за руку и не объявил бы нам во всеуслышанье:

— Поздравьте нас, дорогие друзья. Верочка дала согласие стать моей супругой, и я счастлив, как никогда доселе.

Мы кинулись поздравлять и целовать, Верочка краснела и мило смущалась, а Моллер был

чудовищно горд. И я люто завидовал ему в тот вечер. Его настигла первая любовь, а мою первую насильно отторгли от меня и увезли в Италию…

На следующее утро мы вместе с Борзоевым отправились в Кизляр покупать молодым подарки. Господи, подобной грязи я еще никогда не видывал и, надеюсь, более уж не увижу: рослая генеральская лошадь с трудом вытаскивала из нее копыта. Все кругом сочилось влагой и грязью, уже как бы не смешиваясь друг с другом, а существуя по отдельности. И все это сопровождалось таким торговым ажиотажем, таким гвалтом, криком, воплями верблюдов, лаем собак, смехом детей и ревом ишаков, что я окончательно одурел.

А вечером того дня наконец-то возвратился генерал Граббе.

Я уже готовился к перевариванию праздничного ужина в своей комнате, когда был востребован в гостиную. Прибыл, испросил разрешения, от души поздравил, а Павел Христофорович не по-генеральски крепко пожал мне руку и с торжественной звонкостью сказал:

— По личному поручению государя императора Николая Павловича имею честь наградить вас, героя Ахульго и дерзкого набега на Аджи-Юрт, Знаком ордена Святого Георгия Победоносца!

И лично прикрепил Знак сей на мой статский сюртук. Тут все кинулись было поздравлять меня, но генерал строго поднял руку, и окружающие примолкли.

— Дорогой мой Александр Ильич, я получил редкую возможность рассказать государю о ваших подвигах и в высшей степени достойном поведении. Не скажу, что я был первым: почва уже была достаточно подготовлена. А посему государь изволил милостиво выслушать меня и…

Павел Христофорович сделал паузу на манер греческих трагедий, а я обмер, и сердце мое обмерло тоже. Граббе улыбнулся и достал из портфеля некую плотную бумагу.

— Рескриптом сим с вас снимаются все прежние последствия дознаний и все приговоры и возвращается вам офицерское звание поручика гвардии…

Очнулся я уж на диване с означенным рескриптом в руках…

Сбываются все предсказания, коль силы остались для встреч и потерь…

Вот написал сие и — прослезился. И — слава богу! — значит, отмякла душа моя, раз слезы к ней вернулись…

Как прощался с дорогими сердцу моему друзьями, как нетерпеливо в Россию стремился — опущу. Да и собственно марш свой последний — тоже. Одно лишь в дороге произошло, достойное внимания. Еще в почтовой тройке трясясь, я твердо решил сначала в Санкт-Петербург явиться и попросить назначения все-таки в армию: в заштатный Псковской пехотный полк, из которого был изгнан с нетерпимым для чести моей позором и унижением.

Так и сделал. Просьбу мою поняли и уважили ее, представив меня с учетом военных действий, полученных ранений и боевой награды в чин капитана армии.

Я тут же вернулся во Псков, представился командиру полка и написал рапорт об отставке ради устроения семейных дел.

Кончились марши мои.

И начались встречи…

Встреча первая

Грустной она была. На семейном нашем участке городского Псковского кладбища. Там батюшка мой, кавалер российских орденов и боевых ранений, бригадир Илья Иванович Олексин и матушка Наталья Филипповна навеки неразлучимо уж покоились рядышком…

— Да заплачь же ты, барин, Александр Ильич! — тряс меня, помнится, Савва Игнатьич.

Савка мой, молочный брат, Клит мой верный, управитель всех сел, земель и деревень моих… Матерым он стал мужиком, степенным, строгим и солидным. И совсем недавно счастливо женился на премилой псковской мещаночке.

А я не мог тогда зареветь, пыль кавказских троп с сапог еще не отряхнув.

Поминали мы родителей своих у Саввы Игнатьича в семейном кругу в его новом псковском доме. Супруга Настасья, милая и скромная, нам никак не мешала, а лишь скрашивала грустную трапезу ту. Я совсем было в думы свои влез, да Савка, почувствовав отсутствие мое за собственным столом, начал неспешно и толково о делах докладывать: жить-то мне еще предстояло…

— Урожай два года подряд добрый выдался, и я выгодно продал его. Сейчас бумаги посмотрите или на завтра оставим?

— Потом, Савва Игнатьич, потом все.

— Народу у нас прибавилось, сказки ревизские я вам тоже опосля покажу. Одно скажу: рожали больше, чем помирали, так что с прибылью вас, Александр Ильич…

Я слушал, а думал о своем. Я думал, что один остался на всем белом свете, совсем один. В молодости не возникает этого чувства, в юные годы мы все — Робинзоны на не обитаемом еще острове. Строим свою крепость, обрабатываем свое поле, засевая его добрыми намерениями, мечтаем и надеемся, надеемся и мечтаем. А потом находим Пятницу, и жизнь приобретает смысл. Не философский — свой, личный, собою ощущаемый, как лично возделанное поле.

И ничего этого у меня не было. Ни поля, ни дома, ни Пятницы…

Впрочем, Пятница была. Полиночкой ее звали.

Странно, может быть, неприлично даже, но я о Полиночке, о невесте своей, почти не вспоминал. Разве что по утрам, с похмелья. Это-то я потом понял, почему не вспоминал, потом, а тогда казалось, что не думаю о ней просто потому, что не

могу представить ее рядом с собою на Кавказе. Я — солдат, без прав и фамилии, при должности «куда пошлют». И вдруг рядом — околостоличная Полиночка, единственная генеральская внучка. И что же, у начальства мне отпрашиваться на семейные свидания или самовольно на них бегать? Нет, нет, солдатская любовь должна быть где-то подальше от солдатской казармы. Где-то на киоте, что ли, чтоб молиться на нее, верить ей и мечтать о свидании. А подле солдатчины — только легкие влюбленности. Необременительные.

Были у меня такие? Ну а как же! Дело телесное, земное. А любовь всегда неземной быть обязана. Тогда ты всю жизнь к ней тянешься, растешь из самого себя. А к скучающей в Пятигорске чьей-то офицерской жене всю жизнь тянуться не станешь. Равно как и к чернобровой вдовушке-казачке в Кизляре…

Вот потому-то я и не вспоминал о Полиночке своей. Не было ей места в грубой, потной, а главное, очень уж гласной солдатской жизни, в которой все настолько на виду, что и себя-то самого подчас не видно. Поначалу писал, а потом… Когда к вам ответ на письмо через полгода приходит, не о чем писать становится. Солдат в России — всегда круглый сирота, собственной

судьбы не имеющий…

— …Жить, понятное дело, в господском доме, в Опенках, — толковал тем временем Савка, уже решивший за меня мою судьбу. — Но в Антоновку все же заедем, Александр Ильич? И сам я давненько в ней не был, а ведь там — могилка матушки Серафимы Кондратьевны…

Очнулся я. И сказал:

— Сначала — к Полиночке, Савка. К невесте моей…

Встреча вторая

После обязательных посещений, визитов и встреч во Пскове выехали мы с ним на доброй тройке в генеральское именье.

Может, странным вам покажется, но я не торопился. Объяснить неторопливости своей не берусь, только — учтите, что ли, — многое меж нами пролегло. Целая Кавказская война…

— Александр Ильич?!

Бабушка Полиночки, Прасковья Васильевна, мне навстречу бросилась. И — разрыдалась:

— Стало быть, чуяло сердце твое? Чуяло?..

Чахотка с кровохарканьем у невесты моей. Уж два месяца с постели не вставала, в сад подышать на руках выносили. И за жизнь держалась только

того ради, чтобы меня увидеть.

— Сашенька, свет мой…

Еле шепчет, кружевного платочка от губ не отрывая…

— Прости меня, что не встречаю так, как мечтала. Не даровал мне Господь здоровья. Единственно, что даровал щедро, так любовь… Это — великое счастье…

— Молчи, умоляю тебя, молчи…

Я на колени стал у ее изголовья, шептал почему-то, вместо того чтобы в полный голос… Обвалилось все во мне. Или — мимо меня сейчас все летело, шелковым покрывалом лица касаясь. В пропасть все летело, в пропасть…

— Лучше я говорить буду. О Кавказе, о том, что случилось со мною, как ждал я…

Забилась моя Полиночка в приступе. Страшный кашель сотрясал ее сухое маленькое тельце, аж подпрыгивало оно. И платочек. Платочек батистовый, на моих глазах меняющий цвет свой. Промок один, бросила она его, другой взяла…

— Я с тобой жила. Все время с тобой и — тобою. И в казематах, и в боях… Сил не хватило. Прости, любовь моя единственная. Прости меня…

— Я — выдержал. Все выдержал, Полиночка. И крест получил, и офицерское звание. Вот попра-

вишься ты…

Бормотал я слова, потому что в душе ничего, кроме страха, не было. Не было любви, признаюсь, не ощущал я ее. Один страх ощущал. За себя…

> …Невозможно лгать, когда в душе — пустота. Когда не о невесте своей думаешь, а о себе лишь, о своем одиночестве завтрашнем, а не о ее — сегодняшнем. Уже сегодняшнем, потому что отходила она, летела в черную пропасть, а я скорее растерянность ощущал в себе, нежели отчаяние. И значит, не было во мне любви, а был только страх… Страх очередного одиночного каземата.
>
> Нет, не было во мне любви. Не было…

Двенадцать дней она на моих глазах в эту пропасть летела, и я был подле нее. Подле, но не рядом. Точно стоял, как тогда, в отвесную стену вжавшись, а она — мимо меня, мимо, мимо…

А кругом уже какие-то приживалки да тихие дальние родственницы суетились. Как мухи, что ли, мед почуяв. Генерал уже помер к тому времени, генеральша Прасковья Васильевна вместе со своей единственной внучкой в ту же пропасть

летела, вот и зароились дальние наследницы в надежде урвать свой кусочек. А не урвать, так вымолить, выпросить, выклянчить, стащить, в конце концов.

Что же, и мне так помирать придется? Среди мелких актеришек, неумело, бездарно и бестактно скорбь изображающих? Шушукающих по углам, поспешно карнавальные маски горя и печали на лики свои натягивая, тебя едва завидев?..

О себе я думал. О себе.

* * *

Я даже с Прасковьей Васильевной ни о чем говорить не мог. Ни о чем решительно. Она в своем великом горе пребывала, а я — в своем. Личном. Не о Кавказе же с ней толковать…

А с Полиночкой дважды, а когда и трижды в день виделся и говорил. Правда, чаще слушал, не было слов. То ли не было, то ли не мог я выговорить их, то ли стеснялся чего-то…

— Все для любви рождаются. Только женщины не скрывают в себе главного закона своего, а вы, мужчины, не самой любовью восторгаетесь, а способами ее достижения. Слава, богатство, честь, подвиги, отвага куда важнее оказываются,

нежели само великое чувство это. Средства для вас всегда важнее цели…

И все это — с улыбкой. Сквозь приступы кашля, сквозь кровь, сквозь алые батистовые платочки. Это я потом понял, что она пыталась от горестных дум меня отвлечь. В последний раз пыталась спасти, помочь и рассеять.

Но однажды — утром то было — она от завтрака отказалась, кое-как чашку чаю выпив, и сказала вдруг, мучительно задыхаясь на каждом слове:

— Женись, Сашенька, непременно женись, и — поскорее. Прислониться тебе надо, устал ты от одиночества. И серебряное блюдо никак забыть не можешь. Найди его. Серебро не ржавеет, Сашенька, любовь моя единственная, счастье мое. Не ржавеет, только патиной покрывается. Такая любовь — до последней седины…

И — отошла тихо, в последний раз руку мне сжав…

И еще девять дней я там прожил. Прожил?.. Нет, просуществовал. Три — пока прощались с нею, отпевали да хоронили, и еще — шесть. До первых поминок…

А потом тепло, по-родственному распрощался с осиротевшей Прасковьей Васильевной, обещал навещать. Она даже не рыдала. Сил у нее не было

отрыдаться, потому что жизнь смысл потеряла.

Вышла провожать меня, и тут только я увидел, что на козлах тройки моей — Савка. Как-то не замечал до этого, что тут он, рядом, что не оставил меня.

Спросил:

— Куда править-то, Александр Ильич?

— В Антоновку.

Не задумываясь, сказал. О последнем завете Полиночки вспомнив. О серебряном блюде.

И помчались мы в Антоновку…

Встреча третья. С серебряным блюдом

Старостой в Антоновке оказался мой сын Иван, только не Александрович, а Матвеевич. Это был рослый, красивый юноша с уже чуть заметной рыжеватой бородкой и умными глазами. Молодец мама Луша, что настояла на его учении, молодец и Савва Игнатьич, сделавший для меня маленький, а все же — подарок.

— Как живешь, Ваня?

— В хлопотах, Александр Ильич.

А глаза — улыбаются. Знает, чертенок, что я ему родным отцом довожусь, недаром ведь не барином назвал, а по имени-отчеству обратился.

И — после толкового доклада о деревенских

делах — тоже далеко не случайно, хотя и как бы между прочим:

— Оживают наши края, Александр Ильич. В графском доме полный ремонт произвели, я им лесу отпустил. Сейчас вовсю по вечерам огнями светится.

— Графинюшка приехать изволила?

И я тоже как бы между прочим спросил, хотя у самого-то сердце екнуло.

— С полным семейством.

— С мужем?

— Нет, мужа не видел. С сыном приехала.

Замолчал я, новость обдумывая. А Иван продолжил, и опять — как бы между прочим:

— Лулу ваша постарела, конечно, но под седлом старается. Я ее ежедень прогуливал.

— Спасибо, Ваня.

Он поклонился и вышел. А я на Савку посмотрел. И почему-то беспомощно посмотрел, что ли.

— Проверю. — Савва Игнатьич меня со взгляда понимал. — Вы сегодня отдохните, а завтра — поглядим, как оно получается.

Какое там — отдохните, когда я места себе не находил! С сыном приехала, а где же муж? Жив еще или уже помер? А коли жив, так в Италии остался или расстались они насовсем? И как же

фамилия-то его, как фамилия?.. Затрясский?.. Затусский?.. Помню, что «ЗА». Он всегда за чем-то был. Зачем-то…

Засядский!.. Аннет Засядская. Мадам Засядская теперь. Мадам Засядская с сыночком Засядским. Весь в отца, поди. Любопытно, как его зовут? Как деда или как отца?..

Представляете, какой идиотизм залез вдруг в мою голову? И никак не вылезал. Так и метался я с ним по дому, пока… Пока не блеснула в свихнувшихся мозгах моих некая мысль: я же Полиночку, невесту свою, только что похоронил. И первое, что узнал, — графинюшка вернулась. Значит, она, она, Полиночка, оттуда ее вызвала, из-за границы, чтобы я в окончательном одиночестве не остался.

Напился я от этой мысли. Нет бы пред иконою пасть и Бога возблагодарить да Полиночку помянуть… Нет, напился. Вдвоем с бутылкой, по-гусарски. Окосел, и в пьяную голову первая трезвая мысль пришла: а чего это я разбегался? Ну, не моя Аннет, давно уж не моя, а косноязычного этого Засядского. И Полиночка теперь не моя, а — Божья. И никого у меня нет. Один я как перст. В отставке.

И уснул с этим открытием. Легко уснул, потому

что осознал наконец собственное единоприсутствие свое в многоприсутственном и шумном мире сем. И проснулся с этим осознанием, а потому горьким было мое пробуждение. Не от горечи с похмелья, а от горечи в душе.

Не рано проснулся. Савки нигде не было, и я сел завтракать сам-один. Подумав при этом, что пора к этому привыкать. Спокойно подумал и неторопливо завтракал, когда объявился наконец мой молочный брат и управитель.

— Был у графинюшки. В трауре она: месяц назад батюшка ее преставился.

— А Засядский?

— Какой Засядский?

— Ну, муж, муж! Должен же муж быть, коли сын есть.

— А… Не знаю. Никого, кроме молодой барыни, не видел, а разговор наш к этому не пришел.

— Обо мне сказал?

— Она считает, что вы — на Кавказе. Так что надевайте мундир свой капитанский, цепляйте все ордена и скачите представляться заново. Иван вон с утра велел Лулу вычистить и подседлать.

— Как снег на голову?

— Ага. Сразу проверите, где ваша шашка. В дамки выходит или, пардон, в сортире навсегда

заперта.

Трезвый этот подход слегка похмельной голове моей почему-то понравился. Особенно в части капитанского мундира. К тому же Лулу и впрямь была вычищена, выгуляна и подседлана. Заржала радостно, башкой замотала, меня увидев. Расцеловались мы с ней, подтянул я подпругу, вскочил в седло и отдал поводья.

— Помнишь ли еще дорожку, старушка?

Вспомнила. Все вспомнила и потрусила к графскому особняку, радостно головой встряхивая. А я думал… Нет, ни о чем я тогда не думал. Сердце мое в том же аллюре трепыхалось…

Ворота в усадьбу были настежь распахнуты. Как объятья. Будто ждали меня. Мальчик какой-то в голубой рубашке у подъезда стоял, на меня во все глаза глядя. Я спрыгнул с седла, бросил ему поводья и — бегом через две ступени.

Вбежал в дом и — заорал:

— Аннет!..

Не помню, откуда она выбежала. То ли с одного из двух лестничных маршей на второй этаж, то ли из залы, то ли… Помню, что на шее у меня оказалась. Как в юности.

— Знала, что придет это мгновение. Придет!.. Знала. Знала. Знала! И — ждала. Как я ждала!..

И — последняя встреча

Последняя потому, что больше люди нас никогда не разлучали. Да и не в силах были разлучить.

Поначалу какой-то уж очень бестолковой казалась она. Помню, что перебивали мы друг друга, а вот почему перебивали и о чем говорили — напрочь из головы выскочило. И начались-то эти воспоминания — не начались, а выстроились, что ли, — с моего вопроса.

— Ты замужем?

— Увы. — Она лукаво глянула, снизу вверх, в мои глаза. — Мой нареченный в России остался. Говорят, в Кавказской войне участвовал не без успеха.

— А как же… Сказали мне, сын у тебя…

Она расхохоталась. Даже руками всплеснула, на миг от меня их оторвав:

— Дитя любви!

Вероятно, что-то на моем лице все же отразилось, потому что Аничка опять засмеялась и позвала:

— Ванечка!

И вошел мальчик в голубой рубашке. Поклонился мне и сказал на отличном французском

языке:

— Не беспокойтесь, сударь, о лошади. Я передал ее лакею.

И наступила какая-то странная пауза. Я что-то понимал и ничего не понимал, во что-то хотел поверить и — не верилось мне. И Аничка почему-то молчала, а потом сказала вдруг. Негромко и очень серьезно. Как-то даже чуточку торжественно, что ли:

— Это — твой батюшка, Ванечка. Твой родной батюшка Александр Ильич Олексин, о котором я тебе столько рассказывала. Герой Кавказской войны.

И сын, мой родной сын, истинное дитя истинной любви нашей, на шею мне бросился. Уж потом, потом, когда Аничка отослала его к обеду переодеваться, узнал я, чего нас с нею лишили. Вернее, пытались лишить, но так и не смогли.

— Я без твоего согласия и слова бы единого никому не сказала, душа моя, да только… Только шевельнулся в душе моей ребеночек наш, — Аничка порозовела, почему-то вдруг засмущавшись. — Еще не в теле моем, еще в душе только, но молчать об этом я уже не могла. Я за дитя отвечала, гордилась им, и нами тоже гордилась. И во всем призналась маменьке. Поплакали

мы, как водится, и пошли батюшке признаваться. Маменька успокаивала меня, убеждая, что он все поймет, простит и соединит нас с тобою, душа моя. А он ничего не пожелал понимать и помчался в Петербург.

Она замолчала, а я виска коснулся.

— Вот, — сказал. — След последней встречи нашей. А я в воздух выстрелил. Не посмел, не мог иначе, любовью нашей клянусь.

Аничка поднялась на цыпочки, притянула голову, поцеловала меня в седую прядь, вздохнула:

— Знаю теперь во всех подробностях, только подробности эти батюшка мне перед кончиной своей рассказал. Тогда же и простил нас с тобою окончательно и — благословил.

— Почему же он промахнулся? — спросил я. — Прости меня, Аничка, только я и сейчас этого понять не могу. Он же в лоб мне целился, и взгляд у него был…

Я опять про зубра в молдаванских кодрах вспомнил, но — промолчал. А Аничка опять вздохнула:

— Он убить тебя хотел, Саша. И ехал убивать. И к барьеру пошел убивать. И пистолет поднял — только не смог.

— Рука дрогнула?

— Нет. — Аничка решительно тряхнула головой. — У таких руки не дрожат. Я много раз спрашивала его, а он одно отвечал: промахнулся, и все. И только на смертном одре уж признался. «Знаешь, — сказал, — почему я промахнулся? Я на его лице вдруг твое личико увидел, доченька. И будто пронзило меня: да я же в тебя, в дочь собственную стреляю, в счастье твое, во внука собственного!.. И в последний миг, уже на курок нажав, успел ствол отвести. Чудом успел, милостию Божией…»

— Истинно, что милостию Божией, — вздохнул я. — Нет, ни в чем не виню его и обид никаких не держу: в полном праве своем он был, в полном праве. Да если бы у меня такая дочь была и прощелыга какой посмел бы…

Закрыла она рот мой поцелуем. Таким, что оба мы вздрогнули, точно одной молнией пронзенные. Стиснул ее ручищами своими, к себе прижал, а она шепнула на ухо:

— Потом, потом, все — потом. У нас ведь вся жизнь впереди. И ждать мы научились оба.

Какой-то последней трезвой мыслью понял, что права она, что навеки мы теперь, что спешить-то нам некуда. И обвенчаемся после сороковин по Полиночке, чтобы совесть чиста была.

— Я об обеде распоряжусь.

Аничка вышла, и что-то долго ее не было. Или казалось мне, что долго. Устал я ждать, устал…

Потом вернулась, но — одна, без сыночка нашего, Ванечки. Мы сели с ней друг против друга в гостиной, она полного отчета потребовала, и я ей все рассказал и про Полиночку, и про «Андрея Шенье», и про надпись «На 14 декабря», и про казематы, и про войну. Ничего не скрыл, потому что не должно было быть тайн между нами.

— Одного я не могу понять, Аничка, — сказал под конец. — Кто же разрешение выхлопотал, чтобы я самостоятельно до Кавказа добирался, а не в общем строю.

— Батюшка, — вздохнула Аничка. — Как дошел до нас слух, что ты арестован, так мы сразу же в Санкт-Петербург выехали. Но поздно: государь уже утвердил приговор офицерского суда, и единственное, что батюшка выхлопотал, так то разрешение для тебя. Но продолжал упорно хлопотать, почему мы сюда и не переезжали. А ты, упрямый, не писал ни родителям своим, ни моей кузине.

— Не мог я никому писать, — сказал я. — Убежден был, что ты за этого косноязычного Засядского замуж вышла, и весь смысл жизни моей пропал.

— Господи, какой там Засядский. — Она досадливо отмахнулась. — Просил он руки моей, назойливо просил и у меня, и у маменьки с батюшкой, но у всех отказ получил и в Россию тут же уехал. Батюшка наказал ему за нашим домом приглядеть, вот тогда он с досады и наплел тебе о грядущей свадьбе. А ты и поверил, глупый.

— Не знал я ничего, Аничка, ну ничего решительно. Тут любому поверишь…

— Я горничную свою домой отпустила и велела ей твоей кормилице Серафиме Кондратьевне сообщить, что сыночек у тебя родился. Неужели не передала?

— На смертном одре уж. Два слова всего: «Ванечка… внучек…» Невозможно было ничего понять, в бреду уж.

— Внучек… — грустно повторила Аничка и вздохнула. — Все же ясно: она тебя ведь сынком своим считала всю жизнь. Любая бы женщина поняла, но у вас, мужчин, наоборотная какая-то логика…

Вошел мажордом. Поклонился, доложил, что кушать подано.

— Ванечку сюда, к нам пришли, — сказала моя графинюшка и встала. — Будем праздновать, душа моя. По-семейному.

Тут появился сын. Белокурый, на меня похожий как две капли крови. И как я его сразу не узнал?..

— Подковы гнешь?

— Учусь, — серьезно ответил он. — Орехи в ладони колоть уже научился, батюшка.

Батюшкой меня назвать пока нелегко ему было. Но он улыбнулся при этом совсем как я. Аничка внимательно поглядела на нас и сказала сыну:

— Будь добр, сделай то, о чем мы с тобой, дружок, давно условились. Помнишь?

— Уж все приготовлено, маменька! — с радостью сообщил он и тут же выбежал.

— Пойдем к столу? — предложил я, подавая ей руку.

— Обожди, душа моя, — сказала Аничка. — Сейчас Иван Гаврилович нас с тобою пригласит.

— Иван Гаврилович? Почему же вдруг — Гаврилович? У вас что же, игра такая?

— Судьба, а не игра, — пояснила Аннет. — Я — грешница, сын — безотцовщина, и при крещении мальчику дал отчество его крестный, Гавриил Алексеевич Негожин, батюшкин приятель. Если хочешь, можем похлопотать о восстановлении твоего отцовства.

— Нет, не хочу, — сказал я. — Иван Гаврилович ничем не хуже Ивана Александровича. Сохраним

это в нашем роду как память о нашей разлуке.

И вошел Ванечка. С тяжелым серебряным блюдом, на котором лежали эклеры…

…Серебро не ржавеет, даже пролежав два десятка лет в тине лебединого пруда…